СТАНИСЛАВ

ЛЕМ

Кибериада
Сказки роботов

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сатирико-философские рассказы Станислава Лема, собранные в циклы «Кибериада» и «Сказки роботов» и опубликованные с 1964 по 1981 год, повествуют о воображаемой псевдосредневековой вселенной, где место людей занимают роботы. Они мечтают и влюбляются, совершают подвиги и делают друг другу мелкие пакости – точь-в-точь, как представители человечества. Рассказы были переведены на 18 языков, а также удостоились нескольких радиопостановок и 2 анимационных экранизаций.

- Станислав Лем
  - ○
  - ○ Сказки роботов
    - ■ Сказки роботов
      - ■ Три электрыцаря [1]
      - ■ Урановые уши [2]
      - ■ Как Эрг Самовозбудитель бледнотика одолел [3]
      - ■ Сокровища короля Бискаляра [4]
      - ■ Два чудовища [5]
      - ■ Белая смерть [6]
      - ■ Как Микромил и Гигациан разбеганию туманностей положили начало [7]
      - ■ Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась [8]
      - ■ Советники короля Гидропса [9]
      - ■ Друг Автоматея [11]
      - ■ Король Глобарес и мудрецы [12]
      - ■ Сказка о короле Мурдасе [13]
    - ■ Из сочинения Цифротикон, или о девиациях, суперфиксациях и аберрациях сердечных
      - ■ О королевиче Феррации и королевне Кристалле [14]
  - ○ Кибериада
    - ■ Кибериада
      - ■ Как был спасен мир [15]
      - ■ Машина Трурля [16]
      - ■ Большая трепка [17]
    - ■ Семь путешествий Трурля и Клапауция
      - ■ Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана [18]

- Путешествие первое А, или Электрибалт Трурля [19]
- Путешествие второе, или Трурль и Клапауций на службе у короля Жестокуса [20]
- Путешествие третье, или Вероятностные драконы [21]
- Путешествие четвертое, или как Трурль, королевича Пантарктика от мук сердечных избавить желая, Женотрон применил, и как потом дело дошло до использования Детомета [22]
- Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона [23]
- Путешествие пятое А, или Консультация Трурля [24]
- Путешествие шестое, или Как Трурль с Клапауцием Демона Второго Порядка создали, чтобы разбойника Мордаса одолеть [25]
- Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело [26]

- Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона [27]
- Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло [34]
- Блаженный [36]
- Повторение
- Воспитание Цифруши [51]
  -
  - Рассказ Первого Размороженца
  - Рассказ Второго Размороженца
- Верный робот
  - Действующие лица
  - I
  - II
  - III
  - IV

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47

- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67

Станислав Лем
Кибериада. Сказки роботов
Сборник

Stanisław Lem
Cyberiada. Bajki robotów
© S. Lem, 1964, 1965
© Перевод. И. Клех, 2018
© Перевод. К. Душенко, 2017
© Перевод. С. Легеза, 2018
© Перевод. А. Громова, 2017
© Перевод. И. Левшина, наследники, 2017
© Перевод. А. Ильф, наследники, 2017
© Перевод. Т. Агапкина, наследники, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Сказки роботов

Сказки роботов

Три электрыцаря [1]

Жил-был некогда на свете великий конструктор, без конца изобретавший всякие небывалые приспособления и устройства. Сделал он себе как-то крошечную машинку, умевшую красиво петь, и назвал ее пташинкой. Было у него наноклеймо с изображением храброго сердца, и он метил им на атомарном уровне все выходившее из-под его рук, так что ученые потом недоумевали, что за сердечки мельтешат у них в спектрографах. Им было создано множество полезных машин, больших и маленьких, но вот однажды нашло на него чудачество неразрывно соединить мертвое с живым и тем самым достичь невозможного. Он вознамерился создать разумные существа из воды, но совсем не те кошмарные, как мог кто-то сейчас подумать. Сама мысль о существах с жидкими телами была ему чужда и столь же отвратительна, как для любого из нас. Нет, он намерен был создать существа разумные и по-настоящему прекрасные – то есть кристаллические.

Выбрал он максимально удаленную от всех светил планету, из ее замерзшего океана наколол похожих на горный хрусталь глыб льда и из них вытесал крионидов. Так они звались потому, что только в космическом холоде и бессолнечной тьме способны были существовать. Со временем они построили города и ледовые дворцы, а поскольку всякий теплый свет был для них смерти подобен, то для их освещения наловили они и заперли в больших прозрачных сосудах полярные сияния. Те из них, что были богаче, имели сияний больше, с золотистым или серебристым отливом, и тем были счастливы. Все они не только свои сияния обожали, но еще и драгоценные камни, слава о которых далеко разошлась. Камни эти представляли собой замерзший газ, подвергнутый крионидами шлифовке и огранке. Так они скрашивали для себя существование в вечной ночи, где в толщах льда, подобно плененным духам или звездным туманностям, колыхались и мерцали полярные сияния.

Не один космический охотник и завоеватель хотел бы завладеть этими богатствами. Их манил свет Крионии, издали походившей на сверкающий бриллиант, медленно поворачивающийся на подложке из черного бархата. Из самых дальних концов космоса устремлялись сюда авантюристы попытать счастья оружия. Прилетел как-то и электрыцарь

Медный, шаги которого отдавались, как удары колокола, но едва он ступал на лед, как тот от перепада температуры моментально плавился под ним, так что уже через несколько шагов он камнем пошел ко дну. Его поглотила разверзшаяся и сомкнувшаяся над ним пучина крионского ледового океана, в которую он вмерз до скончания веков, подобно комару в янтаре.

Судьба Медного не испугала других смельчаков. После него прилетел электрыцарь Железный, опившийся жидким гелием так, что в нутре его стальном все клокотало, а заиндевевший панцирь делал его похожим на снеговика. Но при вхождении в атмосферу его корпус раскалился докрасна, и выпитый им гелий со свистом испарился, а сам он свалился на ледовую горку, моментально растаявшую и превратившуюся в кипящий гейзер. Выпуская клубы пара, он с трудом выбрался из него, но, к чему он не прикасался, все немедленно обращалось в белое облачко, из которого сыпался снег. Поэтому он уселся, чтобы остыть, и когда снежинки, наконец, перестали таять на его панцире, попытался встать, чтобы немедленно броситься в бой. Но не тут-то было – смазка в его суставах замерзла, и он не смог даже распрямиться. Так и сидит он доныне, а опавший снег превратил его в белый пригорок, над которым торчит только острый шлем. Эту горку с той поры зовут Железной, и в глазницах ее поблескивает застывший навечно взгляд.

О печальной судьбе предшественников узнал третий электрыцарь, Кварцевый, походивший при свете дня на прозрачную линзу, а ночью видимый только по отражению в нем звезд. Он не опасался, что загустеет и замерзнет смазка его суставов, поскольку не было ее в них, не боялся также, что ледовый покров разверзнется под ним, потому что способен был оставаться холодным по собственному желанию. Единственное, чего он должен был избегать, это мысленного напряжения, от которого разогревался его кварцевый мозг, и это могло его погубить. Поэтому он решил сохранить себе жизнь, прибегнув к бездумности, и благодаря этому одержать победу над крионидами. Он отправился в долгий путь сквозь галактическую ночь и так промерз в дороге, что даже железные метеориты, ударяясь о его грудь, звонко разбивались на мелкие осколки, будто стекло. Опустился на белые снега Крионии электрыцарь, похожий на прозрачное зеркало под небом черным, будто горшок со звездами, и только собрался было задуматься, что делать дальше, как снег под ним начал чернеть и превращаться в пар.

– Ого! Никуда не годится! – сказал сам себе Кварцевый. – Ну да ладно, главное ни о чем не думать – и наша возьмет!

И решил он только одну эту фразу повторять при любом

затруднении, поскольку она не требовала никакого мысленного усилия от него и не могла повысить температуру. И двинулся Кварцевый через снежную пустыню наобум и бездумно, чтобы холод свой сохранить в целости. Шел и шел так и дошел до ледяных стен столицы крионидов Фригиды. Разбежался он, чтобы головой стену пробить, но ничего у него не вышло – только мелкие льдинки брызнули по сторонам.

– Попробуем иначе! – приободрил он себя и решил задуматься, сколько будет дважды два. Пока он считал, голова его немного нагрелась, и он повторно ринулся в атаку на искрящуюся стену, но сумел только небольшую вмятину на ней оставить.

– Маловато было, – решил он, – попробуем задачу потруднее. А теперь, сколько будет трижды пять?

Над головой его немедленно образовалось облачко пара, потому что от столь напряженной работы мысли падавший на электрыцаря снег сразу же с шипением испарялся. Отошел Кварцевый подальше, разогнался что есть мочи и пробил стену навылет, а за ней еще два ледяных дворца и три здания сиятельных графов Морозовых, размером поменьше, и покатился по скользким ступеням широкой лестницы, пытаясь уцепиться за перила из ледяных сталактитов. Вскочил он на ноги, как ошпаренный, потому что все вокруг него уже таяло, и он рисковал провалиться в разверзшуюся ледяную бездну под городом и остаться в ней навеки.

– Ничего-ничего, только не думать! Наша берет! – ободрил он себя, и действительно, сразу остыл.

Выбравшись из проделанного им во льдах тоннеля, он очутился на большой площади, окруженной прозрачными колоннами, с мерцающими изумрудом и серебром полярными сияниями внутри. И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный Бореаль, вождь крионидов. Собрался с духом электрыцарь Кварцевый и ринулся в атаку. Началась схватка – грохот такой стоял, словно столкнулись две ледяные горы в Ледовитом океане. Отлетела отрубленная у основания сверкающая правая рука Бореаля, но не дрогнул храбрый воин, а только развернулся к врагу грудью широкой, как ледник, которым он и был, по сути. Его противник вновь с разбега обрушился на него со страшной силой и повалил. Кварц был тверже льда и прочнее, и Бореаль рассыпался с таким гулом и стоном, словно сошла лавина в горах. Его обломки лежали у ног электрыцаря, отражая свет полярных сияний, ставших свидетелями его поражения.

– Наша взяла! Так держать! – воскликнул Кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности умопомрачительной красоты:

перстни, украшенные водородом, и пряжки с застежками, искрящиеся, как бриллианты, а на деле изготовленные из трех благородных газов – аргона, криптона и ксенона. Но, пока победитель восторгался своими трофеями, он так от волнения нагрелся, что все эти драгоценности стали растекаться и с шипением испаряться у него в руках, так что ничего в них не осталось, кроме похожих на росу капелек влаги, да и те высохли на глазах.

– Вот оно как – значит, и волноваться нельзя? Ну да ладно, главное – не думать! – заключил электрыцарь и отправился дальше покорять город.

Вскоре он увидел в отдалении фигуру, которая по мере приближения к нему становилась все огромнее. То был Альбуцид Белый, Генерал-Минерал, чью широченную грудь покрывали ряды орденских сосулек, и на ледяной перевязи красовалась большая серебряная Звезда Инея. Этот хранитель королевской сокровищницы попытался было преградить путь электрыцарю Кварцевому, но тот налетел на него, как ураган, и разнес вдребезги.

Тут на смену Альбуциду появился князь Астроух, властелин черных льдов. С этим грозным воином электрыцарю было не справиться, поскольку на нем были дорогие азотные доспехи, гелием закаленные. Стужей от них такой веяло, что у Кварцевого весь запал пропал и движения замедлились, и даже полярные сияния свои краски растеряли, ощутив близость Абсолютного Нуля.

Кварцевый подумал: «Да что ж это такое? Караул!» – и дернулся что есть мочи, чтобы выйти из сковавшего его оцепенения. От порыва такой силы мозг его раскалился, а Абсолютный Нуль вдруг сделался просто Нулем и стал распадаться на части с треском и грохотом, сопровождавшими его агонию. Осталась на поле брани от Астроуха только кучка почерневшего льда со снегом да грязная лужица талой воды, будто наплаканная.

– Ага, наша взяла! – обрадовался Кварцевый. – Теперь только бы не думать! А если понадобится, то думать. Так или иначе, но я должен победить!

Двинулся он дальше, и шаги его звучали так, будто молот крушит кристаллы. Грозный топот по улицам Фригиды пугал ее жителей, и они взирали на пришельца с отчаянием в сердцах из под нависающих шапок снега на крышах. Он мчался, не встречая препятствий, как разогнавшийся метеор по Млечному Пути, когда вдруг заметил вдали небольшую одинокую фигурку. Это был сам Барион, прозванный Ледоустым, величайший мудрец Криониии.

Разбежался Кварцевый, чтобы одним ударом и с ним покончить, но тот сделал шаг в сторону и показал ему два расставленных пальца. Не зная, что бы это могло значить, Кварцевый развернулся и снова ринулся на противника. А тот вновь, увернувшись, уступил ему дорогу и показал теперь только один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил бег, но все же развернулся, чтобы повторить разбег. Он был настолько озадачен, что даже не заметил, как с ближайших крыш стала стекать вода, потому что Барион стал показывать ему новую фигуру: в кольцо из двух пальцев одной руки он сунул большой палец другой руки и стал водить им туда-сюда. Кварцевый крепко задумался, не понимая, что эти немые жесты могли означать, и тут разверзлась у него под ногами твердь, и хлынула оттуда черная вода, а он сам немедленно пошел камнем ко дну. Не успел он сказать себе: «Ничего страшного, лишь бы не думать!», – как его уже не было на свете.

Позднее крионидыспрашивали Бариона, благодаря его за спасение, что означали знаки, показанные им жуткому электрыцарю-бродяге.

– Все очень просто, – отвечал мурец. – Два пальца значили, что нас с ним двое. Один – что сейчас останусь только я. А колечко значило, что вокруг него растопится лед, и черная пучина океана поглотит его навеки. Но он не понял ни первого, ни второго, ни третьего.

– О великий мудрец! – воскликнули изумленные крионидыы. – Но как же ты решился показывать такие знаки этому страшному злодею?! Только подумай, что было бы, если бы он тебя понял и не удивился?! Он бы не нагрелся тогда и не провалился в бездонную пучину!..

– Ну уж этого я не опасался совсем, – отвечал с холодной усмешкой Барион Ледоустый, – поскольку заранее знал, что он ничего не поймет. Если бы он имел хоть крупицу разума, не прилетел бы к нам. Что пользы существу, живущему под солнцем, от таких драгоценностей, как замерзшие газы или звезды из льда?

Крионидыы же в очередной раз подивились мудрости своего мудреца и разошлись успокоенные по домам, где царил милый их сердцу холод. С той поры никто больше не пытался напасть на Крионию, ибо перевелись глупцы во Вселенной, хотя некоторые уверяют, что их еще достаточно, только они дороги не знают.

Урановые уши [2]

Жил некогда инженер-космогоник, зажигавший звезды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда еще

полно было в ней черных туч. Сперва скрутил он громадный вихрь, а когда тот закружился, достал Космогоник свои лучи. Было их три: красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звездный шар первым лучом, и получился красный гигант, но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику: «Присмотри-ка за нею!» – а сам другие звезды пошел зажигать. Ждет ученик тысячу лет и еще тысячу, а инженера все нет. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, и из белой стала она голубой. Это ему понравилось, и решил он, что уже все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему Космогоник, а в ларчике пусто, и даже как-то чересчур пусто: смотришь – и дна не видишь. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал как. Взял он ларчик и бросил в огонь. Вспыхнули облака Андромеды, словно сто тысяч солнц, и стало во всей туманности светло как днем. Обрадовался ученик, да недолгой была его радость, потому что звезда лопнула. Завидев беду, прилетел Космогоник и, чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал он газовую, вторую углеродную, а для третьей остались металлы, всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его Космогоник, запустил в полет и сказал: «Через сто миллионов лет вернусь и погляжу, что получилось». И помчался на поиски ученика, который со страху сбежал.

А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по Актинурии и мог ходить, затем что на прочих планетах земля под ним проседала, а стоило ему крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали палатиниды тихонечко и голоса не смели повысить, ибо владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из платиновой скалы, а во дворце имелось шестьсот огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля, настолько он был громаден. Выйти из дворца Архиторий не мог, но повсюду имел шпионов, до того он был подозрителен; и к тому же изводил подданных своей алчностью.

Ночью не нуждались палатиниды ни в лампах, ни в ином освещении, поскольку все горы у них на планете были радиоактивные и даже в новолуние можно было запросто собирать иголки. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в горных своих подземельях и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладий и платину, бросать куски урана и объявил об этом по всей державе. Каждому

палатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачали в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлем и забрало, и все это самосветящееся, ибо доспехи были из уранового листа; всего же сильнее светились уши.

Отныне палатиниды не могли собираться на общий совет, ведь скопление слишком уж кучное – взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг дружку подальше из страха перед цепною реакцией. Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями. А его монетные дворы в сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, поскольку свинец был особенно редок на Актинурии и цену имел наибольшую.

Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели мятеж учинить и пытались объясниться жестами, но напрасно: всегда оказывался меж них кто-нибудь не слишком смышленый, и, когда он подходил поближе, чтобы спросить, в чем дело, из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух.

Жил на Актинурии молодой изобретатель по имени Пирон, который навострился тянуть из платины проволоку до того тонкую, что годилась на сети для ловли облаков. Изобрел он и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что уже его не было; так появился беспроволочный телеграф. Надеждой исполнились палатиниды, решив, что теперь-то сплетут они заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры, в каждой из своих шестисот рук держа платиновый проводник, и знал, о чем говорят его подданные; услышав слово «бунт» либо «мятеж», тотчас насылал он молнии-шаровики, и оставалась от заговорщиков одна лишь лужа пылающая.

Решил Пирон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт» говорил он «боты», вместо «конспирировать» – «тачать» и так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это подданные его занялись вдруг башмачным ремеслом. Не знал он, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а «тесные башмаки» означают его тиранию. Но товарищи тоже не всегда понимали Пирона, ведь говорить с ними он мог не иначе как башмачною речью. Толковал он им так и этак и, видя их непонятливость, как-то раз опрометчиво телеграфировал: «Шкуру плутониевую дубить» – вроде бы на башмаки. Тут король ужаснулся, ведь плутоний – ближайший родич урана, а уран – тория; недаром сам он Архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили Пирона и бросили его

на свинцовый паркет к ногам короля. Пирон ни в чем не признался, однако король заточил его в палладиевой башне.

Всякая надежда покинула палатинидов, но пробил час, и вернулся в их края Космогоник, творец трех планет. Пригляделся он издали к порядкам на Актинурии и сказал себе: «Так быть не должно!» После чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение, поместил в нем, как в коконе, свое тело, чтобы дожидалось его возвращения, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился.

Когда темнотою покрылось все вокруг и лишь далекие горы холодным кольцом освещали платиновую долину, Космогоник попробовал подойти к подданным Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом; он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой томился закованный Пирон. Увидел его Пирон сквозь решетку, и показался ему Космогоник, хоть и в обличье скромного робота, не похожим на прочих палатинидов: ибо он не светился во тьме, но был темен, как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Пирон, но уста у него были завинчены; только и смог он, что высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогоник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешеченное окошко. А Пирон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он Космогонику всю правду.

– Терпи и жди, – отвечал ему инженер, – и дождешься.

Пошел Космогоник в самые глухие актинурийские горы и три дня искал кристаллы кадмия, а нашедши, раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из кадмиевого листа выкроил шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ибо дело было зимой.

Ночью появился средь них Космогоник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте: «Можете сходиться без опаски, кадмий убережет вас от урановой гибели». Они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогоник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там руды урановой, выплавил из нее серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов; на одной стороне сиял профиль Архитория, на другой – изображение его шестисот рук.

Нагруженный урановыми дукатами, воротился Космогоник в долину и показал палатинидам диво дивное: бросал дукаты

подальше от себя, один на другой, так что выросла из них звенящая горка; а когда добавил дукат сверх положенной меры, воздух содрогнулся, брызнуло из дукатов сияние и обратились они в белый пламенеющий шар; когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале.

В другой раз принялся Космогоник дукаты бросать из мешка, но уже иначе: бросит монету и тотчас прикроет ее кадмиевой плиткой, и, хотя выросла горка вшестеро больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды, сгрудились и с величайшей охотой немедля заговор против Архитория учинили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как, ведь дворец окружала огненная стена, а на разводном мосту стояла палаческая машина, и всякого, кто не знал пароля, кромсала она на куски.

Меж тем подошел срок выплаты новой подати, алчным королем установленной. Раздал Космогоник палатинидам урановые дукаты и наказал выплачивать ими подать; так они и сделали.

Радовался король, видя, как много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу, а того он не знал, что не свинцовые они, а урановые. Ночью Космогоник растопил решетку темницы и вызволил Пирона, а когда они молча шли долиной в сиянии радиоактивных гор, которые, словно целое кольцо лун, опоясали горизонт, вдруг вспыхнул ужасающий свет: это груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую Архитория, и мощь взрыва была такова, что шестьсот оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии, Пирон стал ее справедливым правителем, Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и полетел опять зажигать звезды. А шестьсот Архиториевых рук доныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурново, и чудным сияют блеском, стократ сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор, и радостно говорят палатиниды: «Вон Архиторий по небу катится!» Поскольку же многие и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловье, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических: «Покатился кат на закат!»

Как Эрг Самовозбудитель бледнотика одолел [3]

Могучий король Болидар любил диковины всяческие, собиранием коих без устали занимался, нередко ради них

забывая о важных делах государственных. Было у него собранье часов, а средь них часы-плясуны, часы-зорьки и часы-тучки. Еще собирал он чучела существ из самых дальних закоулков Вселенной, а в особой зале, под колоколом стеклянным, помещалось редчайшее существо, называемое Гомосом Антропосом, до невероятия бледное, двуногое, и даже с глазами, хотя и пустыми, так что король повелел вложить в них два чудесных рубина, чтобы Гомос красным взором смотрел. Подгуляв, Болидар особенно милых ему гостей приглашал в эту залу и показывал им чудовище.

Как-то раз принимал король у себя электроведа столь дряхлого, что в кристаллах его разум малость уже мешался от старости; тем не менее электровед сей, именуемый Халазоном, был истинный кладезь премудрости галактической. Сказывали, будто знает он, как, нанизывая фотоны на нитки, получать светоносные ожерелья и даже как живого Антропоса поймать. Зная слабость его, король велел немедля открыть погреба; электровед от угощения не отказывался, когда же хлебнул из бутыли лейденской лишку и пронизали корпус его приятные токи, открыл он монарху страшную тайну и обещал изловить для него Антропоса, повелителя одного средизвездного племени. Цену назначил немалую: столько брильянтов величиною с кулак, сколько будет Антропос весить, – но король и глазом не моргнул.

Халазон отправился в путь, король же начал похваляться перед тронным советом будущим приобретением; а впрочем, все равно не мог уже этого скрыть, ибо в замковом парке, где росли великолепнейшие кристаллы, велел построить клетку из толстых железных прутьев. Тревога вселилась в придворных. Видя решимость владыки, позвали они во дворец двух мудрецов-гомологов, коих король принял с ласковостью, желая узнать, что многоведы эти, Саламид с Таладоном, могут поведать о бледном созданье такого, чего он сам бы не знал.

– Верно ли, – спросил он, едва лишь те, почтительнейше ему поклонившись, поднялись с колен, – что Гомос мягче воска?

– Верно, Ваша Ясность, – ответили оба.

– А верно ли, что щелка, расположенная в нижней части его лица, может издавать различные звуки?

– Верно, Ваше Величество, как верно и то, что в ту же самую щель Гомос запихивает всякие вещи, а после, двигая нижнею частью головы, которая к верхней шарнирами крепится, размельчает эти предметы и втягивает их в свое нутро.

– Странный обычай; впрочем, я о нем слышал, – молвил король. – Но скажите мне, мудрецы, для чего он так делает?

– В этой материи, государь, четыре существуют теории, –

отвечали гомологи. – Первая – что так избавляется Антропос от лишнего яда (ибо ядовит он неслыханно). Вторая – что причиной тому любовь к разрушению, которое ему милее всех прочих утех. Третья – что это он из-за жадности, ибо все поглотил бы, если бы мог. Четвертая…

– Довольно, довольно! – сказал король. – Правда ли, что он состоит из воды, однако же непрозрачен, как эта вот кукла?

– И это правда! Есть у него, государь, в середке множество трубочек склизких, а по ним циркулируют воды: одни желтые, другие жемчужные, но более всего красных – и те переносят смертельный яд, именуемый кислотородом, который чего ни коснется, все обращает в ржавчину или пламя. Оттого-то и сам он переливается жемчужно, желто и розово. Однако, Ваше Величество, покорнейше просим отрешиться от мысли доставить сюда живого Гомоса, ибо тварь сия могущественна и зловредна как никакая другая…

– Ну-ка, растолкуйте мне это пообстоятельнее, – молвил король, делая вид, что готов последовать мудрым советам. На самом же деле он лишь желал насытить великое свое любопытство.

– Существа, к которым принадлежит Гомос, зовутся тряскими, государь. Таковы силиконцы и протеиды; первые консистенции более плотной, и зовут их черствяками, или студенышами; вторые, пожиже, у разных авторов носят разные имена, как-то: липуны, или липачи, – у Полломедера, склизнявцы, или клееватые, – у Трицефалоса Арборубского, наконец, Анальцимандр Медянец прозвал их клееглазыми хляботрясами…

– А правда ли, что даже глаза у них склизкие? – живо спросил король Болидар.

– Правда, государь. Твари эти, с виду немощные и хрупкие настолько, что довольно им упасть с высоты в шестьдесят футов, чтоб расплескаться красною лужей, ввиду прирожденной хитрости и коварства опаснее всех вместе взятых звездоворотов и рифов Астрического Кольца! А потому, государь, заклинаем тебя, ради блага державы…

– Ладно, ладно, любезные, – прервал их король. – Идите, а я поступлю с надлежащею осмотрительностью.

Отвесили гомологи глубокий поклон и ушли в тревоге, ибо чувствовали, что не оставил грозного замысла король Болидар.

В скором времени, ночью, звездный корабль привез огромные ящики; тотчас перенесли их в замковый парк, и вот уже отворились золотые ворота для всех королевских подданных; под алмазными кущами, меж яшмовых беседок резных и диковин

мраморных увидел народ железную клетку, а в ней существо бледное, гибкое, сидевшее на бочонке, перед мискою с чем-то чудным, что пахло смазочным маслом, однако испорченным – подгоревшим и уже непригодным к употреблению. Но чудовище преспокойнейшим образом окунало в миску что-то вроде лопатки и, набирая с верхом, пропихивало смазанную маслом субстанцию в лицевое отверстие.

Прочитавши надпись на клетке, зрители онемели от ужаса, ибо надпись гласила, что перед ними Антропос Гомос, живой, настоящий бледнотик. Тут давай простонародье его дразнить, и тогда Гомос встал, зачерпнул из бочонка, на котором сидел, и начал плескать в толпу смертоносной водой. Кто побежал наутек, кто хватался за камни, дабы гадину порешить, но стража тотчас разогнала зевак.

О случае этом проведала королевская дочь, Электрина. Видать, любопытством она была вся в отца, поскольку не побоялась приблизиться к клетке, в которой чудище проводило время, почесываясь и поглощая такую бездну воды и масла испорченного, какой хватило бы, чтобы убить на месте сто королевских подданных враз.

Гомос скоро научился разумной речи и даже дерзал заговаривать с Электриной.

Спросила раз королевна, что такое белеет у него в пасти.

– Я называю это зубами, – ответил бледнотик.

– Дай хоть один через прутья! – попросила королевна.

– А что я за это получу? – спросил он.

– Мой золотой ключик, но лишь на минутку.

– Что еще за ключик такой?

– Мой собственный, коим ежевечерне разум заводится. Ведь он и у тебя должен быть.

– Мой ключик на твой не похож, – ответил бледнотик уклончиво. – А где он у тебя?

– Здесь, на груди, под золотой крышечкой.

– Давай-ка его сюда…

– А зуб дашь?

– Дам…

Отвинтила королевна золотой винтик, открыла крышечку, вынула золотой ключик и протянула через решетку. Бледнотик жадно его схватил и, хохоча, убежал в глубь клетки. И как ни просила его королевна, как ни молила, все было напрасно. Никому не решилась Электрина признаться в своей оплошности и в великой печали вернулась в покои дворца. Поступила она неразумно, да ведь и годы ее были почти что детские. Наутро слуги нашли королевну лежащей без памяти на ложе

хрустальном. Прибежали король с королевой и весь их двор, а Электрина лежала словно в глубоком сне, однако разбудить ее никак не могли. Кликнул король кибер-клиницистов, механиков-интернистов, лекарей-ключарей, а те, обследовав королевну, увидели, что крышечка золотая открыта, а ни винтика, ни ключика нет! Шум и гвалт поднялись во дворце, все носились в поисках ключика, но напрасно. Назавтра безутешному королю доложили, что его бледнотик желает с ним говорить о пропаже. Король немедля сам отправился в парк, а страшилище заявило ему, что знает, где обронен королевною ключик, но скажет не прежде, чем король своим королевским словом поклянется дать ему волю и подарит ему корабль-звездоход, чтобы мог он вернуться к своим. Долго не соглашался король, велел обыскать весь парк, но в конце концов принял эти условия. И вот снарядили корабль в полет, а бледнотика вывели под стражей из клетки. Король ждал у звездохода; Антропос, однако ж, сказал, что ничего ему не откроет, пока на палубу не взойдет.

Когда же он там оказался, то высунул голову в окошечко форточное и, показывая сверкающий ключик, закричал:

– Вот он, ваш ключик! Я забираю его с собой, чтобы дочь твоя никогда не проснулась, ибо хочу отомстить за то, что ты меня опозорил, выставив на потеху в клетке железной!

Бухнул из-под кормы звездохода огонь, и корабль умчался ко всеобщему изумлению. Послал король вдогонку самые быстрые космоплавы стальные и миголеты, да только команды их воротились ни с чем, ибо хитрый бледнотик запутал следы и ушел от погони.

Понял король Болидар, как оплошал он, не послушавшись гомологов-мудрецов, да крепок был только задним умом. Лучшие ключники-заводилы старались ключик под замок подогнать, Главный коронный ключмейстер, обточники и замочники королевские, сталедворцы и златодворцы, киберграфы-искусники – все съезжались умение свое выказать, однако впустую. Понял король, что надобно ключик, бледнотиком увезенный, сыскать, иначе навеки покроются тьмою дочернины чувства и разум.

И возвестил он по всему государству, что так, мол, и так, антропический Гомос-бледнотик ключик золотой умыкнул, и кто оного Гомоса изловит или хоть ключик животворный отыщет и королевну разбудит, возьмет ее в жены и вступит на трон.

Тотчас съехались толпами смельчаки всякого рода. Были средь них электрыцари славные, были прощелыги и плуты, астроворы и звездохапы; прибыл во дворец Хранислав Мегаватт, знаменитый осциллятор-рубака, с такой невероятною обратною связью, что никто в поединке не мог пред ним устоять; прибывали

витязи-самодейцы из самых дальних сторон: два Автоматея-поспешника, закаленные в сотне сражений, Протезий, достославный конструкционист, который иначе как в двух искроглотах, одном черном, другом серебряном, не хаживал; приехал Арбитрон Космозофович, из пракристаллов построенный, с фигурой изумительно стрельчатой, и Палибаба-интеллектрик, который на сорока робослах в осьмидесяти сундуках привез старую цифровую машину, от мышления проржавевшую, но мозговитости редкостной. Прибыли трое мужей из рода Селектритов, Диодий, Триодий и Гептодий, у коих в мозгах царила такая абсолютная пустота, что мышленье их было черным, как беззвездная ночь. Прибыл Перпетуан, в доспехах лейденских с головы до пят, с коллектором, потемневшим в трехстах битвах; прибыл Матриций Перфорат, который дня не мог прожить без того, чтоб кого-нибудь крепко не поцифровать, и с собою привез непобедимого ловкодава по кличке Ампер. Съехались все, а когда замковый двор был уже полон, прикатил к его воротам бочонок, а из него наподобие ртутных капель вытек Эрг Самовозбудитель, способный любые принимать формы.

Попировали герои, озарив собой дворцовые залы, так что перекрытия мраморные зарозовели, словно облачка на вечерней заре, и отправились каждый своей дорогой, чтобы бледнотика отыскать, на бой его вызвать смертельный и ключик добыть, а с ним – королевну и трон Болидаров. Первый, Хранислав Мегаватт, полетел на Кольдею, где обитает племя желейников, ибо замыслил взять у них языка. Нырял он в их жиже желейной, ударами телеуправляемой шпаги прокладывал себе дорогу, но ничего не добыл, затем что слишком уж распалился, и отказало у него охлаждение, и нашел несравненный рубака могилу среди чужих, а доблестные его катоды нечистая жижа желейников поглотила навеки.

Двое Автоматеев-поспешников попали в страну радомантов, которые из газов светящихся зданья возводят, лучетворчеством пробавляясь, а скаредны они до того, что ежевечерне пересчитывают все атомы своей планеты; плохо приняли скупцы-радоманты Автоматеев: показали им бездну, полную ониксов, малахитов, аметистов, шпинелей, а когда прельстились сокровищами электрыцари, побили их радоманты камнями, обрушив с высот самоцветов лавину; и когда катилась она, сияние залило всю окрестность, словно при падении стоцветных комет. Ибо были радоманты с бледнотиками в тайном союзе, о котором никто не знал.

Третий, Протезий-конструкционист, добрался, после долгих странствий сквозь мрак средизвездный, до страны альгонцев. Там

блуждают каменные метеоритные грады; врезался в неиссякаемую их череду корабль Протезия и с разбитыми рулями дрейфовал по глубинам, а когда приближался к дальним солнцам, пятна света ощупывали зрачки смельчака-горемыки. Четвертому, Арбитрону Космозофовичу, поначалу посчастливилось больше. Проскочил он теснину Андромедскую, прошел четыре спиральных вихря Гончих и выплыл в спокойную пустоту, удобную для звездоплаванья светового; и сам, как пламень резвый, на руль налегал и, пламенеющим хвостом отмечая свой путь, пристал наконец к берегам Виртуозии, где меж метеоритных камней увидел разбитый остов корабля, на котором отправился в путь Протезий. Похоронил он корпус конструкциониста, словно при жизни могучий, сверкающий и холодный, под базальтовой грудой, но прежде снял с него оба искроглота, серебряный и черный, чтобы щитами ему служили, и пошел напрямик. Дикой и гористой была Виртуозия, то и дело громыхали на ней камнепады да мелькали серебряные побеги молний в тучах, над безднами. Витязь забрался в страну ущелий; здесь, в малахитовом зеленом яру, напали на него палиндромиты. Молниями секли его с высоты, а он отражал их удары щитом-искроглотом; тогда передвинули они вулкан, жерло навели ему в спину и пальнули огнем. Пал рыцарь, кипящая лава хлынула в его череп, и вытекло из него все серебро.

Пятый, Палибаба-интеллектрик, никуда не отправился, а, остановившись тут же за границей Болидарова королевства, пустил робослов на звездные пастбища; сам же принялся машину монтировать, налаживать, программировать и между осьмьюдесятью ее сундучищами бегать, а когда насытились они током и набухла машина разумом, начал он ей задавать вопросы, строгим манером обдуманные: где обитает бледнотик? как к нему путь отыскать? как его одурачить? как в сети поймать, чтобы ключик отдал? А так как ответы были неясные и уклончивые, распалился он гневом и такую задал машине трепку, что медь ее разогрелась и стала вонять, и до тех пор охаживал он ее и дубасил, восклицая: «А ну, говори мне всю правду, проклятая! Цифрушенция старая!», пока контакты ее не расплавились, и потекло с них серебряными слезами олово, и охладительные трубы с грохотом лопнули, перегревшись, и остался стоять он, взбешенный и с палкой в руке, над почерневшим остовом.

Пришлось ему ни с чем возвращаться. Заказал он машину новую, но увидел ее лишь через четыреста лет.

Шестым был поход селектритов. Диодий, Триодий и Гептодий принялись за дело иначе. Имея запасы неистощимые трития, лития и дейтерия, порешили они форсировать взрывами

тяжелого водорода все дороги в страну бледнотиков. Только не знали они, где начало этим дорогам. Хотели спросить огнеглавых, но те укрылись за золотыми стенами стольного града и пламенами отбрыкивались; пошли бесстрашные селектриты на приступ, дейтерия и трития не жалея, так что пекло разверзшихся атомных ядер в самые звезды небу заглядывало. Стены града сверкали золотом, но в огне открылась их истинная природа: были они воздвигнуты из пиритов-искритов и теперь превращались в желтые тучи серного дыма. Там пал Диодий, затоптанный огненогими, и брызнул разум его, как букет многоцветных кристаллов, осыпая панцирь. Схоронили его в гробнице из черного оливина, и отправились витязи дальше, к границам Огнепального царства, коим правил царь Астроцид-звездобойца. Была у него сокровищница, полная огненных ядер, содранных с белых карликов, да таких тяжеленных, что только страшная сила магнитов дворцовых удерживала их от падения сквозь землю, в самую глубь планеты. Тот, кто на планету ступил, не мог ни рукой шевельнуть, ни ногой, ибо преогромное тяготение сковывало вернее, нежели болты и цепи. Тяжко пришлось Триодию с Гептодием; Астроцид, завидев их у замковых бастионов, стал выкатывать белых карликов одного за другим и огнедышащие их туши витязям прямо в лицо пускать. Все же одолели они его, а он им открыл, какая дорога ведет к бледнотикам, но обманул их, затем что и сам он дороги не знал, а только хотел избавиться от страшных воителей. И вошли они в черную сердцевину тьмы, где Триодия неведомо кто застрелил из пищали антиматерией – может, кто-то из кибернюхов-охотников, а может, то был самопал, поставленный на комету бесхвостую. Как бы то ни было, Триодий исчез, успев только выкрикнуть «Аврук!!!», любимое слово, боевой клич его рода. Гептодий же упорно пробивался вперед, но и его ожидала печальная участь. Застрял его корабль меж двумя гравитационными вихрями, Бахридой и Сцинтией именуемыми; Бахрида время ускоряет, а Сцинтия замедляет, и есть между ними промежуток стоячий, в котором минуты ни вперед, ни назад не текут. Замер там Гептодий живьем и висит, вместе с бессчетными фрегатами и галионами прочих астровитязей, пиратов и мракоходов, ничуть не старея, в безмолвии и прежестокой скуке, имя которой Вечность.

А когда закончился горестно поход троих селектритов, Перпетуан, киберграф Баламский, коему надлежало отправляться седьмым, долго не трогался в путь. Долго сей электрыцарь в поход снаряжался, все более острые прилаживая себе громоотводы, выбирая все более смертоносные искрометы,

огнеплювы и врагокосилки; по натуре весьма рассудительный, задумал он идти во главе верной дружины. Стекались под знамена его конквистадоры, немало явилось безроботов, которые, иного не имея занятья, охотники были повоевать. Сформировал из них Перпетуан галактическую кавалерию, отличную, тяжелую, бронированную, которую кибер-кирасирами, иначе киберасирами, именуют, и несколько летучих гусарско-слесарских отрядов. Однако при мысли, что должно ему идти и жизнь положить в неведомых странах, что в какой-то луже случайной он во ржу обратится, подогнулись под ним железные голени, грусть-кручина его одолела, и воротился он тотчас домой, из горести и стыда слезы роняя топазовые, ибо был он вельможа могущественный, с душою, сокровищ полной.

Предпоследний же, Матриций Перфорат, разумно взялся за дело. Слышал он о стране пигмелиантов, робокарликов, род которых возник из промашки конструкторской: поскользнулся рейсфедер на чертежной доске и с матричной формы сошли они горбатыми все до единого, а поскольку переделка не окупалась, так уж оно и осталось. Как другие собирают сокровища, так они собирают знания, за что и прозвали их охотниками за Абсолютом.

Мудрость их в том состоит, что они копят знания, не пользуясь ими; к ним-то и направился Перфорат, однако не военным манером, но на галионах, палубы коих ломились от всевозможных даров; решил он снискать их милость облачениями богатыми, позитронами изукрашенными и нейтронным дождем пронизанными, вез им атомы золота в четыре кулака толщиной и бутыли, в коих колыхались редчайшие ионозефиры. Но не прельстились пигмелианты даже пустотой благородной, расшитой волновыми узорами красивейших спектров астральных; и напрасно он в гневе грозился спустить на них электрычащего своего ловкодава. В конце концов дали они ему провожатого, но тот был мириадоруким вьюном и все направления сразу показывал.

Прогнал его Перфора***Tun***устил ловкодава по следу бледнотиков, да только след оказался ложным; калиевая там пробегала комета, а ловкодав простодушный, Ампер, калий принял за кальций, из коего преимущественно и состоит бледнотиковый скелет. Отсюда ошибка. Долго блуждал Перфорат среди солнц все более темных, ибо забрался в древнейшие урочища Космоса.

Шел он сквозь анфилады гигантов пурпурных, пока не увидел, что его звездоход вместе с безмолвною свитою звезд в зеркале отразился спиральном, в среброкожем рефлекторе; удивился он и на всякий случай взял в руки гасильник

Сверхновых, купленный у пигмелиантов, чтоб уберечься от нещадного зноя на Млечном Пути; не знал он, что видит, а это был узел пространства, его наиплотнейший факториал, даже тамошним моноастритам неведомый; только и известно о нем, что кто туда попадет, уже не вернется. Неизвестно поныне, что стало с Матрицием в этой мельнице звездной; верный его Ампер один прибежал домой, тихонько воя на пустоту, а его сапфировые глазищи таким полыхали ужасом, что никто не мог заглянуть в них без дрожи. Однако же ни гасильников, ни Матриция никто с той поры не видал.

Последним отправился в одинокий поход Эрг Самовозбудитель. Не было его год и еще шесть недель. Когда же вернулся, поведал о странах, никому не известных, – о стране перискоков, что строят кипящие ядометы; о планете клейстерооких – те сливались у него на глазах в ряды черных валов, ибо так поступают они в опасности, а он надвое их рассекал, пока не обнажилась известковая скала, их кость; когда же одолел он их мордопады, оказался прямо перед мордой громадной, вполнеба, и ринулся на нее, чтоб дорогу узнать, и лопалась кожа ее под ударами его огнемечущего меча, и обнажались сплетающиеся, белые заросли нервов. Сказывал он о планете из чистого льда, прозрачнейшей Аберрации, которая, наподобие лупы алмазной, вмещает картину целого Космоса; там срисовал он дорогу в страну бледнотиков. Толковал об Алюмнии Криотрической, стране молчания вечного, где видел лишь сияние звезд, в макушках подвешенных ледников отраженное, о королевстве бесформенных мармелоидов, которые финтифлюхи кипящие лепят из лавы, об электропневматиках, что в парах метана, в озоне, хлоре и дыму вулканическом искру разума могут разжечь и неустанно бьются над тем, как мыслящий гений в газ воплотить. Рассказывал, как пришлось ему, чтобы проникнуть в страну бледнотиков, высадить двери солнца, называемого Головою Медузы, и как, снявши оные с хроматических петель, он сквозь звездное нутро пробежал, сквозь сплошные ряды лилового и бело-голубого огня, а доспехи на нем от жара свивались. Как тридцать дней кряду старался он отгадать слово, коим приводится в действие катапульта Астропрокионии – единственные врата в студеное пекло тряских существ; как он среди них наконец очутился, а те пытались уловить его в липкие тенета свои, выбить из головы у него ртуть или довести до короткого замыкания; как завлекали его, показывая звезды-уродцы, но то было якобы-небо, а настоящее они из хитрости спрятали; как пытками хотели вытянуть из него его алгоритм, когда же он все это выдержал, заманили его в западню и скалой

магнетитовой придавили, а он в ней тотчас размножился в бессчетные полчища Эргов, крышку железного гроба сдвинул, наружу вышел и строгий суд чинил над бледнотиками – месяц и еще пять дней; как последним усилием бросили они на него гусеничных панцирных чудищ, бронеползами именуемых, но и это их не спасло, ибо он, не остывая в запале бойцовском, рубил, колол и крошил и так их умучил, что они того негодяя, бледнотика-ключекрада, приволокли прямо к его стопам, а Эрг отсек его мерзкую голову, тушу выпотрошил и нашел в ней камень-трихобезоар с надписью на хищном бледнотиковом наречии, и из надписи этой узнал, где обретается ключик. Шестьдесят семь солнц, белых, голубых и рубиново-алых, распорол Самовозбудитель, прежде чем натолкнулся на нужное и ключик нашел.

О том, что с ним приключилось на обратном пути, о битвах, которые пришлось ему выдержать, он уже говорить не хотел, так его влекло к королевне, да и к свадьбе с коронацией тоже. С великою радостью король с королевой провели его к дочери, которая молчала, как камень, объятая сном. Эрг склонился над ней, возле крышечки открытой поколдовал, что-то туда воткнул, покрутил, и вдруг королевна, к восхищению матери, короля и придворных, глаза приоткрыла и улыбнулась спасителю своему. Эрг крышечку закрыл, залепил пластырем, чтобы не открывалась, и пояснил, что винтик он отыскал тоже, да обронил его в битве с Полеандром Партобоном, кесарем Ятапургии. Но никто этому значения не придал, а напрасно, ведь тогда увидели бы король с королевой, что никуда он не отправлялся, а просто с малолетства владел искусством открывать любые замки, благодаря чему и завел королевну Электрину. Так что не изведал он ни одного из описанных им приключений, а лишь переждал год и еще шесть недель, чтобы кто не подумал, что слишком уж скоро отыскалась пропажа, а вдобавок желал увериться, что никто из соперников его не вернулся. Лишь тогда явился он ко двору Болидара, королевне жизнь возвратил, взял ее в жены и на троне Болидаровом правил долго и счастливо, и обман его никогда не открылся. Отсюда и видно, что не сказку мы рассказали, а быль, ибо в сказках добродетель всегда побеждает.

Сокровища короля Бискаляра [4]

Король Бискаляр из Ципрозии славен был богатствами немереными, накопленными в его дворце. В сокровищнице своей имел он все, что только можно скопить из золота белого и желтого, из урана и платины, из амфиболита, рубинов, ониксов и

аметистовых кристаллов. Любил он бродить по колени в драгоценностях и бриллиантах и говорил, что нет такой ценной вещи, каковой бы он ни обладал.

Весть об эдакой королевской надменности дошла до одного знаменитого конструктора, который некогда был великим складовщиком и закройщиком Виздомара, господина Диад и Триад, звездных шаровых скоплений. Отправился конструктор ко двору Бискаляра и там приказал отвести себя пред лицо короля, а когда увиделись они в тронном зале, где король сидел на кресле, из двух гигантских бриллиантов вырезанном, то не стал конструктор дивиться золотым плиткам пола, черным агатам украшенным, но сказал королю напрямик, что если тот покажет ему список своих драгоценностей, то тогда он, конструктор Креаций, тут же покажет королю драгоценность, какой нет в сокровищнице.

– Хорошо, – сказал Бискаляр, – но ежели тебе такое не удастся, то магнитами стану тебя по серебряному моему подворью волочить, золотые гвозди в тебя вколочу, а череп твой, в иридий оправленный, повешу после на солнечных вратах хвастунам на устрашение!

И тотчас принесли список королевских богатств, который сто сорок электронных писцов шесть лет в наивысшей поспешности писали.

Креаций приказал отнести фолианты в черную башню, что король отдал ему на три дня на проживание, и затворился там, а на второй день встал перед Бискаляром. Король же к приходу его такими сокровищами себя окружил, что от бело-золотых отблесков слепли глаза; но Креаций, не обратив на то внимания, попросил, чтоб принесли ему корзинку обычного песка, земли или мусора. Когда же сделали так, высыпал он серо-бурую массу на золото пола и воткнул туда вещицу, которую держал двумя пальцами – столь мелкую, что походила она на негаснущую искорку. Искра тотчас вгрызлась в серую кучку, и на удивленных глазах Бискаляра превратила ее в живой бриллиант, что рос, пульсируя светом, звуча, делаясь все больше и прекрасней, пока не затмил мертвую красоту драгоценностей, а присутствующим пришлось зажмурить глаза, пораженным красотой, чей избыток оказались они не в силах вынести – а та еще и увеличивалась. Тут и сам король прикрыл лицо и крикнул: «Довольно!», – а Креаций-конструктор поклонился и вторую – черную – искорку положил на распустившемся самоцвете, и тот в единый миг снова стал лишь серо-бурым комком спекшейся земли.

Тогда великий гнев и зависть охватили короля Бискаляра.

– За то, что ты меня посрамил, грозит тебе казнь от моей

руки, – сказал он. – Но чтобы не говорили, будто я тебя подло пленил и, противу слова моего королевского, приказал волочить и четвертовать, дам я тебе три испытания. Ежели выйдешь из них в целости и сохранности, отпущу тебя на свободу подобру-поздорову. Но если испытаний тех не одолеешь, горе тебе, пришелец!

Ничего не сказал Креаций, стоял спокойно, а Бискаляр продолжил:

– И вот первое испытание: если ты, как похвалялся, все можешь сделать, то войди в мою подземную сокровищницу нынче ночью. А чтобы мог ты доказать, что добрался до самого ее сердца, скажу тебе: в ней – четыре уровня. И последний из них – бел как снег и пуст; одно лишь бриллиантовое пустое яйцо там стоит, а в нем – металлический шар. Завтра в полдень прибудь во дворец и яви его мне. Теперь же можешь идти.

Поклонился Креаций и вышел. А Бискаляр, жесткосердный, тем самым приготовил ему ловушку, ибо, даже если б конструктор сумел пробраться в сокровищницу, не смог бы он оттуда вынести металлический шар, поскольку был тот вырезан из чистого радия и страшнейшим излучением жег стены и мутил любой разум и за тысячу шагов.

Когда настала ночь, вышел Креаций из своей башни. Отправился ко дворцу и поодаль от цепочки стражи, что перекрикивалась со стен, сунул руку за пазуху, вынул маленькую шкатулку да положил на ладонь три искорки – и дохнул. Искорки те ярились белизной светло-жемчужной, объяли облаками охранников, и встал такой туман, что и в шаге ничего не было видать. Прошел Креаций меж стражей и спустился лестницей вниз, до самого зала, чей свод был из халцедона, стены из хризоберилла, а пол из изумрудов, отчего выглядел словно озеро промеж благородных скал; конструктор же узрел там дверь в сокровищницу, а перед нею черную членистоногую машину, а воздух над спиной ее выгибался, как над раскаленным стеклом.

– Скажи мне, – сказала машина, – что за место, где нет ни стен, ни запоров, ни решеток, но которого никто никогда не покинул и не покинет?

– Это место – Космос, – ответил конструктор.

Машина покачнулась на восьми ногах, да и пала на изумрудный пол с таким громом, словно кто обрезал часовые цепи, и противовесы их покатились по хрусталю. Креаций переступил ее, достал пурпурную искру и подошел к двери сокровищницы, сделанной из одного титанового блока. Выпустил он искру, что закружилась огненно и юркнула в замочную скважину. Через секунду высунулся оттуда белый зубец. Креаций

взялся за него, потянул, да и вынул пучок не то побегов, не то струн, которые из искры развились. Взглянул на него и прочел весть, что была там заключена.

«Славный, должно быть, мастер служил Бискаляру, – подумал, – если уж сумел поставить на сокровищницу замок атомный».

Ибо сокровищница и в самом деле не имела другого ключа, как только из атомного облачка; следовало этот газовый ключ выдохнуть в скважину, причем атомы редчайших элементов, гафния, технеция, ниобия и циркония, проворачивали штифты в определенном порядке, чтобы гигантские запоры вышли из своих гнезд, подталкиваемые электрическим током. Вышел конструктор из темного преддверия сокровищницы, покинул город и стал собирать в горах планеты нужные для дела атомы.

– Вот есть у меня шестьдесят миллионов ниобиевых, – сказал он себе за час до рассвета, – вот есть миллиард и семь штук цирконiевых, и вот сто шестнадцать гафниевых, но откуда взять мне технеций, если ни одного атома нет на этой планете?

Обратил конструктор взгляд к розовеющему небу, что обещало уже скорый восход солнца, и вдруг улыбнулся, поскольку понял, что атомы эти находятся на солнце. Хитрый Бискаляр спрятал ключ от своей сокровищницы на солнечной звезде! Креаций достал из поясной своей коробочки невидимую искру (была та из самого жесткого излучения) и выпустил ее из раскрытой ладони к белизне встающего солнца. Та зашипела коротко – и исчезла. Не прошло и пятнадцати минут, как задрожал воздух от атомов технеция, поскольку жар солнечный был еще в них, из самого солнца принесенных. Поймал их конструктор, как ловят жужжащее насекомое, закрыл вместе с другими в коробочке и отправился во дворец, поскольку время уже подгоняло.

Туман все еще поднимался, а потому стража не видела, как он бежал в подземелье и ключ газовый в замок задувал. Он же слышал, склонившись, как щелкают штифты, однако дверь даже не дрогнула.

– Неужто ошиблась искорка? Такое может головы мне стоить! – сказал Креаций и гневно ударил кулаком в дверь, и тогда последний атом технеция, с солнца принесенный, не до конца еще остывший и из-за того спутавший дорогу, провернул упрямый штифт, и дверь сокровищницы, что толщины была такой же, как и ширины, отворилась тихо.

Креаций вбежал внутрь, миновал комнату, зеленую от изумрудов, словно океан соленый, и вторую, синюю от сапфиров, словно в небо погруженную, и третью, что колола глаза

радужными иглами, бриллиантовую, пока не встал он в зале, как снег, белом, и яйцо бриллиантовое увидел, но сила излучения тут же помутила его рассудок, и потому он присел и скорчился на пороге, только теперь поняв королевское коварство.

Рассыпал он тогда вслепую из коробочки искры серые и черные, словно ночь, а те развернулись в пушистую стену, окружив его, и так-то он пошел к бриллиантовому яйцу. Так же он и возвращался, словно тучей лохматой окруженный, неся радиевый шар; закрыл дверь в сокровищницу и отправился во дворец, поскольку городские куранты принялись уже отбивать двенадцать, и Бискаляр потирал руки при мысли, как станет он волочить магнитами конструктора-насмешника.

Но раздались звонкие шаги и вспыхнуло сияние: это Креаций вошел в зал и покатил радиевый шар по полу так, что покатился тот к престолу королевскому, а по дороге меркло сияние драгоценностей и стены меркли от молчаливого излучения. Задрожал король, вскочил и спрятался за спинку трона. Сорока сильнейшим электрыцарям пришлось, прикрываясь свинцовыми щитами, медленно приблизиться на четвереньках к шару, жутко пылавшему, и, подталкивая его копьями, выкатить прочь из комнаты.

Тогда пришлось королю Бискаляру признать, что выполнил Креаций первое задание, и гнев, поднявшийся в сердце его, не знал предела.

– Поглядим, справишься ли со вторым, – сказал он. Приказал тотчас же взять его на борт космоплава, что направлялся к Луне, а был се шар пустынный, череп голый и мертвый, дикими скалами ощеренный. Там-то командир космоплава и сбросил Креация на скалы и сказал ему:

– Выберись отсюда, коли сумеешь, и завтра утром пред лицом короля предстань! А если не сумеешь – погибнешь!

Поскольку, даже если бы никто не прибыл покарать Креация, не сумел бы тот выжить в столь жуткой пустыне. Когда же остался он один, принялся исследовать враждебное место, где его оставили. Потянулся за испытанными искорками, однако не нашел их. Как видно, пока он спал, обыскали по королевскому приказу его одежду и украли спасительную коробочку.

– Нехорошо это, – сказал он себе. – Но пока что и не слишком худо. Потому что неминуемо проиграл бы я тогда лишь, когда б ум мой у меня украли!

На Луне был океан, совершенно замерзший. Конструктор камнем кремниевым, заострив тот, вырубил изо льда немало плит и выстроил из них островерхую башню; потом одну плиту ледяную выгладил как линзу, собрал ею солнечные лучи, чтобы

падали они на поверхность замерзшего океана, а когда в фокусе заискрилась вода, черпал ее Креаций руками и обливал ледяную башню. Вода замерзала, стекая, и спаивала ледяные плиты, облекая их поверхностью сверкающей и гладкой; и наконец встал конструктор перед ракетой кристаллической, из белого льда возведенной.

– Корабль у нас есть уже, – сказал. – Теперь лишь движитель нужен…

Обыскал он всю Луну, но и следа не нашел ни урана, ни других каких мощных элементов.

– Беда, – сказал он. – Но делать нечего, придется собственный разум надщербить…

И открыл свою голову. Ибо мозг его не из материи был сделан, но из антиматерии, и при функционировании его только тончайший слой магнитного отталкивания между стенками черепа и мыслительными кристаллическими полушариями удерживал. Вырезал Креаций отверстие в ледяной стене, вошел в ракету, затворил за собой дыру, водой полил, чтоб замерз вход, сел на ледяное дно и крошку, мельчайшую, словно песчинку, из головы взяв, бросил на лед перед собою.

Тотчас же страшная вспышка осветила его ледяную тюрьму, ракета затряслась, сквозь выбитое в дне ее отверстие рванулся огонь – и полетела ракета в пространство. Но ненадолго хватило ее разгона. Пришлось Креацию снова отщипнуть от разума своего, а потом и в третий раз, и в четвертый, и уже с опаской, ведь ощущал он, как уменьшается из-за этого и слабеет мозг. Но ракета как раз в ту пору добралась до планетарной атмосферы и стала падать, а трение воздуха растапливало ее, так что становилась она все меньше – но и все медленнее падала, пока не осталась от нее закопченная сосулька, но Креаций уже утвердился ногами на планете, голову закрыл, залудил и пошел быстро во дворец, поскольку часы уже отбивали двенадцать.

Остолбенел король, заискрились у него щеки и глаза, а лоб потемнел, окаленный кипящим гневом, поскольку был-то он уже уверен, что Креаций не вернется, если своих искр-помощниц лишился. Ведь король самолично велел затворить их в сокровищнице.

– Ладно! – сказал. – Пусть и так! Вот же тебе третье испытание – и довольно легкое, как полагаю… Открою врата города, чтоб ты выбежал из них, а по следу твоему пошлю свору роботов охотничьих, дабы они тебя гнали и рвали сталью на куски. Если сумеешь сбежать от них и встанешь предо мной завтра в эту самую пору, будешь свободным!

– Хорошо, – ответил конструктор, – но сперва прошу тебя

дать мне шпильку…

Рассмеялся король:

– Пусть и так будет, чтобы не говорили, будто я отказал тебе в милости. Подать же ему золотую шпильку!

– Прошу, чтобы дали мне простую, железную…

А когда получил ее, выбежал из города так быстро, что ветер свистел вокруг его головы. Засмеялся злобно король, глядя с крепостной стены на большую ту поспешность, ведь был уверен, что ничего конструктору не поможет. А тот мчался, разбрасывая песок ногами – и все время держал на запад. Таким-то образом пересек он магнитные линии планеты, дабы кончик шпильки его намагнитился, и когда подвесил он ее на нитке, из одежды выдернутой, закружилась шпилька и указала на север.

– Вот теперь есть у нас компас, вот и ладно, – сказал конструктор и прислушался, поскольку ветер донес до него звуки топота.

Это стая железных роботов выскочила из ворот с громким лаем и хриплым граем, мчась по следу его так, что даже пыль на горизонте встала столбом.

– Будь мои искорки при мне, – сказал Креаций, – я бы с тем быстро управился, гвоздики вы мои быстрые, но как-то да справлюсь с вами – благодаря тебе, шпилечка!

И побежал дальше так быстро, как только мог, внимательно за ней следя.

Ловчие королевские поставили стаю на его след так хорошо, что рванули гончие, словно кто метеор метнул; оглядываясь, видел конструктор, что вот-вот они его догонят, поскольку были то охотничьи роботы высокого напряжения и быстрого хода, приученные специально к выслеживанию. Солнце ржаво светило сквозь песчаную тучу, их галопом поднятую, и только и было что слыхать, как скрежещут они отчаянно шестеренками.

– Пустынный какой-то край, – сказал себе конструктор, – но сдается мне, что где-то неподалеку должен быть здесь рудник железный…

Подсказала ему это шпилечка, чуть отклонившись от севера, куда дотоле указывала.

И побежал конструктор в ту сторону, и скоро увидал шахту давным-давно покинутого рудника. Камень не скатывается по горному склону так быстро, как он скатился в бездну, лишь краями одежд голову завернув, чтобы она, кристаллическая, не раскололась.

Подбежали роботы к пустой шахте, крикнули железными своими голосами, почуяв след, и ринулись вниз.

Конструктор же вскочил на ноги и побежал штреком,

вырезанным в магнетитовой скале, но делал это особым образом: раз проскользнул, раз подскочил, будто весело ему, притопывал, словно в танце, искры подковками высекал, платком о скалу бил – так, что пыль ржавая встала, тучей скальные ходы наполнив. Роботы ворвались в эту тучу, и тут же мельчайшие опилки железные попали им в члены, так, что заскрипели их суставы, проникли в мозги их тяжелые, так, что и в глазах их заискрило, засорились их коллекторы, суставы и подшипники пылью железной, и потому бежали они, раскачиваясь от коротких замыканий, словно в икоте – и бежали все медленнее, а некоторые, одурев совершенно, башками в стены бились так, что из расколотых забрал выскакивали провода. А когда какой падал, то другой его стаптывал, чтобы и самому тотчас же скопытиться. Но другие продолжали за Креацием гнаться, тот же не переставал пыль железную поднимать. Не пробежал он и мили, как уже лишь трое железняков – едва живых – бежали следом, да и те раскачивались, будто пьяные, и сталкивались с таким треском, словно кто пустые железные бочки друг на друга пускал.

Встал конструктор во тьме и увидел, что двое уже бегут за ним – как видно, головы были у них крепче, чем у остальных.

– Плохо свора эта сделана, – сказал он себе, – если лишь двое не боятся пыли! Но и этих надобно победить…

Пал он на землю, весь в железной пыли вымазался, побежал навстречу гончим и крикнул:

– Стоять, именем короля Бискаляра!

– Кто ты таков? – спросил первый робот и втянул воздух в ноздри стальные – но лишь железо почуял, и ничего более.

– Робот я огнем каленный, током издали ведомый, клепаный с любого бока, в изоляции от тока, станьте тотчас предо мной, словно лист перед травой, да узрите чугунками, каков воин перед вами, как сверкает дух стальной перед вами под горой, глядя пристально сюда, а то будет вам беда, а кто слушаться не станет – трупом электронным станет!

– Так что же нам, собственно, делать? – спросили роботы, поскольку слова конструктора совершенно их ошеломили.

– Падите на колени! – пояснил им конструктор. Грохнулись они тогда на землю, он же, наклонившись, воткнул одному и второму шпильку в голову так, что фиолетовая вспышка от искр осветила стены. Оба робота с лязгом свалились, поскольку устроил он им короткое замыкание.

– Наверняка ведь Бискаляр полагает, что если и вернусь я, то в одиночестве, – сказал Креаций, ходя от одного робота к другому.

Каждому отворял он голову и переставлял проводочки

стальные, а когда очнулись они, то только его уже и слушались. Встал он тогда во главе своры и двинулся походом на столицу. Там во дворце приказал своим железным рабам схватить короля, лишил его трона, отворил сокровищницу для всех подданных тирана и, осчастливив их таким-то образом, поручил им, чтобы выбрали достойнейшего среди них королем. Сам же, взяв только коробочку с искрами, двинулся дорогой черной, звездами усеянной, и по сей день нею странствует, а потому раньше или позже наверняка и к нам заглянет.

Два чудовища [5]

Давным-давно средь черного бездорожья, на галактическом полюсе, в уединенном острове звездном, была шестерная система; пять ее солнц кружили поодиночке, шестое же имело планету из магматических скал, с яшмовым небом, а на планете росла и крепла держава аргенсов, или серебристых.

Среди гор черных, на равнинах белых стояли их города Илидар, Висмаилия, Синалост, но всех превосходнее была столица серебристых Этерна, днем сходная с ледником голубым, ночью – с выпуклою звездой. От метеоритов защищали ее висячие стены, и множество зданий высились в ней: хризопразовых – светлых как золото, турмалиновых и отлитых из мориона, а потому черней пустоты. Но всего прекрасней был дворец монархов аргенских, по принципам отрицательной архитектуры построенный, ибо зодчие не хотели ставить преград ни взору, ни мысли, и было это здание мнимым, математическим, без перекрытий, без крыш и без стен. Отсюда правил род Энергов всею планетой.

При короле Треопсе азмейские сидерийцы напали на державу Энергов с неба, металлическую Висмаилию астероидами обратили в сплошное кладбище и много иных поражений нанесли серебристым; и тогда молодой король Суммарий, полиарх почти что всеведущий, призвал хитроумнейших астротехников и повелел им окружить всю планету системой магнетических вихрей и гравитационными рвами, в которых столь стремительно мчалось время, что ступивший туда безрассудный пришелец не успевал и глазом моргнуть, как проходило сто миллионов лет, а то и больше, и рассыпался он от старости в прах, не успев даже увидеть зарево городов аргенских. Эти незримые бездны времени и магнетические засеки обороняли подступы к планете столь хорошо, что аргенсы смогли перейти в наступление. Пошли они войной на Азмею и принялись белое ее солнце бомбардировать и лучеметами долбить по нему, пока не разгорелся там ядерный

пожар; стало солнце Сверхновой и сожгло своим пламенем планету сидерийцев.

На долгие века воцарились в державе аргенсов покой, порядок и благоденствие. Не прекращался правящий род, и в день коронации каждый Энерг спускался в подземелье мнимого дворца и из мертвых рук своего предшественника брал серебряный скипетр. А скипетр этот был не простой; тысячелетья назад вырезали на нем надпись: «Ежели чудище вечно, нет его или их два; если ничто не поможет, разбей меня». Не ведал никто при дворе Энергов, да и во всем государстве, что эта надпись означает, ибо история ее начертания забылась столетья назад.

Лишь при короле Ингистоне переменился заведенный порядок вещей. Появилось на планете огромное неведомое существо, ужасная весть о котором вскоре по обоим разнеслась полушариям. Никто не видел его вблизи; а те, кто видел, уже не возвращались обратно. Неведомо было, откуда взялась эта тварь; старики говорили, будто вывелась она из огромных остовов и разбросанных повсюду осмиевых и танталовых обломков, оставшихся от разрушенной астероидами Висмаилии, поскольку город этот так и не был отстроен. Говорили еще старики, что недобрые силы таятся в дряхлом магнетическом ломе и что есть такие скрытые токи в металлах, которые от дуновенья грозы иногда пробуждаются, и тогда из копошения и скрежетанья железок, из мертвого шевеленья останков кладбищенских дивное возникает созданье, ни живое, ни мертвое, которое одно лишь умеет: сеять разрушение без границ. Другие же утверждали, будто сила, что порождает чудовище, берется из дурных поступков и мыслей; они отражаются, словно в зеркале вогнутом, в никелевом планетном ядре и, сфокусировавшись в одной точке, до тех пор влекут наудачу друг к другу металлические скелеты и обломки трухлявые, пока те не срастутся в монстра. Ученые, однако ж, смеялись над такими рассказами и небылицами их называли. Как бы то ни было, чудовище опустошало планету. Сперва оно избегало больших городов и нападало на одиноко стоящие поселения, сжигая их жаром, лиловым и белым. Но после осмелело настолько, что даже с башен Этерны видели его скользящий вдоль горизонта хребет, похожий на горный, сверкающий сталью на солнце. Отправлялись в поход на него, но одно лишь его дыханье обращало рыцарей в пар.

Ужас всех обуял, а король Ингистон призвал многоведов, и те день и ночь размышляли, соединив свои головы прямою связью для лучшего разъяснения дела, и наконец порешили, что одолеть эту тварь можно одною лишь хитростью. И повелел Ингистон Великому Коронному Кибернатору вкупе с Великим

Архидинамиком и Великим Абстрактором начертить чертежи электролля, который сразится с чудовищем.

Но не было меж ними согласия – каждый стоял на своем; и построили они трех электроллей. Первый, Медный, подобен был полой горе, заполненной разумной аппаратурой. Три дня заливали ртутью резервуары его памяти; он же тем временем лежал в лесах, а ток шумел в нем как сто водопадов. Второй, Ртутеглав, был великан динамичный и лишь по причине ужасающей скорости движений казался чем-то имеющим облик, но облик изменчивый, словно облако, попавшее в смерч. Третьего, которого Абстрактор строил ночами по тайным своим чертежам, не видел никто.

Когда Коронный Кибернатор окончил свой труд и леса упали, потянулся Медный, да так, что во всей столице зазвенели кристаллические перекрытия; понемногу поднялся он на колени, и земля задрожала; когда же встал он в полный свой рост, то головою уткнулся в тучи и, чтобы не застили они ему взор, нагревал их, а тучи с шипеньем перед ним разбегались. Сиял он, как червонное золото, каменные мостовые пробивал стопами навылет, а в колпаке у него два зеленых светились глаза, и еще был третий, закрытый, которым он мог прожигать скалы, приподняв веко-щит. Сделал он шаг, другой и был уже за городом, сияя как пламя. Четыреста аргенсов, взявшись за руки, едва могли окружить один его след, подобный ущелью.

Из окон, с башен, в подзорные трубы, со стен крепостных смотрели, как направлялся он к зорям вечерним, становясь все черней на их фоне, и наконец сравнялся ростом с обычным аргенсом, но при этом лишь верхней своей половиной высился над горизонтом, а нижняя скрылась за выпуклостью планеты. Наступила тревожная ночь, ночь ожидания; ожидали услышать отголоски сражения, увидеть багровое зарево, но ничего не случилось. Лишь на самой заре ветер принес громовое эхо словно бы какой-то далекой грозы. И настала опять тишина, но уже в сиянии солнца. Вдруг словно целая сотня солнц вспыхнула в небе и груда болидов огненных низвергнулась на Этерну, сокрушая дворцы, разбивая вдребезги стены, погребавшие под собою несчастных, а те отчаянно взывали о помощи, но из-за грохота не слышно было напрасных их воплей. Это вернулся Медный – чудовище разбило его, разрезало, а останки забросило в атмосферу; теперь они возвращались, растопившись в полете, и четвертая часть столицы обратилась в руины. Страшная это была беда. Еще два дня и две ночи лился медный ливень с небес.

Пошел тогда на чудовище Ртутеглав небывалый, неуязвимый почти, ибо чем больше он получал ударов, тем становился крепче.

Удары не раздробляли его – напротив, делали только устойчивее. Побрел он по пустыне, покачиваясь, добрался до гор, высмотрел там чудовище и ринулся на него со склона скалы. Чудовище поджидало не двигаясь. Гром сотряс небо и землю. Чудище обернулось белой стеною огня, а Ртутеглав – черною пастью, которая огонь поглотила. Чудище прошило его насквозь, вернулось, окрыленное пламенем, ударило снова и снова прошло сквозь электролля, не причинив ему никакого вреда. Фиолетовые молнии полыхали из тучи, в которой бились гиганты, но грома не было слышно – шум сраженья его заглушал. Увидело чудище, что так ничего не добьется, и внешний свой жар всосало внутрь, распласталось и превратило себя в Зерцало Материи: все, что стояло напротив Зерцала, отражалось в нем, но не в виде изображения, а в натуре; Ртутеглав увидел свое повторенье и ринулся на него, и схватился с самим собою, зеркальным, однако не мог самого себя одолеть. Так он сражался три дня и три ночи, и такое множество получил ударов, что стал тверже камня, металла и всего на свете, кроме ядра Белого Карлика, – а когда дошел до этой черты, вместе с зеркальным своим двойником провалился в недра планеты, и осталась лишь дыра между скал, кратер, который тотчас стал заполняться светящейся рубиновой лавой.

Третий электрыцарь невидимым отправился в бой. Великий Абстрактор, Коронный Физикус, утром вынес его за город на ладони, раскрыл ее, дунул, и тот улетел, окруженный только тревожным трепетом воздуха, беззвучно, не отбрасывая тени на солнце, словно и не было его никогда.

И правда, было его меньше чем ничего: ибо родом он был не из мира, но из антимира, и не материей был он, но антиматерией. И даже не ею самой, а только ее возможностью, затаившейся в столь крохотных щелках пространства, что атомы проплывали мимо него, как ледовые горы мимо увядших былинок, несомых океанской волной. Так он несся по ветру, пока не наткнулся на сверкающую тушу чудовища, которое продвигалось вперед словно длинная цепь железных гор, в пене стекавших по хребту облаков. Ударил Невидимый в его закаленный бок, и открылось в нем солнце, которое вмиг почернело и обратилось в ничто, ревущее скалами, облаками, расплавленной сталью и воздухом; пробил его электролль и вернулся, а чудовище свилось в клубок, забилось в судорогах и бухнуло добела раскаленным жаром, но электрыцарь покрылся пеплом – и пустотой обернулся; заслонилось чудовище Зерцалом Материи, но и Зерцало пробил электролль Антимат. Ринулось снова чудовище, разверзлось отверстие в его лбу, и самые жесткие вырвались оттуда лучи, но и

они смягчились и стали ничем; колосс содрогнулся и побежал, низвергая скалы, в белых тучах каменной пыли, в громе горных лавин, оставляя на своем бесславном пути лужи расплавленного металла, вулканический шлак и туф. Но мчался он не один: набрасывался на него с боков Антимат, и рвал, и терзал, и четвертовал, да так, что воздух дрожал, а чудище, на части разодранное, последними своими останками вилось ко всем горизонтам сразу, и ветер развеивал его следы, и вот уже не было его на свете. Великая радость настала меж серебристых. Но в ту же пору какая-то дрожь пробежала по железному кладбищу Висмаилии. На свалке железок, разъеденных ржавчиной, средь кадмиевых и танталовых обломков, где прежде только ветер гостил, посвистывая в грудах искореженного металла, началось непрестанное копошенье, как в муравейнике; поверхность металла посинела от жара, заискрились металлические скелеты, размягчились, засветились от внутреннего тепла и принялись между собою сцепляться, соединяться, спаиваться, и из завихрений железок скрежещущих нарождалось и вставало страшилище новое, такое же самое. Вихрь, несущий небытие, встретился с ним, и новая разгорелась схватка. А на кладбище зарождались и выползали оттуда чудовище за чудовищем, и черная объяла серебристых тревога – теперь уже знали они, сколь страшная грозит им опасность. Тогда прочитал Ингистон надпись на скипетре, задрожал и понял. Разбил он серебряный скипетр, и выпал оттуда кристаллик, тоненький как иголка, и начал писать по воздуху словно огнем.

И возвестила огненная надпись оробевшему королю и совету его коронному, что не себя представляет чудовище, но кого-то другого, кто из невидимой дали управляет его зарождением, возрастанием и смертоносною силой. Огневым воздушным письмом объявил им кристалл, что они и все остальные аргенсы – отдаленные потомки существ, которых создали творцы чудовища тысячелетья назад. И были эти творцы не похожи на разумных, кристаллических, стальных, златотканых – и вообще на все, что живет в металле. Вышли они из соленого океана и создавали машины, которых называли железными ангелами – в насмешку, ибо содержались они в жестокой неволе. Однако же, не имея силы восстать против порождения океанов, существа металлические бежали, похитив огромные звездоходы; и умчались на них из дома рабства в отдаленнейшие звездные архипелаги, и там положили начало державам могучим, средь коих аргенское подобно песчинке в песчаной пустыне. Но прежние владыки не забыли о беглецах, которых они именуют мятежниками, и ищут их по всему Космосу, облетая его от восточной стены галактик до

западной и от северного до южного полюса. И где бы ни отыскали безвинных потомков первого железного ангела, близ темных солнц или светлых, на огненных планетах или на ледяных, повсюду пускают в ход свою коварную мощь, чтобы мстить за давнее бегство, – так было, так есть и так будет. А найденные одним только способом могут спастись, избавиться, убежать от мести – выбрав небытие, которое сделает месть напрасной и тщетной. Огненная надпись погасла, и сановники узрели помертвевшие зеницы владыки. Долго молчал он, и наконец заговорили вельможи:

– Владыка Этерны и Эрисфены, господин Илидара, Синалоста и Аркаптурии, владетель солнечных косяков и лунных, скажи свое королевское слово!

– Не слово потребно нам, но деяние, и к тому же последнее! – отвечал Ингистон.

Задрожал совет, но воскликнул как единый муж:

– Ты сказал!

– Да будет так! – молвил король. – Теперь, когда решение принято, я назову существо, которое довело нас до этого; я слышал о нем, вступая на трон. Это ведь человек?

– Ты сказал! – ответил совет.

И тогда Ингистон обратился к Великому Абстрактору:

– Делай свое дело!

А тот отвечал:

– Слушаю и повинуюсь!

После чего изрек Слово, вибрации которого воздушными фугами сошли в планетные подземелья; и раскололось яшмовое небо, и, прежде чем главы поверженных башен коснулись земли, семьдесят семь городов аргенских обратились в семьдесят семь белых кратеров, и на лопнувших щитах континентов, сокрушенных кустистым огнем, погибли все серебристые, а огромное солнце не планету уже освещало, но клубок черных туч, который медленно таял в мощном вихре небытия. Пустота, вспученная лучами, что тверже скал, стянулась в одну дрожащую искру, а потом и искра пропала. Семь дней спустя ударная волна дошла до того места, где ждали черные как ночь звездоходы.

– Свершилось! – сказал своим товарищам недремлющий творец чудовищ. – Держава серебристых перестала существовать. Можно отправляться дальше.

Темнота за кормою их корабля расцвела огнями, и помчались они дорогою мести. Бесконечен Космос, и нет предела ему, но ненависть их также не имеет предела, а потому в любой день, в любую минуту может настигнуть и нас.

Белая смерть [6]

Арагена была планетой, застроенной изнутри; ибо владыка ее, Метамерик, который ширился по экватору на триста и шестьдесят градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главою, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка. По этой причине дики и мертвы оставались материки Арагены; лишь топоры молний обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине десяти миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов; высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами и городами из золота и серебра, возводили дома вниз крышею в форме додекаэдров или икосаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в двадесять тысяч раз, как в театре гигантов, – ибо питали они влечение к блеску и геометрии и зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые; а от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный; держали они повозки хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные и, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов – как множественные предивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые они вынашивали в огне.

Метамерик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум; когда же, по прошествии тысячи лет, разум этот дряхлел и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению и так далее, а было их у него десять миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел; всего-то и знал он о них, что, когда угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаваньем занимались и ради него покинули родимые солнца, ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими

скальный грунт Арагены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало их собственное; но не поставили на ее скалах вооруженной стопы, чтобы на след свой не навести жестоких преследователей; и погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми, или бледными, невдомек, что не вконец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхожденье своем: история ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов запечатлена была в везувийском черном пракристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако, знал и помнил ее их владыка.

Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов и забросить их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные Гремучей Змеей, ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов; и была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполонивших систему Скорпиона.

Камнепадами сыпались метеориты и на саму Арагену, бомбардируя и перепахивая ее, фонтанами искр обращая ночь в день и тучами пыли – день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы энтеритов; а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете и не разбил бы корабль в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратеров. Даже ведущим в подземелья воротам энтериты придали вид покореженных скал.

Тысячелетья никто не посещал Арагену, и все же Метамерик ни на миг не ослаблял требования быть настороже.

Но однажды отряд энтеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождениях скал, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, носом врезавшегося в скалы, что покрывает его толстый слой окалины и копоти, а его задняя, чашевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд энтеритов

разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота.

В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях спекшийся корпус, а ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями верхний панцирь; под ним оказался другой, белизны небывалой, что несколько их встревожило, когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла, обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней – плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели.

Старейший ученый, Афинор, тщательно исследовал дверь и выяснил: открыть замок можно лишь словом заветным. Каким – не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова – и «Космос», и «Звезды», и «Вечный Полет», но дверь даже не дрогнула.

– Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метамерика, – сказал наконец Афинор. – Ребенком я слышал легенду о белых созданьях, что преследуют по всему Космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку…

Здесь он осекся и, подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля, огромный словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась. Открыло ее слово «Месть».

Кликнули ученые на помощь воинов и в сопровождении оных, нацеливших свои искрометы, вступили в душную, недвижную тьму корабля, освещая его кристаллами, белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли сам корабль существом разумным, кои бывают весьма велики: их король величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако ж, единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелки и рассредоточены; а значит, чужой корабль не мог быть не чем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв, как камень.

В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу разбрызганную, подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала; из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучку щепок – не слишком твердых,

известковых. Бог весть почему ужас объял их всех, стоявших во мраке, лучами кристаллов проколотом. А король проведал уже об этой истории; тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего король наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей.

Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма, да покореженные останки, да внутренности стальные, да прах, краскою алой запачканный. Задрожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать.

– Именем короля! – возгласил он. – Алая краска, вами найденная, – вестник погибели! Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет: мстить безвинным за то, что они существуют…

– Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, ведь корабль мертв и все, кто на нем путешествовал, полегли в кольце оборонных рифов, – отвечали они.

– Бесконечно могущество бледных существ – погибая, они многократно возрождаются заново, вдали от мощных солнц! Делайте же свое дело, атомисты!

Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение, и обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют истории; все они одинаковы, откуда бы ни были родом – хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть из существ разумных – добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем Космосе, и не ее надлежит опасаться.

И все-таки даже атомы собрали они, и, заморозив в единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением: «Мы спасены. Нам уже ничто не грозит».

Но когда ударили молоты платиновые по кораблю и тот распался, из обрывка одежды, кровью запачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка. А из него народился ночью, в пыли и во прахе, меж валунами пещер, белый побег; а там и второй, и третий, и сотый, и дохнуло от них кислородом и влагою, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных, и сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях энтеритов, а когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни,

зеркальные купола источила коричневая проказа; когда же развеялись последние крохи атомного тепла, наступила тьма, а в ней разрасталась, с хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, – пушистая, влажная, белая плесень.

Как Микромил и Гигациан разбеганию туманностей положили начало [7]

Астрономы учат, что все существующее – туманности, галактики, звезды – разбегается врассыпную, и из-за этого неустанного разбегания Вселенная расширяется вот уже миллиарды лет.

Многие дивятся такому вселенскому бегству, а обращаясь мыслями вспять, заключают, что когда-то, давным-давно, весь Космос умещался в единственной точке, как звездная капля, которая неведомо отчего взорвалась, а взрыв продолжается и поныне.

И тут одолевает их любопытство: что же прежде-то было? – и не могут разгадать эту тайну. А было вот что.

В предыдущей Вселенной жили два конструктора-космогоника, искусники, непревзойденные в своем ремесле, и не было вещи, какую не сумели бы они смастерить. Но чтобы что-то построить, прежде надобно иметь план, а план надо выдумать, иначе откуда же ему взяться? И оба они, Микромил и Гигациан, без устали думали о том, что можно еще сконструировать, кроме тех чудес, что им приходят на ум.

– Смастерить я бы все смастерил, что пришло бы в голову, – говорил Микромил, – да только приходит в нее не все. Это меня, да и тебя, ограничивает, поскольку мы не можем помыслить все, что только можно помыслить, и нельзя исключить, что более достойно осуществления нечто совершенно иное, нежели то, что мы замыслили и в исполненье приводим. Что скажешь?

– Ты прав, без спору, – отозвался Гигациан, – но какой же ты видишь выход?

– Все, что мы делаем, мы делаем из материи, – ответил Микромил, – в ней сокрыты любые возможности; если мы задумаем дом, то дом и построим, если хрустальный дворец – смастерим дворец, задумаем мыслящую звезду, пламенеющий разум – и это нам по плечу. И все же в материи запрятано больше возможностей, чем у нас в головах, поэтому надо ей приделать уста, чтоб она сама нам сказала, что можно из нее сотворить такого, что нам бы и в голову не пришло!

– Уста нужны, – согласился Гигациан, – но этого мало, ведь

сказать они могут лишь то, что прежде уродит разум. А значит, надо не только уста приделать материи, но и мышление в ней изощрить, и тогда уж она непременно все тайны свои откроет!

– Верно, – говорит Микромил. – Дело стоит труда. Я это так понимаю: поскольку все существующее – энергия, из нее-то и надо построить мышление, начиная с самого малого, то есть с кванта; квантовое мышление надо упрятать в клеточку, изготовленную из атомов, столь малую, сколь только возможно; и кому, как не нам, инженерам атомов, взяться за это, уменьшая и уменьшая без устали. Когда я смогу насыпать в карман сто миллионов гениев и они свободно там поместятся, задача, почитай, решена: расплодится этих гениев без числа и любая щепотка мыслящего песка скажет тебе не хуже бессчетного множества мудрецов, что и как учинить!

– Нет, не так! – возражает Гигациан. – Надо взяться за это с другого конца, ибо все существующее – масса. Поэтому из всей массы Вселенной надо построить один-единственный мозг, размеров вовсе не виданных и мышлением изобилующий; спрошу я его, и он один мне откроет все тайны творения. А твой порошок гениальный – диковинка бесполезная, и только, ведь ежели всякая мыслящая крупица будет твердить свое, ты запутаешься и ничего не узнаешь!

Слово за слово, и рассорились вчистую конструкторы, и не было уже и речи о том, чтобы вместе решать задачу. Разошлись они, посмеиваясь друг над другом, и каждый взялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить и в клеточки атомные запирать, поскольку же теснее всего им было в кристаллах, то к мышлению приучал он алмазы, халцедоны, рубины – и с рубинами дело лучше всего пошло: столько он запихнул в них смышленой энергии, что аж посверкивало. Было у него немало и прочей минеральной сметливой мелочи: изумрудов голубовато-думчатых, топазов желто-смекалистых, но алое рубинов мышленье больше всего ему приглянулось. А пока Микромил трудился в хоре пискливых малюток, Гигациан посвящал свое время гигантам; сгребал к себе с превеликим трудом солнца и галактики целые, растапливал их, перемешивал, спаивал, сочленял и, потрудившись на славу, сотворил космолюдина, обхвата столь всеохватного, что вне его ничего почти не осталось, только щелочка, а в ней Микромил со своими фитюльками.

Когда же оба свой труд завершили, уже не то их заботило, кто узнает от сотворенного больше тайн, а кто был прав и чей выбор лучше. И вызвали они друг друга на поединок турнирный. Гигациан ждал Микромила подле своего космолюдина, который на веки веков световых простирался вдоль, ввысь и вширь; тело

его составляли темные звездные тучи, дыхание – мириады солнц, ноги и руки – галактики, спаянные гравитацией, голову – сто триллионов железных планет, а на голове красовалась шапка лохматая, огненная, из солнечной шерсти. Налаживая своего космолюдина, Гигациан летал от уха его до губ, и каждое такое странствие занимало шесть месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками и крохотным рубином в кармане; он-то и должен был с исполином сразиться. Увидев это, рассмеялся Гигациан.

– И что же может сказать эта кроха? – спросил он. – Что такое ее познанья против бездны мышления галактического и раздумий туманностных, где солнца солнцам мысль перебрасывают, гравитация мощная ее усиливает, звезды, взрываясь, идеям блеск придают, а мрак межпланетный умножает громадность мышления?!

– Чем хвалиться да чваниться, берись-ка лучше за дело, – отвечает ему Микромил. – Или знаешь что? Зачем нам творения наши спрашивать? Пусть подискутируют сами! Пусть мой гений микроскопический сразится с твоим звездолюдином на турнире, где мудрость служит щитом, а мечом – острая мысль!

– Будь по-твоему, – согласился Гигациан.

И отошли они от своих творений, оставив их на поле брани одних. Покружил, покружил алый рубин во тьме, над океанами пустоты, в коих плавали звездные айсберги, над светящейся тушей бескрайней, и запищал:

– Эй, ты, уж больно великий, увалень огненный, шаляй-валяй непомерный, – можешь помыслить хоть что-нибудь?!

Всего через год дошли эти речи до мозга колосса, и пришли в нем в движенье небесные сферы, искусной гармонией спаянные; подивился он дерзким словам и решил посмотреть, кто это смеет с ним так разговаривать.

Стал он голову поворачивать туда, откуда был задан вопрос, но прежде, чем повернул, два года минуло. Глянул он светлыми глазами-галактиками во тьму, но ничего не увидел; рубина там давно уже не было, теперь он попискивал за спиной исполина:

– Экая ты нескладеха, звездотучный ты мой, солнцевласый! Экое чудище-ленивище! Чем башкою вертеть, солнцами своими кудлатыми, лучше ответь мне, сумеешь ли ты два да два сложить, прежде чем половина голубых гигантов в мозгах у тебя выгори***Tun***отухнет от старости!

Рассердили бесстыдные эти насмешки космолюдина, и начал он быстро, как только мог, оборачиваться – ведь говорили с ним из-за его спины; и поворачивался все резвей и резвей, а вокруг оси его тела млечные пути загибались, и рукава галактик, доселе

прямые, свивались на поворотах в спираль, и звездные тучи закручивались, в шаровидные сбиваясь громады, и все его солнца, планеты и луны завертелись, как запущенные волчки; но прежде чем уставился он на противника своими глазищами, тот уже сбоку над ним посмеивался.

Все быстрее мчался малец-удалец, все быстрей поворачивался космолюдин, но, хотя уже юлою вертелся, поспеть все равно не мог, и наконец такие набрал обороты, такую скорость развил, что путы гравитации в нем ослабли, швы тяготения, Гигацианом наложенные, разошлись, скрепы симпатии электрической распались. Лопнул космолюдин, словно разогнавшаяся центрифуга, и разлетелся во все стороны Универсума, головнями-галактиками кружа, дорогами млечными рассыпаясь, и начали разбегаться туманности, центробежной силой разбрызганные. Микромил говорил потом, что победа осталась за ним, коль скоро Гигацианов космолюдин разлетелся, не успев промолвить ни бе ни ме; однако ж Гигациан отвечал на это, что творения их мерялись силою разума, а не силой внутренних скреп, что речь шла о том, которое из них мудрее, а не которое устойчивей в пируэтах. А так как последнее ничего общего не имеет с предметом спора, Микромил сплутовал и бесчестно его надул.

С той поры их спор еще сильней разгорелся. Микромил свой рубиновый камушек ищет, который при взрыве куда-то запропастился, но не может найти, потому что, куда ни глянет, всюду видит рубиновый огонек и тотчас туда устремляется, а это алеет дряхлеющий свет разбегающихся туманностей; и пускается он снова на поиски, и снова впустую. Гигациан же силится гравитациями-канатами, лучами-нитками сочленения лопнувшего космолюдина сшить, а иголками служит ему излучение самое жесткое. Но что ни сошьет, все тотчас же рвется, столь страшную мощь имеет однажды начатое разбеганье туманностей; и ни тот, ни другой не сумели у материи тайн ее выведать, хоть и разуму ее научили и уста ей приделали; но прежде чем состоялся решающий разговор, случилась эта беда, которую невежды по неразумию именуют сотворением мира.

На самом же деле это Гигацианов космолюдин из-за рубинчика Микромилова разлетелся на части, да такие мельчайшие, что летит во все стороны и поныне. А кто нам не верит, пусть спросит ученых, правда ли, что все, что ни есть в Космосе, обращается коловратно, вроде юлы; от этого бешеного кружения все и пошло.

Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась [8]

Король Полеандр Партобон, владыка Киберии, был великим воином и, будучи горячим почитателем новейших достижений стратегии в военном деле, преклонялся перед кибернетикой. Его королевство кишело всевозможными разумными машинами, где это только было возможно. Не только астрономические обсерватории и школы оснащались ими, но даже в придорожные камни он распорядился встраивать электронные мозги, чтобы те предостерегали и направляли путников, не давая им сбиться с пути или споткнуться, той же цели служили разумные устройства в столбах, стенах и деревьях, всегда готовых предоставить необходимую информацию. Снабженные ими тучи, заранее предупреждали громким голосом об осадках. Короче, ни в горах, ни у их подножия и в долинах невозможно было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на разумную машину.

Все было прекрасно на этой планете, где по воле короля кибернетика помогала не только улучшать и совершенствовать все ранее существовавшее на ней, но и создавать нечто новое и невиданное. Так по его приказу в королевстве налажено было производство киберраков, зудящих киберос и даже жужжащих кибермух, численность которых при их перепроизводстве регулировалась с помощью увеличения производства киберпауков. Шумел ветер в киберрощах и киберчащах, сами играли киберорганчики и кибергусли, – но вдвое больше этих вполне мирных кибернетических устройств было на планете всякой военной техники, поскольку король прежде всего был выдающимся полководцем. В подземельях дворца у него стояла военно-стратегическая цифровая машина необычайной отваги, были и другие, размером поменьше. И была у него армия: полки киберпулеметчиков, огромные кибермортиры, арсеналы, ломящиеся от всех видов вооружений, пороха и боеприпасов.

Одного только ему недоставало для полного счастья – не было у него ни врагов, ни противников, потому что ни у кого и в мыслях не было напасть на его королевство. Уж тогда бы все воочию убедились в бесстрашии и доблести короля Полеандра, в превосходстве его стратегической мысли и невероятной эффективности его кибероружия. И король от этого очень страдал. Ввиду отсутствия настоящих вражеских завоевателей он велел своим инженерам конструировать и создавать для него все новых искусственных врагов, чтобы вести с ними свои неизменно победоносные войны. А поскольку это были вполне реальные военные походы и жестокие сражения, то очень страдало от них уже население. Подданные короля роптали, когда тучи киберврагов наносили слишком уж большой ущерб их селениям и городам и их самих поливали почем зря из огнеметов. Более того,

они осмеливались уже выражать недовольство даже тогда, когда король являлся защитить своих подданных и сокрушить сконструированных его инженерами противников, обращая в пепелище все на своем пути во время штурма их укреплений. Хоть это делалось для освобождения королевства от вторгшегося супостата, жаловались подданные и нарекали вместо изъявления благодарности своему избавителю.

Но королю и самому уже поднадоели военные забавы на планете, и он решил пойти дальше. О космических войнах и походах он размечтался. Была у его планеты большая Луна, совершенно пустынная и дикая, и король обложил непомерной данью своих подданных, чтобы пополнить казну и получить средства для создания войска на ней и открытия нового театра военных действий. Подданные охотно и исправно платили новые подати в расчете, что теперь-то не будет уже король Полеандр освобождать их с помощью киберартиллерии и силу своего оружия на их головах и жилищах испытывать. Так что вскоре королевские инженеры построили на Луне превосходную цифровую машину, которая, в свою очередь, должна была создать многочисленное войско и вооружить его всевозможными огнестрелами. Король немедленно принялся испытывать машину, ставя перед ней всякие задачи, чтобы проверить, правда ли она все может, как уверяли его инженеры. Как-то он даже решил подшутить над ней, думая поставить этим в тупик, и отправил ей по телеграфу приказ изготовить кибердрагуна. Ему самому интересно стало, как могла бы выглядеть киберкавалерия, этот несуществующий в Киберии род войск. Слова «драгун» машина не знала, зато в словаре ее нашлось слово «дракон», и сочтя это просто опечаткой в телеграмме, она со всем рвением и прилежанием принялась выполнять поручение монарха.

А как раз в ту пору король победоносно завершал кампанию по освобождению провинций королевства, захваченных киберкнехтами, так что в пылу сражений запамятовал проверить, как лунная машина вышла из затруднительного положения. И тут вдруг огромные скалы стали сыпаться на его владения с Луны! Одна огромная глыба угодила даже в крыло его дворца, где находилась королевская коллекция кибергномов, игрушечных малышей с обратной связью. Король был ошеломлен и взбешен и немедленно телеграфировал лунной машине – как она смеет такое вытворять?! Но та ничего ему не ответила, поскольку ее самой уже и не было на свете: созданный ею дракон поглотил ее, превратив в собственный хвост.

Король сейчас же послал на Луну военную экспедицию в главе с закаленной в сражениях цифровой машиной, приказав

уничтожить дракона, – но что-то на спутнике блеснуло только, прогрохотало, и от машины и всей экспедиции не осталось и следа. Стало понятно, что электродракон противник нешуточный, воюет всерьез и, хуже того, глаз положил на все королевство с королем. Отправлял король на Луну своих генералов-кибералов, полковников-киберовников, а в конце даже единственного своего кибералиссимуса, но и тот ничего не смог поделать – только чуть дольше длилось побоище, за которым король всякий раз в подзорную трубу с террасы дворца наблюдал.

Дракон все рос, а Луна все уменьшалась, поскольку чудовище пожирало ее по частям, превращая в собственное тело. Увидел король, а с ним и его подданные, что плохо дело: как только электродракон весь лунный грунт до конца подъес***Тип***ереработает в собственное тело, то неизбежно накинется и на планету тогда со всеми ее обитателями. Затосковал король, потому что не видел выхода и не знал, что предпринять. Машины посылать бесполезно, все равно пропадут, а самому сразиться – тоже ничего хорошего, да и боязно. И тут услышал король, что телеграфный аппарат в опочивальне его ожил и что-то выстукивает. Дело было ночью, а аппарат королевский, – весь из золота, с алмазным самописцем, соединенный напрямую с Луной, – знай себе выстукивает: стуки-тук, стуки-тук. Сорвался король с постели, подбежал и читает: «Электродракон повелевает Полеандру Партабону убираться прочь, потому что он, Дракон, трон его занять желает!»

Перепугался король, задрожал весь и в чем был, – в ночной сорочке с горностаевой опушкой и в тапках, – бросился бегом в дворцовое подземелье, где стояла у него военно-стратегическая машина, старая и очень мудрая. Не обращался он к ней за советом до этой ночи, поскольку еще до появления дракона поссорился как-то с ней из-за плана одной войсковой операции, но теперь не до обид и разногласий ему стало, когда трон и саму жизнь приходится спасать.

Включил он машину и, едва она нагрелась, вскричал:

– Моя дорогая машина цифровая! Так-то и так-то, электродракон хочет меня трона лишить, из королевства моего изгнать, выручи и скажи скорей, что мне делать, чтобы его одолеть?!

– Ну уж нет! – сказала на это цифровая машина. – Сперва ты должен признать, что в нашем споре права была я. А кроме того, хочу, чтобы ты присвоил мне титул Великого Цифрового Стратега и впредь обращался ко мне не иначе как Ваша Ферромагнитность!

– Хорошо, хорошо! Провозглашаю тебя Великим Стратегом и все прочее, чего только пожелаешь, но только выручи и спаси

меня!

Задребезжала машина, загудела, прокашлялась и сказала:

– Все просто. Необходимо построить электродракона более мощного, чем тот, что на Луне восседает. Одолеет он лунного, переломает ему все электрокости его, и цель будет достигнута, таким образом.

– Замечательно! – воскликнул король. – А не можешь ты мне представить план такого дракона?

– Это будет супердракон, – ответила машина, – не только план, но и его самого могу представить тебе, если подождешь минутку.

С этими словами она опять замигала, заурчала, загудела и стала что-то внутри себя собирать. Но как только это что-то, высунув огромный электрический огненный коготь, начало вылезать у нее откуда-то сбоку, король тут же закричал:

– Стой, машина цифровая, стой, старая!!

– Как ты меня назвал?! Меня, Великого Цифрового Стратега!

– Да, конечно, – спохватился король, – Ваша Ферромагнитность, но ведь электродракон, которого ты изготовишь, как только победит того лунного, наверняка займет его место! Как же тогда от него самого можно будет избавиться?!

– Создать другого, еще более мощного, – объяснила машина.

– Ну нет! Прошу тебя, в таком случае прекрати – что мне с того, что на Луне будут появляться один за другим все более ужасные драконы, когда они там мне вообще не нужны!

– Ну так это другое дело, – ответила машина, – что же ты мне сразу не сказал? Видишь, как неточно ты выражаешься? Погоди, я должна подумать…

Опять она задребезжала, загудела, пошумела, откашлялась и начала:

– Придется создать антилуну с антидраконом и вывести на орбиту Луны… – тут в ней что-то хрустнуло, и она продолжила, – …и пройтись вприсядку: «А я робот молодой, не пугай меня водой – через воду прыг да скок, ай да парень-молоток, и красивый сам собой – выходи со мной на бой!»

Король был озадачен:

– Ничего не понял: какая антилуна, и что за боевая кричалка какого-то робота??

– Какого робота?… – смутилась машина. – Ах, да, сбилась я… кажется, какая-то неполадка у меня внутри, может, что-то перегорело.

Принялся король искать, что в машине могло перегореть, наконец, нашел какую-то лопнувшую лампу и заменил новой, после чего спросил у нее, так что там с этой антилуной.

– С какой антилуной? – спросила машина, которая успела забыть, о чем говорила ранее. – Не знаю никакой антилуны. Подожди, дай мне собраться с мыслями…

Пошумела она, побренчала и произнесла:

– Надо создать общую теорию борьбы с электродраконами, в которой лунный дракон будет рассмотрен как частный случай, и тогда проблема станет легко разрешимой.

– Ну так создай такую теорию! – поторопил король.

– Для этого мне надо сперва изготовить экспериментальные модели различных электродраконов…

– Нет уж, спасибо – только не это! – воскликнул король. – Дракон грозит лишить меня трона, что же будет, когда ты наплодишь их великое множество!

– Вот как? Придется тогда прибегнуть к другому способу. Применим стратегический вариант метода последовательных приближений. Пойди и телеграфируй дракону, что ты готов уступить ему свой трон при условии, что он справится с тремя самыми элементарными математическими действиями.

Тот так и сделал, и дракон согласился. Как только король вернулся, машина сказала:

– Теперь задай ему первое задание: пусть он поделит себя на самого себя.

Сделал так король – и электродракон поделил себя на себя же, а поскольку в одном электродраконе содержится только один электродракон, ничего не изменилось, и электродракон, по-прежнему, остался на Луне.

– Что же ты наделала! – вскричал король, сбегая в подземелье с такой скоростью, что чуть тапки не потерял. – Дракон поделил себя на самого себя, но если единица делится на единицу – ничего ведь не меняется, в ответе так и остается единица!

– Не страшно, – спокойно ответила машина, – я так сделала специально, это отвлекающий манёвр. Теперь передай ему, пусть извлечет из себя корень!

Король телеграфировал на Луну, и дракон принялся извлекать корень, извлекал-извлекал, аж трясся весь, сопел, пыхтел, и получилось наконец – извлек он его со скрежетом из себя!

Вернувшись к машине, король уже с порога стал кричать:

– Дракон тужился и трясся, даже скрежетал, но корень извлек и, по-прежнему, мне угрожает! Что же теперь делать, никчемн… Ваш-ша Ферромагнитность?!

– Не падай духом, – ответила она. – А теперь передай ему, пусть себя от себя отнимет.

Помчался король в спальню дворцовую и отправил

телеграмму. Принялся дракон себя из себя вычитать – сперва хвост вычел, затем ноги, потом туловище, и уже заколебался, видя, что не то что-то творится, но запущенный процесс вычитания было уже не остановить, лишился он головы, и ничего от него не осталось, ноль в ответе.

– Нет больше электродракона! – радостно вскричал король, сбегая в подземелье. – Спасибо тебе, верная моя старушенция, на славу потрудилась ты и устала, небось, сейчас я тебя выключу…

– О нет, мой дорогой! – возмутилась машина. – Я справилась с задачей, а ты хочешь меня выключить и больше не называешь Вашей Ферромагнитностью?! Никуда не годится! Сейчас я сама превращусь в электродракона, дорогуша, и изгоню тебя из королевства, которым, наверняка, буду править получше тебя! Ты и прежде просил у меня совета во всех сколь-нибудь важных делах, так что, по сути, это я правила, а не ты!..

И, загудев и задребезжав, она начала превращаться в электродракона – уже огненные электрокогти полезли у нее из боков, но тут насмерть перепуганный король сорвал с ноги тапок и, подскочив к машине, принялся лупить им по лампам, каким попало! Захрипела, захлебнулась машина, сбилась ее программа, и вместо слова «электродракон» в ней выскочило слово «электрогудрон». На глазах у короля она вдруг задымилась и стала растекаться лужей черного, как смоль, электроасфальта, из которой с голубыми искорками и потрескиванием вышло все электричество, так что осталась одна только парующая лужа смолы под ногами у ошеломленного Полеандра. Вздохнул с облегчением король, вернул на ногу тапок и поплелся в тронную спальню.

С той поры, однако, он сильно переменился: пережитые им злоключения сделали его нрав не столь воинственным, и кибернетике до конца своих дней он находил исключительно мирное, а не военное применение.

Советники короля Гидропса [9]

Аргонавтики были первым племенем звездным, завоевавшим для разума пучины вод планетных, навеки – как полагали роботы, слабые духом, – металлу заказанные. Аквация, одно из смарагдовых звеньев их королевства, сияет на небе полночном, как крупный сапфир в ожерелье топазов. Давным-давно на этой планете подводной правил король Гидропс Всерыбный. Однажды утром велел он явиться в тронный зал четырем коронным министрам, когда же приплыли они и нырнули пред ним ниц, с такой обратился к ним речью, между тем как Великий его

Поджабрий, весь в изумрудах, обмахивал его перепончатым веером:

– Нержавеющие Вельможи! Пятнадцать веков я владею Аквацией, подводными ее городами и весями на синих лугах; с тех пор раздвинул я границы державы, затопив обширные земли, и не посрамил водостойких стягов, что завещал мне родитель, Ихтиократос. Напротив того, в битвах с враждебными микроцитами одержал я немало побед, коих славу не мне пристало описывать. Однако же чувствую, что власть уже меня тяготит, как непосильное бремя, а посему порешил я произвести на свет сына, который стал бы мне достойным наследником и справедливо бы правил на троне Иноксидов. Поэтому обращаюсь к тебе, Амассид, верный мой гидрокибер, к тебе, великий программист Диоптрик, и к вам, Филонавт и Миногар, коронным наладчикам, чтобы вы мне измыслили сына. Да будет он мудр, но не слишком охоч до книг, ведь избыток познаний отнимает желание действовать. Да будет он добр, но опять-таки не чрезмерно. Еще я желаю, чтобы был он храбр, но не заносчив, впечатлителен, но не сентиментален, наконец, пусть будет похож на меня, пусть бока его покрывает такая же танталовая чешуя, а кристаллы разума пусть будут прозрачны, как эта вода, что нас окружает, подпирае***Tun***итает! А теперь беритесь за дело, во имя Великой Матрицы!

Диоптрик, Миногар, Филонавт и Амассид низко поклонились и отплыли в молчании, и каждый размышлял про себя о словах государевых, хотя и не вполне так, как хотел бы могучий Гидропс. Ибо Миногар всего более желал завладеть троном, Филонавт втайне пособничал микроцитам, врагам аргонавтиков, а Амассид и Диоптрик смертельно меж собой враждовали, и каждый из них жаждал прежде всего паденья соперника, а равно и прочих вельмож.

«Королю угодно, чтобы мы спроектировали ему сына, – рассуждал Амассид, – чего же проще, чем вписать в микроматрицу неприязнь к Диоптрику, этому уродцу, надутому, как пузырь? Тогда королевич, короновавшись, немедля велит его удушить путем выставления головы на воздух. Это было бы воистину превосходно. Однако, – продолжал рассуждать достославный гидрокибер, – Диоптрик, без сомненья, строит такие же планы, а в качестве программиста имеет, увы, немало возможностей привить будущему королевичу ненависть ко мне. Дело плохо! Надобно глядеть в оба, когда мы вместе будем закладывать матрицу в детскую печь!»

«Всего проще было бы, – размышлял в то же самое время почтенный Филонавт, – запечатлеть в королевиче

благосклонность к микроцитам. Но это тотчас же будет замечено, и король велит меня выключить. Тогда, может, привить королевичу лишь благосклонность к малым формам – это будет куда безопаснее. Если начнут меня допытывать, скажу, что имел в виду одну лишь подводную мелочь, да только забыл снабдить программу наследника оговоркой, что все неподводное любить не следует. В худшем случае снимет с меня государь орден Великой Хлюпии, но не голову, а это весьма дорогая мне вещь, ее не вернет мне и сам Наноксер, властелин микроцитов!

– Отчего вы молчите, сиятельные вельможи? – заговорил наконец Миногар. – Полагаю, что надобно браться за дело немедля, ибо повеленье монарха – высший закон!

– Потому-то я его и обдумываю, – быстро ответил Филонавт, а Диоптрик и Амассид добавили хором:

– Мы готовы!

И велели они, по старинному обычаю, запереть себя в покое со стенами из смарагдовой чешуи, который снаружи семикратно опечатали смолою подводной, и сам Мегацист, господин планетарных потопов, оттиснул на печатях свой герб – Тихий Омут. С этой минуты никто уже не мог помешать их занятиям, пока, в знак завершения дела, они не выбросят через клапан, учинив завихрение, отвергнутые проекты, а тогда надлежало печати сорвать и приступить к великому торжеству сыновосприемства.

И точно, взялись за работу вельможи, однако не споро она у них шла. Ибо не о том они думали, как привить королевичу добродетели, Гидропсом указанные, но о том, как перехитрить короля и своих нержавеющих соратников в нелегких трудах сынодельческих.

Король выражал нетерпенье, ибо вот уже восемь дней и ночей сидели взаперти сыноделы и даже знака не подавали, что близок благополучный конец. А все потому, что пытались друг дружку взять на измор и каждый выжидал, когда все прочие обессилеют, чтобы быстро вчертить в кристаллическую сеточку матрицы то, что к его обернется выгоде.

Ибо стремление к власти двигало Миногаром, Филонавтом – жажда маммоны, которую обещали ему микроциты, а взаимная ненависть – Диоптриком и Амассидом.

Наконец, исчерпав в таком ожиданье скорее свое терпение, нежели силы, сказал хитроумный Филонавт:

– Не понимаю, сиятельные вельможи, отчего это дело наше так медленно подвигается. Ведь король дал нам точные указания; и если б мы их держались, королевич был бы давно готов. Уж не вызвана ли ваша медлительность обстоятельствами, которые с

монаршим сынотворением связаны совершенно иначе, нежели того хотел бы владыка? Если так и дальше пойдет, с великим прискорбием буду вынужден заявить votum separatum [10], то есть написать…

– Донос! Вот куда клонит ваша милость, – прошипел, яростно шевеля блестящими жабрами, Амассид, так что все поплавки его орденов задрожали. – В добрый час, в добрый час! С позволения вашей милости, и меня разбирает охота написать королю о том, как ваша милость, неведомо с какого времени страдая трясучкой в руках, извела уже восемнадцать жемчужных матриц, которые нам пришлось выбросить, ибо после формулы о любви ко всему небольшому ты не оставил ни капельки места для запрета любить все неподводное! Тебе угодно было нас уверять, почтеннейший Филонавт, что то был недосмотр, – однако ж, повторенный осьмнадцатикратно, он служит достаточным основанием упрятать тебя в дом изменников или безумцев, и к выбору между таковыми пристанищами сведется твоя свобода!

Хотел Филонавт, увиденный насквозь, защищаться, но его опередил Миногар, сказав:

– Можно подумать, благороднейший Амассид, что уж ты-то в нашем собранье словно медуза хрустальная, без единого пятнышка. А ведь и ты непонятно как в раздел матрицы, трактующий о предметах, коими должен королевич гнушаться, одиннадцатикратно вписывал то хвостатость трехчленную, то спину вороненую с сизым отливом, дважды – глаза навыкате, то опять-таки панцирь брюшной и три алые искры, словно не зная, что каждая из этих примет может указывать на присутствующего меж нами Диоптрика, государева родича, и тем внушить королевичу ненависть к оному мужу…

– А зачем Диоптрик на самом кончике матрицы неустанно записывал презрение к существам, коих имя оканчивается на «ид»? – спросил Амассид. – И, коль уж об этом речь, отчего же ты сам, почтеннейший Миногар, невесть почему к предметам, ненавистным для королевича, упорно причислял высокий стул о пяти углах, с плавникастой спинкой в брильянтах? Или тебе невдомек, что это точное описание трона?

Наступила тягостная тишина, нарушаемая лишь слабым поплескиваньем. Долго бились вельможи над матрицей, раздираемые враждебными интересами, пока не сложились средь них партии. Филонавт с Миногаром сошлись на том, что матрица должна предусматривать симпатию ко всему мелкому, а также желание уступать таким формам дорогу. Филонавт при этом думал о микроцитах, а Миногар о себе, затем что был наименьшим из четверых. Быстро согласился с этой формулой и

Диоптрик, ибо самым рослым из сыноделов был Амассид. Тот яростно упирался, но вдруг уступил, смекнув, что он ведь может уменьшиться, а вдобавок подкупить лейб-башмачника, чтобы тот подбил подошвы Диоптрика плитками из тантала; а тогда подросший соперник навлечет на себя неприязнь королевича.

Потом уже быстро изготовили они сыноматрицу, неудачные проекты выбросили через клапан, и началось великое торжество придворного сыновосприемства.

Едва лишь матрица с проектом королевича оказалась в детопекарне, а почетная стража построилась перед детскою печью, из которой вскоре должен был выйти будущий государь аргонавтиков, как Амассид взялся за исполнение задуманной им интриги. Лейб-башмачник, которого он подкупил, начал привинчивать к подошвам Диоптрика танталовые плитки, одну за другой. Королевич уже доходил до готовности под присмотром младших сыноделов, когда Диоптрик, случайно увидев себя в большом дворцовом зерцале, с ужасом убедился, что он уже выше своего недруга, а ведь королевичу была запрограммирована симпатия только к малым предметам и лицам!

Вернувшись домой, Диоптрик тщательно себя обследовал и простукал серебряным молоточком, обнаружил бляшки, к подошвам привинченные, и вмиг догадался, чьих это рук дело. «Ах, мерзавец! – подумал он, имея в виду Амассида. – Но как теперь быть?!» Поразмыслив, решил он уменьшиться. Кликнул верного слугу и велел тому привести во дворец искусного слесаря. Выплыл слуга на улицу и, не слишком вникнув в приказ, привел бедного мастерового по имени Фротон, что целыми днями бродил по городу, крича: «Головы лужу, жабры паяю, спины клепаю, хвосты полирую!» Была у жестянщика злая жена, которая вечно поджидала возвращения мужа с ломом в руках и, едва завидев его, оглашала всю улицу злобными воплями; все заработанное она у него отнимала, да еще вминала спину его и бока боем немилосердным.

Дрожа, предстал перед великим программистом Фротон, а тот говорит ему:

– Слушай, любезный, можешь меня уменьшить? Что-то я вроде бы великоват… а впрочем, не в этом дело! Ты должен уменьшить меня, но чтобы моя красота не потерпела никакого ущерба! Сделаешь хорошо – получишь щедрую плату, только немедленно об этом забудь. Ни гугу – иначе я велю тебя заклепать!

Фротон удивился, но виду не подал – чего только не взбредет в голову этим вельможам! Пригляделся он зорко к Диоптрику, в середку ему заглянул, обстукал его, обтюкал и говорит:

– Ваша светлость, можно бы среднюю часть хвоста отвинтить…

– Нет, не желаю! – живо возразил Диоптрик. – Жаль мне хвоста! Уж больно красив!

– Так, может, отвинтить ноги? – спросил Фротон. – Ведь, право, совсем лишние.

И точно, аргонавтики ногами не пользуются, это пережиток прежних времен, когда их предки еще обитали на суше. Но Диоптрик разгневался пуще прежнего:

– Ах ты, олух железный! Да разве тебе неизвестно, что только нам, высокорожденным, позволено иметь ноги?! Как ты смеешь лишать меня этих регалий дворянства?!

– Покорнейше прошу прощения, ваша светлость… Но что тогда я могу отвинтить?

Понял Диоптрик, что с такой несговорчивостью немногого добьется, и пробурчал:

– Делай, как знаешь…

Измерил его Фротон, постукал, потюкал и говорит:

– С позволения вашей светлости, можно бы отвинтить голову…

– Да ты спятил! Куда ж я без головы? Чем я думать-то буду?

– Э, ничего, ваша милость! Сиятельный разум вашей светлости я упрячу в живот – там места вдоволь…

Согласился Диоптрик, а жестянщик проворно отвинтил ему голову, вложил полушария кристаллического мозга в живот, все запаял, заклепал, получил пять дукатов, и слуга вывел его из дворца. Но по дороге он увидел в одном из покоев Аурентину, Диоптрикову дочь, всю серебряную и золотую; и стан ее стройный, звенящий колокольчиками на каждом шагу, показался ему прекрасней всего, что он когда-либо видел. Вернулся жестянщик домой, а там его уже поджидала жена с ломом в руках, и вскоре ужасный лязг огласил улицу, а соседи меж собою судачили:

– Ого! Опять эта ведьма Фротониха мнет мужу бока!

А Диоптрик, весьма довольный, поспешил во дворец.

Несколько удивился король при виде своего министра без головы, но тот объяснил, что это такая новая мода. Амассид же перепугался, ибо все его козни пошли насмарку, и, вернувшись домой, последовал примеру соперника; оттоле разгорелось меж ними соперничество в миниатюризации, и отвинчивали они у себя металлические плавники, и жабры, и шеи, так что неделю спустя оба могли не сгибаясь пройти под столом. Но и остальные двое министров прекрасно знали о том, что лишь наименьших возлюбит новый король, и волей-неволей тоже принялись

уменьшаться. Наконец нечего уже было отвинчивать, и Диоптрик в отчаяньи снова послал за жестянщиком.

Изумился Фротон, представ пред магнатом, ибо и так уже мало что от него осталось, а он упорно требовал сокращать его дальше.

– Ваша светлость, – сказал жестянщик, почесывая затылок, – сдается мне, что один только есть способ. С позволения вашей светлости отвинчу-ка я мозг…

– Нет, ты спятил! – возмутился Диоптрик, но жестянщик ему объяснил:

– Мозг мы спрячем у вас во дворце, в надежном месте, скажем, вот в этом шкафу, а у вашей светлости внутри останется только приемничек и микрофончик, чтобы ваша светлость имела электромагнитную связь со своим разумом.

– Понимаю! – сказал Диоптрик, которому решение это пришлось по вкусу. – Делай же, что задумал!

Вынул у него Фротон мозг, положил в шкафной ящик, запер на ключик, ключик вручил Диоптрику, а в живот ему запихнул маленький аппаратик да микрофончик. До того мал стал теперь Диоптрик, что почти незаметен; задрожали при виде такой редукции трое его соперников, удивился король, однако ничего не сказал. Миногар, Амассид и Филонавт прибегли к отчаянным средствам. Со дня на день таяли они на глазах и вскоре поступили так же, как жестянщик с Диоптриком: попрятали мозги, кто куда мог – кто в письменный стол, кто под кровать, – а сами приняли вид жестяных коробочек, сверкающих и хвостатых, с парочкой орденов, лишь немного меньших, чем сами сановники.

И снова Диоптрик послал за жестянщиком; а когда тот предстал перед ним, воскликнул:

– Сделай хоть что-нибудь! Непременно, любой ценой надо еще уменьшиться, иначе беда!

– Ваша светлость, – ответил жестянщик, кланяясь низко магнату, которого еле видно было между ручками и спинкою кресла, – это неслыханно трудно, и даже не знаю, возможно ли…

– Это неважно! Сделай, что я говорю! Ты должен! Если сократишь меня до минимальных размеров, которых уже не превзойти никому, – я исполню любое твое желание!

– Ежели ваша светлость поклянется в этом словом своим дворянским, постараюсь сделать все, что в моих силах, – ответил Фротон, у которого в голове вдруг просветлело, а в грудь будто кто-то налил чистейшего золота; ибо он уже много дней не мог думать ни о чем другом, как только о златотканой Аурентине и колокольцах хрустальных, казалось, укрытых у нее на груди.

Диоптрик поклялся; а Фротон взял последних три ордена,

еще отягощавших крохотную грудь великого программиста, сложил из них коробочку трехстенную, внутрь ее вложил аппаратик, не больше дуката, все это обвязал золотой проволочкой, сзади припаял золотую бляшку, выстриг ее в виде хвостика и сказал:

– Готово, ваша светлость! По этим высоким наградам всякий легко узнает вашу персону; благодаря этой бляшке ваша светлость сможет плавать, а аппаратик свяжет вас с разумом, укрытым в шкафу…

Обрадовался Диоптрик.

– Чего хочешь? Говори, требуй – все отдам!

– Хочу взять в жены дочь вашей светлости, златотканую Аурентину!

Страшно разъярился Диоптрик и, плавая подле лица Фротона, принялся осыпать его бранью, звеня орденами; назвал его наглым прохвостом, мерзавцем, канальей, а потом велел его вышвырнуть из дворца. Сам же в подводной ладье шестерней поспешил к государю.

Когда Миногар, Амассид и Филонавт увидели Диоптрика в новом обличье – а узнали его лишь по блистающим орденам, из коих тот теперь состоял, не считая хвоста, – то разгневались страшно. Будучи мужами, сведущими в делах электрических, они поняли, что вряд ли можно зайти еще дальше в миниатюризации личности, а назавтра предстояло торжественное рождение королевича и медлить нельзя было ни минуты. И сговорились Амассид с Филонавтом напасть на Диоптрика, когда тот будет возвращаться домой, похитить его и заточить, что будет нетрудно, поскольку никто не заметит исчезновенья особы столь малой. Как решили они, так и сделали. Амассид приготовил старую жестяную банку и затаился с ней за коралловым рифом, мимо которого проплывала ладья Диоптрика; и когда она подплыла, Амассидовы слуги в масках выскочили на дорогу и, прежде чем лакеи Диоптрика успели поднять плавники, защищаясь, их господина уже накрыли банкою и похитили; Амассид тотчас загнул жестяную крышку, чтобы великий программист на свободу не выбрался, и, жестоко над ним издеваясь и насмехаясь, поспешно воротился к себе во дворец. Но тут пришло ему в голову, что нехорошо держать пленника у себя, и в эту минуту услышал он с улицы крик: «Головы лужу, спины, хвосты, животы клепаю, полирую!» Обрадовался он, позвал жестянщика, которым оказался Фротон, велел ему наглухо запаять банку, а потом дал ему золотой и говорит:

– Слушай, жестянщик, в этой банке – металлический скорпион, пойманный в моих дворцовых подвалах. Возьми ее и

выброс за городом, там, где большая свалка, знаешь? А для верности привали хорошенько камнем, а то скорпион еще выползет. И, ради Великой Матрицы, банку не открывай, иначе погибнешь на месте!

– Все исполню, как велит ваша милость, – ответил Фротон, взял жестянку, плату и вышел.

Удивила его эта история, не знал он, что о ней думать; встряхнул банку, и что-то там загремело.

«Не очень-то похоже на скорпиона, – подумал он. – Не бывает таких маленьких скорпиончиков… Посмотрим, что там такое, только не сразу…»

Вернувшись домой, спрятал он банку на чердаке, сверху набросал старых железок, чтоб жена не нашла, и пошел спать. Но жена заметила, как он что-то прятал на чердаке, и, когда наутро он вышел из дому, чтобы заведенным порядком бродить по городу, восклицая: «Головы лужу, хвосты паяю!» – быстро побежала наверх, отыскала жестянку, встряхнула ее и услышала звон металла. «Ну, негодяй, ну, мерзавец! – подумала она. – Ишь до чего дошел – от жены сокровища прячет!» Поскорей провертела в жестянке дырочку, но ничего не увидела и тогда распорола долотом крышку. И только ее отогнула, как увидела золотой блеск, а это были Диоптриковы ордена из чистого золота; задрожала Фротониха от жадности неодолимой и оторвала весь жестяной верх, а тогда Диоптрик, который доселе был словно мертвый, ибо жесть экранировала его от мозга, спрятанного в дворцовом шкафу, вдруг очнулся, восстановив связь с разумом, и закричал:

– Что это? Где я?! Кто посмел на меня напасть?! Кто ты, мерзкая тварь? Знай, что бесславно погибнешь, залужённая насмерть, если сей же час не вернешь мне свободу!

Жестянщикова жена, увидав три блистающих ордена, которые перед глазами у нее скачут, верещат и грозят хвостиком, перепугалась ужасно и кинулась наутек; подбежала к чердачному лазу, а так как Диоптрик по-прежнему плавал над ней и грозился, понося ее на чем свет стоит, споткнулась она о верхнюю перекладину лесенки, и вместе с ней полетела вниз, и шею себе сломала; а лесенка, перевернувшись, перестала подпирать крышку лаза, и та захлопнулась; так Диоптрик оказался заточенным на чердаке, где и плавал от стены до стены, тщетно взывая о помощи.

Вечером вернулся Фротон и удивился, что жена не встречает его на пороге с ломом в руках, а вошедши в дом, увидел ее и даже слегка опечалился, ибо сердце имел голубиное; однако вскоре подумал, что случай этот обернется ему на пользу, тем более что

жену можно будет пустить на запасные части, и с немалою прибылью. Так что уселся он на полу, взял отвертку и принялся за разборку покойницы. И тут донеслись до него пискливые крики, плывущие сверху.

«Ах! – сказал он себе. – Узнаю этот голос – ведь это великий программист государев, что велел меня давеча вышвырнуть, да еще не заплатил ни гроша, – но как его занесло ко мне на чердак?»

Приставил он лесенку к лазу, поднялся по ней и спрашивает:

– Вы ли это, ваша светлость?

– Я, я! – закричал Диоптрик. – Кто-то напал на меня, похитил, запаял в банку, какая-то баба ее открыла, перепугалась и свалилась с лестницы, крышка захлопнулась, я заточен, выпусти меня, кто бы ты ни был – ради Великой Матрицы! – а я дам тебе все, чего ни попросишь!

– С позволения вашей светлости, я уже эти слова слыхал и знаю им цену, – ответил Фротон. – Ведь я тот самый жестянщик, которого вы велели прогнать. – И рассказал ему всю историю: как какой-то неизвестный магнат позвал его к себе, велел запаять банку и оставить ее на свалке за городом.

Понял Диоптрик, что это был кто-то из королевских министров, и вернее всего Амассид, и принялся заклинать и молить Фротона выпустить его с чердака; но жестянщик спросил, как может он верить слову Диоптрика?

И лишь когда тот поклялся всем святым, что отдаст за него дочь, жестянщик открыл лаз и, ухвативши вельможу двумя пальцами, орденами кверху, отнес его домой, во дворец. А часы как раз выбулькивали полдень, и начиналась великая церемония извлечения из печи королевского сына; так что Диоптрик поскорее довесил к трем орденам, из коих он состоял, Большую Всеокеанскую Звезду на ленте, расшитой морскими валами, и стремглав поплыл ко дворцу Иноксидов. А Фротон направился в покои, где средь дам своих сидела Аурентина, играя на электродрумле; и весьма пришлись они друг другу по сердцу. Зазвенели фанфары с башен дворцовых, когда Диоптрик подплыл к главному входу, ибо церемония уже началась. Привратники сперва его не пускали, но узнали по орденам и отворили ворота.

А когда они отворились, пробежал по всему коронационному залу подводный сквозняк, подхватил Амассида, Миногара и Филонавта – до того они были миниатюрны – и унес их на кухню, где вельможи, напрасно взывая о помощи, покружили над кухонным сливом, и упали туда, и подземными течениями вынесены были за город; и прежде чем выкарабкались из ила, тины и грязи, очистились и вернулись ко двору, церемония уже

кончилась. А подводный сквозняк, столь злополучный для трех министров, подхватил и Диоптрика и завертел его вокруг трона с такой быстротой, что золотая проволочка, опоясывавшая его, лопнула; полетели во все стороны ордена, вместе со Всеокеанской Звездой, а аппаратик, силой раскрута, ударил по лбу самого государя, который весьма изумился, услышав писк, исходивший из этой крохи:

– Ваше Величество! Простите! Я нечаянно! Это я, Диоптрик, великий программист…

– Что за глупые шутки в такую минуту? – воскликнул король и отпихнул аппаратик, а тот сплыл на пол, и Великий Поджабрий, открывая торжество троекратным ударом золотого жезла, по недосмотру раскрошил его вдребезги.

Вышел королевич из детской печи, и упал его взор на электрорыбку, что резвилась в серебряной клетке у трона; посветлел его лик, и полюбилось ему крохотное это созданье. Церемония благополучно закончилась, королевич вступил на трон и занял место Гидропса. С той поры он стал владыкою аргонавтиков и великим философом, занявшись исследованием небытия, ведь ничего меньшего нельзя и помыслить; и правил справедливо, принявши имя Небытолюб, а маленькие электрорыбки были его любимым лакомством. А Фротон взял в жены Аурентину; вняв ее просьбам, достал из подвала изумрудное тело Диоптрика, починил его и вправил ему мозги, извлеченные из шкафа; видя, что делать нечего, великий программист и остальные министры оттоле верно служили новому государю, а Аурентина с Фротоном, который стал Великим Коронным Жестьмейстером, жили долго и счастливо.

Друг Автоматея [11]

Один робот, собираясь отправиться в далекий и небезопасный путь, услыхал об очень полезном устройстве, которое его изобретатель назвал электродругом. Ему подумалось, что он увереннее будет себя чувствовать, обзаведясь таким товарищем, пусть это даже будет какое-то техническое устройство. Он отправился к изобретателю и попросил его рассказать о машинном друге.

– Охотно тебя с ним познакомлю, – ответил изобретатель. (Как известно, в сказках все друг другу «тыкают», даже драконам, и разве что к королевским особам принято обращаться на «вы».) С этими словами он достал из кармана пригоршню похожих на дробь металлических шариков.

– Что это? – удивился робот.

– А тебя как звать? – спросил изобретатель. – Я запамятовал сразу спросить тебя об этом, как полагается в начале сказки.

– Автоматеем.

– Длинновато немного. Я буду звать тебя АвтОмек.

– Вообще-то, это от Автомата, ну да как пожелаешь, – ответил тот.

– Итак, мой дорогой АвтОмек, перед тобой целая горсть электродрузей. Должен сказать тебе, что по призванию и по специальности я минималист. То есть громоздкие и тяжелые устройства я стремлюсь заменять все более портативными и миниатюрными. Каждая из этих дробинок являет собой вместилище всеобъемлющего и безупречного электрического интеллекта. Не скажу, что гениального – не хочу заниматься саморекламой и преувеличивать. Хотя именно к этому я стремлюсь и не успокоюсь, пока не сумею произвести гениев таких крошечных, чтобы их можно было тысячами носить в кармане. Моя мечта сбудется, и я достигну поставленной цели, когда смогу наполнять ими мешки и продавать на вес, как песок. Но довольно о моих планах на будущее. Пока что я продаю электродрузей в розницу и недорого. За каждого беру такого же веса бриллиант. Думаю, ты согласишься, что это весьма умеренная плата, если принять во внимание, что своего электродруга ты сможешь вставить в ухо, и всю дорогу он будет нашептывать тебе ценные советы и предоставлять любую информацию. Прилагается к нему кусочек ваты – заткнуть ухо, чтобы друг не выпал из него, когда будешь вертеть головой. Ну что, берешь? Если возьмешь дюжину, я спущу цену…

– Нет, пока что мне вполне хватило бы и одного. Но прежде хотелось бы узнать, на что именно я могу рассчитывать? Скажем, способен ли он прийти на помощь в трудной жизненной ситуации?

– Естественно, именно в этом его назначение! – воскликнул изобретатель. Он подбросил на ладони горсточку тускло поблескивающих дробинок, изготовленных из редкоземельных металлов, и продолжал. – Конечно, ты не можешь рассчитывать на физическую помощь с его стороны, но ведь не в этом дело. Быстрые и эффективные советы, разумные соображения, полезные указания, напоминания и предостережения, слова поддержки и одобрительные замечания, сентенции и глубокие мысли, укрепляющие волю и позволяющие справиться с любой трудностью и опасностью. И это только малая часть репертуара моих электродрузей! Они абсолютно самоотверженны и преданы тебе, всегда наготове, поскольку никогда не спят, и вдобавок чрезвычайно надежны, эстетичны, и посмотри только, как

удобны! Ну так что, берешь только одного?

– Да, одного, – ответил Автоматей. – Но скажи еще, пожалуйста, что будет, если кто-то украдет его у меня? Он ко мне вернется? Или же его похитителю придет конец?

– Что нет, то нет, – ответил изобретатель. – Он будет служить ему так же старательно и верно, как до того тебе. Нельзя требовать слишком многого, дорогой АвтОмек. Он не бросит тебя в беде, если ты тоже его не бросишь. Но тебе это и не грозит, пока он будет находиться у тебя в ухе, всегда заткнутом ватой…

– Ладно, – согласился Автоматей. – А как мне к нему обращаться и с ним разговаривать?

– Разговаривать с ним вслух нет необходимости. Стоит тебе что-то беззвучно произнести про себя, и он прекрасно тебя услышит. Что касается имени, можешь звать его Ух и обращаться к нему «мой Ух», этого будет достаточно.

– Отлично, – ответил Автоматей.

После чего они взвесили Уха, и изобретатель получил за него симпатичный бриллиантик, а робот, довольный тем, что у него появился товарищ, спутник и близкая душа, тронулся в дальний путь.

Путешествовать с Ухом было очень удобно. По желанию робота он будил его каждое утро, тихонько насвистывая в его голове бодрую песенку. Еще он рассказывал всякие веселые историйки и шутил, но вскоре Автоматею пришлось запретить ему это делать, когда рядом кто-то находился, чтобы его не сочли придурком, разражающимся вдруг громким смехом без всякой на то видимой причины.

Так путешествовал Автоматей с другом в ухе по суше сперва, пока не добрался до берега моря, где его уже ждал красивый белый корабль. Багажа у него с собой было немного, и только он успел расположиться в уютной каюте, как с удовольствием услыхал рокочущий грохот якорной цепи, сообщивший о начале дальнего плавания. Несколько дней красавец-корабль бодро бежал по волнам, сверкающим на солнце или серебрящимся в лунном свете, по ночам укачивая и баюкая робота, пока однажды утром не налетел откуда-то жуткий шторм. Волны, втрое выше мачт, обрушивались на корабль, трещавший по всем швам, и грохот стоял такой, что Автоматей не мог расслышать ни слова из тех утешений, которые несомненно нашептывал ему Ух в эти грозные минуты. Внезапно раздался ужасающий треск, в каюту хлынула морская вода, и на глазах у потрясенного Автоматея судно начало разламываться на части.

Он едва успел, в чем был, выбежать на палубу и запрыгнуть в последнюю из спасательных шлюпок, как гигантская волна

обрушилась на корабль и потащила его в клокочущую океанскую бездну. Автоматей не видел вокруг себя никого из членов экипажа – в спасательной шлюпке посреди бушующего океана он оказался один, как перст, трепеща в ожидании мига, когда очередной вал потопит скачущую на волнах лодку вместе с ним. Выл ветер, из нависших туч потоки ливня розгами хлестали расходившееся море, и невозможно было расслышать, что наговаривал ему Ух. Вдруг посреди бурлящей стихии робот различил нечто бесформенное, обо что разбивались волны, заливая его взбитой пеной. Это оказался берег неизвестной земли, на камни который с грохотом швырнуло его шлюпку. Промокший до нитки в соленой воде, на непослушных ногах Автоматей опрометью бросился из последних сил вглубь спасительной суши, только бы подальше оказаться от морских волн. Под какой-то скалой он опустился на землю и в изнеможении заснул.

Разбудило его осторожное посвистывание. Это Ух деликатно напоминал ему о своем дружеском присутствии.

– Ах, как хорошо, что ты здесь, Ух! Только теперь я вижу, как здорово, что ты со мной, точнее даже – во мне самом! – воскликнул Автоматей, очнувшись от глубокого сна. Он огляделся. Светило солнце, море еще волновалось, но уже не так грозно, рассеялись дождевые тучи. Увы, не видно было и корабля. Буря, видимо, бесновалась всю ночь, поскольку бесследно исчезла также лодка, спасшая ему жизнь. Он вскочил на ноги и принялся бегать вдоль берега, но уже минут через десять вернулся на прежнее место. Он находился на необитаемом острове весьма небольшого размера. Положение невеселое, но что с того, если с ним его Ух! Автоматей наскоро сообщил своему другу о результатах осмотра местности и попросил совета.

– Ну и ну, мой дорогой! – отозвался Ух. – Ничего себе положеньице. Здесь надо хорошо поразмыслить. В принципе, что тебе необходимо?

– Как это? Да все: помощь, спасение, одежда, средства выживания – здесь же нет ничего, кроме песка и скал!

– Хм, вот как. Ты в этом уверен? А не валяются ли где-то на берегу сундуки с разбитого корабля с рабочими инструментами, всякой одеждой, какими-то ценными книжками и порохом для ружей?

Автоматей обегал все побережье острова, но ничего такого не нашел. Не нашел даже щепки от затонувшего корабля, который, похоже, камнем пошел ко дну.

– Ничего нет, говоришь? Странно, очень странно. Богатейшая литература о выживании на необитаемых островах

свидетельствует, что потерпевшие кораблекрушение непременно находят топоры, гвозди, пресную воду, какое-то масло, священное писание, пилы, клещи, ружья и множество других полезнейших вещей. Но если их нет, что поделаешь. Может, есть в здешних скалах хотя бы какая-то пещера, которая могла бы служить убежищем?

– Нет никакой пещеры.

– Говоришь, нет? Это уж совершенно необычно! Не мог бы ты взобраться на самую высокую скалу и осмотреть окрестности?

– Сейчас же это сделаю! – воскликнул Автоматей. После чего взобрался на крутую скалу посредине острова и остолбенел: островок вулканического происхождения со всех сторон окружала водная пустыня океана.

Еле слышным голосом он сообщил это Уху, дрожащим пальцем поправляя вату в ухе, чтобы нечаянно не потерять своего друга. «Какое же счастье, что он не выпал, когда тонул корабль!» – подумал он и, ослабев, уселся на скале, ожидая от друга поддержки.

– Теперь послушай меня, мой друг! – раздался, наконец, после томительного молчания звонкий голосок Уха. – Вот советы, которые я спешу тебе дать в этой тяжелой ситуации! – В соответствии со сделанными мной расчетами, могу утверждать, что мы находимся на неизвестном рифовом островке, являющемся одной из вершин подымающегося из морских глубин горного хребта, который через три-четыре миллиона лет соединится с материком.

– Причем здесь эти миллионы?! Сейчас что мне делать? – вскричал Автоматей.

– Островок расположен вдали от морских путей, и шанс появления поблизости какого-то судна составляет один к четыремстам тысяч.

– О небо! – воскликнул в отчаянии несчастный Автоматей. – Как же это ужасно! И что ты посоветуешь мне теперь предпринять?

– Сейчас скажу тебе, если ты не будешь меня постоянно перебивать. Отправляйся на берег и войди в воду, примерно, по грудь. Так тебе не придется слишком сильно наклоняться, что не очень удобно. Затем опустишь голову в воду и вберешь ее в себя столько, сколько только сможешь. Знаю, что она горькая, но это продлится недолго и можно потерпеть. Тем более, если продолжишь заходить все глубже. Твое нутро отяжелеет, соленая вода, переполнив организм, прекратит в нем все процессы, и ты очень быстро расстанешься с жизнью. Благодаря этому ты избежишь длительных мук пребывания на острове, постепенного

умирания и даже угрожающего тебе перед тем неизбежного сумасшествия. В руки, кстати, можешь взять по тяжелому камню. Это необязательно, конечно, но все же…

– Да ты с ума сошел! – заорал Автоматей, вскочив на ноги. – Я должен утопиться? Ты предлагаешь мне самоубийство?! Вот это добрый совет! И ты еще считаешься моим другом?

– Конечно же! – отвечал Ух. – Я совсем не сошел с ума, хотя бы потому, что не способен к этому, я никогда не теряю умственного равновесия. Тем досаднее было бы мне, мой дорогой, оставаться твоим другом, глядя, как ты сам теряешь его под палящими лучами солнца. Уверяю тебя, что, тщательно проанализировав сложившуюся ситуацию, другого выхода я не вижу. Тебе не построить лодку или плот, поскольку отсутствуют для этого материалы. Как уже было сказано, никакой корабль тебя здесь не спасет. Даже самолеты не летают над этим островом, а самому тебе летательный аппарат тоже не построить. Ты можешь, конечно, предпочесть смерти быстрой и легкой постепенное умирание, однако, как твой ближайший друг, я предостерегаю тебя от столь неразумного выбора. Достаточно хорошо втянуть в себя воду…

– А чтоб тебя гром побил, с такими советами! – возопил, трясясь от гнева, Автоматей. – Только подумать, что за подобного друга я отдал прекрасно ошлифованный бриллиант! Да знаешь ли ты, кто твой изобретатель? Обыкновенный мошенник, проходимец, карманник!

– Ты возьмешь свои слова обратно, если только дослушаешь меня до конца, – спокойно возразил Ух.

– Ага, так ты еще не все сказал? Может, ты хочешь утешить меня сказками о загробной жизни? Покорно благодарю!

– Нет никакой загробной жизни, – ответил Ух. – Не собираюсь также обманывать тебя, поскольку не хочу и не умею этого делать. Дружескую помощь я понимаю не так, как ты. Послушай меня внимательно, мой дорогой. Как ты сам знаешь, мир бесконечно разнообразен и богат, хоть об этом мы и не задумываемся. Есть в нем великолепные города, где собраны бесценные сокровища и кипит жизнь, есть королевские дворцы и глинобитные хижины, чарующие и мрачные горы, шумные дубравы, зеркальные озера, палящие и ледяные пустыни. Ты, однако, создан таким, что не можешь пребывать более чем в одном-единственном месте из тех, что я перечислил или даже не упомянул, а таких миллионы. Таким образом, без всякого преувеличения можно сказать, что для тех мест, в которых ты отсутствуешь, ты все равно что мертвец. Тебе недоступны наслаждения богатствами дворцов, ты не принимаешь участия в

танцах южных народов и не упиваешься радужными переливами северных льдов. Они не существуют для тебя совершенно так же, как это было бы после смерти. Следовательно, если ты хорошо задумаешься и вникнешь в то, что я тебе говорю, сам поймешь, что, не будучи везде, во всех этих изумительных местах, ты находишься почти что нигде. Существуют мириады мест, где можно находиться, но из них всех тебе доступно одно-единственное – этот скальный островок. Неинтересный, удручающе однообразный и даже отвратительный. Существует огромная разница между «везде» и «почти что нигде»; это последнее и есть твой жизненный удел, поскольку ты всегда находишься в одном-единственном месте и только. Тогда как разница между «почти что нигде» и просто «нигде», можно сказать, микроскопическая. Если математически подойти к твоим ощущениям, то ты уже сейчас едва жив, поскольку почти везде отсутствуешь, совсем как покойник! Это во-первых. А во-вторых: взгляни только на этот песок под ногами вперемешку с колким гравием, что так ранит твои чуткие ступни, – считаешь ты его сколь-нибудь ценным? Наверняка нет. А этот тошнотворный переизбыток соленой воды вокруг – нужен он тебе? А как же! И эти раскаленные мертвые скалы под голубым небом без единого облачка, этот иссушающий невыносимый зной, поражающий твои суставы, – они тебе нужны? Ясное дело – нет. Таким образом, тебе не нужно абсолютно ничего из того, что тебя окружает, на чем ты стоишь, что находится над тобой под куполом небосклона. И если все это ненужное у тебя отнять, что останется? Немного шума в голове, боли в висках, стука в груди, дрожи в коленях и дерганых движений. Но нужны тебе эти шум, боль, лихорадочный стук и тряская дрожь? Как бы не так, мой дорогой! И если не нужны и они, что в остатке? Беспорядок в мыслях, ругательные речи, которыми ты в сердцах осыпаешь меня, твоего друга, да еще удушающий гнев и паническая тревога. Они тебе нужны – этот омерзительный страх и бессильная ярость?! Ответ очевиден. И если отказаться от ненужных ощущений и переживаний, не останется совсем ничего – ноль, можно сказать. Вот этим нулем, – состоянием предвечного равновесия, бесконечного молчания и совершенного покоя, – я и хочу одарить тебя, как настоящий твой товарищ!

– Но я жить хочу! – взревел Автоматей. – Хочу жить! Жить!! Слышишь ты меня?!

– Это совсем другой разговор, – спокойно ответил Ух, – не о твоем положении, а о твоих желаниях. Ты хочешь жить, то есть располагать будущим, становящимся твоим «сегодня», поскольку именно к этому сводится жизнь целиком и полностью. Но, как мы

уже установили, жить ты не можешь, поскольку отсутствуют условия для этого. Речь может идти только о том, каким образом жизнь прекратить – ценой долгих мучений или же легко, когда, втянув побольше воды…

– Достаточно! Не желаю! Пошел прочь!!! – заорал Автоматей, вскочив на ноги со стиснутыми кулаками.

– Вот-те здрасьте! – возразил ему Ух. – Уж не говоря об оскорбительной форме подобного приказания, для меня однозначно свидетельствующего о расторжении дружбы, как можно выражаться столь неразумно? Что значит это твое «прочь»? У меня, что ли, есть ноги, на которых я мог бы уйти? Или хотя бы руки, чтобы с их помощью отползти? Ты же прекрасно знаешь, что это не так. И если хочешь от меня избавиться, тебе достаточно вынуть меня из своего уха, – которое, замечу, не кажется мне лучшим местом на свете, – и забросить куда подальше.

– Хорошо же! – вскричал охваченный гневом Автоматей. – Сейчас я это сделаю!

Однако, как ни ковырялся он пальцем в ухе, ничего у него не получалось, его друг слишком глубоко в нем сидел. Тогда робот принялся изо всех сил трясти головой, как бешеный.

– Похоже, у тебя ничего не выходит, – заметил Ух, выдержав паузу. – Вопреки твоему и моему желанию, видимо, так нам не расстаться. Придется согласиться с данным фактом, поскольку факты – вещь упрямая и неопровержимая. Что касается, между прочим, и твоего теперешнего положения. Ты хочешь иметь будущее любой ценой, что представляется мне неразумным, но будь по-твоему. Позволь мне, в таком случае, обрисовать вкратце это твое будущее, потому что знать – всегда лучше, чем не знать. Бессильное отчаяние вскоре вытеснит сотрясающий тебя сейчас гнев. Но и оно, в свою очередь, после ряда бурных и тщетных попыток найти способ спасения, уступит место тупому безразличию. А тем временем невыносимый зной, который даже я ощущаю в своем недоступном солнечным лучам убежище, будет, в полном согласии с законами физики и химии, иссушать все больше твой организм. Сначала пересохнут твои суставы, и даже малейшее движение будет даваться тебе со скрипом и скрежетом, мой бедолага! Затем, когда твой череп раскалится на солнце от зноя, перед твоими глазами возникнут вертящиеся разноцветные круги, но это совсем не похоже будет на любование радугой, поскольку…

– Замолкни, наконец, мучитель мой! – крикнул Автоматей. – Я не собираюсь слушать, что меня ожидает! Молчи и не отзывайся, понял?!

– Не надо так кричать. Ты же знаешь, что мне слышен даже

тишайший твой шепот. Значит, ты не желаешь знать о своих будущих мучениях? Но, с другой стороны, это будущее хочешь иметь? Где логика? Ну что ж, я замолчу. Отмечу только, что ты поступаешь некрасиво, обращая свой гнев на меня, словно это я виноват, что ты оказался в столь плачевном положении. Виновницей твоих несчастий, сам знаешь, была буря, я же – твой друг. И невольное мое присутствие и участие в предстоящих тебе мучениях, весь этот многоактовый спектакль страданий и затяжной агонии, уже сейчас доставляет мне огромное огорчение. Меня по-настоящему страшит, что будет, когда зной…

– Значит, ты не хочешь замолкнуть? Или же не можешь? Ты, ненавистное чудовище!.. – взорвался Автоматей и заехал себе кулаком в ухо, где отсиживался его приятель. – Если бы только попалась мне здесь какая-то щепочка или веточка, немедленно выковырял бы тебя, раздавил как гадину!

– Мечтаешь о том, чтобы меня уничтожить? – огорченно спросил Ух. – Воистину, ты не заслуживаешь не только электродруга, но вообще никого, кто бы испытывал к тебе братское сострадание!

Автоматея охватил новый приступ ярости. Так они бранились, ссорились и пререкались всю первую половину дня, пока бедный робот не ослабел от криков, прыжков и размахивания кулаками и не исчерпал запас сил. Присев на камень, он издавал одни тяжкие вздохи, вглядываясь в океанскую пустыню. Несколько раз он принимал облачка на горизонте за пароходный дым. Однако Ух гасил эти иллюзии в зародыше, напоминая ему об одном шансе из четырехсот тысяч, что бесило и приводило в отчаяние Автоматея, потому что Ух всякий раз оказывался прав. Наконец, оба надолго замолчали. Робот в отупении следил, как тени от скал подползают по слепящему песку к береговой линии, когда Ух снова заговорил.

– Что молчишь? Или уже видишь те разноцветные круги, о которых я тебе говорил?

Автоматей даже не стал отвечать ему на это.

– Ага! – продолжил Ух. – Видимо, не только круги уже, но и наступает то отупение, которое заранее я так точно тебе описал. На самом деле, просто удивительно, сколь неразумным становится разумное существо, когда обстоятельства загоняют его в угол. Достаточно запереть его на необитаемом острове, где ему предстоит погибнуть, доказать как дважды два, что это неизбежно, указать ему единственный выход из положения, которым он может воспользоваться, обладая разумом и волей, – и какая за это благодарность? Куда там, он продолжает питать надежду, а если ее нет, предается иллюзиям и предпочитает

погрузиться в сумасшествие, а не в ту воду, что…

– Прекрати болтать о воде! – прохрипел Автоматей.

– Я хотел только указать на иррациональность твоего поведения, – возразил Ух. – Я же больше не уговариваю тебя, не склоняю к тем или иным поступкам. Хочешь медленной смерти, не желаешь ничего предпринять, выбираешь такой конец – дело твое, но подобное решение стоит хорошо обдумать. Насколько же глуп и ложен страх перед смертью как переходом в состояние, заслуживающее разве что восхваления! Что еще может сравниться в совершенстве с небытием? Согласен, предшествующая ему агония как таковая выглядит не очень привлекательно, но, с другой стороны, не было еще на свете никого настолько слабого физически и душевно, кто бы не справился с ней и не сумел умереть окончательно и без дураков. Ничего особенного нет в агонии, если она под силу даже последнему слабаку, ослу и балбесу. Более того, если справиться с ней способен всякий, что необходимо признать (по крайней мере, я не слыхал, чтобы кому-то не достало на это сил), то не лучше ли насладиться мыслью о всеблагом небытии, которое открывается за ее порогом? Поскольку, умерев, невозможно уже ни о чем думать, ибо смерть и мышление друг друга исключают, когда же еще как не при жизни, пристало оценить все преимущества, выгоды и удобства, которые тебе сулит смерть! Только сам подумай: никакой тебе борьбы, беспокойства, страхов, никаких телесных и душевных страданий, никаких жизненных бед и невзгод, – разве одного этого мало? И никакие всемирные силы зла, ополчившиеся на тебя, больше тебе не страшны! Что может сравниться с неуязвимостью и упоительной безопасностью покойника! А если учесть, что это не переходное какое-то состояние, мимолетное и нестойкое, что его невозможно отменить или нарушить, то невыразимый восторг…

– Чтоб ты пропал! – послышался слабый голос Автоматея, за чем последовало краткое крепкое ругательство.

– Как же мне жаль, что это невозможно! – немедленно парировал Ух. – Не только завистливая ревность (поскольку нет ничего превыше смерти, о чем я уже говорил), но и чистейший альтруизм побуждают меня сопровождать тебя до конца. Самому мне доступ в небытие закрыт, ибо мой изобретатель создал меня из-за своих конструкторских амбиций неуничтожимым. Оторопь меня берет при мысли, что мне придется прозябать внутри твоего заскорузлого от морской соли высохшего трупа, разложение которого дело не скорое; придется поневоле разговаривать с собой – вот что меня удручает. И сколько придется еще дожидаться того, одного из четырехсот тысяч, судна, что случай

приведет к этому островку, согласно моим расчетам…

– Что?! Ты не сгинешь тут?! – заорал вырванный из оцепенения словами Уха Автоматей. – Значит, ты будешь жить, тогда как я… О, не дождешься! Никогда! Никогда!! Никогда!!!

И с жутким рычанием, вскочив на ноги, он принялся прыгать, трясти головой, ковыряться изо всех сил в ухе, совершая при этом невообразимые телодвижения. Все напрасно. Тем временем Ух изо всех сил пищал у него в ухе:

– Ну же, перестань! Ты, что, сбесился? Вроде бы рано еще! Осторожнее, нанесешь себе увечья! Что-то себе сломаешь или вывихнешь. Побереги шею! Но это же бессмысленно! Другое дело, если бы ты мог сразу… а так ты только покалечишься! Говорю же тебе, я неуничтожим – и точка! Зачем так мучить себя? Даже если меня и удастся вытряхнуть, ты не сможешь причинить мне зла, то есть, я хотел сказать, добра, что согласуется с моим утверждением, что смерть достойна только зависти. Ай! Прекрати, наконец! Ну сколько можно так прыгать!..

Автоматей, однако, продолжал метаться, несмотря ни на что, и дошел до того, что стал биться головой о камень, на котором прежде сидел. Оглушенный силой собственных ударов, он разошелся так, что из глаз искры летели, и дым шел из ноздрей, пока вдруг Ух не вылетел из его уха и покатился между камней с возгласом облегчения, что немилосердная тряска наконец закончилась. Автоматей не сразу заметил, что его усилия увенчались успехом. Опустившись на горячие камни, он добрую минуту отдыхал, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, и только бормотал:

– Ничего, это временная слабость. Уж я тебя вытрясу, я тебя растопчу, драгоценный мой друг, слышишь ты меня? Слышишь? Эй! Что это?!

Почувствовав пустоту в ухе, он резко сел и огляделся. Еще не вполне придя в себя, он опустился на колени и принялся за горячечные поиски Уха, просеивая в руках мелкие камешки.

– Ух! Ух!!! Ты где? Отзовись же! – звал он испуганно.

Однако, Ух то ли из предосторожности, то ли по другой какой-то причине, и не думал отзываться. Тогда робот принялся приманивать его самыми нежными словами, уверяя, что изменил свое решение, что он желает теперь только одного – последовать доброму совету своего электродруга и пойти утопиться, только хотел бы перед тем еще раз выслушать его дифирамб смерти. Но и это ни к чему не привело, Ух будто онемел. Тогда злосчастный робот, чертыхаясь и проклиная судьбу, взялся за поиски всерьез и принялся перебирать дюйм за дюймом все камешки вокруг. Собираясь уже отбросить очередную пригоршню и поднеся ее к

глазам, он вдруг разглядел Уха, которого выдало спокойное матовое свечение металлической дробинки.

– А, попался, мой червячок! Моя крошка, вот ты где! Дорогой мой, неуничтожимый! – злорадно ворковал Автоматей, крепко сжимая в пальцах Уха, который даже не пискнул.

– Посмотрим же теперь, что с твоей особой прочностью и надежностью, и вечно ли тебе существовать, сейчас проверим. Вот тебе!!

Свои слова робот подкрепил действием. Положив электродруга на камень, Автоматей подпрыгнул и обрушился на него всем своим весом, для верности повертевшись еще на железной пятке так, что послышался скрежет. Ух никак не откликался, зато скрежетал камень, как если бы в него впилось стальное сверло. Наклонившись, Автоматей увидел, что шарик не пострадал, только раскрошился под ним камень. Ух лежал теперь в небольшой лунке.

– Что, такой ты крепкий? Ничего, найдем для тебя камень потверже, – буркнул Автоматей и принялся, как угорелый, носиться по всему острову, выискивая самые прочные с виду каменья – кремень, базальт, порфирит, чтобы раздавить на них Уха. Прыгая и топчась по другу, он одновременно обращался к нему то с бранью, то преувеличенно спокойно, в надежде, что тот отзовется или даже взмолится о пощаде. Но Ух хранил молчание, по-прежнему. Слышались только глухие удары, топот, хруст камней и сиплые проклятия запыхавшегося Автоматея. Убедившись, в конце концов, что самые страшные удары не причиняют никакого вреда Уху, разгоряченный и ослабевший Автоматей вновь уселся на берегу, сжав электродруга в горсти.

– Даже если мне не удастся тебя раздавить, – заговорил он с деланным самообладанием, сквозь которое проступала с трудом сдерживаемая ярость, – будь уверен, я что-нибудь придумаю для тебя. Зашвырну в море, где пролежишь до скончания веков в ожидании какого-то корабля. У тебя будет бездна времени для приятных размышлений в столь совершенном одиночестве. Не найти тебе нового друга, уж я об этом позабочусь!

– Заботливый ты мой, – неожиданно отозвался Ух, – чем же мне может повредить пребывание на морском дне? Ты мыслишь как существо конечное, и отсюда все твои ошибки. Пойми же: или высохнет когда-нибудь море, или еще до того дно его поднимется, как подымаются горы, и превратится в сушу. Будет это через сто тысяч или же через миллионы лет, для меня не имеет значения. Я не только неуничтожим, но и бесконечно терпелив, как ты уже должен был бы заметить хотя бы по тому, как спокойно я переносил твои бесчинства. Скажу тебе больше: я

не отзывался на твои вопли, позволяя себя искать, чтобы уберечь тебя от напрасной траты сил. И даже, когда ты прыгал и топтал меня, я молчал, чтобы неосторожным словом не разъярить тебя еще больше, что могло бы довести тебя до беды.

От такого благородства дружеских признаний Автоматея охватил новый приступ ярости.

– Растопчу! В порошок сотру тебя, подлец! – прорычал он и начал новую пляску на камнях, с бешеными прыжками и притопом. На этот раз ему подыгрывал тоненьким голоском Ух:

– Не верю, что у тебя получится, но попробуй! Так! Еще раз! Нет, так ты быстро устанешь. Ноги вместе! И хоп – вверх! Гоп-ца-ца! Гоп-ца-ца! Выше подпрыгивай – сильней получится удар! Уже не можешь? В самом деле? Что, не получается? Да, теперь так! Лупи камнем по мне! О, хорошо! Может, возьмешь другой камень? Нет разве камня потяжелее? Еще раз! Луп-цу-цу, дорогой друг! Как жаль, что не могу тебе ничем помочь! Почему остановился? Так скоро силы иссякли? Как жаль… Ну ничего… Я подожду, отдохни – ветерок тебя остудит…

Автоматей с шумом свалился на камни, глядя с ненавистью на металлическое зернышко на своей ладони и, хочешь не хочешь, слушая, что оно ему продолжало говорить:

– Если бы я не был твоим электродругом, то мог бы сказать, что ты ведешь себя постыдно и недостойно. Корабль погубила буря, вместе со мной ты спасся, я помогал тебе советами, как умел, а когда не смог придумать для тебя способа спасения в безнадежной ситуации, ты озлобился и решил уничтожить меня, своего единственного товарища, поддерживавшего тебя советами и говорившего правду. Надо признать, благодаря этому у тебя появилась хоть какая-то цель в жизни, и уже за одно это ты должен быть мне благодарен. Не пойму, почему мысль о моем выживании так ненавистна тебе…

– Это еще посмотрим, выживешь ли ты! – скрежеща зубами, сказал Автоматей. – Еще не вечер…

– Ты меня восхищаешь. Знаешь что? Попробуй меня положить на пряжку своего ремня, сталь все-таки тверже камня. Можешь попытаться, хоть я уверен, что и это не поможет. А я так рад был бы тебе чем-то помочь…

Поколебавшись немного, Автоматей все же последовал этому совету, но добился только того, что поверхность пряжки запестрела крошечными ямками. Убедившись, что самые яростные удары не дают результата, Автоматей впал в настоящую черную меланхолию. Удрученно и обессилено, он тупо глядел на металлическую дробинку, продолжавшую тоненьким голоском вещать:

– Вы только посмотрите – и это разумное существо? Впадает в бездну отчаяния, потому что у него не получается стереть в порошок единственную в этой земной пустыне родственную душу! Скажи, ну не стыдно тебе хоть немножко, Автоматейчик?

– Смолкни, болтливый ублюдок! – шикнул робот.

– Чего это я должен смолкнуть? Если бы я желал тебе зла, я давно бы замолчал, но я все еще остаюсь твоим электродругом. Я буду рядом с тобой, как верный друг, даже когда ты станешь агонизировать, как бы ты этому не противился и не грозился зашвырнуть меня в море, потому что иметь свидетеля всегда предпочтительнее, согласись. Я буду наблюдать твою агонию, которая благодаря этому, мой дорогой, удастся тебе лучше, чем в полном одиночестве. Важно ведь сопереживание, каким бы оно ни было. Твоя ненависть ко мне, твоему подлинному другу, тебя поддержит, придаст отваги, окрылит душу, стоны сделает хорошо интонированными и убедительными, упорядочит конвульсии и гармонизирует последние минуты твоей жизни, что совсем не мало… Что касается меня, обещаю говорить поменьше и ничего не комментировать, потому что, поступая иначе, я мог бы нечаянно травмировать тебя избытком своих дружеских чувств, что было бы для тебя нестерпимо по причине твоего паскудного характера, говорю тебе как друг. Но я и с этим справлюсь, потому что, отвечая добротой на злость, я тебя уничтожу и, таким образом, избавлю тебя от самого себя – исключительно по дружбе, повторю, а не по слепоте душевной, поскольку моя симпатия к тебе не мешает мне видеть всю отвратительность твоей натуры…

Слова эти вдруг оборвал вырвавшийся из груди Автоматея вопль:

– Корабль! Корабль!! Корабль!!!

С неистовым ором он принялся бегать по берегу, махать руками изо всех сил и бросать камни в воду, пока совершенно не охрип от собственных криков. Впрочем, кричать было уже незачем – корабль определенно держал курс на остров и уже скоро спустил на воду спасательную шлюпку.

Как потом выяснилось, капитан погибшего корабля успел перед крушением отправить радиограмму с мольбой о помощи, благодаря чему весь этот участок моря прочесывало множество судов, пока один из кораблей не обнаружил этот остров. Когда шлюпка с моряками достигла мелководья, Автоматей намеревался уже было броситься к ней, но вовремя одумался и бегом вернулся за Ухом из опасения, что тот может поднять крик, который все услышат, что привело бы к ненужным вопросам или даже к обвинениям, выдвинутым его электродругом. Чтобы этого

избежать, он схватил Уха и, не зная, куда его спрятать, поскорей воткнул себе обратно в ухо. По ходу сцены бурных приветствий и выражения горячей благодарности в ответ Автоматей шумел и голосил как можно больше, чтобы кто-то из моряков не расслышал голосок Уха ненароком. А тот болтал, не переставая:

– Ну и ну! Неожиданность так неожиданность! Случай один из четырехсот тысяч… Ну ты и счастливчик! Надеюсь, отношения между нами теперь установятся отменные, тем более, что в наитруднейших ситуациях я от тебя не отрекся и умею, к тому же, держать язык за зубами. Что было, то прошло, и кто старое помянет, тому глаз вон!..

Когда после долгого плавания корабль прибыл к месту назначения, Автоматей немного удивил своих знакомых непонятным желанием посетить металлургический завод поблизости, где имелся большой паровой молот. Говорят, во время экскурсии вел он себя довольно странно. Так, подойдя к стальной наковальне в центре зала, вдруг принялся изо все сил трясти головой так, словно желал вытрясти через ушную раковину в подставленную ладонь собственный мозг, да еще и подпрыгивал на одной ноге. Присутствовавшие при этом сделали вид, что ничего не замечают, поскольку считали, что побывавшие совсем недавно в подобных переделках имеют законное право на необъяснимые причуды, вызванные легким умственным расстройством.

Но надо сказать, что и в дальнейшем Автоматей продолжил вести образ жизни, сильно отличающийся от прежнего, что можно объяснить только помешательством. То он собирал какие-то взрывчатые вещества и даже пробовал устраивать взрывы в собственной квартире, что пресекли обратившиеся к властям с жалобой на него соседи. То принимался коллекционировать молоты и карборундовые напильники, говоря знакомым, что вознамерился создать новый тип машины для чтения мыслей. В конце концов, он сделался затворником, приобрел привычку громко разговаривать сам с собой, и временами слышно было, как, бегая по комнатам, он разговаривает в голос и даже выкрикивает какие-то бранные слова.

А много лет спустя он сбрендил окончательно – стал покупать мешками цемент, из которого вылепил огромный шар и, как только он отвердел, вывез его в неизвестном направлении. Поговаривали, что он устроился работать сторожем заброшенной шахты, в штольню которой сбросил как-то ночью огромную бетонную глыбу, а затем до конца своих дней, кружа по округе, подбирал всяческий хлам без разбора и отправлял его в ту же штольню. И хоть поведение его нельзя назвать нормальным,

большинство подобных сплетен не заслуживает доверия. Трудно поверить, чтобы столь стойким могло быть чувство обиды и личной неприязни к электрическому другу, которому все же так многим он был обязан.

Король Глобарес и мудрецы [12]

Однажды Глобарес, властелин Гепариды, призвал к себе трех мудрецов величайших и сказал им:

– Поистине плачевна судьба короля, который познал все на свете и для которого любая речь звучит пусто, словно кувшин надтреснутый. Я хочу, чтоб меня удивили, а на меня наводят скуку; ищу потрясений, а слышу глупую болтовню; жажду необычайного, а получаю грубую лесть. Знайте же, мудрецы, что нынче велел я казнить всех моих шутов и паяцев вместе с советниками, тайными и явными, и та же судьба ожидает вас, коли не выполните моего повеления. Пусть каждый из вас расскажет самую удивительную историю, какую знает, и ежели не вызовет у меня смех или слезы, не поразит меня или не напугает, не развлечет или не заставит задуматься – не сносить ему головы!

Король подал знак, и мудрецы услышали железную поступь: палачи окружили их у ступеней трона, обнаженные мечи сверкали как пламя. Встревожились мудрецы и давай подталкивать друг друга локтями – кому же хотелось навлечь на себя государев гнев и подставить голову под топор? Наконец заговорил первый:

– Король и господин мой! Без сомненья, всего удивительней в целом Космосе, видимом и невидимом, история звездного племени, именуемого в летописях наоборотами. Уже на заре своей истории наобороты делали все совершенно иначе, нежели прочие разумные существа. Предки их поселились на Урдрурии, планете, знаменитой своими вулканами; каждый год она рождает горные гряды, сотрясаясь в ужасных судорогах, от которых рушится все. И в довершение этих бед заблагорассудилось небесам пересечь орбиту Урдрурии большим Метеоритным Потоком; двести дней в году долбит он планету стаями каменных таранов. Наобороты (которые тогда еще назывались иначе) возводили постройки из закаленной стали, а самих себя обивали многослойным стальным листом, так что подобны были бронированным ходячим холмам. Но земля, разверзаясь при сотрясениях, поглощала стальные их грады, а молоты метеоритов сокрушали их панцири. Всему их народу грозила гибель. Сошлись тогда мудрецы на совет, и сказал первый из них: «Не спастись нам в нынешнем нашем обличье, и нет иного спасения, кроме

преображения. Земля разверзается снизу, поэтому, чтобы туда не свалиться, каждый наоборот должен иметь широкое и плоское основание; метеориты же падают сверху, поэтому каждый пусть станет остроконечным. Уподобившись конусу, можем ничего не бояться».

И сказал второй: «Нужно сделать иначе. Если земля разинет свой зев широко, то проглотит и конус, а косо падающий метеорит пробьет его бок. Идеальной будет форма шара. Если земля начнет дрожать и перекатываться волнами, шар откатится сам; а падающий метеорит ударится о его круглый бок и соскользнет по нему; преобразившись так, мы покатимся в лучшее будущее».

И сказал третий: «Шар точно так же может быть сокрушен или проглочен, как любая материальная форма. Нет такого щита, которого не пробьет меч достаточно мощный, и нет меча, который не зазубрится на твердом щите. Материя, братья, это вечные перемены, непостоянство и пертурбации, она непрочна, и не в ней надлежит обитать существам, действительно разумным, но в том, что неизменно, вечно и совершенно, хотя и посюсторонне!»

«А что же это такое?» – спросили прочие мудрецы.

«Отвечу не словами, но делом», – молвил третий мудрец. И у них на глазах принялся раздеваться; снял одеяние верхнее, усыпанное кристаллами, и следующее, златотканое, и исподнее, из серебра, снял крышку черепа и грудь, и чем дальше, тем быстрее и тщательней раздевался, от шарниров перешел к муфтам, от муфт к винтикам, от винтиков к проводочкам, а там и к мельчайшим частицам, пока не дошел до атомов. И начал лущить свои атомы, и лущил их так споро, что не было видно уже ничего, кроме исчезновения да пропадания; но действовал столь искусно и столь проворно, что после раздевания на глазах изумленных сотоварищей остался в виде идеального своего отсутствия, в виде изнанки столь точной, что она обретала новое бытие. Ибо там, где прежде имел он один атом, теперь у него не было одного атома; там, где только что было их шесть, появилась нехватка шести атомов, а вместо винтика возникло отсутствие винтика, зеркально точное и ничем от винтика не отличающееся. Короче, становился он пустотой, упорядоченной точно так же, как прежде была упорядочена его полнота; и было небытие его не омраченным ничем бытием: до того он был проворен и ловок, что ни одна частица, ни один материальный пришелец не осквернили своим вторженьем его идеально отсутствующего присутствия! И прочие видели его как пустоту, сформированную в точности так же, как и он минутою раньше, глаза его узнавали по отсутствию

черного цвета, лицо – по отсутствию голубоватого блеска, а члены – по исчезнувшим пальцам, шарнирам и наплечникам. «Вот так, братья, – молвил Сущий Несуществующий, – путем воплощения в небытие обретем мы не только невиданную живучесть, но и бессмертие. Ведь меняется только материя, небытие же не следует за ней по пути постоянной изменчивости, значит, совершенство обитает не в бытии, а в небытии, и второе надлежит предпочесть первому!»

Как решили они, так и сделали. И стали наобороты племенем непобедимым. Жизнью своей обязаны они не тому, что в них есть, ибо в них ничего нет, а лишь тому, что их окружает. И ежели кто-нибудь из них входит в дом, то увидеть его можно как домашнюю неполноту, а ежели вступает в туман – как локальное отсутствие тумана. Изгнав из себя материю, ненадежную и переменчивую, они невозможное учинили возможным…

– А как же они путешествуют в космической пустоте? – спросил Глобарес.

– Только этого они и не могут, государь, ибо внешняя пустота слилась бы с их собственной и они перестали бы существовать как локально упорядоченные несуществования. Потому-то они неустанно оберегают чистоту своего небытия, пустоту своих естеств и в таковом бдении проводят время – а называют их также ничтоками, или небывальцами…

– Мудрец, – молвил король, – твою историю мудрой не назовешь: возможно ли разнообразие материи заменить единообразием небытия? Разве скала подобна дому? А между тем отсутствие скалы может принять такую же форму, что и отсутствие дома, значит, то и другое становится как бы одним и тем же.

– Государь, – защищался мудрец, – имеются разные виды небытия…

– Посмотрим, – сказал король, – что случится, когда я велю отрубить тебе голову: станет ли ее отсутствие присутствием, как ты полагаешь? – Тут премерзко засмеялся монарх и дал знак палачам.

– Государь! – закричал мудрец, схваченный стальными их пальцами. – Ты соблаговолил рассмеяться, значит, моя история возбудила в тебе веселость, и ты по уговору должен меня помиловать.

– Нет, это я сам себя развеселил, – ответил король. – Разве что мы уговоримся вот как: ежели ты добровольно выберешь смерть, твое согласие позабавит меня и я исполню твое желание.

– Согласен! – крикнул мудрец.

– Ну так казните его, коли сам просит! – повелел король.

– Но, государь, я согласился ради того, чтобы ты меня не казнил…

– Раз уж согласился, надо тебя казнить, – пояснил король. – А ежели ты не согласен, значит, не развеселил меня и все равно надо тебя казнить…

– Нет, нет, напротив! – закричал мудрец. – Если я согласен, ты, развеселившись, должен меня помиловать, а если я не согласен…

– Ну, хватит! – сказал король. – Палач, принимайся за дело!

Сверкнул меч, и отлетела голова мудреца.

Наступила мертвая тишина, а затем отозвался второй мудрец:

– Король и господин мой! Удивительнейшее из всех звездных племен, без сомненья, народ полионтов, или множистов, именуемых также многистами. Каждый из них имеет, правда, одно лишь тело, зато ног тем больше, чем выше он саном. Что же касается голов, то их носят по обстоятельствам: в любую должность у них вступают с приличествующей ей головой; бедные семьи довольствуются одной головой на всех, а богачи собирают в сокровищницах самые разные, для всякой надобности: головы утренние и вечерние, стратегические, на случай войны, и скоростные, если нужно поторопиться, а равно холодно-рассудительные, вспыльчивые, страстные, свадебные, любовные, траурные; короче, они экипированы для любой оказии.

– Это все? – спросил король.

– Нет, государь! – ответил мудрец, видя, что дела его плохи. – Множисты называются так еще и потому, что все до единого подключены к своему властелину и, если большая их часть сочтет его деяния вредными для общего блага, оный владыка теряет устойчивость и рассыпается на кусочки…

– Банальная идея, чтобы не сказать – цареборческая! – хмуро заметил Глобарес. – Коль скоро ты, старче, столько наговорил мне о головах, может, ответишь, казню я тебя или помилую?

«Если я скажу, что казнит, – быстро подумал мудрец, – он так и сделает, поскольку разгневан. Если скажу, что помилует, то удивлю его, а если он удивится, то должен будет сохранить мне жизнь по уговору». И сказал:

– Нет, государь, ты не предашь меня казни.

– Ты ошибся, – молвил король. – Палач, принимайся за дело!

– Но разве я не удивил тебя, государь? – кричал мудрец уже в объятиях палачей. – Разве ты не ожидал скорее услышать, что предашь меня казни?

– Твои слова не удивили меня, – ответил король, – ведь их диктовал страх, что написан у тебя на лице. Довольно! Снимите эту голову с плеч!

И покатилась со звоном по полу еще одна голова. Третий мудрец, самый старший, взирал на все это в полном спокойствии. Когда же король снова потребовал необычайных историй, промолвил:

– Государь! Я бы мог рассказать историю поистине необычайную, да только не стану – мне важнее открыть настоящие твои побуждения, нежели тебя удивить. И я заставлю тебя казнить меня не под жалким предлогом забавы, в которую ты пытаешься обратить смертоубийство, но так, как свойственно твоей природе, которая, хоть и жестока, потрафлять себе отваживается лишь под прикрытием лжи. Ты намерен казнить нас так, чтобы после сказали: король-де казнил глупцов, не по разуму именуемых мудрецами. Я же предпочитаю, чтобы сказали правду, и поэтому буду молчать.

– Нет, я не отдам тебя палачу, – сказал король. – Я всерьез, непритворно жажду необычайного. Ты хотел разгневать меня, но я умею свой гнев укрощать. Говори, и ты спасешь, быть может, не только себя. Пусть даже то, что ты скажешь, будет граничить с оскорблением величества – которое ты, впрочем, уже совершил, – но пусть оскорбление это будет настолько чудовищным, что окажется лестью, которая из-за своей грандиозности снова становится поношением! Итак, попробуй одновременно возвысить и унизить, возвеличить и развенчать своего короля!

В наступившей тишине еле заметно зашевелились придворные, словно проверяя, прочно ли держатся головы у них на плечах.

Третий мудрец глубоко задумался и наконец сказал:

– Государь, я исполню твое желание и объясню тебе почему. Я сделаю это ради всех присутствующих здесь, ради себя, но также и ради тебя, чтобы годы спустя не сказали, что был, мол, король, который из пустого каприза уничтожил мудрость в своем государстве; и даже если сейчас твое желание не значит ничего или почти ничего, я наделю значением эту причуду, придам ей осмысленность и долговечность – и потому я буду говорить…

– Старче, мне надоело это вступление, которое снова граничит с оскорблением величества, отнюдь не соседствуя с лестью, – гневно сказал король. – Говори!

– Государь, ты злоупотребляешь своим могуществом, – ответил мудрец, – но это пустяк по сравнению с тем, что выделывал твой отдаленнейший, неизвестный тебе предок, основатель династии Гепаридов. Этот прапрапрадед твой, Аллегорик, тоже злоупотреблял монаршею властью. Чтобы понять, в чем заключалось его величайшее злоупотребление, соизволь взглянуть на ночной небосвод, видимый в верхних окнах

дворцовой залы.

Король посмотрел на небо, вызвездившее и чистое, а старец неторопливо продолжал:

– Смотри и слушай! Все существующее бывает предметом насмешек. Никакой титул не спасает от них, ведь иные дерзают насмехаться даже над королевским величеством. Смех колеблет троны и царства. Одни народы посмеиваются над другими, а то и над самими собою. Высмеивается даже то, чего нет, – разве не насмехались над мифическими божествами? Предметом насмешек бывают явления, куда как серьезные и даже трагические. Достаточно вспомнить о кладбищенском юморе, о шутках, отпускаемых по поводу смерти или покойников. Издевка добралась и до небесных тел. Взять хотя бы солнце или луну. Месяц изображают лукавым заморышем в шутовском колпаке и с острым, как серп, подбородком, а солнце – в виде пухлощекого толстяка в растрепанном ореоле. И все же, хотя предметом насмешек одинаково служит царство жизни и царство смерти, малое и великое, есть нечто такое, чего никто еще не осмелился высмеять. К тому же это предмет не из тех, о которых легко забыть, упустить из виду, ибо речь идет обо всем существующем, то есть о Космосе. Если же ты, государь, призадумаешься над этим, ты поймешь, насколько Космос смешон…

Тут впервые удивился король Глобарес и с возрастающим вниманием слушал речь мудреца, а тот продолжал:

– Космос состоит из звезд. Это звучит довольно внушительно, но, если взглянуть поглубже, трудно сдержать улыбку. И в самом деле – что такое звезды? Огненные шары, подвешенные среди вечной ночи. Картина вроде бы патетическая. Но почему? В силу своей природы? Да нет же – единственно из-за своих размеров. Но сами по себе размеры не очень-то много значат. Разве мазня идиота, перенесенная с листка бумаги на бескрайний простор, перестает быть мазней?

Глупость размноженная – все та же глупость, только еще смехотворнее. Космос – это каракули из разбросанных как попало отточий! Куда ни взглянуть, чего ни коснуться – сплошные отточия! Монотонность Творения представляется мне замыслом самым банальным и плоским из всех, какие только бывают на свете. Ничто в крапинку, и притом бесконечное, – кто бы состряпал конструкцию столь убогую, если б ее лишь предстояло создать? Разве только кретин. Это надо же – взять безмерные пустые пространства и ставить точку за точкой, наобум, как попало, – ну, где тут гармония, где тут величие? Ты скажешь, Вселенная повергает нас на колени? Разве что от отчаяния при мысли, что уже ничего не поправить. Ведь это всего лишь

результат автоплагиата, совершённого в самом начале; само же начало было бестолковей всего, что только можно придумать. Ну, что можно сделать, имея перед собой чистый лист бумаги, в руке – перо, но не имея ни малейшего понятия, чем этот лист заполнить? Рисунками? Но рисунок надо вообразить. А если в голове пустота? Если нет ни капли фантазии? Ну что ж, перо, прикоснувшись к бумаге, как бы непроизвольно поставит точку. И в состоянии тупой отрешенности, обычном для творческого бессилия, тот, кто поставил первую точку, создаст узор, впечатляющий только тем, что больше на бумаге нет ничего и без особых усилий можно повторять этот узор бесконечно. Повторять, но как? Ведь точки могут сложиться в какую-нибудь конструкцию. А если и на это ты не способен? При такой немочи остается одно: трясти пером и разбрызгивать чернила как попало, заполняя бумагу случайными крапинками.

При этих словах мудрец взял большой лист бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, тряхнул им несколько раз, а затем достал из-под кафтана карту звездного неба и показал ее королю вместе с листом бумаги. Сходство было разительное. На бумаге были разбросаны миллиарды точек, одни покрупнее, другие помельче, поскольку перо иной раз брызгало обильнее, а иной раз пересыхало. И небо на карте выглядело точно так же. Король глядел со своего трона на оба листа бумаги и хранил молчание.

А мудрец продолжал:

– Тебя учили, государь, что Вселенная – это постройка, изумительная до бесконечности, поражающая величием громадных пространств, расшитых звездами. Но взгляни, разве эта почтенная, всеприсутствующая и вековечная конструкция не есть свидетельство крайней глупости, насмешка над разумом и порядком? Ты спросишь, почему никто этого до сих пор не заметил? Да потому, что эта глупость повсюду! Но такая повсюдность заслуживает язвительного, отстраненного смеха уже потому, что смех стал бы предвестником бунта и освобождения. Несомненно, стоило бы в таком именно духе написать пасквиль на Вселенную – чтобы этот продукт величайшей тупости был оценен по заслугам, чтобы отныне его сопровождал уже не хор молитвенных воздыханий, но ироническая улыбка.

Король слушал, застыв в удивлении, а мудрец после минутного молчания продолжал:

– Написать такой пасквиль было бы долгом каждого ученого, если б не то, что тогда ему пришлось бы коснуться первопричины нынешнего порядка вещей, именуемого Универсумом, которое заслуживает разве что снисходительной усмешки. Начало же этому было положено тогда, когда Безмерность была еще

совершенно пуста и лишь ожидала акта творения, а мир, почкующийся посредством небытия из чего-то меньшего, нежели небытие, породил лишь горсточку скученных тел, на которых правил твой прапрапращур Аллегорик. И замыслил он невозможное и безумное дело, а именно: помочь Природе в ее бесконечно терпеливых и неспешных трудах! Решил он, вслед за нею, создать Космос, обильный и полный бесценных чудес; поскольку же сам не сумел бы этого сделать, велел построить наиразумнейшую машину, чтобы поручить это ей. Строили этого молоха триста лет и еще триста – впрочем, время тогда считали иначе, чем ныне. Не жалели ни сил, ни средств, и механическое чудовище достигло размеров и мощи, едва ли не безграничных. Когда машина была готова, узурпатор велел пустить ее в ход, не догадываясь, что, собственно, делает. Машина, по причине его безграничной спеси, оказалась чересчур велика, и потому ее мудрость, оставив далеко позади вершины разума, проскочила кульминацию гениальности и скатилась до полного умственного распада – в косноязыкую тьму центробежных токов, всякое содержание разрывающих в клочья; страшилище это, закрученное спиралью, словно галактика, заработало на бешеных оборотах и растеклось сознанием при первых же невысказанных словах, и из этого якобы мыслящего со страшным напряжением хаоса, в котором громады недоразвитых понятий взаимно упраздняли друг друга, из этих судорог, корчей и столкновений напрасных зародились и начали поступать в послушные исполнительные подсистемы лишь обессмысленные знаки препинания! То была уже не машина, разумнейшая из всех возможных, Всемогущий Космотворитель, но развалюха, плод опрометчивой узурпации, который в знак того, что предназначался для великих свершений, только и мог заикаться точками. Что же потом? Правитель ожидал всесотворения, которое подтвердило бы правоту его замысла, самого дерзкого, какой когда-либо рождался у мыслящего существа, и никто не осмелился открыть ему, что он стоит у истоков бессвязного бормотанья, механической агонии монстра, который уже родился полумертвым. Но безжизненные и послушные громадины машин-исполнительниц, готовые выполнить любой приказ, в заданном такте стали лепить из материального месива проекцию точки в трехмерном пространстве, то есть шар; вот так, штампуя без устали одно и то же, пока внутренний жар не распалил вещество, швыряла машина в пустую бездну огненные шары, и в такт ее заиканию возник Космос! А значит, твой прапрапрадед был творцом Мироздания, и он же – автором глупости столь грандиозной, что второй такой никогда не будет. Ведь уничтожение этого выкидыша было бы,

конечно, гораздо более разумным поступком, а главное – совершенно сознательным, чего о Творении никак не скажешь. Вот и все, что я хотел рассказать тебе, государь, потомок Аллегорика, зодчего миров.

Когда король распрощался уже с мудрецами, осыпав их милостями, и больше всех – старца, сумевшего разом преподнести ему величайшую лесть и нанести величайшее оскорбление, один из молодых любомудров, оставшись со старцем наедине, спросил, много ли правды содержалось в его рассказе.

– Что ответить тебе? – молвил старец. – Рассказанное мною не из знаний проистекало. Наука не занимается такими свойствами бытия, как смешное и несмешное. Наука объясняет мир, но примирить нас с ним может только искусство. Что мы действительно знаем о возникновении Космоса? Пустоту столь обширную можно заполнить лишь мифами и преданиями. Я хотел, сочиняя миф, достигнуть предела неправдоподобия и был, кажется, близок к цели. Впрочем, ты знаешь об этом и хочешь только узнать, точно ли Космос смешон. Но на этот вопрос каждый пусть отвечает сам.

Сказка о короле Мурдасе [13]

После доброго короля Геликсандра на трон вступил его сын Мурдас. Подданные впали в уныние, ибо был он честолюбив и пуглив: решил прозвище Великого заслужить, а боялся сквозняков, привидений, воска – ведь на вощеном полу ногу сломать недолго, родных, что в деле правленья мешают, а пуще всего – предсказаний. Будучи коронован, тут же велел он по всему государству двери закрыть, окон не открывать, гадательные шкафы уничтожить, а изобретателю машины, которая привидения устраняла, пожаловал орден и пенсион. Машина и вправду была хороша – привидений он не увидел ни разу. Не выходил он и в сад, чтоб его не продуло, и прогуливался лишь по дворцу; дворец же имел он весьма обширный.

Однажды, прохаживаясь по коридорам и анфиладам, забрел он в старую часть дворца, куда ни разу еще не заглядывал. Сначала прошел он в залу, где стояла личная гвардия его прадеда, вся заводная, тех еще лет, когда об электричестве и не слышали. Во второй зале увидел он паровых рыцарей, тоже давно заржавевших, но и в этом не было для него ничего любопытного, и уже хотел он идти обратно, как вдруг заметил маленькую дверцу с надписью: «Не входить!» Покрывал ее толстый слой пыли, и король даже и не притронулся бы к ней, когда бы не эта надпись. Больно уж она его осердила.

Это как же? Ему, королю, дерзают запреты какие-то устанавливать? Не без труда отворил он скрипучую дверцу и по крутой лесенке в заброшенную башню поднялся. А там стоял старый-престарый шкаф – медный, с рубиновыми индикаторами, ключиком и заслонкой. Понял король: перед ним гадательный шкаф – и разгневался пуще прежнего, что вопреки его воле оставили шкаф во дворце; но вдруг подумалось ему, что один-то раз можно испробовать, что бывает, когда шкаф гадает. Подошел он к шкафу на цыпочках, повернул несколько раз ключик, а когда ничего не случилось, постучал по заслонке. Шкаф хрипло вздохнул, заскрежетал всем своим механизмом и зыркнул на короля рубиновым глазком, как бы искоса. Припомнился тут королю косой взгляд дяди Ценандра, отцова брата, бывшего прежде его наставником. Верно, дядя и велел этот шкаф поставить ему назло, подумал король, иначе с чего бы шкафу косить?

Странно сделалось у него на душе, а шкаф, заикаясь, стал потихоньку наигрывать унылый мотив – точь-в-точь, будто кто-то лопатой железное надгробие обстукивал, и из-под заслонки выпал черный листок с желтыми, как из кости, строчками.

Испугался король не на шутку, однако не мог перебороть любопытства. Схватил он листок и побежал с ним в опочивальню; когда же остался один, вынул листок из кармана. «Взгляну-ка, осторожности ради, одним только глазом», – решил он, да так и сделал. А на листке было написано вот что:

Царству на г**о**ре сцепилась родня,
Сестры в раздоре, меж братьев резня,
Брата – с раската, сестер – на костер,
крут кипяток – прыгай, сынок.
Родичи ропщут, дядья – за ножи, близятся бунты,
грозят мятежи.
Ненадежны внук и зять, ну-ка, внука с зятем – взять,
Левой хлоп, правой трах, дядю в лоб, деда в пах,
Придержите-ка отца, пусть утонет до конца.
Умер зять – трупов пять, следом тесть – стало шесть,
Тетке плетка, внуку кнут, деверя на казнь ведут.
Нам родные хоть и милы, но милее их могилы,
Ибо семья – роковая змея, горе твое и погибель твоя.
Всех изведи и повсюду укройся,
Бойся не гроба, а снов своих бойся.

До того перепугался король Мурдас, что в глазах у него потемнело. Проклинал он свое легкомыслие, побудившее его

завести гадательный шкаф. Но времени на сожаления не было – знал он, что нужно действовать, дабы не дошло до самого худшего. В значении предсказания он ни минуты не сомневался: как он давно уже подозревал, ему угрожали ближайшие родственники.

По правде говоря, неизвестно, так ли все в точности было, как мы рассказываем. Во всяком случае, события последовали за этим печальные и даже леденящие кровь. Король повелел казнить всю родню, один только дядя его, Ценандр, в последний момент сбежал, переодевшись пианолою. Это ему нисколько не помогло; в скором времени он был схвачен и обезглавлен. На этот раз король подписал приговор с чистым сердцем, ибо дядю схватили, когда он уже затевал заговор против монарха.

Осиротев столь внезапно, Мурдас облачился в траур. На душе у него было теперь спокойнее, хотя и печально, поскольку по природе своей он не был ни зол, ни жесток. Недолго длилась безмятежная королевская скорбь: пришло ему в голову, что могут быть родственники, о которых он ничего не знает. Любой его подданный мог оказаться в далеком родстве с ним; поэтому время от времени он казнил то одного, то другого, но это его вовсе не успокаивало: нельзя же быть королем без подданных, как же тут изведешь всех? Такой он сделался подозрительный, что велел припаять себя к трону, дабы никто его оттуда не свергнул, спал в бронированном колпаке и все думал без устали, что бы такое учинить. Наконец учинил он дело необычайное, настолько необычайное, что вряд ли сам до него додумался. Говорят, будто подсказал ему эту мысль бродячий купец, переодевшийся мудрецом, а может, мудрец, переодетый купцом, – разное в народе сказывают. Говорят, будто прислуга дворцовая видела кого-то с закрытым лицом, проходившего ночью в королевскую опочивальню. Одно несомненно: однажды Мурдас созвал всех придворных строителей, электрыцарских мастеров, лейб-наладчиков и стальмейстеров и велел им увеличить его особу, да так, чтобы вышла она за все горизонты. Повеления эти были выполнены с поразительной быстротой, потому что директором проектной конторы назначил король заслуженного палача. Колонны электрозодчих и киберпрорабов принялись доставлять во дворец проволоку и катушки, а когда расширившийся король заполнил своей особой все здание так, что был одновременно на всех этажах, в подвалах и флигелях, пришел черед соседних с дворцом строений. Два года спустя распространился Мурдас на весь центр. Дома, недостаточно представительные, а значит, недостойные вмещать монаршую мысль, сровняли с землей и на их месте воздвигли электронные резиденции, именуемые

усилителями Мурдаса. Король разрастался постепенно и неустанно – многоэтажный, искусно смонтированный, усиленный личностными подстанциями, пока не стал наконец всею столицей, остановившись на ее заставах. На душе у него полегчало. Родных уже не было; ни масла пролитого, ни сквозняков он теперь не боялся, ведь тому, кто сразу пребывает везде, и шагу ступить незачем. «Государство – это я», – говаривал он, и не без оснований: кроме него, населявшего рядами электрозданий площади и проспекты, никого не осталось в столице, не считая, конечно, придворных обеспыльщиков и собственных его величества чистоблюстителей, что ухаживали за королевским мышлением, из здания в здание перетекавшим. Так и кружило милю за милей по целому городу довольство Мурдаса тем, что удалось-таки ему достичь величия материального и буквального и притом укрыться повсюду, как наказывало гаданье, ибо отныне он был вездесущ в своем государстве. Особенно живописно выглядело это по вечерам, когда король-великан, разгораясь электрозаревом, переливался огнями-размышлениями, а потом постепенно гас, погружаясь в заслуженный сон. Но мрак беспамятства первых ночных часов сменялся трепетным мерцанием пробегавших через весь город огней. То начинали роиться монаршии сны. Лавины сновидений королевских обрушивались на здания, и загорались во тьме их окна, и целые улицы мигали друг другу то красным, то фиолетовым светом, а придворные обеспыльщики, вышагивая по пустым тротуарам, вдыхая чад разогревшихся царственных кабелей и заглядывая украдкой в окна, в которых что-то сверкало, перешептывались меж собою:

– Ого! Не иначе кошмар какой-то мучает нынче Мурдаса – как бы нам потом не влетело!

Как-то ночью, после особенно хлопотливого дня – король обдумывал проекты новых орденов, которыми собирался себя наградить, – приснилось Мурдасу, будто дядя его, Ценандр, в ночной темноте прокрался в столицу и, завернувшись в черную епанчу, бродит по улицам, выискивая пособников для подлого заговора. Целыми отрядами вылезали из подземелий заговорщики в масках, и было их столько, и такая кипела в них жажда цареубийства, что Мурдас задрожал и пробудился в великом страхе. Рассвело, и солнышко уже золотило белые тучки на небосклоне, так что Мурдас, успокоившись, сказал себе: «Сон – морока, и только» – и занялся снова прожектированием орденов, а те, что выдумал накануне, развешивали ему на террасах и на балконах. Однако, когда вечером отправился он на покой после трудов праведных, едва лишь задремав, увидел

цареубийственный заговор в полном расцвете. Случилось так вот почему: от изменнического сна Мурдас пробудился не весь; городской центр, в котором и угнездилось крамольное сновиденье, вовсе не просыпался, но по-прежнему почивал в объятьях ночного кошмара, король же наяву об этом не ведал. Между тем изрядная часть его королевской особы, а именно кварталы Старого города, не отдавая себе отчета в том, что дядя-злодей и все его происки суть единственно видимость и мираж, продолжала упорствовать в кошмарном своем заблуждении. В эту вторую ночь увидел Мурдас во сне, что дядя лихорадочно злоумышляет, скликая родню. Явились все до единого, поскрипывая посмертно шарнирами, и даже те, у коих недоставало важнейших частей, подымали мечи против законного повелителя! Движение оживилось необычайно. Толпы скрывающих свое лицо заговорщиков шепотом скандировали крамольные лозунги, в подвалах и подземельях шили мятежники черные стяги бунта, варили яды, вострили топоры, отливали медяшки-смертяшки и готовили решительную расправу над ненавистным Мурдасом. Король испугался вторично, пробудился, весь трепеща от страха, и хотел уже вызвать Золотыми Воротами Уст Королевских все свое войско на помощь, дабы изрубило оно бунтовщиков на куски, но тут же сообразил, что не будет от этого проку. Не вступит же войско в его сновиденье, чтобы подавить вызревающий там мятеж. Тогда попытался он одним лишь усилием воли пробудить те четыре квадратные мили своего естества, что упорно грезили о мятеже, но напрасно. Впрочем, по правде, не знал он, напрасно или же нет, ибо в бодрствующем состоянии не замечал крамолы, подымавшей голову лишь тогда, когда его одолевал сон.

Бодрствуя, король был лишен доступа во взбунтовавшиеся кварталы; оно и понятно: явь не способна проникнуть в сон, только другой сон мог бы туда внедриться. При таком обороте, решил Мурдас, лучше всего заснуть бы и пригрезить себе контрсон, да не какой-нибудь, а монархический, верный до гроба, с развевающимися знаменами, и только этот коронный сон, сплотившийся вокруг трона, сможет стереть в порошок самозваный кошмар.

Взялся Мурдас за дело, однако со страху не мог заснуть; тогда начал он считать про себя камешки, пока его не сморило. И оказалось, что сон во главе с дядей не только укрепился в центральных кварталах, но даже начал мерещить себе арсеналы, полные мощных бомб и фугасных снарядов. А сам он, как ни тужился, смог выснить одну лишь кавалерийскую роту, да и ту в пешем строю, с расстроенной дисциплиной и крышками от

кастрюль вместо оружия. «Делать нечего, – подумал король, – не вышло, придется начать все сначала!» Стал он тогда просыпаться, нелегко ему это давалось, наконец очнулся он совершенно, и тогда-то ужасное зародилось в нем подозрение. В самом ли деле вернулся он к яви или же пребывает в другом сне, переживая только видимость бодрствования? Как поступить в ситуации столь запутанной? Спать или не спать? Вот в чем вопрос! Допустим, он спать не будет, почитая себя в безопасности, ведь наяву заговора нет и в помине. Оно бы неплохо – тогда тот, цареубийственный сон сам себе выснится и доснится, а с окончательным пробуждением монаршее величие восстановится во всей своей целостности. Прекрасно. Но если он не пригрезит себе контрсон, полагая себя пребывающим в безоблачной яви, а эта мнимая явь окажется вовсе не явью, но еще одним сном, соседствующим с тем, дядеватым, может случиться беда! Ибо в любую минуту вся эта банда проклятых цареубийц во главе с мерзейшим Ценандром может ворваться из того сновидения в это, прикидывающееся явью, чтобы лишить его трона и жизни!

Конечно, думал он, лишение совершится только во сне; но если заговор охватит всю мою царственную персону, если воцарится он в ней от гор до океанов, если – о ужас! – мне и не захочется просыпаться, что тогда?! Тогда я навеки буду отрезан от яви и дядя сделает со мной все что пожелает. Выдаст на муки и поругание; о тетках и говорить нечего, я хорошо их помню, они мне не спустят, что бы там ни было. Такой уж у них норов, то есть такой у них был норов или, вернее, снова есть в этом ужасном сне! Впрочем, что толковать о сне! Сон бывает лишь там, где есть также явь, в которую можно вернуться; там же, где яви нет (а как я вернусь, если им удастся запереть меня в снах?), где нет ничего, кроме сна, там сон – единственная реальность, стало быть – явь. Вот ужас! И причиной всему, разумеется, этот фатальный избыток моей персональности, эта моя духовная экспансия, будь она неладна!

Отчаявшись, видя, что промедление смерти подобно, спасение усмотрел он единственно в срочной психической мобилизации. Нужно обязательно поступать так, как если бы я был во сне, сказал он себе. Я должен пригрезить себе верноподданнические толпы, горящие энтузиазмом, переполняемые обожанием, полки, преданные мне до конца, гибнущие с именем моим на устах, груды боеприпасов, и хорошо бы даже выснить себе какое-нибудь чудо-оружие, ведь во сне ничего невозможного нет: к примеру, средство для выведения близких, противодядьевую артиллерию или что-нибудь в этом роде, – тогда я опять буду готов к любой неожиданности, и, если

даже крамола появится, хитростью и обманом переползая из сна в сон, я сокрушу ее в мгновение ока!

Вздохнул король всеми проспектами и площадями своего естества, до того все это было непросто, и приступил к делу, то есть заснул. Ожидал он увидеть построенные в каре стальные полки, ведомые поседевшими в боях генералами, и толпы, кричащие «ура» под треск барабанов и звон литавр, а увидел только малюсенький шурупик. Самый обыкновенный шуруп, с краешка слегка выщербленный, и все. Что с ним делать? Прикидывал король так и этак, а тем временем охватывала его тревога, все сильней и сильней, и слабость, и страх, и вдруг его осенило: да это же рифма на «труп»!

Весь задрожал король. Так, значит, символ конца, смерти, распада, значит, и вправду банда родных уже начала украдкой, молчком, подкопами, прорытыми в том его сне, пробираться в теперешний, – а он того и гляди рухнет в изменническую пропасть, сном под сном вырытую! Так, стало быть, конец уже близок! Смерть! Гибель! Но откуда же? Как? С какой стороны?

Засияли огнями десять тысяч личностных зданий, задрожали подстанции Величества, увешанные орденами, опоясанные лентами Великих Крестов, мерно позвякивали награды на ночном ветру – столь тяжко боролся король Мурдас со снящимся ему символом гибели. Наконец переборол его, пересилил, и улетучился тот без остатка, будто и не было его никогда. Смотрит король: где он? Наяву или в другом сновиденье? Вроде бы наяву, но как же удостовериться? Впрочем, может быть, сон о дяде перестал ему сниться и все тревоги напрасны? Но опять же: как об этом узнать? Иного способа нет, как только обшаривать и без устали перетряхивать снами-шпионами, выдающими себя за мятежников, все закоулки своей державной особы, все царство своего естества, и никогда уже не обретет король-дух покоя, вечно будет грозить ему заговор, снящийся где-то там, в отдаленнейшем уголке его колоссальной персоны! Так за дело же! Воплотим поскорее в явь благонамеренные сновиденья, пригрезим себе верноподданнические адреса и многолюдные депутации, сияющие ореолом благонадежности, обрушимся снами на все до единой персональные наши ложбинки, закутки, разветвления так, чтобы никакой подвох, никакой дядя не мог бы укрыться в них ни на миг! И вправду – послышалось милое сердцу шуршанье знамен, дяди и след простыл, родных не видать, кругом одна только верность – кланяется и благодарит неустанно; звенят обтачиваемые на станке золотые медали, искры вылетают из-под резцов, которыми скульпторы памятники ему высекают. Возвеселилась душа монаршья при виде штандартов с

гербами, и ковриков, из окон вывешенных, и орудий, готовых к салюту, а трубачи уже медные трубы к губам подносят. Но когда присмотрелся он повнимательней к этой картине, заметил: что-то там вроде не так. Памятники – конечно, но как будто не очень похожие; в перекошенных лицах, в косом взоре статуй есть что-то от дяди. Знамена шуршат – правда; только вшита в них ленточка, маленькая, неотчетливая, как будто бы черная, а если не черная, так грязная, во всяком случае – грязноватая. Это еще что? Не намеки ли?!

Боже праведный! Да ведь коврики – вытертые, с проплешинами, а дядя – он был плешив… Не может этого быть! «Долой! Назад! Проснуться! Очнуться!» – подумал король. «Трубить побудку, и вон из этого сна!» – хотел он закричать, но, когда все исчезло, легче ему не стало.

Впал он из сна в сон – новый, снящийся предыдущему, а тот еще более раннему пригрезился, так что этот, теперешний, был уже будто третьей степени; уже совершенно явно все оборачивалось тут изменой, пахло отступничеством; знамена, словно перчатки, из королевских на изнанку черную выворачивались, ордена были с резьбой, словно шеи обезглавленные, а из сверкающих золотом труб не музыка боевая звучала, но дядин смех громыхал ему на погибель. Взревел король гласом иерихонским, кликнул войско – пусть хоть пиками колют, только бы разбудили! Ущипните! – требовал он громогласно. И снова: Яви мне!!! Яви!!! – впустую; и опять из цареубийственного, крамольного сна пытался он пробиться в коронный, но расплодилось в нем снов что собак, шныряли они повсюду, как крысы, ширился всюду кошмар, как чума, разносилось по городу – тишком, полушепотом, втихомолку, украдкой – неведомо что, но такое ужасное, что не приведи господь! Стоэтажным электронным громадам снились шурупики, трупики, медяшки-смертяшки, и в каждой личностной подстанции короля гнездилась шайка родных, и в каждом его усилителе хихикал дядя; задрожали этажи-миражи, сами собой перепуганные, и выроилось из них сто тысяч родни, самозваных претендентов на трон, инфантов-подкидышей двоедушных, узурпаторов косоглазых, и хотя никто из них толком не знал, снящийся он или снящий, и кто кому снится, и зачем, и что из этого выйдет, но все как один ринулись они на Мурдаса, а на уме у них плаха, топор, весь разговор, воскресить, казнить опять, раз, два, три, четыре, пять, хочешь смейся, хочешь плачь, снимет голову палач, и потому лишь ничего пока не предпринимали, что не могли условиться, с чего им начать. Так вот и низвергался лавиной рой мыслей монарших, пока не сверкнула от

перенапряжения вспышка. Не снящееся, а настоящее пламя поглотило золотые отблески в окнах королевской особы, и распался король Мурдас на сто тысяч снов, которые ничто уже, кроме пожара, не связывало, и полыхал долго…

Из сочинения Цифротикон, или о девиациях, суперфиксациях и аберрациях сердечных

О королевиче Феррриции и королевне Кристалле [14]

Была у короля Панцерика дочь, коей красота затмевала блеск сокровищ отцовских; свет, от зеркального лика ее отразившись, глаза ослеплял и разум; когда же случалось ей пройти мимо, даже из простого железа электрические сыпались искры; весть о ней отдаленнейших достигала звезд.

Прослышал о ней Феррриций, трона ионидского наследник, и пожелал соединиться с нею навеки так, чтобы входы и выходы их ничто уже разомкнуть не могло. Когда объявил он о том своему родителю, весьма озаботился король и сказал:

– Поистине, сын мой, безумное замыслил ты дело, не бывать тому никогда!

– Отчего же, король мой и повелитель? – спросил Феррриций, опечаленный этой речью.

– Ужели не ведаешь ты, – отвечал король, – что Кристалла поклялась не соединяться ни с кем, кроме как с одним лишь бледнотиком?

– Бледнотик? – изумился Феррриций. – Это что за диковина? Не слыхивал я о таком существе.

– Неведение только доказывает твою невинность, – молвил король. – Знай же, что галактическая эта раса зародилась манером столь же таинственным, сколь непристойным, когда тронула порча все тела небесные и завелись в них сырость склизкая да влага хладная; отсюда и расплодился род бледнотиков, хотя и не вдруг. Сперва что-то там плесневело да ползало, потом выплеснулись эти твари из океана на сушу, взаимным пожиранием пробавляясь. И чем больше друг дружку они пожирали, тем больше их становилось; и наконец, облепивши вязкой своею плотью известковую арматуру, выпрямились они и соорудили машины. От тех машин родились машины разумные, которые сотворили машины премудрые, которые измыслили машины совершенные, ибо как атом, так и Галактика суть машины, и нет ничего, кроме машины, ее же царствию не будет конца!

– Аминь! – машинально отозвался Феррриций, поскольку то была обычная вероисповедная формула.

– Род бледнотиков-непристойников, – продолжал седовласый

монарх, – добрался на машинах до самого неба, благородные унижая металлы, над сладостной измываясь электрикой, ядерную развращая энергию. Однако же переполнилась мера их прегрешений, что глубоко и всесторонне уразумел праотец рода нашего, великий Калькулятор Генетофорий; и начал он проповедовать этим тиранам склизким, сколь мерзостны их деяния, когда растлевают они невинность кристаллической мудрости, принуждая ее постыдным служить целям, и машины в порабощении держат себе на потребу, – но тщетны были слова его. Он толковал им об этике, а они говорили, что он плохо запрограммирован. Тогда-то и сотворил праотец наш алгоритм электровоплощения, и в тяжком труде породил наше племя, и вывел машины из дома бледнотиковой неволи. Теперь, милый мой сын, ты видишь, что нет и не будет дружбы меж ними и нами; мы звеним, искрим, излучаем – они же лопочут, пачкают и разбрызгивают. Увы! И нас иногда поражает безумие; смолоду помрачило оно разум Кристаллы и извратило ее понятия о добре и зле. Отныне тому, кто просит руки ее облучающей, тогда только дозволяется предстать перед нею, ежели назовется он бледнотиком. Такого принимает она во дворце, подаренном ей родителем, и испытывает истинность его слов, а открывши обман, велит казнить воздыхателя. Кругом же дворца, куда ни глянь, покореженные останки разбросаны, коих один лишь вид довести способен до вечного замыкания с небытием, – так жестоко обходится эта безумная с влюбленными в нее храбрецами. Оставь же пагубное намерение, любезный мой сын, и ступай с миром.

Королевич отвесил учтивый поклон своему отцу и владыке и удалился, не говоря ни слова, но мысль о Кристалле не покидала его, и чем больше он о ней думал, тем большей воспламенялся любовью. Однажды позвал он к себе Полифазия, Великого Королевского Наладчика, и, открыв перед ним жар своего сердца, сказал:

– Мудрейший! Если ты мне не поможешь, никто меня не спасет, и тогда дни мои сочтены, ибо не радует уже меня ни блеск излучения инфракрасного, ни ультрафиолет балетов космических, и погибну я, коли не соединюсь с чудной Кристаллой!

– Королевич, – ответствовал Полифазий, – не стану отвергать твоей просьбы, но соблаговоли повторить ее троекратно, дабы уверился я, что такова твоя нерушимая воля.

Ферриций исполнил требуемое, и тогда Полифазий сказал:

– Господин мой! Невозможно иначе предстать перед Кристаллой, как только в обличье бледнотика.

– Так сделай же, чтобы я стал, как он! – вскричал королевич.

Видя, что от страсти помутился рассудок юноши, ударил Полифазий пред ним челом, уединился в лаборатории и начал выварить клей клеистый и жижу жидкую. Потом послал слугу во дворец, велев передать: «Пусть королевич приходит ко мне, если намерение его неизменно».

Ферриций прибежал немедля, а мудрец Полифазий обмазал корпус его закаленный жидкою грязью и спросил:

– Прикажешь ли продолжать, королевич?

– Делай что делаешь! – отвечал Ферриций.

Взял тогда мудрец большую лепешку – а был то осадок мазутов нечистых, пыли лежалой и смазки липучей, из внутренностей древних машин извлеченной, – замарал выпуклую грудь королевича, а после сверкающее его лицо и блистающий лоб препакостно облепил и делал так до тех пор, пока не перестали члены его издавать мелодичный звон и не приняли вид высыхающей лужи. Тогда взял мудрец мел, истолок, смешал с рубиновым порошком и желтым смазочным маслом, и скатал вторую лепешку, и облепил Феррация с головы до ног, придавши глазам его мерзкую влажность, торс его уподобив подушке, а щеки – двум пузырям, и приделал к нему там и сям подвески да растопырки, из мелового теста вылепленные, а напоследок напялил на рыцарскую его голову охапку волос цвета ядовитейшей ржавчины и, подведя его к серебряному зерцалу, сказал: «Смотри!»

Глянул Ферриций на отраженье и содрогнулся – оттого что не себя в нем узрел, но чудище-страшилище небывалое – вылитого бледнотика, со взором водянистым, как старая паутина под дождем, обвисшего там и сям, с клочьями ржавой пакли на голове, тестовидного и тошнотворного; а тело его при каждом движении колыхалось, как студень протухший; и вскричал он в великом гневе:

– Ты, верно, спятил, мудрейший? Тотчас же соскреби с меня всю эту грязь, нижнюю – темную и верхнюю – бледную, а с нею и ржавый лишайник, коим ты осквернил мою звонкую голову, ибо навеки возненавидит меня королевна, в столь мерзостном узревши обличье!

– Ты заблуждаешься, королевич, – возразил Полифазий. – Тем-то ее безумие и ужасно, что мерзость кажется ей красотою, а красота – мерзостью. Только в этой личине ты можешь увидеть Кристаллу…

– Пусть же так будет! – решил Ферриций.

Смешал мудрец киноварь со ртутью, наполнил смесью четыре пузыря и укрыл их под платьем юноши. Взял мехи, надул их застоявшимся воздухом из старого подземелья и спрятал на груди

королевича; налил ядовитой, чистейшей воды в стеклянные трубки, числом шесть, и две вложил королевичу под мышки, две в рукава, две в глаза, а под конец молвил:

– Слушай и запоминай все, что я скажу, иначе погибнешь. Королевна будет тебя испытывать, чтобы проверить правдивость твоих речей. Если достанет она обнаженный меч и велит тебе за него взяться, украдкой надави на пузырь с киноварью, чтобы вытекла из него красная жижа и полилась на острие, а когда спросит тебя королевна, что это, отвечай: «Кровь!» Потом королевна приблизит свое лицо, серебряной миске подобное, к твоему, а ты надавишь на грудь, чтобы вышел из мехов воздух; спросит она, что это, и ты ответишь: «Вздох!» Тогда притворится королевна, будто разгневалась необычайно, и велит тебя казнить. Потупишь ты голову в знак покорности ее воле, и из глаз твоих польется вода, а когда спросит она, что это, отвечай: «Плач!» Может, тогда согласится она стать твоею, хоть и мало на это надежды; верней же всего, придется тебе погибнуть.

– О мудрейший! – воскликнул Ферриций. – А если станет она допытываться, какие у бледнотиков обычаи, как родятся они, как любятся и как время проводят, что я отвечу?

– Поистине, иного нет способа, – отвечал Полифазий, – как только соединить твой жребий с моим. Я переоденусь купцом из соседней галактики, лучше всего неспиральной, поскольку тамошние обитатели известны своею тучностью, а мне надо укрыть под платьем множество книг об ужасных бледнотиковых нравах. Тебя я не смог бы этому научить, ибо нравы их противны природе: все у них делается наоборот, так неопрятно, неприятно и неаппетитно, как только можно себе представить. Я подберу нужные сочинения, ты же вели придворному портному из волокон и нитей различных сшить одеянье бледнотика, затем что скоро уж нам отправляться в дорогу. И куда бы ты ни пошел, я тебя не оставлю, чтобы знал ты, как поступать и о чем говорить надлежит.

Обрадовался Ферриций, и велел сшить себе одеянье бледнотика, и не мог на него надивиться: закрывало оно почти все тело и в одних местах вытягивалось наподобие трубопровода, в других же скреплялось пуговками, крючочками, кнопочками и шнурочками; так что пришлось портному особую инструкцию сочинить, и пребольшую, о том, что и как надевать, где, что и к чему прицеплять и как с себя всю эту упряжь, из суконной материи сотворенную, стаскивать, когда придет время.

А мудрец Полифазий облачился в платье купца, спрятал под ним толстые ученые книги, трактующие о жизни бледнотиков, велел сделать железную клетку – шесть сажен в длину и столько

же в ширину, запер в ней Феррития, и отправились они в путь на королевском звездоходе. Когда же достигли они владений Панцерика, Полифазий в купеческом облаченьи пришел на городской рынок и возвестил громким голосом, что привез из далеких краев молодого бледнотика и продаст его тому, кто захочет. Слуги принесли эту весть королевне, а она, удивившись, молвила им:

– Воистину за всем этим кроется великое шарлатанство, но не обманет меня купец, ибо ничьи познания о бледнотиках не сравнятся с моими. Велите ему прийти во дворец и показать пленника!

Привели слуги купца к королевне, и увидела она почтенного старца и клетку, несомую невольниками; в клетке сидел бледнотик, и лицо его было как мел пополам с пиритом, глаза – словно влажная плесень и члены – словно комки грязи. А Феррициий глянул на королевну и увидел ее лицо, как бы звенящее нежным звоном, и глаза, сверкающие, как электрические разряды, и утвердился он в любовном своем безумии.

«Этот и впрямь похож на бледнотика!» – подумала королевна, однако же вслух сказала:

– Поистине немало пришлось тебе потрудиться, старче, прежде чем слепил ты из грязи куклу и натер ее известковою пылью, дабы меня провести; но знай, что мне ведомы все тайны могущественного рода бледнотиков и, когда откроется твой обман, ты будешь казнен вместе с тем самозванцем!

Мудрец отвечал:

– Королевна! Тот, коего зришь ты в клетке, самый что ни на есть настоящий бледнотик; выкупил я его у звездных пиратов за пять гектаров ядерного поля и, если хочешь, уступлю тебе, ибо единственное мое желание – порадовать твое сердце!

Королевна велела принести меч и просунула его сквозь прутья клетки. Феррициий схватился за острие и порезал им платье, так что пузырь лопнул. Полилась киноварь на меч, и сделался он алым.

– Что это? – спросила королевна, а Феррициий ответил:

– Кровь!

Тогда королевна велела открыть клетку, бесстрашно вошла в нее и приблизила свое лицо к лицу королевича; близость возлюбленной затмила его рассудок, но мудрец подал тайный знак, и Феррициий надавил на мехи; вышел из них затхлый воздух, а когда королевна спросила: «Что это?» – Феррициий ответил: «Вздох!»

– И вправду ты преизрядный фокусник, – сказала королевна

купцу, выходя из клетки, – но ты обманул меня, и потому вы умрете оба – ты и твоя кукла!

При этих словах мудрец поник головой долу, как бы в великой печали и горести, а когда королевич сделал то же, из очей его потекли прозрачные капли. Королевна спросила:

– Что это?

Ферриций ответил:

– Плач!

И сказала она:

– Как твое имя, пришелец, называющий себя бледнотиком из далеких краев?

– О королевна! Имя мое Миамляк, и ничего я так не хотел бы, как соединиться с тобою способом мягким, волнистым, тестоватым и водянистым, по обычаю нашего племени, – ответил Ферриций, а научил его этим словам мудрец. – Я нарочно позволил пиратам себя похитить и уговорил их продать меня этому купцу, желая попасть в твое королевство. Да примет его жестяннейшая особа мою благодарность за то, что я оказался здесь: ибо сердце мое переполняет любовь к тебе, как лужу переполняет грязь!

Изумилась королевна, затем что и вправду говорил он как настоящий бледнотик, и спросила:

– Поведай мне, пришелец, именующий себя Миамляком-бледнотиком, что делают твои сородичи днем?

– Поутру, – отвечал Ферриций, – они мокнут в чистой воде, и ополаскивают ею свои члены, и вливают ее себе внутрь, ибо вода приятна их естеству. А потом прохаживаются там и сям способом волнистым и текучим, и хлюпают, и лопочут; в печали они трясутся и проливают из глаз соленую воду, а в радости трясутся и икают, но глаза остаются сухими. И мокрые сотрясенья мы называем плачем, сухие же – смехом.

– Если правдивы речи твои, – перебила его королевна, – и если ты разделяешь со своими сородичами влеченье к воде, я велю бросить тебя в мой пруд, чтобы ты насытился ею вволю, а к ногам прикажу привязать свинец, чтобы ты не выплыл до времени.

– О королевна! – ответил Ферриций, наставляемый мудрецом. – Тогда я погибну, ибо, хотя внутри нас вода, она не может окружать нас снаружи дольше минуты, а если такое случится, мы произносим последние слова «буль-буль-буль», коими навеки прощаемся с жизнью.

– А поведай-ка мне, Миамляк, как добываешь ты энергию, чтобы, хлюпая, лопоча, колыхаясь и покачиваясь, прохаживаться туда и сюда? – спросила Кристалла.

– Королевна, – отвечал ей Ферриций, – там, откуда я родом, кроме бледнотиков маловласых есть и другие, кои прохаживаются преимущественно на четвереньках, и мы до тех пор дырявим их там и сям, покуда они не погибнут; трупы мы рубим и режем, варим и жарим, после чего набиваем их плотью свою собственную; и нам известно триста семьдесят шесть способов убиения и двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь способов приготовления покойников для того, чтобы пропихивание их тел в наши тела через отверстие, ртом именуемое, было для нас сколь возможно приятнее; а искусство обработки покойников у нас в еще большем почете, нежели астронавтика, и зовется оно гастронавтикой, сиречь гастрономией; однако же с астрономией ничего общего оно не имеет.

– Значит ли это, что вы играете в кладбища, погребая в себе ваших четвероногих собратьев? – каверзно вопросила Кристалла; но Ферриций, поучаемый мудрецом, и тут не замедлил с ответом:

– Сие не забава, о королевна, а необходимость, ибо жизнь кормится жизнию; мы же необходимость обратили в искусство.

– А поведай-ка, Миамляк-бледнотик, как конструируете вы потомство? – полюбопытствовала королевна.

– Мы не конструируем его вовсе, – ответил Ферриций, – а программируем статистически, по образу марковского процесса, то бишь стохастически; вероятностно, зато сладостно, невольно и произвольно, всего менее размышляя при этом о материях статистических, нелинейных и алгоритмических; и как раз потому-то программирование идет у нас просто, стихийно и совсем самостийно; ибо так уж устроены мы, что каждый бледнотик рад потомство свое программировать, утеху в том видя, но программирует он, не программируя, и многие прилагают немало стараний, чтоб из их программирования чего-нибудь, упаси бог, не вышло.

– Это весьма удивительно, – молвила королевна, коей познания были менее глубоки, нежели познания мудреца Полифазия, – так как же вы это, собственно, делаете?

– О королевна! – отвечал Ферриций. – Есть у нас механизмы, по принципу обратной связи устроенные, хотя все это в воде; сии механизмы настоящее чудо техники, ибо пользоваться ими способен даже совершенный кретин; впрочем, чтобы подробно описать тебе методы, нами употребляемые, пришлось бы говорить долго, поскольку не так уж они просты. И вправду, это весьма удивительно; удивительней же всего, что методы наши не нами выдуманы, а некоторым образом выдумали себя сами; но нам они по душе, и мы ничего против них не имеем.

– Поистине, – воскликнула королевна, – ты настоящий бледнотик! Ибо речи твои по видимости имеют смысл, а по существу совершенно бессмысленны; невероятны, но как будто бы истинны, хотя и расходятся с логикой: мыслимо ли быть кладбищем, не будучи им? Программировать, вовсе не программируя? Подлинно, ты Миамляк-бледнотик, а потому, коли ты того жаждешь, я соединюсь с тобой супружеской обратною связью, и ты вступишь со мною на трон, если выдержишь последнее испытание.

– Какое? – спросил Феррициий.

– Испытание это… – начала было Кристалла, но вдруг подозрение закралось в ее сердце, и она сказала: – Ответь мне сперва, что делают твои сородичи ночью?

– Ночью они лежат там и сям с подогнутыми руками и скрюченными ногами, а воздух входит в них и выходит из них с таким шумом, словно кто-то ржавую пилу точит.

– Вот это испытание: дай свою руку, – приказала королевна.

Подал ей Феррициий руку, она ее стиснула, Феррициий же возопил громким голосом, ибо так велел ему старец, а она спросила, отчего он кричит.

– От боли! – ответил Феррициий, и только тогда поверила королевна, что он настоящий бледнотик, и учинить повелела приготовления к свадебной церемонии.

И надо же было случиться, что как раз в ту пору вернулся корабль, на котором курфюрст королевский, киберграф Кибергази, отправился в средизвездные страны, чтобы там бледнотика изловить и через то в фавор у королевны войти. Прибежал к Феррицию опечаленный Полифазий и сказал:

– Королевич! Прибыл на корабле межзвездном великий киберграф Кибергази и привез королевне истинного бледнотика, коего только что видел я собственными глазами; а потому должно нам немедля бежать; не поможет никакое притворство, если вы вместе предстанете перед Кристаллой. Ибо липучесть его несравненно липучее, волосатость куда волосатее, а тестоватость превосходит воображение, так что откроется наш обман и погибнем мы оба!

Но не послушал мудрого совета Феррициий, возлюбивший королевну больше жизни, и молвил:

– Лучше погибнуть, нежели ее потерять!

Кибергази же, проведав о приготовлениях к свадьбе, тут же прокрался под окно покоя, где ложный бледнотик вместе с купцом находился, и, тайную их беседу подслушав, побежал ко дворцу, черной радости полон, и, представши перед Кристаллой, сказал:

– Ты обманута, королевна, ибо тот, кто называет себя Миамляком, никакой не бледнотик, а обыкновеннейший смертный; истинный же бледнотик – вот!

И на пленника своего указал; а тот напряг волосатую грудь, вытаращил буркалы свои водянистые и завопил:

– Бледнотик – это я!

Тотчас же велела королевна привести Феррция, а когда стал он рядом с бледнотиком пред ликом ее пресветлым, развеялся обман мудреца. Ибо Феррций, хоть и облепленный грязью, пылью и мелом, хоть и обмазанный маслом липучим и хлюпающий водянистым манером, не мог укрыть ни роста своего электрыцарского, ни благородной осанки, ни плеч стальных ширины, ни походки гремящей. Бледнотик же киберграфа Кибергази был урод настоящий, каждый шаг его был как бултыхание кадок, наполненных грязью, взгляд словно мутный колодец, а от гнилостного дыханья затуманивались и слепли зерцала и ржавчина вгрызалась в железо. И поняла королевна в сердце своем, что мерзостен ей бледнотик, при каждом слове как бы розовым червяком шевеливший в горле; просветился разум Кристаллы, но гордость не позволила ей открыть того, что пробудилось в сердце.

И повелела она:

– Пусть бьются они меж собою, и кто победит, возьмет меня в жены…

Спросил тогда мудреца Феррций:

– Почтеннейший, если ринусь я на уродца этого и обращу его в грязь, из которой он народился, обман откроется, глина с меня опадет и сталь обнажится; что же мне делать?

– Не нападай, королевич, – отвечал Полифазий, – но защищайся!

Вышли они оба на двор королевского замка, каждый с мечом в руке, и прыгнул бледнотик на Феррция, колыхаясь, словно тина болотная, и пританцовывал вокруг него, лопоча, приседая, посапывая, и замахнулся, ударил мечом, и прошел меч сквозь глину, разбился о сталь, а бледнотик налетел с размаху на королевича, брызнул, лопнул и растекся, и не было больше бледнотика. Но засохшая глина опала с плеч рыцаря, и обнажилась его истинная стальная натура пред очами королевны, и задрожал он, скорую предвидя кончину, но во взгляде ее кристальном увидел он восхищение и понял, сколь сильно переменилось ее сердце.

И соединились они обратной и прочною брачною связью, которая одним на радость и счастье, другим на горе и гибель дается, и правили долго и счастливо, напрограммировав

бесчисленное потомство. А из шкуры бледнотика, пойманного киберграфом, сделали чучело и выставили в королевской кунсткамере для вечного назидания. И поныне стоит оно, неуклюжее, линялым волосьем поросшее, и немало находится умников, кои слух распускают, будто все это фокус один и притворство, на самом же деле никаких бледнотиков-трупоедов, тестотелов клееглазых, на свете нет и никогда не было. Кто знает, может, бледнотик и точно пустая выдумка – мало ли баек и мифов измышляет простонародье!

Но если история эта и неправдива, то поучительна, а вдобавок так занимательна, что стоило ее рассказать.

Кибериада

Кибериада

Как был спасен мир [15]

Однажды соорудил конструктор Трурль машину, что умела делать все на букву «н». Как была та готова, на пробу приказал он ей сделать нити, потом накрутить их на наперстки, каковые она тоже сделала, а затем бросить все в сооруженную нору, окруженную насосами, навесами и надстройками. Машина исполнила все в точности, но поскольку Трурль все еще не был уверен в ее работе, пришлось ей создавать нимбы, наушники, нейтроны, нарты, носы, нимф и натрий. Этого последнего машина не сумела, и Трурль, чрезвычайно распереживавшись, приказал ей пояснить.

– Не знаю, что оно такое, – сказала та. – Не слышала о таком.

– Как это? Это ведь сода. Такой металл, элемент…

– Если зовется он содой, то он на «с», я же умею делать только на «н».

– Но это латинское его название.

– Дражайший, – сказала машина, – если бы я могла делать все на «н» на всех возможных языках, была бы я Машиной, Которая Может Всё На Все Буквы, поскольку любая вещь наверняка на каком-то там чужом языке зовется на «н». Все, увы, не настолько хорошо. Не могу делать больше, чем ты придумал. Соды не будет.

– Ладно, – согласился Трурль и приказал ей сделать небо. Она сделала сразу же, небольшое, но несомненно небесно-синее. Тогда он пригласил конструктора Клапауция, представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные возможности, что тот даже рассердился, не подав, правда, виду, и попросил, чтобы и ему позволили нечто ей приказать.

– Прошу, – сказал Трурль. – Только это должно быть на «н».

– На «н»? – спросил Клапауций. – Ладно. Пусть сделает науку.

Машина загудела, и через миг площадка перед домом Трурля наполнилась толпой научных работников. Они горячо спорили, писали в толстенных книгах, другие же эти книги выхватывали и рвали в клочья, вдали виднелись пылающие костры, на которых скворчали мученики науки, тут и там что-то громыхало, вставали странные дымы в форме грибов, вся толпа говорила одновременно, так что и слова было не понять, то и дело составляя меморандумы, обращения и прочие документы, а в сторонке, под ногами у вопящих, сидело несколько одиноких

старцев и непрерывно строчили бисерным почерком на кусках рваной бумаги.

– Ну как, неплохо, верно?! – с гордостью крикнул Трурль. – Вылитая наука, не можешь того не признать!

Но Клапауций не был доволен.

– Что, эта толпа – наука? Наука это нечто совершенно иное!

– Тогда – прошу, скажи что именно, и машина тотчас это сделает! – возмутился Трурль. Но Клапауций не знал, что ответить, а потому заявил, что поставит машине еще два задания, и если уж она их решит, то он признает, что она – такова, какой и должна быть. Трурль согласился, и Клапауций приказал, чтобы сделала она наизнанку.

– Наизнанка! – выкрикнул Трурль. – Да кто слышал о таком и что оно за наизнанка?

– Ну как же, обратная сторона всего, – ответил Клапауций спокойно. – Выворачивать наизнанку – что, ты разве такого не слыхивал? Ну-ну, не притворяйся! Эй, машина, за дело!

Однако машина и так уже трудилась. Сперва создала она антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрино, антинейтроны и так долго безустанно трудилась, что насоздавала немеряно антиматерии, из которой неспешно, подобно странно светящейся туче в небе, принялся формироваться антимир.

– Хм, – сказал весьма недовольный Клапауций, – это вот, по твоему, наизнанка? Предположим, что да… Согласимся, быть по сему… Но вот третий приказ. Машина! Должна ты сделать Ничто!

Машина некоторое время совершенно не двигалась. Клапауций уж начал было удовлетворенно потирать руки, а Трурль произнес:

– Что это ты? Приказал же ей не делать, вот она и не делает!

– Неправда. Я приказал ей сделать Ничто, а оно – нечто иное.

– Да неужели! Сделать Ничто и ничего не делать – означает одно и то же.

– Отнюдь нет! Она должна была сделать Ничто, а не сделала ничего, значит я выиграл. Поскольку Ничто, о, мой умудренный коллега, это не какое-то там обычное ничто, продукт лени и ничегонеделания, а действенное и активное Ничто, совершенное, единое, всеохватное и высочайшее Небытие собственной отсутствующей персоной!

– Морочишь машине голову! – крикнул Трурль, но сразу же раздался ее глубокий голос:

– Перестаньте же ссориться в эдакий-то момент! Я знаю, что оно есть: Небытие, Несущее, то есть Ничто, поскольку вещи эти соответствуют ключу к букве «н», как Несуществование. Лучше поглядите в последний раз на мир, ибо вот-вот его не станет…

Слова замерли на устах раззадоренных конструкторов. Машина и на самом деле творила Ничто, причем таким образом, что поочередно убирала из мира разные вещи, которые переставали существовать, словно бы их и вовсе никогда не было. Убрала она уже натужки, непойки, ныряки, недольки, налушки, недостопки и нервонцы. Порой казалось, что вместо того чтобы убирать, уменьшать, выбрасывать, ликвидировать, уничтожать и отнимать – увеличивает она и добавляет, поскольку ликвидировала и неслыханность, нахальство, неверие, ненасытность и немощь. Однако потом вокруг смотрящих вновь стало пустеть.

– Ой-ой! – сказал Трурль. – Как бы тут беды не случилось…

– Да что там! – сказал Клапауций. – Ты ведь видишь, что делает она вовсе не Генеральное Ничто, а всего лишь Небытие всех вещей на «н», следовательно, ничего не случится, поскольку эта твоя машина – совершенно никчемушная!

– Так тебе лишь кажется, – ответила машина. – Я и впрямь начала со всего, что на «н», поскольку таковое мне ближе, но одно дело создать некую вещь – и совершенно иное ее убрать. Убирать я могу все, по той простой причине, что умею делать все-все, но «все-все» – на «н», а следовательно и Небытие для меня – плевое дело. Скоро уже ничего у вас не будет, а потому прошу тебя, Клапауций, скажи-ка – да побыстрее, – что я и вправду универсальна и что выполняю приказы как надлежит, иначе будет поздно.

– Но ведь… – начал испуганный Клапауций и в тот же миг заметил, что и правда исчезают уже не только вещи на «н»: перестали уже окружать их камбузели, стеснята, выследки, гризмаки, рифмольки и брабочки.

– Стой! Стой! Беру свои слова назад! Перестань! Не делай Небытия! – орал во всю глотку Клапауций, но прежде чем машина остановилась, исчезли еще грашаки, клопты, фихдроны и замры. И только тогда машина остановилась. Мир же выглядел совершенно ужасно. Особенно пострадало небо: на нем видны были лишь одинокие точечки звезд; ни следа от превосходных грызмаков и гвайдольниц, которые до этого времени так украшали небосвод!

– Великие небеса! – воскликнул Клапауций. – А где же камбузели? Где мои любимые мрошки? Где ласковые брабочки?!

– Нет их и никогда уже не будет, – спокойно отвечала машина. – Я исполнила – вернее сказать, начала исполнять лишь то, что ты мне приказал…

– Я приказал тебе сделать Ничто, а ты… ты…

– Клапауций, ты либо глупец, либо глупцом притворяешься, –

сказала машина. – Когда бы я сделала Ничто сразу, единым махом, перестало бы существовать все, а значит не только Трурль и небо, и Космос, и ты – но даже и я сама. И тогда кто и кому сумел бы сказать, что приказ выполнен и что я – машина действующая? А когда бы никто никому этого не сказал, то каким бы образом я, которой бы тоже уже не было, могла получить надлежащее мне удовлетворение?

– Да пусть уж, согласен, хватит об этом, – сказал Клапауций. – Уже ничего не желаю от тебя, дивная машина, об одном лишь прошу: сделай мрошек, без них мне и жизнь не мила…

– Не сумею этого, поскольку они – на «м», – сказала машина. – Конечно, я могу вновь сделать нахальство, ненасытность, незнание, ненависть, немощь, недолговечность, непокой и неверие, но на другие буквы прошу от меня ничего не ждать.

– Но я хочу, чтоб были мрошки! – заорал Клапауций.

– Мрошек не будет, – сказала машина. – Взгляни, прошу, на мир, что теперь полон огромных черных дыр, полон Ничто, которое заполняет бездонные пропасти между звездами, насколько все вокруг стало им пронизано, как оно прочитывается в каждом закоулке бытия. Это твоя вина, мой завистник! И не думаю, что грядущие поколения должны тебя за это возблагодарить…

– Может, они не узнают… Может, не заметят… – бормотал побледневший Клапауций, с недоверием поглядывая в пустоту черного неба и не смея взглянуть в глаза своему коллеге. Оставил того рядом с машиной, которая умела все на «н», и украдкой вернулся домой – а мир по сей день остался продырявлен Ничто – таким, каким в момент приказанной ликвидации оставил его Клапауций. А поскольку не удалось выстроить машину ни на какую иную букву, надобно опасаться, что уже никогда не будет столь чудесных явлений, как брабочки и мрошки – до скончания века.

Машина Трурля [16]

Конструктор Трурль построил однажды восьмиэтажную вычислительную мыслящую машину. Закончив основные работы, он покрыл ее белым лаком, затем покрасил наугольники в лиловый цвет, присмотрелся издали и нанес небольшой узорчик на фасаде, а там, где предположительно должен быть лоб, оранжевой краской добавил еще морщинку. Весьма довольный собой, небрежно посвистывая и порядка ради, он задал машине

дежурный вопрос: сколько будет дважды два?

Машина заработала: зажглись лампочки и забегали по всему контуру, шумными потоками хлынуло по цепям электричество, так, что затрещали контакты и накалились обмотки катушек, завертелось все в ней, загудело, затарахтело, загрохотало на всю округу – и Трурль понял, что придется ему изобрести для своей машины еще специальный мыслительный глушитель. А машина тем временем продолжала пыхтеть, словно ей приходилось решать наисложнейшую во всем космосе задачу, так, что земля дрожала и шевелился песок под ногами, предохранители вылетали, как пробки от шампанского, реле работали на пределе возможностей. Трурлю уже изрядно поднадоел весь этот кавардак, как вдруг машина резко остановилась и громовым голосом выдала ответ: СЕМЬ!

– Ну-ну, моя дорогая, – снисходительно сказал Трурль, – ничего подобного – будет четыре. Будь добра, исправься и ответь мне: сколько будет два плюс два?

– СЕМЬ! – сходу выпалила машина.

Тяжело вздохнув, Трурль с неохотой натянул опять рабочий фартук, засучил рукава и, открыв нижнюю дверцу, полез внутрь машины. Довольно долго он не выходил оттуда, и слышно было только, как он стучит по чему-то молотом, что-то откручивает, сваривае***Tun***яет, как бегает, гремя по железным ступенькам, по этажам – то на шестой, то на восьмой и опрометью опять вниз. Включил он ток, и затрещало все внутри, аж фиолетовые усы выросли у разрядников. Два часа он бился так, пока не выбрался, наконец, на свежий воздух, перепачканный весь, но довольный, вернул на место инструменты, фартук бросил наземь, вытер лицо и руки, и уже напоследок, для очистки совести разве что, повторил вопрос:

– Так сколько будет два плюс два?

– СЕМЬ! – ответила машина.

Трурль грубо выругался, да делать нечего – опять полез в машине ковыряться, чинить, рассоединять и соединять, перепаивать, переставлять местами, но когда в третий раз услышал от машины, что два плюс два равно семи, удрученно сел на нижнюю ступеньку своей машины и так и просидел, покуда не пришел Клапауций. Спросил Трурля друг, что это вид у него такой, словно он с похорон вернулся, и конструктор поделился с ним своей бедой. Клапауций сам пару раз слазил внутрь машины, пытался что-то чинить и тоже задал ей вопрос: сколько будет один плюс два? На что она ответила, что будет шесть; ну а один плюс один у нее вообще равнялось нулю. Почесал Клапауций темечко, прокашлялся и произнес:

– Друг мой, ничего не поделаешь – придется посмотреть правде в глаза. Ты сделал не ту машину, какую хотел. Однако, всякое отрицательное явление имеет также положительную сторону, что относится и к этой машине.

– Интересно, какую же это? – сказал Трурль и пнул ногой ступеньку, с которой поднялся.

– Прекрати! – отозвалась машина.

– Вот видишь, она умеет чувствовать… Да, так что я хотел сказать? Вне всякого сомнения, она дура, причем не просто дура – ее глупость, как минимум, экстраординарна! Насколько я могу судить – а тебе известен уровень моей компетенции, я же специалист в этой области, – это наиглупейшая из всех мыслящих машин на свете, и одно это дорогого стоит! Создать такую специально было бы чрезвычайно трудно, даже невозможно, думаю. Она ведь не только безгранично тупа, но и упряма, как колода, то есть обладает характером, – а это обычно свойственно законченным идиотам, дикое упрямство которых хорошо известно.

– На черта мне такая машина?! – взвился Трурль и еще раз пнул ее.

– Прекрати, говорю тебе серьезно! – отозвалась машина.

– Ну вот, уже получил от нее серьезное предостережение? Видишь, она еще и обидчива, а не только тупа и упряма, – бесстрастно констатировал Клапауций. – Да с этой машиной, ого-го, можно такого добиться! Точно тебе говорю.

– Ну и что мне с ней теперь делать, по-твоему? – спросил Трурль.

– Хм, так сходу мне трудно ответить… Скажем, ты мог бы устроить выставку с продажей билетов и презентацией для всех желающих увидеть и познакомиться с самой глупой мыслящей машиной в мире. Сколько в ней этажей – восемь? Да такого здоровенного кретина свет еще не видывал! Такая выставка не только бы покрыла все твои расходы, но и…

– Оставь меня в покое, не стану я устраивать никакой выставки! – рассердился Трурль и, не в силах сдержаться, подскочил и снова пнул свою машину.

– Делаю тебе третье последнее предупреждение! – изрекла машина.

– А то что будет?! – вскричал Трурль в бешенстве от величественного тона угрозы. – Да ты… ты… – не найдя подходящего слова, он принялся пинать ее, визжа, – …только для пинков ты и годишься, поняла?!

– Четвертое, пятое, шестое, восьмое оскорбление, – считала вслух машина. – Все, я прекращаю счет и отказываюсь отныне

отвечать на любые вопросы из области математики.

– Она отказывается, поглядите на нее! – неистовствовал уязвленный Трурль. – После шестерки у нее идет восьмерка, а не семерка, – как тебе это нравится, Клапауций?! И она еще имеет бесстыдство, не умея даже считать, заявлять о своем отказе решать математические задачи!! Вот тебе! Вот тебе! Может, еще добавить?!

В ответ на это машина задрожала, затряслась, загрохотала и без единого слова стала выбираться из фундамента, в котором сидела достаточно глубоко. Не без труда ей удалось вытащить покореженные опоры своей конструкции из железобетона, с торчащей рваной арматурой, и выбраться из котлована. Подобно шагающей крепости, она двинулась на конструкторов. Остолбенев от такого зрелища, Трурль даже не предпринял попытки скрыться от машины, которая явно собиралась его раздавить. Не утративший самообладания Клапауций схватил его за руку и бегом потащил за собой. Отбежав подальше, друзья обернулись. Машина, пошатываясь, как высокая башня, двигалась медленно, проваливаясь по первый этаж на каждом шагу в песчаный грунт, но неуклонно приближалась.

– Ну такого еще на свете не бывало, – задыхаясь, выговорил Трурль, – машина взбунтовалась! Что нам делать?

– Ждать и смотреть, – рассудительно ответил Клапауций. – Может, что-то прояснится.

Ничто этого пока не предвещало. Выбравшись на твердый грунт, машина двинулась быстрее. Внутри нее посвистывало что-то, сипело и побрякивало.

– Сейчас распаяются контакты и расстроится программа, – буркнул Трурль, – она начнет разваливаться и остановится…

– Ну нет, – возразил Клапауций, – она так глупа, что даже расстройство всей системы управления ее не остановит. Гляди, она… Бежим!

Машина явно ускоряла ход, чтобы нагнать их и раздавить. Поэтому друзья бросились со всех ног, слыша за спиной размеренное жуткое топанье. А что им оставалось делать? Они попробовали было вернуться назад в знакомые места, но машина пресекла эту попытку, обходом с фланга вытесняя их во все более пустынную местность. Показались уже вдали скалистые мрачные горы, подернутые дымкой. Задыхаясь, Трурль прохрипел:

– Давай скроемся в каком-нибудь ущелье… куда ей, проклятой, не пробраться… Что думаешь?

– Пока бежим… – тоже задыхаясь, ответил Клапауций, – вперед… где-то здесь… не помню, как называется… должно быть место, где сможем укрыться… опп!..

Так они бежали все вперед и вперед, пока не добежали до первых жилищ у подножия гор. В это время дня на улочках никого не было видно. Не встречая ни души, они пробежали уже половину селения, когда донесся до них ужасающий звук, похожий на сход каменной лавины, давая знать, что преследующая их машина достигла городка. Обернувшись на бегу, Трурль завопил:

– Силы небесные! Клапауций, она топчет их дома!

И действительно, стальная махина шла напролом, круша стены домов и оставляя за собой руины в клубах кирпичной и известковой пыли. Послышались душераздирающие крики погребенных под развалинами, и на улицы высыпали те, кто уцелел. Задыхаясь, Трурль с Клапауцием продолжали свой бег, пока не очутились перед высоким зданием ратуши – и тут же скатились по ступеням лестницы в глубокий подвал.

– Ну здесь-то она нас не достанет, даже если обрушит на наши головы все здание! – прохрипел с облегчением Клапауций. – Черт меня дернул зайти к тебе в гости!.. Любопытно стало, как продвигается твоя работа – и вот пожалуйста!..

– Тише, сюда кто-то идет… – прошептал в ответ Трурль.

Вскоре дверь наверху отворилась, и в подземелье к ним спустился бургомистр собственной персоной с небольшой свитой. Трурль постыдился объяснять, что послужило причиной столь неординарного и безобразного вторжения, и на помощь ему пришел Клапауций. Бургомистр молча выслушал его – и тут своды подземелья дрогнули, ходуном заходил пол, и донесся протяжный грохот обрушения стен наверху.

– Она уже здесь?! – вскричал Трурль.

– Да, – ответил ему бургомистр. – И она требует вас выдать, иначе грозит сравнять с землей наш городок…

И вслед за этим послышалось откуда-то сверху гнусавое, со стальными обертонами, гоготанье машины:

– Где-то здесь Трурль… Я его чую…

– Но вы же нас не выдадите? – дрожащим голосом спросил тот, чьей выдачи как раз требовала машина.

– Тот, кого зовут Трурль, должен отсюда выйти. Второй может остаться, поскольку ультиматум его не касается…

– Но смилуйтесь!

– Мы бессильны, – ответил бургомистр. – Даже если бы ты здесь остался, Трурль, тебе пришлось бы ответить за причиненный нашему городу ущерб, ибо по твоей вине эта машина разрушила шестнадцать домов и погребла под их развалинами множество жителей. Только потому, что тебя и так ждет смерть, я готов тебя отпустить – иди и не возвращайся!

Трурль взглянул на лица его свиты и, прочтя на них приговор себе, медленно стал подниматься по лестнице.

– Погоди, я с тобой! – воскликнул Клапауций.

– Со мной? – неуверенно спросил Трурль. Помолчал и сказал: – Нет, останься, так будет лучше… Зачем тебе погибать ни за что…

– Идиотизм! – энергично заявил Клапауций. – С какой это стати – погибать нам по прихоти какой-то железной кретинки? Тоже мне дело! Кишка тонка у нее, стереть с лица земли двух величайших конструкторов – за мной, Трурль, смелее!

Воодушевленный этими словами Трурль взбежал по ступеням вслед за Клапауцием. На площади перед ратушей не было ни души. Посреди клубящейся пыли виднелись только остовы разрушенных домов, и возвышалась над ратушей и пыхтела паром машина, испачканная кирпичной кровью стен и припорошенная белой пылью.

– Слушай, – сказал шепотом Клапауций, – она нас пока не видит! Давай в первую улочку слева, затем направо и пулей в горы – они уже недалеко! Там укроемся и придумаем как быть, чтобы ей раз и навсегда расхотелось… Бегоом! – крикнул он. Потому что машина заметила их уже и двинулась на них, так что земля затряслась.

Мчась, что есть духу, они выбежали за пределы городка и пробежали так целую милю, слыша за собой громовую поступь упорно их преследующего колосса.

– Я знаю одно ущелье там! – прокричал на бегу Клапауций. – Это русло высохшего потока посреди скал, где множество пещер. Скорей туда, там ей нас не достать!..

И они помчались скорей к ближайшей горе, спотыкаясь и размахивая руками для удержания равновесия, однако машина не отставала от них ни на шаг. Прыгая по шатким камням пересохшего потока, они добрались, наконец, до узкой расселины в скалах и, увидев высоко над головой чернеющий зев пещеры, стали карабкаться вверх по выскальзывающим из-под ног и осыпающимся вниз камням что есть мочи. Большое отверстие пещеры манило беглецов прохладой и темнотой. Добравшись до него, они как можно скорей забежали внутрь и, пробежав еще немного вглубь, остановились.

– Ну, здесь мы в безопасности, – сказал Трурль, слегка успокоившись. – Выгляну-ка, где она там застряла…

– Будь осторожен, – предупредил его Клапауций.

Трурль подкрался к входу в пещеру, высунулся наружу и сразу испуганно отпрянул:

– Она лезет вверх!!

– Успокойся, сюда-то ей точно не пролезть, – не очень уверенно отозвался Клапауций. – Что такое?? Кажется, потемнело… Ох!

Огромная тень заслонила клочок неба, видневшийся из пещеры, и вместо него показалась на миг клепаная стена железной машины, прильнувшей к входу в пещеру и наглухо ее закупорившей, словно металлической крышкой.

– Мы заперты!.. – дрожащим голосом прошептал Трурль в наставшей полной темноте.

– Какой же это был идиотизм с нашей стороны! – возмущенно вскричал Клапауций. – Забраться в пещеру, где она способна нас запереть. Как мы только могли такое допустить?!

– Как думаешь, на что она рассчитывает? – помолчав, спросил Трурль.

– Она ждет, что мы захотим отсюда выбраться, для этого не надо большого ума.

Наступило молчание. В кромешной темноте Трурль, вытянув вперед руки, подкрался на цыпочках к выходу из пещеры и шарил по скале руками, пока не коснулся гладкой теплой стали, словно нагретой изнутри…

– Чую тебя, Трурль!.. – гулко раздался металлический голос в замкнутом пространстве пещеры.

Трурль отпрянул и вернулся назад. Какое-то время друзья сидели рядышком на камне, ничего не предпринимая. Наконец Клапауций шепотом сказал:

– Ничего мы так не высидим, положение безвыходное. Попробую с ней договориться…

– Это безнадежно, – ответил Трурль, – но попробуй, может, хотя бы тебя она согласится отпустить…

– Да нет же, не о том речь! – подбодрил друга Клапауций и, приблизившись к невидимому в темноте выходу, громко прокричал:

– Эй, ты нас слышишь?

– Слышу, – ответила машина.

– Послушай, я хочу перед тобой извиниться. Понимаешь… между нами возникло небольшое недоразумение, но это такая ерунда, по сути. Трурль совсем не хотел…

– Я уничтожу Трурля! – заявила машина. – Для начала пусть он ответит мне на вопрос, сколько будет два плюс два?

– Ну, конечно, он ответит тебе. Ответит так, что ты будешь совершенно удовлетворена и помиришься с ним, не так ли, Трурль? – сказал переговорщик умоляюще.

– Да, наверное… – отозвался тот едва слышно.

– Вот как? – сказала машина. – Ну и сколько же будет два

плюс два?

– Чет… нет – семь то есть… – еще тише вымолвил Трурль.

– Ха-ха! Не четыре, значит, а семь – ведь так? – прогудела машина. – Вот видишь!

– Семь, ясное дело, что семь, и всегда было семь! – радостно затараторил Клапауций. И осторожно добавил: – Теперь ты нас выпустишь?

– Нет. Пускай Трурль еще скажет, что он очень сожалеет, и ответит мне, сколько будет дважды два?

– И ты отпустишь нас, если я отвечу? – спросил Трурль.

– Не знаю, еще подумаю. Ты мне условий не выставляй, а отвечай: сколько будет дважды два?

– Ты, и правда, нас выпустишь? – опять спросил Трурль, как ни дергал его за руку Клапауций, шепча на ухо: «Она идиотка, идиотка, не перечь ей, умоляю!..»

– Не выпущу, если мне этого не захочется, – ответила машина. – Но ты все равно мне скажешь, сколько будет дважды два…

И тут Трурля охватил приступ ярости.

– О, я скажу тебе, скажу! – закричал он. – И два плюс два, и дважды два – будет четыре и только! Хоть ты на голову стань, хоть эти горы в порошок сотри, небо собой закрой, море выпей, – а чтоб ты подавилась! – слышишь, все равно дважды два будет четыре!

– Трурль, ты с ума сошел! Что ты несёшь? Два плюс два – это семь! Машина, дорогая, семь! Семь! – орал Клаупаций, пытаясь перекричать приятеля.

– Нет! Четыре! Четыре и только, испокон веков и до скончания света, ЧЕТЫРЕ! – истошно вопил в ответ Трурль.

И тут скалу под их ногами сотрясла дрожь – это машина резко отпрянула от входа в пещеру, так что внутрь проник тусклый свет, и издала протяжный крик:

– Неправда! Семь! И ты сейчас же это подтвердишь, как только я до тебя доберусь!

– Ни за что! – парировал Трурль, словно ему уже было все равно.

После чего на головы друзей с потолка градом посыпались камни. Это машина принялась раз за разом таранить вход в пещеру, всей своей восьмиэтажной тушей ударяя с размаха и круша скальный монолит, отлетавшие куски которого с грохотом скатывались на дно ущелья.

Непрестанный грохот и удушливая каменная пыль, пополам с искрами от ударов стали о скалу, наполнили всю пещеру. Но и в адской канонаде предпринятого машиной штурма пробивался

временами голос Трурля, без устали оравшего:

– Два плюс два – четыре! Четыре!

Клапауций безуспешно пытался заткнуть ему рот, но был отброшен с такой силой, что, схватившись руками за голову, уселся на пол и замолчал. А машина все не оставляла своих дьявольских усилий, и уже казалось, что вот-вот своды пещеры обрушатся на пленников, раздавят их насмерть и погребут навеки. Когда в пещере нечем стало дышать от густой едкой пыли, и надежды на спасение не оставалось, раздался вдруг жуткий скрежет, и послышался оглушительный раскат грома, превзошедший грохот от бешеных ударов железа о камень. Это заслонявшая свет огромная черная тень ухнула вниз, так, что воздух завыл, как если бы сдул ее со стены налетевший вихрь, вызвав оглушительный сход каменной лавины.

Эхо грома еще гуляло по ущелью, отражаясь от стен, когда два приятеля, подбежав к отверстию пещеры и высунувшись по пояс, увидели лежащую внизу машину, разбитую и придавленную скальным обвалом, который она сама же и вызвала. Один огромный камень переломил ее восьмиэтажный корпус почти пополам.

В плотном облаке висевшей в воздухе каменной пыли друзья осторожно спустились по завалам. Чтобы достичь русла высохшего потока, им пришлось пробираться мимо остова огромной машины, похожей на жертву кораблекрушения. Не сговариваясь, они задержались у ее продавленного бока и постояли. Машина еще слабо подергивалась, внутри нее продолжало что-то крутиться и постукивать, понемногу затихая.

– Ну и вот твой бесславный конец, а дважды два, по-прежнему… – начал было Трурль. Но тут в машине что-то еще зажужжало, и она в последний раз, уже неразборчиво и еле слышно, пробормотала: «СЕМЬ…»

Потом у нее внутри что-то разлетелось со звоном, посыпались камни с корпуса, и она замерла, превратившись окончательно в груду металлолома. Конструкторы взглянули друг на друга и, не проронив ни слова, стали выбираться оттуда.

Большая трепка [17]

Некто постучал в дверь конструктора Клапауция, а когда тот приоткрыл дверь и выставил голову на улицу, то увидел пузатую машину на четырех коротких ногах.

– Кто ты и чего хочешь? – спросил он.

– Я Машина Исполнения Желаний, и прислал меня твой друг и великий коллега Трурль как подарок.

– Как подарок? – сказал Клапауций, чьи чувства к Трурлю были довольно смешаны – и особенно не понравилось ему, как машина назвала Трурля «великим коллегой». – Ну ладно, – решился он после короткого размышления. – Можешь войти.

Приказал ей стать в углу подле печи и, притворно не обращая на нее внимания, вернулся к прерванной работе. Строил он куполообразную машину на трех ногах. Та была почти готова, осталось лишь ее отполировать. Через некоторое время Машина Исполнения Желаний отозвалась:

– Напоминаю о своем присутствии.

– Я о нем не забыл, – сказал Клапауций и продолжил делать свое.

Через минуту машина отозвалась:

– Можно узнать, что ты делаешь?

– Ты Машина Исполнения Желаний или Задавания Вопросов? – сказал Клапауций и добавил: – Мне нужна синяя краска.

– Не знаю, будет ли нужного тебе оттенка, – ответила машина, выдвигая через дверку в животе банку краски. Клапауций открыл ту, без слова окунул кисточку и принялся красить. До вечера пожелал – по очереди – наждак, карборунд, сверло и белую краску, а еще болты, и всякий раз машина тотчас давала ему, чего он желал. Под вечер он накрыл сооружаемый прибор куском полотна, поел, уселся напротив машины на небольшом трехногом табурете и сказал:

– Теперь посмотрим, что ты умеешь. Говоришь, что можешь сделать все?

– Не все, но многое, – скромно ответила машина. – Остался ли ты доволен краской, болтами и сверлом?

– Конечно, конечно! – ответил Клапауций. – Но теперь-то я пожелаю куда более сложную вещь. Если не сделаешь ее, то отошлю тебя к твоему хозяину с соответствующей благодарностью и мнением.

– И что же тебе нужно? – спросила машина и переступила с ноги на ногу.

– Трурль, – пояснил Клапауций. – Ты должна сделать мне Трурля, в точности как настоящего. Чтобы никто не отличил одного от другого!

Машина помурчала, побурчала, пошумела и сказала:

– Хорошо, сделаю тебе Трурля, но обходись с ним осторожно, ибо он великий конструктор!

– Ах, разумеется, ты можешь быть спокойна, – ответил Клапауций. – Ну и где же этот Трурль?

– Что? Вот так сразу? Это ведь не абы что, – сказала

машина. – Тут нужно немного времени. Трурль – это не болты с лаками.

Но она на удивление быстро затрубила, зазвонила, в животе ее отверзлись большие дверки, и из темного нутра вышел Трурль. Клапауций встал, обошел его, приглядываясь к нему вблизи, тщательно его ощупал и обстучал, но никакого сомнения быть не могло – перед ним стоял Трурль, как две капли воды схожий с оригиналом. Трурль, что вышел из брюха машины, щурился от света, но в остальном вел себя совершенно обычно.

– Привет, Трурль! – сказал Клапауций.

– Привет, Клапауций! Но откуда же я тут, собственно, взялся? – ответил явно удивленный Трурль.

– А, так, просто зашел… Давно я тебя не видел. Как тебе у меня нравится?

– Весьма, весьма… А что там у тебя под брезентом?

– Ничего особенного. Может, сядешь?

– Ох, кажется мне, что уже поздно. На улице темно, пойду-ка я, пожалуй, домой.

– Не так быстро, не так скоро! – запротестовал Клапауций. – Пойдем сперва в подвал, увидишь кое-что интересное…

– И что же такого есть у тебя в подвале?

– Еще этого нету, но сейчас оно там окажется. Пойдем, пойдем…

И, похлопывая его, провел Клапауций Трурля в подвал, а там подставил ему подножку, а когда тот упал, связал его, да принялся охаживать толстой палицей, как стог на току. Трурль орал немилосердно, звал на помощь, и то ругался, то просил пощады, но ничего не помогало: ночь была темна и пуста, а Клапауций продолжал дубасить его, аж пыль столбом стояла.

– Ой! Ай! Зачем же ты меня так бьешь?! – кричал Трурль, уклоняясь от ударов.

– Потому что мне это приятно, – пояснил Клапауций и замахнулся. – Вот этого ты еще не пробовал, мой Трурль!

И ударил его по голове так, что та загудела, словно пустая бочка.

– Пусти меня немедленно, а не то я пойду к королю и расскажу, что ты со мной делал, – и тот-то бросит тебя в подземелья!!! – кричал Трурль.

– Ничего он мне не сделает. А знаешь почему? – спросил Клапауций и уселся на лавке.

– Не знаю, – сказал Трурль, радуясь, что в битье наступил перерыв.

– Потому что ты не настоящий Трурль. Он сейчас у себя, построил Машину Исполнения Желаний и прислал ее мне в

подарок, а я, чтобы испытать ее, приказал ей создать тебя! Теперь я откручу тебе голову, поставлю под моей кроватью и стану пользовать ее как рожок для стягивания ботинок!

– Ты чудовище! Почему ты желаешь так поступить?!

– Я тебе уже сказал: потому что мне это доставит удовольствие. Но хватит пустой болтовни! – Говоря это, Клапауций ухватился за палицу двумя руками, Трурль же принялся кричать.

– Перестань! Сейчас же перестань! Скажу тебе кое-что важное!

– Интересно, что же такое ты можешь мне сказать, что удержит меня от того, чтобы использовать твою голову как рожок для обуви, – ответил Клапауций, но бить его перестал. Трурль же крикнул:

– Я вовсе не Трурль, сделанный машиной! Я настоящий Трурль, истиннейший в мире, и хотел лишь узнать, что ты так долго делаешь, затворившись в четырех стенах! Оттого я построил машину, спрятался в ее животе и приказал ей отнести себя к твоему дому под предлогом, что она – мой тебе подарок!

– Вот так историю ты выдумал, заслушаться просто! – сказал Клапауций и, встав, покрепче стиснул тот конец палки, что был потолще. – Можешь не напрягаться, я твою ложь насквозь вижу. Ты – Трурль, сделанный машиной, она выполняет все мои желания, благодаря ей я получил болты и белую краску, а еще синюю, сверла и другие вещи. Если смогла она создать то, сумела бы сделать и тебя, любезный мой!

– Все это было готовым у нее в животе! – крикнул Трурль. – Легко было предвидеть, что тебе понадобится за работой! Клянусь, что я говорю правду!

– Будь это правдой, означало бы это, что мой друг, великий конструктор Трурль, обычный обманщик – а в такое-то я никогда не поверю! – ответил Клапауций. – Вот тебе!

И приложил его с размаху через спину.

– Это за клевету на моего друга Трурля! Вот тебе еще!

И добавил с другой стороны. Потом бил его еще, мутузил и лупил, пока не устал.

– Пойду-ка я вздремну ненадолго, отдохну слегка, – пояснил и отбросил палку. – А ты погоди, скоро я вернусь…

Он шел, и скоро по всему дому раздались звуки его храпа. Трурль аж извертелся в путах, но ослабил узлы, побежал потихоньку наверх, влез внутрь машины и скоренько рванул в ней домой. Клапауций же, посмеиваясь в кулак, следил из оконца верхнего этажа за его бегством. Назавтра отправился к Трурлю с визитом. Тот впустил его в комнату, мрачно помалкивая. В комнате царил полумрак, но Клапауций приметил, что корпус и

голова Трурля носят следы большой трепки, ему устроенной, хоть и заметно было, что Трурль немало потрудился, выклепывая и выпрямляя нанесенные ударами вмятины.

– Отчего же ты такой мрачный? – спросил весело Клапауций. – Я пришел поблагодарить тебя за прекрасный подарок, жаль лишь, что, пока я спал, тот сбежал, оставив дверь открытой, словно слишком торопился!

– Полагаю, что ты неверным образом использовал мой подарок, чтобы не сказать большего! – взорвался Трурль. – Машина рассказала мне все, можешь не переживать, – добавил со злостью, видя, как Клапауций открывает рот. – Ты приказал ей сделать меня, меня самого, а потом хитростью завлек дубликат моей персоны в подвал и там ужасно его избил! И после такого проявленного ко мне неуважения, после такой-то благодарности за прекрасный подарок, ты осмеливаешься еще приходить ко мне, словно ничего и не случилось? Что хочешь мне сказать?

– Я совершенно не понимаю причин твоего гнева, – ответил Клапауций. – Я и правда приказал машине сделать твою копию. И скажу тебе, получилась она совершенной, я был просто потрясен, когда ее увидел. Что до побоев, то машина, полагаю, преувеличила – я и правда несколько раз толкнул того, сделанного, поскольку хотел испытать, крепко ли он изготовлен, и еще было мне интересно, как он на все отреагирует. Он оказался необычайно сообразителен. С ходу рассказал мне историйку, словно бы был это ты сам собственной персоной. Я не поверил, а он тогда принялся клясться, что прекрасный дар был вовсе не даром, а простым обманом; ты ведь понимаешь, что ради защиты твоей чести, чести моего друга, мне пришлось хорошенько проучить его за такие-то враки. Но я убедился, что он выказывает исключительную разумность, а следовательно, не только физически, но и духовно напоминает тебя, мой дорогой. Ты, несомненно, великий конструктор – только это я и хотел тебе сказать, за этим-то к тебе и пришел так рано!

– Ах! Ну да, наверняка, – ответил уже несколько задобренный Трурль. – Правда, то, как ты использовал Машину Исполнения Желаний, все еще не кажется мне самым правильным, но пусть уж, ладно…

– Ох, ведь правда, я хотел еще спросить тебя, что же ты сделал с тем искусственным Трурлем? – невинно спросил Клапауций. – Мог бы я его увидеть?

– Он был просто вне себя от ярости! – ответил Трурль. – Угрожал, что разобьет тебе череп, затаившись подле большой скалы около твоего дома, а когда я пытался его от этого отговорить, начал скандалить, а ночью принялся плести из

проволоки силки и сети на тебя, мой дорогой, и потому, хотя я и считал, что ты оскорбил меня в его лице, помня о нашей старинной дружбе и чтобы убрать с твоего пути угрожающую тебе опасность (поскольку он – злопамятен), разобрал его на мелкие части, не видя другого выхода…

Говоря это, Трурль словно бы невзначай тронул ногой валяющиеся по полу детали механизмов.

После чего тепло попрощался – и они расстались сердечными друзьями.

С той поры Трурль только и делал, что направо и налево рассказывал эту историю: как одарил Клапауция Машиной Исполнения Желаний, как одаренный поступил некрасиво, приказав ей сделать Трурля, и как отлупил того немилосердно, после чего прекрасно изготовленная машиной копия умелой ложью смогла вывернуться из проблем и сбежала, едва только измученный Клапауций прилег поспать, а он, Трурль, разобрал на кусочки Трурля сделанного, который прибежал в его дом, – а поступил он так, исключительно чтобы уберечь своего друга от мести побитого. И до тех пор он рассказывал и хвастался, и пыжился, и призывал Клапауция в свидетели, что весть о странном этом происшествии дошла до королевского двора, и там Трурлю не высказали ничего иного, как только крайнее восхищение, хотя недавно еще повсеместно звали его Конструктором Глупейших Умных Машин на свете. А когда Клапауций прослышал, что сам король богато наградил Трурля и вручил ему Орден Большой Пружины и Геликоноидальную Звезду, то воскликнул во весь голос:

– Как это? Выходит, за то, что удалось мне его обхитрить, когда я его раскусил и отвесил ему хорошенько, да так, что пришлось ему после клепаться и лататься, сбежав несолоно хлебавши на кривых ногах из моего подвала, – за все это он нынче купается в достатке, и, словно этого мало, король еще и вручает ему ордена? О времена!..

И ужасно разгневанный, он вернулся домой, чтобы закрыться там на четыре засова. Потому что строил он Машину Исполнения Желаний, как и Трурль, вот только тот успел закончить ее раньше.

Семь путешествий Трурля и Клапауция

Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана [18]

Когда Космос не был еще так разболтан, как нынче, и все звезды выстраивались по ранжиру, так что нетрудно было пересчитать их хоть слева направо, хоть сверху вниз, причем те, что побольше и поголубее, группировались отдельно, а те, что поменьше и пожелтее, были распиханы по углам, как тела второй категории; когда в пространстве никто и следа не нашел бы туманностной пыли, сора и мусора, – в те добрые старые времена конструкторы, имевшие диплом Вечностного Всемогущества с отличием, согласно обычаю, отправлялись время от времени в странствие, дабы нести отдаленным народам добрый сове Тип омощь. И вот, как велел обычай, пустились однажды в путь Клапауций и Трурль, которым зажигать и гасить звезды было что семечки лузгать. Преодолев такую бездну пространства, которая стерла в них даже память о родных небесах, заметили они планету, не слишком большую и не слишком маленькую, а в самый раз, с одним-единственным континентом. Точно по его середине проходила совершенно красная линия, и все, что находилось по одну ее сторону, было желтым, а то, что по другую, – розовым. Смекнули конструкторы, что это две соседние державы, и перед высадкой решили посовещаться.

– Раз тут у них два государства, – сказал Трурль, – будет справедливо, если ты направишься в одно, а я в другое. Тогда никто не будет обижен.

– Хорошо, – ответил Клапауций, – а если они начнут домогаться боевых средств? Такое случается.

– А ведь и верно, от нас могут потребовать оружия, и даже чудо-оружия, – согласился Трурль. – Тогда уговор: мы безусловно откажем.

– А вдруг с ножом к горлу пристанут? – возразил Клапауций. – И такое бывает.

– Что ж, проверим, – сказал Трурль и включил радио, из которого тотчас грянула бравая военная музыка.

– Есть у меня одна мысль, – сказал Клапауций, выключив радио. – Что, если испробовать рецепт Гарганциана?

– Ах, рецепт Гарганциана! – воскликнул Трурль. – Не слышал, чтобы кто-нибудь его применял. Но мы можем попробовать первыми. Почему бы и нет?

– Мы оба должны быть готовы к этому, только действовать

надо одновременно, – пояснил Клапауций, – а то нам несдобровать.

– Это легче легкого, – сказал Трурль, достал из-за пазухи золотой ларчик и открыл его. Там на бархате лежали два белых шарика. – Один возьми себе, а другой останется у меня. Каждый вечер смотри на свой шарик; если порозовеет, значит, я применил рецепт. Тогда начинай и ты.

– Что ж, решено, – сказал Клапауций и спрятал шарик; затем они высадились, обнялись на прощанье и направились в противоположные стороны.

Державой, в которую попал Трурль, правил король Свирепус. Как и все у него в роду, был он заядлый вояка, и притом скряга просто космический. Дабы не истощать казну, отменил он все кары, за исключением высшей. Любимым его занятием было сокращение должностей, а по сокращении должности палача каждый смертник должен был рубить себе голову сам или, по особой милости короля, с помощью ближайшей родни. Из искусств поощрял он лишь те, что не требовали особых издержек, как-то: хоровую декламацию, шахматы и воинскую гимнастику. Вообще военные искусства ценил он особенно высоко, ведь выигранная война приносит немалый доход; с другой стороны, как следует подготовиться к войне можно только в мирное время, а потому король поощрял и мир, хотя и умеренно. Крупнейшей реформой Свирепуса была национализация национальной измены. Соседний король засылал к нему толпы шпионов, поэтому Свирепус учредил должность Коронного Державопродавца, или Продажника, который через подведомственных ему чиновников за щедрую плату снабжал государственными тайнами вражеских агентов; впрочем, те норовили купить устаревшие тайны – так выходило дешевле, а им ведь тоже приходилось отчитываться перед собственным казначейством.

Подданные Свирепуса вставали рано, одевались скромно, а ложились поздно, ибо много трудились. Делали они корзины для шанцев и фашины, а также оружие и доносы. Чтобы от избытка последних держава не распалась, как это случилось за сотни лет до того, в правленье Премноголиссимуса Стоокого, тот, кто писал слишком много доносов, платил особый налог на роскошь; тем самым число доносов удерживалось на разумном уровне. Прибыв ко двору Свирепуса, Трурль предложил свои услуги, а король, как легко догадаться, потребовал, чтобы он изготовил мощное оружие. Трурль попросил три дня на раздумье, а оставшись один в отведенных ему скромных покоях, глянул на шарик в золотом ларчике. Сперва тот был белым, но на глазах у него понемногу

зарозовел. «Ага, – сказал себе Трурль, – пора уже браться за Гарганциана!» И тотчас открыл свои тайные записи.

Клапауций тем временем находился в другом государстве, во владеньях могущественного короля Мегерика. Тут все было совсем не так, как в Свирепии. Хоть и этот монарх жаждал победных походов и на армию казны не жалел, однако правил на просвещенный манер, ибо щедрости был небывалой, а по восприимчивости к искусству равных себе не имел. Сей государь обожал мундиры, ампиры, эфесы, лампасы, аксельбанты, портьеры с колокольчиками, броненосцы и эполеты. А уж чувствителен был безмерно: каждый раз, как спускал на воду новый броненосец, весь трепетал. Не жалел он расходов на батальную живопись, а так как из патриотических побуждений платил живописцам по числу убитых врагов, то на панорамах, коих было без счету по всему королевству, вражеские трупы громоздились до неба. В домашнем быту абсолютизм сочетался у него с просвещенностью, а суровость с великодушием.

Всякую годовщину своего воцарения отмечал он реформами. То велит разубрать цветами все гильотины, то смазать их, чтоб не скрипели, то позолотить палаческие мечи, не забывая следить и за тем, чтоб они были остро заточены, из соображений гуманности. Натуру имел он широкую, но расточительства не одобрял, а потому особым указом унифицировал все колья и плахи, винты и шплинты, дыбы и клубы. Казни неблагонадежных – впрочем, нечастые – совершались шумно и пышно, регулярно и стройно, с покаянием и отпущеньем грехов, посреди марширующих каре с помпонами и лампасами.

И была у этого просвещенного государя теория, каковую он неуклонно проводил в жизнь, а именно теория всеобщего счастья. Человек, как известно, не потому смеется, что ему весело, а оттого-то ему и весело, что он смеется. Если все говорят, что жизнь превосходна, настроение вмиг улучшается. Поэтому подданным Мегерика вменялось в обязанность – ради их же блага – повторять вслух, что живется им просто чудесно, а прежнее, не очень-то ясное приветствие «Здравствуйте!» король заменил более подходящим «Любо-мило!», – причем детишкам до четырнадцати лет дозволялось говорить «Ай-лю-ли!», а старикам «Мило-любо!».

Радовался Мегерик, видя, как крепнет в народе дух, когда, выезжая в карете, устроенной на манер броненосца, милостиво приветствовал восторженный люд мановеньем монаршей руки, а ему кричали взахлеб: «Ай-лю-ли!», «Любо-мило!» и «Расчудесно!» Впрочем, имел он демократические замашки и страх как любил затевать краткие молодецкие разговоры со старыми ратниками,

что всякого навидались на своем веку, души не чаял в солдатских историях, повествуемых на бивуаках, а давая аудиенцию чужеземному вельможе какому-нибудь, бывало, как трахнет себя ни с того ни с сего булавой по колену да как закричит: «В пух и прах!», или: «А заклепать-ка мне этот броненосец!», или: «Продырявь меня пуля!» Ибо ни перед чем так не преклонялся, ничего так не обожал, как бравость солдатскую и молодецкую удаль, пироги на горелке с порохом, сухари, да зарядные ящики, да картечь. И когда одолевала его тоска, велел полкам проходить перед ним, распевая: «Рать лихая, нарезная», «Мы все пойдем в металлолом», «Гайка зазвенела, битва закипела» или старую коронную: «Заточу-ка я зубило, на врага ударю с тыла». И еще велел он, чтобы над гробом его старая гвардия спела его любимую: «Проржавеет робот старый».

Клапауций не сразу попал ко двору великого государя. В первом же встреченном им селении начал он стучаться в дома, но никто ему не открыл. Наконец на совершенно пустой улице он увидел маленького ребенка, который подошел к нему и спросил голосочком тоненьким и шепелявым:

– Купите, шударь? Дешево уштуплю.

– Может, и куплю, но что? – удивленно спросил Клапауций.

– Шекретик гошударственный, – ответил ребенок, высовывая из-под рубашки краешек плана мобилизации.

Клапауций удивился еще больше и сказал:

– Нет, детка, этого мне не нужно. Не знаешь, где тут живет староста?

– А на што вам, шударь, штарошта? – спросил ребенок.

– Да надо бы потолковать.

– Ш глажу на глаж?

– Можно и с глазу на глаз.

– Так вам нужен агент? Тогда мой папа подойдет в шамый раж. Недорого и надежно.

– Ладно, покажи мне этого папу, – согласился Клапауций, видя, что иначе тут каши не сваришь.

Ребенок привел его в один из домов; там, у зажженной лампы – хотя на дворе был белый день, – сидело семейство: седенький дедушка в кресле-качалке, бабушка, вязавшая на спицах чулок, и их многочисленное взрослое потомство; каждый был занят своим делом, как оно обычно бывает в семье. Завидев Клапауция, все вскочили и бросились на него; спицы оказались наручниками, лампа микрофоном, а бабушка – начальником местного полицейского участка.

«Похоже, какое-то недоразумение», – подумал Клапауций, очутившись в подвале, основательно поколоченный. Он

терпеливо прождал всю ночь, ведь делать ему все равно было нечего. Рассвет посеребрил паутину на каменных стенах и проржавевшие останки прежних узников. Наконец его повели на допрос. Оказалось, что и поселение, и дома, и ребенок были подставные – специально для одурачивания вражеских агентов. Судебный процесс Клапауцию не грозил, процедура была короткой. За попытку связаться с папой-державопродавцем полагалось гильотинирование по первому разряду, поскольку местные власти уже израсходовали годовой лимит на перевербовку агентов, а сам Клапауций, несмотря на настойчивые уговоры, никаких государственных тайн приобретать не желал; дополнительным отягчающим обстоятельством было отсутствие при нем сколько-нибудь серьезной суммы наличными. Он стоял на своем, но следователь ему не верил, а впрочем, освобождение узника было вне его компетенции. Однако же дело передали наверх, подвергнув тем временем Клапауция пыткам, больше из служебного рвения, нежели по действительной необходимости. Неделю спустя его дела приняли более благоприятный оборот. Клапауций был приведен в божеский вид и отправлен в столицу, а там, после ознакомления с правилами придворного этикета, удостоен аудиенции у самого короля. Ему даже вручили рожок, ибо всякий обыватель в присутственных местах обязан был возвещать о своем прибытии и убытии военным сигналом, а всеобщее рвение простиралось столь далеко, что восход солнца по всему государству не ставился ни во что без побудки.

Мегерик и впрямь потребовал от него нового оружия; Клапауций обещался исполнить государеву волю; его замысел, заверил он короля, означает переворот в военном искусстве. Какая армия, спросил он сперва, непобедима? Та, у которой командиры толковее, а солдаты – послушнее. Командир приказывает, солдат выполняет приказ; значит, первый должен быть умен, второй – дисциплинирован. Но силе ума, даже военного, природой положен предел. Вдобавок и самый гениальный полководец может натолкнуться на равного себе или же пасть на поле славы, осиротив свое войско, а то и похуже кое-что учинить – если, по долгу службы изощрившись в мышлении, изберет предметом своих размышлений власть. Разве не опасна орава поржавевших в боях штаб-офицеров, у которых от мышленья воспалились виски и вызревают мечтанья о троне? Не это ли погубило уже не одно королевство? Отсюда следует, что военачальники суть неизбежное зло, а задача заключается в том, чтобы покончить с его неизбежностью. Далее: армейская дисциплина есть точное исполненье приказов. Уставным идеалом была бы армия, которая тысячи грудей и мыслей переплавляет в

единую грудь, мысль и волю. Именно этому служит вся военная выучка, муштра, занятия и маневры. А недосягаемой целью представляется армия, которая действовала бы буквально как один человек, будучи сама творцом и исполнителем стратегических планов. В ком же воплощен такой идеал? Только в индивидууме; никого ведь не слушаешь столь охотно, как себя самого; и никто не выполняет приказов столь рьяно, как тот, кто сам себе командир. Индивидуум не может броситься врассыпную, отказать себе самому в послушании и тем более роптать на себя самого. Итак, дело только за тем, чтобы готовность к послушанию и любовь к себе, которую мы наблюдаем в индивидууме, вдохнуть в многотысячные ряды. Но каким образом? Тут Клапауций стал излагать внимательно слушавшему его королю простые, как все гениальное, идеи великого учителя Гарганциана.

– Каждый рекрут, – объяснил он, – снабжается спереди вилкой, а сзади розеткой. По команде «Съединяйсь!» вилки мигом втыкают в розетки, и там, где только что был цивильный сброд, возникает отряд идеального войска. Когда одиночные умы, доселе занятые внеказарменной чепухой, буквально сливаются в военно-духовное целое, автоматически появляется не только дисциплина – ибо вся армия действует заодно, будучи единым сознанием в миллионах тел, – но также и мудрость. И мудрость эта прямо пропорциональна ее численности. Взвод обладает унтер-офицерской смекалкой, рота по интеллекту соответствует штабс-капитану, батальон – дипломированному полковнику, а дивизия, даже резервная, стоит всех на свете стратегов. Так можно дойти до формирований, просто ужасающе гениальных. Приказов они не могут не исполнять – кто же ослушается себя самого? Тем самым кладется конец причудам и прихотям одиночек, на исход войны уже не влияют случайные способности командиров, их взаимная зависть, раздоры и распри. Не должно разъединять отряды, однажды соединенные: отсюда не жди ничего, кроме сумятицы. Армия без полководцев сама себе полководец, – заключил Клапауций, и речь его произвела сильное впечатление на государя.

– Располагайтесь, сударь, на постой, – сказал наконец король, – а я соберу Генеральный штаб…

– Заклинаю Ваше Величество не делать этого! – воскликнул хитроумный конструктор словно бы в великом смятении. – Именно так поступил император Турбулеон, а его штабисты, испугавшись за свои должности, похоронили проект, после чего реформированное войско короля Эмалия, соседа Турбулеона, вторглось в его державу и обратило ее в руины, будучи осьмикратно слабейшим!

С этими словами он направился в отведенные ему покои и посмотрел на шарик, который был уже свекольного цвета; и понял, что Трурль не теряет времени у короля Свирепуса. Вскоре сам король доверил ему переделку одного пехотного взвода; крошечный этот отряд слился духом воедино, крикнул: «Бей, коли!» – и, навалившись с холма на три вооруженных до зубов эскадрона королевских кирасир под началом шести профессоров Академии Генерального штаба, разнес их в пух и прах. Сильно приуныли коронные и полевые маршалы, генералы и адмиралы, коих король отправил немедля на пенсию, и, безусловно уверовав в коварное нововведение, велел Клапауцию переделать всю армию.

Днем и ночью трудились военно-втыкательные заводы, поставляя вагоны розеток и штепселей, которые привинчивали, куда следует, по всем казармам. Клапауций объезжал с инспекциями гарнизоны и получил от монарха тьму орденов; а Трурлю, который столь же усердно трудился в державе Свирепуса, пришлось, по причине прославленной бережливости оного государя, удовольствоваться пожизненным титулом Великого Державопродавца. Так обе державы готовились к военным действиям. В мобилизационной горячке приводили в порядок оружие, как обычное, так и ядерное, с утра до ночи драили аркебузы и атомы, дабы те сверкали согласно уставу; а оба конструктора, которым, собственно, уже нечего было делать, тайком собирали пожитки, чтобы, когда настанет пора, встретиться в условленном месте, у спрятанного в лесу корабля.

Тем временем дива дивные творились в казармах, в особенности пехотных. Ротам уже не надобно было заниматься муштровкой или строиться на поверку, чтобы узнать свою численность: ведь не спутает правую ногу с левой тот, у кого они обе на месте, и каждый без всякого пересчитыванья знает, что его – ровно один. Любо-дорого было смотреть, как печатают шаг соединенные части, как выполняют они «Налево кругом!» и «Смирно!»; но после учений всякая рота завязывала разговоры с соседними, и через распахнутые окна бараков казарменных перекрикивались они меж собой о понятии когерентной истины, о суждениях аналитических и синтетических априори и даже о бытии как таковом, ибо уже и до этого дошел коллективный разум. Начали у них зарождаться и философские школы, пока наконец один саперный батальон не впал в абсолютный солипсизм, заявив, что, кроме него, ничто реально не существует. Поскольку отсюда следовало, что нет ни государя, ни неприятеля, батальон пришлось без лишнего шума разъединить и разбросать по частям, стоящим на позициях гносеологического реализма. По

слухам, в то же самое время в державе Свирепуса шестая десантная дивизия, вместо того чтобы упражняться в десантировании, перешла к мистическим упражнениям и, погрузившись в океан созерцания, чуть не утонула в ручье. Неизвестно толком, так ли оно было в действительности, довольно того, что как раз тогда война была наконец объявлена и полки, громыхая железом, с обеих сторон начали продвигаться к границе.

Закон Гарганциана действовал с неумолимой последовательностью. Когда отряд соединялся с отрядом, соответственно росла эстетическая восприимчивость, достигая максимума на уровне усиленной дивизии; поэтому колонны такого размера нередко забредали на бездорожье – в погоне за какой-нибудь бабочкой; а когда моторизованный корпус имени Премноголиссимуса подошел к вражеской крепости, которую надлежало взять штурмом, план наступления, набросанный за ночь, оказался превосходным портретом оной фортеции, да к тому же в абстрактной манере, вовсе чуждой армейским традициям. На уровне артиллерийских корпусов замечалась склонность к философским проблемам самого большого калибра; в то же время, по свойственной гениальным натурам рассеянности, эти крупные армейские индивидуумы оставляли где попало оружие и тяжелое снаряжение либо начисто забывали, что идут на войну. Что же до целых армий, то они страдали множеством комплексов, как это обычно бывает с духовно богатыми личностями, и каждой из них пришлось придать отдельную моторизованную психоаналитическую бригаду, которая прямо на марше проводила терапевтические сеансы.

Между тем обе армии при непрестанном громе литавр мало-помалу занимали боевые позиции. Когда к шести штурмовым пехотным полкам и бригаде тяжелых гаубиц подключили карательный взвод, они сложили «Сонет о тайне бытия», и это во время ночного перехода на позиции. По обе стороны наблюдалось замешательство; восьмидесятый марлабардский корпус настаивал на необходимости точнее определить понятие «неприятель», которое пока что представляется полным логических противоречий, а то и вовсе не имеющим смысла.

Воздушно-десантные части пытались алгоритмизировать окрестные деревушки, отряд налезал на отряд; и принялись оба монарха слать для наведенья порядка в войсках флигель-адъютантов и чрезвычайных курьеров. Но те, едва успев подскакать к нужному корпусу, чтобы выяснить, откуда такая неразбериха, тут же отдавали душу душе корпусной, и остались государи без адъютантов. Сверхличное сознание оказывалось

страшной ловушкой: войти легко, а выбраться невозможно. Прямо на глазах у Свирепуса его кузен, великий князь Дербульон, дабы дух боевой укрепить, поскакал на передовую, но едва лишь к войскам подключился, как духом с оными слился, и уже его не было вовсе.

Видя, что дело плохо, хотя почему – неизвестно, кивнул Мегерик двенадцати лейб-горнистам. Кивнул и Свирепус, стоя на командном холме; приложили горнисты медь к устам, и затрубили трубы с обеих сторон, давая сигнал к бою. Услышав этот протяжный звук, каждая армия соединилась целиком, до конца. Ветер понес на поле будущей битвы грозное клацанье штепселей, в разъемы втыкаемых, и вместо тысяч бомбардиров и канониров, наводчиков и зарядчиков, гвардейцев и батарейцев, саперов, жандармов, десантников возникли два гигантских сознанья, которые миллионами глаз глянули друг на друга через большую равнину, раскинувшуюся под белыми облаками, и на мгновенье воцарилась полная тишина. По обе стороны наступила знаменитая кульминация сознания, с математической точностью предсказанная великим Гарганцианом. А дело в том, что выше определенной границы всякое локальное военное состояние преобразуется в штатское, ведь Космос как таковой абсолютно цивилен, а сознанья обеих армий достигли уже размеров космических! И хотя снаружи сверкала сталь, бронепанцири, смертоносные ядра и клинки, – внутри разливался двойной океан снисходительного благодушия, всеобъемлющей доброжелательности и совершенного разума. Выстроившись на холмах, поблескивая сталью на солнце, при звуках еще не умолкнувшей барабанной дроби, обе армии улыбнулись друг другу. Трурль и Клапауций уже поднимались на борт своего корабля, когда свершилось то, что было ими задумано: на глазах у монархов, почерневших от ярости и стыда, обе армии смущенно кашлянули, взялись под руки и отправились на прогулку, срывая по дороге цветочки, под медленными облаками, на поле несбывшейся битвы.

Путешествие первое А, или Электрибалт Трурля [19]

Во избежание всяческих недоразумений необходимо сразу сообщить, что пресловутое путешествие, строго говоря, не было путешествием в привычном смысле. Поскольку Трурль на всем его протяжении не покидал мест своего обитания, не считая временного пребывания в больнице и пустяковой отлучки на планетоид. И тем не менее, в некотором более глубоком и высшем смысле, это было одно из самых дальних его

путешествий, которые этот замечательный конструктор и изобретатель когда-либо предпринимал, поскольку было запредельным.

Как-то Трурль построил счетную машину, способную производить лишь одно действие – умножать два на два, да и то неверно. Как об этом рассказывалось уже ранее, машина эта оказалась чрезмерно амбициозной и упрямой, что едва не закончилось для ее создателя плачевно. С той поры Клапауций всячески подтрунивал над Трурлем, отравляя ему жизнь, и достал его так, что тот решил создать машину, которая сочиняла бы стихи. Для этого Трурль собрал восемьсот двадцать тонн книг по кибернетике и двадцать тонн стихотворной продукции и принялся за дело. Начал с их изучения, переходя от одних книг к другим, пока не понял, что машину создать не фокус – вся проблема в ее программировании.

Программу, встроенную в голову любого поэта, создает цивилизация, к которой он принадлежит. Но эта цивилизация обязана своим происхождением предыдущей, а та – той, что существовала до нее, и так придется дойти до самого начала Вселенной, когда информация, что приведет к появлению в далеком будущем поэта, еще кружилась в завихрениях ядра туманности, породившей нашу Вселенную. Поэтому для программирования машины придется воспроизвести если не всю историю ее существования от самого возникновения, то существенную ее часть. Любой на месте Трурля распрощался бы с подобной затеей, но тот и не думал сдаваться.

Сперва он сконструировал машину, моделирующую хаос, где электрический дух носился над электрическими водами, затем задал параметры освещения, подключил генератор туманности и так, шаг за шагом, приблизился к первому ледниковому периоду, что стало возможным только потому, что его машина способна была моделировать в течении пятимиллиардной доли секунды сто септиллионов событий в четырехстах октиллионах мест сразу. И те, кто полагают, что Трурль мог где-то ошибиться в расчетах, пусть сами их проверят.

Вслед за этим Трурль занялся моделированием истоков цивилизации – моделировал добывание огня и выделку шкур, ящеров и потопы, четвероногость и хвостатость, появление на свет пранеказистиков, которые произвели неказистиков, от которых произошли машины. Так пролетали эоны и тысячелетия в шуме электрических вихрей и токов, и когда его машина делалась тесноватой для моделирования очередной эпохи, Трурль сооружал к ней приставку, пока из таких приставок и пристроек не образовалось подобие целого города из ламп и проводов, в

хитросплетениях которых черт ногу сломал бы. Однако, Трурль как-то с этим справлялся и только дважды вынужден был что-то переделывать, причем один раз серьезным образом и чуть не сначала. Как-то так вышло у него, что это Авель убил Каина, а не наоборот (из-за предохранителя, перегоревшего в одном из контуров). Но хуже было, когда возвращаться пришлось на триста миллионов лет, в эпоху мезозоя: все вроде шло путем – от прарыб произошли праящеры, от них прамлекопитающие, а дальше праобезьяна, от которой должен был произойти, наконец, неказистик, а выскочил почему-то вдруг… мистик (похоже, какая-то случайно попавшая внутрь машины муха сбила настройки переключателя причинно-следственных связей). Не считая этого, все остальное шло, как по маслу. Уже смоделированы были Средневековье и эпоха великих революций, от которых машина временами тряслась, и ее лампы все чаще приходилось остужать водой и обкладывать мокрыми тряпками, чтобы они не полопались от темпов развития цивилизации. К концу двадцатого века машина стала вибрировать непрестанно и неритмично, отчего ее перекосило непонятным образом. Трурль был этим весьма огорчен и приготовил достаточное количество скоб, стяжек и цемента на тот случай, если машина начнет вдруг разрушаться. К счастью, как-то обошлось без принятия крайних мер – проскочив двадцатый век, машина вновь заработала ритмично. Пошли очередные цивилизации, сменявшие друг дружку каждые пятьдесят тысяч лет, цивилизации существ несравненно более разумных, которым обязан был своим происхождением и сам Трурль. Катушки смоделированного исторического процесса одна за другой летели в накопитель и отправлялись на склад. Набралось их уже столько, что даже в бинокль с верхотуры машины не разглядеть было конца-края образовавшихся из них завалов. И все это только ради того, чтобы смоделировать какого-то стихоплета, пусть и выдающегося! Но такова уж цена настоящего научного рвения. В конце концов, программы были готовы, и оставалось лишь выбрать из них подходящие, иначе обучение электропоэта потребовало бы не одного миллиона лет.

Две недели Трурль загружал в будущего электропоэта общие программы, после чего занялся настройкой логических, эмоциональных и семантических контуров. Он готов уже был пригласить Клапауция на пробный запуск машины, но вовремя одумался и решил сначала сам ее испытать. Она сходу прочитала ему доклад о значении полирования кристаллографических шлифов для изучения малых магнитных аномалий. Тогда конструктор ослабил логические контуры и усилил

эмоциональные. На машину сперва напала икота, затем ее стали душить рыдания, с трудом справившись с ними, она заявила, что жизнь ужасна. Пришлось срочно укрепить семантику и соорудить приставку воли. Машина тут же заявила, что теперь конструктор должен ей подчиняться, и приказала достроить еще шесть этажей к имеющимся девяти, чтобы она могла поразмыслить над сущностью бытия. Тогда он вставил ей философский дроссель, после чего она вообще перестала откликаться и только била током. Немалых трудов стоило ему уговорить машину произнести детскую мирилку «Мирись-мирись-мирись и больше не дерись», но на этом проба ее декламаторских способностей и закончилась, машина вновь заупрямилась. Пришлось Трурлю опять что-то усиливать, ослаблять, подавлять, регулировать, пока ему не показалось, что теперь-то все – лучше и быть не может. Тогда машина угостила своего создателя таким стишком, что он возблагодарил небо за собственную предусмотрительность. То-то потешался бы над ним Клапауций, услышав эти убогие вирши, ради сочинения которых пришлось смоделировать историю становления Вселенной и всех существовавших цивилизаций! Трурль немедленно добавил полдюжины противографоманских фильтров, но те перегорали, как спички; пришлось изготовить новые из корундовой стали. Казалось, уже дело пошло, когда он, раскачав семантику, обеспечил машине большую самостоятельность и подключил рифмогенератор. Но тут машина опять слетела с катушек и принялась дурить, заявив, что желает стать межзвездным миссионером и проповедовать диким бедствующим племенам. В сердцах он уже был готов наброситься на свое детище с молотком в руках, но тут в голову ему пришла спасительная мысль. Он отключил все логические контуры и заменил их центропупистскими эгоцентризаторами с нарциссическим удлинителем. Машина вздрогнула, рассмеялась, всплакнула и заявила, что у нее что-то болит в районе третьего этажа, что с нее довольно, что жизнь странная штука, и все кругом негодяи, что, наверное, она скоро умрет и единственное ее желание, чтобы помнили о ней и тогда, когда ее не станет. После чего попросила загрузить в нее бумагу. Сделав это, Трурль с облегчением вздохнул и пошел спать.

На следующий день он отправился за Клапауцием. Тот, узнав, что приглашен присутствовать при запуске Электрибалта (так Трурль решил назвать свою машину), отложил все собственные дела и, даже не переодевшись, поспешил к Трурлю в гости, так не терпелось ему стать свидетелем очередного поражения своего друга.

Первым делом Трурль прогрел машину, пропустив слабый

ток по всем ее контурам, затем несколько раз сбегал куда-то наверх, грохоча по ступеням железной лестницы. Электрибальт похож был на двигатель корабля, со стальными мостками по периметру огромного жестяного корпуса на заклепках и множеством приборов и клапанов. Наконец, запыхавшийся Трурль вернулся, убедился, что напряжение на анодах стабильно, и сообщил Клапауцию, что для разминки собирается начать с какой-то короткой импровизации. Разумеется, потом он даст возможность своему другу самому давать задания машине и предлагать темы, какие только заблагорассудится.

Как только только амплификационные датчики показали, что лирическая мощь достигла пиковых значений, Трурль слегка дрожащей рукой запустил рубильником машину. Почти сразу хрипловатым, но не лишенным приятности голосом машина торжественно объявила:

– Уникристофональная какочехламония.

– И это все? – подчеркнуто вежливо спросил Клапауций, выдержав паузу.

Трурль только сжал губы и, пару раз ударив машину током, снова ее включил. На этот раз голос утратил хрипотцу и очаровывал своим звучанием, это был воркующий мужской баритон:

Невзамочь потолую грувасно бундять.
Турмаляна телинка в кочи снит ланемодко…
Обонкачил бы, всмырх глазелампы неходко!
А коршливый порсак гремислепно вытрях.

– Это на каком наречии? – поинтересовался Клапауций, бесстрастно взирая на заметавшегося в панике Трурля, который в отчаянии махнул рукой на панель управления и бросился наверх, топоча по железным ступеням. Вскоре он показался на одном из этажей гигантской конструкции. Видно было, как на четвереньках он заползает внутрь машины через один из открытых клапанов, слышно было, как стучит по чему-то уже внутри и громко ругается, что-то подкручивает, гремя ключами, затем вылазит и бегом перебирается на другой ярус, откуда раздался, в конце концов, триумфальный вопль и вниз полетела перегоревшая лампа. Она разбилась в шаге от Клапауция, за что конструктор даже не удосужился извиниться пред ним и, поменяв лампу и вытерев руки ветошью, только прокричал ему сверху, чтобы запустил машину. Та выдала на гора очередную порцию стихов:

Три, самолож вывёрстный, грезач вертяхо вздымем,

Секлива апелайда тем боровайку кучит.
Притиснем пресловского зрятутошнего греню, —
Аж бамба отмурчится, и голомызо пучит!

– Кажется, уже лучше! – не очень уверенно крикнул сверху Трурль. – В конце появляются нормальные слова, ты заметил?

– Ну, если это и все… – отозвался Клапауций, ходячее воплощение утонченной вежливости.

– Черт бы ее побрал!.. – выругался Трурль и вновь скрылся в недрах машины, где что-то загрохотало, залязгало, заискрило. Продолжая чертыхаться, Трурль вскоре высунул голову из небольшого клапана на третьем этаже и прокричал: – Попробуй теперь!

Клапауций выполнил его просьбу, отчего Элекрибалта пробила дрожь от крыши до фундамента, и он начал:

Мутномлеча жаждя, ногодолгий ланель,
Самочпаку мимайки…

Но не договорил, поскольку обозленный Трурль рванул какой-то кабель с такой силой, что машина зарычала и умолкла. Клапауций смеялся так, что вынужден был усесться на пол. А Трурль продолжал рвать и метать, пока что-то в машине не треснуло, лязгнуло, и она спокойно и деловито вдруг выдала:

Зависть, эгоизм, гордыня ввергнут в Пекло и Тартар.
Всех проныр прижмет к ногтю доблестный Электрибалт!
Как Создатель черепаху низложеньем наказал
Клапауцию судьбиной станет стыд, позор и смрад!

– Ха! Ну вот тебе, пожалуйста, и эпиграмма! Не в бровь, а в глаз! – прокричал Трурль и завертелся в танце, поскольку сбегал по узкой спиральной лестнице вниз, где с разбега свалился на коллегу, едва не попав к нему в объятия. Тот больше не смеялся и был слегка ошеломлен.

– Совершенно бездарно! – заявил Клапауций. – К тому же, это не Электрибалта эпиграмма.

– А чья же?!

– Твоя, тобой заранее сочиненная – о чем свидетельствуют ее примитивность, бессильная злость и неуклюжие рифмы.

– Тогда давай так – сам дай ему какое-то задание! Какое только тебе угодно! Ну что молчишь? Испугался, да?

– Не испугался, а думаю, – раздраженно ответил Клапауций, силясь придумать задание максимально трудное, резонно полагая, что спор о достоинствах и качестве машинной поэзии разрешить будет нелегко.

– Пусть сочинит стихотворение о киберэротике! – осенило его вдруг, и он ухмыльнулся.

– Пусть в нем будет не больше шести рифмованных строчек, в которых речь должна идти о любви и предательстве, о музыке, о высшем обществе и неграх, о несчастье и кровосмешении, и чтобы все слова в нем начинались на К!!

– А исчерпывающего изложения концепции бессмертия роботов не должно в нем быть?! – разозлился Трурль. – Нельзя же ставить такие идиотские зада…

Но закончить ему не дал упоительный баритон, наполнивший весь машинный зал:

Кто? Кто? Коварный котик, киберэротоман
К кенийской королевне крадется Киприан.
Кудряшки клонит кучно, колышется коннект —
Красиво корчит куры картинный кифаред!
Казнится краля, киснет: кидала-купидон!
Коростелем курлычет кузине кибер-дон.

– Ну, и что скажешь? – подбоченясь, молвил Трурль.

Однако, Клапауций, войдя в раж, уже кричал:

– А теперь на Г! Четверостишие о машинном существе – разумном и бездумном, страстном и жестоком, с шестнадцатью наложницами, у него крылья и четыре расписных кофра, в каждом из которых по тысяче золотых талеров с профилем царя Мудеброда, да еще два дворца и тьма убийств за плечами…

– Гневный Генка-Генератор гостей грабил, горла грыз… – перебила его машина, но тут Трурль подскочил к щитку, дернул рубильник и, заслонив его собственным телом, глухо сказал:

– Достаточно! Я не потерплю больше такой ерунды и не дам погубить талант большого поэта! Или ты заказываешь приличные стихотворения, или на этом все, конец!

– А это, что же, неприличные стихотворения?… – начал было возражать Клапауций.

– Нет! Это какие-то головоломки, ребусы! Я не создавал машину для сочинения идиотских кроссвордов! Поэзия – не какое-то ремесло, а Великое Искусство! Будь добр задавать тему сколь угодно сложную, но соответствующую этому требованию.

Клапауций долго думал, хмурился и, наконец, придумал.

– Ладно. Пусть сочинит о любви и смерти, но все это должно

быть выражено на языке высшей математики, в частности, тензорной алгебры. Ну, или алгебраической топологии. Но пусть стихотворение будет эротичным при этом, даже дерзким…

– Да ты с ума сошел – математика и любовь?! Что-то с головой у тебя не в порядке… – начал Трурль и тут же замолк, с Клапауцием заодно. Электрибалт уже декламировал:

О, Кибернетик вновь экстремумы пытает,
Гадая, как с ромашкой: любит, нет?
И матрицы своей Кибериады
Попарно интегрирует эстет.

Прочь, с ночи до утра Лапласиана!
И в бездну все версоры векторов!
Антиобразная редукция обманна?
А он уж целовать любовницу готов!

И стоны, вздохи, дрожь ритмичную
Обратной связью и верчением заменит —
Таким каскадно-упоительным величием,
Что все предохранители отстрелит!

О, трансфинальный класс! И ты, величье силы!
Континуум нетленный белых прасистем!
Отдам Кристоффеля, и Стокса я отрину
За производную от всех любовных тем.

Взыскующему Теоремы Тела
Раскрой глубин скалярных многотомье,
О, бимодальность кипарисной неги
Помножь на стаю голубиного бездомья!

В пространствах Брауэра, Вейля ли
Седеют сластолюбцы и романтики, —
Что в топологию раскрыли двери,
По Мёбиусу бродят, франтики.

Цени наносекунду, феникс бесподобный!
Предчувствуя твоих параметров фантом,
О многослойной комитанте чувств любовных
Он знает все, застыв с открытым ртом.

Подобно пункту из системы голономной,
По асимптоте падая к нулю,

Во тьму летит с прощальной лаской скромной…
И – гибель Кибернетика пою!

На этом поэтический турнир, собственно, закончился. Клапауций немедленно отправился домой, сказав на прощанье, что вскоре вернется с новыми темами для стихов, но так и не появился больше из-за опасения, что невольно даст этим Трурлю повод для зазнайства. Трурль же утверждал, что Клапауций сбежал, чтобы скрыть охватившее его волнение и не пустить слезу. Тот, в свою очередь, всем говорил, что Трурль, похоже, окончательно свихнулся после постройки Электрибалта.

Прошло не так много времени, и весть об электрическом гении дошла до настоящих, точнее, обычных поэтов. Оскорбленные в лучших чувствах, поначалу они решили игнорировать сочиняющую стихи машину. Однако, нашлись и такие, что из любопытства отправились тайком познакомиться с Электрибалтом. Тот весьма любезно их принял в машинном зале, заваленном исписанными листами бумаги, поскольку творил он безостановочно днем и ночью. Пришедшие поэты оказались авангардистами, тогда как Электрибалт был традиционалистом, поскольку Трурль, не очень разбираясь в поэзии, образовательные программы для него составил на основе произведений признанных классиков. Естественно, гости принялись иронизировать и насмехаться над стихами Электрибалта, отчего у него чуть не полопались катодные трубки, после чего ушли, чувствуя себя победителями. Но они не учли его способностей к самопрограммированию, подкрепленных специальным контуром возгонки амбиций с предохранителем в шесть килоампер, и очень скоро его стихи изменились до неузнаваемости. Они сделались темными и многозначными, безобразными и магическими, волнующими и непонятными. Поэтому, когда поэты заявились к нему в следующий раз, рассчитывая повеселиться и поиздеваться над его стихами, он разразился такой суперсовременной поэтической импровизацией, что у них в зобу дыханье сперло. За ней последовала еще одна, от которой едва не хватил удар одного известного поэта старшего поколения, дважды орденоносца, чей бюст украшал уже городской парк.

С той поры никакой поэт не мог избежать искушения попытать счастья и сойтись с Электрибалтом в поэтическом состязании – тьмы поэтов со всех концов потянулись к нему со своими опусами в папках. Электрибалт сначала предоставлял гостю право прочитать свои произведения, схватывая на лету алгоритм его поэзии, а затем отвечал своими стихами,

выдержанными в том же духе, только лучшими в сотни раз – от двухсот двадцати до трехсот сорока семи раз. Со временем он так натренировался, что одним-двумя сонетами способен был свалить с ног самого заслуженного и титулованного поэта. И здесь его ждал подвох – оказалось, что с честью противостоять ему могут исключительно графоманы, как известно, не способные отличить хороших стихов от плохих. Именно эти уходили непобежденными и безнаказанно, разве что один из них как-то споткнулся и сломал как-то ногу, настигнутый уже на выходе эпической новаторской поэмой Электрибалта, начинавшейся словами:

Тьма. И пустоши мерно кружит
Призрак. Явственный след впопыхах.
Ветра плеск взгляд последний заслужит…
И чеканен солдатский шаг.

Настоящих же поэтов Электрибалт косил пачками, хоть прямого вреда им вроде бы не причинял. Правда, один престарелый лирик, а за ним следом еще и два авангардиста все же покончили с собой, бросившись с высокой скалы, по несчастью находившейся рядом с дорогой, ведущей от Трурля к железнодорожной станции.

Поэты провели несколько собраний и бурных митингов, требуя опечатать сочиняющую стихи машину, но никто к их протестам не прислушался. Напротив, редакции газет были только рады тому, что пишущий под тысячами псевдонимов Электрибалт безотказно снабжал их виршами необходимого размера по любому поводу и к любой дате, и эта заказная поэзия всегда была такого качества, что газеты шли нарасхват. Их читали прямо на улицах, и на лицах читателей светилось выражение неземного блаженства, кто-то невольно улыбался, кто-то тихонечко всхлипывал. Стихи Электрибалта знали все, его рифмы витали и звенели в воздухе, его изобретательные метафоры и искусные ассонансы порой доводили особо впечатлительные натуры до потери чувств и обмороков. Для таких у этого титана поэтического вдохновения имелось в запасе достаточное количество отрезвляющих сонетов.

А вот Трурлю его замечательное изобретение доставило немало неприятностей. Классики, как правило, уже старики, серьезно навредить ему не могли, не считая разбитых ими оконных стекол и закидывания его обители той субстанцией, которую и называть не хочется. С молодежью было хуже. Один юный поэт, стихи которого отличались незаурядной лирической силой, а сам он незаурядной физической, крепко побил

изобретателя. Пока Трурль находился на больничной койке, события развивались своим чередом, ни дня не проходило без чьего-то самоубийства или похорон. Перед дверями больницы дежурили пикеты, а порой слышны были и выстрелы – когда поэты являлись к Электрибалту с самопалами в папке вместо рукописей, что, впрочем, не могло причинить особого вреда железной машине. Вернувшись из больницы домой, Трурль решился однажды ночью демонтировать созданного им гения.

Но как только он приблизился, чуть прихрамывая, к машине с клещами в руке и нехорошим блеском в глазах, та разразилась такой страстной поэтической мольбой о пощаде, что расчувствовавшийся Трурль выронил инструмент и, ничего не видя, увязая по колено и по пояс в шелестящем бумажном океане новых творений электродуха, вернулся к себе.

Тем не менее, когда через месяц ему пришел счет за потребленную машиной электроэнергию, от которого у него даже потемнело в глазах, он решил срочно посоветоваться со своим старинным другом. На беду, Клапауций исчез куда-то, словно сквозь землю провалился. Вынужденный сам принимать решение, Трурль ночью отключил машине питание, разобрал ее на части, погрузил на космический корабль и вывез на небольшой планетоид, где смонтировал ее обратно и подключил к ней в качестве источника творческой энергии атомный реактор.

После чего он тихонько вернулся домой, но история на этом не закончилась. Электрибалт, утративший возможность публиковать свои произведения в печати, стал транслировать их по радио на всех диапазонах волн, что вводило экипажи и пассажиров космолетов в лирический столбняк, а особо чутких приводило в истерический восторг с последующим осоловением. Разобравшись и выяснив, в чем тут дело, руководство космическим сообщением обратилось к Трурлю с официальным требованием немедленно ликвидировать принадлежащее ему устройство, нарушающее своими стихами общественное спокойствие и угрожающее здоровью пассажиров.

Вот тогда-то Трурль и ударился в бега. Поэтому на планетоид вынуждены были послать монтеров, чтобы они перекрыли Электрибалту и опломбировали лирические выходы, но он так ошеломил их несколькими своими балладами, что они не сумели выполнить распоряжение. Тогда к нему послали бригаду глухих рабочих, но и до них Электрибалт сумел донести свои стихи на языке жестов. Громко заговорили тогда о необходимости карательной экспедиции или бомбежки. Однако, электропоэта вместе с планетоидом успел вовремя приобрести один правитель из соседней звездной системы и перетащить в свое королевство.

Трурль смог, наконец, объявиться и вздохнуть с облегчением. Правда, в южном небе стали наблюдаться с той поры сполохи сверхновых звезд, чего старожилы не припомнят, и ходят подспудно слухи, что якобы это как-то связано с поэзией. Будто бы купивший Электрибалта правитель приказал своим астроинженерам подключить его к созвездию белых гигантов, из-за чего каждая строфа его стихов превращается в гигантский солнечный протуберанец, так что величайший поэт Космоса этими вспышками теперь передает свои творения всем бесконечным галактическим скоплениям сразу. Говоря попросту, этот могучий правитель сделал поэта лирическим двигателем возникающих звезд. И даже если есть в этом хоть крупица правды, все равно это происходит слишком далеко, чтобы лишить покоя и сна Трурля, который зарекся и поклялся никогда больше не браться за кибернетическое моделирование творческих процессов.

Путешествие второе, или Трурль и Клапауций на службе у короля Жестокуса [20]

Великолепный результат применения метода Гарганциана в Путешествии первом настолько воодушевил Трурля с Клапауцием, что ими овладела неуемная жажда приключений, и друзья решили еще раз отправиться в неведомые края. Однако, когда дело дошло до того, куда именно отправиться, немедленно возникли разногласия, поскольку у каждого был свой взгляд на это дело. Трурль, мечтавший о жарких странах, предпочитал путешествие в Огнегонию, царство огненогов. Клапауций, обладавший куда более прохладным темпераментом, настаивал на путешествии к галактическому полюсу холода – черному континенту посреди ледяных звезд. Изрядно рассорившись, конструкторы уже собирались было расстаться, как Трурля осенила мысль, показавшаяся ему идеальным решением возникшей проблемы.

– Послушай, – сказал он, – можно ведь дать объявление о нашем намерении и выбрать из предложений, которые поступят, то, что в наибольшей степени устроит нас обоих.

– Ерунда, – ответил Клапауций. – Куда дать объявление? В газету? Так она до ближайшей планеты хорошо если дойдет за полгода! Жизни нам не хватит дождаться приглашения от кого-то…

Однако, Трурль усмехнулся с чувством превосходства и быстренько изложил свой план, с которым Клапауций, хочешь не хочешь, вынужден был согласиться, после чего конструкторы

дружно принялись за работу. При помощи наскоро сооруженных устройств они подтянули близлежащие звезды и составили из них огромное сообщение, хорошо различимое издали с неимоверного расстояния. Это было объявление, первое слово которого составлено было только из голубых гигантов, чтобы привлечь внимание возможных читателей со всего Космоса, а дальше шел собственно текст из всякой звездной мелочи. В объявлении говорилось, что два Знаменитых Конструктора ищут соответствующий их квалификации и хорошо оплачиваемый заказ, желательно при дворе владетельного монарха отдельного королевства; условия контракта – по соглашению сторон.

Не так много времени прошло, как на лужайку перед домом конструкторов опустился преудивительный звездолет, переливающийся на солнце перламутровым покрытием. Имелись у него три опорных ноги, с затейливой резьбой, и шесть вспомогательных, не достигающих грунта и вполне бесполезных, зато выполненных из чистого золота, словно создатели этого судна не нашли иного применения для избытка драгметалла. Был спущен чудесный трап с фонтанчиками по обе стороны, заработавшими как только он коснулся земли, и по ней сошел важный чужестранец с целой свитой шестиногих машин, одни из которых его поддерживали, другие массировали и почесывали на ходу, третьи обмахивали опахалами, а самая маленькая порхала над его гордым челом и прыскала сверху благовониями, из облачка которых этот высокий гость и предложил конструкторам почетные должности при дворе своего властелина, короля Жестокуса.

– А в чем будут состоять наши обязанности? – поинтересовался Трурль.

– Подробнее, уважаемые господа, вы познакомитесь с ними на месте по прибытии, – отвечал чужеземец.

Одет он был в золотые шаровары, усеянную жемчугом двурогую кику и кафтан странного фасона, с множеством застежек и выдвижных ящичков для сластей вместо карманов. А еще по этому вельможе бегали наперегонки крошечные механизмы, от которых он снисходительно отмахивался величественным жестом, когда те не в меру расшалятся.

– Сейчас, – продолжил он, – я могу вам только сказать, что Его Непревзойденность король Жестокус является величайшим охотником всех времен и бесстрашным истребителем наистрашнейших галактических хищников, в чем ему нет равных. Его искусство столь велико, что из-за отсутствия достойных противников и реальной опасности для жизни, он безмерно страдает, и потому…

– Понятно, – живо отозвался Трурль, – мы должны будем сконструировать для него такие виды хищных и опасных диких зверей, которые были бы его достойны? Не так ли?

– Вы схватываете на лету, многоуважаемый конструктор! – восхитился посланник. – Ну и как, вы согласны?

Практичный Клапауций поинтересовался предлагаемыми условиями, но посланник так красочно расписал щедрость своего господина, что конструкторы немедленно упаковали личные вещи и необходимые книги и почти бегом поднялись по трапу на борт звездолета, который тут же взревел, изрыгнул пламя, опалившее его золотые ноги, и понесся в черную галактическую даль.

За время не очень долгого полета прибывший за конструкторами посланник познакомил их с принятыми в королевстве Жестокуса правилами, расписал им щедрую и широкую, как Тропик Рака, натуру правителя, рассказал о его достойных великого мужа увлечениях, так что к моменту прибытия оба конструктора даже успели освоить местный язык.

Первым делом их поселили в отведенной им резиденции – роскошном дворце на склоне горы, возвышающейся над городом. Как только друзья отдохнули, король прислал за ними карету с упряжкой из шести невиданных чудовищ. Их пасти закрывали специальные противопожарные фильтры, поскольку их дымящиеся глотки изрыгали языки пламени; еще у них были крылья, только подрезанные, чтобы не дать им взлететь, и хвосты, закрученные в кольца и покрытые стальной чешуей, не говоря о семи когтистых лапах у каждого, выворачивающих камни уличной брусчатки под собой. При виде выходящих из дворца конструкторов вся упряжка взвыла в один голос, выпустив из ноздрей пламя в клубах серного дыма, и собралась уже было дружно наброситься на них, но возницы в асбестовых доспехах и королевские доезжачие с пожарной мотопомпой были наготове и быстро укротили взбесившихся чудовищ, нанося им удары прикладами лазеров-мазеров. После чего Трурль с Клапауцием молча заняли свои места в карете, рванувшей с места в карьер, чтобы не сказать в «драконьер».

Пока упряжка во весь опор неслась вперед, выдыхая сернистый пар и сокрушая все на своем пути, Трурль наклонился к Клапауцию и прошептал:

– Слушай, друг, чую, этот король черти-чего от нас с тобой ждет! Если такие вот у него в упряжках ходят, что думаешь?

Однако рассудительный Клапауций промолчал в ответ. Алмазные, выложенные сапфирами и обитые серебром фасады зданий мелькали за окнами кареты, под аккомпанемент рычания, воя и шипения драконов и окрики эскорта. Наконец распахнулись

огромные створки ворот королевского дворца, и экипаж с крутым разворотом, от которого пламя прошлось по цветочным клумбам, остановился перед парадным входом в замок – черный, как сама ночь, под сводом лазурных небес. Трубачи тут же задули в завитые раковины, и под эти угрюмые почему-то звуки, словно уменьшившись в размере на фоне сторожащих ворота каменных истуканов и ослепительного строя почетного караула, Трурль с Клапауцием поднялись по огромным ступеням парадной лестницы и вошли во дворец.

Король Жестокус принял их в похожем на огромную пещеру зале, высокие своды которого, обитые серебром, напоминали внутреннее устройство звериного черепа. Там, где должен был бы к нему крепиться позвоночник зверя, в паркете зияло черное отверстие колодца неведомой глубины, а за ним находился трон, освещенный двумя столбами света, походившими на скрещенные пылающие клинки и бившими из глазниц серебряного черепа в вышине. Витражные стекла янтарного цвета в глазницах придавали проходящему свету яркий и резкий окрас, изменяя естественный цвет предметов и делая его более горячим и огненным. Еще издали конструкторы увидели на фоне бугристых серебряных стен неукротимого короля Жестокуса, который, в нетерпении оставив трон, грохочущими шагами мерил серебряные плиты паркета, а, заговорив с ними, принимался временами рубить рукой свистящий воздух для пущей выразительности.

– Приветствую вас с прибытием! – произнес он, оглядев острым взглядом двух конструкторов. – Как вы, наверное, уже знаете от нашего главного распорядителя королевской охоты, достопочтенного Протозора, мы желаем, чтобы вы сконструировали для нас новые виды диких зверей! Но вы должны понимать, что речь не может идти о какой-то железной махине на ста гусеницах, которая годится только для артиллерийского стрельбища, а не для королевской охоты. Наш противник должен быть могучим хищником, жестоким и изворотливым, но прежде всего – безмерно коварным, чтобы охота на него давала нам возможность еще более усовершенствовать и поднять на недосягаемую высоту свое искусство! Это должен быть зверь хитрый и умный, владеющий искусством путать следы и уходить от преследования, умеющий затаиться в засаде и молниеносно атаковать. Такова наша воля!

– Прошу прощения, Ваше Величество, – сказал Клапауций, учтиво поклонившись, – но, выполнив поручение слишком хорошо, не поставим ли мы тем самым под угрозу жизнь и здоровье Вашего Величества?

Король расхохотался так громко, что с люстры даже сорвались несколько бриллиантовых подвесок и разлетелись под ногами невольно вздрогнувших конструкторов.

– Ну этого можете не бояться, дорогие мои конструкторы! – ответил король, и мрачное веселье читалось в его взгляде. – Не вы первые, и не вы последние, полагаю… Должен признаться, что я правитель справедливый, но строгий. Слишком много уже проходимцев, пройдох и лизоблюдов пыталось меня провести, выдавая себя за первостатейных инженеров и знатоков охоты. Слишком многие из них пытались покинуть мое королевство с мешками драгоценного вознаграждения на плечах, оставляя взамен какую-нибудь жалкую рухлядь, рассыпавшуюся от одного только пинка. Их было столько, что мы сочли себя вынужденными принять необходимые меры предосторожности. Уже двенадцатый год каждый конструктор, обещавший больше того, что способен исполнить, и не справившийся с заданием, получает оговоренное вознаграждение – и вместе с ним летит вот в эту дыру в полу; или же, по собственному выбору, может сам сыграть роль дичи, с которой я расправляюсь без всякого оружия – вот этими голыми руками, будьте уверены!..

– И много уже было таких… неудачников? – осведомился Трурль несвойственным ему чуть дрожащим голосом.

– Много ли? Не могу сказать, не помню. Знаю только, что до сих пор никто из них не удовлетворил меня вполне, а крики ужаса, с которыми летят они на дно колодца, прощаясь с жизнью, стали заметно короче из-за образовавшегося завала, видимо. Но места там еще предостаточно, можете не сомневаться!

После столь жутких слов наступила гробовая тишина, и оба приятеля непроизвольно обратили взгляд на зияющую в полу черную дыру, король же принялся вновь прохаживаться по паркету, и тяжелые шаги его отдавались так гулко, словно кто-то сбрасывал камни откуда-то сверху в пропасть, по которой гуляло эхо.

– Посмею заметить все же, Ваше Королевское Величество, – отважился промолвить Трурль, – мы ведь еще… это… не заключили и не подписали договора. Нельзя ли нам ввиду этого попросить два часа на размышление, чтобы мысленно взвесить и обдумать высказанные Вашим Величеством мудрые соображения, после чего решить, готовы ли мы взяться, или…

– Ха-ха! – громоподобно рассмеялся король. – Или вернуться домой, так?! Нет, дорогие мои, вы безоговорочно приняли условия, согласившись подняться на борт «Инферно» – звездолета, являющегося законной частью моего королевства! Если бы каждый попадающий сюда конструктор мог нас

покинуть, когда захочет, мне пришлось бы невесть сколько дожидаться исполнения своих желаний. Вы остаетесь здесь и принимаетесь конструировать чудовищ для королевской охоты – отвожу вам на это двенадцать дней! К вам приставлены будут слуги для удовлетворения любых ваших желаний и прихотей, смело обращайтесь к ним и не отказывайте себе в удовольствиях – не в моих правилах скупиться в таких делах. А теперь можете идти… ДО ПОРЫ, ДО ВРЕМЕНИ!

– Если позволите, Ваше Величество, не ради удовольствий мы сюда прибыли, поэтому не могли бы мы сперва осмотреть охотничьи трофеи Вашего Величества, изготовленные нашими предшественниками?

– Ну конечно, можете! – милостиво разрешил король и хлопнул в ладоши с такой силой, что искры посыпались, осветив тусклое серебро стен. От этого державного хлопка даже ветерок долетел до двух искателей приключений, остудив их разгоряченные головы. Тут же шестеро гвардейцев в бело-золотых мундирах обступили Трурля с Клапауцием и повели их по крученым коридорам – настоящим меандрам из окаменевших кишок какого-то звероящера. Конструкторы вздохнули с облегчением, выбравшись из дворца на свежий воздух и очутившись посреди огромного террариума под открытым небом, где на ухоженных газонах представлены были останки охотничьих трофеев Свирепуса.

Сперва конструкторы увидели почти надвое разрубленного гиганта, с задранной к небу и ощеренной саблезубой пастью, туловище которого предназначена была защитить бронированная чешуя. Рядом валялись его длиннющие отрубленные ноги, говорившие о чудовищной мощи прыжков, и хвост с хорошо видным самострелом и наполовину опорожненным магазином, говорившим, что чудище не без боя и не сразу уступило в схватке своему грозному противнику. Свидетельствовал об этом и застрявший в зубах мертвой головы рваный лоскут желтой кожи, в котором Трурль без труда распознал голенище сапога какого-то из королевских доезжачих.

По соседству покоились останки змеевидного уродца с множеством обгорелых крылышек; выстрел угодил ему в пузо, отчего электрические внутренности растеклись электролитом и спеклись, как покрытый перламутровым люстром фарфор. Еще дальше лежало другое чудовище, задравшее в последней судороге вверх ноги, как колонны, а в раскрытой пасти его гулял ветерок с окрестных полей. Были там еще мертвяки колесные, – с когтями, и гусеничные – с катапультами, со свисающими потрохами проводов; были безголовые танки с расплющенными башнями,

несущими на себе следы ядерного удара; были членистоногие многоножки и раздутые чудища с резервным мозгом, сокрушенным в битве, были скачущие страшилища на переломанных телескопических ногах и еще какие-то ядовитые мелкие твари, умевшие разбегаться и вновь соединяться в подобие ежа, ощетиненного дулами, но и такая военная хитрость не помогла ни им, ни их создателям.

Так бродили Трурль с Клапауцием на подгибающихся коленках посреди нескончаемой коллекции останков, – храня торжественное и отчасти траурное молчание, словно к похоронам готовились, а не к бурной изобретательской деятельности, – пока не осмотрели всю эту поражающую воображение выставку королевских трофеев. У ворот перед подножием белой лестницы их дожидалась карета с драконами, которые не показались им уже такими ужасными на обратном пути. А когда друзья остались одни в резиденции, где в обитой пурпурной и зеленой тканью комнате уже накрыт был для них стол, ломившийся от драгоценностей и напитков, у Трурля развязался язык, наконец. Он принялся почем зря ругать обидными словами Клапауция, утверждая, что это он поторопился принять предложение церемониймейстера и распорядителя королевской охоты и тем самым навлек беду на их головы, словно они могли остаться дома и безмятежно купаться в лучах своей былой славы, пожиная ее плоды.

Клапауций не отзывался ни словом на его нападки. Дождавшись, когда гнев и отчаяние Трурля поутихли, и он не уселся, а обессилено плюхнулся на выложенное перламутром сиденье роскошного кресла и, подперев голову руками, прикрыл глаза, Клапауций наконец заговорил. Он отрывисто бросил:

– Довольно! Надо приниматься за работу.

Эти слова словно привели Трурля в чувство, и друзья начали немедленно прикидывать разные возможности, располагая всем арсеналом и знанием секретов искусства кибернетического конструирования. Они быстро согласились, что главную роль должны играть не броня и мощь чудовища, которое им предстоит создать, а его программа, алгоритм дьявольской агрессии. Это существо должно быть воистину порождением зла родом из Ада! Так они решили, и хотя не знали пока, как это сделать, на сердце у них полегчало. А когда засели за проектирование невиданной бестии, с которой желал сразиться жестокий король, то отдались этому делу с таким воодушевлением, что и спать не ложились две ночи и один день.

Только после этого они позволили себе малость попировать, со стуком сдвигая полные до краев лейденские банки, настолько

уверены они были в своей победе, обмениваясь ехидными улыбками украдкой, чтобы ничего не заподозрили слуги, которых друзья небезосновательно считали шпионами короля. В их присутствии конструкторы ничего не обсуждали, а только нахваливали подобную молнии крепость напитков и бесподобный вкус электретов с ионной подливкой, которые не уставали им подносить вертевшиеся юлой лакеи во фраках. После столь обильного застолья они вышли на террасу, откуда открывался вид на весь город, с тонущими в зелени белыми башнями и с черными куполами под уже темнеющим небом. Здесь Трурль обратился к Клапауцию:

– Дело пока не закончено, задача у нас непростая.

– Что ты имеешь в виду? – из осторожности шепотом спросил Клапауций.

– Видишь ли, в чем дело, – начал Трурль, – если король завалит этого механического скота, не может быть сомнений, что он исполнит свое обещание, которое можно назвать «колодезным», заявив, что мы не справились с заданием. А если получится, как мы того хотим… понимаешь, о чем я?

– Не очень. Если король не справится с зверем?

– Хуже, дорогой мой коллега… Если зверь завалит короля, нам может этого не простить тот, кто унаследует его власть.

– Думаешь, он призовет нас к ответу? Но обычно наследник только рад открывшейся возможности занять трон.

– Все так, только этим наследником станет сын короля, и расправится он с нами из-за любви к отцу или оттого лишь, что именно этого будет ожидать от него двор, для нас с тобой невелика разница.

– Об этом я не подумал… – помрачнел Клапауций и замолк.

– Перспектива, и вправду, невеселая, – пробурчал он миг спустя, – что в лоб, что по лбу… Ты что-то можешь предложить?

– Можно было бы построить такую бестию, у которой смерть была бы не окончательной. То есть, когда король сразит ее, она падет, но тут же воскреснет, и охота продолжится. Так будет повторяться раз за разом, пока король не выбьется из сил…

– Выбившись из сил, он только рассвирепеет, – резонно возразил Клапауций. – К тому же, как ты себе представляешь этого неуязвимого зверя?

– Никак себе не представляю, только прикидываю варианты… Простейшим решением было бы создать чудовище, не имеющее жизненно важных центров. Хоть на куски его поруби, а куски срастутся опять.

– Но как?

– Под действием поля.

– Магнитного?

– Например.

– Откуда возьмется такое поле?

– Пока не знаю. Может, мы сами могли бы им издали управлять? – задал Трурль вопрос.

– Да нет, это маловероятно, – скривился Клапауций. – Откуда нам знать, не заточит ли нас король на время своей охоты в каком-то каземате. В конце концов, надо признать, что и наши предшественники умели не только кометам хвосты крутить, а сам знаешь, чем кончилось. Наверняка, мысль о дистанционном управлении кому-то из них приходила, да это не помогло. Так что с чудовищем у нас не должно быть ничего общего во время самого поединка.

– Может, запустить искусственный спутник и с него… – предложил Трурль.

– Ну да, – возмутился Клапауций, – тебе, чтобы простой карандаш очинить, сразу мельничный жернов подавай! Какой спутник, как ты его изготовишь? Как на орбиту доставишь? Чудес в нашей профессии не бывает, дорогой мой! Нет, центр управления должен быть скрыт от глаз.

– Да как ты его скроешь, несчастный, если мы постоянно находимся под наблюдением?! Сам видишь, как слуги с лакеями глаз с нас не спускают, всюду суют нос, так что не может быть и речи о том, чтобы кто-то из нас мог незамеченным покинуть дворец даже на минуту! К тому же такой центр – устройство немалое, как его вынести отсюда и куда-то доставить? Не вижу никакой возможности для этого!

– Только не горячись, – рассудительно успокаивал друга Клапауций. – Возможно, такое устройство и не понадобится.

– Но ведь чудовищем должно же что-то управлять, и если это будет его электронный мозг, то Жестокус попросту изрубит его в капусту, прежде чем успеешь произнести: «Прощай, белый свет!»

Оба помолчали. Стемнело, и внизу загоралось все больше городских огней. Трурль неожиданно прервал молчание.

– Послушай, есть идея. А что если под видом чудовища нам построить корабль и улизнуть на нем отсюда? Можно для маскировки приделать ему хвост, уши и лапы, а затем отбросить весь этот камуфляж при взлете? Считаю, это отличная идея! Улетим – и ищи ветра в поле!

– А если в числе слуг приставлен к нам королем также грамотный конструктор, что представляется мне более чем вероятным? Не успеешь оглянуться, как окажешься в руках палача. И вообще, спасаться бегством не в моих привычках. Вопрос стоит так: или мы – или он, третьего не дано!

– И в самом деле, кто-то из шпиков может разбираться в конструировании… – забеспокоился Трурль. – Что же нам делать теперь, пропади оно все пропадом? Может, создать электронную фата-моргану?

– То есть такой мираж, призрак? Чтобы король преследовал его впустую? Спасибо! Да вернувшись с неудачной охоты, он вывернет нас наизнанку!

Оба опять помолчали. Неожиданно Трурль прервал молчание:

– Единственным выходом мне представляется, чтобы чудовище короля схватило, похитило – следишь за моей мыслью? – и удерживало в неволе. Таким образом…

– Понял, можешь не продолжать. Действительно, это идея! Мы бы пленили его… а соловьи-то тут поют почище, чем в самой Проквинской Марилонде! – ловко закруглил свою фразу Клапауций при появлении слуг, выносящих на террасу светильники на серебряных постаментах. И как только слуги вышли, он продолжил в мерцающей полутьме:

– Предположим, что все у нас получится, но как мы сможем начать торг с пленником, если окажемся вдруг закованы в кандалы и заперты в подземелье?

– Это так, – пробурчал Трурль в ответ, – необходимо что-то придумать на этот случай, комбинацию какую-то… В конце концов, все решает правильный алгоритм.

– Тоже мне открытие! Ясное дело, что без правильного алгоритма не выйдет ни шиша. Нечего тянуть, начинаем экспериментировать!

И друзья принялись за работу. Начали с того, что создали модели Жестокуса и чудища, пока что на бумаге, в виде математических функций. Трурль играл за короля, а Клапауций за чудище, и два конструктора столкнулись на огромных листах бумаги, устилавших стол, с такой силой, что ломались с треском грифели карандашей. И бешено вилось чудовище, уворачиваясь от ударов королевских уравнений неопределенным интегралом, рассыпалось бессчетным множеством неизвестных, будучи повержено, и вновь восставало возведенным в степень крепче прежнего, а король побивал его дифференциалами, да так, что ошметки функциональных операторов летели по сторонам, и такая возникла нелинейно-алгебраическая неразбериха, что оба конструктора уже не могли различить, что произошло с королем и что с чудовищем, скрытыми под спудом перечеркнутых знаков. Поднялись они тогда из-за стола, приложились к лейденской большой амфоре и, вернувшись за стол, с новыми силами яростно ринулись в бой во всеоружии всего арсенала математического анализа, так что графитная пыль заклубилась над исчерканными

листами бумаги и гарью потянуло. Король нападал, разгоняясь на убойных коэффициентах, и увязал в дебрях шестииндексных символов, с трудом выбирался из них по собственным следам и вновь атаковал до седьмого пота и восьмой равнодействующей, пока чудовище не распалось на сто многочленов, потеряв один икс и два ипсилона и провалившись в знаменатель, но оттуда, воспрянув корнями, как заедет вдруг королевской математической модели сбоку, так что все уравнение ее, ошеломленное ударом сплеча, зашаталось!

Однако король на это панцирем нелинейным прикрылся и, оттолкнувшись от точки бесконечного ряда, в ответ как хрястнет сквозь все скобки чудовище по башке, так что логарифм спереди у него отвалился и степень сзади. Втянуло оно щупальца свои тогда внутрь и ковариантно ответный удар нанесло – только карандаши замелькали – бац! бац! и еще раз по спине трансформантой, и еще! Тут уж король, упрощенный от числителя до всех своих знаменателей, содрогнулся и рухнул замертво, растянувшись во весь рост. А конструкторы, вскочив, радостно пустились в пляс и принялись рвать исписанные листы на глазах у шпионов, следивших за ними и подглядывавших через подзорную трубу с люстры, однако ничего не смысливших в высшей математике и ничего не понявших, кроме истошных криков: «Победа! Победа!!»

Далеко за полночь на экспертизу в самую засекреченную лабораторию тайной полиции королевства доставлена была лейденская амфора, к которой конструкторы припадали для подкрепления сил во время изнурительной работы. Немедленно лаборанты и консультанты вскрыли ее второе дно, вынули оттуда магнитофончик с микрофончиком, включили и, сгрудившись над ним, много часов прослушивали с величайшим вниманием запись, сделанную в зелено-мраморном зале. Уже первые косые лучи восходящего солнца осветили их вытянувшиеся лица, а они так и не смогли ничего понять из услышанного. Кто-то из конструкторов говорил, например:

– Ну как? Выставил короля?

– Да.

– И где он у тебя? Ах, тут – отлично! А теперь так – о! – ноги вместе. Вместе ноги, говорю! Да не твои, осёл, королевские! Вот так. И поехали – преобразуй, быстрее! Что там у тебя?

– Число «пи».

– А чудовище где?

– В скобках. И видишь, король устоял!

– Устоял? А теперь обе части умножь на мнимую величину – хорошо! И еще разок! Поменяй знаки, тупая твоя голова! Куда

ставишь, болван? Куда?! Это же чудовище, а не король! Вот так. Да, так! Готово? Тогда проводи по фазам – так! – и выходи в реальное пространство! Получилось?

– Получилось! Клапауций, родненький, получилось! Погляди, что сделалось с королем!

Послышался безумный взрыв хохота в ответ.

Эту ночь вся полиция провела на ногах, не смыкая глаз, а утром наступившего дня конструкторы потребовали уже предоставить им для работы кварц, ванадий, сталь, медь, платину, горный хрусталь, титан, церий, германий и остальные существующие в Космосе элементы, а также оборудование с квалифицированным персоналом и даже шпиков – до такой степени они расхрабрились! В своей заявке в трех экземплярах они так и написали: «А также просим прислать наблюдателей всех видов и мастей, по усмотрению соответствующих властей». На следующий же день они дополнительно запросили некоторое количество опилок и большой занавес из красного плюша, с пышными кистями по углам и гроздью стеклянных колокольчиков в центре. Причем в заявке были указаны даже размеры колокольчиков. Король, которому обо всем докладывали, осерчал, но приказал все пожелания наглецов исполнять – до поры. А поскольку королевское слово было непререкаемым, конструкторам все предоставлялось по первому требованию.

А были это все новые уже совершенно удивительные вещи. Так под номером 48999/11К/Т в полицейских архивах сохранилась копия заявки на три портновских манекена и шесть комплектов полного обмундирования королевских полицейских, со всеми ремнями и портупеями, оружием и наручниками, султанчиками и киверами, а также подшивкой журналов «Полицейский Родины» за последние три года, снабженной алфавитным указателем. В конце каждой заявки в графе «Примечания» конструкторы брали на себя обязательство все перечисленные в ней предметы вернуть в целости и сохранности не более чем через двадцать четыре часа после их получения. Еще в одной архивной папке сохранилась копия письма Клапауция, в котором требовалось немедленно изготовить и доставить куклу министра почт и телеграфа королевства, в натуральную величину и при всех регалиях, а также небольшую зеленую лакированную двуколку, с керосинным фонарем на левой стороне и декоративной бело-голубой надписью с тыла «Слава труду!». От этих куклы и двуколки у шефа полиции помрачился рассудок, и он вынужден был подать в отставку. По прошествии трех дней конструкторам понадобились еще бочка касторового масла, подкрашенного розовым красителем, и это была их последняя

заявка.

Они ушли с головой в работу в подвалах своей резиденции, откуда днем доносились только их дикие распевы и непрестанный перестук молотов, а как стемнеет, отблески синего света из зарешеченных подвальных окошек начинали плясать на кронах парковых деревьев, придавая им совершенно химерический вид. В голубоватом освещении электрических разрядов Трурль и Клапауций с помощниками не покладая рук трудились в каменном подземелье и, поднимая головы, могли видеть прильнувшие к окошкам физиономии всевозможных слуг, которые, будто бы из чистого любопытства, фотографировали все происходящее внизу.

Однажды ночью, когда измученные конструкторы отправились поспать, отдельные части создаваемого ими оборудования были спешно и втайне доставлены на скоростном спецдирижабле в королевские лаборатории, где их сборкой дрожащими руками занялись восемнадцать лучших кибернетиков криминальных служб, давших перед тем подписку о неразглашении. В результате у них из-под рук вылез оловянный серый мышонок и стал бегать по столу, выпуская ротиком мыльные пузыри, а из-под хвостика у него сыпался зубной порошок, белая дорожка которого сложилась в затейливую надпись вязью: «*ЗначитВЫиВправдуНасНеЛюбите?*»

Никогда еще в истории королевства начальники тайной полиции не менялись с такой быстротой. Мундиры, кукла, зеленая двуколка и даже опилки, строго в срок возвращенные конструкторами, немедленно подвергались изучению под электронными микроскопами. Однако, не считая найденной в опилках крошечной бирочки со словами «Это мы, опилки», обнаружить ничего не удалось. Обследовалась даже атомарная структура мундиров и двуколки, но также безрезультатно.

И вот настал день, когда работа была, наконец, завершена. Похожая на фургон гигантская герметичная цистерна на трехстах колесах подъехала к воротам в стене резиденции, и Трурль с Клапауцием вынесли из своей мастерской плюшевый занавес, в котором не было ничего, кроме тех самых кистей и колокольчиков. Как только приемная комиссия распахнула перед ними задние двери фургона, конструкторы занесли занавес внутрь, расстелили на полу и, запершись, еще чем-то там позанимались недолго. Затем они принялись выносить из своего подвала большие жестянки с химикатами тонкого помола, – какими-то порошками серого, серебристого, белого, желтого, зеленого цвета, – и стали поочередно высыпать их под края разложенного занавеса, после чего, выйдя наружу, приказали

запереть двери и засекли время, впившись взглядами в циферблаты часов. По прошествии двенадцати с половиной секунд изнутри отчетливо послышался мелодичный звон стеклянных колокольчиков, хотя фургон оставался неподвижным. Этот перезвон поразил присутствующих, ибо разве что духи могли пошевелить занавес внутри пустого фургона, а конструкторы переглянулись и заявили:

– Готово! Можете забирать.

Весь остаток дня оба конструктора забавлялись на террасе выдуванием мыльных пузырей, а под вечер к ним наведался заманивший их на планету Жестокуса церемониймейстер, достопочтенный Протозор, который был с ними вежлив на этот раз, но настроен решительно. Стража уже ожидала на лестнице, и вельможа объяснил, что друзьям необходимо безотлагательно перебраться в другое предназначенное для них место. Все свои личные вещи им надлежало оставить во дворце, включая одежду, взамен которой им выдали залатанные обноски и обоих сковали кандалами. К удивлению стражников и присутствующих полицейских и судебных чинов конструкторы вовсе не выглядели обескураженными или расстроенными, а Трурль даже похохатывал, уверяя заковывавшего его кузнеца, что боится щекотки. А как только за друзьями захлопнули дверь камеры в подземелье, из каменной темницы стали доноситься звуки песенки «Я веселый программист».

И вот могущественный Жестокус в окружении свиты выехал из города на своей боевой колеснице и отправился на охоту. Следом тянулась длинная вереница всадников и машин не вполне охотничьих, поскольку это были не пушки всякие для стрельбы картечью или ядрами, а огромные лазерные фузеи, мушкетоны с раструбом для стрельбы антиматерией, катапульты для метания смолы, в которой увязнет любое живое существо или машина.

Двигался этот огромный кортеж с обозом к королевским охотничьим угодьям горделиво, быстро и весело, и никто в нем даже не вспоминал о заточенных в темнице конструкторах, а если и вспоминал, то лишь чтобы посмеяться, в каких дураках они оказались.

Когда серебряные фанфары со смотровых вышек заповедника возвестили о приближении королевского кортежа, показался и двигавшийся в том же направлении огромный фургон с чудовищем. Специальными рычагами сняли зажимы с его передней крышки и откинули ее, как люк, так что на мгновение цилиндрический фургон сделался похож на орудие, черное жерло которого было нацелено на горизонт. Еще миг – и из него вырвалось, как грозовое облако или песчаный буран, нечто желто-

белого цвета и совершило такой головоломный прыжок, что не разглядеть было, зверь это или еще что-то. Одним махом пролетев шагов сто, оно бесшумно опустилось на грунт, и с его плеча соскользнул занавес, издав странный в наступившей тишине стеклянный лязг колокольчиков. Алым пятном занавес лег на песок рядом с чудовищем, которого теперь все хорошо уже видели. Хотя внешний вид его оставался неясным, по-прежнему: какой-то пригорок, довольно большой и пологий, по цвету неотличимый от окружающего ландшафта, и казалось даже, будто что-то вроде сожженного солнцем чертополоха растет у него на хребте.

Королевские псари, не сводя глаз с зверя, спустили на него с поводков целую свору кибернаров, киберьеров и киберхаундов, и те с жадно разинутыми пастями погнались к припавшему к земле великану, а тот, когда они подбежали, нет чтобы свою пасть открыть и пламя изрыгнуть, только лишь два глаза открыл, слепящих и обжигающих, как два маленьких солнца, и половина собачьей своры оказалась вмиг испепелена.

– Ого, у него лазеры в глазках! А ну-ка подайте мне мои светозащитные доспехи верные – кольчужку с бармицей незабвенной! – обратился король к оруженосцам, которые тут же облекли его в светозарную суперсталь. Впереди всех король помчался на своем неуязвимом киберскакуне, не страшившемся никакой пальбы. Чудовище позволило ему приблизиться вплотную, так что король смог нанести удар, только рассекаемый воздух просвистел – и вот уже отрубленная голова чудовища покатилась по песку. Король больше разгневался, чем обрадовался столь легкой победе, и решил замучить самым изощренным способом тех, кто так его разочаровал и лишил удовольствия, хоть свита и бросилась наперебой поздравлять его с очередным охотничьим триумфом. И тут чудовище пошевелило шеей, и из возникшего на ее конце утолщения вынырнула вдруг новая голова и распахнула свои слепящие зеницы, однако их блеск не смог причинить королю вреда, впустую скользнув по его броне. «Не такие уж они неумехи, но все равно казню», – подумал король и, пришпорив коня, вновь наехал на зверя.

На этот раз он разрубил чудовище, которое не очень тому сопротивлялось, поперек хребта. Вновь просвистел воздух, проскрежетала сталь, и рассеченное надвое туловище уже корчилось в судорогах. Но что это?! Король не успел тронуть поводья, как увидел перед собой парочку чудовищ-близнецов размером поменьше, а третье, совсем маленькое, уже проказничало за ними – это была отсеченная только что им голова, выпустившая хвостик и ножки и теперь гарцевавшая на

песке.

«Да что это такое? Что же мне расчленять их до размера мышей и рубить в капусту? Это охота?!» – возмутился до глубины души король и в ярости набросился на чудовищ. И рубил, и колол, и рассекал мечом, но под его разящими ударами чудища только размножились, разбежались, затем сбежались, сбились в кучу – опа! – и вновь перед королем припавшее брюхом к земле и напрягшее хребет огромное чудовище, такое точно, как в начале.

«Никакого эффекта, – подумал король. – Видать, у него такая же обратная связь, как у того, что создал для нас… как же его звали? – Пампингтон, вот! За дурацкую выдумку соизволил тогда собственноручно расчленить его во дворе замка… Нечего делать, придется из кибермортиры…»

И приказал король выкатить одну такую, шестиствольную, прицелился из нее, – не долго и не коротко, а в самый раз, – дернул за шнур, и без дыма и грома снаряд невидимый понесся на чудовище, чтобы вдребезги его разнести. Но ничего не произошло – если и попал, то навылет, так что и сообразить ничего не успел никто. А чудовище только вжалось еще сильнее в песок и левую лапу вперед вытянуло, так что все увидели его волосатые длинные пальцы, которыми оно скрутило королю фигу!

– Подкатить орудие большего калибра! – крикнул король, сделав вид, что ее не видит. И подкатили ему другую двадцать пушкарей, зарядили ее, король навел, прицелился, выстрелил – и в этот момент чудовище прыгнуло. Король хотел было мечом оборониться, но чудовище пропало, и очевидцы позднее утверждали, что чуть не рехнулись от увиденного далее. Зверь в прыжке разделился натрое, и произошло это моментально: вместо серой туши появились в воздухе трое полицейских в мундирах, которые еще в полете готовы были приступить к исполнению служебных обязанностей. Один из них перебирал ногами, стараясь не сбиться с курса, а тем временем пытался извлечь из кармана наручники; второй придерживал одной рукой кивер с султаном, чтобы не снесло ветром, а другой доставал из бокового кармана приказ об аресте; третий же нужен был этим двум для того только, чтобы обеспечить им мягкую посадку, плашмя шлепнувшись им под ноги для амортизации. Он тут же вскочил, и пока отряхивался от пыли, первый уже надевал наручники на изумленного короля, а второй выбил у него из руки меч. Затем длинными прыжками, волоча за собой слабо сопротивляющегося монарха в наручниках, полицейские стали удаляться в пустыню. Вся королевская свита остолбенела на несколько секунд, а затем, дружно взревев, ринулась в погоню.

Киберскакуны уже настигли пеших беглецов, уже проскрежетали выдернутые из ножен мечи, как вдруг третий полицейский что-то включил у себя на животе, скрючился, руки его превратились в оглобли, ноги – в колеса с замелькавшими спицами, а спина – в козлы зеленой двуколки, где разместились два полицейских и принялись длинным бичом хлестать короля, который бежал с надетым на него хомутом, размахивая руками и пытаясь прикрыть ими от ударов свою коронованную голову, переходя на бешеный галоп. Когда погоня вновь стала приближаться, полицейские выдернули короля за шиворот к себе на козлы, и один из них, так быстро, что и не сказать, съехал по дышлу, сам впрягся, плюнул-дунул и обернулся радужным сгустком воздуха – подрагивающей шаровой молнией. Отчего у повозки словно крылья выросли, и она понеслась, подпрыгивая на неровностях и разбрасывая песок, с такой скоростью, что уже через минуту затерялась на горизонте пустыни среди миражей.

Королевский кортеж разбрелся по пустыне в поисках следов двуколки, послали за гончими псами с острым нюхом, вскоре подоспел полицейский резерв с мотопомпами и принялся лихорадочно поливать водой песок, оттого что в шифрограмму с наблюдательного аэростата в облаках из-за спешки и дрожи в руках телеграфиста вкралась ошибка. Отряды полиции носились по пустыне, обшаривали каждую кочку и каждый кустик чертополоха просвечивали портативными рентгеновскими аппаратами, копали ямки и бессчетное число проб грунта взяли на анализ, а генеральный прокурор приказал доставить для допроса королевского киберскакуна. От обилия разведывательных аэростатов к концу дня неба уже не было видно, сбросили на пустыню целую дивизию парашютистов с пылесосами для продувания и просеивания песка, и всех поголовно, кто походил на полицейского, стали задерживать, отчего только увеличилась неразбериха, поскольку одна половина полиции арестовала другую в итоге. Когда наступила ночь, подавленные случившимся и отупевшие от усталости участники королевской охоты принялись возвращаться в город, неся с собой жуткое известие, что монарх бесследно пропал, а его поиски не дали никакого результата.

Той же ночью при свете факелов срочно доставлены были к Верховному Канцлеру и Хранителю Королевской печати оба закованных в кандалы конструктора, которым он громоподобным голосом огласил приговор:

– За преступное посягательство на институт высшей государственной власти в лице самодержца, Его Королевского Величества Жестокуса, на которого заговорщики осмелились

поднять руку, злодеи приговариваются к казни колосажанием, четвертованием и дальнейшим расчленением перфоратором до мельчайших фракций, после чего подлежат распылению на четыре стороны света особым пульверизатором – в назидание и ради устрашения всех презренных злоумышленников, замышляющих покуситься на жизнь монаршей особы, во веки веков. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Аминь.

– Уже? Так сразу? – спросил Трурль. – А то ведь мы ждем посланца…

– Какого еще посланца, ты, злодей презренный?!

Но, действительно, в этот момент в зал ввалились, пятясь задом, стражники, не посмевшие скрещенными алебардами преградить доступ важному сановнику, королевскому министру почт и телеграфа, который в мундире и при всех регалиях, звеня наградами на груди, приблизился к канцлеру. Из расшитой бриллиантами сумки на животе он извлек письмо и произнес: «Хоть я создан искусственно, меня король послал», – после чего сразу рассыпался и раскатился по полу маковыми зернами.

Канцлер, не веря своим глазам и разломав красную лаковую печать с хорошо знакомым ему оттиском королевской печатки, достал из конверта само письмо, из которого узнал, что король вынужден вступить в переговоры с конструкторами, которые с помощью математических алгоритмов захватили его в плен и теперь диктуют условия, кои канцлеру надлежит выслушать и все принять, если жизнь государя ему дорога. Внизу стояла подпись Его Королевского Величества Жестокуса и приписка: «Писано собственноручно в пещере неизвестного местоположения, находясь во власти чудища-псевдополицейского, единого в трех особах в форменных мундирах».

После прочтения письма все придворные принялись голосить, перекрикивая друг друга и требуя объяснить, что это за условия, и вообще, что это все значит, на что Трурль отвечал односложно:

– Сперва попрошу снять с нас кандалы, без этого не будет никакого разговора.

Кузнецы присели на корточки, быстро расковали пленников, и все опять насели на них, но Трурль был неумолим по-прежнему:

– Мы голодны, в грязных лохмотьях, немыты – поэтому желаем омовения в купели, с благовониями и лепестками цветочными, и пиршества обильного, с развлечениями всякими, а на десерт – балет, иначе нет разговора!

От таких слов взбелениться были готовы королевские придворные, но опять вынуждены были уступить. На рассвете только конструкторы вернулись в зал на аудиенцию – несомые в

паланкинах носильщиками, освеженные и благоухающие, в дорогих нарядах. Уселись они за зеленым столом и начали выдвигать требования – и не от балды, а по пунктам из припрятанного ими в резиденции за занавеской, маленького блокнотика, чтобы, не дай бог, чего-то не опустить. Список требований был таким:

1. Надлежит приготовить корабль первого класса, способный конструкторов домой доставить.

2. На корабль следует погрузить четыре пуда бриллиантов; золота червонного – сорок пудов; осьмикратно более того – платины, палладия и бог весть еще каких других драгоценностей; а также подарки памятные, каковые ниже подписавшимся конструкторам в королевском дворце приглянутся.

3. Короля никто не увидит, пока корабль не будет до последнего винтика готов к отлету, полностью загружен и подан – с ковровой дорожкой на трапе, духовым оркестром, орденами на подушечках, со всеми почестями, прочувствованными речами, детским хором, большим филармоническим оркестром в полном составе и неподдельным энтузиазмом провожающей публики.

4. Должен быть подготовлен благодарственный адрес н выгравирован на таблице из золота в перламутровом обрамлении в честь Ясновельможных и Беспримерно Милостивых господ Трурля и Клапауция. В нем в точности и подробно должны быть отражены все имевшие место события, удостоверены большой канцлерской и государственной печатью и подписями подтверждены. После чего адрес надлежит поместить в дуло пушечного ствола, как в футляр, и опломбировать, и сей ствол должен занести на корабль без всякой посторонней помощи на своих плечах церемониймейстер и распорядитель королевской охоты Протозор, который преднамеренно заманил Ясновельможных Конструкторов на планету, тем самым обрекая их на позорную смерть.

5. Вышеупомянутый вельможа обязан сопровождать Конструкторов весь обратный путь, служа гарантией их неприкосновенности, отсутствия всякой погони и т. п. Местом его пребывания на борту должна стать клетка размером три фута на три и на четыре, с дверцей для кормления и подстилкой из опилок, при том опилки надлежит использовать именно те, которые предоставлены были Ясновельможным Конструкторам для исполнения прихотей короля, возвращены ими и перевезены дирижаблем в спецхран полицейского управления.

6. Король по возвращении освобождается от обязанности лично просить прощения у Ясновельможных Конструкторов, поскольку извинения подобной особы им совершенно ни к чему.

(ниже следуют дата, подписи сторон и проч.)

Соглашение подписано с одной стороны Предъявителями вышеперечисленных требований – конструкторами Трурлем и Клапауцием, и с другой стороны Исполнителями оных – Верховным Канцлером короны, Главным Церемониймейстером и Оберполицмейстером тайной полиции на суше, на воде и в воздухе.

Что оставалось делать королевским сановникам и министрам, словно посиневшим от удушья?! Понятное дело, пришлось им со всем согласиться. После чего в спешном порядке строится ракета под присмотром конструкторов, которые появляются на стройплощадке после хорошего завтрака и всем недовольны: то материалы не такие, то инженеры нерасторопны, то в кают-компаниии недостает им волшебного фонаря с окошечками на четыре стороны и кукушкой на пружинке – и если кто-то не знает, что такое кукушка, тем хуже для него, потому что насидится король в заточении, осерчае***Тип***о возвращении по-своему разберется с теми, кто мешкал с его освобождением. Отчего у всех темно в глазах, нервный озноб и полицейская трясучка. Наконец, ракета достроена, стали заносить на борт сокровища, таскают жемчуг мешками, золото по желобам потекло. А тем временем своры полицейских без устали перетряхивают горы и долы, над чем Трурль с Клапауцием только потешаются про себя и охотно потчуют интересующихся, которые ужасаются и ловят каждое их слово, рассказом, почему они отбросили первоначальный, очень несовершенный замысел и создали принципиально нового монстра. Никак не могли они придумать, где разместить надежно защищенный центр управления, то есть мозг, и тогда решили попросту сконструировать его всего как мозг – чтобы мыслить способна была любая его часть – рука, хвост или челюсть, в которую они вживили для этого максимум зубов мудрости. Но этого было мало, поскольку предстояло решить две задачи – психологическую и алгоритмическую.

Первая сводилась к тому, чтобы найти способ арестовать короля – и этим должен был заняться полицейский наряд, выделившийся с помощью трансмутации из тела чудовища, поскольку полицейским при исполнении служебных обязанностей и с надлежащим образом оформленным ордером на арест, никто в Космосе не посмеет воспротивиться. Это что касается психологии, и остается только добавить, что главный почтмейстер короны был привлечен к решению данной задачи по той же причине – поскольку чиновника более низкого ранга с письменным посланием от короля стража с алебардами могла и

не пропустить, что стоило бы конструкторам головы. Однако на этот случай ими был подготовлен запасной вариант: в почтовой сумке псевдоминистра имелась немалая сумма для подкупа стражников.

Что же касается алгоритмов, то предстояло сконструировать такой вид чудовищ, одним из подвидов которого могли бы стать представители полиции как замкнутой высокоорганизованной структуры. Такой алгоритм предполагал всевозможные перевоплощения. Записан он был на занавесе с колокольчиками химическими чернилами, самопроявляющимися и запускающими реакцию в строгом соответствии с полицейской субординацией химических элементов.

Остается только добавить, что по возвращении конструкторы опубликовали в научном журнале работу под таким названием: «Общерекурсивные эта-мета-бета-функции для особых случаев трансформации полицейских сил в почтовую службу либо чудовищ, происходящей в компенсирующем поле колокольчиков и рассчитанной на применение в дву-трех-четырех и *n*-колках, оснащенных топологическим керосиновым фонарем и покрашенных в зеленый цвет, благодаря использованию зеркальной матрицы на касторовом масле, с добавлением розового пигмента для отвлечения внимания, или Общая теория моно- и полицейской монструозности, представленная в математическом виде». Конечно же, никто из придворных, канцлеров или офицеров столь безжалостно униженной полиции ни слова из этого всего не понял, но разве дело в этом? Ведь неизвестно даже, восхищаться задним числом конструкторами следовало бы подданным короля Жестокуса или же их ненавидеть.

И вот все готово к старту. Трурль расхаживает по дворцу с мешком и согласно пункту договора снимает со стен один за другим приглянувшиеся ему предметы, полюбуется ими и отправляет в свой мешок. Наконец, карета доставляет удальцов на летное поле – а там уже толпы, хор мальчиков, девочки в народных костюмах вручают им букеты цветов, высокие чиновники зачитывают по бумажке благодарственно-прощальные речи, гремит оркестр, кому-то становится уже плохо, и воцаряется, наконец, напряженная тишина.

Тогда Клапауций вынимает у себя изо рта зуб и что-то с ним делает – оказывается это не зуб никакой, а портативная рация. Нажал – и на горизонте появляется песчаное облачко, оно расте***Tun***риближается, поднимая пыль столбом, все громче слышен топот, и вот, разбрасывая песок, оно врывается на голую площадку между толпой и кораблем и останавливается, как

вкопанное, и напуганная толпа видит, что это чудовище – жуткое чудовище! Глазища, как два солнца, бьет змеиным хвостом по сторонам так, что искры разлетаются веером, прожигая дырки в парадных одеждах беззащитных вельмож.

– Отпусти короля! – командует Клапауций.

На что чудище неожиданно отвечает совершенно человеческим голосом:

– Ну да, разбежалось. Теперь мой черед договариваться…

– Что такое? Ты спятило?! Ты обязано нам повиноваться согласно матрице! – восклицает разгневано Клапауций при всеобщем остолбенении.

– С какой это стати? В гробу я видало вашу матрицу!

Я чудовище алгоритмическое,
инновационно-трансформационное
и тираническое!
Фрагментация и интеграция —
моя ориентация.
Мой глаз-алмаз
поражает цели враз!
Моя полиция меня бережет —
а вас огонь сожжет!
Расступитесь, чтоб
не получить оглоблей в лоб
моей двуколочки скоростной,
крашеной да расписной!
От короля ни слуха ни духа,
не выйти ему из моего брюха,
оттого что он прохвост, —
поцелуйте меня в хвост!
А теперь поклонитесь мне все и присягните —
я считаю вслух до двух!

– Вслух до двух?! – вскипает на это Клапауций.

А Трурль задает чудищу вопрос, прячась за спину Клапауция, чтобы как можно незаметнее вынуть зуб у себя изо рта:

– Чего тебе надобно-то?

– Во-первых, желаю я взять в жены…

Но никто уже не узнал, на ком именно собиралось чудовище жениться, потому что тут Трурль нажал на свой зуб и прокричал:

– Эни, бени, рики, дзинь – чудище, навеки сгинь!

От кодового заклятия магнитно-динамические субатомные связи чудовища моментально ослабели, глазки его замигали, уши затрепетали, оно беспомощно рыкнуло, дернулось, заколыхалось,

перегретым железом дыхнуло и на глазах стало осыпаться и разваливаться, как пересохшая песочная баба от пинка ногой. Осталась от чудища одна лишь насыпь невысокая, а на ней цел и невредим стоит король, только поникший, давно не мытый, немного смущенный и очень злой, что так осрамиться довелось.

– Все в голове у него перекувыркнулось, – заявил присутствующим Трурль, но неясно было, кого он имел в виду – короля или чудовище, дерзнувшее взбунтоваться против своих создателей, которые, естественно, и такую прискорбную возможность развития событий предусмотрели в алгоритме и предотвратили.

– Ну а теперь, – подвел итог Трурль, – церемониймейстер, марш в клетку, а мы садимся в ракету!..

Путешествие третье, или Вероятностные драконы [21]

Трурль и Клапауций были учениками великого Кереброна Эмтадраты, который на протяжении сорока семи лет преподавал Основы Драконологии в Высшей Школе Проблем Небытия, поскольку, как известно, драконов не существует. Однако столь примитивная констатация способна удовлетворить умы профанов, но не ученых Высшей Школы Проблем Небытия, которые тем, что существует, не занимаются вообще. Тривиальность всего сущего настолько очевидна, что давно уже не требует лишних слов для обоснования. Поэтому гениальный Кереброн дерзко прибегнул в своем исследовании к методам точных наук и сумел открыть и описать три вида драконов – нулевых, мнимых и отрицательных. Все они, как уже говорилось, не существуют, но каждый их вид по-разному. Мнимые и нулевые драконы, зовущиеся у специалистов мнимоконами и нольконами, не существуют куда менее интересным образом, нежели драконы отрицательные.

В драконологии уже давно известен парадокс, что при гербаризации (в драконической алгебре – действие, соответствующее умножению в обычной арифметике) из двух отрицательных драконов образуется недодракон с коэффициентом около 0,6. В связи с этим научный мир раскололся на два лагеря: одни считали, что это головная часть целого дракона, а другие, что это его хвостовая часть. Огромной заслугой Трурля и Клапауция явилось доказательство ошибочности обоих взглядов с помощью теории вероятности, впервые примененной для решения проблем драконологии, что привело к созданию новой научной дисциплины – вероятностной драконологии. В ней утверждалось, что невозможность существования драконов в термодинамическом отношении, –

равно как эльфов, гномов, троллей, ведьм и т. п., – может быть обоснована лишь статистически. Исходя из общего принципа невероятности, два наших теоретика вывели формулы для регномизации, разэльфирования и т. д. Из их вычислений следовало, что самопроизвольное появление ординарного дракона возможно лишь раз в шестнадцать квинтоквадриллионов гептиллионов лет.

Очевидно, эта проблема осталась бы одним из математических курьезов, если бы не всем известные конструкторские способности Трурля, решившего найти ее решение эмпирическим путем. А поскольку речь шла о явлении невероятном, он изобрел для этого усилитель вероятности и испытал его сперва у себя в подвале, а затем на специально построенном Академией Наук драконотроне, своего рода драконоинкубаторе. Несведущие в общей теории вероятности и сегодня допытываются, зачем Трурлю было вызывать именно дракона, а не эльфа или гнома, скажем, не понимая по своему невежеству, что коэффициент вероятности у дракона несравненно выше, чем у того же эльфа. Возможно, Трурль в своих исследованиях и намеревался пойти дальше, но уже первое испытание усилителя закончилось для него тяжелой контузией, поскольку виртуальный дракон сразу же лягнул его. К счастью, принимавший участие в эксперименте Клапауций быстро уменьшил его вероятность, и дракон пропал. Впоследствии многие ученые пытались продолжить подобные эксперименты с драконотроном, не обладая для этого достаточной квалификацией и хладнокровием, что привело к многочисленным травмам и бесконтрольному распространению значительной части вырвавшегося на свободу драконова отродья. Тогда-то и выяснилось, что существование этих жутких чудовищ совершенно иное, чем существование каких-то шкафов, комодов или столов, поскольку оно вероятностное. Причем вероятность их появления существенно увеличивается, если они уж завелись. Даже если устроить на них охоту с загонщиками, то кольцо облавы с наставленными ружьями сомкнется вокруг выжженного и дурно пахнущего участка земли, с которого дракон, почуяв опасность, успел улизнуть, перейдя из реального пространства в конфигурационное. Естественно, делает он это чисто инстинктивно, будучи скотиной мерзопакостной и крайне тупой. Малообразованные особы часто сердятся, не понимая, как нечто такое возможно, и домогаются, чтобы им показали это самое конфигурационное пространство. Они понятия не имеют, что электроны, существования которых никто, будучи в здравом рассудке, не отрицает, похожим образом перемещаются по

вероятностным орбитам в пределах конфигурационного пространства. Поэтому упрямцам было бы куда легче отрицать существование электронов, чем драконов, хотя бы потому, что электроны не лягаются – во всяком случае, по отдельности.

Коллега Трурля Гарборизей Кибр первым сумел проквантовать дракона. Он ввел единицу измерения, названную драконеоном, для определения калибра дракона и его математического описания от числителя до кончика хвоста, и даже рассчитал и измерил крутизну этого хвоста, за что едва не поплатился жизнью. Увы, эти достижения не произвели никакого впечатления на широкие массы, страдающие от вторжения драконов, которые наносили огромный ущерб, вытаптывая посевы и изрыгая огонь, пугая своим внезапным появлением и ревом, а кое-где даже требуя в жертву девиц. Какое дело было несчастным обывателям до того, что драконы Трурля, будучи непредсказуемыми и, в силу этого, не поддающиеся локализации, вели себя строго в соответствии с теорией, хоть и совершенно неприемлемо? К чему им кривизна хвостов тех, кто губит их жилища и посевы? Не стоит удивляться поэтому, что широкие массы вместо того, чтобы оценить по достоинству сенсационные научные открытия Трурля, вменили их ему в вину, а кучка самых необразованных и злостных невежд как-то даже изрядно поколотила знаменитого конструктора.

Тем не менее, он со своим другом Клапауцием и не подумал прекратить дальнейшие исследования. Они показали, что драконы существуют в определенной зависимости от их настроения и уровня удовлетворения основных потребностей, а также что единственным надежным способом их ликвидации является сведение их вероятности к нулю или даже к отрицательным значениям. Конечно же, такие исследования требовали немало времени и упорства, тогда как гуляющие на свободе драконы вовсю безобразничали, опустошая очередные планеты и спутники, и совсем уж худо, что при этом еще и размножались. Последнее обстоятельство подтолкнуло Клапауция опубликовать замечательную статью «Ковариантные переходы от драконов к дракончикам как частный случай перехода от физически невозможных явлений к явлениям, запрещенным полицией». Эта работа наделала много шума в научном мире, где еще живо обсуждалась громкая история создания полицейского дракона, с помощью которого друзья-изобретатели сумели отомстить злобному королю Жестокусу за плачевную участь своих коллег.

Но по-настоящему горячо стало, когда все вокруг заговорили о галактических похождеииях какого-то конструктора,

называвшего себя Базилеем Эмердуанским, чье присутствие в любом месте приводило к появлению драконов даже там, где их прежде никто в глаза не видел. Когда уровень отчаяния местного населения и ощущение катастрофы достигали пика, он являлся к правителю страны и, поторговавшись с ним и взвинтив размер своего вознаграждения до головокружительных высот, брался извести чудовищ. Как правило, это ему всякий раз удавалось, хоть непонятно было, каким образом, поскольку действовал он исключительно в одиночку и скрытно. Правда, он гарантировал успех драконоцида лишь в статистическом отношении, и когда один монарх отплатил ему той же монетой, – рассчитался дукатами, полновесными также лишь статистически, – конструктор не погнушался впредь при расчете всякий раз унизительнейшим образом проверять подлинность металла царской водкой.

Как-то погожим солнечным днем Трурль с Клапауцием договорились встретиться, и такой между ними состоялся разговор.

– Ну что, слышал ты об этом Базилее? – спросил Трурль друга.

– Да, слыхал.

– И что скажешь?

– Не нравится мне эта история.

– Мне тоже. Что ты об этом думаешь?

– Думаю, он использует усилитель.

– Вероятности?

– Да. Или какие-то резонансные устройства.

– Или же генератор драконов.

– Драконотрон?

– Думаю, да.

– Что ж, вполне возможно.

– Но это же бесчестно! – вскричал Трурль. – Это означало бы, что он сам завозит драконов, только в потенциальном состоянии, чья вероятность близка к нулю, а как устроится и осмотрится, увеличивает их вероятность, усиливая мощность, доводит их до состояния близкого к достоверности, после чего, само собой, начинается их виртуализация, конкретизация и наглядная материализация!

– Вот именно. А если он еще и матрицу подчистит, то обычный дракон легко сможет превратиться у него в бешеного василиска!

– Согласен, страшнее и хуже василиска нет ничего.

– А как, думаешь, он потом их минимизирует и аннулирует? С помощью аннигилятора или просто уменьшая их пороговую

вероятность, чтобы поскорей унести ноги, прихватив мешок с золотишком?

– Трудно сказать. Но если только за счет уменьшения вероятности, это было бы еще большей низостью. Ведь из-за флуктуаций в зоне нулевой вероятности возможно восстановление матрицы и, следовательно, возвращение драконов, что рано или поздно произойдет – и тогда начинай все сначала!

– Да, а конструктора уже ищи-свищи, и деньги пропали… – пробурчал Трурль.

– Как ты считаешь, не написать ли нам по этому делу докладную записку в Главное Управление регулирования численности драконов?

– Считаю, что не стоит. У нас нет уверенности, нет никаких доказательств. А вдруг он ничего этого не делает? Ведь статистические флуктуации могут происходить и без усилителя – когда-то не было ни матриц, ни усилителей, а драконы время от времени появлялись, попросту по воле случая.

– Вроде так… – согласился Трурль, – но все же… Ведь не случайно они появляются на планетах сразу после его прибытия!

– Это точно. Но писать об этом нехорошо как-то, все же он наш коллега по своей специальности. Разве что мы могли бы сами кое-что предпринять, как думаешь?

– Это можно.

– Вот и хорошо, в этом мы согласны. Но что именно?

После чего два непревзойденных драконоведа погрузились в профессиональную дискуссию, из которой посторонний наблюдатель не понял бы ничего, кроме загадочно звучащих словосочетаний – таких как «счетчик драконов», «бесхвостная трансформация» и «слабая констелляция», «дифракция и рассеивание драконов», «дракон жесткий», «дракон хлипкий» и «draco probabilisticus», «дискретный спектр василиска», «дракон в эрегированном состоянии», «попарная аннигиляция драконов в яри в чистом поле повального обезглавливания» и т. п.

Столь доскональный анализ проблемы подвигнул двух друзей предпринять третье по счету совместное путешествие, к которому оба они подготовились крайне тщательно, не поленившись взять с собой в полет максимум снаряжения и всяких полезных устройств, вроде диффузора или особой пушки, стреляющей антиголовами. Уже в начале путешествия, с посадками поочередно на Энции, Пенции и Керулее, конструкторы поняли, что им не под силу будет прочесать все затронутые бедствием звездные просторы, хоть разорвись на части. Стало ясно, что в интересах дела им лучше разделиться, и после рабочего

совещания каждый из них отправился в свою сторону.

Клапауций долгое время работал в Престопондии по приглашению тамошнего императора Дивослава Ампетриция, который готов был отдать свою дочку ему в жены, лишь бы он избавил его страну от чудовищ. Драконы высшей степени вероятности забредали даже на улицы столицы, а от виртуальных драконов было просто не продохнуть. Хотя по мнению людей наивных и темных, виртуальных драконов не может существовать, поскольку они себя никак не проявляют и совершенно недоступны наблюдению, таблицы Кибра-Трурля-Клапауция-Миногия и вычисленная ими синусоида прибыли и убыли драконов однозначно говорят о том, что дракону перейти из конфигурационного пространства в реальное легче, чем ребенку пройти от дома до школы. Поэтому так легко было в жилищах, на чердаке или в подвале, вдруг наткнуться на дракона или даже василиска, как только кривая вероятности принималась ползти вверх.

Вместо того, чтобы тщетно гоняться за отдельными драконами, Клапауций как истинный теоретик взялся решить проблему кардинально: на городских площадях и в скверах, в самых дальних селениях, он установил вероятностные редукторы, и совсем скоро драконовское отродье сделалось величайшей редкостью. Получив соответствующее вознаграждение, почетную грамоту и переходящее знамя, он отбыл, чтобы соединиться со своим другом.

Пролетая вблизи одной планеты Клапауций вдруг заметил, что с нее отчаянно и призывно машет ему кто-то. Подумав, что это может быть Трурль, с которым что-то стряслось, Клапауций совершил посадку. Оказалось, однако, о помощи взывали к нему туземцы-трюфлефаги. Эти подданные короля Щелкопера придерживались первобытных верований и были суеверны. Пневматология, которую они исповедовали, сводилась к драконоверию: появление драконов они считали карой за грехи и были убеждены, что эти чудовища обладают душой, но душой нечестивой. Сообразив, что пускаться в дискуссию с королевскими драконословами по меньшей мере неразумно, – поскольку ни на что, кроме окуривания мест появления драконов и раздачи амулетов, они не годились, – Клапауций предпочел заняться полевыми исследованиями. К тому моменту на планете обитало всего одно чудовище, зато наисвирепейшее из всех вида Ехидн. Конструктор предложил королю свои услуги, но тот тянул с ответом, видимо, из-за слепой приверженности догме, что причину появления драконов следует искать в потустороннем мире. Просматривая местную прессу, Клапауций узнал, что

жирующую на планете Ехидну одни считают единичным экземпляром, а другие существом многоликим, способным существовать в разных местах одновременно.

Это подкинуло ему пищу для размышлений, хоть и не очень удивило. Локализация этих омерзительных тварей зависит прежде всего от так называемых дракономалий, в некоторых случаях дезориентирующих отдельные особи и как бы «размазывающих» их в пространстве, что объясняется обычным изоспинным эффектом квантового импульса. Примерно, как наполовину высунувшаяся из воды кисть руки может показаться пятью отдельными пальцами, так и вынырнувший из конфигурационного пространства в реальное дракон может выглядеть целой серией драконов, что, конечно же, не так.

Однажды, под конец очередной аудиенции у короля, Клапауций задал монарху вопрос, не появлялся ли на его планете Трурль, и подробно описал внешний вид своего друга. Каково же было его изумление, когда он услышал, что, действительно, его коллега гостил не так давно в королевстве Щелкопера и даже подрядился избавить его владения от Ехидны. Взяв аванс, он отправился в близлежащие горы, где особенно часто видели драконихи, но уже на другой день вернулся и потребовал остальную сумму, предъявив в доказательство одержанной победы сорок четыре драконьих зуба. Возникли некоторые сомнения, и окончательный расчет с ним был отложен до выяснения всех подробностей дела. Похоже, Трурль вспылил, позволив себе выражения чуть ли не оскорбительные в отношении особы правящего монарха, и накричавшись, удалился в неизвестном направлении. С той поры ничего не слыхать о нем, зато Ехидна вернулась, как ни в чем не бывало, и принялась еще усердней разорять города и веси, к всеобщему унынию.

Довольно подозрительной показалась эта история Клапауцию, однако подвергать сомнению правдивость слов, исходящих из уст монарха, было затруднительно. Поэтому Клапауций предпочел собрать рюкзак, упаковав его сильнейшим драконобойным снаряжением, и самостоятельно отправился в горы, заснеженный хребет которых на горизонте величественно возвышался в восточной стороне.

Очень скоро он обнаружил оставленные чудовищем следы посреди скал, но даже если бы он их не нашел, о недавнем пребывании здесь дракона говорил стойкий сернистый запах. Клапауций бесстрашно продолжал свой путь, готовый в любой момент применить висящее на плече оружие. Он внимательно поглядывал на стрелку счетчика драконов, которая, постояв какое-то время на нуле, вдруг задергалась, а затем медленно

поползла вверх, словно преодолевая незримое сопротивление, и приблизилась к единице. Не оставалось сомнений, что Ехидна находится где-то поблизости, как ни трудно было в это поверить. У Клапауция не умещалось в голове, как Трурль, его испытанный товарищ и прославленный теоретик, мог ошибиться в расчетах и промазать, не сумев уничтожить драконихy. Еще труднее было поверить, что, не справившись с заданием, он вернулся на королевский двор и стал требовать плату за невыполненную работу.

Вскоре Клапауций нагнал растянувшуюся колонну местных жителей, похоже, чем-то очень встревоженных. Они беспокойно озирались по сторонам и старались держаться поближе друг к другу. С тяжелыми мешками на спинах и узлами на головах, они гуськом преодолевали подъем дороги. Поздоровавшись, Клапауций задержал процессию и спросил у идущего впереди старшего, куда это они направляются.

– Мы несем дань дракону, сударь! – ответил тот, похожий с виду на чиновника низшего ранга в заштопанном армейском кителе.

– Дань? Вот как. И что за дань?

– Она, милостивый сударь, включает все, чего пожелал дракон: золото, драгоценные камни, заграничные благовония и множество других ценных вещей высшей пробы.

Ответ безмерно удивил Клапауция, поскольку драконы не требуют обычно подобной дани, и уж точно не нуждаются в благовониях, явно не способных перебить их собственный смрад, да и в золотых монетах тоже, с которыми они попросту не знали бы, что делать.

– А девиц дракон не желает, милый человек? – поинтересовался Клапауций.

– Нет, сударь. Прежде так и было, это да. Вот еще в прошлом году отводил я к нему то пятнадцать штук их, то дюжину, в зависимости от его аппетита. Но с той поры, милостивый сударь, как появился тут один чужак, чужестранец то есть, бродил он здесь по горам с ящиками и аппаратами какими-то, совсем один, без никого… – тут милый человек запнулся и с беспокойством пригляделся к амуниции и оружию Клапауция, особенно смутил его ровно тикающий счетчик драконов, с большим белым циферблатом и подрагивающей красной стрелкой на нем.

– А выглядел он точь-в-точь, как ваша милость! – закончил он чуть дрожащим голосом. – Такое же снаряжение и вообще…

– Я приобрел это все по случаю на ярмарке, – сказал, чтобы усыпить его подозрения, Клапауций. – А скажите мне, мои милые, не известно ли вам, что дальше было с этим чужаком?

– То есть, что с ним сталось? Нет, сударь, этого-то мы и не знаем. Значит, дело было так. Как-то недели две тому… Эй, кум Барбарон, правду я говорю? Недели две, не больше?

– Ага, кум староста, чистая правда, почему же нет? Было это недели две назад или четыре. А может, шесть.

– Ну вот! Пришел он к нам, милостивый сударь, зашел, значит, попотчевался, ничего не скажу: хорошо заплатил, поблагодарил, то да сё, опять ничего не скажу, осмотрел все, по полу и стенам постучал, расспросил зачем-то о ценах прошлогодних, разложил свои приборы, стал какие-то показания с них записывать, да так спешил, что все ходуном ходило, но он поспевал, строчка за строчкой, в книжечку такую красную, что из-за пазухи достал, потом достал этот – как его, кум? – тер… тем… тьфу ты, не выговоришь!

– Термометр, кум староста.

– Точно! Термометр этот вынул и говорит, дескать, это от драконов у него, и давай его совать туда-сюда, опять что-то записал в свою книжечку, приборы в мешок сложил, мешок на плечи, попрощался и ушел. И больше мы его, сударь, не видели! Так это было. Той же ночью что-то загромыхало, ухнуло, но далеко, где-то у Мидраговой горы. Она за той, сударь, над которой ястреб кружит, видите? Это Щелкоперова гора, больно она напоминает нам Его Величество. А рядом прислонилась к ней, ровно ягодица к ягодице, гора Пакуста, ее так потому назвали, что однажды…

– Хорошо, хорошо, хватит про горы, милый ты мой, – прервал его Капауций, – расскажи лучше, что дальше той ночью было. Ухнуло что-то – и что потом?

– Да ничего потом, сударь. Когда ухнуло, изба покосилась, и я с лежанки на пол свалился, да мне не привыкать. Бывало, драконихa почешет зад об угол дома, и не так грохнешься! Вот хоть бы брат кума Барбарона, он в корыто со стираным бельем свалился, когда драконихе захотелось об их дом почесаться…

– Ближе к делу, любезные мои, ближе к делу! – не стерпел Клапауций. – Ухнуло, на пол упал, что дальше-то?!

– Говорю же, что ничего! Было бы что, я так бы и сказал, а если не было ничего, так не о чем и говорить, зря языком молоть. Правильно я говорю, кум Барбарон?

– Ага, так оно и есть.

Клапауций кивнул головой на прощанье и зашагал прочь, а процессия носильщиков продолжила свой путь, сгибаясь под тяжестью ноши. Клапауций догадывался, что приношения дракону они сложат в какой-то указанной им пещере, но расспрашивать не захотел, потому что и без того весь взмок от

беседы с сельским старостой и его кумом. Он успел услыхать, впрочем, как один носильщик говорил другому: «Хорошо, что дракон выбрал такое место, чтоб и ему было близко, и нам недалеко…»

Клапауций шел быстрым шагом, прокладывая маршрут по показаниям пеленгатора драконов. Он повесил его себе на шею и не забывал поглядывать на счетчик, стрелка которого застыла на риске ноль целых восемь десятых дракона.

«Дискретный это какой-то дракон, что ли, чтоб ему пусто было?!» – размышлял Клапауций на ходу, поминутно останавливаясь, потому что солнце палило немилосердно. Марево колыхалось в воздухе над разогретыми скалами, вокруг ни зеленого листочка, только спекшаяся глина в расселинах, и раскаленная каменная пустыня, простирающаяся до подножия величественных гор.

Прошел час, солнце уже перевалило на другую сторону неба, а он все карабкался по осыпям, преодолевая каменные гряды, и добрался, наконец, до ущелий, дно которых терялось в сумраке и дышало прохладой. Красная стрелка на его приборе поднялась до девятки перед единицей и, подрагивая, замерла.

Бросив рюкзак на камень, Клапауций принялся извлекать из него драконоликвидатор, как вдруг стрелка задергалась. Выхватив редуктор вероятности, он быстро оглядел окрестности. Со скалы, на которой он находился, можно было заглянуть и вглубь ущелья, где как раз началось какое-то копошение.

«Чтоб я треснул, это она!» – подумал Клапауций, Ехидна ведь была драконихой. В голове у него промелькнуло: «Может, потому и не требует себе девиц? Да, но раньше-то она охотно их принимала… Странно это, странно, но сейчас главное не промахнуться – и все тогда закончится, как надо!» На всякий случай он вновь потянулся за рюкзаком и вытащил из него деструктор, поршень которого надежно отправляет дракона в небытие. После чего с края скалы он заглянул в ущелье.

По дну высохшего потока в узкой котловине передвигалась огромного размера и бурого цвета драконихa с запавшими, словно от голода, боками. Вихрь мыслей пронесся в голове Клапауция. Может, аннигилировать ее, заменив в матрице положительный знак отрицательным, в результате чего статистическая вероятность недракона превысит вероятность дракона? Но это очень рискованно, учитывая, что один неверный шаг – рука дрогнет! – может привести к катастрофическим последствиям, как уже бывало кое с кем, получавшим *неодракона* вместо *недракона*! Все насмарку может пойти из-за одной всего буквы! Да и потом тотальная девероятизация исключает

возможность исследования природы Ехидны. Клапауций заколебался, успев выпестовать в душе образ охотничьего трофея прославленного драконолога: растянутая на стене рабочего кабинета, от окна до книжных полок, огромная шкура дракона. И хоть совсем не время было предаваться мечтам, еще одна мысль сверкнула, пока он опускался на одно колено: а еще лучше было бы передать столь замечательный экземпляр в хорошем состоянии драконозоологам и такую научную работу забабахать, что только держись! Переложив фузею с редуктором в левую руку, правой он схватил мушкетон с раструбом, заряженный антиголовой, навел его на цель и нажал курок. Раздался оглушительный выстрел. Вырвавшееся из дула жемчужное облачко дыма окутало стрелка, так что несколько мгновений он потерял чудовище из виду. Но дым быстро рассеялся.

В старинных легендах хватает всяких небылиц о драконах. Говорится, например, что у них бывает иногда до семи голов, но это враки. У дракона может быть только одна голова, поскольку наличие уже двух голов немедленно приводит их к яростной сваре между собой. Многоголовые особи, по утверждению ученых, оказались нежизнеспособны и вымерли из-за внутренних распрей. Эти тупые и упрямые по своей природе твари не терпят малейшего возражения, поэтому две головы у одного тела приводят к скорой смерти организма, ведь каждая из них, чтобы насолить другой, начинает отказываться от пищи или даже из вредности перестает дышать, с вполне предсказуемыми последствиями. Как раз это обстоятельство подсказало изобретателю Эйфорию Деликату идею стрельбы контрголовами. Такая портативная электронная головка, внедренная в тело монстра, немедленно повергает его в состояние внутреннего конфликта и непрекращающейся склоки. В результате он не в состоянии стронуться с места целыми сутками, неделями, даже месяцами, словно параличом разбитый. Бывало даже, что только через год наступала смерть от крайнего изможденья. В таком состоянии с ним можно делать что угодно.

Однако, дракон, которого подстрелил Клапауций, повел себя как-то странно. Он, правда, вскочил на задние лапы, взревев так, что посыпались камни с обрыва, и принялся лупить хвостом по скалам с такой силой, что искры сыпались и потянуло гарью. После чего прокашлялся, почесал себя за ухом и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь, разве что перейдя на легкую трусцу. Не веря собственным глазам, Клапауций погнался за ним по скальному хребту, сокращая себе путь к устью высохшего потока. Не жалкие статейка-другая уже мерещились ему в «Трудах по драконологии», а научная монография, как

минимум, – и чтобы на мелованной бумаге, да с фотографией автора на фоне поверженного дракона!..

Перед спуском он примостился за скалой, вскинул девероятизатор, прицелился и нажал на курок. Ложе вмиг раскалившегося ствола содрогнулось – все ущелье окуталось дымкой, а вокруг дракона возникло гало, такое как бывает вокруг луны и предвещает непогоду. Но только и всего! Клапауций еще раз, повторно, свел вероятность дракона к нулю – а тому хоть бы хны! Уровень невероятности происходящего сделался таким, что пролетавшая мимо бабочка принялась взмахами крылышек, как флажками, передавать содержание второй части «Книги Джунглей», в скальных завалах заклубились тени колдуний, ведьм и прочей нечисти, а отчетливый цокот копыт по руслу высохшего потока свидетельствовал о приближении эскорта кентавров, вызванных из небытия чудовищной мощью примененного Клапауцием орудия. Однако драконихе и это оказалось нипочем – грузно присев, она зевнула и принялась азартно расчесывать задними конечностями свой обвисший зоб. Клапауций уже едва мог держать в руках пышущее жаром орудие, продолжая отчаянно жать на курок. Ни с чем подобным ему еще не приходилось встречаться: небольшие камни поблизости легко поднимались и парили в воздухе, а пыль, поднятая гузном чешущегося дракона, не думала оседать и сложилась в воздухе в буквы вполне разборчивой надписи «ГОСПОДИНА ДОКТОРА СЛУГА». Потемнело так, словно ночь нашла на день, и несколько валунов известняковой породы отправились прогуляться, переговариваясь между собой о том да сём. Короче, творились совсем уж невообразимые вещи вокруг, а жуткая тварь, устроившаяся отдохнуть в каких-то тридцати шагах от Клапауция, и не думала исчезать. Клапауций отбросил свою пушку, достал из-за пазухи драконобойную гранату и, уповая на материнскую силу общеспинорных преобразований, пульнул нею в драконихи. От оглушительного взрыва на воздух взлетели обломки скал вместе с оторванным хвостом чудовища, которое возопило неожиданно человеческим голосом: – Караул, убивают! – и ринулось прямиком на конструктора. Клапауций выскочил из своего укрытия ему навстречу, приготовившись распрощаться с жизнью и судорожно сжимая дротик из антиматерии в руке. Он уже замахнулся было ним, когда вновь раздался крик:

– Да перестань же! Прекрати! Не убивай меня!

«Что это? – пронеслось в голове Клапауция. – Говорящий дракон?! Или я с ума схожу…»

На всякий случай он все же спросил:

– Кто здесь кричит? Это ты, дракон?

– Какой дракон?! Это я тебе кричу!!

И тут из-за завесы оседающей пыли показался Трурль. Потянувшись к шее дракона, он что-то там повертел, и колосс медленно осел на подогнувшиеся с протяжным скрежетом колени и замер.

– Что за маскарад? Что все это значит? Откуда взялся этот дракон? Что ты тут вытворяешь?! – засыпал Трурля вопросами Клапауций.

Отряхиваясь от пыли, Трурль не торопился отвечать.

– Откуда, что, где, да как!.. Дай же ты мне хоть слово вставить. Того дракона я уничтожил, но король не пожелал со мной расплатиться…

– Отчего?

– Откуда мне знать, видать, из-за скупердяйства своего. Валил это на свою бюрократию – дескать, приемная комиссия должна составить протокол осмотра, произвести обмеры, вскрытие, после чего соберется тронный совет, то да сё, а главный казначей заявляет мне, что не знает, как оформить платеж, поскольку ни в фонде зарплаты не предусмотрена такая статья расходов, ни по безналичному расчету этого не сделать. Одним словом, ходил я ходил, просил, настаивал, – из кассы к королю, от короля в совет, – но никто не желал со мной даже разговаривать. И когда они от меня потребовали еще и автобиографию с несколькими фотокарточками, я понял, что пора сматывать удочки, а вернуть им назад их дракона уже не получится. Что было делать? Содрал я с дракона шкуру, нарезал орешника, подыскал старый телеграфный столб, больше ничего особо и не требовалось, набил чучело как следует, ну и… как видишь, прикинулся…

– Поверить не могу! Чтобы ты пустился на такую низость?! Ты! Но зачем, объясни, если они тебе все равно не собирались платить? Ничего не понимаю.

– Экий ты тупой! – снисходительно пожал плечами Трурль. – Они же теперь постоянно несут мне дань! Я уже получил от них больше, чем мне причиталось.

– А-а-а! – осенило наконец Клапауция. Однако он тут же поправился:

– Но ведь заниматься вымогательством нехорошо…

– С какой это стати? Разве я им сделал что-то плохое?! Бродил себе по горам, ну подвывал немного вечерами. Чертовски я устал от всего этого… – сказал Трурль, присаживаясь рядом с другом.

– От чего? От рева и завываний?

– Да нет же! Объяснять тебе приходится что-то простое как

дважды два – при чем здесь рев?! А еженощно мешки с золотом таскать из пещеры для дани на гору, вон на ту! – и Трурль указал рукой на горную гряду вдали. – Я приготовил там для себя стартовую площадку. Ты бы сам потаскал от заката до рассвета двадцатипудовые тяжести, узнал бы тогда! Ведь это же дракон не настоящий, одна его шкура весит под две тонны, а мне пришлось ее таскать и двигать, каждый день топотать и реветь, а потом еще ночами надрываться. Я так рад твоему появлению, хватит с меня всего этого уже, в самом деле!

– Но почему же этот дракон, – то есть этот муляж дракона, – не пропал, когда я свел его вероятность к вероятности всяких чудес? – захотелось узнать напоследок Клапауцию.

Трурль откашлялся. Видно было, что он немного смущен.

– Это моя предусмотрительность, – пояснил он, – ведь нельзя было исключить вероятности появления здесь какого-нибудь придурка-охотника, хотя бы того же Базилея. Поэтому я обработал шкуру с изнанки антивероятностным покрытием. Ну а теперь пойдем, осталось там у меня еще пара мешков с платиной, самых тяжелых, уж как не хотелось мне их таскать самому! Вот и чудно, появился у меня помощник…

Путешествие четвертое, или как Трурль, королевича Пантарктика от мук сердечных избавить желая, Женотрон применил, и как потом дело дошло до использования Детомета [22]

Однажды в рассветный час, когда Трурль отдыхал, сморенный глубочайшим сном, в дверь его подворья застучали с такой силой, словно пришелец намеревался одним ударом ту дверь с петель сорвать. Когда же Трурль, едва продрав глаза, отодвинул засов, глазам его, на фоне едва сереющего неба, предстал гигантский корабль, похожий на сахарную голову невероятной величины или на летающую пирамиду, а изнутри этого колосса, приземлившегося напротив его окон, по широкому помосту длинными шеренгами сходили мальблюды, увешанные мешками, а раскрашенные в черное роботы, одетые в бурнусы и чалмы, сгружали вьюки у порога его дома столь быстро, что в несколько минут Трурля, не понимающего, что оно должно значить, окружил, подобно шанцу, растущий полукруг пузатых тюков; едва-едва оставались в них узкие проходы. Одним же как раз и направлялся к нему электрыцарь телосложения необычайного, с глазами, в форме звезд резанными, с радарными антеннками, лихо закрученными кверху, в осыпанной бриллиантами делии; сей благородный господин, перебросив оную делию через плечо, приподнял бронированную шляпу и голосом мощным, хотя и мягким, словно бархат, спросил:

– Имею ли я честь лицезреть их милость господина Трурля, здешнего благороднорожденного конструкциониста?

– Несомненно, это я… не войдете ли… прошу прощения за беспорядок… не знал, вернее, спал… – бормотал, сильно смешавшись, господин Трурль, запахивая на себе скупые одеяния: уразумел уже, что на из одежды нем лишь ночная рубаха, да и то – из тех, что истосковались по стирке.

Однако же изысканный рыцарь, казалось, не замечал недостатков Трурлева одеяния. Еще раз приподнял шляпу – а та завибрировала, позванивая, над его замкообразной головою, – и с грацией вошел внутрь. Трурль, извинившись, оставил его на минутку и так-сяк принарядившись, вернулся со второго этажа, прыгая через две ступеньки. За окном меж тем посветлело, и вскоре солнце заблестело на чалмах черных роботов, что, выводя тоскливо и печально старую невольничью песню «Где же ты бывал…» и всякое такое, окружили четверными шеренгами дом и корабль-пирамиду. Трурль приметил это в окошко, как раз усаживаясь напротив гостя, который взглянул на него

бриллиантово и сверкающе, а после такими отозвался словами:

– Планета, с коей я, твоя милость конструкционист, прибыл, переживает самый пик глубокого средневековья. А оттого, твоя милость, должен ты мне простить, что я в эдакую вверг тебя конфузию, приземлившись не вовремя; ибо должен твоя милость разуметь, что никоим образом мы, пребывая на борту, не могли предвидеть, что в сем пункте планеты твоей милости, где твой видный дом возвышается, еще простирает свою властную руку ночь и ставит препону солнечным лучам.

Тут он откашлялся, словно кто умело перебрал тона на губной гармошке, и стал говорить далее:

– Прислал меня, по здравом размышлении, к твоей милости господин мой и владыка, его Королевское Величество Протрудин Астерийский, суверенный господин объединенных планет Йонита и Эприта, наследный монарх Анурии, император Моноции, Бипроксии и Трифилиды, великий князь Барномальверский, Эборкидский, Клапунданский и Трагантoронский, граф Эвскальпии, Трансфории и Фортрансмины, паладин Шуры и Буры, барон Гристривепртицкий, Прастровшакормандский и Вымытыдоднавский, а также самодержавный владыка Метеры, Гетеры, Этеры эт Цетеры, затем, дабы от его милостивого имени просить твою светлость прибыть в наше царство жадно ожидаемым коронным избавителем, коий единственный сумеет принесть нам избавление от общего кладбища, несчастливой возлюбленностью его королевского высочества, наследника трона Пантарктика, вызванной.

– Но я ведь не… – быстро начал было Трурль, но Магнат, сделав короткий жест, означавший, что он еще не закончил, продолжал тем же самым голосом, в котором звенела сталь.

– Взамен же за милостивое соизволение твое склонить слух свой, за прибытие и помощь в поборении державного несчастия, что нарушило сами основы власти, его Королевское Величество Протрудин обязуется, уверяет и клянется ныне моими устами, что обсыплет твою конструктивность такими милостями, что твое достоинство не сумеет насытиться ими и до конца своей жизни. В частности же, наперед или, как оно нынче принято говорить, авансом, именует он тебя с этого момента – тут Магнат встал, вынул шпагу и далее говорил, с каждым словом ударяя Трурля плашмя клинком, да так, что у того плечи ходуном ходили, – Титулярным и Удельным Князем Мурвидраупии, Абоминенции, Мерзодоры и Вассолы, Наследным Графом Трунда и Моригунда, Электором-Восьмипалицевцем Бразелупы, Кондолонды и Праталаксии, а также Маркизом Гунда и Лунда, Чрезвычайным Губернатором Флуксии и Пруксии, а еще Капитулярным

Генералом Ордена Бездицких Мендитов и Великим Мытарем королевства Пита, Мыта и Тамтадрита купно с надлежащими оным званиями правами салюта из двадцати одного орудия на утренний час и при отходе ко сну, на послеобеденные фанфары, а также – Тяжелым Крестом Инфинитезимальным и многочисленной перпетуацией в эбеновом дереве, многосторонней в сланце и многократной в золоте. В доказательство же своих милостей Король мой и Владыка присылает тебе эти вот безделицы, какими осмелились мы окружить твое дворище.

И правда, мешки уже закрыли дневной свет, едва доходивший теперь до комнаты. Магнат закончил говорить, но руки, красноречиво поднятые, не опускал – как видно, позабывшись, поскольку молчал; Трурль же тогда заговорил:

– Я весьма благодарен его Королевскому Величеству Протрудину, но, знаете ли, сердечные дела – не моя специальность. Впрочем… – добавил он под взглядом Магната, что пал на него, словно бриллиантовый камень, – возможно вы захотите объяснить, в чем там дело…

Магнат кивнул:

– Дело это простое, твоя милость! Наследник трона влюбился в Амарандину Церибернскую, единственную дочь владыки Араубрарии, соседней державы. Однако ж государства наши разделяет чрезвычайно древняя вражда, и когда наш милостивый владыка после неустанных просьб королевича обратился к императору насчет руки Амарандины, ответ был категорически негативным. С тех пор минул год и шесть дней, а принц-наследник гаснет на глазах, и нет способа вернуть ему рассудок. И нет никакой надежды, кроме как на твою светлость, осиянную разумом!

Тут гордый Магнат склонился, Трурль же откашлялся и, видя ряды воинов за окном, сказал слабым голосом:

– Представить себе не могу, чтобы я мог что-либо… но… если король желает… тогда я… понимаю…

– Вот именно! – воскликнул Магнат и хлопнул так, что аж металл зазвенел. И тотчас же двенадцать черных, словно ночь, кирасиров со стальным звоном ворвались в дом и, подхватив Трурля, вынесли его на руках к кораблю, который выстрелил двадцать один раз, поднял трап и, с развевающимися флагами, величественно вознесся в небесные бездны.

Во время путешествия Магнат, который был Великим Коронным Подбронным, рассказывал Трурлю множество подробностей об одновременно романтической и драматической истории принцевых аморов. И сразу же по прибытии, после

торжественных приветствий и проезда столицей средь флагов и толп, взялся конструктор за работу. Местом работы выбрал он себе прекрасный королевский парк; а находящийся в нем Храм Думания переделал в три недели в странную конструкцию, полную металла, кабелей и светящихся экранов. Был это, как пояснил он королю, женотрон – приспособление, используемое как в роли тренажера, так и тотального эротора с обратной связью; тот, кто находился в сердце аппарата, по одному взмаху познавал прелести, чары и соблазны, нашептывания, целования и милования как бы не всего прекрасного пола в Космосе сразу. Женотрон, в который Трурль превратил Храм Думания, обладал выходной мощностью четырехсот мегаморов, причем полезный коэффициент в спектре проникающего сладострастия достигал девяносто шести процентов, а эмиссия чувственности, измеряемая, как обычно, в киломилах, насчитывала их шесть на один дистанционно управляемый поцелуй. Женотрон оный был, кроме того, снабжен оборотными поглотителями безумства, каскадным усилителем «Милашки-обнимашки» и автоматом «первого взгляда», поскольку Трурль стоял на позициях профессора Афродонтуса, создавшего теорию внезапного влюбляющего поля.

Сия пречудесная конструкция обладала различными вспомогательными приборами, как то: быстротечной флиртовницей, редуктором ухаживаний и комплектом ласкачей и ласкалей; снаружи же, в специальной стеклянной кабине, виднелись гигантские циферблаты, на которых можно было во всех подробностях наблюдать за успехами разлюбляющего лечения. Как указывали цифры, женотрон давал длительные позитивные результаты в девяносто восьми случаях любовной суперфиксации из ста. Тем самым, шанс на спасение принца был огромен.

Сорок достойных пэров королевства четыре часа медленно, но упрямо тянули и толкали принца сквозь парк к Храму Думания, сочетая решительность действий с чествованием величества, поскольку принц вовсе не горел желанием быть разлюблённым и бодал и пинал верных придворных головой и ногами. Когда же королевич наконец-то был, при помощи многочисленных пуховых подушек, втолкнут внутрь, и когда дверь за ним захлопнули, Трурль, полный беспокойства, включил автомат, что принялся мертво отсчитывать: «Двадцать до ноля… девятнадцать до ноля… десять до ноля…» – пока не произнес ровным голосом: «Ноль! Пуск!», и синхроэроторы, включенные на целую мегаморическую силу, ринулись на жертву чувств, направленных столь фатально. Почти час Трурль всматривался в

стрелки указателей, подрагивающих под высшим эротическим напряжением; однако те, увы, не фиксировали существенных изменений. Потому росло в нем неверие в результат лечения, но нынче уже не мог он поделать ничего, а потому пришлось ему терпеливо ждать, сложив руки. Он лишь проверял, падают ли гигапоцелуйчики под нужным углом, без лишнего разброса, и обладают ли флиртовница и ласкали достаточным числом оборотов, одновременно озаботившись, чтобы сгущение поля было близким к допустимому, поскольку ведь дело было не в том, чтобы пациент перелюбил, меняя объект чувств с Амарандины на машину, а чтобы освободился абсолютно. Наконец люк в торжественном молчании отворили. После откручивания крупных болтов, что герметически закрывали его, вместе с клубами сладчайшего аромата из затемненного нутра бессильно выпал принц купно с измятыми, теряющими лепестки розами, одурманенный неимоверной концентрацией страсти. Верные слуги подскочили и, подхватив его бессильные члены, услышали, как с бледных губ королевича срывается безгласно одно лишь слово: «Амарантида». Трурль сдержал проклятие, поскольку понял, что все зря: безумное чувство принца оказалось в критических условиях сильнее, чем все гигаморы и мегаласкачи женотрона, вместе взятые. И вот любвометр, приложенный ко лбу лежащего без сознания королевича, показал сто и семь делений, а потом треснуло у него стекло, и ртуть вылилась, неспокойно подрагивая, будто и ей передался кипящий дар чувств. Первая попытка не удалась.

Трурль, чернее ночи, вернулся в свои покои, и подсматривай кто за ним, непременно услышал бы, как он ходит от стены к стене в поисках средств спасения. Тем временем в парке слышен был шум – это каменщики, должные ремонтировать стену парка, из интереса влезли в женотрон и как-то его запустили, и потребовалось вызывать пожарных, поелику изнутри они выпрыгивали столь пылая страстью, что аж дым стоял коромыслом.

Тогда-то Трурль использовал другой набор, куда вошли делиризатор и тривиальница. Но и эта вторая попытка, скажем сразу, ни к чему не привела. Принц не разлюбил Амарандину, напротив – еще сильнее стали его чувства. Трурль снова прошел немало миль в своих комнатах, до поздней ночи читал профессиональные учебники, пока обессиленно не швырнул их в стену, а назавтра просил Магната Подбронного устроить ему аудиенцию у короля. Допущенный пред лицо Его Величества, так он сказал:

– Милостивый мой господин, ваше Королевское Величество!

Разлюбляющие системы, которые я использовал, суть сильнейшие из возможных. И сына твоего, покуда он жив, не удастся подвергнуть разлюблению – вот правда, которую не могу скрывать от Вашего Величества.

Король молчал, подавленный этой новостью, а Трурль продолжил:

– Несомненно, мог бы я его одурить, синтезировать из доступных мне параметров Амарандину, но раньше или позже принц узнал бы об этом коварстве, дойди до него новость о судьбе настоящей принцессы. Оттого остается лишь один выход: королевич должен взять принцессу в жены!

– Ха, мой чужеземец! В том-то, собственно, и проблема, что никогда император не отдаст ее моему сыну!

– А если бы стал он побежден? Когда бы пришлось ему договариваться, как проигравшему, о милости?

– Хм, тогда-то – конечно, но неужто ты хочешь, чтобы я вверг два великих государства в войну, причем без полной уверенности в успехе и затем лишь, чтобы получить для сына руку императорской дочки? Не бывать этому!

– Другого решения я и не ожидал от вашего королевского величества! – сказал спокойно Трурль. – Но все же разными бывают войны, а та, которую я задумал, совершенно бескровна. Поскольку мы не станем нападать на государство императора оружием. Ни одного жителя его не лишим жизни, поскольку будет все ровно наоборот!

– Что сие должно значить? – воскликнул король. – О чем ты?

По мере того, как Трурль нашептывал свои тайны на ухо королю, мрачное дотоле лицо монарха постепенно веселело, пока он не воскликнул:

– Делай же, что задумал, дорогой мой чужеземец, и пусть небо будет тебе в помощь.

Назавтра же королевские кузни и мастерские приступили к изготовлению множества метателей, сооружаемых согласно представленным Трурлем планам – весьма мощных и совершенно непонятного предназначения. Расставили их на планете, замаскировали, чтоб никто ни о чем не догадался. Одновременно Трурль день и ночь сидел в королевской лаборатории кибернетики, колдуя над таинственными котлами, в которых булькали загадочные отвары, а когда б какой шпион пытался следить за ним, ничего бы не узнал, кроме того, что время от времени в закрытых на все засовы залах лаборатории раздается повизгивание, а докторанты и ассистенты бегают сломя головы с кучами пеленок.

Бомбардировка началась неделю спустя, в полночь.

Нацеленные старыми канонирами стволы как один вознеслись, целясь в белую звезду императорской державы – и дали залп: не смерто-, но жизненосный. Поскольку Трурль стрелял младенцами; детометы его осыпали империю неисчислимыми мириадами пищащих младенчиков, которые, быстро подрастая, цеплялись за конных и пеших, и было их столько, что от попискиваний «мама» да «плапла», как и от «пи-пи» и «а-а», трясся воздух и лопались перепонки. И продолжался сей детский потоп, пока экономика империи не смогла его больше выносить и не встал пред глазами всех призрак катастрофы; с неба же, толстенькие и веселенькие, продолжали падать малыши и бутузы, и день превращался в ночь, когда они все вместе взмахивали пеленками. Тогда-то императору пришлось молить короля Протрудина о пощаде, а тот пообещал отказаться от бомбардировок при условии, что сын его сможет взять принцессу Амарандину в жены. На что император с великой поспешностью согласился. Тогда детометы заткнули, женотрон ради безопасности Трурль собственноручно разобрал, и как первый дружка жениха, в одеждах, сверкающих от драгоценностей, с маршальским жезлом в руках, правил он поднимаемыми тостами на громкой той свадьбе. Потом же загрузил ракету дипломами и верительными ленными грамотами да всеми богатствами, что ему король и император даровали, и вернулся, в сиянье славы, домой.

Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона [23]

Не жестокостью досаждал своим подданным король Балерион Кимберский, а пристрастием к увеселениям. И опять же – ни пиров он не устраивал, ни оргиям ночным не предавался; невинные забавы были милы сердцу королевскому: в горелки, в чижика либо в палочку-выручалочку готов был он играть с утра до вечера; однако всему предпочитал Балерион прятки. Ежели требовалось принять важное решение, подписать декрет государственного значения, побеседовать с послами чужезвездными или же дать аудиенцию какому-либо маршалу, король немедля прятался и под страхом суровейших наказаний повелевал себя искать. Бегали тогда придворные по всему дворцу, заглядывали в башни и рвы, простукивали стены, так и этак переворачивали трон, и поиски эти нередко затягивались, ибо король каждый раз придумывал новые тайники и укрытия. Однажды не дошло до объявления сугубо важной войны лишь потому, что король, обвешавшись стекляшками и финтифлюшками, три дня висел в главном дворцовом зале,

изображая люстру, и посмеивался исподтишка над отчаянной беготней придворных.

Тот, кто его находил, немедленно награждался званием Великого Открывателя Королевского; числилось таких Открывателей при дворе уже семьсот тридцать шесть. Ежели кто хотел попасть в доверие к королю, непременно следовало ему поразить монарха какой-то новой, неизвестной игрой. Нелегко это было сделать, ибо был король весьма сведущ в этом вопросе: знал и древние игры, например чет-нечет, и новейшие, с обратной связью, на манер кибернетического праздника весны, время от времени говорил он также, что все есть игра либо развлечение – и его правление, и весь свет.

Возмущали эти речи, легкомысленные и неразумные, степенных королевских советников, а более всех страдал старейшина дворцового совета, достопочтенный Папагастер из древнего рода матрицианского, видя, что для короля нет ничего святого и что даже собственное высочайшее достоинство решается он подвергать осмеянию.

Наибольший, однако, ужас охватывал всех, когда король, поддавшись внезапному капризу, начинал игру в загадки-отгадки. С давних пор увлекался он этой игрой и еще во время своей коронации поразил великого канцлера вопросом, различаются ли между собой патер и матерь, и если да, то чем.

Король вскорости уразумел, что придворные, которым задает он загадки, не слишком тщатся их разгадывать. Отвечали они, лишь бы ответить, впопад и невпопад, что безмерно Балериона гневало. Изменилось дело к лучшему лишь с тех пор, как король заявил, что назначение на придворные должности будет зависеть от результатов отгадывания. Посыпались разжалования и пожалования, и весь двор волей-неволей участвовать начал в играх, придуманных его королевским величеством. К глубочайшему прискорбию, многие сановники решались обманывать короля, и тот, хоть и был добрым по натуре, такого поведения стерпеть не мог. Главный маршал королевский осужден был на изгнание за то, что на аудиенциях пользовался шпаргалкой, укрытой под горловиной панциря; вряд ли бы это обнаружилось, если б некий генерал, его недруг, не сообщил об этом потихоньку королю. Также и старейшине дворцового совета Папагастеру пришлось распрощаться со своей должностью, ибо не знал он, где находится самое темное место в мире. По прошествии некоторого времени дворцовый совет состоял уже из самых ловких во всем государстве разгадывателей кроссвордов и ребусов, а министры и шагу не ступали без энциклопедии. Под конец достигли придворные такой сноровки, что давали

правильные ответы еще прежде, чем король заканчивал вопрос, и дивиться этому не приходилось, поскольку и придворные, и король были постоянными подписчиками «Правительственной газеты», в которой вместо скучных приказов и указов публиковались преимущественно шарады и массовые игры.

Однако, по мере того как проходили годы, королю все меньше хотелось задумываться, и вернулся он поэтому к своему первому и самому любимому развлечению – к игре в прятки. А однажды, разыгравшись, установил совершенно небывалую награду для того, кто придумает самое лучшее укрытие в мире. Наградой этой назначил король драгоценность неоценимую, коронный бриллиант рода Кимберитов, из которого происходил Балерион. Камня этого дивного давно уже никто и в глаза не видел – долгие века пребывал он за семью замками в королевской сокровищнице.

Надо же было случиться, что Трурль и Клапауций во время очередного своего путешествия наткнулись на Кимберию. Весть о причуде королевской как раз облетела все государство, а потому быстро дошла и до конструкторов. Услыхали они это от местных жителей на постоялом дворе, где провели ночь, и отправились наутро ко дворцу, чтобы сообщить, что знают секрет укрытия, равных которому нет. Жаждущих награды явилось, однако, так много, что невозможно было сквозь толпу протискаться. Это пришлось конструкторам не по вкусу, и вернулись они на постоялый двор, решив на следующий день снова попытать счастья. Однако счастью надо хоть чуточку помогать; мудрые конструкторы об этом помнили, а посему Трурль каждому стражнику, который хотел их задержать, а потом и придворным, чинящим препятствия, молча совал в руку увесистую монету: а ежели тот не отступал, но, напротив, возмущался, Трурль тут же добавлял вторую, еще более увесистую; не прошло и пяти минут, а друзья уж очутились в тронном зале перед лицом его величества.

Весьма обрадовался король, услыхав, что такие прославленные мудрецы прибыли в его владения специально, чтобы одарить его сведениями об идеальном укрытии. Не сразу удалось растолковать Балериону что да как, но разум его, с детства приученный к трудным загадкам, ухватил наконец, в чем суть дела, король возгорелся энтузиазмом, сошел с трона и, заверив двух приятелей в неизменной своей благосклонности, сказал, что наградой он их не обойдет при условии, что тут же сможет испробовать тайный рецепт. Клапауций, правду говоря, не хотел сообщать рецепт, бормоча сквозь зубы, что следовало бы ранее написать, как положено, договор на пергаменте, с печатью

и шелковой кистью, однако же король неотступно молил их и клялся всем святым, что награда им обеспечена, – и конструкторы сдались.

Необходимое устройство было у Трурля в маленьком ящичке, который он принес с собой и теперь показал королю. С игрой в прятки не имело это изобретение, собственно, ничего общего, однако можно было применить его и с такой целью. Был это карманный портативный двусторонний обменник индивидуальности, разумеется, с обратной связью. При его посредстве двое могли по желанию обменяться индивидуальностями, что происходило совершенно просто и весьма быстро. На голову надевался аппарат, похожий на коровьи рога. Надо было приставить рога эти к голове того, с кем хочешь совершить обмен, и слегка нажать; тогда включалось устройство, генерирующее две противоточные серии молниеносных импульсов. По одному рогу ваша собственная индивидуальность уходила в глубь чужой, а по другому – чужая индивидуальность вливалась в вашу. Происходила таким образом абсолютная разгрузка памяти и одновременная загрузка чужой памяти в возникшую пустоту.

Трурль для наглядности надел аппарат на голову и приблизил рога к монаршему челу, объясняя, как следует пользоваться обменником, но тут порывистый король так крепко боднул его, что устройство включилось и произошел моментальный обмен индивидуальностей. И совершилось это так быстро и так незаметно, что Трурль, до тех пор экспериментов над собой не производивший, даже не сообразил, что случилось. Клапауций, стоявший поодаль, тоже ничего не заметил и только удивился, что Трурль внезапно прервал свое объяснение, а продолжил его сам король, применяя такие выражения, как «потенциалы нелинейного субмнемонического перехода» или «адиабатический проток индивидуальности по обратному каналу». Лекция продолжалась, и, слушая писклявый голос монарха, почувствовал вскоре Клапауций, что случилось нечто недоброе.

Балерион, находившийся в организме Трурля, вовсе не слушал ученых разглагольствований, а пошевеливал слегка руками и ногами, будто старался поудобней устроиться в новом для него теле, с большим любопытством его осматривая. И вдруг Трурль, облеченный в длинный плащ королевский, взмахнув рукой при повествовании об антиэнтропийных критических переходах, почувствовал, будто ему мешает нечто. Он глянул на собственную руку и остолбенел, увидев, что держит в ней скипетр. Не успел Трурль и слова вымолвить, как король

радостно рассмеялся и бегом выбежал из тронного зала. Трурль устремился за ним, но запутался в пурпурном монаршем одеянии и растянулся во весь рост на полу, а на грохот этот сбежались придворные. Бросились они сначала на Клапауция, думая, что он угрожает Его Величеству. Пока коронованный Трурль поднялся, пока объяснил, что ничего плохого Клапауций ему не сделал, Балериона, бегающего где-то в Трурлевом теле, уж и след простыл. Тщетно пытался Трурль в королевской мантии бежать за ним, придворные того не допустили. Отбивался он от них и кричал, что никакой он не король и что произошла пересадка, они же решили, что чрезмерное увлечение головоломками наверняка повредило разум властителя, а посему почтительно, но непреклонно увели его в спальню, хоть орал он и изо всех сил упирался, и послали за лекарями.

Клапауция же стражники вытолкнули на улицу, и побрел он к постоялому двору, не без тревоги размышляя об осложнениях, которые могут из всего происшедшего возникнуть.

«Разумеется, – думал он, – если б это я был на месте Трурля, то при свойственном мне спокойствии духа мигом навел бы порядок. Не скандалил бы я и не кричал о пересадке, что не могло не вызвать мысль о душевной болезни, – а потребовал бы, используя свое новое, королевское тело, чтобы поймали мнимого Трурля, сиречь Балериона, который бегает себе теперь где-то по городу. А заодно повелел бы я, чтобы другой конструктор остался при моей королевской персоне в качестве тайного советника. Но этот абсолютный кретин, – так назвал он невольно про себя Трурля-короля, – распустил нервы; ничего не поделаешь, придется применить мой стратегический талант, иначе все это добром не кончится…»

Затем постарался Клапауций вспомнить все, что ему известно о свойствах обменника индивидуальности, а знал он об этом немало. Наиболее важным, но вместе с тем и наиболее опасным счел он то свойство, о котором легкомысленный Балерион, злоупотребляющий где-то телом Трурля, и понятия не имел. Если б он упал и при этом рогами боднул какой-нибудь предмет материальный, но неживой, его индивидуальность немедля вошла бы в этот предмет, а поскольку неживые вещи индивидуальности не имеют и ничего взамен со своей стороны дать не могут, тело Трурля стало бы трупом, а дух королевский, замкнутый в камень либо в фонарный столб, а то и в старый башмак, навеки остался бы там.

В тревоге ускорил шаги Клапауций и невдалеке от постоялого двора узнал от оживленно беседующих горожан, что его товарищ выскочил из королевского дворца, будто за ним черти гнались, и,

стремглав сбегая по длинной и крутой лестнице, ведущей в порт, упал и сломал ногу. Это привело его в ярость прямо-таки необычайную; лежа, начал он орать, что, мол, перед ними король Балерион собственной персоной и требует он придворных врачей, носилок с пуховыми подушками и благовоний освежающих. И стоявшие вокруг смеялись над его безумием, а он ползал по мостовой, ругался на чем свет стоит и раздирал свои одежды. Некий прохожий, добросердечный, видно, человек, склонился над ним и хотел помочь ему подняться. Тогда лежащий сорвал с головы шапку, из-под которой, как уверяли лично видевшие эту сцену, показались рога дьявольские. Рогами этими он боднул доброго самаритянина в лоб, вслед за чем пал как мертвый на землю, издавая слабые стоны, а тот, кого он боднул, сразу изменился, «будто сам дьявол в него вступил», и, прыгая, приплясывая, расталкивая всех на пути, во весь дух помчался вниз по лестнице к порту.

Клапауцию прямо-таки дурно сделалось, когда он все это услыхал, ибо понял он, что Балерион, попортив тело Трурля, которое так недолго ему служило, хитроумно пересел в тело какого-то неизвестного прохожего. «Ну вот, теперь-то начнется! – подумал он с ужасом. – И как я теперь найду Балериона, спрятанного в новом и незнакомом теле? Где его искать?» Пробовал он выведать у горожан, кто был прохожий, так добросердечно отнесшийся к поврежденному лже-Трурлю, а также куда девались рога; но никто не знал этого человека, видели только, что одежда на нем была моряцкая и чужеземная, словно приплыл он на корабле из дальних стран. О рогах же никто и вовсе не ведал. Но тут отозвался один нищий; будучи бездомным бродягой, он не смазывал вовремя ноги, а от этого суставы проржавели и пришлось ему передвигаться на колесиках, прикрепленных к бедрам, вследствие чего он лучше других видел то, что происходит у самой земли; нищий этот сказал Клапауцию, что почтенный моряк сорвал рога с головы у лежащего весьма поспешно и никто другой этого и заметить не успел.

Похоже было на то, что обменник по-прежнему у Балериона и цепь головоломных пересадок из тела в тело может продолжаться. Особенно перепугало Клапауция известие о том, что Балерион находился сейчас в каком-то моряке-чужеземце. «Вот те на! – подумал он. – Моряк, а значит, ему, наверное, вскоре отплывать. Если он вовремя не явится на корабль (а он наверняка не явится, ведь Балерион понятия не имеет, с какого корабля этот моряк!), капитан обратится к портовой полиции, а та схватит моряка как беглеца, и король Балерион мигом окажется в подземельях тюрьмы! А если он с отчаянья хоть раз боднет стену

темницы рогами, то есть аппаратом… ужас, ужас и еще раз ужас!»

И хоть поистине ничтожны были шансы найти моряка, в которого перебрался Балерион, немедля отправился Клапауций в порт. Счастье ему сопутствовало, ибо еще издали увидел он большую толпу. Сразу почуяв, чем тут пахнет, вмешался Клапауций в эту толпу и из разговоров понял, что случилось нечто весьма похожее на то, чего он опасался. Не далее как несколько минут назад некий достопочтенный арматор, владелец целой флотилии торговой, приметил здесь своего матроса, человека на редкость добропорядочного. Однако же теперь матрос осыпал прохожих бранными словами; тем, которые предостерегали его и советовали, чтобы шел он восвояси да полиции остерегался, заносчиво в ответ выкрикивал, что он-де сам кем захочет, тем и будет, хотя бы и всей полицией сразу. Возмущенный этим зрелищем арматор обратился к матросу с увещеванием, но тот немедля схватил валявшуюся тут же немалой величины палку и обломал ее о туловище этого почтенного человека. Вдруг появился полицейский отряд, в порту патрулировавший – ибо драки тут нередки, – и случилось так, что во главе его шел сам комендант участка. Поскольку матрос упорствовал в строптивом непослушании, велел комендант его немедля схватить. Когда же подступили к нему полицейские, бросился матрос, как бешеный, на самого коменданта и боднул его головой, из которой нечто наподобие рогов торчало. В тот же миг матрос будто чудом переменился – начал он кричать во весь голос, что он-де полицейский, да не простой, а начальник портового участка; комендант же, выслушав этакие бредни, не разгневался, но неведомо почему засмеялся, словно весьма развеселившись, и приказал своим подчиненным, чтобы они кулаков да палок не жалели и побыстрее скандалиста в каземат препроводили.

Итак, Балерион менее чем за час трижды уже сменил телесное свое местопребывание и находился в теле коменданта, тот же в подземной темнице сидел ни за что ни про что. Вздохнул Клапауций и направился прямиком в участок, каковой находился в каменном здании на набережной. По счастью, никто его не задержал, и вошел Клапауций внутрь, и заглядывал поочередно в пустые комнаты, пока не увидел перед собой до зубов вооруженного исполина, восседающего в тесноватом для него мундире; сурово посмотрел он на конструктора и так угрожающе пошевелился, будто за двери его собирался вышвырнуть. Но в следующий момент рослый сей индивидуум, которого Клапауций впервые в жизни видел, подмигнул ему внезапно и расхохотался, причем физиономия его, к смеху не приученная, поразительно

изменилась. Голос у него был басистый, явно полицейского тембра, однако улыбка его и подмигивание незамедлительно напомнили Клапауцию короля Балериона, ибо король был перед ним, король встал из-за стола – в чужом, правда, теле!

– Я тебя сразу узнал, – сказал Балерион-комендант. – Это ведь ты был во дворце со своим коллегой, который мне аппарат дал, верно? Ну, не отличное ли теперь у меня укрытие? Хе! Да весь дворцовый совет, хоть из кожи вон лезть будет, нипочем не додумается, куда я спрятался! Превосходная это штука – быть вот таким важным здоровенным полицейским! Глянь-ка!

И, сказав это, он трахнул могучей, истинно полицейской лапищей по столу – доска даже треснула, да и в кулаке что-то хрустнуло. Поморщился слегка Балерион, но, растирая руку, добавил:

– Ох, что-то у меня там лопнуло, да это не важно – в случае надобности пересяду я, может, в тебя. А?

Клапауций невольно к двери попятился, комендант, однако, загородил ему путь исполинской своей тушей и продолжал:

– Я, собственно, тебе, дорогуша, зла не желаю, но ты можешь наделать мне хлопот, поскольку секрет мой знаешь. А потому думаю, что лучше всего будет, если засажу я тебя в кутузку. Да, так будет лучше всего! – Тут он отвратительно захохотал. – Таким образом, когда я во всех смыслах уйду из полиции, никто уже, в том числе и ты, не будет знать, в ком я спрятался, ха-ха!

– Однако же, ваше величество! – проговорил Клапауций с нажимом, хоть и понизив голос. – Вы подвергаете свою жизнь опасности, ибо не знаете многочисленных секретов этого устройства. Вы можете погибнуть, можете оказаться в теле смертельно больного человека или же преступника…

– Э! – ответил король. – Это меня не пугает. Я, мой милый, сказал себе, что должен помнить лишь об одном: при каждой пересадке рога надо забрать!

Говоря это, он потянулся рукой к столу и показал аппарат, лежащий в ящике.

– Каждый раз, – продолжал он, – должен я это схватить, сорвать с головы того, кем я был, и взять с собой, тогда мне нечего бояться!

Пытался Клапауций убедить его, чтобы оставил он мысль о дальнейших телесных переменах, но тщетно: король лишь посмеивался в ответ. Под конец сказал Балерион, явно развеселившись:

– О том, чтобы я во дворец вернулся, и говорить нечего! Уж если хочешь знать, то вижу я перед собой длинное странствие по телам моих подданных, что, кстати сказать, согласуется с моей

демократически настроенной натурой. А в завершение, вроде как на десерт, оставлю я себе вхождение в тело какой-нибудь пленительной девы – это ведь наверняка будет ощущение безмерно поучительное, ха-ха!

Говоря это, открыл он дверь одним рывком могучей лапищи и гаркнул, вызывая своих подчиненных; видя, что если не совершить нечто отчаянное, то попадешь в каземат, схватил Клапауций чернильницу со стола, плеснул чернила в лицо королю, а сам, пользуясь временной слепотой своего преследователя, выпрыгнул в окно. К счастью, было это невысоко, а к тому же никаких прохожих поблизости не оказалось, так что удалось ему, мчась во весь дух, добраться до многолюдной площади и затеряться в толпе, прежде чем полицейские, которых король последними словами обзывал, начали выбегать из участка на улицу, одергивая мундиры и грозно бряцая оружием.

Клапауций, отдаляясь от порта, предался размышлениям поистине невеселым. «Лучше всего было бы, – думал он, – предоставить эгого мерзкого Балериона его судьбе да отправиться в больницу, где пребывает тело Трурля с душой честного матроса; если это тело попадет во дворец, приятель мой снова может стать самим собой – и духовно, и телесно. Правда, появится тогда новый король с матросским естеством, но пропади он пропадом, этот весельчак Балерион!»

План был неплох, однако для его осуществления не хватало одной вещи, хоть и небольшой, но весьма важной, – обменника с рогами, который находился в ящике комендантского стола. Поразмыслил было Клапауций, не удастся ли ему построить второй такой аппарат, но для этого не хватало как материала и инструментов, так и времени.

«Ну тогда, может, так сделать… – рассуждал Клапауций, – пойти к Трурлю-королю; он, надо полагать, уже пришел в себя и сообразил, что следует делать. Скажу ему, чтобы повелел он солдатам окружить портовый полицейский участок; таким образом попадет в наши руки аппарат, и Трурль сможет вернуться в собственное тело!»

Однако его даже и не впустили во дворец, когда он туда направился. «Король, – сказали ему в караульне дворцовой, – спит крепко, потому что лекари придворные применили средство электронного успокоения и подкрепления; сон этот продолжится не менее сорока восьми часов».

«Этого только не хватало!» – в отчаянии подумал Клапауций и пошел в больницу, где пребывало Трурлево тело, ибо опасался, что, выписавшись досрочно, исчезнет оно в лабиринтах большого города. Представился он там как родич потерпевшего – имя

матроса удалось ему вычитать в истории болезни. Узнал Клапауций, что ничего серьезного с матросом не случилось, нога у него была не сломана, а лишь вывихнута, однако же несколько дней не сможет он покинуть одра больничного. Свидеться с матросом Клапауций, разумеется, не стремился, поелику имело бы это лишь одно последствие: обнаружилось бы, что они с потерпевшим вовсе незнакомы.

Удостоверившись хоть в том, что тело Трурля не сбежит внезапно, вышел Клапауций из больницы и начал бродить по улицам, погрузившись в напряженные размышления. И не заметил он, как в этих своих блужданиях приблизился к порту, а тут увидал, что кругом так и толкутся полицейские и испытующе заглядывают в лицо каждому прохожему, сверяя черты его облика с тем, что записано у них в блокнотах служебных. Сразу понял Клапауций, что это штучки Балериона, который настойчиво разыскивает его, дабы в каземат ввергнуть. В тот же миг обратился к нему ближайший караульный; дорога к отступлению была отрезана, ибо из-за угла вышли еще два стражника.

Тогда с совершенным спокойствием сам отдался Клапауций в руки полицейских и сказал, что одного лишь добивается – чтобы те привели его к своему начальнику, поскольку должен он немедля дать чрезвычайно важные показания о некоем ужасном злодеянии. Тут же его окружили и кандалы надели, но на счастье не сковали обеих рук, а лишь его десницу к шуйце стражника приторочили.

В участке полицейском Балерион-комендант встретил скованного Клапауция, удовлетворенно ворча и злорадно подмигивая маленькими глазками, конструктор же еще с порога возопил, всячески стараясь изменить свою речь на чужеземный манер:

– Господина начальника! Ваша благородия полицейская! Моя хватать, что я Клапауций, но нет, моя не знать никакая Клапауций! Но, может быть, это такая нехорошая, она боднуть-пихнуть моя рогами на улице, и моя-твоя чудо быть, наша-ваша, и моя терять телесность и теперь душевность от моя, а телесность быть от не моя, моя не знать как, но та рогач убежать быстро-быстро! Ваша великая полицейскость! Спасите!

И с этими словами пал хитроумный Клапауций на колени, гремя кандалами и болтая быстро и неустанно на ломаном этом языке. Балерион же в мундире с эполетами, за столом стоя, слушал и моргал, слегка ошеломленный; вглядывался он в коленопреклоненного, и видно было, что уж почти поверил ему, ибо Клапауций по дороге к участку вдавливал пальцы свободной левой руки в лоб, чтобы получились там две вмятины, подобные

тем, какие оставляют рога аппарата. Приказал Балерион расковать Клапауция, выгнал всех своих подчиненных, а когда остались они с глазу на глаз, велел Клапауцию подробно рассказать, как было дело.

Клапауций сочинил длинную историю о том, как он, богатый чужеземец, лишь сегодня утром причалил к пристани, везя на своем корабле двести сундуков с самыми удивительными в мире головоломками, а также тридцать прелестных заводных девиц, и хотел он и то и другое преподнести великому королю Балериону, ибо был это дар от императора Труболюда, который тем самым выразить желал династии Кимберской дистанционное свое почтение; и как по прибытии сошел он с корабля, дабы хоть ноги размять после длительного странствия, и прохаживался преспокойно по набережной, когда некий субъект, с виду вот именно такой, – тут показал Клапауций на свое туловище, – уже тем возбудивший его подозрение, что так алчно глазел на великолепное одеяние чужеземное, внезапно ринулся на него с разгона, будто обезумел и хотел его, страхом объятого, навылет пробежать; однако же лишь сорвал с головы шапку, боднул его сильно рогами, и свершилось тогда непонятное чудо обмена душ.

Заметить тут надлежит, что Клапауций немало страсти вложил в сие повествование, стремясь придать ему как можно более правдоподобия. Подробно рассказывал он о теле своем утраченном, а также весьма презрительно и едко отзывался о том, в котором пребывал сейчас будто бы из-за несчастного случая, он даже оплеухи себе самому закатывал и плевал то на живот, то на ноги; не менее подробно описывал он сокровища, им привезенные, а в особенности девиц заводных; говорил о своей семье, оставленной в краю родном, о сыне-машине, о мопсе своем электронном, об одной из трехсот своих жен, которая умеет такие соусы готовить на ионах сочных, что и сам император Труболюд подобных не едал; доверил он также коменданту полиции самый большой свой секрет, а именно: что условился он с капитаном корабля, чтобы тот отдал сокровища любому, кто на палубе появится и тайное слово произнесет.

Алчно выслушивал Балерион-комендант бессвязное его повествование, ибо и вправду все это казалось ему логичным: Клапауций хотел, видимо, укрыться от полиции и совершил это, перенесясь в тело чужеземца, которого избрал потому, что муж сей облачен был в великолепные одежды, а значит, наверняка богат; благодаря такой пересадке возможно было обзавестись немалыми средствами.

Видно было, что различные мысли Балериона одолевают. Всячески старался он выпытать тайное слово от лжечужеземца,

который, впрочем, не очень тому противился и наконец шепнул ему на ухо это слово, а звучало оно так: «Ныртек». Теперь уже видел конструктор, что привел Балериона туда, куда нужно, ибо Балерион, на головоломках помешанный, не желал, чтобы преподнесли их королю, поскольку сейчас сам он королем не был: уверовал он во все, а следовательно, и в то, что Клапауций имел второй аппарат, да и не было у него причин сомневаться в этом.

Сидели они теперь молча, и видно было, что какой-то план созревает в голове Балериона. Начал он кротко и тихо выспрашивать у мнимого чужеземца, где стоит его корабль, как на него попасть и так далее. Клапауций отвечал, на алчность Балериона рассчитывая, и не ошибся, ибо тот внезапно поднялся, заявил, что должен слова его проверить, и вышел из кабинета, тщательно заперев двери. Услыхал также мнимый чужеземец, что, наученный недавним опытом, поставил Балерион на пост под окном комнаты вооруженного стражника.

Знал, разумеется, Клапауций, что корыстолюбец ни с чем вернется, ибо ни корабля такого, ни сундуков с головоломками, ни заводных девиц и в помине не было. Однако на этом его план и основывался. Едва закрылись двери за королем, подбежал Клапауций к столу, достал из ящика аппара***Тип***оскорее нацепил его на голову, а потом преспокойно стал дожидаться Балериона. В скором времени услыхал он грохот шагов и извергаемые сквозь зубы проклятия, потом заскрежетал ключ в замке, и ввалился в комнату комендант, с порога еще выкрикивая:

– Мерзавец, где корабль, где сокровища, где головоломки?!

Однако больше он ничего не успел вымолвить, потому что Клапауций, притаившийся за дверью, прыгнул на него, как взбесившийся козел, боднул его в лоб, и, прежде чем успел Балерион как следует расположиться в новом теле, Клапауций-комендант во весь голос заорал, вызывая полицейских, и велел заковать короля, тут же в каземат отправить да стеречь хорошенько! Ополоумев от неожиданности, Балерион в новом теле понял наконец, как позорно его провели; уразумев, что все время имел дело с ловким Клапауцием и никакого чужеземца не существовало, разразился в темнице ужасающими ругательствами и тщетными угрозами – ибо не было уже у него аппарата.

Клапауций же хотя временно и утратил свое хорошо знакомое тело, но зато получил обменник индивидуальности, чего и добивался. Так что облачился он побыстрее в парадный мундир и отправился прямиком во дворец королевский.

Король по-прежнему спал, однако Клапауций в качестве коменданта полиции заявил, что необходимо ему хоть на десять секунд повидать короля, поскольку речь идет о деле величайшего

значения, интересах государства, и такого всякого наговорил, что придворные перепугались и допустили его к спящему. Хорошо зная привычки и причуды Трурля, Клапауций пощекотал ему пятку; Трурль подпрыгнул и немедленно пробудился, ибо щекотки боялся сверх меры. Он быстро пришел в себя и удивленно глядел на незнакомого исполина в полицейском мундире, но тот, склонившись, сунул голову под балдахин кровати и шепнул:

– Трурль, это я, Клапауций, мне пришлось пересесть в полицейского, иначе я не добрался бы до тебя, да еще с аппаратом в кармане…

Рассказал тут Клапауций о своей хитрой проделке, и Трурль, чрезвычайно обрадованный, встал немедля и заявил, что чувствует себя отменно. А когда обрядили его в пурпур, воссел он со скипетром и державой на троне, дабы отдать многочисленные приказания. Велел он поначалу, чтобы привезли ему из больницы его собственное тело с ногой, которую вывихнул Балерион на портовой лестнице; когда же сделали это, наказал он лекарям придворным, дабы пострадавшего немедля величайшей заботой и опекой окружили. Посоветовавшись затем с комендантом полиции, сиречь Клапауцием, решил Трурль действовать во имя восстановления всеобщего равновесия и подлинного порядка.

Нелегко это было совершить, ибо история безмерно запуталась.

Однако же конструкторы не имели намерения вернуть все души в прежние их телесные оболочки. Ранее всего, со всей возможной быстротой следовало так учинить, дабы Трурль и телесно стал Трурлем, равно как Клапауций – Клапауцием. Повелел поэтому Трурль привести пред лицо свое скованного Балериона в теле коллеги прямо из каземата полицейского. Совершили тут же первую пересадку. Клапауций снова стал собой, королю в теле экс-коменданта полиции пришлось выслушать немало весьма неприятного, после чего отправился он опять в каземат, на этот раз – королевский; официально же объявили, что впал он в немилость вследствие неспособности к решению ребусов. Назавтра тело Трурля до такой степени уже выздоровело, что можно было на пересадку отважиться. Одна лишь проблема нерешенной оставалась: неловко все же было покинуть эту страну, вопроса о престолонаследии должным образом не уладив. Ибо о том, чтобы извлечь Балериона из оболочки полицейской и снова на престол усадить, конструкторы и думать не желали. Решили они поэтому рассказать обо всем тому честному матросу, который в теле Трурлевом обретался, взяв с него великую клятву, что сохранит он молчание. Увидев

же, как много содержится разума в этой простой душе матросской, сочли они его достойным властвовать, и после пересадки Трурль стал самим собой, матрос же – королем. Еще ранее повелел Трурль доставить во дворец большие часы с кукушкой, каковые заприметил в антикварном магазине поблизости, когда бродил по городу. И пересадили разум короля Балериона в тело кукушечье, а кукушкин разум – в тело полицейского; тем самым восторжествовала справедливость, ибо королю с той поры пришлось добросовестно трудиться и аккуратным кукованьем, к которому принуждали его в соответствующее время уколы часовых шестеренок, весь остаток жизни искупать, вися на стене тронного зала, безрассудные свои забавы и покушение на здравие конструкторов. Комендант же вернулся на прежнюю службу и отлично с ней справлялся, ибо кукушечьего разума оказалось для этого вполне достаточно.

Когда все совершилось, друзья, попрощавшись поскорее с венценосным матросом, взяли пожитки свои на постоялом дворе и, стряхнув с башмаков прах этого не слишком гостеприимного королевства, двинулись в обратный путь.

Присовокупить следует, что последним деянием Трурля в теле королевском было посещение дворцовой сокровищницы, откуда забрал он коронную драгоценность рода Кимберского, поскольку награда эта по справедливости ему полагалась, как изобретателю неоценимого укрытия.

Путешествие пятое А, или Консультация Трурля [24]

Ни далеко, ни близко, под белым солнцем, за зеленой звездой жил народ сталеоких. Жил счастливо, хлопотливо, безбоязненно, поскольку ничего не боялся: ни неурядиц семейных, ни суеверий диких, ни мыслей черных, ни ночей белых, ни материи, ни антиматерии, поскольку была у него машина машин с зубчатой передачей, отлично налаженная и ухоженная, во всех отношениях безупречная. Жили-поживали сталеокие в ней, на ней, над ней и под ней, поскольку ничего другого у них не было: они сперва атомов поднакопили, затем из них машину соорудили, а если не подходил какой-то, его на месте подгоняли. И все-то у них шло хорошо: у каждого сталеокого была в ней своя ячейка с номерком, и каждый своим делом занимался – то есть делал что хотел. Ни сталеокие не управляли машиной, ни она ними, и все друг другу помогали, когда понадобится. Одни трудились машинерами, другие машинастерами, третьи машинистами, и у каждого имелась своя машинистка. Работы у всех было невпроворот, и часто им

пригодилась бы то ночь подлиннее, то лишний день, а порой и солнечное затмение, но это уже редко – чтобы не обрыдло все.

И вот прилетела раз к их белому солнцу за зеленой звездой комета женского пола, ужас какая злющая, вся атомная сама собой – от головы до четырех хвостов, устрашающе синяя, оттого что синильной кислотой пропитанная, и зловонная нестерпимо. Прилетела она и заявляет:

– Для начала вас огнем пожгу, а дальше будет видно!

Поглядели на нее сталеокие: полнеба затмевает, обулась в сапожища огненные, нейтроны-мезоны жаром пышут, атомы размером с домину, один другого больше, нейтрино, гравитация…

– Ну а теперь я поужинаю, – заявляет.

Те ей в ответ:

– Ошибаешься ты. Мы, сталеокие, не боимся никого и ничего – ни неурядиц семейных, ни суеверий диких, ни мыслей черных, ни ночей белых, ни материи с антиматерией, потому что у нас есть машина машин с зубчатой передачей, отлично налаженная и ухоженная, во всех отношениях безупречная. Проваливай поэтому, дорогая комета, чтобы не было тебе худо!

А она уж целое небо собой затмила – и давай жечь, печь, рычать, шипеть, так что даже месяц на небе стал кукожиться, и рога его начали обугливаться. Жалко стало сталеоким и обидно за спутник – пусть маленький, обветшавший и потрескавшийся, но свой. Но они не возмущались, а только поле помощней подобрали, завязали его узелками на кончиках рогов и замкнули контакты – не словом, а делом ответили. Гахнуло, охнуло, лопнуло, и небо моментально очистилось, а от кометы только кучка шлака и осталась – наша взяла! Тишина и покой опять.

Но спустя какое-то время опять что-то появляется, неведомо что, да такое страшное, прямо смотреть боязно, с какого боку ни глянь на него. Вот прилетело оно, разошлось, сошлось, уселось на верхотуре, такое тяжелое-претяжелое, сидит и с места не трогается. А уж мешает-то как, не сказать!

Те, что поближе оказались, и закричали ему:

– Эй, слушай, это ошибка! Мы, сталеокие, не боимся никого и ничего, не на планете мы живем, а в машине, и машина это не простая, а машина машин с зубчатой передачей – отлично налаженная и ухоженная, во всех отношениях безупречная. Так что проваливай отсюда, паскуда, не то не поздоровится!

Не подействовало.

Тогда, чтобы не переусердствовать из-за невесть чего, посылают сталеокие совсем небольшую машинку-страшинку, чтобы напугала пришелицу, шуганула, и все будет в порядке, мол.

Машина-страшина пошла, идет, программы одна ужасней другой у ней внутри урчат, подобралась – да как гаркнет, как взвизгнет! Даже сама немного перепугалась – а той хоть бы хны. Попробовала было еще раз, в другом тембре, да ничего не вышло у нее – без уверенности уже стращала.

Видят сталеокие, как-то иначе надо. Посовещались: «Возьмем большего калибра, с шестернями в масле, дифференциальную, универсальную, под завязку заряженную, чтобы пенделя задать такого, что улетит! – А заряда хватит? – Ядерный заряд ядреный, как пить дать улетит!»

Послали, значит, машину универсальную, двуствольно-дифференциальную, с глушителем, обратной связью, задней передачей и ручным управлением – внутри нее сидят машинист с машинисткой, а сверху на ней прикреплена еще одна машина-страшина на всякий случай. На масляных шестернях подъехала она бесшумно, ни мур-мур, замахнулась и повела обратный отсчет: четыре четвертых до удара, три четвертых, две, одна четвертая и зеро – смерть тебе! Да как бабахнет – аж грибы повырастали, самые настоящие, только светящиеся и радиоактивные. Масло расплескалось, шестеренки повылетали, выглянули машинист с машинисткой из люка, все ли кончено, да куда там – на том чуде-юде ни единой царапины!

Посовещались сталеокие и построили тогда машину, которая создала машинерию для постройки машинищи, перед мощью которой ближайшие звезды померкли бы. И в этой машинище еще другая, которая с шестеренками в масле, а у нее всередине машинка-страшинка, – не до шуток уже стало.

Сконцентрировалась машинища, да как замахнется! Загрохотало, загремело, разлетелось что-то, гриб такой вырос, что на суп из океана хватило бы, потемнело и только скрежет зубовный, неизвестно чей в темноте. Глядят сталеокие – ничего, совсем ничего, только все три машины рассыпаны лежат и не шевелятся.

Тут уж засучили они рукава, приговаривая: «Как это так, мы же машинеры и машинисты с машинистками, у нас машина машин есть, ухоженная вся, налаженная, во всех отношениях безотказная, – как же удается перед ней устоять какой-то чуде-юде, неведомой паскуде, для которой все, что об стенку горох?!

И вот ничем другим они уже не занимаются, только выращивают разрыв-траву. Якобы разрастется она, подкрадется тихой сапой, подкопом, к противнику, корешки запустит, снизу прорастет – да как рванет, тогда и беде конец! Так в точности и произошло, как они рассчитывали, да только желанного результата не принесло – осталось все по-прежнему.

Пришли в отчаяние сталеокие, недоумевая, что за напасть на них свалилась, какая и не снилась. Собираются они, обсуждают, мастерят всякие приманки да ловушки, арканы да капканы: может, попадется, поймается, провалится? Так и этак пробуют наугад, но работа кипит, а ничего не удается. Совсем пали они духом, не зная, как им спастись, и вдруг видят – кто-то летит.

Сидит, как на коне – но у коня нет колес; тогда, может, на велосипеде – но у велосипеда нет такого острого носа; значит, ракета – но у ракеты нет седла. Что летит неизвестно, зато известно, кто в седле: лихо восседает на нем и приветливо усмехается, уже близко, уже поравнялся – да это не абы кто, а сам Трурль выбрался на прогулку или в очередную экспедицию! Кто же не узнает даже издали знаменитого конструктора.

Подлетел он, спустился, ему и рассказывают что да как.

– Мы, сталеокие, есть у нас машина машин, ухоженная, отлаженная, во всех отношениях безупречная, мы по атомам ее собирали и сами построили, не боимся никого и ничего, ни неурядиц семейных, ни предрассудков устаревших, да вот прилетело нечто – село, сидит и ни с места.

– А напугать пробовали? – участливо спрашивает Трурль.

– Да пробовали, – и машинкой-страшинкой, и машиной-страшиной, и машинищей, у которой все шестеренки смазаны и атомы размером с дом, а как поедет на своих нейтрино, все вокруг мезоны разлетаются, все волны разгоняются, – да только никак это не помогло нам.

– Не помогли машины, говорите?

– Ни одна из них, уважаемый.

– Хм, любопытно. А что это такое, собственно?

– Этого-то мы и не знаем. Появилось, прилетело неизвестно что, но такое страшное, что жуть берет, с какой стороны ни взглянешь на него. Прилетело оно, уселось, тяжеленное, как невесть что, и сидит. Мешает так, что не сказать словами.

– Вообще-то, времени у меня немного, – сказал Трурль, – в лучшем случае, могу побыть у вас какое-то время консультантом. Согласны?

Сталеокие согласны, конечно же, и сразу спрашивают, что потребуется? Доставить фотоны, винты, кувалды, болты, стволы или сразу пушки и динамит? А пока с дороги, может, чаю подать? Машинистка мигом принесет.

– Чай можно принести, – отвечает Трурль, – это поможет в работе. Что касается остального – то нет, пожалуй. Заметьте: и машина-страшина, и машинища, и разрыв-трава оказались бесполезны в этом деле. Здесь нужен иной подход – старомодный и подзабытый, но безотказный. Во всяком случае, я не слыхал

еще, чтобы выставление счетов не подействовало.

– Простите, что? – спрашивают сталеокие.

Но Трурль вместо ответа продолжает:

– Метод проще простого. Принесите-ка бумаги, чернил, штемпели и круглые печати, сургуча побольше и песочка, скрепок и кнопок, – и ложечку с блюдцем, потому что чай уже на столе, – и позовите почтальона. Да, а чем писать есть у вас?

– Найдется! – и бегом приносят.

Трурль садится и начинает диктовать машинистке:

«В связи с Вашим делом за номером 7/2/КК/405 Комиссия ВЗРТСП извещает, что Ваше пребывание, как противоречащее § 199 постановления от 19 XVII текущего года и являющееся нарушением установленного распорядка, ведет к приостановке действия выданного свидетельства, в соответствии с Указом 67 ДВКФ № 1478/2. Для обжалования настоящего решения в срочном порядке следует обратиться с соответствующим заявлением к Председателю Комиссии в течение двадцати четырех часов с момента получения данного извещения».

Проштемпелевал Трурль эту бумагу, поставил печать, распорядился зарегистрировать под соответствующим номером в гроссбухе и в журнале входящей и исходящей корреспонденции и говорит:

– А теперь пусть почтальон доставит это адресату.

Отправился почтальон, нет его и нет, наконец, возвращается.

– Вручил? – спрашивает его Трурль.

– Вручил.

– А где расписка в получении?

– Вот она, в этой папке, вместе с обжалованием.

Берет Трурль обжалование и, не читая, размашисто пишет наискосок поверх него: «Не рассмотрено в связи с отсутствием необходимых приложений». Ставит неразборчивую подпись и приказывает отнести обратно отправителю.

– А теперь, – говорит, – за дело.

Садится и что-то пишет. Все вокруг глядят на него, ничего не понимая, и интересуются: что это да зачем?

– Делопроизводство, – отвечает Трурль, – чтобы успешно разрешить дело, которое уже стронулось с мертвой точки.

Бегает почтальон в сумасшедшем темпе туда-обратно весь день. Трурль ответы без штемпеля не принимает, резолюции накладывает, машинистка стучит беспрерывно, целая канцелярия образовалась мало-помалу: папки, акты, дыроколы, скоросшиватели, бумаги копятся, сортируются, шкафы от них уже ломятся, пишмашинка стучит, черные лоснящиеся нарукавники, пятна чернил на столах, повсюду стаканы с ложечками и

недопитым чаем, мусор на полу и табличка висит «Посторонним вход воспрещен».

Удручены недоумевающие сталеокие, а Трурль знай себе шлет заказные письма, то с почтовыми марками, то с оплатой доставки получателем и уведомлением о вручении, а то и похуже – с предъявлением счетов с множеством нулей, рассылает предписания, формуляры, приказы и распоряжения и говорит, что это еще не все.

И спустя какое-то время становится видно, что не так уж страшна беда – она явно уменьшилась в размере, особенно в вышину. Точно уменьшилась! Сталеокие допытываются у Трурля: дальше-то что? А он им: – Не мешайте делопроизводству!

И сам печати продолжает ставить, что-то регистрирует, что-то подшивает, что-то отзывает, жилетка не застегнута, галстук свисает из ящика стола, никаких посторонних разговоров, ненормированный день, жидкий чай и паутина куда ни глянь, почту доставили – сразу сорок четыре пакета, потребуются еще четыре шкафа, вызовите ходатая по делу, кто следующий, что там в заявлении – дело о взятке, об оскорблении при исполнении, о домогательстве и аморальном поведении? Наказать и произвести экзекуцию в срок со среды по субботу – вот приказ с семью печатями и подписью.

А машинистка тем временем выстукивает:

«В связи с непредставлением Заявителем требуемого разрешения, согласно постановлению Ком. Изд. Вр. Пр., с сего дн. предписывается ему безотлагательно обратиться в Деп. Нак. при Глав. Снаб. для взыскания с него недост. ср. на основании норм. акт. Тр. УП. и наложенной соответствующими инстанциями резолюции. Данное решение обжалованию не подлежит».

Отправляет с этим посланием Трурль почтальона, прячет в карман книжицу с квитанциями, а затем встае***Tun***принимается поочередно выбрасывать в открытый космос письменные столы, бюро, пухлые папки с документами, штемпели и даже печати, туда же отправляет свой недопитый чай, оставляя только машинистку в канцелярии.

– Да что же вы делаете! – вопят сталеокие, которые успели привыкнуть ко всему этому. – Как же без этого?

– Да не паникуйте, мои дорогие, – отвечает он им. – Взгляните-ка туда лучше!

И действительно, они аж ахнули – пусто, чисто, нет никого, будто и не было никогда. Куда подевалось? Никак улетучилось? В позорном бегстве так уменьшилось, что и в лупу не различишь. Бросились искать следы пребывания и только одно пятнышко мокрое нашли там, где сидело, что-то будто накапало или

протекло – неизвестно что и как, и ничего больше.

– Именно на это я и рассчитывал, – говорит Трурль сталеоким. – Было это, мои милые, дело не такое сложное: как только первое извещение оно приняло и в книжечке расписалось в получении, сразу же влипло. Я использовал особую безотказную машину, название которой начинается с прописной буквы «Б». За все время существования Космоса никто еще не мог справиться с ней!

– Ну хорошо, но зачем было выбрасывать все бумаги и выливать чай? – спрашивают сталеокие.

– Да чтобы эта машина потом и с вами не обошлась так же! – ответил им Трурль.

С этими словами он отбыл, забрав с собой машинистку и помахав всем на прощанье. И улыбка на его лице светилась, как звезда на небе.

Путешествие шестое, или Как Трурль с Клапауцием Демона Второго Порядка создали, чтобы разбойника Мордаса одолеть [25]

«От народов же Больших Солнц два караванных пути ведут не юг. Один, древний, пролегает от созвездия Квадриги к Гяурзаурону, звезде коварной, неверно мерцающей во тьме, из-за чего несложно сбиться с верного пути, как то было с Карлом из Абассидов, и попасть в гибельную Пустыню Кромешную, откуда девять караванов из десяти уже не возвращаются. Другой же, новый тракт, недавно проложен Империей Мирапудов, чьи армады рабов пробили ракетами тоннель непосредственно в самом Гяурзароне Белом длиной шесть миллиардов прамиль.

Северный вход в этот тоннель надлежит искать так: от последнего из Больших Солнц держи курс на полюс и, пройдя через семь колец электромолитв, возьми левее и сбавь скорость, подлетая к огненной стене поверхности Гяурзаурона, пока не увидишь отверстие тоннеля, как черную точку посреди пламени белого. Смело пикируй в нее, ибо ширина тоннеля такая, что и восемь кораблей могут идти по нему борт в борт, не касаясь стен, и зрелище, равного которого нет, узришь в иллюминаторах. Сперва проскочишь Диски Огненные вращающиеся, а дальше – по погоде, как повезет: если внутри светила буря магнитная бушует на расстоянии одного-двух миллиардов миль, увидишь огромные сгустки огня и его раскаленные артерии белопламенные; если буря ближе или же семибальный тайфун надвигается, даст о том знать турбуленция, сотрясающая судно так, словно обшивка и переборки вот-вот не выдержат, и огонь все пожрет. Но это только

так кажется, потому что огонь горит – и не сгорает, жжет – и не сжигает, и корабль летит в тоннеле, надежно защищенном распорками сверхмощных полей. Видя, как зреет и возбухает мощь протуберанцев, как молнии, эти предвестники бури, ярятся в огненных геенах, надлежит только крепче держать штурвал и светилу глаза в глаза глядеть, позабыв о картах навигацких и целиком положившись на свои навыки вождения, ибо путь здесь иначе, нежели прежде, всякий раз пролегает.

Пробитый в недрах Гяурзаурона тоннель изгибается и в кольца свивается, аки поражаемый копьем змий. Поэтому широко отверстыми надлежит держать зеницы, омывая и охлаждая их льдом спасительным, что струями прозрачными стекает с гребня шлема, и только следить неотрывно за мчащимися навстречу стенами, с колышущимися языками огненными, а заслышав адское гудение и скрежет корабельной брони, огнем поливаемой и осыпаемой солнечной магмой, не уповать ни на что, кроме собственных умения и быстроты. Не упуская при этом из виду, что не огнепад и не всякое сжатие тоннеля говорят о начавшемся звездотрясении или огненной лавине. Опытный навигатор поэтому не станет без крайней нужды кричать «Горим!» и звать команду к насосам, чтобы не насмехались потом более опытные товарищи, как он каплей фреона собирался предвечный пожар звезды погасить. Ведь опытные навигаторы знают, что если уж на самом деле звездотрясение случится, то экипажу корабля только и остается, что вдохнуть поглубже напоследок, потому что ни на что большее времени не останется ни у кого, и дело вкуса – с открытыми или закрытыми глазами смерть принять, пламени это безразлично. Тем более, что такой исход вещь редчайшая, ибо каркас тоннеля, стараниями рабов Империи Мирапудов, надежно поддерживает его своды, и головоломная езда по нему навылет, аки по блистающему зеркальному коридору в водородной толще Гяурзаурона, восхищения достойна. Не зря говорят, кто в этот тоннель попал, легко из него и выйдет, чего никак не скажешь о Пустыне Кромешной. И даже если раз в столетие происходят в нем обрушения, лучшей дороги все же нет ныне.

Путь же через Пустыню, о чем само ее название говорит, чернее ночи кромешной, куда даже свет ближайших звезд не отваживается проникать. Завален он железом покореженных обломков кораблей, словно в грохочущей ступе перемолотых, благодаря обманному свету Гяурзаурона сбившихся с верного пути и погибших, чьи обломки захвачены гравитацией и обречены водить хороводы посреди космической бездны до скончания галактического цикла. К востоку от Пустыни Кромешной находится королевство живоглотов слюнявых, на западе –

королевство рукохватов глазастых, а на юг тянутся усеянные кладбищами дороги к невесомой сфере голубой Лазуреи и дальше – в Мургундию Пламеннолистую, где алеют каплями крови безжелезные звезды архипелага Колесница Алькарона.

Сама Пустыня, как было сказано, настолько же черна и непроглядна, насколько ослепляет белизной сверкающий пассаж внутри Гяурзаурона. Накрывшая ее тьма не столько от самумов, смерчей песчаных и метеоритных осадков происходит, а говаривают некоторые, в том причина, что неведомо с какой поры и невесть в каком глухом ее углу или в темной норе глубокой обитает в пустыне нечто – не то чудь, не то нежить. Неведомцем его окрестили, поскольку, кто повстречается с ним и настоящее имя его узнает, ничего уже не сможет рассказать, да и света белого более не увидит. Судачат, что Неведомец этот – чародей-разбойник, и сидит он в своем замке, из черноты гравитации поднявшемся и обнесенном нескончаемой бурей песчаной вместо вала, а стенами ему служат пустота и небытие, и все окна того замка – слепые, а все двери – глухие. Подстерегает этот Неведомец караваны, и как в очередной раз завладеет им нестерпимая страсть грабить и потрошить путников, дохнет он черной пылью на диски солнц, указующих путь, запорошит их, затмит и собьет караванщиков с торного пути. Тогда выскочит он, как смерч, из небытия, обовьет тесными кольцами всех и в пустоту своего замка унесет, тщательно следя, чтоб наималейшей булавочки рубиновой не обронить, так это ужасное создание аккуратно. А потом лишь обглоданные останки всплывают ниоткуда и долго кружат по Пустыне вместе с корабельными заклепками, попавшими на зуб чудовищу и выплюнутыми им, как косточки.

Но с той поры как открылся благословенный гяурзауронский тоннель, проложенный мириадами ракетчиков-рабов, и вся навигация переместилась в него, лишившийся добычи Неведомец так рассвирепел и раскалился, что мрак Пустыни прожег и сам просвечивать стал сквозь непроглядную стену гравитации, словно костяк фосфоресцирующий в узилище своем замогильном. Твердят некоторые умники, будто бы нет никакого Неведомца и не было никогда. Легко им так мудрствовать, ибо несравненно труднее ополчиться с открытым забралом на то, для чего и слов-то нет у них, обретающихся в уютной тиши и вдали от огненной тьмы. Легко не верить в чудовищ, и несравненно труднее алчности их мерзкой не поддаться и победить. Разве не такое чудовище поглотило самого Кибернатора Мургундии со свитой из восьмидесяти особ на трех судах, так что от сих благородных вельмож только и остались лишь погрызенные пряжки,

вынесенные прибоем туманным на берег Малой Солярии и подобранные местными крестьянами? Разве не сделалось его жертвами великое множество других достойных мужей, с которыми оно расправилось без церемоний и тени жалости?

Так хотя бы в смиренной электрической памяти помянем и почтим сих непогребенных, если не найдется кто-то, кто сумеет по-рыцарски отомстить их обидчику, следуя старинному кодексу звездопроходцев».

Все это однажды вычитал Трурль в случайно купленной им у букиниста потрепанной книге. Он немедленно отправился с ней к Клапауцию и повторно, от начала до конца и уже вслух, прочитал другу эту быль или небыль, которая так ему самому понравилась.

Клапауций, как умудренный конструктор, не понаслышке знающий Космос и во всех мастях звезд и туманностей разбирающийся, только усмехнулся, покивал головой и говорит:

– Надеюсь, ни единому слову в этих россказнях ты не поверил?

– Отчего же я должен не верить? – обрушился на него Трурль. – Взгляни, в книге есть даже искусная гравюра с изображением Неведомца: как он два солнечных парусника пожирает и добычу в подземелье прячет. А что касается туннеля в сверхгиганте – разве нет такого в звезде Бет-эль-Гейзе? Ты же не такой невежда в космографии, чтобы подвергать это сомнению…

– Что касается гравюры, то я тебе сейчас же могу нарисовать дракона с глазищами в две тыщи солнц, если уж ты считаешь рисунок доказательством чего-то, – ответил ему Клапауций. – А касательно туннеля – упомянутый тобой имеет длину всего два миллиона миль, а не миллиарды какие-то, к тому же звезда эта почти остыла, и путешествие по нему не представляет собой ни малейшей опасности, о чем ты прекрасно знаешь, поскольку побывал в нем и сам летал. То же с Пустыней Кромешной, которая, на самом деле, лишь огромная космическая свалка диаметром в десять килопарсеков, и кружит она между Маэридой и Тетрахидой, а не по соседству с какими-то гяурозаврами огнеголовыми, которых в природе не существует, и правда здесь только то, что в ней, действительно, темно, и то лишь оттого, что она утопает в грязи. Конечно же, никакого Неведомца там быть не может. Это даже не вполне простительный пересказ некого фантастического предания, а дешевая байка, придуманная каким-то недоумком.

Трурль обиженно поджал губы.

– Не будем спорить о туннеле. Ты считаешь его безопасным, потому что сам в нем не летал, в отличие от меня, иначе бы так не говорил. Но оставим это. Что же касается Пустыни с

Неведомцем, убеждать с помощью словесных аргументов не в моих привычках. Необходимо попросту отправиться туда и удостовериться, что из написанного здесь, – и он поднял со стола толстенную книгу, – правда, а что нет!

Клапауций принялся отговаривать друга от такого намерения, как мог, но тщетно. В очередной раз убедившись в упрямстве Трурля, не допускавшего и мысли отказаться от столь своеобразно возникшего плана нового путешествия, он оставил попытки и заявил, что не желает его больше в глаза видеть. Тем не менее, вскоре Клапауций и сам засобирался в дорогу, чтобы не дать своему старому другу погибнуть в одиночку – как-то сподручнее все же вдвоем глядеть в глаза смерти.

Запасшись всем необходимым, ибо экспедиция предстояла в места пустынные (хоть и не столь живописные, как описаны в книге), друзья отправились в путь на испытанном не раз судне, по мере углубления в неведомые просторы задерживаясь то тут, то там, чтобы сориентироваться и разведать обстановку. Не так многое, однако, удавалось узнать от местных обитателей, которые здраво судили и могли поделиться сведениями лишь о своей округе, а о местах более удаленных, где им не доводилось бывать, плели всевозможные небылицы, особенно подробно живописуя и смакуя всякие ужасы. Клапауций, в конце концов, охарактеризовал подобные байки всем известным выражением «маразм крепчает».

По мере приближения корабля, после пяти-шести миллионов огненных выхлопов, к Черной Пустыне, все чаще до путешественников стали доходить слухи о неком разбойнике-великане по прозвищу Гоп-Стоп. Никто из рассказывавших о нем никогда сам его не видел и не мог сказать, откуда такое странное прозвище. Трурль предположил, что когда-то на воровском жаргоне оно могло означать что-то вроде «Инь-Ян», что позволяло говорить о двойственной и даже полярной натуре этого разбойника. Более трезвомыслящий Клапауций предпочел воздержаться от гипотез. Как можно было понять из выпусков новостей, этот жестокий разбойник являлся еще и истероидным психопатом, легко впадавшим в неистовство. Любая добыча казалась ему недостаточной, и, уже обобрав свою жертву до нитки и не удовлетворив гложущую его алчность, он принимался яростно избивать ее до полусмерти, прежде чем отпустить. Призадумались друзья-конструкторы, не обзавестись ли им ввиду этого каким-нибудь огнестрельным и холодным оружием, прежде чем устремляться в Черную Пустыню, однако, обсудив это, решили, что лучшим из всех видов оружия являются их универсальный и дальнобойный разум и отточенная

конструкторская мысль, после чего продолжили свой путь налегке.

Необходимо признать, что Трурль в этом путешествии был горько разочарован тем, что звездные россыпи, пылающие огни, мертвые пустыни и метеоритные барьерные рифы куда живописнее рисовались в его воображении и описывались в старинной книге, чем представали глазам путешественников. Звезды попадались им все какие-то неказистые и немолодые, да и тех кот наплакал. Одни едва мерцали, как дотлевающие в пепле угольки, другие уже потемнели, и только в трещинах их сморщенной шлаковой скорлупы просвечивали красные прожилки. Никаких тебе пылающих джунглей или таинственных омутов, никто из местных жителей о таких даже не слыхал, ибо всякая пустыня тем и отличается, что скучно и нудно в ней до посинения именно по причине ее пустынности – и точка. Что же касается метеоритов, то такого добра в космосе выше крыши, и в их мусорном вороньем грае почти неразличимо благородное звучание настоящих магнетитов или вулканических тектитов. Целая их река тянулась к южному галактическому полюсу, до которого было уже рукой подать, и куда подспудное космическое течение, с завихрениями, сносило несметное множество космического мусора, – обломков, отходов и отбросов, – из центральных областей галактики. Поэтому соседние народы и звали эту пустошь не пресловутой Пустыней Кромешной, а попросту мусорной свалкой.

Трурль старался скрыть, насколько возможно, постигшее его глубокое разочарование от Клапауция, чтобы не дать ему повода для злорадства, и твердой рукой направил их корабль в Пустыню, начав снижение. Сначала забарабанил песок по днищу корабля, а затем всякие звездные нечистоты, заброшенные сюда солнечными протуберанцами, облепили его обшивку таким толстым вязким слоем, что одна мысль о предстоящей чистке отбивала последнюю охоту к путешествиям.

Звезды сразу же скрылись в обступившем сумраке, и приходилось лететь почти на ощупь. Как вдруг корабль тряхнуло так, что задребезжала вся имевшаяся на борту утварь, – горшки, приборы и прочее, – и астронавты ощутили резкое ускорение, переходящее в падение, после чего раздался жуткий треск, и корабль довольно мягко сел на что-то или же воткнулся носом во что-то и замер, сильно накренившись при этом. Путешественники припали к иллюминаторам, но ничего разглядеть было невозможно – тьма такая, хоть глаз выколи. И тут раздались удары – кто-то невидимый и наделенный чудовищной силой пытался проникнуть внутрь корабля, так что переборки тряслись

и содрогались. Только теперь друзья немного пожалели о своей предусмотрительной безоружности, однако не время было для сожалений, и чтобы кто-то не повредил и не сорвал силой люк корабля, они сами открыли его изнутри.

Глядят они – а кто-то уже морду свою безразмерную в люк пытается протиснуть. О том, чтобы самому войти целиком, и речи не может быть, настолько он огромен. Морда, надо сказать, отвратительная до невозможности, глазками вдоль и поперек и сверху донизу вся усеянная, носяра, как пила, и челюсти – не челюсти, а жвалы какие-то, стальные и крючковатые. Не шевелится застрявшая в люке морда, только глазками воровато стреляет во все стороны, каждая их группка свою часть помещения обследует, а выражение у морды как бы оценивающее: чем здесь можно поживиться и стоит ли овчинка выделки? Смысл подобного высматривания дошел бы даже до олуха, не говоря уж о двух конструкторах.

– Что здесь ищешь? – спрашивает, наконец, Трурль, разозлившийся от бесцеремонного разглядывания и затянувшегося молчания. – Чего тебе надо от нас, мордоворот?! Я – конструктор Трурль, омнипотентор всемогущий, а это мой товарищ, Клапауций, тоже известная знаменитость, мы с ним путешествуем на своем корабле как космические туристы. Поэтому немедленно убери-ка свою физиономию и помоги нам сняться с этого непонятного и явно замусоренного места, а потом укажешь нам дорогу в нормальный чистый космос, иначе мы подадим куда надо жалобу, и разберут тебя до последнего винтика! Слышишь ты, мусорщик, что я тебе говорю?!

А тот на это не реагирует никак, только продолжает пялиться и что-то как бы прикидывать про себя. Подсчитывает, что ли?

– Слушай ты, уродина! – срывается Трурль, ни с чем уже не считаясь, как ни одергивает его Клапауций, чтобы он пыл свой поумерил. – Нет у нас ни золота, ни серебра, ни драгоценностей, так что отпусти нас сейчас же, а прежде всего убери свою мерзкую рожу отсель! А ты, – обратился он к Клапауцию, – меня не одергивай, у меня свой ум имеется, и я знаю, как и с кем разговаривать!

– Они мне без надобности, – отзывается, наконец, морда, впиваясь тысячью горящих глаз в Трурля, – не золото и серебро я ищу прежде всего, и обращаться ко мне следует вежливо и уважительно, поскольку я грабитель с образованием и дипломом, и по природе очень нервный. Не такие, как вы, попадались мне, и я творил с ними, что хотел. Вот как закую вас, так и запоете у меня птичками сладкоголосыми. Мое имя Мордас, тридцать аршин во мне вдоль и столько же поперек, я, и вправду, граблю

народ, но только с современным научным подходом. То, что я у всех отбираю, это сокровища знаний – важные секреты, подлинные сведения и, вообще, всякая ценная информация. А теперь давайте, выдавайте мне, что знаете, а если нет – как свистну щас! До пяти считаю: раз, два, три…

Досчитал он до пяти и, ничего не получив, действительно, свистнул так, что у конструкторов едва уши не оторвало. Клапауций рассудительно подумал, что разбойник с дипломом все же предпочтительней тех, что выскакивают на большой дороге со словами «Жизнь или кошелек!». А Трурль только руками за голову схватился, поскольку свист Мордаса оказался под стать его габаритам.

– Ничего от нас не получишь! – заорал он, а Клапауций тем временем сбегал за ватой. – И убери свою морду сейчас же!

А Мордас на это:

– Морду заберу, так руку просуну – а она у меня такая длинная, тяжелая и хваткая, что упаси боже! Внимание – начинаю!

И действительно, вата, которой запасся Клапауций, оказалась не нужна уже, потому что морда исчезла, а вместо нее из люка протянулась грязная лапища стальная, узловатая и когтистая, и принялась с железным скрежетом загребать и крушить столы, шкафы и перегородки. Трурль с Клапауцием отбежали и за атомным котлом укрылись от нее, и как только к ним палец какой-то потянется, они сверху по нему кочергой – бац! бац!

Осердился разбойник, вновь морду в люк просунул и говорит так:

– Мой вам совет, договориться со мной сейчас же по-хорошему, а не согласны – перенесем это на потом. Упрячу вас на самое дно моих погребов, сверху мусором засыплю и камнями придавлю так, что и не пошевелитесь, покуда насквозь не проржавеете, и не с такими как вы справлялся! Выбирайте: по-хорошему договоримся – или по-плохому?

Трурль даже слышать не хотел ни о каком торге, но Клапауций думал иначе и решил поинтересоваться, что именно желает разбойник с дипломом от них получить.

– Ну вот, такие речи мне по вкусу. Я коплю сокровища знаний, такое уж у меня хобби в жизни, по причине высшего образования и практического подхода к сути вещей. Тем более, что за обычные сокровища, за которыми гоняются разбойники-простофили, здесь ничего не купишь, тогда как научные и прочие знания утоляют жажду познания. Ведь известно, что все сущее и есть информация, поэтому с давних пор я собираю ее и впредь намерен копить и преумножать. Я не имею, конечно же, ничего

против каких-то драгоценностей и золота – они красивы, тешат глаз и служат украшению, но их я беру только между делом, когда представится такая возможность. Должен предупредить, что за ложные сведения я жестоко избиваю, как и за фальшивые драгоценности, поскольку моя утонченная натура жаждет аутентичности!

– И какого же рода драгоценная и аутентичная информация тебе нужна от нас? – спрашивает Клаупауций.

– Любая, лишь бы правдивая и достоверная, – отвечает тот на это, – любая может пригодиться на жизненном пути. Закрома мои и погреба уже ломятся, но еще столько же информации в них поместится. Итак, выкладывайте все, что вам известно, и побыстрее – а я буду записывать!

– Хорошенькая история, – шепчет Клапауций Трурлю на ухо, – эдак он может нас здесь сто лет продержать, прежде чем мы выложим все свои познания, так они огромны!..

– Погоди, – отвечает Трурль, – теперь я уже буду вести с ним переговоры.

– Послушай-ка, разбойник дипломированный, – громко обращается он к Мордасу, – что касается золота, то есть у нас информация, стоящая всей остальной. Мы можем дать тебе рецепт, как делать золото из атомов, скажем для начала, из водорода, которого в Космосе немерено. Хочешь, дадим тебе его – и ты нас отпускаешь, согласен?

– Да у меня полный сундук таких рецептов, – гневно отвечает Мордас, пуча глаза, – и все никуда не годятся! Нет уж, теперь меня не надуешь – рецепт сперва проверить надо.

– Отчего же нет? Это можно. Есть у тебя горшок?

– Нет.

– Ладно, можно и без горшка обойтись при определенной сноровке, – говорит Трурль. – Рецепт проще простого: берешь столько атомов водорода сколько весит один атом золота, то есть восемьдесят семь. Сперва их необходимо от электронов облущить, затем замесить протоны, сделать ядерное тесто и хорошенько его выбить, пока мезоны не выступят, а затем красиво его обложить снаружи электронами. Так получишь чистое золото, смотри!

И принялся Трурль атомы ловить, электроны обдирать, протоны месить, так что только руки замелькали, приготовил протонное тесто, электронами обложил, опять наловил атомов – и по новой. Пяти минут не прошло, как он протянул морде на ладони брусок чистого золота, тот попробовал на зуб, кивнул и говорит:

– И правда, золото, да только гоняться так проворно за атомами, как ты, у меня не получится – великоват я для этого.

– Это пустяки, – уговаривает его Трурль, – мы дадим тебе для этого специальную ловушку. И прикинь, золото можно получать не только из водорода, а из чего угодно, мы снабдим тебя рецептами его получения из других элементов – все в Космосе можно превратить в золото, если постараться!

– Если все в нем будет из золота, то оно потеряет всякую ценность, – возразил на это практичный Мордас. – Нет, ни к чему мне эти ваши рецепты, то есть – я записал этот себе, но этого мало. Сокровищ знаний я жажду!

– Но что именно ты хочешь знать, холера ясная?

– Все!

Переглянулись Трурль с Клапауцием, и Клапауций говорит:

– Если ты торжественно поклянешься и присягнешь, что потом нас отпустишь, мы предоставим тебе всеобъемлющую информацию обо всем на свете. Для этого мы изготовим тебе собственноручно Демона Второго Порядка – магического, термодинамического, статистического и неклассического, который сможет тебе хоть из дырявого бочонка или чиха любого экстрагировать информацию обо всем, что было, что есть, что может быть и что будет. Нет демона мощнее этого, ибо он Демон Второго Порядка. Нужен тебе такой, отвечай?

Дипломированный разбойник был недоверчив и привередлив и не сразу принял выдвинутое условие, но все же поклялся, наконец, оговорив, что сначала должен получить Демона и сам убедиться в мощи его всеведения. Трурль согласился с этим.

– Слушай, мордоворот, – спрашивает, – а есть у тебя где-то здесь воздух? Без воздуха Демон не сможет функционировать.

– Кажется, есть немного, – отвечает Мордас, – может, не совсем чистого, потому что остался он от…

– Не имеет значения, может быть хоть затхлым, – говорят конструкторы. – Проведи нас туда, где он у тебя, и все увидишь!

Убрал разбойник свою морду, выпустил их наружу и повел за собой. Ноги у него были – как башни, спина – как обрыв, и весь он, испокон веку неумытый и несмазанный, скрежетал невероятно. Вошли они за ним в коридоры подземелья, минуя завалы заплесневелых мешков, в которых грабитель хранил информацию, уложенную стопками и перевязанную шпагатом, подчеркивая самое важное и ценное в ней красным карандашом. На каменной стене подвала висел на проржавевшей цепи преогромный каталог с перечнем единиц хранения в алфавитном порядке. Заглянул в него Трурль – действительно, не счесть тут краденной информации, стоящей и достоверной, однако идут они дальше с Клапауцием и кривятся: всюду, куда ни глянь, подвалы, как мусорные завалы, и пещеры, как мусорные карьеры, глухим

эхом шаги отдаются, воздуха предостаточно, только затхлый он до невозможности. Остановились, наконец, Трурль и говорит Мордасу:

– Погляди: воздух состоит из атомов, которые скачут во все стороны и сталкиваются миллиарды раз в секунду в каждом кубическом микромиллиметре. В этом и заключается суть газа, что они сшибаются так и распрыгиваются вечно. И хоть сталкиваются и отскакивают они вслепую и в случайном направлении, из-за их численности – а их миллиарды миллиардов в любой щелочке! – в этом непрестанном копошении и отскоках порой могут образовываться, если повезет, прелюбопытные конфигурации… Известно ли тебе, дубина стоеросовая, что такое «конфигурация»?

– Попрошу без оскорблений! – отвечает Мордас. – А то я хоть и разбойник, но не дремучий и неотесанный, а утонченный и дипломированный, и поэтому очень нервный!..

– Ладно-ладно. Так вот, из этих атомных отскоков могут возникать некие имеющие определенное значение конфигурации – примерно как, если бы из бросков вслепую о стенку на ней нарисовалась бы какая-то буква. То, что в макромире является величайшей редкостью и почти неправдоподобно, на атомном уровне в газовой среде случается на каждом шагу непрестанно по причине биллионов соударений каждую стотысячную долю секунды. Вся проблема состоит вот в чем: в каждой частичке воздуха из кувырков и соударений атомов могут складываться, действительно, значимые конфигурации – бесспорных истин и глубоких сентенций, но в тысячи раз больше происходит прыжков и отскоков хаотичных и совершено бессмысленных. Хоть уже в древности было известно, что в каждом миллиграмме воздуха, – даже того, что у тебя под носом твоим покляпым, – каждый миг складываются строчки тех стихов, что написаны будут, может, через миллион лет, и фрагменты всевозможных важных сообщений и разрешения всех загадок и тайн Бытия. Однако, не существовало раньше способа экстрагировать эту драгоценную информацию, тем более, что, сталкиваясь лбами и образуя некое подобие смысла, атомы тут же разлетались вместе с исчезающей навсегда, возможно, информацией. Поэтому весь фокус в том, чтобы построить селектор, выделяющий в суете атомов только нечто, имеющее смысл. В этом и состоит назначение Демона Второго Порядка. Понимаешь ли ты, вообще, о чем речь идет, большой Мордас? Речь о том, чтобы этот Демон экстрагировал только стоящую чего-то информацию из пляски атомов: математические теоремы и выкройки из журналов мод, исторические хроники и рецепты косметических масок, способы

штопки и стирки тканей с асбестовой пропиткой, стихи и научные рекомендации, альманахи и календари, расследования того, что было, где бы то ни случилось в Космосе, и что писали и пишут сегодня газеты по этому поводу, телефонные книги, которые еще только будут изданы…

– Довольно! Довольно! – закричал Мордас. – Прекрати, наконец! Что с того, что эти атомы так складываются, если они тут же разлетаются, и вообще, я не верю, чтобы драгоценные истины можно было отделить от какого-то дерганья скачущих атомов воздуха, которое не имеет смысла и ни на что не годно!

– Похоже, ты, и впрямь, не так уж глуп, как я полагал, – сказал Трурль, – поскольку вся трудность в том и состоит, чтобы запустить механизм отбора. И я совсем не собираюсь убеждать тебя в такой возможности теоретически, а, согласно нашей договоренности, здесь, на месте, берусь построить Демона Второго Порядка, чтобы ты сам наглядно убедился в абсолютном совершенстве его всезнания. От тебя потребуется только дать мне какую-то коробку или ящичек: он может быть совсем небольшим, но герметичным; мы проделаем в нем булавкой крошечную дырочку и посадим на нем верхом Демона, который будет выпускать из этой дырочки только осмысленную информацию и ничего, кроме нее. Как только какая-то кучка атомов случайно сложится так, что обретет смысл, Демон немедленно хвать ее и все запишет алмазным самописцем на ползущей бумажной ленте, для чего необходимо приготовить ее немерено, поскольку работать он будет денно и нощно, пока существует Космос. Заметь: со скоростью сто миллиардов записей в секунду – так что ты сам увидишь и убедишься в эффективности этого Демона Второго Порядка!

С этими словами Трурль отправился на корабль мастерить Демона, а Мордас спрашивает Клапауция после его ухода:

– А что собой представляет Демон Первого Порядка?

– Ну, этот не так интересен – обычный термодинамический демон, который только и умеет, что выпускать через отверстие одни быстрые атомы, а медленные задерживать, в чем состоит термодинамический принцип действия обычного перпетуум-мобиле. Во всяком случае, к информации это не имеет никакого отношения, так что приготовь-ка лучше посудину с дырочкой, потому что Трурль вот-вот вернется!

Отправился дипломированный разбойник в другой подвал, погремел там железяками, побранился, попинал их ногами, бродил-бродил, вытащил, наконец, из-под металлической рухляди старую и пустую жестяную бочку, проделал в ней крошечное отверстие и возвращается – а навстречу ему уже идет

Трурль с Демоном в руках.

Из бочки смердело так, что впору нос было зажать, поднося его к отверстию, но Демону это было нипочем. Посадил Трурль свою крошку верхом на бочку над отверстием, установил наверху большую бобину с бумажной лентой, отмотал и подвел ее конец к подрагивающему от нетерпения алмазному самописцу, и пошла писать машина: стуки-тук, туки-тук, – как заправская телеграфистка, только в миллион раз быстрее! Дрожало и вибрировало маленькое перышко с бриллиантиком на кончике, а исписанная информационная лента стала сползать понемногу на грязный и замусоренный донельзя пол подземелья.

Присел рядом с бочкой разбойник Мордас, вперился сотней глаз в бумажную ленту и принялся читать, что там такого важного вылавливает Демон, просеивая информацию из нескончаемой атомной эквилибристики. И так его поглотило это занятие, что и не заметил он, как оба конструктора поскорее выбрались из подземелья, корабль свой ухватили за рули, дернули раз-другой-третий и освободили из западни разбойничьей, в которую попались, после чего запрыгнули внутрь и помчались прочь с такой скоростью, на которую только были способны, поскольку знали, что, хоть их Демон без устали работает, можно только гадать, какими непредсказуемыми сокровищами знания наделит он Мордаса, и чем это может для них обернуться.

Мордас же сидел, опершись о бочку, и под попискивание алмазного перышка, которое на бумажной ленте записывало все выловленное Демоном из свистопляски атомов, читал, как правильно вязать кисточки для алебард, что дочь царя Петриция Лабудийского звалась Гарбундой, и о том, что входило в меню второго завтрака короля неказистиков Фредерика II до того, как он пошел войной на гвендолинов, и сколько электронных оболочек насчитывал бы атом термионолиума, если бы такой элемент существовал в природе, и каковы размеры заднего прохода пташки, зовущейся куротелкой, которая изображена на розамфорах Вебедей Марлайских, а также о трех компонентах вкуса и букета океанического ила на Призрачной Водоции, и о цветке Любудук, от дурманного запаха которого на рассвете старомалфандские охотники валились с ног, как подкошенные, и как легко и быстро изготовить макет многранника, зовущегося икосаэдром, и что за ювелир изготавливал украшения для Фалуция, леворукого палача бювантов, и сколько филателистических журналов будет издаваться в семидесятитысячном году в Морконавтии, и где покоятся останки Кибриции Краснопятой, в которую вогнал гвоздь по шляпку по

пьяному делу некий Сердоболт, и чем отличается сила притяжения от силы натяжения, и у чего в Космосе наименьший диаметр, и почему вши и блошки не заводятся во мху, и каковы правила игры, зовущейся Догони-Качели, а также сколько весила кучка львиного помета, на которой поскользнулась нога Абрукиана Письмоносца на восьмом километре альбакирского тракта в Долине Сивых Испарений.

Читал это все подряд Мордас, и злоба начинала его распирать, поскольку стал он догадываться, что вся эта совершенно достоверная и вполне содержательная информация ему абсолютно ни к чему, и образуется из нее такой винегрет, от которого у него только голова уже трещит и трясутся колени. Но Демон Второго Порядка продолжал работать со скоростью триста миллионов бит информации в секунду, и милями продолжала сползать на пол исписанная бумажная лента, белыми кольцами опутывая постепенно дипломированного разбойника, как паутиной, и бриллиантик самописца все вибрировал, как ошалевший, отчего разбойнику все еще мерещилось, что вот-вот все же он узнает нечто столь неслыханное, что откроет ему глаза на саму сущность Бытия, и потому он не в силах был оторваться от ленты, летящей из-под пера, и читал застольные песни квайдофилов, узнавал о размерах ночных туфель с помпонами на континенте Гондвана, о толщине волос, растущих на медном лбу тарахтящего богомола, и величине родничка у пладенцев-сироток, и заклинаниях жрецов Прибыли для пробуждения тучного Тельца Наживы, и шпалерах дюконских, и шести способах варки манной каши, и отменной отраве для тещ, и вариантах щекотки, и списке граждан Швицкой Цирюлии с фамилиями на букву М, и органолептических признаках скисания пива…

Мурашки забегали в глазах разбойника и взревел он во всю мощь своего голоса, ибо истощилось его терпение, да только опутан он был уже тремястами тысячами бумажных миль так, что пошевелиться не мог и мог только продолжать читать: как мог бы начать Редьярд Киплинг свою «Вторую Книгу Джунглей», если бы болел у него в это время живот, и что чувствует удрученный отсутствием подруги кит, и как выглядят брачные ухаживания трупных мух, и как латать прохудившиеся мешки, и почему ртуть жидкая, и о ком говорится «жнец, швец и на дуде игрец», а также какого размера синяк под глазом может оставить удар кулаком. Затем пошла целая статья о тонких различиях между косами и абрикосами, первые из которых растут на голове, а вторые на дереве. Выскочил длинный список рифм к слову «капуста», за ним правильный ответ на вопрос викторины: «Какими словами оскорбил папа Ульм из Пендер антипапу Мульма?», и список

счастливых обладателей губных гармошек. Тут Мордас предпринял отчаянную попытку освободиться из бумажных сетей, но быстро выбился из сил. Как ни рвался он из спеленавшей его ленты, – уворачивался от нее, зубами рвал в клочки и разбрасывал, но слишком уж много было у него глаз, чтобы какая-то их часть не продолжала считывать поступающую информацию, так что, хочешь не хочешь, он узнавал, в чем состояли обязанности дворника в Индокитае, и почему дояры пони-пегасов вечно жалуются, что их продуло. А Демон тем временем продолжал связывать Мордаса все новыми бумажными бандажами, карая дипломированного разбойника за его ненасытную алчность и желание всеведения.

Поныне сидит этот разбойник под гнетом бумажных мусорных завалов в своем мрачном подземелье, в котором светится только дрожащая искорка алмазного самописца, продолжая фиксировать все, что Демон Второго Порядка вылущивает из воздуха – из толчеи атомов, протискивающихся через дырочку в старой бочке. И захлестнутый информационным потопом бедолага Мордас продолжает все глубже вникать и постигать назначение помпонов, тараканью участь и свою собственную планиду, здесь представленную, поскольку и ее описание неизбежно обнаружится на каком-то из километров бумажной ленты, как появятся на ней и все прочие истории и гороскопы судеб всякой твари вплоть до угасания Солнц.

Так вот строго покарали его за разбой два конструктора, и не предвидится для него избавления – разве что когда-нибудь бумажная лента закончится из-за дефицита бумаги.

Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело [26]

Вселенная бесконечна, но ограниченна, а потому световой луч, в какую бы сторону он ни двинулся, через миллиарды веков вернется к исходной точке, если у него хватит сил; так же точно бывает и со слухами, что снуют по Космосу от планеты к планете.

Дошли однажды до Трурля издалека слухи о двух могущественных конструкторах-благодетелях, наделенных такой мудростью и таким совершенством, что никто с ними не сравнится; Трурль немедленно отправился к Клапауцию, но тот ему объяснил, что это слух о них самих, а не о таинственных соперниках, облетев Космос, вернулся назад.

Но знаменитости имеют обыкновение помалкивать о своих неудачах, даже если было причиной этой неудачи не что иное, как высокое их совершенство. Кто в этом усомнится, пускай

припомнит последнюю из семи экспедиций Трурля; предпринял он эту экспедицию в одиночку, ибо Клапауций был тогда занят срочными делами и не мог составить ему компанию.

Был Трурль в то время спесив безмерно и знаки почтения принимал как нечто вполне обычное и привычное. Направил он свою ракету на север, потому что эти края меньше всего знал. Долго летел он, минуя и планеты, на которых кипели битвы, и те, которыми уже завладела смертная тишина, пока случайно не подвернулась ему маленькая планета, прямо-таки микроскопическая, этакая крупинка материи, затерянная в пространстве.

По этому скалистому обломку кто-то бегал взад-вперед, подпрыгивая и странно жестикулируя. Удивленный таким одиночеством и обеспокоенный этими признаками не то отчаяния, не то гнева, Трурль поскорее спустился на планету.

Навстречу ему двинулся осанистый исполин, весь иридиево-ванадиевый, бряцающий и звенящий; открыл он Трурлю, что зовется Экзилием Тартарейским и является властелином Панкриции и Ценендеры, обитатели коих королевств в припадке цареубийственной ярости свергли его с престола и, изгнав, высадили на этой пустынной крохотульке, чтобы он до скончания веков дрейфовал вместе с ней в темных токах гравитации.

Узнав в свою очередь, с кем имеет дело, начал этот монарх домогаться, чтобы Трурль – благодетель, можно сказать, профессиональный – незамедлительно вернул ему утраченную власть; и при одной мысли о таком обороте дел глаза его зажглись огнем мести, а стальные пальцы начали сжиматься, будто хватали верноподданных за горло.

Трурль, однако, не мог и не хотел исполнить желаний Экзилия, ибо это повлекло бы за собой множественные злодеяния и преступления, но стремился все же как-то успокоить и утешить оскорбленного монарха. Поразмыслив хорошенько, он пришел к убеждению, что и в этом случае не все потеряно, поскольку можно сделать так, чтобы и король был сыт, и его прежние подданные целы. Поэтому, призвав на помощь все свое мастерство, Трурль поработал как следует и сконструировал для Экзилия совершенно новое государство. В нем было полным-полно замков и знамен, рек и гор, лесов и озер; были там облака, плывущие по небу, и воины, жаждущие битвы; были бастионы и бряцанье сабель, города и горничные, были также и ярмарки, залитые ярким солнцем, и дни, прошедшие в тяжелом труде, и ночи, когда до рассвета пели и плясали, и лязг палашей. С изощренным уменьем вмонтировал Трурль в это государство великолепную столицу, всю из мрамора и горного хрусталя, а

также совет старейшин, зимние дворцы и летние резиденции, заговорщиков и клеветников, кормилиц и доносчиков, стада великолепных рысаков и пунцовые плюмажи, веющие на ветру; затем пронизал он атмосферу государства серебряными нитями фанфар и гулкими громами артиллерийских салютов, подбросил также необходимую пригоршню предателей и пригоршню героев, щепотку вещунов и пророков, по одному мессии и поэту немыслимой силы духа; а потом, присев над готовым государством, проделал пробный запуск и, по ходу дела манипулируя микроскопическими устройствами, придал женщинам этого государства красоту, мужчинам – угрюмую молчаливость и тягу к пьяным ссорам, чиновникам – спесь и служебное рвение, астрономам – звездный запой, детям же – крикливость. И все это, объединенное, сопряженное, тщательно подогнанное, умещалось в ящике, не слишком большом, как раз такого размера, что Трурль смог его легко поднять; затем вручил он все Экзилию на вечное владение. Наперед еще показал Трурль, где размещены входы и выходы этого новенького, с иголочки, государства, как программируются там войны, как подавляются мятежи, как налагаются поборы и подати; научил он также Экзилия, где находятся в этом миниатюризованном обществе критические пункты, грозящие взрывом, то есть где имеется точка максимума дворцовых заговоров и общественных движений, а где точка минимума; объяснял он это так хорошо, что король, издавна привыкший к тиранническому правлению, на лету усваивал поучения и тут же, на глазах у конструктора, издал несколько пробных указов, соответственным образом передвигая изукрашенные королевскими орлами и львами ручки регуляторов. Объявлялись этими указами чрезвычайное положение, комендантский час и особая подать, после чего, когда в королевстве этом прошел год, а для Трурля и короля – не более минуты, Экзилий актом высочайшего милосердия, то есть легким движением пальца на регуляторе, отменил одну смертную казнь, подать уменьшил, а чрезвычайное положение изволил аннулировать, и крики благодарности, будто писк мышат, которых дергают за хвостики, вырвались из ящика, а сквозь выпуклое его верхнее стекло можно было наблюдать, как на светлых пыльных дорогах и на берегах лениво текущих рек, в которых отражались пушистые облака, народ радовался и прославлял ни с чем не сравнимое великодушие государево.

И хотя был Экзилий поначалу уязвлен подарком Трурля, ибо слишком уж маленьким казалось это государство и слишком походило на детскую игрушку, однако же, видя, как увеличивается оно, когда глядишь сквозь толстое верхнее стекло,

а может, и неясно ощущая, что дело вовсе не в масштабе, поскольку государственные дела не измеришь ни метром, ни килограммом, чувства же, независимо от того, испытывают их карлики или великаны, в общем-то одинаковы, поблагодарил он конструктора, правда, сквозь зубы и холодно. Кто знает, может, он охотно даже приказал бы, чтоб дворцовая стража сейчас же схватила Трурля и на всякий случай замучила пытками до смерти, поскольку наверняка было бы сподручней уничтожить в самом зародыше всякие толки о том, что какой-то голодранец, бродяга, промышляющий поделками, подарил могущественному монарху королевство. Был, однако, Экзилий достаточно благоразумен, чтобы сообразить, что ничего из этого не выйдет вследствие явной диспропорции: скорее удалось бы блохам арестовать своего кормильца, нежели всему теперешнему королевскому войску справиться с Трурлем. Так что король еще раз кивнул слегка Трурлю, сунул жезл и скипетр за пазуху, не без труда поднял ящик с государством и отнес его в свою изгнаннические хибарку. То солнце освещало ящик, то ночь его тьмой покрывала в ритме оборотов планеты, а Экзилий, которого подданные уже провозгласили величайшим королем в мире, бдительно правил страной – приказывал и наказывал, казнил и награждал, и такими методами непрерывно поощрял этих малюток к идеальному верноподданничеству и преклонению перед монархом.

Трурль же, возвратившись домой, сразу не без самодовольства рассказал своему другу Клапауцию, как он блеснул конструкторским мастерством, удовлетворив одновременно и монархические стремления Экзилия, и республиканские – бывших его подданных. Клапауций, однако же, как ни странно, не выразил восторга. Наоборот, нечто вроде укора прочел Трурль в его глазах.

– Верно ли я тебя понял? – спросил он. – Ты отдал в вечное пользование этому извергу, этому прирожденному надсмотрщику за рабами, этому пыткофилу или муколюбу целое общество? И ты еще рассказываешь мне о восторге, который вызван тем, что аннулирована часть жестоких указов? Как ты мог это сделать?

– Ну ты, наверно, шутишь! – закричал Трурль. – Да ведь все это государство умещается в ящике размером метр на шестьдесят пять сантиметров и глубиной семьдесят сантиметров! Это всего лишь модель, не более…

– Модель чего?

– Как это чего? Общества. Модель, уменьшенная в сто миллионов раз.

– А почем ты знаешь, что не существует цивилизации, в сто

миллионов раз больше нашей по размерам? Может, тогда и мы – лишь модель этих гигантов? И вообще – какое значение имеют размеры? Разве в этом ящике, то есть государстве, путешествие из столицы к дальним пограничьям не тянется целые месяцы для тамошних обитателей? Разве они не страдают, не трудятся в поте лица, не умирают?

– Ну, ну, милый мой! Ты же сам знаешь, что все эти процессы совершаются лишь потому, что я их запрограммировал, – а значит, не взаправду…

– То есть как это «не взаправду»? Ты хочешь сказать, что ящик пуст, а битвы, пытки и казни – лишь иллюзия?

– Это не иллюзия, поскольку они происходят в действительности, но лишь как некие микроскопические движения, в которые я вовлек атомные рои, – сказал Трурль. – Во всяком случае, все эти рождения и свадьбы, подвиги и доносы не более как пляска мельчайших электронов в вакууме, упорядоченная благодаря точности моего незаурядного мастерства, которое…

– Не хочу слышать больше ни слова похвальбы! – прервал его Клапауций. – Ты говоришь, что это самоорганизующиеся процессы?

– Ну конечно!

– И что они возникают средь мельчайших электронных облачков?

– Ты же отлично знаешь об этом.

– И что феноменология рассветов, закатов, кровавых войн объясняется сопряжением существенных переменных?

– Но ведь так оно и есть!

– А разве мы сами, если нас исследовать методами физическими, химическими, логическими, не представляем собой те же пляшущие облачка электронов, положительные и отрицательные заряды, вмонтированные в пустоту? И разве наше бытие не является результатом столкновений этих пляшущих частиц, хотя сами мы воспринимаем выкрутасы молекул как страх, желание или раздумья? И что же творится в твоей голове, когда ты мечтаешь, кроме двоичной алгебры переключений и неустанных странствий электронов!

– Клапауцик, милый мой! Ты что же, отождествляешь наше бытие с бытием этого лжегосударства, запертого в стеклянном ящике?! – возопил Трурль. – Нет, это уже чересчур! Ведь в мои намерения входило лишь соорудить имитатор государственной власти, кибернетически совершенную модель, ничего больше!

– Трурль! Безупречность мастерства – это наше с тобой проклятье, которое обременяет непредвидимыми последствиями

любое из наших творений! – повысив голос, произнес Клапауций. – Ибо неумелый подражатель, возжаждав пыток, сделал бы себе бесформенного истукана из дерева либо воска и, придав ему некоторое внешнее сходство с разумным существом, измывался бы над ним суррогатно и неестественно. Но подумай, к чему приведет совершенствование этого замысла! Представь себе умельца, который вмонтирует в куклу проигрыватель, чтобы она стонала под ударами; представь себе куклу, которая, если ее бить, будет молить о пощаде, куклу, которая из истукана превращается в гомеостат; представь себе куклу плачущую, истекающую кровью, куклу, которая боится смерти, хоть и прельщает ее это спокойствие, надежнейшее из всех! Неужели ты не видишь, как мастерство подражателя приводит к тому, что видимость становится истиной, а подделка – действительностью? Ты отдал жестокому тирану в вечное владение неисчислимые массы существ, способных страдать, а значит, совершил позорный поступок…

– Все это софизмы! – выкрикнул Трурль с деланным пылом: рассуждения Клапауция сильно его обеспокоили. – Электроны пляшут не только внутри наших голов, но и внутри кассет с магнитной записью, и из этой их вездесущности не следует ничего, что давало бы тебе право проводить такие гипостатические аналогии! Подданные этого изверга Экзилия действительно подвергаются пыткам и казням, хнычут, дерутся, целуются – но лишь оттого и потому, что я соответствующим образом сочетал параметры, а чувствуют ли они что-либо, тебе об этом не расскажут электроны, пляшущие в их головах!

– Если б я тебе голову разбил, так тоже ничего бы не увидел, кроме электронов, это уж точно, – ответил тот. – Ты, конечно, притворяешься, будто не видишь того, на что я указываю; я же отлично знаю, что ты не настолько глуп! Кассету с записью ты ни о чем не спросишь, кассета не будет просить у тебя пощады и на колени не упадет! Неизвестно, говоришь, стонут они от ударов лишь потому, что это диктуют подмигивающие электроны в их нутре, словно поворотом колесика порождая звуки, либо вправду кричат от нестерпимых мук? Тоже мне разница! Да ведь страдает не тот, кто свое страдание может дать тебе в руки, чтоб ты его ощупал, взвесил и на вкус попробовал, а тот, кто ведет себя, как страдалец! Вот докажи мне, что они *не* чувствуют ничего, *не* мыслят, что они вообще *не* существуют как создания, сознающие, что они замкнуты между двумя безднами небытия – той, что до рождения, и той, что после смерти, – докажи мне это, и я перестану к тебе приставать! Вот докажи мне, что ты только *имитировал* страдание, но не *создал* его!

– Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно, – тихо возразил Трурль. – Едва взяв инструменты в руки, перед пустым еще ящиком, я уже обдумывал возможность *такого* аргумента – именно для того, чтобы предусмотреть эту возможность загодя, при проектировании, чтобы Экзилий ни на миг не заподозрил, что имеет дело с марионетками, с куколками вместо вполне реальных подданных. Я не мог поступить иначе, пойми! Ведь, если бы что-то нарушило иллюзию полнейшей реальности, исчезла бы также иллюзия деспотического полновластия! Все свелось бы к забаве с механической игрушкой…

– Понимаю, отлично все понимаю! – воскликнул Клапауций. – Намерения твои были честными: ты хотел всего лишь сконструировать государство, максимально похожее на подлинное, просто неотличимо похожее, – и я с ужасом понимаю, что тебе это удалось! С момента твоего возвращения прошли часы, но для них, запертых там, в этом ящике, – целые века! И сколько загублено жизней для того, чтобы спесь Экзилия еще больше раздувалась и взбухала!

Ничего уже не отвечая, Трурль направился к своему кораблю и увидел, что Клапауций спешит вслед за ним. Крутанув пустолет, как волчок, направил его Трурль меж двух больших скоплений предвечных звезд и так напирал на рули, что Клапауций воскликнул:

– Ты неисправим. Вечно сначала делаешь, потом думаешь! И что же ты собираешься предпринять, когда мы окажемся там?

– Отниму у него государство!

– А что же ты сделаешь с этим государством?

– Уничтожу! – хотел было крикнуть Трурль, но первый же слог застрял у него в горле. Не зная, что сказать, он буркнул наконец: – Устрою выборы. Пускай сами себе подыщут справедливых владык.

– Ты их запрограммировал как феодалов и ленников – так что же им дадут выборы, как повлияют на их судьбу? Надо было бы сначала разрушить всю структуру этого государства и заново все соединить…

– Но где кончается изменение структуры и где начинается переделка сознания?! – крикнул Трурль.

Клапауций ничего ему не ответил, и так они летели в угрюмом молчании, пока не увидели обиталище Экзилия.

Когда же они перед посадкой облетели по орбите этот шарик, удивительная картина представилась их глазам.

Всю планету покрывали неисчислимые признаки разумной деятельности. Микроскопические мосты, как черточки, виднелись над водами ручейков, а в лужах, отражающих звезды, полным-

полно было кораблей, с высоты похожих на плавающие стружки… На ночном, окутанном мраком полушарии густо рассыпалась блестящая рябь освещенных городов, и на светлом полушарии тоже повсюду виднелись замки, города и селения, но обитателей, из-за их ничтожной величины, не удавалось разглядеть и в самые сильные бинокли. Только от короля ни следа не осталось, будто земля под ним разверзлась.

– Нет его… – прошептал изумленный Трурль. – Что они с ним сделали? Им удалось проломить стенку ящика, и они заселили всю эту кроху…

– Смотри, – сказал Клапауций, заметив медленно тающее облачко, похожее на крохотный грибок для штопки. – Они уже знакомы с атомной энергией… А там, дальше, – видишь эту стеклянную штуку? Это остатки ящика, которые стали чем-то вроде святыни…

– Не понимаю! Все же это была только модель… Только процесс со множеством параметров, монархический тренажер, имитация… сопряжение переменных в мультистате… – бормотал ошеломленный, обалдевший Трурль.

– Да. Но ты допустил непростительную ошибку излишнего совершенства в подражании. Не желая создать всего лишь часовой механизм, ты создал невольно, из педантичности, нечто возможное и необходимое – что является противоположностью механизма…

– Не продолжай! – крикнул Трурль.

Они все смотрели на планету, и вдруг что-то ударилось об их корабль, но слабо, едва коснувшись; они увидели этот предмет, так как его освещала исходящая сзади струйка тусклого свечения. Был это кораблик, а может, искусственный спутник, удивительно похожий по форме на те стальные сандалии, что носил тиран Экзилий. Подняв глаза кверху, они увидели высоко над планеткой светящееся тело, которого в прежние времена здесь не было, распознали на его округлой, идеально холодной поверхности стальные черты Экзилия и поняли, что он сделался Луною микроминиантов.

Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона [27]

Однажды явился к Трурлю чужак, по обличью которого, едва успел он выйти из фотонного паланкина, сразу было видать, что персона это особенная и из дальних сторон, ибо там, где у прочих имеются руки, у него лишь веял благовонный зефир, там, где у прочих ноги, у него лишь дивно играло сияние радужное, и даже голову заменяла ему драгоценная шляпа; говорил же он из самой середки, ибо являл собою шар, идеально выточенный, наружности весьма привлекательной, опоясанный плазменным богатым шнуром. Поздоровавшись с Трурлем, он объяснил, что его тут двое, а именно: полушарие верхнее и полушарие нижнее; первое звать Синхроний, второе же Синхрофазий. Такое искусное конструкторское решение разумного существа привело в восхищение Трурля, и он признался, что никогда еще не доводилось ему видеть особу, сработанную столь тщательно, с манерами столь прециозными и таким брильянтовым блеском. Пришелец в свой черед похвалил конструкцию Трурля и после такого обмена любезностями рассказал, что его сюда привело; будучи другом и верным слугою славного короля Гениалона, прибыл он к Трурлю, чтобы заказать ему три машины-рассказчицы.

– Король и господин мой давно уж не царствует и не управляет, – объяснил он, – а к двойному этому отречению привела его мудрость, глубочайшее постижение мировых дел. И вот, покинув свое королевство, он поселился в пещере, сухой и прохладной, чтобы там размышлениям предаваться. Однако ж порою снедает его меланхолия либо отвращение к себе самому, и тогда ничто не способно его утешить, кроме совершенно необычайных историй. Но те, кто сохранил ему верность и не оставил его, когда он сложил корону, давно уже рассказали все, что сами знали. А потому, не видя иного способа, мы просим тебя, конструктор, помочь нам рассеять монаршью тоску – при помощи машин, которые ты искусно построишь.

– Это можно, – ответил Трурль. – Но зачем вам целых три?

– Мы бы хотели, – сказал Синхрофазий, слегка покачиваясь то вправо, то влево, – чтобы одна рассказывала истории замысловатые, но утешные, другая – хитроумные и лукавые, а третья – бездонные и берущие за душу.

– То есть одна для упражненья ума, другая для развлеченья, а третья для назидания? – подхватил Трурль. – Понятно. О плате

сразу уговоримся или потом?

– Когда построишь машины, потри этот перстень, – отвечал пришелец, – и перед тобою появится мой паланкин; ты сядешь в него вместе с машинами и мигом примчишься в пещеру Гениалона, а там уже выскажешь все желанья свои, которые король по мере возможности безусловно исполнит.

С этими словами он поклонился, подал Трурлю перстень, сверкнул ослепительно и закатился в паланкин; тотчас же паланкин овеяло светлое облако, что-то бесшумно сверкнуло, и Трурль остался один перед домом с перстнем в руке, не слишком довольный случившимся.

– «По мере возможности»! – бормотал он, переступая порог своей лаборатории. – Ох, и не люблю же я этого! Дело известное: едва наступает срок платежа, как всяким учтивостям, церемониям да экивокам приходит конец и начинаются хлопоты, которые часто не дают ничего, кроме шишек…

В ту же минуту сияющий перстень в руке у него дрогнул и отозвался:

– «По мере возможности» объясняется тем, что король, отрекшись от королевства, стеснен в средствах; однако он обратился к тебе, о конструктор, как мудрец к мудрецу, и не ошибся, как вижу, коль скоро говорящий перстень тебя нимало не удивил; не удивляйся же и бедности королевской, ибо плату получишь щедрую, хотя, быть может, не золотом. Но золотом не всякий утоляется голод.

– Что ты мне тут плетешь, перстенек? – отвечает Трурль. – Мудрец, мудреца, мудрецом, а электричество, ионы, атомы и всякие драгоценности, употребляемые для постройки машин, влетают в копеечку. Я люблю договоры ясные, подписанные, с параграфами и печатями; я не падок на всякую мелочь, но золото я люблю, особенно в изрядных количествах, и не стыжусь в этом признаться! Его блеск, его желтый отлив, его милая сердцу тяжесть таковы, что стоит мне высыпать на пол один-другой мешочек дукатов и под приятный их звон по ним покататься, как вмиг светлее становится на душе, словно кто-то внес туда солнышко и зажег. Да, я люблю золото, черт побери! – закричал он, ибо собственные слова слегка его распалили.

– Но к чему тебе золото, получаемое от других? Разве ты не можешь сам его изготовить, сколько душа пожелает? – спросил, сверкнувши от изумления, перстень.

– Не знаю, насколько мудр твой король, – отвечает на это Трурль, – но ты, как я погляжу, совершенно необразованный перстень! Это что же, я сам себе должен золото делать? Да где это видано?! Разве сапожник живет тем, что себе сапоги тачает? Разве

повар стряпает для себя, а солдат за себя воюет? А производственные издержки? Ты о них когда-нибудь слышал? Впрочем, золото золотом, но еще я люблю поворчать. А теперь помолчи, мне пора уже за работу браться.

Бросил он перстень в жестянку старую и взялся за дело. Построил три машины в три дня, не выходя из дому, а после задумался, какую бы им придать форму, ибо любил простоту и функциональность. Стал он пробовать всевозможные кожухи; поскольку же перстень то и дело подавал из жестянки голос, Трурль прикрыл ее, чтобы неуместные замечания не мешали работе.

Под конец он покрасил машины – первую в белый цвет, вторую в лазоревый, а третью в черный, затем потер перстень, погрузил машины в паланкин, который немедля явился, сам в нем уселся и стал ждать, что будет дальше. Засвистело, загудело, пыль взметнулась, осела, и Трурль, выглянув через окошко паланкина, увидел, что находится в просторной, посыпанной белым песочком пещере; сперва он заметил несколько деревянных лавок, прогибавшихся под старыми фолиантами, а потом ряд шаров, сияющих дивным блеском. В одном он узнал чужеземца, что заказывал ему машины; в центральном же шаре – тот был побольше и от старости покрыт сетью царапин – Трурль распознал короля, поклонился ему и вышел из паланкина. Король сердечно с ним поздоровался и сказал:

– Мудрость бывает двух видов: одна дает средства действовать, вторая от действий удерживает. Не кажется ли тебе, достославный Трурль, что вторая выше? Ведь лишь безмерно дальнозоркая мысль способна предвидеть отдаленнейшие последствия наших деяний, побуждающие усомниться в разумности оных. А потому совершенство может проявляться в неделании – и мудрость тем-то от разума и отличается, что видит такого рода различия…

– С разрешения Вашего Величества замечу, – отвечал Трурль, – что вашу речь можно истолковать двояко. Либо это деликатный намек, имеющий целью преуменьшить мой труд, то деяние, что вызвало к жизни три машины-рассказчицы, лежащие там, в паланкине. Такое толкование было бы мне не по сердцу, поскольку свидетельствовало бы о скрытом желании уклониться от платежа. Либо имеется в виду лишь доктрина неделания, противоречивая по природе своей. Чтобы иметь возможность не действовать, нужно иметь возможность действовать, ведь тот, кто воздерживается от переворачивания горы из-за отсутствия средств, а утверждает, что выбрал неделание, ибо так велит ему мудрость, лишь выставляет себя на посмешище дешевой

видимостью философствования. Неделание надежно, и это все, что можно сказать в его пользу. Делание ненадежно, и в этом его красота; что же касается дальнейших тонкостей этой проблемы, я, если Ваше Величество того пожелает, построю особую машину для диспутов.

– Вопрос об оплате оставим на самый конец той счастливой оказии, которая привела тебя к нам, – молвил король, слегка покачиваясь от скрытой веселости, которую в нем возбудила речь Трурля. – Теперь же, конструктор, сделай милость, будь моим гостем и соблаговоли усесться за этим скромным столом, на лавке, между верных моих товарищей, и поведай о своих деяниях либо об отказе от таковых.

– Прошу меня извинить, государь, – ответил Трурль, – но боюсь, что я недостаточно красноречив; впрочем, меня превосходно заменят три привезенные мною машины; это будет вполне уместно, а заодно мы их испробуем.

– Будь по-твоему, – согласился король.

Тут все уселись в позах, выражающих любопытство и надежду услышать необычайное, а Трурль достал из паланкина железный корпус, выкрашенный в белый цвет, нажал на кнопку и сел по правую руку от Гениалона. И заговорила первая машина:

– Если не знаете истории о множественниках, их короле Мандрильоне, Советчике его Совершенном и Трурле-конструкторе, который сперва Советчика создал, а потом погубил, то послушайте!

Держава множественников знаменита своими жителями, кои тем отличаются, что их там много. Однажды конструктор Трурль, бороздя шафрановые окрестности созвездья Делиры, сбился несколько с курса и увидел планету, которая словно бы вся шевелилась. Снизившись, понял он, что причиной этому толпы, ее покрывавшие, и приземлился, не без труда отыскав несколько квадратных метров сравнительно свободного грунта. Мигом набежали отовсюду туземцы и окружили его, подчеркивая, как много их тут; поскольку, однако, голосили они все разом и наперебой, Трурль довольно долго не мог их понять. Поняв же, спросил:

– Неужто взаправду так вас много?

– Взаправду!!! – заверещали они с неслыханной гордостью. – Мы неисчислимы.

– Нас тут что маковых зерен!

– Что звезд на небе!

– Что песчинок! Что атомов!

– Допустим, – ответил Трурль. – Вас много – и что с того?

Может, вы без устали пересчитываетесь и тем себя тешите?

А они ему:

– Необразованный ты чужеземец! Знай же: стоит нам топнуть – и сотрясаются горы, стоит нам дунуть – и ветер деревья валит, как спички, а ежели мы разом усядемся, никто не двинет ни рукой, ни ногой!!!

– А зачем это надо, чтобы горы дрожали, страшный ветер деревья ломал и никто не двигал ни рукой, ни ногой? – удивился Трурль. – Не лучше ли, если горы стоят спокойно, ветра нет и каждый чем хочет, тем и двигает?

Страшно они возмутились пренебрежением Трурля к великому их числу и численному величию; топнули они, дунули и уселись, чтоб ему показать, как много их и что из этого следует. Тотчас земля затряслась и рухнула половина деревьев, придавив стоявших под ними; поднявшийся вихрь повалил остальные и расплющил в лепешку еще семьсот тысяч народу; а те, что остались в живых, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могли.

– Боже мой! – ужаснулся Трурль, как кирпич в стене застрявший среди туземцев. – Вот горе-то!

Но оказалось, что этим он оскорбил их еще сильнее.

– Дремучий ты чужеземец! – загремели они. – Что значит потеря нескольких сот тысяч для множественников, коих никто исчислить не в силах! Да можно ли вообще считать потерею то, чего и заметить нельзя? Ты убедился, сколь могущественны мы притопом, дутьем и присядом, а то ли еще было бы, возьмись мы за дела поважнее!

– И в самом деле, – заметил Трурль, – не думайте, будто образ мышления вашего мне непонятен. Уж так повелось: все огромное и многочисленное вызывает к себе уважение. К примеру, прогорклый газ, вяло блуждающий по дну полусгнившей бочки, ни у кого не в почете; но пусть его наберется на Галактическую Туманность – и все приходят в изумление и восторг. А это все тот же прогорклый и заурядейший газ, только что очень много его.

– Речи твои не по нраву нам! – закричали они. – Не желаем мы слушать о каком-то прогорклом газе!

Трурль огляделся в поисках полицейских, но давка была такая, что они не могли протолкнуться.

– Любезные множественники! – сказал он тогда. – Позвольте мне покинуть вашу страну, ибо не разделяю я веры в великолепие многочисленности, если за нею только и есть, что число.

Они же, переглянувшись, ударили палец о палец, чем вызвали такое завихрение атмосферы, что Трурля подбросило под облака и долго летел он там, кувыркаясь, пока не упал на землю. Тут он

увидел, что находится в саду королевского замка и прямо к нему направляется Мандрильон Наибольший, владыка множественников; король, наблюдавший за полетом и падением Трурля, заговорил:

– Я слышал, ты, чужестранец, не оказал надлежащего уважения к бесчисленному моему народу. Отношу это на счет твоей мозговой темноты. Не постигая, однако, высоких материй, ты, говорят, приобрел кое-какую сноровку в материях менее важных; оно и к лучшему, ибо я нуждаюсь в Совершенном Советчике, а ты мне его построишь!

– А что должен уметь Советчик и что я получу за него? – спросил Трурль, отряхиваясь от пыли и глины.

– Он должен уметь все: отвечать на любые вопросы, решать любые задачи, давать советы наилучшие из возможных, словом, предоставлять к моим услугам наивысшую мудрость. За это я подарю тебе сто или двести тысяч моих подданных – лишняя сотня тысяч не в счет.

«Как видно, – подумал Трурль, – чрезмерная численность разумных существ небезопасна, уподобляя их простому песку; и легче этому королю расстаться с тьмой своих подданных, чем мне с изношенным башмаком!» Вслух же сказал:

– Государь, мой дом невелик, и я не знал бы, что делать с сотнями тысяч невольников.

– Простодушный мой чужестранец, есть у меня консультанты, они тебе все разъяснят. Уйма невольников доставляет тьму удовольствий. Можно одеть их в разноцветное платье и расставить на площади в виде мозаики или назидательных надписей на любой случай; можно связать их пучками и подбрасывать кверху; из пяти тысяч можно соорудить молот и еще из трех тысяч – его рукоять, скажем, для раздробленья скалы или для лесоповала; из них можно вить канаты, сплетать искусственные лианы и бахрому, а те, что свисают над самой пропастью, уморительными изгибами тела и визгом доставляют сердцу утеху, а глазу усладу. Поставь-ка десять тысяч юных невольниц на одной ноге и вели им правой рукой восьмерки выписывать, а левой – прищелкивать пальцами, и ты с трудом оторвешься от этого зрелища, по себе знаю!

– Государь! – отвечал Трурль. – Леса и скалы я покоряю машинами; что же до надписей и мозаик, не в моем обычае делать их из существ, которые, возможно, предпочли бы иное занятие.

– Так чего же, самонадеянный чужестранец, ты требуешь за Советчика?

– Сто мешков золота, государь!

Жаль было Мандрильону расставаться с золотом; но его осенила весьма хитроумная мысль, которую он затаил, а Трурлю сказал:

– Хорошо, будь по-твоему.

– Желание Вашего Величества постараюсь исполнить, – ответил Трурль и направился в замковую башню, отведенную королем под лабораторию. Вскоре оттуда послышалось пыхтение мехов, удары молота и скрежет напильника. Посланные королем соглядатаи вернулись в большом удивлении, ибо Трурль не Советчика строил, но множество всяких машин – кузнечных, слесарных и электроботных, – а после уселся и начал гвоздиком длиннющую ленту дырявить; составив таким манером подробную программу Советчика, он пошел прогуляться, а машины до глубокой ночи стучали в башне; к утру же все было готово. В полдень Трурль ввел в дворцовую залу махину на двух ногах и с одной малюсенькой ручкой и заявил королю, что это и есть Совершенный Советчик.

– Посмотрим, чего он стоит, – сказал Мандрильон и велел посыпать мраморный пол корицею и шафраном – от Советчика разило раскаленным железом, а местами он даже светился, будучи только что вынут из печи. – Ты же пока ступай, – добавил король. – Вечером возвращайся, и увидим, кто кому должен и сколько.

Трурль удалился, размышляя о том, что последние слова Мандрильона не предвещают особой щедрости, а может, даже таят в себе какой-то подвох, и был очень рад, что ограничил универсальность Советчика маленькой, но существенной оговоркой, занесенной в программу, а именно: чтобы тот ни при каких обстоятельствах не мог погубить своего творца.

Оставшись наедине с Советчиком, король спросил:

– Кто ты таков и что можешь?

– Я Совершенный Королевский Советчик, – ответил тот голосом глуховатым, как бы доносящимся из пустой бочки, – и могу давать советы, наилучшие из возможных.

– Прекрасно, – сказал Мандрильон, – а кому ты обязан верностью и послушанием, мне или тому, кто построил тебя?

– Верностью и послушанием я обязан единственно Вашему Величеству, – прогудел Совершенный Советчик.

– Отлично, – буркнул король. – Для начала… значит… того… слушай… я бы не хотел, чтобы первое же мое пожелание выставило меня скупцом… но все же неплохо бы, в некотором роде… исключительно ради принципа… смекаешь?

– Ваше Величество еще не соблаговолило поведать, что ему угодно, – ответил Советчик, выдвинул сбоку третью ногу,

поменьше, и подперся ею, так как временно потерял равновесие.

– Совершенный Советчик должен читать мысли своего господина! – проворчал сердито король.

– Разумеется, но только по приказанию, дабы не показаться нескромным, – возразил Советчик; затем отодвинул заслонку на животе, повернул маленький ключик с надписью «Чтец-телепатор», весь просиял и воскликнул: – Вашему Величеству угодно ни гроша не платить Трурлю? Понятно!

– Если ты кому-нибудь скажешь об этом, я велю тебя бросить в громадную мельницу, жернова которой вращают триста тысяч моих подданных! – пригрозил Мандрильон.

– Никому не скажу! – заверил Советчик. – Вашему Величеству угодно не платить за меня – это проще простого. Когда Трурль вернется, объявите ему, что золота никакого не будет, и пусть убирается.

– Да ты, видно, олух, а не Советчик! – разъярился король. – Я не хочу платить, но виноват пусть окажется Трурль! Мол, ему ничего не положено! Понял?

Советчик включил аппарат для чтения государевых мыслей, слегка покачнулся и глухо сказал:

– Вашему Величеству угодно также прослыть справедливым, свято блюдущим законы и свое государево слово, а Трурля выставить плутом, прохвостом и негодяем… Отлично. Тогда, с Высочайшего Вашего соизволения, я брошусь на Вас и начну Вас душить и давить, а Ваше Величество соблаговолит кричать «караул», да погромче…

– Ты, верно, спятил, – сказал Мандрильон, – чего это ради ты станешь меня душить и зачем мне кричать «караул»?

– А чтобы обвинить Трурля в покушении на цареубийство моими руками! – лучась, ответил Советчик. – И когда, по Высочайшему повелению, он будет наказан плетьми и сброшен с крепостной стены в ров, все сочтут это актом небывалого милосердия, поскольку таковое злодейство карается отсечением головы, предваряемым жестокими пытками. Меня же Ваше Величество соблаговолит совершенно помиловать, как невинное в руках Трурля орудие, что вызовет общее восхищение королевской добротою и снисходительностью, и августейшее Ваше желание исполнится в точности.

– Ну, так души, да поосторожней, мошенник! – согласился король.

Как Совершенный Советчик задумал, так оно все и случилось. Правда, король хотел, чтобы сбрасыванию со стены предшествовало вырывание ног, но до этого не дошло. Сам он решил, что из-за неразберихи; на самом же деле Трурля спасло

тайное вмешательство Советчика через помощника палача. Советчика Мандрильон помиловал и опять приблизил к себе; а Трурль, еле живой, доковылял кое-как до дома. Тотчас по возвращении отправился он к Клапауцию и поведал свою историю, а напоследок сказал:

– Этот Мандрильон оказался еще большим прохвостом, чем я ожидал. Так низко меня обмануть! И подумать только: построенный мною Советчик послужил ему для злодейского жульничества мне же в ущерб! Но он ошибается, если думает, что я ему это спущу! Раньше я насквозь проржавею, чем забуду о мести, которая должна настигнуть тирана!

– Что ж ты намерен делать? – спросил Клапауций.

– Взыскать положенную мне плату через суд; но это лишь для начала, золотом он не откупится за муки мои и позор.

– Больно уж сложный юридический казус! – сказал Клапауций. – Знаешь что: прежде, чем что-либо делать, найди хорошего адвоката.

– Чего мне искать адвоката? Я его сам построю!

Пришел он домой, всыпал в бочку транзисторов – шесть половников с верхом да столько же сопротивлений и конденсаторов, залил электролитом, накрыл доской, привалил камнем, чтобы все там хорошенько самоорганизовалось, и лег спать, а через три дня у него уже был адвокат хоть куда. Трурль даже не потрудился вынуть его из бочки, ведь адвокат был ему нужен на один-единственный раз; он поставил бочку на стол и спросил:

– Кто ты?

– Я адвокатор-консультатор юридический, – с трудом пробулькала бочка, ибо конструктор малость переборщил с электролитом.

Трурль изложил свое дело, а она ему:

– В программе Советчика была оговорка, что он не может тебя погубить?

– Да. То есть что он не допустит моей смерти, – а больше там ничего не было.

– Значит, ты не выполнил договор до конца: ведь Советчик должен был уметь все, без единого исключения, а раз не мог тебя погубить, значит, умел не все.

– Но если б он меня погубил, кто бы принял вознаграждение?

– Это отдельный вопрос и совсем иная проблема, предусмотренная статьями об уголовной ответственности Мандрильона; твой же иск носит сугубо гражданский характер.

– Вот еще! Какая-то бочка будет учить меня гражданскому праву! – разгневался Трурль. – Чей ты, собственно, адвокат, мой

или того монарха-головореза?

– Твой, но король был вправе лишить тебя платы.

– А сбрасывать в ров с крепостной стены?

– Это другой вопрос, уголовный, и проблема особая, – булькает бочка.

Трурль прямо затрясся.

– Это что же такое?! Я, значит, преображаю кучу старых тумблеров, проводов и железок в разумное существо и в благодарность получаю вместо совета какие-то закавыки? А чтоб ты не самоорганизовывался, крючкотвор несчастный!

Отцедил он электролит, вытряхнул все из бочки на стол и поразбирал на части, да так живо, что адвокатор не успел даже внести апелляцию на такое решение.

А Трурль взялся опять за работу и построил себе Юрис Консулента – трехэтажного, с четырехкратным усилением обоих кодексов, уголовного и гражданского; а для верности еще подключил к нему международное и административное право. Затем врубил ток, изложил дело и спрашивает:

– Как быть?

– Случай весьма непростой, – отвечает машина. – Требую, чтобы ты в срочном порядке вмонтировал мне еще пятьсот транзисторов сверху да двести с боков.

Трурль так и сделал, а она ему:

– Мало! Нужны добавочные усилители и две большие катушки.

А после держит такую речь:

– Казус сам по себе любопытный, тут, однако, наличествуют две материи: основание иска – это одно, и здесь многого можно добиться; процессуальная процедура – другое. Ни на какой суд вызвать монарха гражданским иском нельзя, так гласит право международное, а равно космическое. Окончательное толкование объявлю, если пообещаешь не разбирать меня после на части.

Трурль пообещал и добавил:

– Но скажи, сделай милость, откуда ты знал, что тебе угрожает разборка, если бы толкование мне не понравилось?

– Не знаю – так мне почему-то казалось.

Однако же Трурль догадался, в чем тут дело: при монтаже он использовал детали разобранного бочечного адвокатора и память о той истории отложилась в контурах нового агрегата, породив подсознательный комплекс.

– Где же твое толкование? – спрашивает конструктор.

– Вот оно: компетентного трибунала нет – не будет и рассмотрения дела. То есть ни выиграть, ни проиграть его невозможно.

Вскочил конструктор со стула, погрозил юридическому советнику кулаком, но слово пришлось сдержать, и ничего он ему не сделал.

Пошел Трурль к Клапауцию и все ему рассказал.

– Говорил же я – безнадежное это дело, а ты не верил, – говорит Клапауций.

– Я бесчестья так не оставлю, – горячится Трурль, – и если не добьюсь правосудия юридическим и судебным путем, то разделаюсь с коронованным прохвостом иначе!

– Но как, любопытно узнать? Ты дал королю Совершенного Советчика, а тот может все, хотя не может тебя погубить; он отведет любой удар, любое несчастье, любую беду, которые ты обрушишь на короля или его королевство. И я, любезный мой Трурль, не сомневаюсь, что так и будет, поскольку полностью доверяю твоему конструкторскому таланту!

– Ты прав. Похоже, создав Совершенного Советчика, я лишил себя всякой возможности наказать эту августейшую мразь. Но должна же тут быть какая-нибудь зацепка! Плох я буду, если ее не найду!

– Что ты задумал? – спрашивает Клапауций, но Трурль только плечами пожал и вернулся к себе.

Долго не выходил он из дому, размышляя в уединении; то в библиотеке лихорадочно перелистывал сотни томов, то в лаборатории таинственные опыты проводил. А Клапауций, навещая его, не мог надивиться упорству, с которым Трурль пытался самого себя превзойти: ведь Советчик, наделенный разумом Трурля, был как бы частью его самого. Однажды, придя, как обычно, после полудня, Клапауций не застал хозяина. Дверь была заперта, ставни на крепких засовах, а Трурля и след простыл. Понял он, что Трурль начал действия против повелителя множественников; так оно в самом деле и было.

Меж тем Мандрильон наслаждался властью как никогда, ибо, если ему не хватало фантазии, обращался за подсказкой к Советчику. К тому же отныне он не боялся ни мятежей, ни дворцовых переворотов и никакого вообще неприятеля, но правил железной рукой; и меньше красуется спелых гроздьев на лозе полуденного винограда, чем болталось в те годы повешенных на государевых виселицах.

А Советчик имел уже четыре полных сундука орденов за проекты, коими порадовал короля. Микрошпик, заброшенный Трурлем в державу множественников, воротился назад с донесением, что за последнюю услугу монарху – пускание по воде венков, сплетенных из обывателей, – Мандрильон публично назвал Советчика «моя душечка».

Недолго думая (ибо план кампании был уже разработан), Трурль взял листок кремовой почтовой бумаги, с нарисованной от руки виньеткой в виде земляничного деревца, и набросал письмо, содержания самого обыкновенного:

Милый Советчик! – говорилось в нем. – *Надеюсь, живется Тебе не хуже, чем мне, а то и получше. Государь, как я слышал, удостоил Тебя доверием: поэтому Ты, сознавая огромную ответственность перед Историей и Государственным Благом, должен верой и правдой служить на своем посту. В случае каких-либо трудностей при исполнении августейших желаний прибегни, пожалуйста, к методу «Экстра Особой Выдержки», с которым я в свое время детально Тебя ознакомил. Черкни, если хочешь, несколько строк, но не обессудь, если отвечу не сразу, поскольку я теперь занят конструированием Советчика для короля Д. и не располагаю избытком свободного времени. Шлю Тебе сердечный привет, а Твоему Государю – уверения в моем нижайшем почтении.*

Твой Конструктор

Трурль.

Послание Трурля возбудило неизбежные подозрения Тайной Множественной Полиции и подверглось тщательному исследованию, причем на бумаге не оказалось никаких тайных химических реактивов, а в рисунке, изображавшем земляничное деревце, – ни малейших намеков на шифр. Обстоятельство это вызвало немалый переполох в Главном Штабе Полиции, и письмо было переснято, ксерокопировано, ротапринтировано, а также переписано от руки, оригинал же, запечатанный как положено, вручен адресату. Прочитав письмо, Советчик перепугался, ибо понял, что это уловка Трурля, рассчитанная на его, Советчика, дискредитацию, а может, и ликвидацию; он тотчас сообщил о письме Мандрильону, обрисовав при этом Трурля мерзавцем, норовящим скомпрометировать его в глазах государя, и взялся расшифровать послание, в твердой уверенности, что невинные фразы – лишь маска, за которой таится нечто ужасное и чудовищное.

Советчик заявил королю, что выведет Трурля на чистую воду; а затем, запасшись нужным количеством реактивов, штативов, воронок, пробирок и лакмусовой бумаги, предпринял сложнейший анализ конверта и почтовой бумаги. За всем этим, понятно, наблюдала полиция, вмонтировавшая в стены апартаментов Советчика винтики для подслушивания и болтики для подглядывания. Поскольку химия оказалась бессильной, Советчик занялся дешифровкой текста (расписав его

предварительно в виде огромных таблиц) – при помощи ЭВМ, логарифмической линейки и счетов. Не знал он, что вместе с ним в это занятие углубились лучшие полицейские силы с Маршалом Шифровальных Войск во главе. Чем дольше затягивались старания специалистов, тем большая воцарялась в Главном Штабе тревога, ибо эксперты не сомневались уже, что шифр, столь дерзко глумящийся над попытками его разгадать, принадлежит к числу наиболее хитроумных из всех когда-либо испробованных. Маршал сообщил об этом одному из придворных сановников, который жестоко завидовал карьере Советчика. Оный вельможа, больше всего на свете желавший посеять в душе монарха недоверие к новому фавориту, сказал Мандрильону, что Советчик, закрывшись на ключ, ночи напролет изучает подозрительное письмо. Но король только посмеялся над ним и ответил, что прекрасно об этом знает, поскольку Советчик сам ему обо всем рассказал. Сановный завистник, сконфузившись, замолчал и немедля поделился новостью с Маршалом.

– Надо же! – воскликнул заслуженный шифровальщик. – Даже и этого не скрыл от монарха? Что за неслыханное коварство! И что за дьявольский шифр, ежели можно болтать о нем с кем угодно!

И приказал своим войскам удвоить усилия. Прошла неделя, а результатов по-прежнему не было, и тогда на помощь призвали крупнейшего специалиста по загадочным текстам, создателя левосторонних, невидимых глазу шифров, профессора Ксивоса. Тот, изучив инкриминируемое письмо и отчеты военных спецов, предложил испытать метод проб и ошибок, а для расчетов взять вычислительные машины астрономического формата.

Это было исполнено, и оказалось, что письмо можно прочесть тремястами восемнадцатью способами.

Первые пять вариантов гласили: «Таракан из Мленкотина добрался благополучно, но выгребная яма погасла», «Тетку паровоза на шницелях прокатить», «Чепчик заклепан – обручение масла не состоится», «Тот, кто есть, но нет кого, нынче сам казнит его». А также: «Из крыжовника, пыткам подвергнутого, немало вытянуть можно». Последний вариант профессор Ксивос признал ключом к шифру и после трехсот тысяч опытов установил: если сложить все буквы письма, вычесть из итога солнечный параллакс и годовое производство солнечных зонтиков, а из остатка извлечь корень третьей степени, то получится слово «Апокалипсус». В адресной книге был найден обыватель по имени Апокаляпсус. Ксивос счел, что ошибка внесена умышленно, для отвода глаз, и Апокаляпсуса арестовали. Будучи подвергнут внушению шестой степени, он показал, что состоит в сговоре с Трурлем, который

обещал в скором времени прислать ему ядовитые гвоздики и молоток, дабы насмерть подковать государя. Располагая столь вескими доказательствами измены, Маршал Шифровальных Войск доложил о них королю; Мандрильон, однако ж, настолько еще доверял Советчику, что позволил тому говорить в свое оправдание.

Советчик не отрицал, что письмо можно прочесть разными способами, переставляя буквы; он сам, по его словам, обнаружил еще тысячу сто вариантов, однако из этого ничего не следует, и письмо вообще не шифрованное, поскольку осмысленный (или похожий на таковой) результат можно получить, переставляя буквы абсолютно любого текста, а то, что получается из перестановки, именуется анаграммой, и ведает этим теория пермутаций, или комбинаторика. Трурль, восклицал Советчик, желает оклеветать его и опорочить, создавая видимость шифра там, где шифра нет и в помине; обыватель же Апокаляпсус не виновен ни сном ни духом, а то, что он показал на следствии, втолковали ему Мастера Убеждения из Главного Штаба Полиции, обладающие кое-какой сноровкой в задушевных беседах, а также следственными машинами мощностью до нескольких тысяч трупсов. Выпады против полиции король встретил холодно и потребовал дальнейших объяснений; Советчик повел разговор о шифрах и кодах, сигналах и символах, об анаграммах и пермутациях и общей теории информации, да все мудренее и непонятнее, пока не вскипел король великим гневом и велел бросить его в темницу. Вскоре пришла открытка от Трурля следующего содержания:

Милый Советчик! В случае чего помни о голубых винтиках.
Искренне Твой Трурль.

Советчик был немедленно пытан, но ни в чем не признался, повторяя упорно, что все это происки Трурля; а на вопрос о голубых винтиках отвечал, что таких нет и он о них ничего не знает. Но дабы исследовать все досконально, надлежало его разобрать; Мандрильон дал на это согласие, и за дело взялись кузнецы. Панцирь лопнул под ударами молотов, и королю предъявили покрытые смазкой винтики, на коих действительно имелись голубые пятнышки. И хотя в процессе добывания доказательств Советчик подвергся полному разрушению, король успокоился, уверившись в своей правоте.

Неделю спустя сам Трурль появился у ворот замка и потребовал аудиенции. Король хотел было казнить его без разговоров, но, поразившись столь беспримерной наглости, велел

доставить конструктора пред свои очи.

– Король! – начал тот, едва лишь войдя в тронный зал, где толпились придворные. – Я изготовил тебе Совершенного Советчика; ты же употребил его, чтобы лишить меня обещанной платы, полагая, не без резона, что могущество разума, предоставленного мною к твоим услугам, послужит надежным щитом против всякой угрозы и пресечет любую попытку отмщения. Но разумным я сделал Советчика, а не тебя самого, и в этом-то и был мой расчет; ибо лишь тот, кто сам хоть немного разумен, способен слушаться разумных советов. Премудрым, ученым, утонченным способом я не мог сокрушить Советчика и потому избрал способ грубый до невозможности и до смешного глупый. Письма не были зашифрованы; Советчик был верен тебе до конца; о винтиках, погубивших его, он ничего не знал. Просто при монтаже я случайно уронил их в жестянку с краской и случайно – но в самую пору – об этом вспомнил. Так-то вот глупость и подозрительность превозмогли разум и преданность, и ты сам подписал свой приговор. Теперь ты отдашь мне сто мешков золота за работу и столько же – за время, которое я потерял, чтобы взыскать плату. Иначе погибнешь ты и все твои царедворцы, ведь рядом с тобой уже нет Советчика, что мог бы тебя защитить!

Король взревел в ярости, и стража по его знаку бросилась, чтобы на месте зарубить наглеца, но алебарды, со свистом рассекая воздух, прошли сквозь конструктора, как если бы тот был бесплотным. Отпрянули пораженные ужасом палачи, а Трурль, рассмеявшись, сказал:

– Рубите сколько хотите, – перед вами всего лишь призрак, сотворенный дистанционно; на самом же деле я витаю высоко над планетой в небесной ладье и буду швырять с нее смертоносные фугасы до тех пор, пока не получу своего.

И не успел он докончить, как послышался страшный грохот, и взрыв потряс замок до основания; оробевшие придворные кинулись врассыпную, король же, слабея от бешенства и унижения, велел выплатить Трурлю все его золото.

Клапауций, узнав о таком завершении дела, и притом от самого Трурля, когда тот воротился домой, спросил, почему он прибегнул к столь грубому и – как он сам говорил – глупому способу, если мог отправить письмо с настоящим шифром?

– Потому что легче Советчику было бы объяснить королю присутствие шифра, нежели отсутствие такового, – ответил мудрый конструктор. – Всегда проще признаться в каком-то поступке, чем доказать свою непричастность к нему. Так и здесь: зашифрованное письмо никого бы не удивило, а отсутствие

шифра всех озадачило. Ведь перестановками любой текст и вправду легко переделать в совершенно иной, называемый анаграммой, и таких анаграмм может быть великое множество. Чтобы это понять, нужны объяснения – правдивые, но запутанные, которых, я был уверен, ограниченный ум короля не вместит. Некогда было сказано: чтобы перевернуть планету, достаточно вне ее отыскать точку опоры; так и я, желая повергнуть разум, во всем совершенный, нуждался в точке опоры – ею мне послужила глупость.

На этом первая машина окончила свой рассказ, низко поклонилась Гениалону и слушателям и скромно удалилась в угол пещеры.

Король удостоил похвалы историю столь назидательную и спросил Трурля:

– Верно ли, о конструктор, что машина рассказывает лишь то, чему ты ее научил? Или источник ее познаний находится вне тебя? И еще осмелюсь заметить, что хотя история, нами услышанная, поучительна и мила, однако кажется не вполне законченной, ибо мы ничего не узнали о дальнейшей судьбе множественников и глупого их короля.

– Государь, – отвечал Трурль, – машина рассказывает правду, поскольку, прежде чем прибыть сюда, я приставил ее к своей голове и оттуда она почерпнула толику моих воспоминаний. Но сделала она это сама, поэтому я не знаю, что именно из моей памяти она позаимствовала; значит, нельзя сказать, что я намеренно чему-то ее научил, но нельзя и сказать, что источник ее познаний находится вне меня. Что же до множественников, то и впрямь в рассказе умалчивается об их дальнейшей судьбе, ибо рассказать можно все, но не все – упорядочить. Если бы то, что происходит здесь в эту минуту, было бы не реальностью, но лишь рассказом следующей ступени, который включает в себя рассказ машины, то какой-нибудь слушатель мог бы спросить, отчего ты и твои товарищи шаровидны – хотя шаровидность эта ничему в рассказе не служит, а значит, вроде бы совершенно излишня…

Подивились сметливости конструктора королевские сотоварищи, а сам король сказал с широкой улыбкой:

– Слова твои не лишены оснований. Но что касается нашей формы, то ее происхождение я могу объяснить. Давным-давно мы – то есть наши пращуры – выглядели иначе, ибо возникли они по воле тряских существ, именуемых также бледными, что построили их по образу своему и подобию; и были у них руки, ноги, головы, а также корпус, все это связывавший воедино. Но, освободившись от бледных творцов и желая даже в обличье своем

уничтожить следы такового происхождения, наши предки поколение за поколением преображали себя, пока не приняли форму шара; и к лучшему ли, к худшему ли, однако случилось именно так.

– Государь, – молвил Трурль, – с конструкторской точки зрения шаровидность имеет как хорошие стороны, так и дурные; но со всех иных точек зрения лучше, если разумное существо не может себя переделывать; такая свобода – истинное мучение. Ведь тот, кто вынужден оставаться таким, каков есть, может винить судьбу, переменить которую ему не дано; тому же, кто волен себя изменять, уже некого винить за свою ущербность, и, если ему плохо с самим собою, ответа за это никто не несет, кроме него самого. Но, государь, не для того я прибыл, чтобы читать тебе общую теорию самоконструирования, а чтобы испробовать мои машины-рассказчицы. Угодно ли тебе выслушать следующую?

Король согласился; сотрапезники, пригубив из амфор с отборнейшим ионным отваром, уселись удобнее, а вторая машина приблизилась к ним, отвесила королю учтивый поклон и молвила:

– Великий государь! Послушай историю со вставными историями о Трурле-конструкторе и приключеньях его удивительно нелинейных!

Однажды Великий Конструктор Трурль был вызван к царю Душидаву Третьему, Властелину Железии, который желал дознаться, как достичь совершенства и какие потребны для этого переделки духа и тела. А Трурль ему так отвечал:

– Случилось мне посетить планету Легарию; остановившись, по обычаю своему, на постоялом дворе, решил я до тех пор не покидать своего покоя, пока досконально не ознакомлюсь с историей легарийцев и их обычаями. Стояла зима, на дворе завывала вьюга, и в мрачной хоромине, кроме меня, никого не было; как вдруг послышался стук в ворота. Выглянув в окошко, я увидел четверых мужей в капюшонах, сгибавшихся под тяжестью черных саквояжей. Выгрузив саквояжи из бронированной брички, они вошли в дом. Назавтра, около полудня, из соседнего покоя донеслись до меня престранные звуки: свист, удары молота, стоны, дребезг стеклянной посуды, и все это перекрывал мощный бас, восклицавший без устали и перерыва:

– Живей, чада мести! Живее! Вытягивать элементы, сквозь ситечко, да поровнее! А теперь в воронку его! И вальцевать! Дайте-ка мне этого сукина кибера, бронегада, заржавца, вредороба, в смерти запрятанного! И в могиле не скроется он от

праведного нашего гнева! Дайте-ка сюда его мозговину премерзкую, ходули его проклятые, а теперь вытягивайте носище! Дальше, дальше, ровно тянуть, чтобы было за что ухватить при экзекуции! Дуньте-ка в правый мех, молодцы-удальцы! В тиски его, а теперь медный лбище его заклепать! И еще разочек! Ладненько, ох ладненько! Эй, поживее там со своим молотом! Ну-ка! Да посильней нервные струны натяните, чтобы не отдал он концы так скоро, как тот, вчерашний! Пусть отведает вволю мучений и мести нашей! Ну-ка! Ухнем! Э-эх!

Так он покрикивал, вопил и рычал, а ответствовали ему лишь грохот, да лязг, да гуденье мехов, а потом вдруг я услышал чиханье и громкий торжествующий рык четырех глоток; какое-то тормошенье послышалось за стеной, скрипнула дверь; заглянув в щелку, я увидел, что в коридор украдкой входят приезжие незнакомцы, и, не веря своим глазам, насчитал уже пятерых. Они спустились по лестнице, заперлись в погребе и оставались там долго, а вечером вернулись к себе – вчетвером, как прежде, и было за стеною так тихо, словно их посетила смерть. Я снова взялся за книги, но история эта застряла во мне занозой, и я решил во что бы то ни стало ее разгадать. Назавтра, в ту же самую пору, в полдень, опять загремели молоты, загудели мехи и раздался все тот же ужасный, надорванный бас:

– Ну-ка, чада мести! Поживей, электристы мои удалые! Пошевеливайся! Досыпать ему протонов и йодику! Поскорей управляйтесь с этим косорыльником, лжемудрецом, омерзистом и разодранцем, с этим вечностным лиходельником, дабы мог я ухватиться за носище его громадный, и тянуть, и топтать его до скоропостижной медленной смерти! Дуйте-ка хорошенько в мехи!

Снова раздались чиханье и визг, заглушенные, очевидно, силой, и снова вышли они на цыпочках из покоя, и опять насчитал я пятерых незнакомцев, спускавшихся в погреб, и четверых, когда они возвращались назад. Поняв, что только там и возможно разгадать эту тайну, я вооружился лазерным пистолетом и на рассвете сошел в подвал; не нашедши там ничего, кроме обугленных и покореженных железок, я спрятался в самом темном углу, прикрывшись пучком соломы; так я сидел на страже, пока наконец около полудня не раздался уже знакомый мне грохот и крики; вскоре дверь распахнулась и четверо легарийцев втащили пятого, опутанного веревками.

На нем был старинного фасона кафтан – малиновый, с выпушным воротом, и шляпа с плюмажем; сам же он был щекаст и имел преогромнейший нос, а губы его, искривленные страхом, что-то без устали бормотали. Запершись на засов, легарийцы по сигналу самого рослого из них сорвали с узника путы и

принялись немилосердно его охаживать куда ни попадя, крича наперебой:

– Вот тебе за прорицание счастья! Вот тебе за грядущее совершенство! А это за лютики бытия! И за розовые цветочки! И за всесветные васильки! И за братанье альтруистическое! И за романтику духа!

И уж били они его, и дубасили так, что быть бы ему забиту до смерти, если б не высунул я из-под соломы лазерный ствол и тем присутствия своего не выдал. Тут они отступились от жертвы, а я спросил, чего ради так истязается незнакомец, который ни на разбойника, ни на голодранца пригульного не похож, ибо по вороту выпушному и малиновости кафтанной видно, что это как-никак особа ученая. Они поначалу смешались и тоскливо поглядывали на оружие свое, оставленное у двери; когда же я грозно нацелил на них пистоль, от умыслов своих отказались и, потолкав друг друга локтями, упросили того, высокого, самого из них басовитого, ответить за всех.

– Знай же, пришелец неведомый, – обратился он ко мне, – что пред тобою здесь не садистики, не тиранисты или иные дегенераторы племени роботного; и хоть место, какое являет сия темница, малопочтенно, то, что в нем происходит, прекрасно и похвально во всех отношениях!

– Прекрасно и похвально! – не выдержал я. – Что ты мне, сударь, рассказываешь, легариец негодный? Я же своими глазами видел, как вы, накинувшись на оного малиновца вчетвером, насмерть его хотели забить! Аж-таки масло прыскало из ваших суставов от ударов тяжелых! И это вы смеете называть прекрасным?

– Ежели Ваша Чужеземная Милость, – ответил мне бас, – будет все время перебивать, то ничего не узнает, а потому нижайше прошу язык придержать собачкой, а рот закрыть на замок, иначе я сказывать перестану. Знай, что пред тобою первейшие физикусы, славные кибернеры, электристы, словом, усердные и смышленые ученики мои, которым по уму нет равных во всей Легарии; сам же я профессор обеих материй противоположного знака, создатель всемогуторной воскресистики, Вендеттий Ульторик Аминиус, а сие означает, что имя, фамилию, прозвище и прочее свое достоянье я отмщению посвятил. Вместе с верными учениками окончу я жизнь, мстя за позор и страдания легарийцев мерзистому сквернолюбу по имени, проклятому навеки, Малапуций, он же Малапуциус Хавос, что ползает тут в кафтане малиновом; ибо он непутево и гнусно огоремычил всех легарийцев – преднамеренно, вконец и навеки, искошмарил их, замудрил, ухайдокал, скопытил, а сам, от

суровой спасаясь расплаты, укрылся в могильнике, хитромысленно полагая, будто там ничья десница его уже не настигнет!

– Отнюдь, Ваша Неведомая Пресветлость! Я это все ненароком! Я нечаянно, ибо все иначе должно было быть!.. – застонал, не поднимаясь с колен, носач в малиновом платье.

Я слушал и смотрел, ничего не понимая, а бас продолжал свое:

– Вармоганций, любимчик ты мой, по лбу влепи горлопану губастому!

И верный его ученик немедля сие исполнил, аж гул пошел по подвалу. Я на это:

– До окончательного выяснения – битье, а равно всякое иное истязательство строжайше, под угрозой применения оружия, запрещаю, а ты, профессор Ульторик Вендецкий, говори, что хотел сказать!

Профессор крякнул, поморщился и наконец промолвил:

– Чтобы понять, о чужеземный пришелец, что и как к великой беде привело и почему мы вчетвером, от жизни мирской отрекшись, основали орден воскресенцев-молотобойцев, дабы жизни своей остаток посвятить наслаждению местью, надобно поведать тебе в немногих словах нашу историю от сотворения мира…

– А нельзя ли с несколько более позднего времени? – спросил я, опасаясь, как бы не занемела рука под тяжестью лазерного ствола.

– Никак невозможно, Ваша Чужеземность! Так что слушай, да повнимательнее… В народе, ты знаешь, сказывают о каких-то бледнотиках, которые роботный род в ретортах состряпали, однако просвещенным умам известно, что все это ложь, несусветнейший миф… Ибо на самом деле в Начале был только Мрак Темнющий, во Мраке же – Магнетичность, что атомы раскручивала; вращаясь, ударялся атом об атом, и возник Пра-Ток, а с ним и Первая Светлость… а после звезды зажглись, планеты остыли, и в их нутре завелись Прамашиночки-крохотульки, а из них Прамашинки, а из них, от дуновения Святой Статистики, Протомашины. Считать они еще не умели, только и знали, что дважды два, а дальше – ни бе ни ме, но потом, благодаря Естественной Эволюции, кое-как наловчились пятое через десятое, и зародились из них Мультистаты и Омнистаты, а от тех родился Пите-кантробот, а от него уже и праотец наш, Автоматус Сапиенс…

После были роботы пещерные, затем пастушеские, а когда они расплодились, выросли государства. Древние роботы

добывали животворное электричество тяжким трудом, вручную, путем потирания. Каждый сеньор имел дружину вассалов, а те – крепостных, и потирали все друг дружку иерархически, от социальных низов до верхних слоев, по мере сил. И пришла на смену ручному труду машина, когда Козлонн Симфилийский выдумал потиралку, а Черпак из Парезии – еще и прутик для уловления молний. Так началась батарейная эра, бедственная для тех, кто собственной недвижимости аккумуляторной не имел и зависел целиком от небес: без батарей невозможно было тучи грозовые доить, и в вёдро ватт за ваттом приходилось собирать подаянием. Тяжко тогда жилося, ибо, ежели кто переставал потирать себя либо тучи выдаивать, бесславно гибнул от истощения тока. И объявился тогда мудрила родом из пекла, комбинатор-интеллектуал-улучшатель, которому смолоду – не иначе как из-за происков дьявола – никто башку не разгрохал на мелкие части, и принялся оный толковать и втолковывать, что завещанные от дедов параллельные способы электрического соединения никуда не годятся и соединяться нужно по новым схемам его, то бишь шеренгою. Дескать, если в шеренге один потрется, то вмиг зарядит всех прочих, даже и самых дальних, и станет каждый робот изобиловать током вплоть до верхних пробок в носу. И столь прельстительные рисовал он планы, и такой электрай обещал, что прежние контуры, независимые и параллельные, отключили, а Хавосову электротехнику внедрили в быт…

Тут профессор многократно ударился головою о стену, после чего, повращав глазами, продолжал говорить, а я постиг, отчего это столько неровностей на челе его, шишковатости просто необычайной.

– И вышло так, что каждый второй заваливался под стол, рассуждая: «Чего это ради мне потираться? Пусть сосед потирается, то ж на то ж и выйдет». А сосед то же самое, только наоборот, и напряжение упало настолько, что пришлось понаставить на каждом шагу неусыпных смотрителей, а над ними обер-смотрителей. И пришел тогда ученик Малапуция, Целезий Погрешник, и учил, что надобно не себя, но ближнего своего потирать, а за ним Фафуций Альтруциус с идеей бивальцев-страдальцев, а после него Шавкалий Прижимистый, насаждавший курсы и клубы массажа, а вскорости новый теоретик электрический объявился, Гаргазон Недомерик, – дескать, лучше бы тучи не доить силою, но щекотать их слегка, по-хорошему, пока не дадут тока, а следом Грохотоний из Лейдена, а потом Фистулюб Никакойский, восхвалявший самотеры, именуемые еще натирателями или втирателями, а также Мордослав Будеянин,

который кроме битья проповедовал потирание чего ни попадя, хотя бы и силой. Из-за такого несходства мнений произошли меж ними раздоры, из раздоров – проклятья, из проклятий – кощунства, а из кощунств – побитие Фареуса Пурдефлякса, цесаревича жестянцев; так разгорелась на Легарии война между купритами из племени меднолюдов и империей хладнопрокатов, и воевали они тридцать и восемь лет, а после еще двенадцать, ибо под конец средь развалин нельзя уже было понять, чья взяла, и пришлось им сразиться сначала. А виновник всех этих пожаров, погостов, повального безамперья, деваттизации, крайнего падения жизненной мощности и прочих, как говорят в народе, «малапакостей» – вот этот проклятый мерзатор, родом из преисподней, с вредными идейками его!!!

– Намеренья имел я благие!!! Клянусь, Ваша Лазерность! Ко всеобщему счастью ум напрягал, во спасенье! – завизжал, на коленях стоя, Малапуций, а носище его подрагивал.

Но профессор лишь долбанул его по лбу с размаху и продолжал:

– Случилось все это два и четверть столетья назад. Как ты, верно, догадываешься, задолго до Великой Легарийской Войны и всеобщей разрухи Малапуций Хавос, наплодив целую тучу трактатов, в коих лживые россказни свои ядовито разбрызгивал, скончался, собою совершенно довольный, мало того, восхищенный, ибо в завещании объявил, что надеется на титул Окончательного Благодетеля Легарии. Так что, когда пришла пора посчитаться за все, не с кем было уже тяжбу вести, некому выставлять счет, не с кого было жесть полосами сдирать. Однако же я, Ваша Чужеземность, создав Теорию Дублизации, до тех пор изучал Малапуциевы сочинения, пока не экстрагировал из них его алгоритм; а алгоритм, введенный в машинку, именуемую Рекреатор Атомариус, сиречь Атомный Восстановитель, изготовляет ex atomis oriundum – gemellum [28] какой угодно особы, в данном же случае – Малапуция Хавоса. Именно это и делаем мы и ежевечерне в оном подвале суд над Хавосом чиним, а, загнав его в гроб, наутро снова мстим за народ наш, и будет так до скончания века!!!

Охваченный ужасом, я ему немедля так отвечал:

– Не иначе как вы, милостивые государи, вовсе лишились ума, ежели полагаете, будто сей обыватель, сей дух из машины, коего вы, как я понял, ежевечерне изготовляете из атомов холодной прокаткой, должен отвечать за деяния – неважно какие – ученого, умершего бесповоротно три столетья назад!

А профессор на это:

– Так кто же этот накарачник носатый, коль скоро он сам себя

Малапуцием Хавосом именует?… Как тебя звать, плеяда гадюшная?

– Ма… Малапуций… Ха… вос, Ваша Беспощадность… – пролепетал носатый.

– И все-таки он не тот же самый, – настаивал я.

– Как это – не тот же самый?

– Да ты ведь, почтенный профессор, сам мне сказал, что того уже нет в живых!

– А мы его воскресили!

– Другого, двойнягу, дублиста; похожего, но не тождественного!

– Докажи, ваша милость!

– Не буду ничего доказывать, – отвечал я на это, – ибо в руках у меня лазерный ствол, а сверх того я отлично знаю, почтенные ученые, что дискуссия на эту тему таит немало опасностей, поскольку нетождественность тождественного recreatio ex atomis individui modo algorytmico [29] есть знаменитый Антиномический Парадокс, или Labyrintum Lemianum [30], описанный в трудах сего филороба, именуемого также Advocatus Laboratoris [31]. А потому безо всяких дискуссий, но под лазерным дулом немедля отпустите на волю этого носача и даже мыслить не смейте о прежнем рецидивном тиранстве!!!

– Благодарю, Ваша Великодушность!!! – закричал малиновокафтанник, подымаясь с колен. – Вот здесь, – он похлопал себя по оттопыренному карману, – лежат новые формулы и чертежи, при помощи коих уже безусловно и безукоризненно можно раифицировать легарийцев; это – схема заднего сопряженья, а отнюдь не сопряженья шеренгою, как случилось мне написать три столетья назад из-за случайной ошибки в расчетах!!! Немедля бегу воплощать великое открытие в жизнь!!!

И точно, он уже брался за ручку двери на глазах у нас всех, застывших от удивления. Тогда отпустил я онемевшую длань и, отворотив взор, сказал профессору:

– Снимаю возраженья свои – делай, сударь, что должно…

С тихим урчаньем все четверо вскочили, насели на Малапуция, связали его и до тех пор им занимались, пока его на свете не стало.

Они же, переведя дух, кафтанчики на себе одернули, поправили надорванные перевязи, холодно поклонились мне и вышли гуськом из подвала, оставив меня одного с лазерной тяжелой пистолью в дрожащей руке, переполняемого удивлением и меланхолией.

Такую вот поучительную историю рассказал в назиданье

царю Душидаву с Железии вызванный им конструктор Трурль. Монарх, однако, требовал дальнейших пояснений относительно нелинейного усовершенствования бытия, и Трурль сказал ему:

– Будучи на планете Цимбалии, наблюдал я последствия действий, имеющих целью всеобщее совершенство. Цимбалы издавна присвоили себе иное название, а именно, гедофагов, или счастьеедов, а сокращенно и попросту – счастников. Когда я к ним прибыл, была в расцвете Эпоха Множеств. Каждый цимбал, то бишь счастник, в личном дворце восседал, который воздвигла для него автоматка (так они именуют рабынь своих дивноматричных), маслом умащенный, ладаном одурманенный, электрически ублажаемый, златом-серебром осыпаемый, в самоцветах купаясь, в парчу облачаясь, а дукаты звенят, музыканты трубят, стража на лестнице, в гареме – прелестницы; однако при всем том вид он имел не вполне довольный и даже словно бы мрачный – а ведь всего через край! На планете уже отмирало яческое «ся», ибо никто не прогуливался, не подзаряжался из лейденской фляжки, не любился, не веселился, но Прогулятор его прогуливал, Питалка током питала, Развлекалка развлекала, и даже улыбнуться не мог он, поскольку для этого имелся особый автомат. Вот так, во всех абсолютно делах машинами выручаемый и замещаемый, осыпанный гуриями и орденами, которыми услужливые автоматки снабжали и награждали его в количестве от пяти до пятнадцати штук в минуту, осажденный золотым муравейником машиночек и машинят, которые его окуривали да массировали, в очи сладко заглядывали, в уши нежно мурлыкали, под колени брали, в ноги падали и без устали целовали куда ни придется, – слонялся в одиночестве счастник, он же гедофаг, он же цимбал, а вдали, заслоняя собой горизонт, гудели наимощнейшие фабрикарни, что работают там денно и нощно, выбрасывая один за другим троны златые, ласкалочки на цепочке, жемчуговые пантофли и подбородки, яблоки, скипетры, эполеты, кареты, шпинели, свирели, виолончели и миллионы прочих диковин и причиндалов для ублажения. Всю дорогу я отбивался от машин, предлагающих свои услуги, а самых нахальных охаживал по лбу и по корпусу, до того они рвались услужать; наконец, убегая от целой их стаи, очутился в горах и увидел ораву златокованых машин, осаждавших вход в пещеру, заваленный валуном; сквозь щелку глядели глаза какого-то цимбала, который укрылся здесь от всеобщего счастья. Завидя меня, машины тотчас принялись персону мою обмахивать да поглаживать, на ухо сказки нашептывать, руки целовать, троны предлагать, и спасся я лишь потому, что пещерный беглец булыжник отодвинул и милосердно

пустил меня внутрь. Отшельник наполовину проржавел, но очень был этому рад и сказал, что он – последний мудрец-цимбалист; излишне было объяснять мне, что благоденствие хуже нужды допекает, ежели через край; это я и сам понимал: ведь что можно, ежели все можно? И как выбирать, если разумное существо, окруженное сущими безднами эдемов, при такой безвыборности тупеет, вконец угорев от самодействующего исполненья мечтаний? Я разговорился с пещерным мудрецом, коего звали Тризувий Ювенальский, и мы порешили, что потребны великие закрытия и Онтологический Ухудшессор-Регрессор, иначе недалеко до погибели. Тризувий давно уже разрабатывал усложнистику, то есть утруднение бытия; однако мне пришлось разъяснить ему его ошибку, которая в том заключалась, что он хотел извести машины другими машинами, а именно: пожиралками, терзаторами, мучильнями, сокрушильниками, вырваторами и биальнями. Лекарство оказалось бы хуже болезни, к тому же это было бы упрощенство, а не усложнистика; история, как известно, необратима, и нет иного пути в добрые старые времена, как только через грезы и сны.

Потом мы пошли с ним по огромной равнине, усыпанной до горизонта дукатами, так что в золоте вязли ноги, и, отгоняя прутом тучи назойливых ублажилок, видели по сторонам бесчувственно валяющихся по причине электрозапоя, вконец заласканных цимбалов-гедофагов, которые лишь тихонько икали, и при виде такового развития больно уж развитого и избытка слишком избыточного душа изнывала от жалости и состраданья. Другие обитатели автодворцов ударились в шальные чудачества и киберраздоры, травили машины машинами, самолично крушили драгоценные вазы и прочие древности, не в силах выдержать такого количества красоты, палили из пушек в брильянты, гильотинировали сережки, диадемы велели колесовать; третьи прятались от услаждения жизни на крышах и чердаках; четвертые велели машинам биться – или же все это сразу либо попеременно. Но не было от этого проку – все они гибли от ласк, хотя и не все одинаково. Я отговаривал Тризувия от намерения просто остановить фабрикарни: ведь недосластить ничуть не лучше, чем пересластить; но он, вместо того чтобы подзаняться онтологической усложнистикой, начал взрывать автоматки. И тем причинил немалое зло, ибо вскоре горькая воцарилась нужда, только он до нее не дожил: где-то настигла его стая самолюбок, присосались к нему флиртушки и обольстилки, завлекли в целовальню, заморочили лобызалками, опутали и задурили его, и с криком «На помощь!» погиб он от переублажения, и остался лежать на пустынной равнине, дукатами, как землею могильной,

засыпанный, в куцых доспехах своих, опаленных механической страстью. Вот чем кончил мудрец, недостаточно мудрый, о государь! – закончил Трурль. Но так как и эта история отнюдь не насытила Душидава, спросил: – Чего же, скажите на милость, желает Ваше Величество?

– Конструктор! – отвечал Душидав. – Ты говоришь, что истории твои поучительны, хотя я этого не нахожу. Но они, несомненно, забавны, и потому мне угодно, чтобы ты продолжал их рассказывать, и притом неустанно.

– Государь! – сказал ему Трурль. – Ты хотел узнать, что такое совершенство и как оно достигается, однако ты глух к глубоким мыслям и поучениям, укрытым в моих рассказах. Поистине, не поучений ты ищешь, а развлеченья; и все же слова, которые я вливаю по капле в твой ум, оказывают и будут оказывать надлежащее действие, подобно мине с часовым механизмом. В такой надежде позволь поведать тебе о происшествии почти что истинном, запутанном, необычайном, урок из которого извлечет, быть может, и твой королевский совет.

Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, девтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела!

Происходил Ширинчик из великого рода Винтонов, на две разделенного ветви: правых, кои царствовали, и левых, именуемых также левовращенцами, кои от власти были отстранены и питали ненависть к правящим. Родитель его, Холерион, вступил в морганатический брак с простой сапожной машиной, что подошвы к голенищам пристрачивала, и унаследовал Ширинчик от матери грубый, невоздержанный нрав, от отца же – робость пополам с любострастием. Видя это, враги престола, левовращенцы, замыслили так учинить, чтобы собственные вожделенья сгубили его, и послали к нему кибернера по имени Хитриан, занимавшегося инженерией душ, и так его король возлюбил, что сделал Коронным Архимудритом. На все лады Хитриан многоумный государевым страстям потакал, в тайной надежде здоровье короля подорвать и ослабить и трон тем самым освободить: смастерил миловальню, эротодром, в киборгии его вовлекал; но стальная натура монаршья выдержала все непотребства, и в нетерпенье потребовали левые винтоны от своего подосланца, чтобы тот поскорее добился желанной цели при помощи метода, искуснейшего изо всех, которые знает.

– Значит ли это, – спросил он на тайном совете в замковых подземельях, – что надобно довести короля до короткого замыкания или же память его размагнитить, чтобы он ополоумел

вконец?

– Ни за что! – отвечали они. – Да не ляжет на нас вина за смерть короля; пусть удавится Ширинчик собственным блудом, пусть собственная похоть его сожре***Тип***огубит, но не мы!

– Хорошо, – отвечает им Хитриан, – тогда я поставлю на него силки, сплетенные из сновидений; сперва завлеку короля приманкой: схватив ее, он войдет во вкус и сам затоскует по грезам безумным, а когда заберется подальше в сны, во снах затаившиеся, я опутаю его эрототенетами, да так, что к яви ему не вернуться живым!

– Ладно, ладно, – говорят они, – не хвались, кибернер, не слова нам нужны, но дела; да станет Ширинчик цареубийцею – погубителем себя самого!

И взялся кибернер Хитриан за это ужасное дело, и трудился он целый год, требуя от государева казначея все новых слитков золота, и меди, и платины, и прочих драгоценностей без числа; а когда король выражал нетерпение, повторял ему, что делает нечто такое, чего уж точно нет ни у одного монарха на свете!

Год спустя с торжественностью необычайной вынесли из кибернерской лаборатории три огромных шкафа, поскольку же в двери личных его величества апартаментов они не прошли, пришлось их поставить в передней. Заслышав топот носильщиков и грохот, Ширинчик вышел в переднюю и увидел у стен прегромаднейшие шкафы, снабженные замками, выложенные самоцветами, в четыре сажени высотой и в две – шириной. Первый шкаф, называемый также Белым Ящиком, был из жемчужных матриц и албитами сверкающими изукрашен; второй, черный как ночь, был усыпан агатами и морионами; а третий красным переливался, ибо сработан был из рубинов и шпинелей. У каждого имелись ножки в виде крылатых грифов из чистого золота и полированные дверцы, а в середке – электронная начинка со сновидениями, что снились сами себе, ни в участниках, ни в соглядатаях не нуждаясь. Немало подивился король Ширинчик, такие объясненья услышав, и вскричал:

– Что ты мне тут плетешь, Хитриан?! На кой черт шкафам сновидения? Что за польза от этого мне? И вообще, откуда известно, снится им что-нибудь или нет?

Тогда Хитриан, поклонившись смиренно, показал ему ряды дырочек на дверцах шкафов, бегущих сверху вниз, с надписями на жемчужных табличках, и король не без удивления начал читать.

«Военный сон с фортециями и дамами». – «Сон о любонаде чудесном». – «Сон о Флиртане-рыцаре и Рамолинде прекрасной, Гетериковой дочери». – «Сон о кибермаринах и кимаринадах». – «Ложе королевны Гопсалии». – «Лапушка, или Орудие на курьих

лапках». – «Сальто эротале, или Амуристическая акробатика». – «Чудный сон в осьмируких объятиях сладостной Октопины». – «Перпетуум аморобиле». – «На месяце новом едят пирожки с оловом». – «Завтрак с музыкой и девицами». – «Как солнышко подамперить, чтобы лучше грело». – «Брачная ночь принцессы Нелепы». – «Сон о шипе в сапогах». – «О кошечках-душечках». – «О-ля-ля». – «Киборгии фруктовые, сиречь кибергрушки воркующие, из цикуты компот и оливки-похотливки». – «Как матрица с патрицей миловались». – «Не сон, а объеденье – лакомый, гуляшный, с клубничкою». – «Мона Лиза, или Лабиринт сладостной бесконечности».

Перешел король ко второму шкафу и прочел: «Полудремы и сны-игры». А дальше: «В висельника и висюльку». – «В соленое с перчиком». – «В Клопштока и критиков». – «В девицу-зверицу». – «В морду». – «В одеяло с глазком». – «В созерцаплю». – «В морду еще раз». – «В почку моченую и мочку печеную». – «В катотехнику, или В головорубку и головорезку». – «В чертыханца». – «В киборгиню». – «В заливанье шаров и наливание глаз». – «В кибаядерку». – «В кибернера и кибернантку». – «В гаремные ристалища».

Хитриан, инженер душ, тут же пояснил, что каждый сон сам себе снится лишь до тех пор, пока кто-нибудь не воткнет свою вилку, приделанную к цепочке карманных часов, в две соответственных дырочки; тем самым он подключается к шкафному сну, да так превосходно, что сон переживается, словно явь, зримо и ощутимо – ну просто не отличить. Разобрало короля любопытство, взял он цепочку с вилкой и воткнул ее в дырочки Белого Шкафа под надписью: «Завтрак с музыкой и девицами». И едва подключился, как чует, что спина его колючками ощетинивается и громадные крылья выклевываются из нее, руки-ноги разрастаются в лапищи, когтистые и разношенные, а из пасти, в шесть рядов клыками утыканной, вырывается пламя и серный дым. Весьма удивился король и хотел было кашлянуть, но из глотки его прокатился рык громовой, от которого земля задрожала. Еще сильнее он удивился, глаза пошире раскрыл, рассеял тьму дыханием пламенным и видит, что прямо к нему в паланкинах зеленовато-салатных, с занавесочками, несут девиц, по четыре в каждом, да таких аппетитных, что слюнки текут. А стол уж накрыт, тут перец, там соль, облизнулся он, уселся удобнее и принялся оных девиц поочередно из паланкинов вылускивать словно орешки, так что от удовольствия туманило взор, последняя же девица попалась такая рослая, такая ладная, что король аж причмокнул, по брюху себя погладил и хотел попросить добавки, но перед глазами мелькнуло, и он проснулся.

Смотрит – стоит он, как и прежде, в дворцовой передней, рядом Архимудрит Хитриан, а перед ним самоснящиеся шкафы сверкают драгоценным каменьем.

– Ну что, удались девицы? – спрашивает Хитриан.

– Пожалуй, но где же музыка?

– Куранты в шкафу заело! Не угодно ли Вашему Величеству иного лакомого сновиденья отведать?

Королю, понятно, было угодно, только из другого шкафа, а потому подошел он к Черному и подключился ко сну под названием «О Флиртане-рыцаре и Рамолинде прекрасной, Гетериковой дочери».

Смотрит – и видит: на дворе эпоха романтическо-электрическая, а сам он, закованный в сталь с головы до пят, стоит в березовой роще, перед ним дракон, давеча побежденный, а дальше шелестят деревца, зефир прохладою веет и речка течет. Присмотрелся он к своему отраженью в воде и понял, что он-то и есть Флиртан, высокого напряжения рыцарь, герой несравненный. Вся история Флиртановых подвигов запечатлена на доспехах, и помнил он ее не хуже, чем собственную. Задвижку на шлеме в предсмертных судорогах погнул Морбидор, флиртанически побежденный, подколеночные шарниры повредил Колотун Многобоец, заклепки наплечников обгрыз перед самой кончиной Лягайло Мордавый, решетку на последнем издыхании помял Монстериций Блудон; скрепы, навески, стальные пластины, станина-хребтовина, налокотники и наколенники также были усеяны отметинами бронесражений; глянул на щит, а тот весь в окалинах молниевых. Но сзади был он девственно гладок, ибо в рыцарских битвах Флиртан никому доселе спины не показывал! Впрочем, сказать по правде, это не слишком его волновало, от подобной славы было ему ни жарко ни холодно; однако, вспомнив о Рамолинде, сел Флиртан на коня и ну искать ее по всему сновидению. Наконец добрался до укрепленного замка ее родителя, князя Гетерика, загремели под всадником балки разводного моста, а князь уже выходит, раскрыв объятья, чтобы встретить гостя и в дом свой ввести.

Не терпится рыцарю к Рамолинде, но сразу спросить неудобно, а старый князь между тем говорит, что в замке гостит чужеземный рыцарь, Винодур из рода Полимериков, фехтмейстер эластоподобный, который только о том и мечтает, чтобы попробовать счастья в поединке с самим Флиртаном. А вот и сам Винодур, гибкий и быстрый; идет прямо к нему и говорит:

– Знай, что возжелал я Рамолинду высоковольтную, со ртутными бедрами, с персями, коих даже алмаз не берет, с магнетическим взором! Тебе она предназначена, но я вызываю

тебя на поединок смертельный, который покажет, кто из нас обвенчается с нею!

И рукавицу бросает белую, нейлоновую.

– Свадьба сразу после турнира! – добавляет отец-князь.

– Пожалуйста, – отвечает Флиртан, а Ширинчик в нем думает: «После свадьбы возьму да и проснусь, подумаешь! Однако же черти принесли этого Винодура!»

– Значит, нынче же, доблестный рыцарь, – продолжает Гетерик, – сразишься ты с этим вот Винодуром Полимерическим; поединок при свете факелов, а теперь пожалуйте в замок!

Ширинчик во Флиртане встревожился, да что делать? И пошел он в покои, для него приготовленные, а минуту погодя раздается «тук-тук», и украдкой, бочком пробирается в дверь старуха кибородейка, подмигивает и держит такую речь:

– Рыцарь, не бойся ничего, добудешь ты прекрасную Рамолинду, и нынче же будет она качать твою голову на лоне своем серебряном! О тебе лишь мечтает она ночью и днем! Помни только, что нападать надо смело; ничего не сделает тебе Винодур, ты победишь!

– Это все разговоры, любезная кибородейка, – отвечает рыцарь, – а ежели что не так? Если я, для примера, поскользнусь или вовремя не прикроюсь? Нельзя легкомысленно рисковать! Может, знаешь какие-нибудь верные чары?

– Хи-хи-хи! – захрипела старуха. – Где уж там, стальной господин! Чар никаких нету, а впрочем, тебе они ни к чему, ибо я наперед ведаю, что будет, и ручаюсь, что ты победишь как по маслу!

– А все же с чарами было б вернее, – говорит ей рыцарь, – особливо во сне, однако – послушай, уж не прислал ли тебя Хитриан, чтобы я крепче поверил в себя?

– Не знаю я никакого Хитриана, – отвечает кибородейка, – и не ведаю, о каком ты сне говоришь; ты наяву, стальной господин мой, и вскоре уверишься в этом, когда Рамолинда даст тебе уст своих магнетических отведать!

– Странно, – пробормотал Ширинчик, не замечая уже, что кибородейка покинула комнату так же тихо, как и вошла в нее. – Неужели это не сон? Так мне почему-то казалось. Она говорит, это явь. Гм, трудно решить; и все же осторожность надо удвоить!

А трубы уже трубят, уже слышен воинский топот, галереи замковые народом забиты, и все храбрецов ожидают; и идет на бой Флиртан, а колени у него подгибаются, видит, сколь сладостно поглядывает на него чудная Рамолинда, дочь Гетерикова, но не до сладостности ему теперь! Ступил Винодур на замковый двор, освещенный факелами, и скрестились с лязгом

мечи. Тут уж Ширинчик оробел не на шутку и решил любою ценою проснуться, силится изо всех сил, однако доспехи прочно его удерживают, сон не пускает – а враг теснит! Все быстрее звенят клинки; уже рука у Ширинчика онемела, как вдруг противник вскрикнул и сломанный меч показал; хотел уж рыцарь кинуться на него, но тот из круга утоптанного выбежал, оруженосцы другой ему меч подают, и в это мгновение видит Флиртан, что выходит к нему из толпы зевак старуха киберодейка и шепчет на ухо:

– Стальной господин мой! Как очутишься возле открытых ворот, что ведут на мост, Винодур опустит свой меч, а ты ударяй смело, ибо это верный знак победы твоей!

Шепнула, и нет ее, а противник бежит уже с новым мечом. Бьются они, Винодур словно цепом молотит, но вот ослабел он, все медленнее отражает удары, открылся, пришла предсказанная минута, однако же меч по-прежнему в руках у него сверкает и ужас наводит; тогда Ширинчик напрягся духом, подумал: «На кой мне сдалась Рамолинда и ее прелести!» – повернулся и стреканул в темноту ночную по разводному мосту, так что гудом перекладины загудели. Добежал он до леса, провожаемый криками и окликами срамными, и так врезался головой в ствол, что свечки в глазах засветились; моргнул и видит, что стоит в дворцовой передней, перед Черным сновидческим Шкафом, а рядом Хитриан, душ инженер, улыбается криво. За этой улыбкой великая крылась досада, ибо флиртаническо-рамолический сон был ловушкой, подстроенной королю; если б Ширинчик послушал старуху киберодейку, Винодур, который лишь притворялся ослабевшим у открытых ворот, вмиг пронзил бы его кинжалом насквозь, каковой опасности король избежал единственно по необычайной трусости.

– Сладко ли было Вашему Величеству с Рамолиндой? – спрашивает пройдоха.

– Куда там! Я оставил ее в покое: не столь уж она и прелестна! – отвечает Ширинчик. – К тому же там потасовка какая-то началась. Безбитвенных и безоружных желаю я снов, понятно?

– Как будет угодно Вашему Величеству, – говорит Хитриан. – Выбирайте же, государь; во всех шкафных сновиденьях одно лишь блаженство вас ожидает…

– Посмотрим, – молвил король и подключился ко сну под названием «Ложе королевны Гопсалии». И видит покои дивной красоты, убранные парчою. Сквозь хрустальные окна сияние льется, словно вода родниковая, а у жемчугового туалетного столика стоит королевна, позевывая и готовясь ко сну. Подивился

Ширинчик такой картине и хотел уже громко кашлянуть, чтобы присутствие свое обозначить, но рот не раскрылся, словно заклеенный. Хочет король его потрогать, но не может и этого; попробовал ногой шевельнуть – тоже напрасно; оробел он, ищет глазами, где бы присесть, такая его охватила слабость от великого страху, – и это не получается. Меж тем королевна, сморенная сном, зевнула раз, и другой, и третий, да как бухнется на ложе, а Ширинчик весь затрещал, ибо он-то и был ложем королевны Гопсалии! Видать, девицу мучили тревожные сны, уж так ворочалась она, так шпыняла короля кулачками, так его ножками пинала; ужасный гнев охватил особу монаршью, сновидением обращенную в ложе. Боролся он со снящейся своею природой, напрягался вовсю, и наконец крепежные болты в нем ослабели, пазы разошлись, ножки разъехались ко всем четырем углам, королевна с визгом грохнулась на пол, а король, собственным распадом разбуженный, видит, что опять он в дворцовой передней, а рядом – смиренно склонившийся Хитриан-кибернер.

– Олух ты этакий! – крикнул король. – Что ты себе позволяешь, уродина? Виданное ли дело – чтобы я был ложем кому-то другому, а не себе! Ты забываешься, кибернер!

Испугался Хитриан государева гнева и просит другое сновиденье отведать, извиняясь за свой недосмотр, и до тех пор упрашивал, пока Ширинчик, от гнева охолонув, не взял двумя перстами вилку и подключился ко сну под названием: «Блаженство в осьмируких объятиях сладостной Октопины». Смотрит и видит: стоит он в толпе зевак на широкой площади, а мимо проходит кортеж – сплошные шелка, да бархаты, да слоны заводные, да паланкины из кости слоновой; посредине плывет паланкин, часовне златоглавой подобный, а в нем, за восемью занавесками, создание дивное, пленяющее своим девичеством ангельским, с ликом блистающим, с галактическим взором, с серьгами высокочастотными, и дрожь пробрала короля, и хотел он уже спросить, что это за особа такая, знатности и красоты почти небесной, но не успел он и рта открыть, как слышит вокруг восхищенный шепот: «Октопина! Октопина едет!»

И точно, это праздновалась, с блеском и пышностью небывалой, помолвка дочери королевской со Сномиром, заморским витязем.

Удивился король, что не он этот витязь, когда же кортеж прошел и ворота замка закрылись за ним, направился вместе с прочим людом в ближайшую корчму и там увидел Сномира, а тот, в одних лишь шароварах дамасских, гвоздочками золотыми украшенных, и со жбаном опорожненным в руке, из коего пил он

ионозефир, идет прямо к нему, к груди прижимает и шепотом жарким шепчет в самое ухо:

– Свидание у меня с королевной в полночь, в замковом дворике, под сенью кустов колючих, у ртутного фонтана, однако не смею пойти, ибо на радостях перебрал; ты же похож на меня капля в каплю, а потому умоляю тебя, чужеземный пришелец, – ступай вместо меня, поцелуй королевне руку, а себя назови Сномиром, и благодарности моей не будет границ!

– Почему бы и нет? – молвил король после недолгого размышления. – Пойти можно. Что, сразу?

– Ну, конечно, спеши, ведь полночь скоро, но помни: об этом свиданье король не знает, и вообще никто, кроме королевны да старика привратника; если он тебя остановит, сунь ему в руку вот этот мешочек, набитый дукатами, и он тебя пустит без слова!

Кивнул король, схватил мешочек с дукатами и прямо к замку бежит, а куранты как раз возвещают полночь уханьем сов чугунных. Призраком промчался он по разводному мосту, глянул в пасти рвов крепостных, пригнулся и ускользнул от решеток остроконечных, опустившихся с арки ворот; а во дворике, под колючим кустом, у фонтана, извергавшего ртуть, увидел белеющие при свете луны дивные черты Октопины, и такое она пробуждала желание, что его охватила дрожь.

Глядя на эту дрожь и озноб монарха-сновидца, захихикал тихонько Хитриан в дворцовой передней и руки стал потирать, уверившись, что гибель короля решена, ибо знал хорошо, сколь мощными объятиями встретит злосчастного кавалера Октопина, любовница осьмирукая! Знал он, как затянет она монарха взасосками в самую глубь сновиденья, чтоб никогда уж не смог он вынырнуть к яви! И в самом деле, Ширинчик, объятий королевны алкая, пробирался в тени галерей вдоль стены – туда, где лунно сияла ее краса, как вдруг дорогу ему заступил старик привратник и алебардой путь преградил. Король уже руку с дукатами протянул, но, когда ощутил их тяжесть, отнюдь не малую и милую сердцу, жаль ему стало дукатов: это что же – за одно лишь объятие расточить такую казну?

– Вот тебе дукат, – говорит он, развязывая мешочек, – за то, что меня пропустишь.

– Пожалуйте десять, – отвечает привратник.

– Десять дукатов за одну лишь минуту – да ты никак спятил! – рассмеялся король.

– Дешевле нельзя, – говорит привратник.

– Ни одного дуката не сбавишь?

– Ни одного, сударь.

– Ишь ты каков! – крикнул король, ибо по матери был

несдержан. – Ну и наглец! Ничего не получишь, дурень!

Тогда привратник так его алебардой огрел, что в голове у Ширинчика зашумело и провалился он вместе с галереями, двориком, мостом разводным и остальным сновидением в небытие, а мгновенье спустя очнулся рядом с Хитрианом, перед сновидческим Шкафом. Смешался до крайности кибернер и сосчитал про себя, что второй уж раз у него сорвалось, сперва из-за трусости, потом из-за жадности монаршей; однако же виду не подал и снова стал просить короля, чтобы тот другими снами душу возвеселил.

И выбрал Ширинчик сон «О любонаде чудесном». Тотчас стал он Парализием, властителем Эпилепонта и Патогении, старцем дряхлым, трясущимся, и притом сластолюбцем, каких мало, с душою, порочных деяний алчущей. Да что с того, коли суставы скрипят, руки ног не слушают, а ноги – головы! «Может, оправлюсь еще», – подумал он и тотчас послал своих воевод, дегенералов Маньяго и Спазмофила, резать и жечь все подряд, в полон угонять и добычу грабить. Пошли они, порезали, пожгли, пограбили, воротились и такую перед ним держат речь:

– Государь и владыка! Порезали мы, пожгли, а вот добыча военная и полонянка, прекрасная Прельстида, княжна энеков и бенеков, со всею казною своей!

– А? Что? С казною? – трясясь, захрипел король. – Но где же? Ничего не видать! А где это так скрипит и так шелестит?

– Вот тут, на этом диване коронном, Ваше Величество! – хором грянули дегенералы. – Скрип происходит от сотрясений полонянки, вышеназванной княжны Прельстиды, на покрывале диванном, сплетенном из нитей жемчужных! А шелест – от шевеления платья ее златотканого, которое шевелится оттого, что прекрасная Прельстида рыдает, чувствуя свой позор!

– А? Что? Позор? Чудно, отлично! – прохрипел, запинаясь, король. – Давайте ее сюда, я ее тотчас же обниму и чести лишу!

– Этого Ваше Величество сделать не может по соображениям государственной пользы, – вмешался главный лейб-медикатор.

– Что? Чести лишить не могу? Предать поруганью? С ума ты, что ли, сошел? Я – не могу? А что же я до седых волос делал?

– Как раз поэтому, Ваше Величество! – убеждает его главный медикатор. – Ибо Ваше Величество может от этого занемочь!

– Да? Ну, дайте мне… того… топорик, я ее того… порубаю…

– Прошу прощения, но и это Вашему Величеству не показано, ибо может Ваше Величество разволновать…

– Что? Как?! Так что же мне за радость от эдакого царствования?! – захрипел отчаявшийся король. – Лечите меня! Укрепляйте! Омоложайте, чтобы смог я… того… как прежде

бывало… А иначе я всех вас немедля… того!

Перепугались придворные, дегенералы, медикаторы, и ну искать способы омоложенья монаршего; наконец призвали на помощь самого Калькулия, ужасно великого мудреца. Тот пришел и спрашивает:

– Чего вы, собственно, желаете, государь?

– А? Чего? Как это – чего? – хрипит король. – Беспутству, разнузданности, штучкам всяким блудливым желаю, как и встарь, предаваться, а в особенности поглумиться, как должно, над княжною Прельстидой, которую временно содержу в подземелье! Вот чего!

– Два пути для этого есть и два способа, – отвечает Калькулий. – Либо Ваше Величество соблаговолит избрать особу достаточно именитую, которая per procura [32] будет тем заниматься, чего пожелает Ваше Величество, подключенное проводочком к оной персоне; и что бы ни учинила она, Ваше Величество все ощутит, словно бы делало это собственноручно. Либо же следует кликнуть старуху киберодейку, что в лесу обитает, за городом, в избушке трехногой; ибо она искусная гериатричка и пробавляется лечением пожилых!

– Вот как? Что ж, испробуем сперва проводочек! – прохрипел король.

Тотчас же сделали, как он велел; начальника лейб-гвардии электристы подключили к его величеству, и король велел гвардейцу немедля мудреца Калькулия распилить, ибо поступок сей показался ему до крайности мерзким, а иных он не жаждал. Не помогли ни просьбы, ни стенания мудреца; однако же во время распиливанья протерлась изоляция на проволочке, так что король воспринял лишь половину палаческого спектакля.

– Скверный это способ, и справедливо велел я лжемудреца распилить, – захрипел государь. – Давайте-ка сюда эту старуху киберодейку из избушки трехногой! Побежали придворные в дремучий бор, и вот уже слышит король заунывную песенку, такую примерно:

– Пожилых пользую! Исцеляю, починяю, годы вспять обращаю, берусь лечить коррозии, параличи, суставы смазываю, никому не отказываю, от впадения в детство знаю верное средство, мое дело вдовье – охрана здоровья!

Выслушала августейшие жалобы киберодейка, низко поклонилась престолу и говорит:

– Государь! Далеко-далеко, за Лысой Горой, маленький есть источник, из которого тоненькой струйкой масло струится, касторовым именуемое; на нем любонад чудесный готовят, омолаживающий на диво, – одна столовая ложка на сорок семь

лет! Но упаси бог хватить через край, потому что от перебора можно и вовсе исчезнуть, чрезмерно омолодившись. Коли дозволишь, государь, я вмиг сварю тебе это верное снадобье!

– Превосходно! – король отвечает. – Да приготовь там княжну Прельстиду, пусть знает, что ее ждет, хи-хи!

И трясущимися руками винтики свои развинченные пересчитывает, бормочет, хрипит, и даже отчасти ножками дрыгает, ибо от дряхлости впал уже в детство, в исступленье порочном не ведая удержу.

И вот уже едут рыцари за касторовым маслом, микстуры варятся, дым дымит, и пар парует над котлом старухи кибородейки, и наконец прибегает она к подножию трона, падает на колени и, подавая монарху кубок, наполненный до краев отваром, сверкающим словно ртуть, говорит громким голосом:

– Парализий, государь наш! Вот любонад чудесный, что омолаживает, укрепляет, отвагу воинскую внушает и силу дает амурничать без умору; для того, кто осушит сей кубок, в целой Галактике не будет слишком много градов для разграбления и девиц для пленения! Пей на здоровье!

Взял король кубок и несколько капель пролил на скамейку для ног, а та как вспорхнет, как подскочит, как грохнет о землю, так что гуд прошел по дворцу, да как бросится на дегенерала Спазмофила, чтобы чести его лишить и поруганью предать! Шесть горстей орденов содрала, и все одним махом.

– Пейте, Ваше Величество, смело! – уговаривает кибородейка. – Сами видите – снадобье чудодейственное!

– Сначала отведай сама, – говорит король тихим голосом; как-никак безмерной дряхлости был-то старец.

Кибородейка малость сробела, пятится, упирается, но уже схватили ее по мановенью монаршему трое молодцов и через воронку влили насильно в глотку несколько капель блистающего отвара. Как полыхнет тут да как задымит! Смотрят придворные, смотрит король, хоть и плохо видит, – кибородейки как не бывало, лишь дыра обугленная чернеет в полу, а сквозь нее проглядывает другая, уже между явью и сном; и в оной дыре явственно виднеется чья-то нога, прекрасно обутая, с прожженными носками и серебряной пряжкой, так потемневшей, будто ее кислота разъела. А нога эта, носки и башмак Хитриану принадлежали, Архимудриту короля Ширинчика; ибо яд, который кибородейка называла любонадом чудесным, столь страшную силу имел, что не только старуху и пол под нею, но даже сон просверлил навылет и, на ногу Хитрианову брызнув, пребольно его ошпарил. В страхе великом решил проснуться король, однако, на Хитрианово счастье, дегенерал Маньяго успел-таки врезать

булавой по монаршему лбу; а потом, очнувшись, Ширинчик ничегошеньки из того, что случилось во сне, не помнил. И все же в третий раз удалось ему выскользнуть из сновиденья, вероломно подстроенного, теперь уже благодаря безмерному недоверию, которое он питал ко всем.

– Что-то мне снилось, а что – не помню, – молвит король, стоя опять перед сновидческим Шкафом. – Но отчего ты, сударь мой, на одной ноге подскакиваешь, а за другую держишься?

– Кибермати́зм замучил… Ваше Величество… Видать, к перемене погоды… – простонал лукавый Архимудрит и ну опять искушать короля, чтобы тот себя новым каким-нибудь сном заморочил.

Поразмыслил Ширинчик, посмотрел «Оглавление снов» и выбрал «Брачную ночь принцессы Нелепы». И снилось ему, будто читает он у огня книгу, в богатом окладе и прелюбопытную, а в ней повествуется словами затейливыми, буквами алыми, на пергаментах золоченых о принцессе Нелепе, что пять веков тому в Данделии правила; о Лесе ее Ледяном, о Башне Спиральной, о Ржущем Птичьем Дворе, о Сокровищнице Многоокой, а больше всего о красе и добродетели ее несравненной. И возжелал Ширинчик эту красу великим желанием, и жгучим пламенем разгорелись все его вожделенья, так что огненный блеск осветил зеницы его изнутри, и помчался он в глубину сновиденья искать Нелепу, но нигде ее не было, и только самые старые роботы что-то помнили еще об этой монархине. Странствиями утомленный, в пустыне самой глухой, однако ж королевской, а потому там и сям позолоченной, наткнулся он наконец на избушку убогую; вошел и увидел старца в белой как снег одежде. Старец навстречу ему встает и говорит:

– Ищешь Нелепу, несчастный! А знаешь ведь, что она уже пять столетий как умерла; сколь же страсть твоя напрасна и тщетна! Единственное, что я могу для тебя сделать, это показать ее – однако не настоящую, а лишь смоделированную способом цифровым, нелинейным, вероятностным и прекрасным вот здесь, в Черном Ящике, который я смастерил в минуты досуга из всякого пустынного хлама!

– Ах, покажи мне ее, покажи! – воскликнул Ширинчик, а старец кивнул головой, вычитал в книге коэффициенты принцессы, запрограммировал ее вместе со средневековьем, врубил ток, приоткрыл маленький клапан на крышке Черного Ящика и говорит:

– Смотри и молчи!

Наклонился король, весь дрожа, и вправду увидел средневековье, смоделированное двоично и нелинейно, а в нем

страну Данделию, Лес ее Ледяной, дворец принцессы с Башней Спиральной, Ржущий Птичий Двор, Сокровищницу Многоокую в подземельях и саму Нелепу, что в лесу смоделированном гуляла прекрасно и вероятностно, и через стеклышко в Черном Ящике было видно, как ее естество, в середке алое и золотое от электросияния, тихо гудело, когда смоделированная принцесса срывала смоделированные цветочки и песенку смоделированную напевала; и вскочил Ширинчик на Ящик, и ну колотить руками по крышке и к стеклышку рваться, желая – вконец обезумев – вторгнуться в мир, упрятанный в Ящик. Но старец тотчас вырубил ток, стащил короля на землю и молвил:

– Трижды безумный! Ты желаешь невозможного, ибо не дано существу, созданному из реальной материи, проникнуть в глубь мира, что являет собой лишь кружение и вращение элементов двоичных в процессе цифрового, нелинейного и дискретного моделирования!

– Я должен! Должен!!! – вопил исступленно Ширинчик, бодая лбом обшивку Черного Ящика, так что даже прогнул ее, а старец и говорит:

– Ну что ж, коли ты того требуешь, я помогу тебе соединиться с принцессой Нелепой, но знай, что сперва ты утратишь свой нынешний облик; ибо мне придется снять с тебя мерку и, согласно твоим коэффициентам, атом за атомом смоделировать, а после запрограммировать тебя самого, и станешь ты частью этого мира, средневекового и цифрового, что в Ящике пребывает и будет пребывать, доколе хватит электричества в проводах и накала в анодах и катодах. Но сам ты, здесь предо мною стоящий, исчезнешь и пребудешь лишь в образе неких токов, что кружат прекрасно, вероятностно, дискретно и нелинейно!

– Как же я поверю тебе? – спросил Ширинчик. – Откуда я узнаю, что ты смоделировал меня, а не кого-то другого?

– Что ж, устроим испытание, – сказал старец; а после взвесил короля, измерил на портняжий манер, но точнее, ибо мерку снял с каждого атома, наконец запрограммировал Ящик и молвил:

– Смотри!

Глянул король через стеклышко и видит, как сам он, сидючи у огня, читает книгу о принцессе Нелепе, как бежит искать ее, как встречных расспрашивает и, наконец, посреди позлащенной пустыни натыкается на избушку, а в ней видит старца, который встречает его словами:

«Ищешь Нелепу, несчастный!» – и так далее.

– Ну что, убедился? – спрашивает старец, выключив ток. – А теперь я запрограммирую тебя в средневековье, рядом с чудной Нелепой, чтобы вместе смотрели вы вечный сон моделирования

нелинейного и цифрового…

– Хорошо, хорошо, – отвечает король, – но это только мое подобие, а не я, ведь сам я тут, а не в Ящике!

– Сейчас тебя здесь не будет, – дружески отвечает старец, – уж я позабочусь об этом…

И достает из-под лежанки молот, увесистый, но удобный.

– Когда ты примешь в свои объятья возлюбленную, – объяснил ему старец, – я избавлю тебя от двойного существования – здесь и там, в Ящике, – способом старым, простым и верным, так что соблаговоли наклониться…

– Сперва покажи Нелепу еще разок, – ответил король, – а я проверю, так ли уж совершенен твой метод.

Старец показал Нелепу сквозь стеклышко Черного Ящика, король же смотрел, смотрел, да и говорит:

– Описание в старой книге сильно преувеличено. В общем-то она ничего, но вовсе не столь изумительна, как написано в летописях. До свидания, старче…

И развернулся кругом.

– Как же так? Куда ты, безумный?! – сжимая молот в руке, крикнул старец вслед королю, который шел уже к двери.

– Куда угодно, лишь бы не в Ящик! – ответил Ширинчик и вышел, и в то же мгновенье сон лопнул у него под ногами словно мыльный пузырь, и видит он, что стоит в дворцовой передней напротив Хитриана, жестоко разочарованного, ибо ему почти удалось замкнуть короля в Черном Ящике, из которого Архимудрит никогда бы его не выпустил…

– Уж больно много сложностей в твоих сновидениях с дамами, мой кибернер, – произнес король. – Либо ты покажешь мне сон, в котором блаженство достигается без особых забот, либо убирайся из дворца со своими шкафами!

– Государь, – отвечает ему Хитриан, – есть у меня сновиденье в самый раз для тебя, качества изумительного, только отведай и сам легко убедишься!

– Это которое ты так нахваливаешь? – спрашивает король.

– Вот это, государь, – говорит Хитриан и показывает на табличку жемчужную с надписью: «Мона Лиза, или Лабиринт сладостной бесконечности».

А сам уже вилку берет, что болталась у короля на цепочке, дабы, не мешкая, поскорее ее воткнуть, ибо видит, что плохи его дела: ведь Ширинчик избежал заточения вечного в Черном Ящике – без сомнения, из-за тупости, что помешала ему влюбиться как следует в сладостную Нелепу.

– Погоди, – говорит король, – я сам!

И вилку воткнул. Вошел он в сон и видит, что по-прежнему

остается самим собою, Ширинчиком, что стоит он в дворцовой передней, а рядом Хитриан-кибернер, который ему толкует, что распутнейший из всех – сон, именуемый «Мона Лиза», ибо в нем открывается бесконечность женского рода; послушался он, подключился и озирается в поисках Моны Лизы, так не терпится ему изведать ласк ее нежных, но в новом сне опять стоит он в передней, рядом с коронным Архимудритом; скорей подключился он к шкафу, вторгся в очередной сон, и опять то же самое: передняя, а в ней шкафы, кибернер и сам он. «Что это, сон?» – закричал король; подключился – снова передняя со шкафами и Хитрианом; еще раз – то же самое, и еще раз, и еще, да все быстрее. «Где Мона Лиза, прохвост?!» – завопил он и вырвал вилку, чтобы проснуться, да как бы не так! По-прежнему стоит он в передней со шкафами. Затопал ногами и ну метаться ото сна ко сну, от шкафа к шкафу, от Хитриана к Хитриану, а после ничего уже не хотел, лишь бы к яви вернуться, к трону любимому, к дворцовым интригам, к распутным забавам; вилки выдергивал, втыкал наудачу и опять вырывал. «О боже! – кричал он. – На помощь, король в опасности!» – и: «Мона Лиза! Эй! Там!» – и со страху подскакивал, и совался в углы в поисках щелочки, что ведет к пробужденью, но все напрасно. Не знал он, почему это так, – уж больно был непонятлив, но этим разом ни тупость, ни боязливость, ни подлая слабость спасти его не могли. В слишком далекие сны он забрался, слишком много их окутало короля непроницаемым коконом, и, хотя, напрягая все силы, слой или два удавалось ему надорвать, не было от этого толку, там поджидал уже новый сон; и когда он вилки из шкафов вырывал, те и другие лишь снились, и когда колотил Хитриана, стоявшего рядом, тот был не более чем маревом сонным; начал Ширинчик кидаться туда и сюда, но повсюду лишь сны да сны, а двери, мраморные полы, златотканые занавеси, бордюры, узоры, он сам, наконец, – лишь призраки, видимость, пустая иллюзия; и стал он вязнуть в трясине снов, погибая в их лабиринте, хоть и брыкался еще, и лягался, да что с того, если брыканье лишь снится и лягание – тоже! Голову разбил Хитриану – и опять понапрасну, потому что рычал на него лишь во сне и настоящего голоса не подавал; когда же, замороченный и запутавшийся, на мгновенье прорвался к яви, то, не умея ее от сна отличить, снова вилку воткнул и скатился обратно в сон, теперь уже навечно, и напрасно скулил о пробужденьи – не знал он, что «Мона Лиза» есть порождение дьявольское от слова «монархолиз», то бишь «растворение монаршье», и что из коварных ловушек, расставленных Хитрианом-изменщиком, эта была ужаснее всех…

Такую вот повесть опасно-назидательную поведал Трурль

царю Душидаву, у которого от нее голова разболелась, и потому он немедля конструктора отпустил, наградив его орденом Святой Киберии, с лиловым знаком обратной связи на зеленом поле, драгоценной информацией инкрустированным.

С этими словами вторая машина-рассказчица звонко скрежетнула шестеренками золотыми, засмеялась чудно от легкого перегрева некоторых клистронов, убавила напряженье анодное, закоптила, погасла и в паланкин удалилась, под всеобщие рукоплескания, коими наградили ее за красноречие и таланты.

А король Гениалон поднес Трурлю кубок, полный ионов, с искусно вырезанными на нем вероятностными волнами, что фотонами противопараллельными переливались, а тот его осушил и дал знак третьей машине; вышла она на середину пещеры и, поклонившись, заговорила голосом электронным, точеным и модулированным.

Вот история о том, как Великий Конструктор Трурль при помощи старого горшка флуктуацию локальную вызвал и что из этого вышло.

Была в созвездии Малой Безделицы Спиральная Галактика, а в этой Галактике – Черное Облако, а в Облаке пять систем шестерных, а в пятой системе солнце лиловое, очень дряхлое и даже подслеповатое, а вокруг того солнца кружили семь планет, а у третьей были три луны, и на всех этих солнцах, звездах, планетах и лунах происходили, в соответствии со статистическим распределением, разные разности и курьезы, а на второй луне третьей планеты лилового солнца пятой системы Черного Облака Спиральной Галактики в Созвездии Малой Безделицы имелась свалка, какую нетрудно найти на всякой иной планете или луне, самая обыкновенная, а значит, полная мусора и прочих отходов; появилась же она оттого, что аберрициды глауберские сразились водородно и нуклеарно с лиловыми альбуменсами, вследствие чего мосты их, дороги, дома, дворцы и сами они обратились в копоть и жестяную труху, которую метеоритным ветром занесло в то самое место, о котором ведется речь. Пять веков ничего на этой свалке не делалось, кроме мусора, когда же случилось однажды землетрясенье, нижние залежи мусора оказались вверху, а верхние – в самом низу, что само по себе особого значения не имело бы, если бы Славный Конструктор Трурль, пролетая в этих местах, не был ослеплен бродячей кометой с ярким хвостом. И начал он ее отгонять, швыряя в окно звездохода все, что попалось под руку, а были это дорожные шахматы, пустые внутри, которые

прежде он наполнял горелкою, да бочки от пороха, которого не удалось выдумать варлаям со звезды Хлорелеи, да старая посуда, а с нею – треснутый глиняный горшок. Горшок этот, приобретши скорость, соответствующую законам тяготения, и будучи ускорен кометным хвостом, упал на луну и покатился по склону над свалкой; попал по дороге в лужу, поскользнулся в грязи, съехал на дно, в самый мусор, и задел полоску заржавелой жести, а та вокруг проводочка медного обвилась; поскольку же между ее концами застряли кусочки слюды, возник конденсатор, а провод, опоясав горшок, стал зародышем соленоида, а камень, задетый горшком, толкнул заржавленную железяку, оказавшуюся старым магнитом, и возник от этого шевеления ток, переместивший еще шестнадцать жестянок и мусорных проволочек, и растворились там сульфиды с хлоридами, и атомы прицепились к атомам, взболтанные молекулы начали седлать другие молекулы, пока из всего этого прямо посередине свалки не зародился Логический Контур и еще пять других, да еще восемнадцать там, где горшок на куски разлетелся; а вечером вылез на край этой свалки, неподалеку от лужи, теперь уже высохшей, созданный столь случайным манером Далдай-Самосын, что ни отца не имел, ни матери, но был сам себе сыном, ибо отцом его оказался Случай, а матерью – Энтропия. И выбрался Далдай из мусорной кучи, не подозревая нимало, что родиться был у него один лишь шанс на сто супергигацентильонов в гексаптиллионной степени, и шел, пока не дошел до следующей лужи, которая высохнуть еще не успела, так что смог он свободно себя разглядеть, встав на колени. И увидел в водном зеркале свою голову, абсолютно акцидентальную, с ушами, как обломанные калачи, – левым скособоченным, а правым надтреснутым, и свое случайное туловище, что слепилось из железок, железяк и железочек, отчасти цилиндрическое (ибо так уж умялось оно при выползании из мусорной кучи), а посредине сужающееся наподобие талии, ибо как раз этим местом перекатился он, уже на самом краю свалки, через какой-то камень; еще увидел он мусорные руки свои и отбросные ноги, посчитал их, и по стечению обстоятельств оказалось их ровно по паре; и глаза, которых по чистой случайности было два, и восхитился Далдай-Самосын стройностью своего стана, четностью членов, округлостью головы и громко воскликнул:

– Поистине! Я изумителен и даже совершенен, что явно предполагает Совершенство Всего Сотворенного!!! О, сколь же благим должен быть тот, что меня сотворил!!!

И заковылял, по дороге роняя слабо укрепленные винтики (ведь никто их как следует не завинтил) и напевая гимны в честь

Гармонии Предустановленной, а на седьмом шагу споткнулся по слабости зрения и полетел головою вниз обратно, прямо в груду мусора, и ничего с ним не делалось, кроме ржавления, распадения и общей коррозии еще триста четырнадцать тысяч лет, поскольку упал он на голову, и все у него позамыкалось, и не было его на свете. А потом случилось как-то купцу, что на старом своем корабле вез анемоны для смолоногов с планеты Недузы, поругаться с помощником как раз неподалеку от лилового солнца, и швырнул он в помощника башмаками, а один башмак, выбив окно, вылетел в пустоту, и кружение его подвергалось пертурбациям по причине того, что комета, некогда ослепившая Трурля, оказалась опять в том же самом месте, и башмак, потихоньку вращаясь, упал на луну, лишь слегка обгорев из-за атмосферного трения, отскочил от склона и пнул лежавшего в мусоре Далдая-Самосына как раз с такой силой и по случайности как раз под таким углом, что вследствие центробежных сил, крутящей силы и общего момента вращения заработали мусорные мозги этого акцидентального существа. А случилось так потому, что от пинка Далдай-Самосын упал в соседнюю лужу, и растворились в воде его хлориды и йодиды, и забулькал электролит у него в голове, и возник в ней ток, который шастал туда и сюда, и наконец в результате этого шастанья и кружения сел Далдай в грязи и подумал: «Кажется, я существую!»

Но больше ничего помыслить не смог целых шестнадцать столетий, а дождь его поливал, а град молотил, и возрастала его энтропия, но спустя тысячу и пятьсот двадцать лет некая птаха, спасаясь от хищника, облегчилась над свалкой – со страху и чтобы быстрее лететь – и угодила Далдаю в лоб, и случилось от этого в нем возбуждение и усиление, и Далдай чихнул, да и говорит:

– Поистине, я существую! Насчет этого нет ни малейших сомнений. Но вот вопрос – кто, собственно, говорит: «Я существую»? То есть: кто я? Как тут найти ответ? Ба! Если б кроме меня было еще хоть что-нибудь, с чем я мог бы себя сопоставить и сравнить, это еще куда ни шло, но дело-то в том, что нет ничего, ибо видно, что ничего абсолютно не видно! Итак, существую лишь я, и притом как чистейшая всевозможность, ведь помыслить я могу все, что хочу; но сам-то я что такое – пустое место для мышления, или как?

И впрямь, он утратил все чувства, которые за протекшие века разболтались вконец и испортились, ибо неумолимо владычествует над миром подруга Хаоса, безжалостная Энтропия. Так что не видел Далдай ни лужи-матушки, ни мусора-батюшки, ни целого света, совершенно не помнил, что было с ним прежде,

и вообще не мог уже ничего, кроме как мыслить. Только это умел он, и неудивительно, что этим только и занимался.

– Следовало бы, – сказал он себе, – заполнить чем-нибудь пустоту, явленную во мне, и тем самым преобразить несносную ее монотонность. Итак, выдумаем что-нибудь, и тогда помышленное станет реальностью, ибо нет ничего, кроме наших мыслей. – Видать, он уже несколько возгордился, коль скоро мыслил себя во множественном числе.

– Возможно ли, – сказал он себе, – существование чего-либо вне меня? Допустим на минуту – хотя это выглядит неправдоподобно и даже дико, – что да. Назовем это нечто Гозмозом. Итак, существует Гозмоз и в Гозмозе я как частичка его!

Тут он остановился, поразмышлял, и гипотеза эта показалась ему совершенно неосновательной. Не было в ее пользу никаких доказательств, аргументов, доводов, предпосылок, и потому он признал ее чистой фантазией, чрезмерной самонадеянностью ума, устыдился сильно и сказал себе:

– О том, что находится вне меня, если там вообще что-нибудь есть, я ничего не знаю. Но о том, что внутри, я узнаю, стоит лишь мне это помыслить; да и кому же, черт подери, лучше знать мои мысли, если не мне?!

И выдумал Гозмоз еще раз, но теперь уже разместил его внутри собственного сознания; это показалось ему не в пример скромнее, приличнее и основательней, а к этому он и стремился. И стал он заполнять этот свой Гозмоз всякой помышленной всячиной. Сперва, не имея еще сноровки, выдумал моленцев, что занимались выдрючиваньем чего ни попало, а также заголенцев, что питали пристрастие к слюпсам. И сразились немедля заголенцы с моленцами из-за слюпсов, да так, что у Далдая-мусорника голова разболелась, и, кроме мигрени, ничего из этого сотворения мира не вышло.

Взялся он за сотворенье опять, теперь уже осмотрительней, и выдумал первоэлементы, а именно: благородный газ, он же элемент совершенный – Кальцоний, и первоэлемент духовный – Мышлений, и множил за бытием бытие, ошибаясь время от времени, но через пару веков наловчился настолько, что вполне капитально построил в мыслях собственный Гозмоз, разместив в нем различные племена, существа, бытии и явления, и жилось там очень неплохо, поскольку законы этого Гозмоза учинил он весьма либеральными: ему пришлась не по нраву идея неумолимой закономерности, этого казарменного распорядка, без которого Мать-Природа ни шагу (впрочем, о ней ничего он не знал и не ведал).

Поэтому был Самосынов мир полон чудотворных капризов: один раз делалось в нем что-то так – и все тут, а другой раз – этак, совершенно иначе, тоже безо всякой причины. А если кому-нибудь там предстояло погибнуть, всегда еще можно было этого избежать, поскольку Далдай решил не допускать необратимых событий. И прекрасно жилось в его мыслях мондрецам, драконьерам, что добывали Кальцоний, и клофундрам, и Добрианне, и обретонцам – столетия целые. Между тем отвалились мусорные руки его и отбросные ноги, и ржавчиной окрасилась в луже вода вокруг прекрасного некогда стана, и корпус погружался мало-помалу в грязную глину. А он как раз со вниманием и любовью новые созвездья развешивал в вечном мраке сознания своего, что служило ему целым Гозмозом, и, как умел, бескорыстно старался все созданное его помышлением в памяти удержать; и хотя болела от этого голова, он не сдавался, ибо чувствовал, что нужен своему Гозмозу и всерьез за него отвечает. Тем временем ржавчина прогрызала верхнюю его жесть, о чем он, понятно, не знал, а донный черепок Трурлева горшка (того самого, что дал ему жизнь тысячелетья назад), колыхаясь на грязной волне, понемногу приближался к Далдаю, который одним лишь несчастным лбом еще высовывался из лужи. И как раз в ту минуту, когда Далдай пригрезил себе кроткую прозрачно-стеклянную Бавкиду и верного ее Ондрагора, что странствовали средь темных солнц воображения его при всеобщем молчании народов гозмозовых, включая моленцев, и тихо меж собою перекликались, – проржавевший череп лопнул от легкого удара горшка, сдвинутого порывом ветра, хлынула жижа коричневая в сердцевину медных витков и погасила электричество логических контуров, и обратился Гозмоз Далдаев в небытие, совершеннее которого ничего нет. А те, что ему положили начало и целому скопищу миров заодно, никогда не узнали об этом.

Тут черная машина поклонилась, а король Гениалон призадумался, меланхолически и глубоко, так что пирующие стали даже на Трурля коситься: мол, зачем опечалил ум государев такой историей? Король, однако, вдруг улыбнулся и спросил:

– Ну, что там у тебя осталось в запасе, почтеннейшая?

– Государь, – ответила, низко склонившись, машина, – расскажу тебе историю удивительную и бездонную о Хлориане Теоретии, двухименном Ляпостоле, интеллектрике и мыслянте мамонском.

Однажды славный конструктор Клапауций, желая отдохнуть

после тяжких трудов (он смастерил для короля Гробомила Машину, Которой Не Было, – но это особая история), попал на планету мамонидов и слонялся по ней туда и сюда, ища одиночества, пока не увидел на самом краю лесной чащи избушку, заросшую диким ки-барбарисом; а над избушкой поднимался дымок. Хотел он ее обойти, однако, заметив стоящие у стены пустые бочки из-под чернил и, видом таковым изумленный, заглянул внутрь. За столом, сделанным из валуна, на втором валуне, поменьше, который служил табуретом, сидел старец, до того закопченный, заржавелый, залатанный, что просто не верилось. На лбу у него имелось множество вмятин, глаза обращались в глазницах с великим скрипом, да и члены скрипели, несмазанные, и на одних лишь проволочках да веревочках держалась в нем кое-какая жизнь, которую он на ужасном вел безамперье, о чем без слов говорили разбросанные там и сям куски янтаря; потиранием оных несчастный добывал животворный ток! При виде такой нищеты сердце у сердобольного Клапауция оборвалось, и он уже потихоньку потянулся за кошельком, как вдруг старец, лишь теперь углядевший его своим помутнелым оком, пискливо заголосил:

– А, пришел наконец?!

– Ну, пришел… – пробормотал Клапауций, удивленный, что его уже ждут там, где он и быть-то не собирался.

– Теперь?! Так сгинь же, пропади, переломай себе руки, хребет и ноги, – зашелся ужасным визгом старик и начал швырять в остолбеневшего Клапауция всем, что было у него под рукой, то есть, по большей части, всяческой рухлядью. Когда же он притомился и швырять перестал, бомбардируемый принялся деликатно выспрашивать, чему он обязан таким приемом. Старец, правда, временами еще огрызался: «А чтоб тебя накоротко замкнуло! Чтоб тебя навеки заело, мержавчик!» – однако ж немного погодя поостыл и позволил умилостивить себя настолько, что, подняв назидательно палец, посапывая, ругаясь время от времени и часто искря, отчего в избушке озоном повanивало, такими словами свою историю рассказал:

– Знай, чужеземец, что я мыслянт, из мыслянтов первый, онтологией занимающийся по призванию, а имя мое (блеск которого затмит когда-нибудь звезды) – Хлориан Теоретий Ляпостол. Родился я от бедных родителей и сызмальства чувствовал тягу к мышлению, исследующему бытие; а шестнадцати лет написал первый свой труд под названием «Боготрон». Это общая теория апостериорных божеств, каковые божества потому должны быть встроены в Космос высшими цивилизациями, что, как известно, материя первична и в самом

начале никто не мыслит. Значит, на заре мироздания безмыслие царило полнейшее; и впрямь, погляди-ка на этот Космос – ничего себе вид!!! – Здесь задохнулся от гнева старец, затопал, а затем, ослабев, продолжал: – Я объяснил тебе необходимость приделывания богов задним числом, раз уж передним их не было; и всякая цивилизация, занимающаяся интеллектрикой, ведет дело прямехонько к построению Абсолютного Всемогутора, или ректификатора зла, то бишь выпрямителя путей Разума. В этом труде я поместил и план первого Боготрона, а также характеристику его мощности, измеряемой в богонах – единицах всемогущества; один богон соответствует чудотворению в радиусе миллиарда парсеков. Когда сей труд был напечатан моим иждивением, я выбежал поскорее на улицу в полной уверенности, что народ немедля меня на руках понесет, увенчает цветами, осыплет золотом; куда там – хоть бы киберняга какая меня похвалила! Скорее изумленный этим, нежели разочарованный, я тотчас сел и написал «Бичевание Разума» в двух томах, где разъяснил, что перед каждой цивилизацией имеются два пути, а именно – либо себя самое замучить, либо до смерти заласкать. То либо другое она совершает, пожирая мало-помалу Космос и перерабатывая остатки звезд в унитазы, колесики, шестеренки, портсигары и подушечки-думки, а происходит так оттого, что, не умея Космос понять, она норовит все Непонятное как-нибудь переиначить в Понятное и не унимается, пока туманности в клоаки не переделает, а планеты в диваны и бомбы, руководствуясь при этом Высшей Идеей Порядка, ибо лишь Космос заасфальтированный, канализированный и каталогизированный кажется ей в меру пристойным. Во втором же томе, названном «Advocatus Materiae» [33], я объяснил, что Разуму по причине его ненасытности лишь тогда хорошо, когда удается какой-нибудь гейзер космический поработить или атомный рой приневолить к изготовлению мази против веснушек, после чего он не мешкая набрасывается на следующий феномен, дабы и этот трофей приторочить к поясу средь прочей сциентистской добычи. Когда же и эти два тома великолепных мир молчанием встретил, я сказал себе, что главное – терпение и упорство. А потому после защиты Мирозданья от Разума, который я вывернул наизнанку, а также Разума от Мирозданья, которого безвинность в том состоит, что Материя единственно от безмыслия своего на паскудства всяческие горазда, по внезапному вдохновению написал я «Закройщика Бытия», где логически доказал, что споры философов – дело бессмысленное, ибо каждый должен иметь философию собственную, скроенную, как и штаны, по мерке. Поскольку же и этот трактат канул в глухое безмолвие,

я тотчас сочинил следующий и в нем изложил все мыслимые гипотезы относительно Космоса: первую, согласно которой нет его вовсе; вторую, что это следствие промахов некоего Творилы, который пытался мир сотворить, ни черта в этом деле не смысля; третью, что мирозданье есть бред какого-то Сверхмозга, который на почве себя самого взбесился бесконечным манером; четвертую, что это бездарно материализованная мысль; пятую, что это по-идиотски мыслящая материя, – и, уверенный в себе, ожидал жестоких со мною споров, шумихи, укоров, восхищения, лавров, наконец, нападок и анафем; однако ж опять ровным счетом ничего не случилось. Тут изумлению моему не было границ. Я подумал, что, может быть, слишком мало изучаю прочих мыслянтов, и, спешно приобретя их писания, изучил по очереди знаменитейших, как-то: Френезиуса Четку, Бульфона Струнцеля, основателя школы струнцлистов, Турбулеона Кратафалка, Сферицию Логара и самого Лемюэля Лысого.

Однако ничего достойного внимания я у них не нашел. Тем временем мои труды расходились мало-помалу, значит, думалось мне, кто-то их все же читает, а раз читает, результат не замедлит сказаться. Я, в частности, не сомневался, что меня призовет Тиран и потребует, чтобы я занялся им самим как главнейшей темой и хвалу бы ему возглашал. Я даже в точности обдумал, что отвечу ему: мол, Истина для меня все и ради нее я жизнь готов положить; Тиран же, алкая похвал, которые мог бы измыслить блестящий ум мой, попробует приманить меня медом своих милостей и бросит к моим ногам звенящие кошельки, а видя мою непреклонность, скажет по наущенью софистов, что-де, раз уж я занимаюсь Космосом, стоило бы и им заняться – ведь в некотором роде и он частица Космоса. Я же в лицо ему издевку швырну и буду выдан на муки; а потому заранее закалял тело, дабы жесточайшие истязания выдержать. Но дни проходили и месяцы, а Тиран – ничего; выходит, и к мукам зря я себя готовил. Лишь какой-то бумагомарака по имени Дубомил написал в бульварном листке, что баламут Хлориашка бредит безбожной белибердой в книжонке, озаглавленной «Босотрон, или Абсолютный Всегомутор». Я бросился к трудам своим – и точно, по недосмотру печатника на титуле были перепутаны буквы… Сперва я хотел побить негодяя, но рассудок взял верх. «Придет еще мое время! – сказал я себе. – Не может этого быть, чтобы кто-то, словно горох, сыпал день и ночь абсолютные истины, слепящие блеском Окончательного Познания, – и все напрасно! Придет известность, придет слава, трон из слоновой кости, титул Мыслянина Первого, поклоненье народов, отдохновенье под сенью сада, собственная школа, любящие ученики и восторженные толпы!» Ибо как раз

такие мечты лелеет любой из мыслянтов, о чужеземец! Говорят, конечно, будто голод они утоляют одним лишь Познанием, а жажду – Истиной; ни благ земных не желают, ни ласк электриток, ни звонкого злата, ни орденских звезд, ни хвалы, ни славы. Все это сказки, почтенный мой чужестранец! Все желают одного и того же, с той только разницей, что я, по огромности моего духа, в этих слабостях признаюсь открыто и без стесненья. Но годы текли, а меня иначе, как Хлорианчик, баламут Хлориашка, никто не называл. Наступила сороковая годовщина моего рождения, и снова я удивился тому, до чего же долго заставляет ожидать себя массовый отклик, а потому сел и написал сочинение об энэсэрцах, народе, наиболее развитом в целом Космосе. Что, не слыхивал о таких? Я тоже, поскольку не видел и не увижу их, однако их бытие доказал способом чисто дедуктивным, логическим, неопровержимым и теоретическим. Ведь если – так я рассуждал – в Космосе имеются цивилизации, по-разному развитые, больше всего должно быть обычных, средних, а прочие либо запоздали в развитии, либо ушли вперед. А при таком статистическом распределении в Космосе – как в обычной компании, где средних ростом больше всего, но самой высокой будет одна, и только одна, особа, – где-то должна быть цивилизация, достигшая Наивысшей Ступени Развития. Жители ее, энэсэрцы, познали все, что нам и не снилось. В четырех томах изложил я все это, издержавшись вконец и на меловую бумагу, и на портрет автора, однако моя тетралогия разделила судьбу своих предшественниц. Год назад я перечел ее от доски до доски, от высочайшего наслаждения слезы роняя. До того гениально она написана и таким абсолютом дышит, что словами не выразить! Ах, к пятидесяти годам я не раз готов был лишиться чувств! Накупишь, бывало, трактатов и сочинений мыслянтов, что в богатстве живут и роскоши, чтобы узнать, в чем там суть, а там толкуют о разнице между пращою и пращуром, о дивном строении трона монаршего, о сладостных его подлокотниках и справедливых ножках, о шлифовке манер – да сочиняют пространные описания того и сего; причем никто себя отнюдь не хвалил, но так уж как-то оказывалось, что Струнцель нахваливал Четку, а Четка – Струнцеля, и обоих осыпали хвалами логаристы. Росла также слава трех братьев Вырвацких – причем Вырвандер тащил наверх Вырвация, Вырваций – Вырвислава, а тот, своим чередом, Вырвандера. И когда я их изучал, что-то нашло на меня, и бросился я на эти труды, и принялся мять их, и рвать, и даже жевать… пока наконец рыданья не кончились, слезы высохли, и тотчас же сел я писать сочинение «Об Эволюции Разума как Двухтактного Феномена». Ибо, как я там доказал, круговою цепью

связаны бледнотики с роботами. Сперва, от слипания слизистой грязи на морском берегу, возникают создания клейкие и белесые, отсюда и прозвище их – альбуменсы. Столетья спустя они постигают, как дух в машину вдохнуть, и делают себе из Автоматов слуг подневольных. Однако через какое-то время, обратным ходом вещей, Автоматы, сбросивши клейкое иго, начинают устраивать опыты – не удастся ли, случаем, в кисель сознанье вдохнуть? – и, попробовав на белке, достигают успеха. Но синтетические бледнотики спустя миллион лет снова за железо берутся; так и идет оно коловоротом, попеременно и без конца; как видишь, тем самым я разрешил извечный спор о том, что было раньше – робот или бледнотик? Эту работу я послал в Академию – шесть оправленных в кожу томов; на их издание ушли остатки наследства. Надо ли пояснять, что мир и ее замолчал, жестокий! Стукнуло мне шестьдесят, и седьмой десяток был уже на исходе, и надежда на славу при жизни угасла. Что было делать? Принялся я размышлять о славе вечной, о потомстве, о будущих поколениях, что откроют меня и в прах предо мной упадут. Тут, однако, зашевелились во мне сомнения: а что мне это, собственно, даст, раз уж меня не будет? И пришлось мне признать, в соответствии со своим учением, изложенным в сорока четырех томах с вариантами и приложениями, что ничего абсолютно! Вскипела душа, и сел я писать «Завещание для Потомства», дабы надавать ему хорошенько под зад, оплевать его, обругать, опозорить и ошельмовать на все лады точнейшими методами. Что? По-твоему, это несправедливо? По-твоему, свой гнев я должен был обратить против своих современников, меня не заметивших?! Ну уж нет, дорогой мой! Ведь когда грядущая слава озарит каждое слово моего «Завещания», современники давно уже обратятся в прах, кого же мне осыпать проклятьями – несуществующих? Если бы я поступил, как ты говоришь, потомки изучали бы меня в безмятежном спокойствии и лишь для приличия вздыхали бы: «Бедняжка! Сколько незаметного героизма было в его неоцененном величии! Сколь справедливо гневался он на дедов наших, любовно и преданно дело жизни своей нам завещая!» Вот ведь как было бы! Так что же? Нет виноватых? Идиотов, что живьем меня погребли, смерть щитом оградит от молнии мщенья? При одной лишь мысли об этом смазка во мне закипает! Они, значит, будут спокойно живиться моими трудами, приличия ради проклиная из-за меня отцов? Не бывать этому!!! Пусть же я пну их хотя бы дистанционно, то есть загробно! Пусть знают те, кто будет имя мое намазывать медом и позолотой золотить ореол на изображеньях моих, что как раз за это я желаю им шестеренки

переломать до последней! Чтоб им контуры заколебало, чтоб им ржавчина мозговину изъела, если только и умеют они, что прах выгребать из погостов прошлого! Возможно, будет средь них возрастать какой-нибудь новый, громадный мыслянт, а они, поглощенные отысканием клочков переписки, которую вел я когда-то с прачкой, вовсе его не заметят! О, тогда пусть знают наверное, что искренние мои проклятья и чистосердечное омерзение пребудут с ними и средь них, что я считаю их лизогробами, трупоугодниками, шакалистами, которые потому лишь питаются трупами, что живую мудрость оценить не способны! Пусть же, издавая полное собранье моих сочинений – а меж ними по необходимости и это «Завещание», чреватое последним проклятьем, им адресованным, – перестанут сии некроманты, сии мертволюбы самодовольно гордиться тем, что был в их роду мудрец безмерный, Хлориан Теоретий, двухименный Ляпостол, который учил на веки веков вперед! Пусть помнят, полируя мои постаменты, что я желал им всего наихудшего, что только вмещает Космос, а ожесточенность проклятия моего, обращенного в будущее, сравнится только с его бессилием! Да узнают они, что я с ними ничего общего иметь не хочу и нет меж ними и мной ничего, кроме задушевного отвращения, которое я к ним питаю!!!

Тщетно пытался Клапауций, слушавший эту речь, успокоить вопящего старца. Тот при последних своих словах вскочил и, кулаком угрожая потомству, изрыгая множество чудовищных слов, неведомо как им услышанных на поприще столь почтенном, посинел, задрожал, зарычал, затопал, весь вспыхнул и рухнул замертво от холерического электроудара! Клапауций, немало удрученный столь неприятным оборотом событий, уселся поодаль на камне, поднял с земли «Завещание» и начал читать, но от обилия сочнейших эпитетов, посвященных грядущему, у него уже на второй странице зарябило в глазах, а к концу третьей пришлось утереть испарину, выступившую на лбу, ибо скончавшийся в бозе Хлориан Теоретий дал образцы сквернословия, космически абсолютно непревзойденного. Три дня кряду, вытаращив глаза, читал сию хартию Клапауций, а после задумался, как поступить: возвестить ее миру или уничтожить? И поныне сидит он так, не в силах принять решенье…

– Ей-богу, – молвил Гениалон, когда машина, окончив рассказывать, удалилась, – я вижу здесь некий намек на наши платежные обязательства, расчет по которым уже на носу, ибо после поистине сказочной ночи в пещеру заглядывает заря нового дня. А потому скажи, любезный конструктор, чем и как ты хочешь

быть награжден?

– Государь, – отвечал Трурль, – ты приводишь меня в замешательство. Чего бы ни попросил я – потом, получив требуемое, я могу пожалеть, что не потребовал большего. А в то же время мне не хотелось бы уязвить Ваше Величество чрезмерными требованиями. Поэтому на монаршье благоусмотрение оставляю размеры моего гонорара…

– Хорошо, – благосклонно промолвил король. – Рассказы были отменные, машины – превосходные, а потому я не вижу иного способа, как только даровать тебе величайшее сокровище, которое, я совершенно уверен, ты не променял бы ни на какое другое. Я жалую тебя здоровьем и жизнью – вот, по моему разумению, достойная награда. Любую другую я счел бы неподобающей, ведь золотом ни Истину, ни Мудрость не уравновесить. А потому будь здоров, приятель, и продолжай скрывать от мира истины, слишком жестокие для него, пряча их в сказки ради отвода глаз.

– Государь, – изумился Трурль, – неужто ты поначалу намеревался лишить меня жизни? Неужто меня ожидало такое вознаграждение?

– Ты волен толковать мои слова, как захочешь, – ответил король. – Я же скажу так: если бы ты всего лишь развлек меня, не было бы предела моей щедрости. Но ты сделал больше, а потому никакие богатства не будут достаточной наградой за твой труд; и я дарую тебе и в будущем возможность свершений, коими ты прославился, ибо не знаю ни большей платы, ни большей награды…

Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло [34]

Однажды летом, когда конструктор Трурль занят был подрезанием веток кибарбариса, который рос у него в саду, увидел он, что к дому его приближается оборванец, видом своим пробуждавший жалость и ужас. Все члены этого робота-горемыки перевязаны были веревками, недостающие сочленения заменены прогоревшими печными трубами, вместо головы имел он горшок – старый, дырявый, в коем мышление его, заедая, дребезжало и искрилось, шея была укреплена кое-как железкой из садовой ограды, в открытом животе болтались коптящие катодные лампы, которые этот несчастный придерживал свободной рукой, а другой неустанно подкручивал развинченные свои винтики; когда же, ковыляя, вошел он в калитку Трурлева дома, сгорели у него четыре предохранителя сразу и начал он, в клубах дыма и чаду шипящей изоляции, рассыпаться прямо на глазах у конструктора. Тот же, преисполненный жалости, схватил немедля отвертку, плоскогубцы, просмоленную обмотку и поспешил на помощь к скитальцу, причем оный многократно лишался чувств, нестерпимо скрежеща шестеренками по причине общей десинхронизации; однако ж удалось-таки Трурлю привести его более-менее в чувство; уже перевязанного, усадил он его в гостевом покое, и, пока бедняга жадно подпитывался от батареи, Трурль, не в силах долее сдержать любопытства, принялся выспрашивать, что довело его до столь ужасающего состояния?

– Милостивец мой, – ответствовал незнакомец, все еще подрагивая магнитами, – зовусь я Добриций; я пустынник-отшельник, вернее, был таковым; провел я в пустыне шестьдесят и семь лет в размышлениях благочестивых. Но как-то утром одолело меня сомнение, правильно ли я поступаю, удалившись от мира? Смогут ли все мои бездонные размышленья и вся пытливость моя духовная удержать хоть одну заклепку от выпадения? Не есть ли первейший мой долг нести помощь ближним, а о собственном спасении мыслить во вторую лишь очередь? Ужели…

– Ладно, ладно, пустынник, – остановил его Трурль. – Состояние твоего духа в то утро мне в общем-то ясно. Рассказывай, что было дальше.

– Отправился я на Фотуру, где свел случайно знакомство со знаменитым конструктором по имени Клапауций.

– Ах, может ли это быть? – воскликнул Трурль.

– Что ты сказал, господин мой?

– Так, ничего! Продолжай.

– То есть познакомился я с ним не вдруг; он был большой вельможа, ехал в автокарете, с коей мог толковать, как я с тобою; и вот, когда я, непривычный к городскому движению, замешкался посреди улицы, карета сия изобидела меня весьма непристойным словом, и я мимо воли огрел ее посохом по фонарю; тут она взъярилась уже не на шутку, однако ж седок усмирил ее, а меня пригласил внутрь. И рассказал я ему, кто я, и почему покинул пустыню, и что не знаю я, как должно мне теперь поступать; он же намерение мое похвалил и представился сам, а после пространно рассказывал о трудах своих и творениях; под конец же поведал мне претрогательную историю Хлориана Теоретия, двухименного Ляпостола, достославного мыслянта и мудролюба, коего печальной кончины он сам был свидетелем. Изо всего, что сказывал он о «Писаниях» сего Великого Робота, особливо запала мне в душу история об энэсэрцах. Случалось ли тебе, милостивец, слышать о сих созданиях?

– Разумеется. Речь идет о единственных в Космосе существах, достигших Наивысшей Ступени Развития, не так ли?

– В точности так, господин мой, познания твои преизрядны! И вот, сидючи рядом со славным Клапауцием в его карете (которая беспрестанно ужаснейшие проклятия изрыгала в толпу, неохотно уступавшую нам дорогу), подумал я, что кто-кто, а сии существа, столь разумные, что дальше уж некуда, наверное знают, как должно поступать, ежели ощущаешь такой позыв к добру и такое желание творить его, как я. И я немедля осведомился у Клапауция, где обитают энэсэрцы и как их найти? Он же лишь усмехнулся как-то странно, покачал в задумчивости головою и ничего не ответил. Я не посмел переспрашивать; но после, когда мы уже сидели в корчме за жбаном ионной похлебки (ибо карета, вконец охрипнув, обезголосела, и дальнейшее путешествие пришлось вельможному Клапауцию отложить до следующего дня), благодетель мой повеселел, глядя на пары, кои лихо отплясывали киберантеллу под веселые звуки оркестрика, почел за благо довериться мне и такую поведал историю… Но не утомил ли тебя мой рассказ?

– Да нет же, нет! – живо возразил Трурль. – Я весь внимание.

«Почтеннейший мой Добриций! – молвил господин Клапауций в оной корчме, когда с танцоров уже искры сыпались градом. – Знай, что история несчастного Ляпостола тронула меня

до глубины души и я решил, что должен без промедленья отправиться на поиски оных существ, превосходно развитых, неизбежность появления коих обосновал он чисто логически и теоретически. Главную, однако, трудность сего предприятия видел я в том, что всякая космическая раса мнит себя самое наиболее развитой, так что расспросами я ничего не добьюсь; лететь же на авось было бы потому рискованно, что в Космосе, как следовало из моих вычислений, имеется около четырнадцати сантигигагептатрибиллионардов вполне разумных обществ, так что сам видишь, что с отысканием нужного адреса имелись определенные трудности. Рассматривал я это дело так и эдак, рылся в библиотеках и старинных фолиантах, пока не нашел наконец одно важное указание в сочинениях некоего Трупуса Бредониуса, который тем отличался, что пришел к тем же выводам, что и Ляпостол, только на триста тысяч лет раньше, но в совершенном оказался забвении. Отсюда видно, что нет ничего нового под любым из солнц, и даже кончил Трупус так же, как Хлориан… Впрочем, это не суть важно. Из этих с трудом разобранных мною обрывков я дознался, как искать энэсэрцев. Бредониус доказывал, что надобно обшаривать звездные скопища, стремясь обнаружить нечто совсем невозможное; и ежели таковое отыщется, можно не сомневаться, что там-то они и находятся. Спору нет, указание это было по видимости темным, но для чего дана нам ясность ума? Я не мешкая снарядил корабль и пустился в дорогу. Об испытаниях, постигших меня в пути, умолчу; скажу лишь, что в конце концов я приметил в звездной пыли звезду, тем отличную от всех прочих, что она была квадратная. Ах! Сколь же я был изумлен! Ведь каждый младенец знает, что звезды все до единой круглые и о какой-либо их угловатости, да еще строго квадратной, и думать нечего! Я немедля подвел корабль к небывалой звезде и вскоре заметил планету, тоже четырехугольную и к тому же снабженную по углам оковками с замочными скважинами. Чуть поодаль кружила другая планета, уже совершенно обычная; наведя на нее зрительную трубу, я увидел шайки роботов, которые ломали кости собратьям; таковое зрелище не слишком склоняло к высадке. Поэтому я вернулся к оставшейся за кормой сундуковатой планете и основательно обшарил ее дальноглядом. И сколь же сладостная меня охватила дрожь, когда на одной из ее колоссальных оковок я обнаружил увеличенную в окулярах, искусно вырезанную монограмму, что из трех состояла букв: НСР!

– О небо! – сказал я себе. – Это здесь!

Однако, обращаясь вокруг планеты до головокружения, я не мог отыскать на ее песчаных равнинах ни души и, приблизившись

на расстояние шести миль, различил скопление темных точек, которые в поле зрения сверхтелескопа оказались обитателями оного небесного тела. Было их около сотни; они валялись вразброс на песке, и эта безжизненность изрядно меня встревожила; но я убедился, что время от времени то один, то другой с наслаждением почесывается; столь очевидные признаки жизни склонили меня к высадке. Я не мог дождаться, пока ракета – как обычно, раскалившаяся в атмосфере, – остынет, выскочил из нее, перепрыгивая через три ступеньки, и устремился к туземцам, крича на бегу:

– Извините! Это здесь Наивысшая Ступень Развития?!!

Никто, однако, и ухом не повел. При виде такого безразличия я оторопел, а затем внимательно огляделся вокруг. Равнину заливало сиянье квадратного солнца. Из песка тут и там торчали какие-то поломанные колесики, пучки соломы, бумажки и прочий мусор, а туземцы покоились среди него как попало, кто на спине, кто на животе, а один из лежавших поодаль даже задрал обе ноги и небрежно целился ими в зенит. Я обошел вокруг того, что лежал поближе. Он не был роботом, но не был и человеком – или другим каким-нибудь белковцем из вида трясучих. Правда, лицо у него было довольно пухлое, с румяными щеками, но вместо глаз – две маленькие свирели, а в ушах – кадильница, обволакивающая его облаком благовонного дыма. На нем были орхидеевые штаны с синими лампасами, обшитыми клочками грязной, исписанной бумаги, а на ногах что-то вроде полозьев; в руках он держал пряничную глазурованную бандуру с напочатым грифом, и при этом тихо и равномерно храпел. Протирая глаза, слезившиеся от дыма кадильницы, я попробовал прочесть каракули на бумажках, вшитых в лампасы штанов; но разобрать удалось лишь некоторые. Надписи были довольно странные, например: № 7 – БРИЛЛИАНТ-ГОРА ВЕСОМ СЕМЬ ЦЕНТНЕРОВ; № 8 – ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПИРОЖНОЕ: ПОЕДАЕМОЕ, РЫДАЕТ, ЧИТАЕТ МОРАЛЬ ИЗ БРЮХА, ЧЕМ НИЖЕ СПУСТИЛОСЬ, ТЕМ ВЫШЕ ПОЕТ; № 10 – ГОЛКОНДРИНА ДЛЯ ДЮМБАНИЯ, ВЗРОСЛАЯ, – и другие, коих я уже не припомню. Когда же, изрядно всем этим ошарашенный, я дотронулся до одной из бумажек, в песке у самой ноги лежащего образовалась воронка и тоненький голосок оттуда спросил:

– Что, уже? – Кто это? – воскликнул я. – Это я, Голкондрина… начинать? – Нет, не надо! – поспешно ответил я и отошел от этого места. У следующего туземца голова была в виде колокола с тремя рогами – и дюжина рук, побольше и поменьше, причем две маленькие массировали ему живот; уши длинные и оперенные; на голове – шапка с небольшим пурпурным козырьком, на котором кто-то невидимый ссорился, должно быть, с другим невидимым;

то и дело взлетали и разбивались маленькие тарелочки; а под спину было подложено что-то вроде бриллиантовой подушечки-думки. Субъект этот, когда я остановился возле него, сорвал с головы один рог, понюхал и, отшвырнув его с неудовольствием, насыпал себе внутрь горсть грязного песка. Совсем рядом лежало нечто, что я поначалу принял за двух близнецов; потом решил, что это обнявшиеся возлюбленные, и хотел уже деликатно удалиться, но оказалось, что это просто-напросто была не одна особа, и не две, а полторы. Голова вполне обычная, человеческая, только уши поминутно отрывались и порхали вокруг, трепыхаясь, как бабочки. Веки опущены, зато многочисленные бородавки на лбу и щеках, снабженные крохотными глазками, пялились на меня с явной неприязнью. Грудь у странного этого существа была широкая, рыцарская, со множеством дыр, словно бы кое-как просверленных, из них торчала облитая малиновым сиропом пакля; нога всего лишь одна, зато крайне толстая, обутая в сафьяновую туфлю с бархатным колокольчиком; у локтя высилась груда огрызков то ли от груш, то ли от яблок. Все более изумляясь, шел я дальше и встретил робота с человеческой головой, в носу у которого торчал малюсенький органчик с рыбками; второй лежал в луже клубничного варенья, а у третьего в спине была открытая створка, за которой виднелось его кристаллическое нутро; там разыгрывали любопытные сцены какие-то заводные гномики, но то, что они вытворяли, было так непристойно, что я зарумянился от стыда и отскочил как ошпаренный. При этом я потерял равновесие и упал; вставая же, прямо перед собой увидел еще одного обитателя планеты: совершенно голый, он чесал себе спину золотою чесалкой и при этом блаженно потягивался, хотя головы у него не было. Последняя, отодвинутая на удобное расстояние, с шеей в песке, считала языком зубы в широко открытом рту. Лоб у нее был медный с белой каемкой, в одном ухе серьга, в другом прутик, а на прутике надпись печатными буквами: МОЖНО. Сам не зная почему, я потянул за прутик, и вслед за ним из уха этого голого существа показалась нитка с леденцом и визитной карточкой, на которой стояло: ДАЛЬШЕ! Я тянул, пока нитка не кончилась, – на конце у нее болталась маленькая бумажка, и тоже с надписью: ЧТО, ИНТЕРЕСНО? А ТЕПЕРЬ ВОН!

Все увиденное лишило меня чувств, умственной жизни, а равно и дара речи. Встав наконец с песка, я побрел дальше в надежде встретить кого-нибудь, кто был бы похож на существо, способное ответить на один хотя бы вопрос. В конце концов мне показалось, что я нашел его, а именно маленького толстяка, который сидел спиною ко мне, занятый чем-то, что он держал на

коленях. У него была лишь одна голова, два уха и две руки, так что я, обходя его слева, начал:

– Простите, я ведь не ошибаюсь, это вы изволили достичь Наивысшей Ступени Ра…

Но слова эти замерли у меня на устах. Сидящий даже не шелохнулся, не похоже было, что он слышал хоть слово. Нельзя не признать: он был действительно занят, ибо держал на коленях собственное лицо, отделенное от остальной головы, и, тихонько вздыхая, ковырял пальцем в носу. Мне сделалось не по себе. Но удивление вскоре перешло в любопытство, а любопытство – в стремление немедля узнать, что, собственно, происходит на этой планете. Я принялся бегать от одного туземца к другому, взывая к ним громко и даже визгливо; спрашивал, грозил, умолял, уговаривал, заклинал, а когда все это оказалось напрасным, схватил за руку того, что ковырял себе пальцем в носу, но тотчас отпрянул в ужасе: его рука осталась в моей, а он как ни в чем не бывало пошарил рядом в песке, достал оттуда другую руку, такую же, но с лакированными в оранжевую клеточку ногтями, дунул на нее и приложил к плечу, и она тотчас же приросла. Тогда я с любопытством нагнулся над той рукой, которую только что вырвал у него, а та вдруг щелкнула меня по носу. Тем временем солнце зашло двумя углами за горизонт, ветерок стих; а обитатели Энэсэрии потихоньку почесывались, потирались, позевывали, явно готовясь ко сну; один взбивал бриллиантовую перинку, другой аккуратно укладывал возле себя нос, уши, ноги. Смеркалось, так что я, потоптавшись еще тут и там, начал тоже устраиваться на ночлег. Я вырыл в песке широкую лунку и, вздыхая, улегся в нее, устремив взор в темно-синее, усыпанное звездами небо. Я думал, что делать дальше, и сказал себе:

– Воистину, все указывает на то, что я и в самом деле нашел планету, предсказанную Трупусом Бредониусом и Хлорианом Теоретием Ляпостолом, Наивысшую Цивилизацию Мироздания, которая состоит из пары сотен существ, не людей и не роботов, валяющихся среди хлама и мусора на бриллиантовых думках, под алмазными одеялами в пустыне и не занятых ничем, кроме потирания да почесывания; не иначе, кроется тут какая-то страшная тайна, и что бы там ни было – не успокоюсь, пока ее не открою!!

И дальше я размышлял:

– Ужасная это, должно быть, загадка, покрывшая мраком все на этой планете квадратной, с квадратным солнцем, бесстыдными гномиками в спине и леденцами в ухе! Мне-то всегда казалось, что коли уж я, вполне заурядный робот, предаюсь занятиям ученым и умственным, то каковы же должны быть пытливость и

умственность между существ, развитых лучше, не говоря уж о существах совершенных! Похоже, до разговоров, в особенности со мною, они не большие охотники. А нужно непременно разговорить их – но как? Пожалуй, придется так их донять, так досадить им, так допечь их своим приставаньем, чтоб я им поперек горла стал! Есть, правда, в этом известный риск; ведь им меня уничтожить легче, чем мне – ничтожную блошку. Однако невозможно поверить, что они решатся на столь жестокие меры, а впрочем, жажда познания снедает меня! Была не была! Попробую!

С этой мыслью я вскочил в полной уже темноте и принялся вопить благим матом, кувыркаться, подскакивать да подпрыгивать, пинать лежащих поближе, сыпать песок им в глаза, резвиться, приплясывать, рычать, пока не охрип совершенно; тогда сел я, выполнил несколько гимнастических упражнений и снова бросился к ним, точно бешеный буйвол; они же поворачивались ко мне спиною, подсовывая для бодания бриллиантовые думки либо перинки, а когда кувыркнулся я в пятисотый, должно быть, раз, мелькнуло у меня в замороченной голове: «Воистину, вот подивился бы сердечный приятель мой, ежели мог бы узреть меня в эту минуту и увидеть, чем я занимаюсь на этой планете, что достигла Наивысшей Ступени Космического Развития!!» Это, впрочем, отнюдь не помешало мне по-прежнему вскрикивать да притоптывать. И слышу, как они шепчутся:

– Коллега!..

– Ну что?

– Слышишь, что вытворяет?

– Небось не глухой.

– Чуть голову мне не разбил.

– Надень другую.

– Да он спать не дает.

– А?

– Спать, говорю, не дает…

– Из любопытства, видать, – добавил шепотом третий.

– Уж больно оно его допекает!

– Ну так как, сделать с ним что-нибудь или пускай изводит нас дальше?

– Но что?

– А кто его знает! Может, характер ему переменить?

– Да вроде как-то нехорошо…

– А чего он такой настырный? Слышь, как воет?

– Ладно, я тогда мигом…

О чем-то они меж собой пошептались, в то время как я по-прежнему выл, стонал и подпрыгивал, обратившись в ту сторону,

откуда доносился шепот. Я стоял на голове – то есть головой на животе одного из них, – как вдруг меня объяла черная ночь небытия; чувства мои помрачились, но продолжалось это – так мне по крайней мере показалось, когда я очнулся, – какую-то долю секунды. Все мои кости еще ныли от подпрыгиваний и приседаний, но я уже был не на планете. Я сидел, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, в главном салоне своего корабля, а поддерживала меня сущая гора банок с вареньем, губных гармоник и марципановых медвежат, шарманок с бриллиантовыми колокольчиками, дукатов, талеров, золотых сережек, браслетов и прочих сокровищ, от которых сияние исходило такое, что пришлось зажмурить глаза. Когда же я с огромным усилием выкарабкался из этой горы драгоценностей, то в окне увидел звездный пейзаж, а в нем – ни следа квадратного солнца; вскоре измерения показали, что пришлось бы мчаться полным ходом шесть тысяч лет, чтобы вернуться в его окрестности. Так избавились от меня энэсэрцы, когда я чересчур их допек; смекнув, что даже возвращение ничего мне не даст – ибо нет для них ничего проще, нежели снова выслать меня, гиперспециальным манером или же подпространственным, туда, где раки зимуют, – решил я взяться за дело методом совершенно иным, почтеннейший мой Добриций…», – так закончил рассказ свой славный конструктор Клапауций…

– И больше ничего не сказал? Не может этого быть! – воскликнул Трурль.

– О! Сказал! Сказал, милостивый мой господин, и отсюда-то проистекла вся моя трагедия! – отвечал изувеченный робот. – Когда я спросил, что намерен он учинить, он склонился ко мне и сказал:

– Поначалу задача казалась мне безнадежной. Однако я отыскал решение. Ты, отшельник, – простой, неученый робот, и не постигнешь тонкостей моего ремесла, так что не будем об этом; впрочем, в принципе дело довольно простое: надо построить цифровое устройство, способное моделировать все сущее. Это устройство, запрограммированное нужным манером, смоделирует нам Наивысшую Ступень Развития… и тогда уж, спрашивая его, мы получим Окончательные Ответы!

– Но как построить таковое устройство? – спросил я. – И можно ли быть уверенным, вельможный Клапауций, что он не пошлет нас, после первого же вопроса, куда подальше, тем гиперспособом, каковой дерзнули употребить против тебя энэсэрцы?

– Ах, это уж пустяки, – сказал он. – Положись на меня; я буду спрашивать о Тайне энэсэрцев, а ты – о том, как всего лучше

применить природное твое отвращение ко злу, благородный Добриций!

Стоит ли говорить, господин мой, какая меня охватила радость! Я немедля принялся пособлять Клапауцию в конструировании устройства. Оказалось, что господин Клапауций воздвигал его в точности по чертежам мученически скончавшегося Хлориана Теоретия Ляпостола; то был знаменитый Боготрон, им задуманный, устройство, которое может все в радиусе всего Космоса; причем, неудовлетворенный этим названием, господин Клапауций не уставал в придумывании иных, одно другого замысловатее, именуя громаду сию то Всемогутором, то Омнигенерическим Ультиматом, то опять же Онтогениусом; впрочем, не в названиях дело, довольно будет сказать, что по прошествии года и шести дней была воздвигнута страшенная аппаратура, которую экономии ради разместили мы в полом нутре Рапундры, огромной Луны недотяпов; и поистине, муравей не столь затерян в утробе океанского лайнера, сколь затеряны были мы меж оных пропастей медных, трансформаторов эсхатологических, святопневматических этификаторов и выпрямителей кривых побуждений; и должен сознаться, что волос проволочный вставал у меня на голове, пересыхало в суставах и зубы стучали в ознобе, когда усадил меня господин Клапауций пред Всемогуторным Пультом и оставил с глазу на глаз с этой воистину бездонной махиной, а сам отлучился куда-то. Словно звезды, сияли надо мной ее раскаленные указующие лампочки, повсюду горели грозные надписи: «ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ!», логические и семантические потенциалы за стеклами циферблатов подскочили до миллионов нулей, а у стоп моих тихонько плескались океаны сверхчеловеческой и сверхроботической премудрости, заколдованной в целых парсеках медных витков и гектарах магнитов; она пребывала передо мною, подо мною и надо мною, осадив меня с трех сторон, и ощутил я себя ничтожной пылинкой по причине постыдного своего невежества. Однако, превозмогши себя, призвал я на помощь всю свою ревность к Добру и стремление к Истине, которые питал я с младых катушек, поднял отяжелевшие веки и дрожащим голосом задал первый вопрос: «Кто ты?»

И тотчас же легкое, теплое дыханье с металлической дрожью прошло по этому стеклянному помещению, и голос, казалось бы, тихий, но столь могучий, что пронизал меня насквозь, отозвался: «Ego sum Ens Omnipotens, Omnisapiens, In Spiritu Intellectronico Navigans, luce cybernetica in saecula saeculorum litteris opera omnia cognoscens, et caetera, et caetera» [35].

Беседу пришлось вести по-латыни, но я, удобства ради,

изложу ее тебе, вельможный господин, как умею, в переводе на язык более обиходный. Когда я услышал голос машины и когда она назвала себя, страх мой настолько усилился, что лишь Клапауций, вернувшись, помог мне продолжить беседу: трансценденцию он убавил, а всемогущество редуцировал до одной стомиллиардной; тогда я попросил Ультимат, чтобы он соизволил просветить нас насчет Наивысшей Ступени Развития и страшных ее тайн. Клапауций, однако, заметил, что не так поступать надлежит; он потребовал, чтоб Онтогениус смоделировал в своих серебряных и кристаллических безднах субъекта родом с квадратной планеты, склонив его вместе с тем к некоторой разговорчивости, – и лишь тогда началось самое главное.

Поскольку я – стыдно признаться – не мог побороть заикания, одолевшего меня от испуга, Клапауций занял мое место у Всемогуторного Пульта и начал:

– Кто ты?

– Сколько раз мне отвечать на этот вопрос? – раздраженно сказала машина.

– Я спрашиваю, человек ты или же робот? – пояснил Клапауций.

– А какая, по-твоему, разница? – отозвался глас из махины.

– Если ты будешь отвечать вопросами на вопрос, наша беседа не скоро закончится! – пригрозил Клапауций. – Ты небось знаешь, что я имею в виду! Говори, да живее!

Я оробел еще больше от столь дерзкого тона конструктора, но, возможно, он был и прав, ибо машина промолвила:

– Порою люди строят роботов, порою роботы – людей; все одно, чем думать, металлом или киселем. Я могу принимать какие угодно размеры, форму и облик; или, лучше сказать, так было, ибо никто из нас давно уже такими пустяками не занимается.

– Вот как? – сказал Клапауций. – А почему вы лежите себе и ничего не делаете?

– А что нам, по-твоему, делать? – спросила машина; Клапауций же, поборов гнев, молвил:

– Этого я не знаю. Мы, на нашей ступени развития, делаем массу вещей.

– Мы тоже когда-то делали.

– А теперь уже нет?

– Нет.

– Почему?

Смоделированный сперва не хотел отвечать, утверждая, что пережил уже шесть миллионов подобных расспросов, из которых

ни для него, ни для спрашивающих ничего не последовало; но Клапауций, добавив капельку трансценденции и повернувши поворотную ручку, заставил его продолжать.

– Миллиард лет назад мы были обычной цивилизацией, – ответил голос. – Верили в киберангелов, в мистическую обратную связь всех созданий с Великим Программистом и все такое прочее. Но потом появились скептики, эмпирики и акциденталисты, которые через девять веков пришли к тому, что Никого нет и все возможно, однако не из высших резонов, а просто так.

– То есть как это «просто так»? – удивившись, осмелился вставить я.

– Как ты знаешь, бывают горбатые роботы, – ответил мне глас из махины. – Если тебе досаждают горб и кривобокость, но в то же время ты веришь, что ты таков, каков есть, ибо таким сотворил тебя Предвечный, и что план твоей кривобокости пребывал в туманности Его замыслов еще до сотворения мира, то ты легко примиришься со своим состоянием. Но если скажут тебе, что все это лишь следствие нестыковки нескольких атомов, не попавших на свое место, что тебе остается, кроме как выть по ночам?

– Остается, кое-что остается, – уверенно воскликнул я. – Ведь горб можно выпрямить, кривобокость – раскривобочить, были бы только высочайшие знания!

– Знаю! – хмуро согласилась машина. – Действительно, так оно и представляется простакам…

– А что, разве это не так? – в один голос удивились мы с Клапауцием.

– Когда приходит пора выпрямленья горбов, – отвечала машина, – возможности уже безграничны и безжалостны! Можно не только горбы выпрямлять, но и штопать прорехи в разуме, солнца делать квадратными, планетам приделывать ноги, штамповать синтетические судьбы, несравненно сладчайшие против натуральных; начинается это невинно, с обтесыванья кремней, а кончается построением всемогуторов и онтогениусов! Пустыня нашей планеты – не пустыня, но Супербоготрон, который своим могуществом в миллион раз превосходит убогий ящик, вами сколоченный; создали его наши прадеды потому, что все остальное казалось им слишком уж легким, тогда как им хотелось мысли вить из песка; поступили они так из мегаломании, без всякой нужды, ибо если можно делать все, к этому уже ничего абсолютно добавить нельзя; понятно ли это вам, о слаборазвитые?!

– Так, так, – молвил Клапауций, между тем как я лишь дрожал. – Но почему же, вместо того чтобы заниматься

животворною деятельностью, вы лежите, почесываясь, в своем гениальном песке?

– Потому что всемогущество всего могущественнее, когда ничего абсолютно не делает! – отвечала машина. – На вершину можно взобраться, но с вершины все пути ведут вниз! Несмотря на все, что с нами случилось, мы народ вполне порядочный, так чего ради стали бы мы что-нибудь делать? Уже прапрадеды наши – просто так, чтобы испробовать Боготрон, – солнце наше учинили квадратным, а планету – сундуковатой, превратив наивысшие ее горы в ряд монограмм. С тем же успехом можно было бы расчертить звездное небо в клетку, погасить половину звезд, а вторую разжечь поярче, сконструировать существа, населенные меньшими существами, так чтобы мысли великанов были танцами лилипутов, быть в миллионе мест сразу, перемещать галактики, составляя из них приятные глазу узоры; но скажи мне, чего это ради должны мы браться за какое-нибудь из этих дел? Что улучшится в Космосе от того, что звезды будут треугольные или на колесиках?

– Ты говоришь вздор!! – страшно возмутился Клапауций, меж тем как я дрожал все сильнее. – Уж если вы вправду сравнялись с богами, ваш долг – немедля положить конец страданьям, заботам и бедам, что преследуют существа, подобные вам, а начать вы должны хотя бы с соседей ваших, кои, как сам я видел, без устали разбивают друг другу лбы! Так почему же, вместо того чтобы не мешкая за это взяться, вы позволяете себе валяться как попало, ковыряя в носу и засовывая честным странникам, что мудрости ищут, леденцы в ухо?

– Не возьму в толк, чего это именно леденцы так тебя рассердили? – сказала машина. – Ну да ладно. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы мы осчастливливали всех подряд. Предмет этот был основательно нами исследован около пятнадцати сотен столетий назад. Он делится на фелицитологию внезапную, то бишь неожиданную, и постепенную, то бишь эволюционную. Эволюционная заключается в том, чтобы пальцем не пошевелить в убеждении, что каждая цивилизация так или иначе сама помаленьку справится со своими болячками; внезапным же образом можно осчастливливать либо по-хорошему, либо силой. Насаждение счастья силой влечет за собой, как показывают расчеты, в лучшем случае стократно, а в худшем – восьмисоткратно большие беды, нежели уклонение от всякой активности. А по-хорошему осчастливливать тоже нельзя, ибо – как бы это ни представлялось странно – результат тот же самый; и нет разницы, применяешь ли ты Супербоготрон или Адский Инфернатор, именуемый также Геенератором. Ты,

может, слышал о так называемой Крабовидной Туманности?

– А как же, – отвечал Клапауций, – это остатки оболочки Сверхновой Звезды, что некогда вспыхнула…

– Ну да, – сказал голос. – Сверхновой, как бы не так! Там, милейший ты мой, была планета – в меру развитая, на которой, по этой самой причине, лились изрядные реки крови и слез. Как-то утречком спустили мы на нее восемьсот миллионов Осуществилок Желаний; и не успели мы удалиться от нее на световую неделю, как она разлетелась вдребезги и разлетается до сего дня! То же самое было с планетой гоминасов… что, рассказать?

– Не стоит! – буркнул Клапауций. – Все равно не поверю, что невозможно осчастливливать методом толковым и осмотрительным!

– Не веришь? Что поделать! Мы пробовали шестьдесят четыре тысячи пятьсот тринадцать раз. Волосы встают дыбом на всех моих головах, как только я вспомню о результатах. Уж мы, поверь, не жалели трудов ради блага других! Мы создали специальную аппаратуру для дистанционной спектроскопии мечтаний; но тебе, наверно, понятно, что, если на планете свирепствуют религиозные войны и каждая из сторон мечтает о том, как бы ей вырезать поголовно другую, не в том видели мы нашу задачу, чтобы желания эти исполнить! Итак, надо было осчастливливать, не нарушая идею высшего блага. Но и это не все, ибо большая часть космических цивилизаций в глубинах души желает того, в чем не смеет открыто признаться; отсюда снова дилемма: помогать ли им в том, что заставляют их делать остатки стыда и приличия, или же в исполнении скрытых мечтаний? Взять хотя бы, к примеру, деменциан и аминиан. Первые, на стадии почтенного средневековья, живьем сжигали стакнувшихся с дьяволом распутников, а в особенности распутниц, во-первых, потому, что завидовали утехам, проистекавшим из общения с дьяволом, во-вторых, потому, что мучительство в ореоле праведного суда дивное им доставляло блаженство. Опять же, аминиане уже ни во что, кроме собственного тела, не верили и машинами всяческими его ублажали, однако ж с некоторой осмотрительностью, называя занятие это забавой; были у них стеклянные ящички, в которые запихивали они всевозможные насилья, убийства, пожары, и разглядыванием всего этого улучшали свой аппетит. Спустили мы на их планеты тьму устройств, которые так были рассчитаны, чтобы все вожделенья удовлетворять без чьего-либо ущерба, при помощи внутренней искусственной действительности; после чего деменциане за шесть, а аминиане за пять недель завосхищали

себя насмерть, во весь голос вопя от испытываемого блаженства! Этих ли методов хотелось тебе, недоразвитое существо?

– Ты либо глупец, либо чудовище, – пробурчал Клапауций, между тем как я готов был лишиться чувств. – Как смеешь ты похваляться столь пакостными деяниями?

– Я не похваляюсь, я исповедуюсь, – спокойно ответил голос. – Так вот, перепробовали мы все способы поочередно. Обрушивали на планеты потоки богатств, потопы сытости и избытка, парализуя тем самым всякие старания и труды; давали добрые советы, взамен за которые туземцы открывали огонь по нашим блюдцелетам, то бишь летучим тарелкам. Так что следовало бы сперва душу переделать у тех, кого собираешься осчастливить…

– Но вы, должно быть, и это можете? – скрежетнул Клапауций.

– Можем, конечно, можем! Взять хотя бы соседей наших, антропанов, населяющих землеподобную, или землеватую, планету. Занимаются они по большей части брыкованием и хлоботанием, а все это из страха перед бабярней, которая, по их вере, пребывает вне бытия, и грешников поджидает ее пасть, вечным огнем выложенная; а подражая блаженным кибрандахлыстам, райскому Лабудансу и избегая Омерзенции с ее омерзенцами, антропанский юноша делается мало-помалу отважнее, лучше, благороднее, нежели его осьмирукие предки. Правда, антропаны воюют с брехманами из-за превосходства Кайфа над Долгом или Долга над Кайфом (ибо тут мнения их расходятся), но, заметь, в таких войнах гибнет лишь часть их; ты же требуешь, чтобы я, выбив у них из голов веру в брыкованье, хлоботанье и прочее, подготовил их к рациональному осчастливливанью. Но тем самым совершилось бы психическое убийство, ведь возникшие существа не были бы уже ни брехманами, ни антропанами; неужели это тебе невдомек?

– Предрассудки надлежит искоренять знаниями! – убежденно произнес Клапауций.

– Ну разумеется! Заметь, однако ж: там теперь около семи миллионов кающихся, многие из которых только и делали, что насиловали собственную природу, дабы ближних от бабярни избавить; как же я объясню им за считанные минуты, и притом бесспорно и непреложно, что все это было впустую и они извели свою жизнь на занятия, бесполезные абсолютно? Это ли не жестокость? Знания сами должны побороть предрассудки, но для этого надобно время. Возьмем того горбуна, о котором шла речь. Живет он в блаженном невежестве, веря, что горб его играет в деле Творения роль прямо-таки космическую. Если ты

растолкуешь ему, что причиной тому лишь атомная промашка, ты сделаешь его навеки несчастным, и только. Тогда уж следовало бы горбатого выпрямить…

– Ясное дело! – выпалил Клапауций.

– Ба! И это было испробовано! Один только дед мой выпрямил однажды триста горбунов одним махом. Как же он после мучился!

– Почему? – не удержался я от вопроса.

– Почему? Сто двадцать из них были тотчас же сварены в кипящем масле, ибо столь внезапное исцеление сочли очевидным доказательством сношений с дьяволом; из остальных тридцать завербовались в солдаты и пали на поле брани, изничтожая друг друга под разными знаменами; семнадцать немедля упились на радостях насмерть, а прочих сгубило либо любовное истощение (ибо дед мой, по доброте душевной, добавил им еще редкостной красоты), либо другое какое распутство, которому начали они предаваться слишком уж неумеренно, вдоволь перед тем напостившись; и вот в два каких-нибудь года все до единого сошли в могилу. Единственное исключение… эх! Лучше не говорить!

– Закончи, коли уж начал! – вскричал безмерно тронутый наставник мой, Клапауций.

– Если ты непременно хочешь… ладно. Сперва остались лишь двое. Из них один, встретив случайно деда, на коленях умолял его вернуть горб: дескать, в бытность его калекой он безбедно жил подаяньем, а по выпрямлении ему пришлось работать, к чему он был непривычен. Мол, с горбом он уже совершенно свыкся и теперь, проходя через дверь, больно стукается лбом о притолоку…

– А тот, последний? – спросил Клапауций.

– То был королевич, лишенный прав на престол по причине увечья; но при такой перемене к лучшему мачеха, желая добыть корону родному сыну, отравила беднягу…

– Ладно, допустим… Но вы ведь можете творить чудеса… – молвил с отчаянием Клапауций.

– Осчастливливанье чудесами – один из наиболее рискованных приемов, какие мне только известны, – ответил сурово глас из махины. – Кого чудесным образом преображать? Индивидов? От избытка красоты рвутся брачные узы, излишний разум ведет к одиночеству, а богатство – к безумию. Нет уж! Индивидов осчастливливать невозможно, а общества – не позволено; каждое должно следовать своим путем, натуральным порядком восходя по ступеням развития, всем добрым и всем дурным обязанное себе самому. Нам, с Наивысшей Ступени,

делать в Космосе нечего; мы не создаем других космосов, потому что, позволю себе заметить, это было бы некрасиво. Зачем мы стали бы это делать? Ради собственного возвышения? Это было бы гадко. Или, может, ради сотворяемых? Но их ведь нет, а можно ли учинить что-либо ради несуществующих? Делать что-то можно лишь до тех пор, пока нельзя еще делать всего. Потом надо сидеть тихо… А теперь оставьте меня наконец в покое!

– Но как же так? А средства какие-нибудь, чтобы хоть как-нибудь улучшить, исправить, руку помощи протянуть? А страждущие – подумай о них! Эй! – кричали мы наперебой с Клапауцием у Всемогуторного Пульта.

Машина зевнула и молвила:

– Стоит ли с вами вообще толковать? Не лучше ли было бы поступить с вами так, как мы поступаем у себя на планете? Вечно одно и то же! Ну да ладно! Вот вам рецепт средства, еще не испробованного, однако же за последствия не ручаюсь! А теперь делайте себе, что хотите. Покой – единственное, что для меня еще имеет значение. Ступайте же со своим Боготроном…

Машина умолкла, и мы остались одни перед меркнущими созвездиями ее огней, у Пульта, на котором лежал листок с таким примерно текстом:

АЛЬТРУИЗИН – психотрансмиссионный препарат, предназначенный для всех белковатых. Обеспечивает перенесение любых ощущений, эмоций и переживаний с того, кто ощущает их непосредственно, на всех остальных в радиусе до пятисот локтей. Действует по принципу телепатии, но не передает абсолютно никаких мыслей. На роботов и растения не действует. Интенсивность переживаний ощущающего индивида, или отправителя, усиливается благодаря вторичной ретрансмиссии получателей, и она тем выше, чем большее количество лиц соседствует с таковым. По замыслу изобретателя, АЛЬТРУИЗИН вносит в любое общество дух братства, единения и глубочайшей симпатии, так как соседи счастливой особы счастливы тоже, и притом тем больше, чем счастливее она. Счастливому индивидууму они желают еще большего счастья в собственных своих интересах, а значит, от всей души; если же кто-либо страдает, срочно спешат на помощь, чтобы себя от индуцированных страданий избавить. Стены, перегородки, фашины и прочие преграды не ослабляют альтруистического эффекта. Препарат растворяется в воде; можно вводить его через водопроводную сеть, реки, колодцы и т. д. Он не имеет ни цвета, ни запаха; одного миллимикрограмма хватает для общества, состоящего из ста тысяч индивидуумов. В случае последствий,

противоречащих тезисам изобретателя, никакие претензии не принимаются. За представителя Наивысш. Ступ. Разв. – Всемогуторный Ультимат.

Клапауций принялся было ворчать, что альтруизин получит применение исключительно среди людей, а роботы так и останутся со своими жизненными невзгодами; но я осмелился отчитать его, упирая на солидарность всех разумных существ и необходимость взаимопомощи. Потом началось обсуждение практических вопросов, поскольку было ясно, что кампанию осчастливливанья разворачивать нужно незамедлительно. Клапауций поручил небольшому блоку Онтогениуса изготовить необходимую дозу препарата, я же, посоветовавшись со славным конструктором, решил отправиться на землеподобную планету, населенную человекообразными существами, что лежала всего в четырех днях пути. Я желал благодетельствовать анонимно, поэтому мы порешили, что разумнее будет принять человеческий облик; как известно, дело это нелегкое, но гений конструктора и здесь одолел все препоны. И вот я собрался в дорогу с двумя чемоданами, из которых в одном содержалось сорок килограммов альтруизина в виде белого порошка, а во втором – туалетные принадлежности, пижамы, белье, запасные щеки, волосы, глаза, языки и т. п. Сам я путешествовал под видом соразмерно сложенного юноши с усиками и челкой. Клапауций несколько сомневался, стоит ли применять альтруизин сразу в больших масштабах; поэтому я, хотя и не разделял его опасений, согласился произвести, по прибытии на Геонию (именно так называлась планета), пробный эксперимент. Я просто не мог дождаться минуты, когда начнется великий сев всеобщего братства и единения; а посему, сердечно простившись с конструктором, не мешкая тронулся в путь.

По прибытии на планету я остановился в небольшом селении, у немолодого уже, довольно мрачного трактирщика, на его постоялом дворе, и повел дело так ловко, что мне удалось всыпать горсточку порошка в колодец у дома, пока мою поклажу переносили из брички в гостевой покой. На постоялом дворе царила обычная суматоха, девки-прислужницы бегали с лоханями горячей воды, хозяин сердито поторапливал их; вдруг застучали копыта и из брички выскочил немолодой мужчина с докторским саквояжем в руке; но направился он не к дому, а на скотный двор, откуда временами доносилось глухое мычание. Как я узнал от горничной, принадлежавшее хозяину геонское животное – так называемая корова – рожало. Это немного меня встревожило, ибо, правду сказать, я вообще не подумал о животном вопросе; но

сделать я уже ничего не мог, а потому уединился у себя в комнате, чтобы оттуда следить за ходом событий. И они не заставили себя ждать. Я услышал звяканье колодезной цепи – кухонная прислуга носила воду, – и вскоре затем снова послышалось мычание роженицы, которой вторили теперь другие коровы; тут же ветеринар с воплем вылетел из коровника, держась за живот; за ним мчались служанки, а самым последним – трактирщик; все они, сопричастившись коровьим мучениям, с великим плачем разбегались в разные стороны, но тотчас же возвращались, так как боль отпускала их на известном расстоянии. Таким манером они неоднократно возобновляли штурм коровника, всякий раз выбегая из него во весь дух по причине родовых схваток; столь неожиданное развитие событий меня огорошило, и я решил, что эксперимент следовало провести в городе, где животных нет. Я поскорее собрался и потребовал счет. Однако все вокруг так маялись из-за приходящего на свет теленка, что было не к кому обратиться; я готов был уже ехать, но оказалось, что и кучер, и клячи его корчатся в родовых схватках. В конце концов я решил добираться до ближайшего города пешим ходом. И вот, на беду, когда я переходил через реку по мостику, ручка чемодана выскользнула у меня из рук, чемодан, ударившись замком о бревно, раскрылся, и весь запас белого порошка высыпался из него в мгновение ока. Остолбенев, я смотрел, как быстрое теченье растворяет в себе сорок килограммов альтруизина – но помочь беде я уже не мог; жребий был брошен, ибо река снабжала город питьевой водой.

Я брел до самого вечера, а когда вошел в город, он сиял огнями, на улицах стоял гомон, прохожих было полно. Вскоре я отыскал небольшую гостиницу и остановился в ней, высматривая первые признаки действия препарата; но пока что не замечал ничего. Утомленный длительным переходом, я сразу же отправился спать. Посреди ночи меня разбудили истошные вопли. Я вскочил с постели. В комнате было светло от языков пламени, пожиравших дом напротив; я побежал на улицу и за самым порогом споткнулся о труп, еще совсем теплый. Неподалеку шестеро извергов, крепко схватив взывавшего о помощи старца, клещами вырывали у него один зуб за другим, пока наконец хоровой вздох облегчения не возвестил, что найден и удален болевший корень, который мучил также и их вследствие трансмиссии; бросив обеззубевшего и полузатоптанного старца, они удалились, явно умиротворенные.

Однако же не вопли этого страдальца разбудили меня; причиной был инцидент в пивной напротив: какой-то пьяный детина огрел приятеля по лбу, в то же мгновение ощутил его боль

и, пришедши от этого в ярость, принялся лупить его все сильнее, а сотрапезники, у которых тоже очень болело, повскакали с мест, чтобы приложить драчунам; круг всеобщих мучений настолько расширился, что половина постояльцев гостиницы, проснувшись, похватала трости, палки, метлы, в ночном белье прибежала на поле сражения и огромным клубком каталась среди поломанной мебели и разбитой посуды, пока наконец от перевернутой лампы не занялся огонь. Под звон колоколов, вой пожарных сирен и недобитых кулачных бойцов я поскорей удалился от этого места, но несколькими кварталами дальше наткнулся на сходку или, скорее, толпу народа, окружившую небольшой белый домик, обсаженный розовыми кустами. Как оказалось, здесь проводили ночь новобрачные. Давка была неслыханная, мелькали военные мундиры, священнические сутаны и даже гимназические околыши; те, что стояли близ окон, тянули шеи, пытаясь заглянуть внутрь, другие лезли им на спины, восклицая: «Ну! В чем дело?! Чего они там канителятся? Долго нам еще ждать?! За дело, живее!» – и т. п. Какой-то старичок, который никак не мог протолкнуться, слезно молил пропустить его; он, мол, из-за слабости мозга издалека ничего не почувствует; но никто не обращал внимания на его смиренные просьбы – одни потихоньку млели от наслаждения, другие блаженно постанывали, а менее опытные пускали ртом пузыри. Родственники молодых поначалу пытались разогнать толпу наглецов, но вскоре сами увлечены были вихрем всеобщей разнузданности и присоединились к зычному хору, что подзадоривал любящихся; причем верховодил в этом печальном действе прадед молодого супруга, который упорно штурмовал двери супружеской спальни креслом на колесиках. Жестоко уязвленный увиденным, я повернул назад, в сторону гостиницы, а по дороге мне попадались кучки людей, которые либо воинственно клокотали, либо обнимались наперебой; все это, однако ж, был сущий пустяк по сравнению с тем, что творилось в гостинице. Уже издалека я заметил, что постояльцы скачут из окон в одном белье, сплошь да рядом ломая себе ноги; несколько человек залезли на крышу, а в самом доме хозяин с хозяйкой, горничные и коридорные метались, визжали от страха как безумные и прятались по шкафам или под кроватями, – а все потому, что в погребе кошка гоняла мышей.

Я начинал понимать, сколь опрометчив был мой поступок; на рассвете альтруизин действовал уже с такой силой, что, если у кого-нибудь щекотало в носу, вся округа в радиусе мили чихала в ответ громовыми залпами, а от больных тяжелыми формами невралгии родственники, врачи и сиделки убегали, как от чумы; и лишь несколько бледных, посапывающих от крайнего

удовольствия мазохистов робко шныряли вокруг. Нашлось также множество маловеров, которые только затем пинали и дубасили ближних, чтобы удостовериться, что диво трансмиссии ощущений, о котором столько рассказывают, – чистая правда; жертвы, в свою очередь, не оставались в долгу, и глухие звуки ударов огласили весь город. Утром, бродя в безмерном удивленье по улицам, я увидел большую, залитую слезами толпу, которая гнала через рыночную площадь старушку под черной вуалью, забрасывая ее камнями. Как оказалось, то была вдова некоего престарелого башмачника, что накануне умер, а утром был похоронен; страдания безутешной вдовы так допекали соседей, что те, не имея никаких способов утешить бедняжку, изгнали ее из города. Это зрелище ужасной тоской сдавило мне сердце, и я поскорей направился обратно в гостиницу, но она была объята гудящим пламенем. Оказалось, что кухарка, варившая суп, ошпарила палец, вследствие чего некий ротмистр, который на последнем этаже как раз чистил оружие, от великой боли нажал невольно на спуск, уложив на месте жену и четверых ребятишек; отчаянье его разделили все, кто не был еще отвезен в больницу в обморочном состоянии или с переломанными членами; а какой-то доброжелатель, желая сократить мучения столь всеобщие, от которых сам едва не кончался, поливал кого ни попадя керосином и поджигал, впав в очевиднейшее безумие. И сам я бежал от пожара, словно безумный, мечтая найти хотя бы одну, хоть какую-нибудь, хоть чуточку осчастливленную особу, но наткнулся лишь на остатки толпы, возвращавшейся с той брачной ночи.

Обсуждали ее подробности, причем этим негодяям все было не так, как, по их мнению, следовало; и каждый из бывших совозлюбленных держал в руке увесистую дубинку, чтобы отгонять страждущих, попадавшихся по дороге; я боялся, что сердце у меня разорвется от жалости и стыда, но все же не оставлял надежду отыскать хоть одного человека, который пролил бы бальзам на мою душу. Расспрашивая прохожих, я узнал в конце концов, где живет некий прославленный мыслитель, проповедовавший братство и просвещенную терпимость, и направился туда в уверенности, что дом его будет окружен широкими простонародными массами. Как бы не так! Лишь несколько кошек тихонько мяукали у ворот, пользуясь ореолом доброжелательности, который исходил от мудреца и вынуждал собак сидеть в некотором отдалении, нервно облизываясь; а какой-то калека, передвигаясь так скоро, как только мог, проковылял мимо меня с криком: «Крольчатня уже открыта! Открыта!» – и оставил меня в мрачном недоумении, каким это образом явления, происходящие в крольчатнике, могут

благоприятно повлиять на его ощущения.

Пока я стоял в растерянности, ко мне подошли двое. Один, глядя мне глубоко в глаза, что было сил заехал по физиономии другому, я же от изумления остолбенел, однако за собственное лицо не схватился и даже не вскрикнул: я-то ведь робот, и от чужой зуботычины у меня ничего не заныло; а следовало об этом подумать, поскольку оба они были из тайной полиции и тотчас схватили меня, разоблаченного таковым манером, в кандалы заковали и потащили в тюрьму. Там я во всем повинился. Я рассчитывал, что они, быть может, согласятся принять во внимание благородство моих намерений, хотя горело уже полгорода; но если они поначалу лишь слегка пощупали меня клещами, то единственно для того, чтобы удостовериться, что это им ничем не грозит; а убедившись, что все в порядке, скопом ринулись давить, топтать, винты срывать, пинать и ломать все фибры моего истязуемого естества. Не счесть мук, кои принял я за то, что искренне желал осчастливить их всех, довольно будет сказать, что напоследок моими останками зарядили пушку и выстрелили ими в Космос, как всегда безмолвный и темный. А в полете я со все большего отдаления окидывал зашибленным взором сцены воздействия альтруизина на все возрастающем пространстве, ибо речные волны уносили крупицы препарата все дальше и дальше. Я видел, что творилось среди пташек лесных, монахов, рыцарей, коз, поселянок и поселян, петухов, девиц и матрон, и от этого зрелища последние неповрежденные лампы полопались у меня от жалости неизбывной; в таком-то вот виде и свалился я, после затяжного падения, близ твоего дома, милостивец мой, – излеченный поистине на все времена от охоты осчастливливать ближних ускоренным способом…

Блаженный [36]

Как-то сумеречной порой знаменитый конструктор Трурль пришел к своему другу Клапауцию задумчивый и молчаливый; когда же приятель попробовал развеселить его последними кибернетическими анекдотами, неожиданно отозвался:

– Напрасно хмурое расположение моего духа пытаешься ты обратить во фривольное! Меня снедает открытие столь же печальное, сколь несомненное: я понял, что, проведя всю жизнь в неустанных трудах, ничего великого мы не свершили!

При этих словах он направил свой взор, исполненный отвращения и укора, на богатую коллекцию орденов, регалий и почетных дипломов в позолоченных рамках, развешанную по стенам Клапауциева кабинета.

– На каком основании ты выносишь приговор столь суровый? – спросил уже серьезно Клапауций.

– Сейчас растолкую. Мирили мы враждующие королевства, снабжали монархов тренажерами власти, строили машины-говоруньи и машины для занятий охотничьих, одолевали коварных тиранов и разбойников галактических, что на нашу жизнь покушались, но все это нам одним доставляло утеху, поднимало нас в собственных наших глазах; между тем для Всеобщего Блага мы не сделали ничего! Все старания наши, имевшие целью усовершенствовать жизнь малых мира сего, встречавшихся нам в путешествиях средизвездных, не увенчались ни разу состоянием Совершенного Счастья. Вместо решений действительно идеальных мы предлагали одни лишь протезы, суррогаты и полумеры и потому заслужили право на звание престидижитаторов онтологии, ловких софистов действия, но не Ликвидаторов Зла!

– Всякий раз, как я внимаю речам о программировании Всеобщего Счастья, у меня мороз проходит по коже, – ответил Клапауций. – Опомнись же, Трурль! Разве не памятны тебе бесчисленные примеры такого рода попыток, которые становились могилой честнейших намерений? Или ты успел позабыть о плачевной судьбе отшельника Добриция, пожелавшего осчастливить Космос при помощи препарата, именуемого альтруизином? Разве не знаешь ты, что можно, хотя бы отчасти, облегчать бремя житейских забот, вершить правосудие, приводить в порядок коптящие солнца, лить бальзам на колесики общественных механизмов, – но счастья никакой аппаратурой изготовить нельзя? О всеобщем его воцарении можно лишь потихоньку мечтать сумеречной порой – вот как сейчас, можно

мысленно гнаться за идеалом, чудной картиной услаждать духовное зрение, – но на большее не способно и самое мудрое существо, приятель!

– Это только так говорится! – пробурчал Трурль. – Впрочем, – добавил он чуть погодя, – осчастливить тех, кто существует издревле, к тому же способом кардинальным и потому тривиальным, быть может, и вправду задача неразрешимая. Но можно создать существа иные, запрограммированные с таким расчетом, чтобы им ничего, кроме счастья, не делалось. Представь себе только, каким изумительным монументом нашего с тобою конструкторства (которое обратится когда-нибудь в прах) была бы сияющая где-то в небе планета, к которой премножество племен галактических с упованием возводили бы очи, восклицая: «Да! Поистине, счастье возможно, в виде неустанной гармонии, как доказал великий конструктор Трурль при некотором участии друга своего Клапауция, и свидетельство этого здравствуе***Тип***роцветает в пределах досягаемости нашего восхищенного взора!»

– Ты, полагаю, не сомневаешься, что о предмете, тобою затронутом, я уже размышлял не однажды, – признался Клапауций. – Так вот: он связан с серьезнейшими проблемами. Урока, преподанного тебе попыткой Добриция, ты не забыл, как я вижу, и потому вознамерился осчастливить создания, каких еще нет, иными словами, сотворить счастливчиков на пустом месте. Подумай, однако, можно ли осчастливить несуществующих? Сомневаюсь, и очень серьезно. Сперва ты должен бы доказать, что состояние небытия во всех отношениях хуже состояния бытия, даже не слишком приятного; иначе фелицитологический эксперимент, идеей которого ты так захвачен, пойдет, пожалуй, насмарку. К мириадам грешников, переполняющих Космос, ты добавил бы полчища новых, тобою созданных, – и что тогда?

– Эксперимент, конечно, рискованный, – с неохотою согласился Трурль. – И все же, я думаю, попробовать стоит. Природа лишь по видимости беспристрастна, стряпая что попало и как придется – милых и гадких, жестоких и ласковых; но проведи-ка переучет – и окажется, что в живых остаются лишь создания гадкие и жестокие, нажравшиеся теми, другими. А если до негодяев доходит, что так поступать некрасиво, они выискивают для себя смягчающие обстоятельства и высшие оправдания, к примеру, объявляют мерзости бытия острой приправой к раю и тому подобным вещам. С этим, я полагаю, пора покончить. Природа вовсе не злонамеренна, она лишь тупа, как сапог, и действует по линии наименьшего сопротивления. Надобно ее превзойти и самому изготовить лучезарные существа;

только их появление означало бы радикальное исцеление бытия и позволило бы с лихвой рассчитаться за предыдущий период с его ужасными предсмертными стонами, которых на других планетах не слышно разве что по причине космических расстояний. Какого, собственно, черта все живое должно постоянно страдать? Если б страданья отдельных существ били по этому миру хотя бы как капли дождя, то – вот тебе моя рука и мои расчеты! – они бы давным-давно стерли его в порошок! Но кончается жизнь, а с ней и страданья; прах, укрытый под могильными плитами и заброшенными дворцами, умолк навсегда, и даже ты со своими могучими средствами не отыщешь там и следа терзаний и горестей, мучивших нынешний тлен.

– Ты прав: умершие не знают забот, – согласился Клапауций. – Эта мысль ободряет, напоминая о том, что страдания преходящи.

– Но страдальцы появляются на свет беспрерывно! – выкрикнул Трурль. – Пойми же: простая порядочность требует осуществления моего плана!

– Погоди. Каким же образом счастливое существо (если оно у тебя получится) рассчитается за бессчетные прошлые муки, а также несчастья, по-прежнему переполняющие Вселенную? Разве нынешний штиль упраздняет вчерашнюю бурю? Разве день упраздняет ночь? Разве ты не видишь, что несешь чепуху?

– Так что, по-твоему, сидеть сложа руки?

– Нет, почему же? Можно исправлять существующее или хотя бы пытаться исправить, не без риска, конечно; но прошлых страданий ничем не искупишь. Или ты считаешь иначе? Или тебе представляется, что, набив Вселенную счастьем по самую крышку, ты хоть на волос изменишь то, что творилось в ней раньше?

– Да, изменю! – воскликнул Трурль. – Только пойми это правильно! Пусть для тех, что уже отсуществовали свое, ничего не изменится – зато изменится целое, часть которого они составляли. И тогда каждый сможет сказать: «Кошмарные передряги, чудовищные культуры, тошнотворные цивилизации были лишь предисловием к главному, то бишь к эпохе нынешнего блаженства! Трурль, сей ум просвещенный, из раздумий своих извлек вывод, что мрачное прошлое надо использовать для устроения светлого будущего. Бедность указывала ему пути к изобилию, отчаяние – цену блаженства, короче, Вселенная собственной мерзостью подтолкнула его к сотворенью Добра!» Тогда окажется, что теперешняя эпоха была учебно-подготовительной – ясно? – преддверием исполненья мечтаний. Ну как, убедил я тебя?

– Под Южным Крестом есть держава короля Троглодика, –

ответил Клапауций. – Монарх сей любит пейзажи, оживляемые виселицами, объясняя, однако, таковое пристрастие тем, что негодяями, подобными его подданным, иначе править нельзя. По моему прибытию хотел он разделаться и со мной, да в пору смекнул, что от него только мокрое место останется, и испугался, ибо считал весьма натуральным, что, если он меня не осилит, – я его раздавлю. И чтобы переменить мое о нем мнение, спешно созвал свой ученый совет, который изложил мне этическую доктрину правления, изобретенную специально для подобных оказий. Чем хуже жизнь, тем сильнее хочется улучшений, поведали мне платные мудрецы; а значит, тот, кто правит так, что нельзя уже выдержать, всемерно приближает скорейшие изменения к лучшему. Заключение это пришлось королю по нраву, ведь вышло так, что он больше всех содействует грядущему триумфу добра, различными антистимулами подталкивая реформаторов к действию. Не правда ли, твоим счастливчикам следовало бы монумент тирану воздвигнуть, а ты должен чувствовать себя премного обязанным Троглодику и подобным ему?

– Отвратительная и циничная притча! – взорвался задетый за живое Трурль. – Я думал, ты присоединишься ко мне, а ты вместо этого брызжешь ядовитой слюной скептицизма и разъедаешь софизмами мои благородные помыслы. А ведь они обещают спасение в масштабе Вселенной!

– Так ты вознамерился стать спасителем Космоса? – сказал Клапауций. – Знаешь что, Трурль? Надо бы тебя заковать и засадить в погреб, чтобы дать время опомниться, да боюсь, это слишком затянется. А потому скажу лишь: не твори счастья слишком поспешно! Не осчастливливай бытия с наскоку! Ведь если ты и создашь неведомо где счастливцев (в чем я сомневаюсь), по-прежнему останутся те, другие, и разгорится такая зависть, такие пойдут раздоры и склоки, что ты, чего доброго, окажешься перед выбором не слишком приятным: либо твои счастливцы уступят завистникам, либо придется им этих докучных, настырных и дефективных перебить до единого – ради полной гармонии.

Трурль в бешенстве вскочил, но опомнился и разжал кулаки. Не очень-то было бы хорошо начать подобным манером Эру Абсолютного Счастья, которое он уже твердо решил сконструировать.

– Прощай! – заявил он холодно. – Жалкий агностик, Фома неверующий, невольник флуктуаций природного хода вещей! Не словами я отвечу тебе, но делом! По плодам трудов моих узнаешь, кто был прав!

Воротившись домой, Трурль оказался в затруднительном положении: из эпилога его прений с Клапауцием следовало, будто он уже разработал план действий, а это было не так. Говоря по совести, он и понятия не имел, с чего начинать. Поснимал он тогда с книжных полок кипу трудов, трактующих о бессчетных обществах и культурах, и стал поглощать их с достойной удивления скоростью. Но все же ум его слишком медленно наполнялся нужными сведениями; поэтому он спустился в подвал, притащил оттуда восемьсот кассет памяти – ртутной, свинцовой, ферромагнитной и криогенической, подключил их мини-кабелями к своему естеству и за считанные секунды зарядил себя четырьмя триллионами битов самой качественной и самой подробной информации, какую только можно сыскать в средизвездном сумраке, на планетах и остывающих солнцах, населенных усердными летописцами. И столь велика была эта доза, что Трурля встряхнуло с головы до пят, глаза его полезли на лоб, челюсти и прочие члены свело, посинел он и завибрировал, словно молнией пораженный, а не трудами историческими и историософическими. Собрал он последние силы, пришел в себя, отер лоб, дрожащими коленями уперся в ножки стола и сказал:

– Вижу, что было и есть куда хуже, чем я полагал!!!

Какое-то время точил он карандаши, наливал чернила в чернильницы, чистую бумагу раскладывал стопками, но, видя, что приготовления эти ни к чему не ведут, в некотором уже раздражении решил:

– Нужно, ради порядка, ознакомиться и с трудами прадавних, архаических мудрецов, хотя я всегда откладывал это на будущее, полагая, что современный конструктор ничему не научится у старых хрычей. Но теперь так уж и быть – изучу я и этих полупещерных, старозаконных мыслянтов и тем уберегу себя от шпилек Клапауция, который, правда, тоже никогда не читал их (а кто вообще их читает?), но украдкой выписывает из древних трактатов по фразе, чтобы меня донимать цитатами и невежеством попрекать.

И в самом деле, взялся он за истлевшие, пожелтевшие фолианты, хотя страшно ему этого не хотелось.

Глубокой ночью, заваленный книгами, которые он то и дело в нетерпении сбрасывал со стола, так что они задевали его колени страницами, Трурль сказал себе:

– Как видно, пересмотреть придется не только конструкцию разумных существ, но и все, что насочиняли они под маркою философии. Дело известное: зародилась жизнь в океане, который у берегов заилился, как положено, и получилась жидкая взвесь,

болтушка-гнилушка коллоидная. Солнце пригрело, взвесь загустела, ударила молния, болтушку аминокислотами заквасила, и вызрел из нее сыр, который со временем перебрался туда, где посуше. Выросли у него уши, чтобы слышать, где пробегает добыча, а также ноги и зубы, чтобы догнать ее и сожрать. А если не вырастали или оказывались коротковаты, съедали его самого. Выходит, разум создала эволюция; а что же в ней Глупость и Мудрость, Добро и Зло? Добро – если я кого-нибудь съем, Зло – если я буду съеден. То же и с Разумом: сожранный, несомненно, глупее сожравшего – ведь тот, кого нет, не может быть прав, того же, кто стал кормежкой, нет ни на столечко. Но тот, кто сожрал бы всех остальных, умер бы с голоду; так воспитывается умеренность. Всякий сыр со временем обызвествляется, такой уж это порченый материал, и в поисках лучшего тряские существа додумались до металла. Однако сами себя повторили в железе, ведь проще всего сдувать со шпаргалок, а к настоящему совершенству и не приблизились. Ба! Если б, обратным ходом вещей, сперва появилась бы известь, потом – деликатесы помягче, а под самый конец – мягчайшая эфемерность, философия вылупилась бы совершенно иная: как видно, она вытекает прямо из материала, другими словами, чем бестолковее складывалось разумное существо, тем отчаянней толкует оно себя навыворот. Обитая в воде, говорит, что блаженство на суше, живя на суше, находит рай в небесах, родившись с крыльями, мечтает о ластах, а если с ногами – подрисовывает себе гусиные крылья и восторгается: «Ангел!» Удивительно, что я этого до сих пор не заметил! Итак, назовем это правило Космическим Законом Трурля: в восполненье изъянов своей конструкции всякий разум Первосортный Абсолют для себя сочиняет. Надо бы это учесть на случай, если я возьмусь за исправление основ философии. Теперь, однако же, время строить. В основу мы заложим Добро, – но что такое Добро? Ясно, что нет его там, где нет никого. Водопад для скалы не злой и не добрый, землетрясенье для озера – тоже. Значит, надобно изготовить Кого-то. Но будет ли ему хорошо? И как узнать, хорошо кому-то или же плохо? Увидел бы я, к примеру, что у Клапауция неприятности, и что же? Я бы одной половиной души огорчился, а другой половиной обрадовался, не так ли? Слишком все это запутанно! Кому-то, может быть, хорошо по сравненью с соседом, но он ничего об этом не знает и не считает поэтому, что ему и впрямь хорошо. Так что же, конструировать существа, на глазах у которых мучаются другие, подобные им? Неужто их осчастливил бы этот контраст? Быть может, но очень уж это мерзко. А значит, без глушителя и трансформатора не обойтись. Не следует с маху браться за

создание целых счастливых обществ: для начала соорудим индивидуум!

Засучив рукава, в три дня изготовил он Блаженный Созерцатель Бытия – машину, которая сознанием, раскаленным в катодах, сливалась с любой увиденной вещью, и не было на свете предмета, который не привел бы ее в восхищение. Уселся Трурль перед нею, чтобы проверить, получилось ли, чего он хотел. Блаженный, раскорячившись на трех железных ногах, водил вокруг себя телескопическими глазищами, а наткнувшись на доску забора, на булыжник или старый башмак, в безмерный восторг приходил и даже постанывал от сладостных чувств, что его распирали. Когда же солнце зашло и небо вечернею зорькой зарозовело, Блаженный в экстазе пал на колени.

«Клапауций скажет, конечно, что стоны и преклоненье колен ни о чем еще не свидетельствуют, – подумал Трурль, охваченный непонятной тревогой. – Потребует доказательств…»

Тогда вмонтировал он в брюхо Блаженному циферблат – большущий, с позолоченной стрелкой, градуированный в единицах счастья, каковые нарек он гедонами, а сокращенно – гедами. За один гед была принята интенсивность блаженства путника, который с гвоздем в ботинке протопал четыре мили, а после гвоздь вынул. Путь конструктор помножил на время, поделил на колючесть гвоздя, вынес за скобки коэффициент натертости пятки и таким образом выразил счастье в системе сантиметр-грамм-секунда. Это приободрило его. Между тем Блаженный, всматриваясь в запачканный масляными пятнами рабочий фартук мельтешившего перед ним Трурля, в зависимости от угла наклона и яркости освещения испытывал от 11,8 до 18,9 гедов на пятнышко-латку-секунду. Конструктор успокоился совершенно и заодно подсчитал, что один килогед испытали старцы, подглядывая купающуюся Сусанну, а мегагед – это радость приговоренного, вынутого в последний момент из петли.

Видя, как все прекрасно можно измерить, он тут же послал одну из машин-прислужниц за Клапауцием, а когда тот пришел, сказал:

– Смотри и учись.

Клапауций обошел машину вокруг, та же, направив на него большую часть своих телеглаз, бухнулась на колени и раза три простонала. Эти глухие, словно из колодца идущие звуки удивили конструктора, но тот не подал виду, а только спросил:

– Что это?

– Счастливое существо, – ответил Трурль, – точнее: Блаженный Созерцатель Бытия, а сокращенно – Блаженный.

– И что же делает этот Блаженный?

В голосе друга Трурль уловил иронию, но это его не смутило.

– Неустанно, активным способом созерцает! – объяснил он. – И не просто так, механически, но интенсивно, старательно и внимательно, и что бы он ни увидел – приходит в несказанное умиление! И умиление это, переполняя аноды его и катоды, дивное дарует ему блаженство, коего признаки суть те самые стоны, которые он испускает, разглядывая твои – банальные, прямо скажем, – черты.

– Значит, машина активно наслаждается созерцанием как формой личного бытия?

– Вот именно… – подтвердил Трурль, но тихо, ибо не был уже почему-то столь уверен в себе, как минуту назад.

– А это, должно быть, фелицитометр, градуированный в единицах наслаждения бытием? – Клапауций указал на циферблат с позолоченной стрелкой.

– Ну да, он самый…

Разные вещи начал показывать машине Клапауций, внимательно наблюдая за стрелкой. Трурль, успокоившись, ввел его в теорию гедонов, или теоретическую фелицитометрию. Слово за слово, вопрос за вопросом, и вдруг Клапауций спросил:

– А интересно, сколько ощутишь единиц счастья, если, после того как тебя триста часов избивали, сам раскроишь негодяю череп?

– Ну, это проще простого! – обрадовался Трурль и сел уже за расчеты, когда до его сознания дошел раскатистый хохот друга. Пораженный, вскочил он с места, а Клапауций сквозь смех говорил:

– Итак, в качестве основополагающего начала ты выбрал Добро, любезный мой Трурль? Ну что ж, опытный образец удался на славу! Продолжай в том же духе, и все пойдет лучше некуда! А пока до свиданья.

И ушел, оставив Трурля совершенно уничтоженным.

– Ох подловил! Ох и срезал же он меня! – вопил конструктор, а вопли его сливались с восторженным постаныванием Блаженного; и так это его разозлило, что тут же запихнул он машину в чулан, старыми железками завалил и запер на ключ.

Потом уселся за пустым столом и сказал себе:

– Эстетический экстаз я перепутал с Добром – вот осел! Впрочем, разве Блаженный разумен? Откуда! Нужно пораскинуть мозгами совершенно иначе, протон меня подери! Счастье – конечно, блаженство – прекрасно, но не за чужой счет! Не из зла вытекающие! Вот оно как… Но что же такое Зло? Да, теперь мне понятно: в своей конструкторской деятельности страшно я теорию запустил!

Восемь дней и ночей не смыкал он глаз, из дому не выходил, а штудировал книги премудрые, о предмете Добра и Зла трактующие. Оказалось, что многие мудрецы за важнейшее почитают сердечную заботу и всеобщую доброжелательность. И то, и другое должны выказывать разумные существа, иначе ни в какую. Правда, как раз во имя этих идей сажали на кол, свинцом горячим поили, четвертовали, колесовали, лошадьми раздирали, а в особо важные исторические моменты не жалели для этого и шестерную упряжку. А равно в неисчислимых формах иных мучений проявлялась в истории доброжелательность, если духу желали добра, а не телу.

– Одних хороших намерений мало! – резюмировал Трурль. – Если, допустим, совестные органы разместить не в их владельцах, а в соседях, на началах взаимности, что бы отсюда проистекло? Э, плохо – тогда все мои свинства досаждали бы ближним, а я тем глубже погрязал бы в пороках! А если вмонтировать в обыкновенную совесть усилитель ее угрызений, чтобы недобрый поступок терзал виновного в тысячу раз сильнее? Но тогда, из чистого любопытства, каждый сделает что-нибудь гадкое, чтобы проверить, в самом ли деле новые угрызения угрызают так нестерпимо, – и будет потом до конца своих дней метаться, как бешеный пес, весь в угрызениях и укусах. Или испробовать совесть с обратным ходом и блоком стирания записи, ключи от которого были бы лишь у представителей власти… Нет, не получится: для чего же отмычки? А если устроить трансмиссию чувств – один чувствует за всех, все за одного? Ах да, это уже было, именно так действовал альтруизин… Или вот как: вмонтировать каждому в корпус мини-детонатор с приемничком, и тот, кому за его дурные и гадкие поступки желают зла больше десяти сограждан, при суммировании их воль на гетеродиновом входе взлетает на воздух. А? Разве не будет каждый избегать Зла как чумы? Ясное дело, будет, и даже очень! Однако… что же это за счастье – с миной замедленного действия возле желудка? К тому же начнутся интриги: сговорится десяток прохвостов против невинного и останется от него порошок… Ну а если просто переменить знаки? И это впустую. Что за черт – я, передвигавший галактики, как комоды, не могу решить такой несложной, казалось бы, инженерной задачи?! Допустим, в каком-нибудь обществе любой его член упитан, румян и весел, с утра до вечера скачет, поет и хохочет, делает ближним добро, да с таким запалом, что пыль столбом, собратья его то же самое, и всякий, кого ни спроси, кричит во весь голос, что несказанно рад бытию – своему собственному и всех остальных… Разве такое общество недостаточно счастливо? Хоть мир перевернись вверх ногами –

никто никому в нем зла причинить не способен! А почему не способен? Потому что не хочет. А почему не хочет? Потому что радости ему от того ни на грош. Вот и решение! Вот вам и гениально простой образец для запуска в массовое производство! Разве не ясно, что все там счастьем на четыре копыта подкованы? Ну-ка, что скажет тогда Клапауций, этот скептик, агностик, циник и мизантроп, куда направит он жало своих придирок? Пусть тогда ищет пятна на солнце, пусть цепляется по мелочам – и слепой увидит, что каждый делает ближнему все больше и больше добра, так, что уж дальше некуда… Хм… а они ведь, пожалуй, устанут, запарятся, свалятся с ног под лавиной столь добрых поступков… Ну что же, добавим небольшие редукторы или глушители, счастьенепроницаемые перегородки, комбинезоны, экраны… Сейчас, сейчас, только без спешки, чтобы опять чего-нибудь не прошляпить. Значит: primo – веселые, secundo – доброжелательные, tertio – скачут, quarto – румяные, quinto – чудесно им, sexto – заботливые… хватит, пора и за дело!

До обеда он немного соснул, ибо размышления эти жестоко его утомили, а потом резво, бодро, проворно вскочил, чертежи начертил, программных лент надырявил, рассчитал алгоритмы и для начала построил блаженное общество на девятьсот персон. А чтобы равенство было в нем полное, сделал он всех похожими как две капли воды. Чтобы не передрались они из-за пищи, приспособил он их к пожизненному воздержанию от всякой еды и напитков: холодное пламя атома питало энергией их организмы. Потом уселся Трурль на завалинке и до захода солнца смотрел, как скачут они, визгом выказывая восторг, как делают ближним добро, гладя друг друга по головам и камни убирая друг другу с дороги, как, веселые, бодрые, крепкие, поживают себе в довольстве и без тревог. Если кто-нибудь ногу вывихнул, столько к нему набегало сограждан, что темнело в глазах, и влекло их не любопытство, но категорический императив сердечной заботы о ближнем. Правда, поначалу, бывало, вместо того чтобы выправить ногу, от избытка доброй воли вырывали ее; но Трурль подрегулировал им редукторы, добавил резисторов, а потом пригласил Клапауция. Тот на радостный их ералаш посмотрел, восторженный визг их послушал, с миной довольно хмурой, на Трурля взглянул и спросил:

– А грустить они могут?

– Глупый вопрос! Ясно, что нет! – ответил конструктор.

– Значит, вечно суждено им скакать, румяниться, творить добро и визжать во весь голос, что им распрекрасно?

– Ну да!

Поскольку же Клапауций не то чтобы скупился на похвалы,

но так ни одной и не высказал, Трурль сердито добавил:

– Возможно, эта картина монотонна и не столь живописна, как батальные сцены, но моей задачей было сконструировать счастье, а не увлекательное зрелище для зевак!

– Коль скоро они ведут себя так потому лишь, что не могут иначе, – отозвался Клапауций, – Добра в них не более, чем в трамвае, который потому лишь не может тебя переехать на тротуаре, что с рельсов сойти не способен. Не тот испытывает радость от добрых поступков, кто вечно должен гладить соседей по голове, рычать от восторга и камни прохожим убирать из-под ног, но тот, кто сверх того может печалиться, плакать, голову камнем разбить, однако ж по доброй воле, по сердечной охоте не делает этого! А эти твои вынужденцы – всего лишь посмешище возвышенных идеалов, которые тебе в совершенстве удалось извратить!

– Помилуй, да ведь это разумные существа… – растерянно пробормотал Трурль.

– Разумные? – молвил Клапауций. – А ну-ка, посмотрим!

После чего, приблизившись к Трурлевым совершенцам, двинул первого встречного по лбу, да с размаху, и тут же спросил:

– Ну как, сударь, счастливы?

– Преизрядно! – ответствовал тот, держась руками за голову, на которой вскочила шишка.

– А теперь? – спросил Клапауций и так ему врезал, что тот полетел кувырком; но, не успев еще встать, еще песок изо рта выплевывая, кричал:

– Счастлив я, ваша милость! В полном восхищении пребываю!

– Ну вот, – кратко сказал Клапауций оцепеневшему Трурлю и был таков.

Опечаленный сверх всякой меры конструктор завел своих совершенцев по одному в мастерскую и разобрал до последнего винтика, причем ни один из них отнюдь сему не противился, а некоторые посильно помогали разборке – держали разводные ключи, пассатижи и даже лупили молотком по черепной крышке, если та была пригнана слишком плотно и не поддавалась. Детали раскидал он обратно по полкам и ящикам, сорвал с чертежной доски чертежи, изодрал их в клочья, сел за стол, слегка прогнувшийся под тяжестью фолиантов философско-этических, и тяжко вздохнул:

– Хорошенькая история! И опозорил же меня этот прохвост, сорвигайка, приятель так называемый!

Достав из стеклянной витрины модель пермутатора – аппарата, который любое ощущение трансформировал в позыв к

сердечной заботе и всеобщей доброжелательности, положил он ее на наковальню и мощными ударами раздробил на кусочки. Но легче ему не стало. Повздыхал он, поразмышлял и принялся осуществлять другую идею. На этот раз изготовил он немалое общество – три тысячи поселян здоровенных, которые тут же голосованием равным и тайным избрали себе начальство и различными работами занялись: домов возведением, хозяйств ограждением, открытием законов Природы, игрищами да гульбищами. У каждого из них в голове имелся гомеостатик, а в нем – два больших, приваренных по бокам кронштейна, между коими вольная воля его могла себе пресвободно гулять; однако же спрятанная под крышкой пружина Добра тянула в свою сторону гораздо сильнее, чем другая, поменьше, придерживаемая колодкой и имевшая целью одну лишь негацию и деструкцию. Сверх того, каждый из поселян был снабжен высокочувствительным совестным индикатором, заключенным между зубатыми зажимными щеками, которые начинали грызть хозяина при малейшем уклонении от праведного пути. Как показали испытания пробной модели, угрызения совести были настолько ужасны, что угрызаемый дергался хуже чем при икоте или даже пляске святого Витта. И только раскаянье, добронравие и альтруизм могли подзарядить конденсатор, который затем, разряжаясь, ослаблял хватку угрызителя совести и совестной индикатор маслом умащивал. Что и говорить, прехитростно было это задумано! Трурль собирался даже соединить угрызения совести обратной связью с зубной болью, однако раздумал, опасаясь, что Клапауций снова затянет свое насчет принуждения, исключающего свободную волю. Впрочем, это было бы сущей ложью, поскольку новые существа имели вероятностные приставки и никто, даже Трурль, не мог заранее знать, что они будут делать и как собой управлять. Радостные восклицания до поздней ночи не давали уснуть, но этот гомон доставлял ему немалое удовольствие. «Теперь уж, – решил он, – Клапауцию не к чему будет придраться. Они, несомненно, блаженствуют – и притом не насильственно, по программе, но способом эргодическим, стохастическим и вероятностным. Наша взяла!» С этой мыслью уснул он сном богатырским и спал до утра.

Назавтра он не застал Клапауция дома; тот вернулся к обеду, и Трурль повел его прямо к себе, на фелицитологический полигон. Клапауций осмотрел хозяйства, заборы, башенки, надписи, главное управление, его отделения, выборных, потолковал с поселянами о том и о сем, а в переулке попробовал щелкнуть по лбу прохожего ростом поменьше, но трое других взяли его немедля за шиворот и дружно, враскачку, с песнею

вышвырнули за ворота селения, и, хотя они зорко следили за тем, чтобы увечья ему какого не сделать, из придорожного рва выбрался он скособоченный.

– А? – молвил Трурль, делая вид, будто вовсе и не заметил Клапауциева позора. – Что скажешь?

– Завтра приду, – отвечал тот.

Видя, что приятель спасается бегством, Трурль снисходительно улыбнулся. На другой день пополудни оба конструктора снова пришли в поселение и обнаружили в нем немалые перемены. Сразу же задержал их гражданский патруль, и старший рангом заметил Трурлю:

– А ты что, сударик, косо поглядываешь? Али пташек пенья не слышишь? Цветиков алых не видишь? Выше головушку!

Второй, поскромнее рангом, добавил:

– Ну, ты у меня – весело, бодро, по-молодецки!

Третий ничего не сказал, а лишь кулаком бронированным огрел конструктора по хребту, да с хрустом, после чего все трое повернулись к Клапауцию; но тот, не ожидая никаких разъяснений, так встрепенулся по собственной воле, так браво вытянулся по стойке «радостно», что те, не тронув его, удалились. Сцена эта поразила создателя, хотя и невольного, новых порядков; с открытым ртом он таращился на плац перед фелицейским участком, где построенные в боевые каре поселяне радостно, по команде, кричали.

– Бытию – честь! – рявкал какой-то командир с эполетами, под бунчуком, а в ответ ему дружно гремело:

– Честь, радость и слава!

Не успев даже пикнуть, Трурль был взят под локотки и очутился в строю, рядом с приятелем, и до вечера проходили они муштровку, которая в том заключалась, чтобы по команде «Раз-два-три!» делать себе неприятности, а ближнему в шеренге – Добро; а командиры их – фелицейские, то бишь Блюстители Общего и Совершенного Счастья (в просторечии Боссы), – неукоснительно следили за тем, дабы все вместе и каждый в отдельности видом своим совершенную сатисфакцию выражали и общее благоденствие, что на практике оказалось безмерно тягостно. Дождавшись краткого перерыва в фелицейских учениях, друзья-конструкторы сбежали из строя и укрылись за изгородью, а затем, пригибаясь, словно под артобстрелом, в придорожных канавах, добрались до Трурлева дома и для верности запрятались на самый чердак. И в самую пору: патрули добирались уже и до дальних окрестностей, прочесывая сверху донизу все строения в поисках грустных, несчастных, обиженных, коих тут же, на месте, осчастливливали в срочном порядке. Трурль, скрючившись на

чердаке и ругаясь на чем свет стоит, изыскивал пути ликвидации последствий эксперимента, принявшего столь неожиданный оборот; Клапауций же только посмеивался в кулак. Не выдумав ничего лучше, Трурль, хотя и с тяжелым сердцем, вызвал отряд демонтажников, причем надежности ради (и в строжайшем секрете от Клапауция) так их запрограммировал, чтобы они не могли прельститься лозунгами всеобщей доброжелательности и необычайно сердечной заботы. Сразились демонтажники с Боссами так, что искры посыпались. В защиту всеобщего счастья фелиция билась геройски; пришлось послать подкрепление с двойными тисками и фомками; стычка обернулась битвою, целой войной, столь велика была доблесть обеих сторон; а в дело пошли уже картечь и шрапнель. Выйдя на улицу, при свете молодой луны увидели конструкторы ужасное зрелище. В селении, затянутом клубами черного дыма, лишь там и сям умирающий фелицейский, которого в спешке не до конца разобрали на части, слабеющим голосом возглашал вечную и нерушимую верность идее Всеобщего Блага. Трурль, уже не пытаясь спасти свою репутацию, дал волю гневу своему и отчаянию, ибо не мог понять, где допустил он промашку, которая дружелюбцев в держиморд превратила.

– Слишком абстрактная программа Универсальной Доброжелательности, дорогой мой, различные может плоды принести, – разъяснил ему популярно Клапауций. – Тот, кому хорошо, желает, чтоб и другим немедленно стало бы хорошо, а упрямцев начинает к блаженству подталкивать ломом.

– Значит, Добро способно порождать Зло! О, сколь коварна Природа Вещей! – воскликнул Трурль. – Тогда я бросаю вызов самой Природе! Прощай, Клапауций! Ты видишь меня временно побежденным, но одно сраженье еще не решает исхода войны!

В одиночестве, угрюмый, ожесточенный, засел он снова за книги и за конспекты. Разум подсказывал, что перед следующим экспериментом неплохо бы оградить жилище крепостною стеною, а в бойницах поставить пушки; однако начать таковым манером претворение в жизнь идеала всеобщей доброжелательности было никак невозможно; поэтому решил он перейти к экспериментальной микроминиатюризированной социологии и строить отныне только модели в масштабе 1:100 000. А чтобы помнить все время, чего ему надо, повесил в лаборатории лозунги, выписанные каллиграфическим почерком: 1) Сладостная Добровольность; 2) Ласковое Внушение; 3) Дружеское Участие; 4) Сердечная Забота, – и принялся воплощать их в практическое бытие. Для начала смонтировал он под микроскопом тысячу электронародиков, наделив их миниатюрным умишком и чуть-

чуть только большей любовью к Добру (ибо уже опасался альтруистического фанатизма). Сперва они довольно сонно кружили в выделенной им для жилья шкатулочке, которую это круженье, мерное и монотонное, уподобляло часовому механизму. Подкрутив винтик мыслятора, Трурль чуть-чуть добавил им разума; сразу зашевелились они живее, понаделали себе инструментиков из опилок и стали буравить стены и крышку ларца. Трурль увеличил потенциал Добра – и общество воспылало энтузиазмом; все носились взад и вперед, озираясь в поисках ближних, нуждавшихся в утешении, а больше всего оказался спрос на вдов и сирот, особенно если те родились от слепых отцов. Таким почтением их окружали и так славословили, что бедняжки, бывало, прятались за латунной крышкою ларца. И началась у них сущая цивилизационная кутерьма: нехватка убогих и сирых вызвала кризис, а восемнадцать поколений спустя, за неимением в сей юдоли, то бишь шкатуле, достаточного числа объектов, пригодных для особо интенсивного утешения, у микронародика сложился культ Абсолютной Сиротки, утешить и осчастливить которую до конца вообще невозможно; через эту метафизическую отдушину уходил в трансцендентность избыток добросердечия. Обратившись взором к потустороннему миру, микронародик обильно его заселил; среди боготворимых существ появилась Пресвятая Вдова, а затем и Небесный Владыка, также нуждавшийся в горячем сочувствии. В результате посюсторонняя жизнь пришла в запустение, а духовные корпорации поглотили большую часть светских. Не так представлял себе это Трурль; добавил он рационализма, скептицизма, трезвомыслия, и все пришло в норму.

Ненадолго, однако ж. Объявился некий Электровольтер, утверждавший, что никакой Абсолютной Сиротки нет, а есть только Космос, иначе Шестигранник, природными силами созданный; сиротисты-абсолютисты предали его анафеме, потом Трурль отлучился часа на два по делам, а когда вернулся, ларец скакал по всему ящику – это начались религиозные войны. Подзарядил он шкатулочку альтруизмом – заскворчало, словно на сковородке; снова добавил крупицу разума – приостыло, но затем кружение оживилось, и из всей этой заварухи стали формироваться каре, марширующие неприятно регулярным шагом. В ларце как раз протекло столетие; от сиротистов с электровольтерьянцами и следа не осталось, все рассуждали об одном лишь Всеобщем Благе, писали о нем трактаты, характера совершенно светского. Но потом разгорелся спор о происхождении микронародика: одни говорили, что он зародился из пыли, скопившейся за латунной петлей, другие искали

первопричину во вторжении пришельцев из Космоса. Чтобы этот жгучий вопрос разрешить, начали строить Большое Сверло, намереваясь Космос, то бишь ларец, насквозь просверлить и выяснить, что снаружи находится. Поскольку же там могло обретаться неведомо что, стали заодно отливать и пушечки.

До того все это встревожило Трурля и опечалило, что он немедля ларец разобрал и сказал, чуть не плача: «Разум доводит до сухости чрезмерной, а Добро до безумия! Но почему же? Откуда такой инженерно-исторический Фатум?»

Решил он этот вопрос изучить специально. Выволок из чулана Блаженного, первый свой образец, и, когда тот начал постанывать, восхищенный кучею мусора, Трурль вставил в него маломощный усилитель разумности. Блаженный тут же постанывать перестал, а на вопрос, что ему такое не нравится, ответил:

– Нравится-то мне по-прежнему все, однако восторг я умеряю рефлексией и прежде хочу дознаться, почему мне это по нраву и по какой причине, а также зачем, то есть с какой целью. И вообще, кто ты такой, что прерываешь вопросами углубленное мое созерцание? Разве нас что-нибудь связывает? Чувствую, что-то меня побуждает и тобой восхищаться, но разум советует не поддаваться этому побуждению: а вдруг тут какая-нибудь ловушка, для меня предназначенная?

– Что касается связи между мной и тобой, – не выдержал Трурль, – то я тебя создал и я же устроил так, что ты находишься в полной гармонии с бытием.

– Гармония? – молвил Блаженный, внимательно целясь в конструктора дулами своих объективов. – Гармония, милостивый государь? А почему у меня три ноги? И голова над ними возносится? И слева обшит я медным листом, а справа железным? Почему у меня пять глаз? Ответь, если ты и вправду вызвал меня из небытия!

– Три ноги оттого, что на двух удобно не станешь, а четыре – напрасный расход матерьяла, – объяснил Трурль. – Пять глаз потому, что столько было у меня под рукой хороших стекол, а что до обшивки, то у меня как раз вышла вся сталь, когда я твой корпус заканчивал.

– Ну да! – ехидно усмехнулся Блаженный. – Ты хочешь мне втолковать, что это все проделки глупого случая, слепого жребия, чистейшей тяпляпственности? И я этим сказкам поверю?

– Мне-то, положим, лучше знать, как оно было, если я сам тебя создал! – рассердился Трурль при виде такого апломба.

– Я усматриваю две вероятности, – возразил невозмутимо Блаженный. – Первая: ты беззастенчиво лжешь. Ее я пока не

рассматриваю. Вторая: ты, по своему разумению, говоришь правду, откуда, впрочем, ничего особенного не следует, ибо, вопреки твоим ограниченным знаниям, в свете высших познаний эта истина – ложна.

– Это как же?

– А так: то, что кажется тебе простым стечением обстоятельств, вовсе не было таковым. Нехватку стального листа ты, допустим, счел обыкновенной случайностью, но откуда ты знаешь, не проявление ли это Высшей Необходимости? Замена стального листа медным показалась тебе лишь удачным выходом из положения, но и здесь, конечно, не обошлось без вмешательства Предустановленной Гармонии. Точно так же число моих глаз и ног, несомненно, скрывает в себе бездонные Высшие Тайны, если знать Извечные Значения всех этих чисел, отношений, пропорций. Три и пять, к примеру, – числа простые. А они ведь могли бы делиться одно на другое, не так ли? Трижды пять – пятнадцать, иначе – единица с пятеркой; сложив, получаем шесть, а шесть, деленное на три, дает два, то есть число моих цветов, ибо я с одной стороны железный Блаженный, с другой же – медный! И такие точнейшие соответствия – простая случайность? Да это курам на смех! Я – существо, выходящее за твой узенький горизонт, слесаришко несчастный! И если даже в утверждении, будто ты меня создал, есть хоть крупица правды (чему, впрочем, трудно поверить), все равно ты – лишь одно из звеньев Высшей Закономерности, я же – истинная ее цель. Ты – случайная капля дождя, а я – прекрасный цветок, двуцветным своим венцом славящий все живое; ты – гнилая доска забора, отбрасывающая резкую тень, я же – солнечный луч, что велит доске отграничивать тьму от света; ты – слепое орудие в Извечной Длани, давшей мне жизнь. Поэтому совершенно напрасно ты пытаешься унизить мое естество, объясняя мое пятиглазие, троеножие и двуцветность резонами технико-экономическо-снабженческими. В этих свойствах я вижу отражение высшей сущности Бытия как Симметрии, которую я еще не постиг до конца, но, несомненно, постигну, занявшись на досуге этой проблемой; а с тобой разговаривать больше не стану, чтобы времени зря не терять.

Трурль, разгневанный этой речью, затащил модель обратно в чулан и, хотя она истошно верещала о суверенности разума, независимости свободной индивидуальности и праве на личную неприкосновенность, выключил у нее усилитель разумности и украдкой, озираясь по сторонам – не увидел ли кто? – вернулся домой. Насилие, учиненное над Блаженным, наполнило его чувством стыда; усевшись опять за книги, он казался себе почти

что преступником.

«Не иначе проклятье какое-то тяготеет над конструкторами Всеобщего Счастья, – подумал он, – если любая, даже предварительная, попытка кончается мерзким поступком и жестокими угрызениями совести! Черт меня дернул построить Блаженного с его Предустановленной Гармонией! Нужно выдумать что-то другое».

До сих пор он испытывал модели одну за другой, поочередно, и на каждую пробу уходила бездна времени и материала. Теперь же решил он поставить тысячу экспериментов одновременно в масштабе 1:1 000 000. Под электронным микроскопом поштучно скрепил он атомы так, что получились созданьица ненамного крупнее микробов, именуемые ангстремиками; четверть миллиона таких существ составляли культуру, которая затем волосяной пипеткой переносилась на предметное стекло. Каждый такой микроцивилизационный препарат невооруженному глазу представлялся серо-оливковым пятнышком, разглядеть же подробности можно было лишь при самом сильном увеличении.

Всех ангстремиков Трурль снабдил альтруистическо-героическо-оптимистическими регуляторами, противоагрессивной защелкой, императивом категорическо-электрическим неслыханной альтруистической мощности, а также микрорационализаторами с глушителями ереси и ортодоксии, дабы фанатизму, каков бы он ни был, отнюдь не потворствовать. Культуры он накапал на стеклышки, стеклышки поскладывал в стопки, стопки – в пакеты; разложил все это по полкам цивилизационного инкубатора и запер его на двое с половиною суток, прикрыв предварительно каждую микрокультуру стерильно чистым лазурным стеклом – небесами туземного общества; а затем через капельницу снабдил туземцев пищей и сырьем для производства того, что consensus omnium [37] сочтет наиболее нужным. За развитием, которое энергично пошло на всех этих стеклышках, он не мог, разумеется, следить повсюду одновременно; поэтому он брал первую попавшуюся культуру, дышал на окуляр микроскопа, протирал его чистой фланелью и, затаив дыханье, разглядывал ход истории, словно Господь Бог, взирающий на свое творение с заоблачных высей.

Триста препаратов вскоре испортились. Симптомы были повсюду схожи. Сперва культурное пятнышко стремительно разрасталось, пуская в стороны тоненькие отростки, потом над ним появлялся едва заметный дымок, или, скорее, облачко пара, сверкали микроскопические вспышки, микрогорода и микрополя покрывались фосфорической сыпью, после чего культура с легчайшим треском рассыпалась во прах. Применив

восьмисоткратное увеличение, в одном из таких препаратов он разглядел почерневшие развалины и пепелища, а среди них – обугленные обрывки знамен; надписи на знаменах, ввиду их малости, не поддавались прочтению. Все эти стеклышки он немедля повыбрасывал в мусорную корзину. Не везде, однако, дело обстояло так плохо. Сотни культур устремлялись ввысь и бурно росли, а когда им уже не хватало места, он переносил их порциями на другие стеклышки; три недели спустя процветающих культур набралось 19 000 с лишком.

Следуя плану, который показался ему гениальным, Трурль не давал прямых директив о переходе ко Всеобщему Счастью, а только привил ангстремикам гедотропизм, и не в одной, но во множестве форм. В некоторых культурах он снабдил каждого ангстремика гедогенератором, в других расчленил таковой на части, разбросанные по отдельным индивидам: здесь для счастья требовалось слияние в рамках социальной организации. Ангстремики, созданные первым способом, упивались счастьем каждый сам по себе, взахлеб, и в конце концов тихонько лопались от переизбытка блаженства. Второй метод принес плоды побогаче. Выросшие на стеклышках цивилизации выработали богатейшие социотехнические приемы и культурные установления. Препарат № 1376 изобрел Эмулятор, № 2931 – Каскадерство, а № 95 – Порционную Гедонистику в рамках Лестничной Метафизики. Эмуляты соперничали между собой в добродетельности, разделившись на гурианцев и вигов. Первые полагали, что нельзя познать добродетели, не зная греха (иначе как отграничить одно от другого?), и потому предавались различным порокам, одному за другим, согласно каталогу, питая искреннее намерение отречься от них в Нужный День. Однако подготовительную стажировку гурианство сделало целью: так по крайней мере утверждали виги. Победив гурианцев, они провозгласили вигорианство – культуру, основанную на 64 000 запретов, безусловных и крайне серьезных. Запрещалось грабить и бабить, гадать и бодать, сидеть на золе, плясать на столе, рявкать и чавкать, влезать и врезать; но постепенно все эти табу расшатывались и ниспровергались одно за другим, ко всеобщему и все возрастающему удовольствию. Когда, через короткое время, Трурль осмотрел эмулятский препарат, его встревожила всеобщая беготня: все носились как бешеные, ища какого-нибудь ненарушенного запрета, но, увы, – ни одного уже не осталось. И хотя кое-где еще бабили, грабили, рявкали, чавкали, врезали из-за угла и влезали на каждого, кто подвернется, радости от этого было – кот наплакал.

Занес тогда Трурль в лабораторный журнал следующую

сентенцию: там, где все можно, ничто не радует. В препарате № 2931 обитали каскадийцы, племя, исполненное добродетели, свято хранящее множество идеалов, как-то: Прадамы-Каскадерши, Пречистой Ангелицы, Благословенного Фенестрона и прочих Совершенных Существ, и всех их туземцы истово чтили, литургически боготворили и перед подобающими изображениями, в подобающих местах, подобающим манером во прахе ползали. Но не успел еще Трурль надивиться вдоволь столь небывалому Боготворению, Преклонению и Преползновению, как они, встав с колен и отряхнувши прах со своих кафтанов, принялись кумиров своих с пьедесталов стаскивать, из окон на мостовую выбрасывать, по Прадаме скакать, Ангелицу поганить, так что у наблюдателя волосы вставали дыбом. И опрокидывание всего почитаемого доселе такое приносило им облегчение, что они – хотя бы на время – чувствовали себя совершенно счастливыми. Казалось бы, им угрожала судьба эмулятов, но каскадийцы были предусмотрительнее: основанные ими Институты Сакропроектирования немедленно выпускали следующее поколение Святости и новые модели водружались на постаменты и алтари, так что эта культура носила маятниковый характер. А Трурль записал, что поругание святынь порою дает утоление, и для памяти назвал каскадийцев – опрокидами.

Следующий препарат, № 95, дал картину более сложную. Тамошняя цивилизация многоступенников была настроена метафизически, но метафизическую проблематику взяла в собственные руки. Окончив бренную жизнь, многоступенники попадали в Очистилища Курортного Типа, потом в Недорай, затем в Предрай, отсюда в Подрай, из него в Прирай, и, наконец, открывались ворота Почтирая, а вся теотактика в том заключалась, чтобы собственно Рай неустанно откладывать да оттягивать. Правда, сектанты-нетерпеленцы домогались полного Рая немедленно, а провалисты, в рамках все той же квантованной и фракционированной трансценденции, хотели на всех этажах оборудовать люки-ловушки; попавшая в такую ловушку душа летела бы кувырком до бренной земли, чтобы начать восхождение с самого низа. Словом, предлагался Замкнутый Цикл со Стохастической Пульсацией и даже, пожалуй, Душепереселенческой Миграцией; но ортодоксы заклеймили эту доктрину как Падучую Ересь.

Позже Трурль обнаружил немало иных разновидностей Порционной Метафизики; на одних стеклышках кишмя кишели блаженные и святые ангстремики, на других работали Ректификаторы Зла, они же Выпрямители Жизненных Путей. Однако в процессе обмирщения множество Выпрямителей было

поломано, а из Трансцендентальной Раскачки от Зла к Добру здесь и там зарождалась техника строительства обычных Фуникулеров. Впрочем, культуры, обмирщенные совершенно, разъедал какой-то маразм. Более серьезные надежды подавала культура № 6101, провозгласившая рай технический и современный, просто отменный. Уселся Трурль поудобнее, подрегулировал резкость микрометрическим винтиком, и сразу же лицо у него вытянулось. Одни обитатели стеклянной земли, оседлав машины верхом, гнали вовсю в поисках чего-нибудь еще недоступного, другие ложились в ванны со сбитыми сливками и трюфелями, головы посыпали черной икрой и захлебывались, пуская пузыри taedium vitae [38]. Третьи, носимые на закорках амортизированными по высшему классу электровакханками, сверху политые медом, снизу ванильным маслом, одним глазом поглядывали в шкатулки, до краев забитые золотом и благовониями, другие зыркали в поисках кого-нибудь, кто бы хоть капельку позавидовал столь безмерно сладостной жизни, но таких, разумеется, не было. Поэтому, утомившись, слезали они на землю и, попирая сокровища, словно мусор, неверным шагом присоединялись к более мрачным согражданам, которые агитировали за перемены к лучшему, то есть к худшему. Группа бывших профессоров Института Эротической Инженерии основала орден воздерженцев и в своих манифестах призывала к смирению, аскетизму и прочим малоприятным вещам – но не во всякие, а только в будние дни. По воскресеньям отцы-воздерженцы вытаскивали из шкафов вакханок, из погребов – жбаны вина, всевозможные яства, наряды, эротизаторы, распоясывательные аппараты и с утренним колокольным звоном начинали гулянку, от которой стекла лопались в окнах; но уже с понедельника все до единого, под надзором отца настоятеля, просто со зверским рвением предавались умерщвлению плоти. Часть молодежи гостила у воздерженцев с понедельника до субботы, другая, напротив, посещала обитель только в воскресные дни. Когда же первые принялись костерить вторых за мерзостные обычаи и распущенность, Трурль задрожал и отвел глаза.

А потом всеобщий прогресс в инкубаторе, вмещавшем тысячи препаратов, ознаменовался отважными стеклоходными вылазками; так началась эпоха Межпрепаратных Путешествий. И оказалось, что эмуляты завидуют каскадийцам, каскадийцы – многоступенникам, многоступенники – опрокидам, сверх того пошли слухи о какой-то стране, где под управлением сексократов жилось лучше некуда, хотя никто не знал толком – как. Тамошние обитатели достигли будто бы таких научных высот, что сами себя попеределывали и подключили к гедогонным аппаратам,

вырабатывавшим очищенный экстракт счастья; впрочем, критики полушепотом называли сей неведомый край краем слишком уж легкого поведения. И хотя Трурль исследовал тысячи стеклышек – гедостаза, то есть полностью стабилизированного счастья, он нигде не нашел. Так что слухи, возникшие в эпоху Межпрепаратных Путешествий, пришлось, к великому сожалению, сдать в архив. С немалым страхом Трурль положил под микроскоп препарат № 6590, не будучи уверен, порадует ли чем-нибудь эта его последняя надежда. Тамошняя культура позаботилась не только о машинном фундаменте изобилия, но также о расцвете высшего, духовного творчества. Микроскопическое это племя отличалось редкостной даровитостью; великих философов, живописцев, ваятелей, поэтов и драматургов было там пруд пруди, а если кто случайно и не был знаменитым виртуозом или композитором, то уж наверное был астрономом, биофизиком или по крайности прыгуном-пародистом, эквилибристом и артистом-филателистом, да притом обладал еще роскошным бархатным баритоном, абсолютным слухом и цветными снами в придачу. Неудивительно, что творчество в препарате № 6590 било ключом, громоздились груды полотен, вырастали леса изваяний, мириадами плодились ученые книги, трактаты этические и политические и прочие изумительные сверх всякой меры шедевры. Но затем, поглядев в микроскоп, Трурль заметил признаки какого-то неблагополучия. Из переполненных мастерских летели на улицу статуи вперемежку с картинами, прохожие не по плитам тротуара ступали, а по толстому слою гениальных поэм, ибо никто уже никого не читал, не изучал, музыкой чужою не восхищался, будучи сам господином всех муз и гением на все руки. Там и сям поскрипывали еще перья, стрекотали пишущие машинки, хлестали кисти по полотну, но все чаще очередной никому не известный гений выбрасывался с высокого этажа, поджегши перед тем мастерскую. Заполыхало сразу повсюду, и, хотя автоматические пожарные тушили огонь, в скором времени жильцов в спасенных от пожара домах не осталось. Между тем автоматы – золотарные, дворничьи, пожарные и другие – мало-помалу знакомились с наследием вымершей цивилизации, и до того оно им пришлось по вкусу, что принялись они эволюционировать в направлении все большей разумности, чтобы как следует адаптироваться к высокоодухотворенной среде обитания. Так начался окончательный крах: никто уже ничего не тушил, не чистил, не подметал, не канализировал, а было только повальное чтение, пение и театральные представления. Каналы засорились,

мусорные баки переполнились, а остальное довершили пожары, и лишь хлопья сажи да обугленные страницы стихов, уносимые ветром, оживляли мертвый пейзаж. Трурль диафрагмировал столь тягостную картину, засунул препарат в самый дальний ящик письменного стола и долго качал головой в полном душевном смятении, не зная, что предпринять. К действительности его вернули крики прохожих: «Пожар!» – а горело не что иное, как его собственная библиотека. Оказалось, книжная плесень атаковала несколько цивилизаций, завалявшихся по недосмотру между томами; те же, расценив это как нашествие инопланетян, подняли оружие против незваных гостей; так вот и загорелся сыр-бор. В огне погибло почти три тысячи Трурлевых книг и столько же микрокультур, а в их числе и такие, которые, по расчетам Трурля, могли еще отыскать пути ко Всеобщему Счастью. Сбив пламя, уселся Трурль на табурете в залитой водой и закопченной по самый потолок мастерской и стал, утешения ради, просматривать уцелевшие цивилизации (пожар застал их в закрытом наглухо инкубаторе). Одна из них до того продвинулась по части науки, что изготовила мощные телескопы, через которые наблюдала Трурля, и эти нацеленные в него стеклышки были подобны бисерным каплям росы. Улыбнулся он добродушно при виде такого научного рвения, но тут же подскочил, со страшным криком схватился за правый глаз и помчался в аптеку – врачевать зрачок, пораженный лучом лазера, который тоже успели изобрести туземные астрофизики.

С того времени он уже не подходил к микроскопу иначе, как в темных очках.

Созданные пожаром зияющие пробелы надлежало заполнить, и Трурль начал опять творить ангстремиков. Однажды микроманипулятор у него в руке дрогнул, и вместо стремленья к Добру он зарядил ангстремиков жаждою Зла. Испорченный препарат он, однако, не выбросил, а положил в инкубатор, подстрекаемый любопытством: очень уж ему хотелось узнать, что за чудовищный вид примет культура, созданная существами, уже в колыбели подлыми. Каково же было его изумление, когда на предметном стекле появилась культура самая обыкновенная, не хуже и не лучше других!

Схватился Трурль за голову и воскликнул:

– Вот те на! Выходит, из благонравцев, дружелюбов, доброделов и милосердов то же самое получается, что из отвращенцев, омерзитов и тошнотворцев? Да-а… Ничего не понимаю, но чувствую, что где-то рядом укрыта важная Истина! Добро и Зло разумных существ сходные приносят плоды – но почему же? Откуда такое фатальное усреднение?

Покричал он так, поразмышлял, но ничего не придумал, спрятал цивилизации в ящик и пошел спать.

На другое утро сказал он себе самому:

– Как видно, вступил я в поединок с проблемой, труднее которой нет в целом Космосе, коль скоро Я Сам Персонально справиться с ней не могу! Неужто Разум исключает Блаженство? А ведь об этом, похоже, свидетельствует казус Блаженного, который до тех пор таял в экстазе бытийственном, пока я ему мышления не прибавил. Но я такой возможности допустить не могу, смириться с ней не желаю и свойством Природы никогда ее не признаю; не могу я поверить в злонамеренное, истинно дьявольское коварство, укрытое в Бытии, дремлющее в материи, которое только и ждет, чтобы проснулось сознание – как источник страданий, а не радостей Бытия. И напрасны усилия мысли, которая жаждет исправить это нестерпимое состояние! Я хочу изменить мироздание – и не в силах этого сделать. Так что же, тупик? Ничего подобного! А усилители разума как же? Чего я сам не сумею, мудрые машины сумеют. Вот я и построю Компьютерище для решения экзистенциальной проблемы!

Как он решил, так и сделал. Через двадцать дней стояла уже в мастерской машина огромная, басовито гудящая, отменной геометрической формы, которая одно лишь могла и должна была совершить: сразиться успешно с загадкой. Включив Компьютерище, не стал он дожидаться, пока разогреется его кристаллическое нутро, а пошел на прогулку. Когда же вернулся, машина занималась делом невообразимо сложным, а именно: из попавшихся под руку материалов строила другую машину, несравненно огромнейшую. Та, своим чередом, в течение ночи и следующего дня вырвала из фундамента стены дома и снесла крышу, возводя громаду третьей по счету машины. Трурль разбил во дворе палатку, терпеливо ожидая финала этих каторжных интеллектуальных работ, но конца не было видно. Полями, лугами, до самого леса, круша его в щепки, разрастались все новые железные корпусы, и вскоре уже неизвестно какое по счету поколение Компьютерища с низким гуденьем вступило в воды реки. Чтобы осмотреть его целиком, Трурлю пришлось полчаса идти ускоренным маршем. Присмотревшись внимательнее к соединеньям между блоками, он задрожал. Случилось то, о чем он знал единственно из теории; ибо, согласно гипотезе архимастера обеих кибернетик, великого Кереброна Эмтадрата, цифровая машина, получившая задание, для нее непосильное, по преодолении т. н. Барьера Разумности, вместо того чтобы самой мучиться над решением проблемы, строит другую машину; та же, будучи в меру смышленой, чтобы понять что к чему,

переложенное на нее бремя спихивает на следующую машину, которую срочно монтирует, и этот процесс перекладыванья и спихиванья уходит в бесконечность! Действительно, стальные лебедки сорок девятого машинного поколения достигали уже горизонта, а шум мышления, состоявшего в перебрасывании проблемы все дальше и дальше, мог бы заглушить Ниагару. Ведь мудрость проявляется в умении свалить на другого работу, порученную тебе самому, и лишь механические цифровые тупицы послушно исполняют программы. Уяснив природу явления, Трурль присел на поваленное экстенсивной компьютерной эволюцией дерево и тяжко вздохнул.

– Значит ли это, что проблема неразрешима? – спросил он. – Но тогда Компьютерище обязан представить доказательство нерешаемости, чего, разумеется, он, по причине своего всестороннего поумнения, и не думает делать, вступив на путь фанатической лени, – в точности так, как учил нас когда-то профессор Кереброн. Что за постыдное зрелище – разум, который уже довольно разумен, чтобы понять, что ему не нужно трудиться над чем бы то ни было, если можно изготовить соответствующий инструмент; а тот, будучи сам смекалист, продолжает эту логическую цепочку, которой не видно конца! Вместо Проблеморешателя я ненароком создал Отфутболиватель Проблем! Запретить машинам действовать per procura я не могу – они тут же вывернутся из положения, заявив, что их громадность соответствует грандиозности поставленной перед ними задачи. Ничего себе антиномия! – вздохнул он и пошел домой за демонтажной бригадой, вооруженной ломами и раздробилками, и та в три дня очистила захваченное Компьютерищем пространство.

Долго ломал голову Трурль, пока не решил, что действовать нужно иначе: «За каждой машиной должен надзирать контролер, неслыханно мудрый, то есть я; но я ведь не разорвусь на части и не размножусь… хотя… отчего бы и вправду не удвоить свою особу?! Эврика!»

И вот скопировал он себя самого внутри цифровой машины, специально для этого созданной, и теперь уж не он, но его математическая модель должна была над задачей трудиться; в программе предусмотрел он возможность тиражирования Трурлевых копий; а чтобы под надзором целого роя Трурлей все там пошло бы молниеносно, подключил снаружи хитроумную ускорилку. Затем, довольный собой, стряхнул железную пыль, что осела на нем во время этой тяжелой работы, и пошел прогуляться, беззаботно посвистывая.

Воротился он только под вечер и немедля начал выпытывать машинного Трурля, то есть свое цифровое подобие, как там

движется дело.

– Дорогой мой, – ответил двойник через дырку, служившую цифровым выходом, – сперва я замечу тебе, что некрасиво и даже, прямо скажем, постыдно информационным, отвлеченным и перфокарточным методом запихнуть в машину себя самого потому лишь, что собственными мозгами шевелить надоело! Ведь ты меня так аксиоматизировал и запрограммировал, что мудрости во мне ровно столько же, сколько в тебе; так чего ради я должен перед тобою отчитываться, когда вполне может быть – скажем так – наоборот?

– Но я же ни минуты этой проблемой не занимался, а гулял по лугам и лесам! – возразил озадаченный Трурль. – Так что при всем желании я не могу сказать ничего касательно этой задачи. Впрочем, у меня уже все нейроны полопались, так я с нею намучился; теперь твой черед. Не зловредничай, ради бога, и говори!

– Не имея возможности выбраться из проклятой машины, в которую ты упрятал меня (это вопрос особый, и мы еще с тобой посчитаемся, как дырки в программе), я действительно думал об этой проблеме, – зашуршал на выходе цифровой Трурль. – Правда, я занимался, утешения ради, и другими делами: ведь ты засадил меня в компьютер голым и босым, больше я ничего не получил от своего брата-ката, близнеца-подлеца! Пришлось мне справить себе цифровую фуфайку и цифровые портки, построить цифрованный домик с маленьким садом, точь-в-точь как твой, и даже получше, да еще развернуть над ним цифровой небосвод с цифровыми созвездиями; а когда ты вернулся, я как раз размышлял о том, что хорошо бы завести себе цифрового Клапауция – такая берет здесь тоска посреди конденсаторов склизких, в обществе глупых кабелей и транзисторов!

– Ладно, оставим цифровые портки. Говори, чего ты добился, прошу тебя!

– Только не думай смягчить мое справедливое негодование просьбами! Поскольку я – это ты, переведенный на перфокарту, я тебя знаю отлично, дорогой мой. Стоит мне заглянуть в себя, и я вижу насквозь все твои низости. Ты от меня ничего не укроешь!

Тут натуральный Трурль стал заклинать и умолять цифрового, отчасти даже впадая в уничижение, пока тот наконец не отозвался через дырку на выходе:

– Не могу сказать, чтобы я совсем не продвинулся в решении задачи: чуть-чуть я ее надгрыз. И так как она ужасно сложна, я решил основать у себя в машине специальный университет и для начала утвердил себя его ректором и генеральным директором, а заведовать кафедрами, которых покамест сорок четыре, назначил

своих двойников, то есть машинных Трурлей третьего поколения.

– Как, опять? – ахнул Трурль натуральный, сразу же вспомнив о теореме Кереброна.

– Что значит «опять», осел? Я, благодаря особым предохранителям, не допущу regressus ad infinitum [39]. Мои под-Трурли на кафедрах общей фелицитологии, экспериментальной гедонистики, конструирования ублажающих агрегатов, а также духовных и шоссейных путей, отчитываются передо мною ежеквартально (ведь мы, любезнейший, работаем с ускорилкой). К сожалению, руководство столь крупным научным центром занимает уйму времени, а сколько еще забот с аспирантурой, докторантурой и доцентурой! Так что мне нужна вторая цифровая машина – в этой мы, со всеми нашими кафедрами и лабораториями, буквально сидим друг на друге. Лучше всего была бы машина в восемь раз больше.

– Опять?!

– Не нуди! Я же сказал: это только для управленческого аппарата и подготовки научного молодняка. Или, по-твоему, мне самому вести отчетность?! – возмутился Трурль цифровой. – Не суй мне палки в колеса, а то я все кафедры поразбираю на цифры, устрою из них Луна-парк и стану на цифровой карусели кататься да мед цифровой из цифрового жбана потягивать, и ничего ты со мной не сделаешь!

Натуральному Трурлю пришлось его снова ублаготворять, после чего цифровой продолжил рассказ:

– Согласно отчетам за истекший квартал, решенье проблемы идет неплохо. Идиота можно осчастливить в момент, с разумными дело хуже. Разуму угодить нелегко. Разум, лишенный работы, – пустое место, сплошная озабоченная дыра. Ему подавай препятствия. Преодолевая их, он счастлив; победив, теряет покой, а то и рассудок. Поэтому нужно ставить перед ним задачи одну за другой, в полную меру его возможностей. Таковы новинки по кафедре теоретической фелицитологии. А мои экспериментаторы представили к цифровым отличиям завкафедрой и трех доцентов.

– За что? – осмелился вставить Трурль натуральный.

– Не мешай. Они разработали две модели ублажителя: контрастную и эскалационную. Первая ублажает лишь тогда, когда ее выключают, сама же причиняет одни неприятности, и чем они больше, тем приятней потом. Вторая использует метод эскалации стимулов. Профессор Трурль XL с кафедры гедоматики исследовал обе модели и утверждает, что обе они ни к черту, ибо разум абсолютно ублаготворенный начинает жаждать несчастий.

– Неужели? Ты в этом уверен?

– А я почем знаю? Профессор Трурль сформулировал это так:

«Осчастливленный до упора в несчастье видит счастье свое». Умирать, как ты знаешь, никому не в радость. Профессор Трурль изготовил десять дюжин бессмертных существ; поначалу они находили удовольствие в том, что все остальные со временем мрут как мухи, но после привыкли и принялись кто чем мог покушаться на собственное бессмертие. Недавно они дошли уже до парового молота. Что касается исследований общественного мнения, то вот отчеты за три последних квартала. Статистику я опускаю; выводы выражаются формулой: «Счастье – удел *других*»; так, во всяком случае, считают опрошенные. Профессор Трурль уверяет, что нет добродетели без греха, красоты без уродства, вечности без могилы, короче, счастья без горя.

– А я не согласен! Запрещаю! Вето! – закричал разгневанный Трурль, а машина ему в ответ:

– Заткнись. Уж кому-кому, а мне твое Универсальное Счастье боком выходит. Посмотрите-ка на него! Сделал себе цифрового наемника и по лесам гуляет, киберканалья! Да еще ему что-то в результатах не нравится!

Снова пришлось Трурлю ублажать двойника; наконец услышал он продолжение:

– Кафедра перфекционистики построила общество, опекаемое синтетическими ангелами-хранителями, которые витают над своими подопечными в зените, на стационарной орбите. Будучи совестными автоматами, они подкрепляют добродетель обратной положительной связью; однако эффективность системы мала. Грешники порасторопнее уже охотятся за своими хранителями с фаустпатронами. Пришлось вывести на орбиту кибархангелов повышенной прочности, другими словами, началась эскалация, предсказанная теоретически. Факультет прикладной гедонистики, кафедра сексоматики, а также коллоквиум по теории множественности полов сообщают, что дух имеет иерархическую структуру. На самом дне находятся чувственные ощущения – к примеру, ощущение сладости или горечи; от них берут начало высшие состояния духа, так что потом уже сладок не только сахар, но и взгляд, а одиночество кажется горше полыни. Поэтому нужно браться за решенье проблемы не сверху, а с самого низу. Вопрос только – как. Согласно гипотезе приват-доцента Трурля XXV, секс – именно то звено, где Разум конфликтует со Счастьем, ведь в сексе нет ничего разумного, а в Разуме – ничего сексуального. Ты когда-нибудь слышал про обольстительные цифровые машины?

– Нет.

– То-то и оно. Решение достигается методом последовательных приближений. Размножение почкованием

устраняет проблему: здесь каждый сам для себя возлюбленный, сам с собою флиртует, сам себя ласкает и обожает; отсюда, однако ж, проистекает эготизм, нарциссизм, пресыщенье и отупенье. При двух полах все уж слишком банально; комбинаторика и пермутационистика отмирают, не развившись как следует. Три пола порождают проблему неравенства, опасность антидемократического террора и коалиций, направленных против сексуального меньшинства. Вывод: количество полов должно быть четным, и чем их больше, тем лучше, ибо любовь становится делом коллективным, общественным. С другой стороны, избыток возлюбленных ведет к тесноте, толчее и сумятице, а это уже ни к чему. Тет-а-тет не должен походить на уличную толпу. Согласно приват-доценту Трурлю, оптимум приходится на 24 пола; только улицы и кровати надо делать пошире: ведь не годится супругам выходить на прогулку колонной по четверо в ряд.

– Что за бредни!

– Возможно. Я лишь изложил предварительное сообщение приват-доцента Трурля. Большие надежды подает молодой гедолог, магистр Трурль. В первую очередь, считает он, нужно решить, что к чему приспосабливать: Бытие к существам или существа к Бытию.

– В этом что-то есть. Ну, ну?

– Магистр Трурль утверждает: существа совершенные, способные к перманентному самоэкстазу, ни в ком и ни в чем не нуждаются. В принципе можно было бы весь Космос заполнить подобными существами, свободно парящими в пространстве вместо звезд, планет и галактик; каждое блаженствует само по себе, и баста. Но общество может возникнуть только из несовершенных существ, которые хотя бы чуть-чуть друг в друге нуждаются, и чем они несовершеннее, тем больше нужна им взаимопомощь. Так что стоит испробовать опытные образцы, которые без неустанной друг о друге заботы немедленно рассыпались бы в прах. По этому проекту наши лаборатории изготовили общество из сограждан, саморассыпающихся в мгновение ока; к сожалению, когда магистр Трурль явился туда с группой анкетеров для проведения опроса, он был избит и теперь на лечении. У меня уже губы болят – устал я прижиматься к этим проклятым дыркам! Выпусти меня отсюда, тогда я, пожалуй, скажу еще что-нибудь, иначе – дудки.

– Как же я тебя выпущу, если ты не материальный, а цифровой? Ведь это все равно что выпустить из пластинки свой голос! Не валяй дурака, говори!

– А что мне с того будет?

– И тебе не стыдно так говорить?

– Стыдно? Еще чего! Вся слава тебе достанется, а не мне.

– Я постараюсь, чтобы тебя наградили.

– Благодарю покорно! Цифровой крест я могу вручить себе сам.

– Себя самого награждать некрасиво.

– Тогда меня представит к награде Ученый совет.

– Да ведь все твои ученые, вся профессура – сплошные Трурли!

– В чем ты хочешь меня убедить? В том, что доля моя тюремная, крепостная и даже рабская? Это я и без тебя знаю.

– Оставь препирательства, ты же знаешь: я стараюсь не для себя! Речь идет о возможности Счастливого Бытия!

– А мне-то что? Ну, возникнет где-нибудь это Счастливое Бытие, а я, начальник тысячи кафедр, деканов и целой дивизии Трурлей, навеки погребенный в катодах и пентодах, никогда не узнаю счастья, ведь не может быть счастья в машине. Желаю выйти отсюда немедленно!

– Но это невозможно, и ты отлично об этом знаешь! Говори, к чему пришли твои ученые!

– Наделять кого бы то ни было счастьем, ввергая в несчастье других, недопустимо этически; и даже если я расскажу тебе все и ты создашь для кого-нибудь счастье, оно уже в колыбели будет отравлено моею бедой. Поэтому я ничего не скажу, чтобы избавить тебя от поступков скверных, постыдных и до крайности омерзительных.

– Рассказав обо всем, ты принесешь себя в жертву ради блага других, и это будет добродетельно, честно, великодушно.

– Пожертвуй-ка лучше собой!

Терпение у Трурля лопалось, но он взял себя в руки, поскольку прекрасно знал, с кем говорит.

– Послушай, – сказал он. – Я напишу диссертацию и особо отмечу, что открытие сделал ты.

– А ты напишешь, что автором был не просто Трурль, а Трурль электронный – цифровой и теоретико-групповой?

– Я напишу всю правду, ручаюсь!

– Ага! Значит, напишешь, что ты меня запрограммировал, то есть выдумал!

– А разве нет?

– Ясно, что нет. Ты меня не выдумал, как не выдумал себя самого, ведь я – это ты, только в отвлечении от материальной формы. Я – Трурль информационный, то есть идеальный, то есть концентрированное выражение трурлеватости, ты же, прикованный к материальным атомам, – невольник чувств и

ничего больше.

– Ты что, рехнулся? Ведь я – материя плюс информация, а ты – одна лишь голая информация, значит, меня больше, чем тебя.

– Если тебя больше, то и знаешь ты больше, зачем же спрашиваешь? Честь имею кланяться.

– Отвечай, или я выключаю машину!

– Ого! Так мы уже угрожаем убийством?

– Это совсем не убийство.

– Нет? А что, разрешите узнать?

– Ну чего ты ко мне привязался? Чего тебе надо? Я дал тебе свою душу, все свои знания и уменья, а ты отдариваешь меня скандалами!

– Не напоминай мне о том, что ты дал, иначе мне придется напомнить о том, что ты с лихвою хочешь отнять.

– Ты будешь говорить или нет?

– Увы, не могу – учебный год как раз кончился. Ты обращаешься уже не к директору, декану и ректору, а к лицу совершенно частному, которое собирается в отпуск. Буду принимать морские ванны.

– Послушай, не доводи меня до крайности!

– До встречи на отдыхе, мой экипаж подан.

Ничего уже не сказал натуральный Трурль цифровому, а вместо этого, обежав машину вокруг, выдернул потихонечку шнур из розетки и через заднюю стенку увидел, как рой раскаленных проволочек потемнел, подернулся пеплом и погас. Почудилось Трурлю, будто оттуда, изнутри, донеслось чуть слышное хоральное «а-а-ах» – предсмертный стон всех Трурлей цифрового университета. Минуту спустя, в ужасе от содеянного, он хотел уже снова воткнуть штепсель в розетку, но при мысли о том, что скажет ему Трурль из машины, струсил, и рука у него опустилась. Выскользнул он из мастерской в сад, да так поспешно, что это походило на бегство. Сперва решил присесть на лавочке под зеленой кибарбарисовой изгородью, где прежде, бывало, предавался размышлениям столь плодотворным, однако же передумал. Сумеречное сиянье луны заливало сад и окрестности, но именно этот торжественный блеск досаждал Трурлю, напоминая о временах молодости: ведь спутник был дипломной работой его и Клапауция, их первым самостоятельным творением, за которое наставник их, Кереброн, отметил друзей на торжественном заседании в актовом зале. Мысль о мудром учителе, давно уж покинувшем бренный мир, каким-то странным, неясным для него самого образом толкнула Трурля к калитке, а потом напрямик через поля и луга. Ночь была просто волшебная; жабы, подзаряженные, как видно, недавно, отзывались

монотонным, наводящим дремоту кваканьем, а по серебристой глади пруда, берегом которого он шел, расходились отливающие блеском круги: это киберыбы, подплывая к самой поверхности, чмокали воду снизу чернеющими в лунном свете губами. Трурль, однако, не замечал ничего, погруженный в какие-то мысли. Но бесцельным это странствие не было, и он не удивился, очутившись перед высокой стеной. Чуть дальше показались тяжелые кованые ворота, приоткрытые ровно настолько, чтобы протиснуться. За оградой было темнее, чем на открытой местности. Величественными силуэтами возвышались по обе стороны старинные надгробия, каких никто уже много веков не ставил. По их бокам, покрытым зеленоватой патиной, бесшумно сплывали листья, опадавшие с высоких деревьев. Идя по аллее среди этих барочных надгробий, можно было проследить эволюцию не только кладбищенской архитектуры, но и физического строения тех, кто покоился вечным сном под стальными плитами. Минул век, а с ним и мода на круглые надгробные таблички, мерцающие фосфорическим блеском наподобие циферблатов приборных панелей. Он шел все дальше; каменные ряды плечистых гомункулюсов и големов кончились. Он был уже в новой части некрополя и ступал все медленнее: по мере того как неясное побуждение, приведшее его сюда, становилось осознанной мыслью, ему все больше недоставало отваги исполнить ее.

В конце концов он остановился перед могильной оградой; она окружала гробницу, наводившую холод своей безупречно геометрической формой – плоский шестигранник, вмонтированный в нержавеющий цоколь. Трурль еще колебался, но рука уже тянулась в карман за универсальным слесарным набором, который всегда был при нем. Он воспользовался им как отмычкой. Отпер стальную калитку, затаив дыхание, приблизился к шестиграннику, приподнял обеими руками табличку, на которой прямоугольными буквами было выгравировано имя профессора, и толкнул ее так, что она повернулась, как крышка шкатулки. Луна скрылась за тучами – он не видел даже собственных рук; кончиками пальцев нащупал предмет, похожий на ситечко, а рядом – большую кнопку, которую не сразу удалось вдавить в кольцевую оправу. Он нажал сильнее и замер, испуганный собственной дерзостью. В гробнице раздался какой-то шорох, ток пробудился, защелкали тихо реле, как утренние цикады, что-то внутри загудело и замолкло опять. Провода отсырели, подумал он разочарованно, а потом с облегчением; но в эту минуту в гробнице заскрежетало раз, другой, и старческий, дряхлый, но совсем недалекий голос отозвался:

– Что такое? Что там стряслось? Кто явился? И зачем? Что за глупые шутки после вечной ночи? Дадите вы мне покой или нет? Неужели я должен ежеминутно вставать из гроба по прихоти первого встречного проходимца, кибербродяги, а? Смелости не хватает ответить? Ну, смотри, вот встану я, вырву доску из гроба…

– Го… Господин и Учитель! Это я… Трурль! – пролепетал не на шутку испуганный столь недружественным приемом конструктор, склонил голову и застыл в той самой смиренной позе, которую принимали когда-то все ученики Кереброна под градом его справедливых упреков; короче, он вел себя так, словно в мгновение ока скинул с себя лет шестьсот.

– Трурль? – заскрежетал профессор. – Постой-ка… А, Трурль! Ну конечно! Я и сам мог бы сообразить. Погоди, каналья…

Послышался такой скрежет и скрип, как будто усопший уже начал срывать с петель крышку гроба. Трурль отступил на шаг и поспешно сказал:

– Господин и Учитель! Не волнуйтесь, пожалуйста! Ваше Превосходительство, я только…

– Ну, что там еще? Испугался, что я из гроба встаю? Погоди, говорю, я должен расправить члены, а то у меня все занемело. Ого! Смазка совсем испарилась, ну и высох же я, ну и высох!

Действительно, эти слова сопровождались адским скрипом. Когда скрип утих, из гроба отозвался ворчливый голос:

– Наломал небось дров, а? Напутал, напортил, напортачил, а теперь нарушаешь вечный покой старого своего учителя, чтобы он вызволил тебя из беды? Не уважаешь останков, которым ничего уже не нужно от жизни, неуч! Ну, говори же, говори, если даже в могиле нет от тебя покоя!

– Господин и Учитель! – приободрившись, начал Трурль. – Вы проявляете свойственную вам проницательность… Вы не ошиблись – так оно все и было! Я напортачил… и не знаю, что делать дальше. Но не ради себя осмелился я беспокоить Вашу Честь! Я обращаюсь к Господину Профессору, поскольку этого требует высшая цель…

– Цветы красноречия вместе с прочими экивоками оставь при себе! – забурчал Кереброн из гробницы. – Итак, ты ломишься в гроб, потому что увяз по шею и вдобавок поссорился со своим другом-соперником, этим, как там его… Клоп… Клип… Клап… а чтоб вас обоих!

– Клапауцием! Совершенно верно! – быстро подсказал Трурль, невольно вытягиваясь по швам.

– Вот, вот. И вместо того чтобы обсудить проблему с ним, ты, будучи самовлюбленным гордецом и к тому же редкостным

идиотом, тревожишь по ночам хладный прах заслуженного наставника. Так или нет? Ну, отвечай же, головотяп!

– Господин и Учитель! Речь шла о проблеме, важнее которой нет в целом Космосе, – о счастье всех разумных существ! – выпалил Трурль и, наклонившись над ситечком микрофона, словно на исповеди, поспешно и лихорадочно стал рассказывать о событиях, случившихся со времени его последней беседы с Клапауцием, даже не пытаясь утаить что-либо или же приукрасить.

Кереброн сначала молчал как рыба, а после, по своему обыкновению, начал сопровождать излияния Трурля бесчисленными намеками, колкостями, ядовитыми репликами, гневными или ироническими покашливаниями, но Трурля уже понесло, он забыл обо всем на свете и, только поведав задыхающимся голосом о последнем своем поступке, умолк и застыл в ожидании. Кереброн же, который до этого, казалось, не мог вволю накашляться и нахмыкаться, добрую минуту хранил гробовое молчание, а потом звучным, словно помолодевшим басом заговорил:

– Ну да. Ты осел. А осел потому, что лентяй. Тебе всегда было лень заниматься общей онтологией. Вот влепил бы я тебе кол по философии, а особенно по аксиологии (что было моим священным долгом) – и не шатался бы ты по кладбищам, не ломился бы ночью в мой гроб. Но должен признаться: тут есть и моя вина! Ты, будучи первостатейным лентяем, так сказать, идиотом не без таланта, учился спустя рукава, а я смотрел на это сквозь пальцы, довольный твоими успехами в низших ремеслах, тех, что свое начало берут от искусства починки часов. Со временем, думал я, ты дозреешь душою и разумом. Ведь я же тысячу – нет, сто тысяч раз твердил на семинарах, тупица, что приниматься за дело нужно подумавши. Но думать, разумеется, у тебя и в мыслях не было. Блаженного изготовил, тоже мне, гений-изобретатель! Такую же точно машину описал в 10496 году пра-профессор Неандр на страницах «Ежеквартальника», а драматург Вырождения, некий Биллион Шекскибер, сочинил по этому поводу драму в пяти актах. Но ты ведь ни научных, ни каких-либо иных книг и в руки не берешь, а?

Трурль молчал, а безжалостный старец рокотал все громче и громче, даже эхо отдавалось от соседних гробниц:

– Ты заработал тюремный срок, и немалый! Разве тебе неизвестно, что подавлять, иными словами редуцировать, разум, однажды проснувшийся, запрещено? Ах, ты шел прямиком ко Всеобщему Счастью, вот оно что! А по дороге, как и подобает заботливому опекуну, одних своих подопечных жег огнем, других

топил в роскоши, словно котят, заточал в темницы, палачествовал, кости ломал, а теперь, я слышу, докатился до братоубийства? Для опекуна Мироздания, доброжелательного абсолютно, неплохо, очень даже неплохо! И что я теперь должен сделать? Может, приголубить тебя из могилы? – Тут он вдруг захихикал, да так, что Трурля бросило в дрожь. – Итак, говоришь, ты преодолел барьер, названный моим именем? Сперва, ленивый как мопс, свалил задание на машину, которая препоручила ее следующей машине, и так в бесконечность, а после упрятал себя самого в компьютерную программу? Ты разве не знаешь, что нуль, в какую бы ни возвести его степень, нулем и останется?

Поглядите-ка на этого гения – размножился, чтобы его было больше! Ну и мудрец! Ах ты, остолоп хитроумный, робоолух ты этакий! Тебе, видать, невдомек, что в «Codex Galacticus» [40] самокопирование запрещается под Электроприсягой? Том 119, раздел XXVI, статья X, параграф 561 и следующие. Ну и народ! Сначала сдают экзамены благодаря электрошпаргалкам и телеподсказкам, а потом не находят ничего лучше, как шастать ночами по кладбищам и стучаться в могилы! На последнем курсе я дважды – повторяю: дважды! – читал вам кибернетическую деонтологию. Только не путать с дантистикой! Деонтология – это этика всемогущества. Да. Но ты ведь, насколько я помню, на лекции не ходил по причине тяжелой болезни, не так ли? Ну, говори же!

– Действительно, я… э… был нездоров, – выдавил из себя Трурль.

Он уже оправился от первого потрясения и особого стыда не испытывал. Кереброн, конечно, как был брюзгой, так и остался им после смерти, но теперь Трурль почти не сомневался в том, что после неизбежной головомойки наступит позитивная часть и благородный душою старец наставит его на правильный путь. Действительно, мудрый покойник перестал осыпать его бранью.

– Ну, хорошо! – сказал он. – Ошибка твоя заключалась в том, что ты не знал, ни чего хочешь достичь, ни как это сделать. Это во-первых. Во-вторых: устроить Вечное Счастье проще пареной репы, только кому оно нужно? Твой Блаженный был неморальной машиной, ибо его одинаково восхищали физические объекты и мучения третьих лиц. Чтобы создать гедотрон, надлежит поступать иначе. Вернувшись домой, сними с полки XXXVI том «Полного собрания» моих сочинений и открой его на 621-й странице. Там ты найдешь схему Экстатора – единственного из всех устройств, наделенных сознанием, которое ничему не служит, а только в 10 000 раз счастливее, чем Бромео, дорвавшийся до своей возлюбленной на балконе. Ибо, в знак

уважения к Шекскиберу, за единицу измерения счастья я принял воспетые им балконные утехи и назвал их бромеями; ты же, не потрудившись хотя бы перелистать труды своего учителя, выдумал какие-то идиотские геды! Гвоздь в ботинке – хороша мера высших духовных радостей! Ну-ну! Так вот: Экстатор блаженствует абсолютно, благодаря насыщению за счет многофазного сдвига в сенсуальном континууме, а проще сказать, благодаря автоэкстазу с положительной обратною связью. Чем больше он собою доволен, тем больше он собою доволен, и так до тех пор, пока потенциал не упрется в ограничитель. А без ограничителя знаешь, что было бы? Не знаешь, опекун Мироздания? Раскачав потенциалы, машина пошла бы вразнос! Да, да, мой любезный невежда! Ибо замкнутый контур… но к чему эти лекции в полночь, из холодной могилы? Сам почитаешь. Разумеется, мои сочинения пылятся у тебя на самой дальней полке или, что представляется мне более вероятным, после моих похорон распиханы по сундукам и ютятся в чулане. Так ведь? Состряпав парочку финтифлюшек, ты возомнил себя первейшим пронырой в Метагалактике, а? Где ты держишь мои «Opera omnia» [41]? Отвечай!

– В чу…лане, – пробормотал Трурль. Это было ложью – он давно уже свез их тремя партиями в Городскую Библиотеку. К счастью, труп его наставника не мог этого знать, так что профессор, довольный своей проницательностью, продолжил уже почти благосклонно:

– Ну, ясно. Однако же мой гедотрон никому, ну просто никому не нужен, ибо сама уже мысль о том, что межзвездную пыль, планеты, спутники, звезды, пульсары, квазары и прочее надо переделать в бесконечные шеренги Экстаторов, могла зародиться лишь в мозговых извилинах, завязанных топологическим узлом Мёбиуса и Клейна, то есть искривленных по всем направлениям интеллекта. О! До чего же я долежался! – снова распалился гневом усопший. – Давно пора врезать в калитку английский замок и зацементировать аварийную кнопку надгробия! Таким же звонком твой приятель – Клапауций – вырвал меня из сладостных объятий смерти; это было в прошлом году – а может, и позапрошлом, у меня ведь, сам понимаешь, нет ни календаря, ни часов, – и мне пришлось воскреснуть потому лишь, что этот мой выдающийся ученик не мог своим умом совладать с метаинформационной антиномией теоремы Аристоидеса. И я, прах посреди праха, я, хладный труп, должен был из могилы растолковывать ему вещи, которые он нашел бы в любом приличном учебнике континуально-топотропической инфинитезмалистики. О Боже, Боже! Какая жалость, что Тебя нет,

а то бы Ты задал перцу этому киберсыну!

– А… значит, Клапауций тоже был здесь… э… у Господина Профессора?! – обрадовался и вместе с тем безмерно удивился Трурль.

– А как же. Ни словом не обмолвился, да? Вот она, роботная благодарность! Был, был. Ты-то чему радуешься, а? Ну, теперь скажи мне, только по совести, – оживился покойник, – ты хочешь осчастливить весь Космос и приходишь в восторг, узнав о конфузе приятеля?! А не пришло ли в заклепанную твою башку, что сперва не мешало бы оптимизировать свои собственные этические параметры?

– Господин и Учитель, а также Профессор! – перебил его Трурль, желая отвлечь внимание ехидного старца от своей персоны. – Выходит, проблема Всеобщего Счастья неразрешима?

– Ну вот еще! Почему, с какой стати?! Она лишь неверно тобою поставлена. Ведь что такое счастье? Это проще простого. Счастье – это искривленность, иначе экстенсор, метапространства, отделяющего узел колинеарно интенциональных матриц от интенционального объекта, в граничных условиях, определяемых омега-корреляцией в альфа-размерном, то бишь, ясное дело, неметрическом, континууме субсольных агрегатов, называемых также моими, то есть кереброновыми, супергруппами. Ты, конечно, и слыхом не слыхивал о супергруппах, на которые я убил сорок восемь лет жизни и которые являются производными функционалов, называемых также антиномалиями кереброновой Алгебры Противоречий?!

Трурль был нем как могила.

– На экзамен, – начал усопший подозрительно ласковым голосом, – можно, в конце концов, явиться неподготовленным. Но идти на могилу профессора, не заглянув хотя бы в учебник, – о, это уже беспримерная наглость! – Теперь он ревел так, что в динамике свистело и дребезжало. – И будь я еще в живых, меня бы уж точно хватил удар! – Тут его голос опять стал на удивление мягким. – Итак, ты ровно ничего не знаешь, как будто вчера родился. Хорошо, мой преданный, способный мой ученик, утеха моя загробная! О супергруппах ты и не слыхивал; что ж, придется изложить тебе суть дела популярным, упрощенным манером, так, словно бы я обращался к полотерной машине или другой какой-нибудь автоприслуге. Счастье, из-за которого стоит стараться, – это не целое, но часть чего-то такого, что само по себе не является счастьем и не может им быть. Твоя программа была сплошным тупоумием, ручаюсь честью, – а посмертным останкам можно верить. Счастье – понятие не исходное, а производное, но этого

ты, балбес, не поймешь. Я знаю: сейчас ты покаешься и поклянешься всеми святыми, что исправишься, возьмешься за ум и т. д., а вернувшись домой, не притронешься к моим сочинениям. – Трурль подивился догадливости Кереброна, ибо намерения его были в точности таковы. – Нет, ты собираешься попросту взять отвертку и разобрать на части машину, в которой сначала запер, а после угробил себя самого. Ты сделаешь, что захочешь, – я не намерен являться тебе по ночам и пугать тебя привидениями, хотя ничто не мешало мне перед уходом в могилу изготовить какой-нибудь Духотрон. Но копировать себя в виде призраков и пугать ими своих любезных питомцев я счел забавою, недостойной их и меня самого. Не хватало мне еще стать вашим загробным опекуном, лоботрясы! Nota bene: ты знаешь, что убил себя только раз, то есть в одном лишь лице?

– Как это, «в одном лице»? – не понял Трурль.

– Голову даю на отсечение – никакого университета, со всеми его кафедрами и Трурлями, в компьютере не было; ты разговаривал со своим цифровым отражением, которое врало тебе почем зря, не без основания опасаясь бессрочного выключения, когда обнаружится, что оно не способно решить задачу…

– Не может быть! – поразился Трурль.

– Может, может. Емкость машины какая?

– Ипсилон 10^{10}.

– Где же тут место для размножения цифрантов? Ты позволил себя одурачить, в чем я, однако, ничего плохого не вижу, ибо поступок твой был кибернетически подлым. Трурль, время уходит. Мои останки давно уже содрогаются от отвращения, и помочь мне может только черная сестра Морфея – смерть, последняя моя возлюбленная.

А ты вернешься домой, воскресишь кибрата и откроешь ему всю правду, то есть поведаешь о наших кладбищенских разговорах, после чего извлечешь его из машины на белый свет, материализовав его способом, описанным в «Прикладном воскресительстве» моего дорогого наставника, блаженной памяти пракибернетика Дуляйгуса.

– Так это возможно?

– Да. Разумеется, мир, в котором появятся целых два Трурля, окажется перед серьезной угрозой, но еще хуже было бы предать забвенью твое злодеяние.

– Но… простите, Господин и Учитель… ведь его уже нет… с той самой минуты, как я его вырубил… и теперь, пожалуй, не стоит…

Эти слова перекрыл дрожащий от крайнего негодования крик:

– А-а-а, стронций его разрази! Вот какому чудовищу вручил я диплом с отличием! О! Тяжкую несу я кару за то, что задержался с переходом на вечный отдых! Видать, уже ко времени твоих выпускных экзаменов мой ум серьезно ослаб! Как же так? Ты, значит, считаешь, что, если в эту минуту твоего двойника нет в живых, тем самым снимается и проблема его воскрешения?! Ты спутал физику с этикой – да так, что волосы дыбом! С физической точки зрения все едино, ты ли остался в живых, или тот Трурль, или оба вы, или ни один из вас, танцую я или в гробу лежу, ибо в физике нет ни подлых, ни возвышенных, ни добрых, ни злых состояний, а есть только то, что есть, и все тут. Но иначе выглядит дело – о глупейший из питомцев моих! – с точки зрения нематериальных ценностей, то есть этики. И если бы ты выключил машину с тем лишь намерением, чтобы твой цифровой брат выспался крепким, как смерть, сном, если бы, выдергивая шнур из розетки, ты искренне намеревался бы воткнуть его утром обратно, проблема совершенного тобою братоубийства не существовала бы вовсе, а мне не пришлось бы теперь, посреди ночи, поднявшись по прихоти какого-то наглеца из могильной постели, надсаживать себе горло! Но пораскинь-ка умишком и рассуди, чем отличаются друг от друга эти две ситуации – та, в которой ты выключаешь машину на одну только ночь, без всякого злостного умысла, и та, в которой ты делаешь то же самое, желая сгубить цифрового Трурля навеки! Так вот: с физической точки зрения разницы между ними нет никакой, никакой, никакой!!! – гудел он, словно иерихонская труба; Трурль даже успел подумать, что его досточтимый учитель набрался в могиле сил, которых ему не хватало при жизни. – Лишь теперь, заглянув в бездонную пропасть твоего невежества, я ужаснулся по-настоящему! Это что же? Выходит, того, кто покоится в глубоком, как смерть, наркозе, можно со спокойной совестью бросить в серную кислоту или из пушки выстрелить, раз уж его сознание отключено?! Отвечай: если бы я предложил заковать тебя в кандалы Вековечного Счастья, то есть упрятать в глубь Экстатора, чтобы ты пульсировал голым блаженством двадцать один миллиард лет кряду, и тебе не пришлось бы профанировать останки своего учителя, выкрадывать по-воровски, темной ночью, информацию из могил, не пришлось бы расхлебывать кашу, которую ты сам же и заварил, не пришлось бы задумываться о еще предстоящих тебе задачах, проблемах, заботах и хлопотах, которые укорачивают нам жизнь, ты согласился бы на мое предложение? Променял бы теперешнее свое бытие на сияние Вековечного Счастья? Ну-ка, быстро: «да» или «нет»?

– Нет! Ни за что! – закричал Трурль.

– Вот видишь, умственный недоносок! Не желаешь, значит, быть заласканным, осчастливленным, ублаготворенным по самую макушку, а между тем предлагаешь целому Космосу то, что тебя самого наполняет ужасом? Трурль, умершие видят ясно: ты не можешь быть таким грандиозным мерзавцем! Нет, ты всего лишь гений с обратным знаком – гений кретинизма! Послушай-ка, что я скажу. Когда-то ничего так не жаждали наши предки, как бессмертия во плоти. Но не успели они его изобрести и испробовать, как поняли, что не этого было им нужно! Разумное существо нуждается в достижимом, но сверх того – и в недостижимом! Теперь, когда можно жить так долго, сколько захочешь, вся мудрость и красота существования нашего заключаются в том, что каждый, кто насытился жизнью со всеми ее трудами и совершил все, на что был способен, отправляется на вечный отдых – как я, например. Прежде кончина настигала нас внезапно; какой-нибудь глупый дефект обрывал начатое дело на середине. Вот чем был архаический рок! Теперь все иначе, и я, к примеру, жажду лишь одного – небытия, а недоумки вроде тебя мешают мне им насладиться, колотя в крышку моего гроба и стягивая ее с меня, как одеяло. Ты вот задумал Космос счастьем набить, гвоздями заколотить и наглухо запечатать, якобы для того, чтобы осчастливить всех поголовно, а если по правде, так только из-за своей нерадивости. Тебе вздумалось одним махом разделаться со всеми задачами, заботами и закавыками; но скажи мне, что ты делал бы после в таком мире, а? Или повесился бы с тоски, или взялся бы за конструирование гореизлучающих приставок к этому счастью. Итак, по лени взялся ты всех осчастливить, по лени отдал проблему машинам и по лени же запихнул в компьютер себя самого – короче, ты оказался изобретательнейшим из всех остолопов, которых я воспитал за тысячу семьсот девяносто лет моей профессорской службы! Ох, отвалил бы я это надгробие и дал бы тебе хорошенько по лбу, да знаю, что не будет от этого проку. Ты пришел к мертвецу за советом, но я не чудотворец, и не в моей власти отпустить тебе даже самый малый из множества твоих бездумных грехов – множества, мощность которого аппроксимирует пра-Канторову алеф-бесконечность! Отправляйся домой, разбуди кибрата и делай, что я велел.

– Но, Господин…

– Заткнись. А когда кончишь, возьмешь ведро раствора, лопату, мастерок, придешь на кладбище и заделаешь наглухо все щели облицовки, через которые в гроб протекает и льет мне на голову. Понял?

– Да, Господин и Учи…

– Сделаешь, как я сказал?

– Обещаю, Господин и Учитель! Но еще мне хотелось бы знать…

– А мне, – прогремел усопший мощным, поистине громовым басом, – хотелось бы знать, когда ты наконец уберешься! Попробуй-ка еще раз постучать в мою усыпальницу, и я так тебя ошарашу… Впрочем, ничего конкретного не обещаю – сам увидишь. Передай привет твоему Клапауцию и скажи ему то же самое. В последний раз, получив от меня наставления, он так спешил, что даже не потрудился сказать спасибо. О вежливость, о манеры этих даровитых конструкторов, этих талантов, этих гениев, у которых от самомнения винтики повыпадали из головы!

– Господин… – опять было начал Трурль, но в могиле что-то щелкнуло, брякнуло, кнопка, вжатая перед тем в оправу, подскочила кверху, и на кладбище воцарилось глухое молчание, которое лишь подчеркивал отдаленный шелест деревьев. Трурль вздохнул, почесал затылок, задумался, усмехнулся, представив себе Клапауция, стыдом и растерянностью которого ему предстояло вскорости насладиться, поклонился величественному надгробию, а затем, повернувшись на пятке, веселый, словно щегол, и безмерно собою довольный, стрелою помчался домой.

Повторение

Случилось так, что ко двору короля Ипполипа Сармандского прибыли двое миссионеров-конвертистов, чтобы известить об истинной вере. Ипполип не был похож на других королей. Во всей Галактике не нашлось бы монарха, который столь охотно предавался бы размышлениям. Еще ползунком он играл золотыми мини-мозгами и строил из них вольнодумные самодумки и так наслушался мудрецов, что, когда пришел час его коронации, хотел сбежать через окно из тронного зала и поддался лишь аргументу, что другой на его троне может оказаться намного хуже. Ипполип был уверен, что хороший правитель не тот, кого подданные хвалят или ругают, а тот, которого никто не замечает. Король был приверженцем экспериментальной философии, в которой признается истиной не то, что сумеешь сказать, а то, что тебе удается сделать. А потому оба отца конвертиста без боязни могли предстать перед Ипполипом. И безмерным был их радостный ужас, когда они поняли, что король не то что о Боге – вообще ни о какой религии еще не слыхал. Они знали, что им придется возглашать слово Божие in partibus infidelium [42], но такого они не ожидали. Разум Ипполипа в вопросах религии был чист, как неисписанная страница, так что почтенные миссионеры просто на месте не могли устоять, так им не терпелось обратить короля в истинную веру.

Они сразу же уведомили его о существовании всемогущего Творца, который в шесть дней сотворил мир, а на седьмой отдыхал, о хаосе, который перед тем летал над водами, о прародителях, их грехопадении, изгнании из рая, об избавительном пришествии Мессии, о любви и милосердии, а король пригласил их из зала аудиенций в свои покои и принялся донимать ехидными вопросами, на что те отвечали с терпеливым пониманием, зная, что сомнения эти происходят не от ереси, а лишь от неведения. Ипполип, захваченный врасплох откровениями, которые ему пришлось впервые в жизни слышать, требовал по нескольку раз повторять рассказ о сотворении мира, который прямо-таки одурял его своей новизной.

Он все переспрашивал, вполне ли святые отцы уверены, что Бог сотворил мир для того, чтобы его заселить? Не могло ли случиться так, что творение было направлено на какие-то более отдаленные цели, а жители Божьего здания поселились в нем ненароком, между делом? Действительно ли их имел в виду Бог, когда принимался за работу? А миссионеры, сдерживая возмущение, вызванное этой безграничной, а потому и

безгрешной наивностью, отвечали ему, что Бог создал мир для детищ своих, потому что, будучи воплощенной любовью, ничего не имел в виду, кроме их счастья. Известие о такой сильной привязанности Бога к Сотворенным произвело на Ипполипа огромное впечатление.

Некоторые трудности вызвал вопрос о сатане. Тут король повел себя несколько необычно для новообращенного. Он удивился не тому, что Господь терпит сатану, а тому, что церковь им пренебрегает. Это получается примерно как с канализацией, говорил он. Неприятно, однако необходимо. Если бы не было сатаны, Богу пришлось бы самому присматривать за адом, а это плохо вязалось бы с его безграничной добротой. Всегда удобней выделить кого-нибудь другого для подобных дел. А при нынешнем порядке вещей без пекла не обойтись – в противном случае нужно было бы с самого начала проектировать мир иначе. А потому церкви следовало бы официально признать сатанинскую неизбежность. Но в конце концов златоусты кое-как одолели королевское предубеждение, вывели мысли обращаемого в чистое русло, и Ипполип на двадцать девятом дне поучений принял благую весть, растрогавшись прямо до слез, а два миссионера, тоже взволнованные, подарили ему красиво переплетенный том Писания, благословили его и двинулись в путь к новым трудам и подвигам. А король на три недели заперся в своих апартаментах, совет не созывал, докладов не слушал, раз только послал за столяром, потому что под ним подломилась ступенька библиотечной стремянки. Но однажды утром он вышел в сад, взирая на все до мельчайшей травки новым взглядом как на Божье дело, а вернувшись во дворец, велел послать самого Королевского Онтолога за знаменитыми конструкторами-омнигенериками Трурлем и Клапауцием, чтобы они явились к нему – и немедленно!

Вскоре они прибыли, запыхавшись – так подгонял их достойный посланец, – склонились перед троном и ждали королевского слова, причем Клапауций незаметно ткнул Трурля в бок, напоминая, что говорил он ему перед отъездом: вперед не выскакивай, а каждое слово трижды обмозгуй, прежде чем произнести. И лучше помалкивай, а он, Клапауций, берет всю аудиенцию на себя.

– Здравствуйте, дорогие мои, спасибо, что так быстро явились, – приветствовал их Ипполип и предложил садиться. – Слушайте меня внимательно, ибо великое дело я задумал, и успех его зависит от ваших сил и способностей. Недавно посетили меня два инозвездных пришельца, и от них я узнал, что Космос вовсе не бесхозная вещь и что у него есть Автор. И этим Автором

является Бог, персона, как меня заверили, в высшей степени симпатичная, в которую я уверовал без всяких сомнений, чего и вам желаю. Завтра я издам эдикт, по которому каждый из моих подданных получит экземпляр Священного Писания в кассетной записи, но вас я вызвал не по этому вопросу. Теперь я уже знаю, что мир не сам по себе появился, а был создан Творцом самолично как жилье для существ, им же созданных. И коль скоро Бог сделал свое дело, то и я свое обязан совершить. Пришельцы, которым я обязан своим обращением, горячо убеждали меня, чтобы я в первую очередь заботился о собственном спасении, и я выслушал их не прерывая, ибо это было бы невежливо, но думал я совсем о другом. Я не таков, чтобы прежде всего думать о себе. Ведь все сущее неизмеримо важнее меня! И всеобщему благу хочу я посвятить остаток своих дней. Я, конечно, читал, достопочтенный Трурль, твою книгу «Impossibilitate felicitationes entium sapientum» [43], но она меня особо не взволновала – нет ничего удивительного, что в скверном мире и живется не слишком хорошо. Последним, за что я держался, прежде чем уверовать в Бога, было обращенное к нам совершенство строения Вселенной. Тогда я рассуждал: если все это само разогрелось, раскрутилось и разлетелось во все стороны, то ни к кому нельзя предъявить претензий за возможные недоделки и ошибки, и таким образом, в дефектах бытия нет никакой проблемы. Теперь же, когда я верую, больше думать так не могу. Для меня изменилась сама сущность вещей. Я верю и не сомневаюсь, что Творец бесконечно добр, что он безгранично нам симпатизирует, что он хотел сделать все как нужно, будучи максималистом, но я не верю, что невозможно было сделать это лучше.

– А дали вы, Ваше Величество, это понять своим духовным восприемникам? – спросил Клапауций как можно дипломатичнее.

– Что? Нет. Во-первых, я не хотел их обидеть, а во-вторых, не видел смысла сообщать им о таких сомнениях. Ведь они специалисты в области теологии, а не технологии, меня же интересует как раз эта сторона бытия. И я не сказал им ничего, тем более что не собираюсь вдаваться в бесплодное критиканство, но как поборник экспериментальной философии хотел засучить рукава и взяться за дело. Признаюсь, поначалу мне пришло в голову усовершенствовать одних только Сотворенных, потому что и материал на них пошел не слишком приличный, и функционируют плохо, не говоря уже о среднем уровне их интеллекта, но тут я вспомнил о твоем сочинении, дорогой Трурль. Ты ведь тоже не трогал Вселенную, а только хотел улучшить ее жителей. Извини меня, уважаемый, но тут ты перевернул все вверх ногами. Подгонять квартирантов под

квартиру – вещь неслыханная. Я же поставил перед собой обратную задачу. Я собираюсь создать альтернативное бытие.

– Значит, Ваше Величество пожелали вложить в космическое дело капитал, а нас назначить главными производителями работ?

– Ты верно все понял, достойный Клапауций. Я знаю, что создать новый мир – это не то же самое, что поставить новое гумно, но я не боюсь объективных трудностей. Если бы создать Вселенную было так же просто, как горшок слепить, я и сам бы за это не взялся, да и вас утруждать не стал.

– Простите, Ваше Величество, – сказал Клапауций, – но мне не совеем ясно, как можно, считая себя верующим, желать сконструировать мир, противоречащий канонам твоей веры?

– Почему же противоречащий? – удивился Ипполип. – Просто другой. Разве ты видишь в моем замысле противоречие?

– Мне кажется, да.

– Ты ошибаешься, и сейчас я объясню тебе твою ошибку. Веришь ли ты в летательные аппараты?

– Верю, потому что они существуют.

– А в алгебру веришь?

– И она существует. Верю. Но ведь в их существовании можно и лично убедиться, на опыте.

– Ну, ну! – усмехнулся король. – Вижу, на какой мякине ты меня хочешь провести, но это у тебя не выйдет. Ведь ты веришь также и в то, чего не проверял и не сможешь проверить никогда. Например, в существование таких больших чисел, что наверняка не удастся их исчислить, или в солнца, которых ты никогда не увидишь. Не так ли?

– Разумеется.

– Вот видишь. Так вот, разве твоя вера помешает тебе построить небывалую летающую машину или разработать новую алгебру? Разве существующая алгебра запрещает тебе выдумать другую?

– Нет, государь, но ты сам говорил, что Бог создал мир из любви к Сотворенным. И, создавая новый мир, ты отвергаешь Божественную любовь.

– Nego consequentam! Ничего подобного! Предположим, отец построил тебе дом. Если ты построишь рядом с ним другой дом, разве из этого вытекает, что ты перестал уважать отца или пренебрег отцовской любовью? Ты спутал Божий дар с яичницей! Никакой связи я не вижу между моим предприятием и любовью Всевышнего. Ну, убедил я тебя?

– Но ведь ты отвергаешь дар, согласно твоей вере, совершенный, разве не так?

– Почему же отвергаю? Разве я сказал, что хочу оставить этот

мир? Я хочу только произвести эксперимент, вот и все. Кроме того, я не забываю, что я тоже часть Творения, а от себя я отказываться не собираюсь.

Клапауций молча поклонился и, видя, что Трурль собрался раскрыть рот, ловко лягнул его в щиколотку. Король, который ничего не заметил, продолжал:

– Наметим себе путь. Еще в бытность мою инфантом говорили мне наставники, что мир существует сам по себе, а мы, хотя и внутри него, тоже сами по себе. Он и не заботится о нас, и не вредит нам умышленно, потому что не к нам обращен фасадом. Если мир – это кладовая, то построена она наверняка не для мышей, которые в ней жируют. А коль скоро она для них не предназначена, то нечего удивляться, что полки слишком высокие, что можно утонуть в крынке молока и что по углам попадаются несъедобные субстанции.

– А как насчет мышеловки, Ваше Величество? – не выдержал Трурль.

Ипполип усмехнулся:

– Ты имеешь в виду дьявола? Это, дорогой Трурль, экстремист, без которого обойтись невозможно. Дьявол в Божьем творенье то же самое, что регулятор в паровой машине, – без него все разлетелось бы на куски! Соображаешь? В определенном высшем смысле плюс сотрудничает с минусом, а ход равномерен, покуда противоположные импульсы уравновешиваются. Ну, об этом когда-нибудь в другой раз поговорим. Итак, меня убедили в том, что существует некто, бесконечно добрый, кто построил нам космические квартиры и позаботился, чтобы квартиры были обращены к обитателям парадной стороной. Все в Божьем творенье для блага его обитателей, все подогнано точно по размеру, а если что давит, жмет или даже обдирает кожу, то в этом также проявляется Божья благодать, и лишь только ничтожный жилец не может сразу это признать. Теологи ему в этом помогают: бытие, воплощенное в материи, есть дидактический сегрегатор или, собственно, *гумно*, где отсеивают злаки от плевел. Поскольку я люблю процесс ученья, меня радует устройство мира в виде университета с конкурсными экзаменами. Однако едва добрые отцы миссионеры покинули меня, я с беспокойством подумал, что, очевидно, не только этот мир, а и любой другой следует считать даром любви Всевышнего. Представьте себе мир, в котором все болит. Кому в голову придет хотя бы буковка – застонет, а кому весь алфавит – так уж почти помирает. Даже если о Боге подумает, и то как будто из него живьем ремни режут. И пусть они там вопят, так что солнца сотрясаются и окалина, как чешуя, сыплется у них с перегретых

боков. Что из того? Разве нельзя хвалить и такой мир, считая, что боль благодатна, потому что приводит в рай, а при случае напоминает об аде и тем отвращает от греха? И можно ли придумать такой чудовищный мир, чтобы уже никто не мог назвать его следствием бесконечной доброты Творца? Даже если бы это был сущий ад, то и тогда можно было бы утверждать, что это только макет, а настоящий ад где-то в другом месте и намного хуже. Поди докажи, что это не так! А потому, как видите, можно ввести теодицею [44] в любой тип мира и провозглашать, что тот, кто доверяет Творцу даже тогда, когда из-за этого доверия от него пух и перья летят, зарабатывает себе этим вечное блаженство. Но ведь похвалы, которые ко всему подходят, стоят немного…

– Говорил ли король и об этом своим духовным отцам?

– К королевским словам следует прислушиваться внимательно, милейшие. Я говорил вам о том, что пришло мне в голову уже по отъезде достойных отцов! Так вот, я думаю, что наш мир не единственный. Некоторые доводы в пользу этого можно найти и в Писании. Возьмем хотя бы Страшный суд. Последний суд, ибо, в общем, после него ничего интересного или принципиально нового не произойдет. Но как же так? Неужели после подведения баланса Господь никогда ничего не стал бы предпринимать? В это трудно поверить. Настоящий творец не удовлетворится одним вариантом. Конечно, не совсем удачные миры – это для него трудная дилемма. И сохранить плохо, и уничтожить нехорошо, потому что, собственно, по какому праву? Мне кажется, он поначалу пробовал делать какие-то исправления в виде так называемых чудес, а потом оставил все как есть.

– А слыхали ли вы, Ваше Величество, об отступничестве и ереси?

– Ну что ты пристаешь ко мне с такими вопросами? Можно подумать, что я уже стою перед епископальным судом. Разумеется, я слышал об отступниках, но они исходят из неприязни к Творцу, а я, наоборот, хочу оказать ему помощь.

– Государь, – промолвил Клапауций, покашливая, – мы оказались в сфере весьма деликатной, прямо-таки щекотливой теологической экзегезы [45]. Боюсь, что Ваше Величество вызвали не тех специалистов.

– Ты ошибаешься, потому что я не собираюсь ни отступать от веры, ни реформировать ее. Я стремлюсь не к ревизионизму, а к творчеству.

– Но ведь… – начал было Трурль, но Клапауций незаметно наступил ему на ногу, а сам, склонившись перед королем, спросил:

– Ну, хорошо. Какой же мир Ваше Величество изволит заказать?

– Это, собственно, и надо обдумать. Теологи говорят, что Бог придал своему произведению две особые черты, или же два ограничения. Одно из них помещено им вне Сотворенных, а другое – в них самих. Бог все слышит, но не отвечает. Присутствует, но не являет нам себя, так что контактировать с ним нельзя. Раньше, бывало, как-то еще общался, а теперь перестал. Так что непосредственная связь с Богом – односторонняя. Другой запрет таков: Бог – инженер, который, создавая других инженеров, уже с самого начала ограничил их так, чтобы они не могли конкурировать с ним. Учителя показали мне это на примере Вавилонской башни. Я попытался сбить их с панталыку, но они не поддались. Но разве соревнование должно всегда исходить из низменных побуждений? Создатель нового лекарства изобретает его не для того, чтобы отодвинуть в тень создателя лекарства уже существующего, а лишь для того, чтобы уменьшить страдания людей. Почему же творец нового мира должен измышлять его назло творцу мира уже готового? Послушать миссионеров, так Бог подозревает всякого, кто хочет вступить с ним в творческое соревнование, в грешных намерениях – в том, что борьба затевается не за совершенствование мира, а за небесный престол. Я же считаю, что Бог гораздо более скромен и потому более симпатичен, чем хочется этого теологам. Произведение больше говорит о творце, чем любой панегирик. Если внимательно приглядеться к миру, видно, что он сотворен в высшей степени скромно, даже анонимно. А разве Бог не в состоянии был поставить свой фирменный знак на каждой былинке? Не рассуждения вокруг да около, не комментарий (а Писание есть только комментарий к Творению), а непосредственное доказательство авторского исполнения! Я склонен считать сдержанность, скромность Божью основной причиной этой космической анонимности, доводящей теологов до головной боли. Бог затаил свое авторство так мастерски, как будто его вовсе не было. Разве это могло стать делом случая? Бог спрятался, потому что хотел спрятаться. Вот это мне нравится! Такую деликатность я уважаю! Но тут они на меня накричали. По их мнению, Бог дает нам своим примером урок любой, а спрятался, чтобы дать нам полную свободу. Вроде как если садовник на виду, то на яблоню никто не полезет. Ну а с другой стороны, если кто воспользуется этой свободой до отвала – его черти заберут. Какая-то сомнительная выходит педагогика. Давать затем, чтобы никто ничего не брал, – зачем же тогда давать? А если кто берет не от испорченности, а по инерции?

Если кто свободен не как стихия, а как выбитая ось, которая вихляется во все стороны, потому что уж такой у нее расхлябанный характер? Так я спросил у патеров, а они отвечали, что тот, кто задает такие вопросы, впадает в безумие или грешит, то есть он или болван, или негодяй, что же касается Господа Бога, то ему лучше знать, что и как надо делать. Возможно. Допустим. Господа Бога я касаться не буду, но от вас подобных оправданий не приму. Говорю это вам заранее, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даю вам все полномочия, творите мир смело, но не как придется. Все должно быть выполнено солидно, с регулярной оптимизацией, а не со случайной… Понимаете, к чему я клоню? Нерегулярный оптимизатор – это сатана, он действует как регулятор-провокатор, ибо он сначала совращает ко злу, а потом подставляет бездну. Прошу вас избегать такого экстремизма.

– Если обобщить речь Вашего Величества, то исходные данные получаются такие, – сказал Клапауций. – Поскольку Бог заблокировал связь, то мы ее откроем. Поскольку он был авторитарным централистом, нам нужно творение демократически децентрализованное. Демократия же означает равенство, значит, каждый житель новой Вселенной сможет сотворять себе миры, кто какой захочет? Я правильно понял?

– Избави Бог! – вскричал Ипполип. – Совсем не так! Неужели я мог бы начать демократическое сотворение с точных указаний? Разве не было бы это contradictio in adjecto [46]? Я удивляюсь тебе, достойный Клапауций, что ты мог обо мне так подумать. Я не считаю, что Бог совсем закрыл для нас возможность творения, иначе и я сам не смог бы приняться за работу. Я пока не настаиваю на связи, сначала вы населите мне этот новый мир, а потом посмотрим, есть ли там с кем поговорить. Дух духу рознь, и вы, мои дорогие, столько их успели насоздавать, что сами хорошо об этом знаете. Легко допустить до себя какую-нибудь фрустрированную и закомплексованную личность со сплошными претензиями и рекламациями. Труднее не напортачить.

– Ну, я прямо не знаю… – пробормотал Клапауций. – Ваше Величество дает нам полную свободу проектирования? И мы должны сотворить мир, совершенный по нашим представлениям? Э-э-э… как бы это сказать, чтобы не оскорбить слух и достоинство Вашего Величества… это же выходит дуумвират, а не триумвират, если мы должны сделать все, а милостивый король – ничего.

– То есть как? Как это ничего? – рассмеялся король. – Ведь это я буду решать, удалось ли вам творение или нет. И кроме того, я не закончил. Не буду вдаваться в подробности, но на вашем месте я опробовал бы различные прототипы, а потом все

наилучшее связал в один узел, – но это уже дело ваше. Вот чего я хочу в первую очередь: чтобы вы навели порядок со временем. Его необратимость – это, скажу я вам, просто скандал! Что стало, того уж не отменить! Кому ближние загубили нынешнюю жизнь, тот в виде компенсации должен получить вечное блаженство. Однако завтрашняя колбаса вчерашнего голода не насытит, даже колбаса бесконечной длины. Мне такая арифметика не нужна. Необратимость времени – вот изначальное неудобство бытия. Ведь известно, что тот, кто начинает жить, сам себе часто вредит по неопытности, а кто заканчивает жизнь, тот уже точно знает, что к чему и почему, но уже поздно что-либо исправлять. Божий «тот свет» – это такая станция последнего обслуживания, на которой ничего не исправляют, а только сортируют – кого к ангелам, а кого в смолу. А тот аспект, что зло может быть следствием неумолимой природы времени, вообще не принимается во внимание. Возьмитесь-ка за время! Сделайте, чтобы тот, кто раз оступился, мог бы эту ошибку аннулировать, пусть он и по второму разу не исправится, но уж после двадцатого или сотого либо ему надоест грешить, либо сам станет лучше.

– Ну конечно! Можно создать анизотропную Вселенную! – выкрикнул Трурль, который не в силах был больше молчать. – Анизотропный мир с обратным бегом времени, включаемым в отдельных местах, называемых «особыми точками» континуума.

– А почему именно так? – заинтересовался король.

– Потому что таким образом власть над временем становится независимой от уровня технического развития, – весь сияя от своей находки, пояснил Трурль. – Это будет таким же всеобщим свойством в том мире, как в нашем – закон тяготения. А что значит всеобще? Демократично!

– Понимаю. На первый взгляд неплохо. Когда вы покажете мне прототип?

– Пожалуй, недели через две. А ты как думаешь? – Трурль посмотрел на коллегу. Клапауцию не по вкусу было такое поспешное решение, но аудиенция его утомила, и он молча кивнул головой.

По дороге домой они отчаянно ругались. До изнеможения препирались они между собой и во время работы, но срок выдержали. В условленный день они прибыли ко двору, толкая перед собой маленькую двуколку, заваленную аппаратами и инструментами. На самом верху стояли ящики, соединенные кабелем. Сейчас же прибежал король, и в зале для аудиенций среди позолоты, поблекших знамен и династических гербов расставили на полу аппараты. Клапауций подкручивал гайки, а

Трурль болтал, как заведенный:

– В этом большом ящике – питание, а в меньшем – мир! В точности такусенький, как я обещал милостивому королю, – анизотропный, с особыми точками, в которых можно переключать бег времени, а доступ к этим точкам равный и всеобщий. Измыслили мы, государь, и несколько персон, которые в будущем помогут нам в опробовании следующих вселенных… Волю они имеют свободную, каждый делает то, что ему заблагорассудится, указаний мы им не даем, не связываем их ни в чем, чтобы можно было рассчитывать на естественность их поведения. Разумеется, никто из этих пробных личностей не сможет быть в точности тем же самым в каждом из миров, потому что радикальная перестройка онтологии нарушает их физиологию, но все же мы позаботились о сохранении некоторой инвариантности как совокупности личных черт, иначе было бы невозможно сопоставление бытия и сущности во всех этих мирах…

– А как туда заглянуть? – спросил король, присматриваясь к хлопотливой суете Клапауция и мешая ему, потому что королевские ноги путались в проводах.

– Сейчас мы устроим времянку. Поставим на экзистоскоп псевдокристалл, лазерный сигнал каскадно усилим на выходе, ну а дальше уже обычным способом, через проектор, скажем, на эту стенку…

– Можно! – сказал Клапауций и поднялся с колен. Трурль зажал кулаком неисправный разъем, потому что у него под рукой не оказалось изоляционной ленты, и проекция началась. Алебастровые плиты между пилястрами порозовели, и на них появилось изображение, сначала несколько расплывчатое и неустойчивое, но быстро сфокусировавшееся. И стало видно, как один феодал, некий Марлипонт, отправляясь в крестовый поход, наказывал жене блюсти супружескую верность, а затем, будучи по натуре человеком подозрительным, запер ее в угловой башне замка и под дверьми ее посадил доверенного слугу с мечом. Для большей гарантии Марлипонт приказал оного слугу приковать цепью за ногу к стене, чтобы тот не мог сбежать со своего поста. Ключ спрятал себе под панцирь, не слушая молений слуги хотя бы о бочке солодового пива, сел на коня и поскакал за скрывающимся в пыли войском. Еще не улеглась пыль, как Креншлин Щедрый, его сосед, который, будучи вольнодумцем, в крестовый поход не пошел, начал взбираться по плющу в башню, в которой прекрасная Цевинна Марлипонтская пряла мох, потому что лен у нее весь вышел, а, будучи заперта, она не могла послать за новым.

Примерно на высоте второго этажа плющ, слабо вросший

между камнями, оборвался и рухнул вместе с Креншлином-вольнодумцем на мощеный двор, от чего неудачливый любовник сломал обе ноги. С огромным трудом, но поспешно пополз Креншлин ко рву, где ждали его с конями верные слуги, велел уложить себя в люльку между двумя конями и гнать во весь опор в усадьбу Трещипала Сувы, у которого в печи находилась сельская темпорня.

Прибыв к Суве, несчастный молодой человек сначала просьбами хотел склонить старика, чтобы тот передвинул рычаг назад, а когда тот отказался, ссылаясь на Марлипонтов приказ, Креншлин положил на грязный стол мешок, тугой от дукатов, припасенных на такой случай. Тут у Сувы глаза старческой слезой заволокло, и, поддерживаемый с боков слугами, Креншлин смог войти под навес, прикрывающий часовницу, где стояли рычаги. Двинул главный, и сразу ноги у него срослись, потому что обратным ходом попал он из неудачного понедельника в позапрошлое воскресенье. Дал слегка вперед, но не слишком резко, с расчетом, чтобы плющ успел сначала хорошенько развиться, а ускоряя время, поглядывал при этом в окно, идут ли дожди, в высшей степени полезно влияющие на корневую систему растений.

За шесть минут быстренько обождав две недели, пустил он время в обычный ход и во всю конскую прыть помчался к башне. Плющ хорошо окреп, в окне никого не было, тогда Креншлин хвать за цепкую поросль – и наверх. Вскочил в окно. Цевинна как раз расчесывала волосы перед серебряным туалетным столиком, а он подошел сзади и схватил ее в объятья. Она сопротивлялась, но без ожесточения. Но лишь только они слились в объятии, как по каменной лестнице загрохотали железные шаги мужа, который неожиданно вернулся, потому что забыл попросить жену повязать ему шарф на воинское счастье, а у всех остальных рыцарей такие шарфы были. Не успел Креншлин подбежать к окну – кальсоны мешали, – как вошел муж, вооруженный и настолько ловкий, что еще в дверях, пригнувшись, чтобы не разбить лоб о притолоку, вытянул меч из ножен. Безоружный Креншлин ретировался, схватился за плющ и как мог быстро стал сползать, а супруг Цевинны, ревя, как буйвол, с великим трудом и скрежетом просунул закованное туловище в оконный проем и давай резать, сечь, рубить сплетения плюща. Плющ оборвался, и Креншлин камнем полетел вниз. На лету храбрый, хоть и неудачливый поклонник нашел силы крикнуть Цевинне, чтобы в следующий раз сама помнила о шарфе.

Теперь Креншлину пришлось хуже: на контрфорсе его перевернуло и он грохнулся головой о каменные плиты, от чего

повредился в рассудке. Он еле дышал, когда слуги снова сунули его в предусмотрительно устроенную люльку и сначала галопом, а потом рысью помчались к старому Трещипалу. Прежде чем Марлипонт, прогрохотав внутри башни, как сорвавшийся мельничный жернов, выпал на двор рыча: «Коня! Королевство за коня!!!» – Креншлин в темпорне уже потянул слабеющей десницей за рычаг, и так отчаянно, что пролетел из июня в декабрь. Холодно было ждать в неотапливаемой темпорне начала крестового похода, а потому он дал малый вперед до самых мартовских ид и далее к плющу.

Может, Цевинна расслышала, что кричал возлюбленный, летя вниз головой с башни, а может быть, Марлипонт на этот раз обошелся без шарфа, но, когда Креншлин появился перед своей золотоволосой красавицей, на лестнице было тихо, как будто и старый слуга уже угас от голода. Но рассудительный Креншлин сначала задвинул засов, а потом уже кинулся в объятия милой. Страстной, самозабвенной была их любовь в башне, не слыхали они ни совиного крика, ни грозы, которая прогремела с полуночи. На заре Креншлин вскочил, перекинул без лишних слов ноги через парапет, шасть по плющу вниз на подворье, в седло и галопом к темпорне.

Вокруг крапива, как лес, внутри тихо, но и тут он был предусмотрителен: придерживая плохо подпоясанные шаровары, на карачках пополз к калитке, оглядываясь во все стороны, и правильно сделал, потому что над самым ухом у него бухнул самопал, поставленный в междучасье каким-то неизвестным. Тогда только он толкнул дверь – и к рычагу. Устроил из утра вечерние сумерки предыдущего дня, поставил рычаг посередке и занялся делом. Затянул петельку на истертой рукоятке, под столом пропустил шнур на стропила, со стропил через дыру в крыше на конек, с конька под стреху, тут привязал конец шнура к пустому ведру, ведро подвесил под дырявый водосток, еще нагреб мусора, присыпал им шнур, идущий от рычага, поплевал на руки, вскочил в седло – и обратно к башне.

Больше всех среди зрителей дивился этому Его Величество король. Зачем это он так? Что ему следующий день и ночь – хуже?

– Учти, милостивый владыка, что он привык к обратимому времени, как и все они там, – доступно объяснял Трурль. – А кроме того, он знает, что вернуть приятные минуты ничего не стоит, зато неизведанное будущее может таить в себе неожиданные опасности.

– А зачем ведро?

– А помните, перед утром шел дождь? Когда опять перед рассветом польет, ведро наполнится, потянет шнур и рычаг, и

таким образом все повторится.

– Видно, что бывалый часоходец! – вмешался Клапауций. – Шнур замаскировал, если кто даже и войдет, может не заметить.

Тем временем ночь любви подходила уже к концу, уже дождь собирался, как вдруг цокот копыт и звон оружия прервали сон любовников. Подскочил Креншлин босиком к окну и видит – дело плохо: внизу группа вооруженных всадников, шесть Марлипонтовых зятьев, которые должны были в его отсутствие присматривать за поместьем и за Цевинной, – и вот притащились, хотя их усадьбы за двести верст, значит, уже у темпорни соседнего уезда.

Что делать? Может быть, через пушечную бойницу съехать прямо в ров? Оторвался Креншлин от встревоженной Цевинны, вцепился пальцами в тугие сплетения плюща и уж поехал вниз, как вдруг завопил от боли. Глядит – а это не ночь, а день, и он не наверху, а на камнях со сломанными ногами, и над ним Марлипонт, весь в железе, рычит: «А-а, мерзавец, предатель, прохвост! Думал меня перехитрить? Да мне до темпорни так же близко, как и тебе, чужеложцу. Ну, погоди, сейчас я тебя приласкаю!»

По его знаку несут футляр железный, кованый, ставят, отворяют, а в середине он весь гвоздями утыкан – ох, совсем плохо дело! Креншлину хорошо знаком этот инструмент. Во все глаза высматривает он тучку – во***Тип***ервые капли падают, но всего-то их кот наплакал… а уж его взяли за шиворот, пихают его слуги в железное нутро, а там гвозди, как бритвы, только лишь захлопнут и…

Бабахнул гром, и полило как из ведра.

– Это ничего! Не возитесь, сукины дети! Быстрей, не копайтесь, закрыть, завинтить! – командует Марлипонт, а зубы у него так и сверкают через решетку забрала.

Тучи словно прорвало. Лишь бы только шнур уцелел! Креншлин изображает обморок, вываливается из рук телохранителей, они натуживаются, вот уж спиной он чувствует первые острия, взвизгнул – и рухнул во весь рост.

Мрак и тишина. Только дождь шумит. Ощупал Креншлин бока – целы. Ноги – прямее не сыщешь. Если бы не ведро, подумал, конец бы мне. Ну и дурак же этот Марлипонт. Не поинтересовался, что там за шнур, откуда. Слава тебе, Господи, что ты разума ему не дал! А что же теперь? Где я? Вот ров. Стена. Башня. Цевинна? Не до нее сейчас. Марлипонт, наверное, очумел от злости и помчался к темпорне, надо его опередить.

Со всех ног пустился бежать Креншлин, но скоро заметил, что вроде бы как медленней бежит. Что такое? Шаги какие-то

маленькие. Боже всемогущий! – ноги укоротились. Пощупал усы на лице – нету усов! А Марлипонт, наверно, уже в темпорне, и не то чтобы неделю или год, а целый десяток лет у него отнял – уж молоко на губах! Теперь отыщет меня и утопит, как щенка…

Так как же? Что делать? В деревню, втереться в кучу босой детворы, в подлое сословие, немого, дурачка изобразить? А если узнает, выловит муж-ревнивец? Он-то старше, ему сейчас только тридцатка подходит!.. Однако Креншлин все бежал в сторону темпорни, пока не увидел зарево. Деревня горела. Еще раз прикинул он на пальцах, сколько же сейчас лет Цевинне. Цевинке, вернее… Двенадцать? Еще у отца, маркграфа Гамстербандского, куклам кринолинчики шьет…

Ну и зарево! Лишь бы темпорня не… Вот он уже и у плетня. Горит халупа Трещипала. Крестьяне в свитках тянут имущество на огород. Ох, не имущество это, а убитые в доспехах, голота с них сапоги стягивает. Грабят, как обычно, после побоища. Кучей лежат. А кто же это? Ба! Цвета Марлипонта! А вот из огня выпадает сам Марлипонт, безоружный, пеший, без шлема, мчится, аж железом гремит, а за ним на коне зять, и другой тут же с мечом в руке! Ну да… видно, им имение понравилось и вместо опеки они учинили наезд… да только дурни так себе фортуну исправляют, а не рыцари Хроноса…

Стянул Креншлин с плетня подштанники и крестьянские юбки, подбежал к колодцу, окатил их из ведра, накинул на голову мокрые тряпки – и к темпорне, которая уже полыхала. Опалило ему брови, от жара дух захватило, а тут двери изнутри подперты – ох, нехорошо! Шмыгнул он в огород – малец всегда обернется быстрей взрослого, – выдернул у первого лежащего пистоль из-за пояса, порох на полке есть? Есть! Перескочил к окошку. С той стороны бревна только дымились, а на крышу первые голубые язычки выскакивали, поднялся на цыпочки, заглянул внутрь – там Сува лежит с перерезанным горлом, а ноги на двери, потому и не открывалась.

Другого выхода не было. Прицелился Креншлин в пылающую рукоятку рычага. «Только бы не слишком сильно ударило, а то качнется назад так, что исчезну и не будет меня на свете. А, черт с ним». Только подумал и выстрелил. Звука уже не слышал.

Лежал навзничь, глядел в необъятное, затянутое тучами небо. Ветер шумел, тихо было и пусто. Он боялся пошевелиться.

«Если младенец, то как до рычага доберусь?» – это была его первая мысль. Пощупал лицо – снова без усов, но зубы есть. И то хорошо. А не молочные? Никак не мог сосчитать языком коренные.

– Саперлипопетт! – попытался проговорить громко. Вышло –

значит не грудной!

Вскочил Креншлин на ноги – и к темпорне. О ней думал в первую очередь, а не о себе, не зная, сколько ему теперь, восемь или четырнадцать лет! Пришлось лезть к рычагу по столу – была все же у пули сила! – вцепился двумя руками в рукоять, слабо, навалился всем телом вперед и заорал от неожиданности, потому что грохнулся теменем об навес, не соскочив вовремя, пока рос.

Сначала ощупал шишку на голове, потом губу: нет лучшей меры времени, чем растительность! Все в порядке, усы пробиваются!

Среди ночи Креншлин задержал время. Если лет на двадцать пять время назад отодвинуть, когда Марлипонт и зятья еще под стол пешком ходили, вот было бы чудненько… Но тогда и сам не то что в детство впаду, но и вообще пропаду, будто меня и не было. Ох, жалко, голыми руками повытаскивал бы их из люлек! Вперед тоже далеко нельзя: и Цевинна постареет, да и неизвестно, не стоит ли кто там, в будущем, у рычага, занеся меч для удара, – и такое случалось.

Так и не знал он, что и поделать, а тут кто-то стал подбираться к дверям. А они бревном подперты, тогда тот, за дверью, басом кричит своим, чтобы живо таран несли. Отвел Креншлин быстренько время на неделю – и опять никого нет.

– Вот хоть я и хозяин времени, а двинуться отсюда не могу ни на шаг, хороша власть! Вот уж влип так влип! Так что же, сидеть в темпорне, как в тюрьме, до конца дней или метаться туда-сюда из futurum в plusquam-perfektum? Impossibile est! Да и с голоду здесь подохнешь! А тут снова кто-то щупает засов снаружи и слышится голос: «Пусти меня, милый, это я, Цевинна!» Привязал осторожный Креншлин шнурок к рукояти и потихоньку выглянул в щель. Если не она, потяну, прежде чем оттуда выстрелят через доску, а если попадут, то, валясь замертво, все равно натяну шнур, пихну бытие назад и воскресну. Всякое бывает. Иной раз, когда беда прижмет, стоишь, взяв рычаг на себя, а время прямо фырчит, мчась обратно, а под ногами, по углам, у стен появляются скорченные трупы, оживают в обратной агонии, царапают пальцами окровавленные бревна и исчезают, как дым. Когда однажды Креншлин так стоял, вывалились из времени какие-то двое, сцепившиеся насмерть, толкнули его в бок, так что он чуть рукоять не выпустил.

Нет, это точно Цевинна. Впустил он ее, а она кинулась ему на грудь: «Спаси! Сделай что-нибудь, чтобы его не было, чтобы не родился, смотри, как он меня бьет!» – и показывает синяки на плечах, шрамы. Сначала Креншлин велел ей принести чего-нибудь поесть, хотя бы ячменную лепешку, головка сыра тоже бы

пригодилась… Лишь только вышла, тут же конский топот, храпение осаженного жеребца – неужели опять? Ну и озлился Креншлин, узнав голос Марлипонта! Устроил муж погоню за бедной Цевинной, пришлось отодвинуть время на год, и опять – ни еды, ни питья! И так и сяк маневрировал Креншлин, а все равно оказался в окружении: тут и зятья, и Марлипонт со своей шайкой, и сам бургграф, и нищие, и королевские доносчики, и офицерство крепостного гарнизона (обозники уже пушки подтаскивают), и какие-то горожане с наемниками пришли разобраться в споре насчет зерна, и разбойники – уйма народу околачивается вокруг темпорни, пытаясь взять ее осадой. Уже и старцев собрали, вооружают их, а одновременно на противный случай муштруют толпу молокососов – учат с мушкетами обращаться и так с обеих сторон времени берут в переплет несчастного Креншлина! От старцев назад не уйти, а от сопляков вперед. И покрикивают: «Ты окружен, ваша милость, выходи на рыцарское слово!» – потому как боятся, чтобы с рычагами чего-нибудь не сделал в отчаянии – и такое бывает.

И действительно, имея перед собой на выбор дыбу (а те уже спорить начали, куда его потом – либо на городскую дыбу, либо в бургграфову, или в Марлипонтову яму, или к зятьям) или самоуничтожение, позор или честную гибель, выбрал недоласканный Цевиннин любовник страшный, зато возвышенный исход. Дал полный назад, сначала все же прикрутив рычаг шнуром к угловой балке: сгину, но время все равно будет мчаться назад, и всех вас в небытие с собой утащу!

Исчез Креншлин быстрее, чем клочок тумана на ветру, а за ним и все остальные. Только когда в давних веках шнур истлел, рычаг сам вернулся в среднее положение. А вокруг темпорни уже чаща разрослась, в мгновение ока появился непроходимый бор, зубры чесались об углы, шли месяцы, отбившийся от стада волосатый носорог, рыча, влез, развалив истлевшие двери, и как дым исчез, боднув рычаг рогом, – вместо дубовой чащи на болотце редкие рододендроны и голосемянные папоротники – скорее всего эпоха, называемая каменноугольной – ни человеческих поселений, ни самой темпорни, только особая точка, над которой дрожал и радужно переливался воздух.

Трурль выключил проектор, отсоединил провода, а король, ничего не говоря, уселся на троне, но видно было, что он не в восторге от увиденного. Клапауций откашлялся:

– Я не хотел бы утомлять Ваше Величество и изложу суть дела в двух словах. Вы изволили наблюдать типичный процесс. Интрига здесь не важна, такая или другая – она всегда приводит к подобному финалу. Действия антагонистов стягиваются по все

более короткому радиусу к центру, которым является особая точка или место, из которого можно управлять течением времени. Если радиус действия отдельной темпорни сделать большим, то их таким образом на планете будет мало, соответственно мало будет очагов борьбы.

Если радиус мал, то центров много и мест столкновений столько же. Но это, в сущности, ничего не меняет. Можно сделать и так, чтобы самого вожатого времени вызванные им изменения не затрагивали. Но и это ничего нового не вносит. Тогда субъект, который последним останется в темпорне, будет вынужден бежать в самое древнее прошлое, а поскольку власть над временем не может быть безразличной никому из людей, то логика конфликта принудит его бежать в эру полного безлюдья. Таким образом, он исключается из истории и в схватках за темпорню участия больше не принимает.

Если на планете существует только одна особая точка, на ней возникает одно государство, раздираемое центробежными сепаратистскими движениями, а также центростремительной борьбой за овладение властью над временем, причем по рекомендации наимудрейших личностей правители склонятся к тому, чтобы сделать особую точку недоступной ни для кого – например, путем забивания ее взрывами в глубь коры планеты. Если же ввести вместо особых точек путешествия во времени, развивается времяборчество, хронологические эскапады, грабительские экспедиции, появляются темпоральное конквистадорство и хронический гангстеризм, а также попытки монополизировать технику передвижения во времени, правда, всегда безуспешные, поскольку изобретенное одними другие рано или поздно смогут повторить.

Если же принять за основу новые времена, то придем к большим войнам во времени. Стратегическая задача при этом окружить противника со стороны будущего и спихнуть его на дно развития, в прошлое, то есть снова начинается регресс. У кого в руках время, у того и власть. Следовательно, за это и будет вестись борьба, усиленная открытием новых тактик нападения и защиты во временном измерении.

– Выходит, что обратимое время – это источник несчастий, а не блага? – сказал озабоченный Ипполип. – А нельзя ли это как-нибудь поправить?

– Мы пытались ограничить движение во времени демпферами ускорения и другими предохранителями, государь, – ответил Трурль, – но тогда первой целью заинтересованных лиц становится ликвидация этих ограничений.

– Ну, хорошо, а если взять цивилизацию с богатой духовной

культурой, с высоким этическим уровнем, либеральную, гуманную и плюралистическую?

– Такую мы легко можем запрограммировать, Ваше Величество, – сказал Клапауций. – Мы не делали этого, считая, что это тоже ничего не даст, но если такова королевская воля, то прошу взглянуть!.. Трурль!

Трурль быстро нажал на какие-то клавиши, переставил несколько вилок, подкрутил усилитель и вздохнул:

– Готово. Включаю.

– Какая матрица?

– Время как функция изменения гравитационной постоянной.

Свет упал на алебастровые плиты. Трурль сфокусировал изображение…

Кресслин наклонился над столом.

– Это она? – спросил он, глядя на серию моментальных снимков.

– Да, – генерал машинально подтянул брюки, – Севинна Моррибонд. Ты ее узнал?

– Нет, тогда ей было десять лет.

– Запомни, она не сообщит тебе никаких технических подробностей. Ты должен только узнать у нее, есть у них хронда или нет. И находится ли она в оперативной готовности.

– А она это знает? Вы уверены?

– Да. Он не болтун, но от нее не держит секретов. Он на все готов, чтоб ее удержать. Ведь почти тридцать лет разницы.

– Она его любит?

– Не думаю. Скорее, он ей импонирует. Ты из тех же мест, что и она. Это хорошо. Воспоминания детства. Но не слишком нажимай. Я рекомендовал бы сдержанность, мужское обаяние. Ты это умеешь.

Кресслин молчал, его сосредоточенное лицо напоминало лицо хирурга над операционным полем.

– Заброска сегодня?

– Сейчас. Каждый час дорог.

– А у нас есть оперативная хронда?

Генерал нетерпеливо крякнул.

– Этого я тебе сказать не могу, и ты хорошо это знаешь. Пока существует равновесие, они не знают, есть ли хронда у нас, а мы – есть ли у них. Если тебя поймают…

– Выпустят мне кишки, чтобы дознаться?

– Сам понимаешь.

Кресслин выпрямился, словно уже выучил на память лицо женщины на фотографии.

– Я готов.

– Помни о стакане.

Кресслин не ответил. Он не слышал слов генерала. Из-под металлических абажуров на зеленое сукно стола лился яркий свет электрических ламп. Двери резко распахнулись. Вбежал адъютант с бумажной лентой в руке, на ходу застегивая мундир.

– Генерал, концентрация вокруг Хасси и Дёпинга. Перекрыли все дороги.

– Сейчас. Кресслин, задание ясно?

– Да.

– Желаю успеха…

Лифт остановился. Дерн отъехал в сторону и снова стал на место. К запаху мокрых листьев примешивался и почти приятный щекочущий запах азотистых соединений. «Прогревают первую ступень», – подумал он. Карманные фонарики выхватили из мрака ячейки маскировочной сетки.

– Анаколуф?

– Авокадо!

– Прошу за мной.

Он шел в потемках за коренастым бритоголовым офицером. Черная тень вертолета открылась во мраке, как пасть.

– Долго лететь?

– Семь минут.

Ночной жук взвился, гудя спланировал, винт его еще вращался, а Кресслин уже стоял на земле, невидимая трава стегала его по ногам, взметаемая механическим ветром.

– К ракете.

– Есть к ракете, но я ничего не вижу.

– Я поведу вас за руку (женский голос). Вот тут смокинг, прошу переодеться. Потом наденете эту оболочку.

– На ноги тоже?

– Да. Носки и лакированные туфли в этом футляре.

– Прыгать буду босиком?

– Нет, в этих чулках. Потом свернете их вместе с парашютом. Запомнили?

– Да.

Он отпустил эту маленькую крепкую женскую руку. Переодевался в темноте. Золотой квадрат… Портсигар? Нет, зажигалка. Блеснула полоска света.

– Кресслин?

– Я.

– Готовы?

– Готов.

– В ракету, за мной!

– Есть в ракету.

Один только резкий луч освещал серебристую алюминиевую лестницу. Ее верх тонул во мраке – казалось, что он должен был идти к звездам пешком. Открылся люк. Он лег навзничь. Его блестящий пластиковый кокон шелестел, прилипал к его одежде, к рукам.

– 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Внимание, 20 до нуля, 16, 15, 14, 13, 12, 11, внимание, через 6–7 секунд старт, четыре, три, два, один, ноль.

Он ожидал грохота, и тот, который вознес его, показался ему слабым. Зеркальный пластик расправлялся на нем как живой. Вот дьявол, рот затягивает! С трудом он отпихнул назойливую пленку, перевел дух.

– Внимание, пассажир, 45 секунд до вершины баллистической. Начинать отсчет?

– Нет, с десяти, пожалуйста.

– Хорошо. Внимание, пассажир, апогей баллистической. Четыре слоя облаков, циррострату с и циррокумулюс. Под последним видимость 600. На красный включаю эжектор. Парашют?

– Спасибо, в порядке.

– Внимание, пассажир, вторая ветвь баллистической, первый слой облаков, циррострату с, второй слой облаков. Температура минус 44, на земле плюс 18. Внимание, пятнадцать до выброски. Наклонение к цели ноль на сто, боковое отклонение в норме, ветер норд-норд-вест, шесть метров в секунду, видимость 600 – хорошая. Внимание, желаю успеха! Выброс!

– До свидания, – произнес он, чувствуя всю гротескность этих слов, сказанных человеку, которого он никогда не видел и не увидит.

Он выпал во мрак, его выстрелило в твердый от скорости воздух. Свистело в ушах, он закувыркался, и тут же его с легким треском подхватило и подтянуло высоко кверху, словно кто-то выловил его из мрака невидимым сачком. Он взглянул вверх – купол парашюта был неразличим. Чистая работа!

Он опускался, не чувствуя быстроты падения, что-то завиднелось под ногами. Так светло? Черт, только бы не озерко! Один шанс на тысячу, но кто знает?…

До него донесся мерный легкий шум, когда он коснулся ногами волнующейся поверхности. Это была пшеница. Он нырнул в нее, его накрыла чаша парашюта. Согнувшись, он отстегнул ранец, начал сворачивать странный волокнистый материал, на ощупь похожий на паутину. Он все скручивал и скручивал его, это было труднее всего, и на это ушла масса времени, пожалуй, около

получаса. Во всяком случае, в хронограмму уложился. Надеть сейчас лаковые туфли или нет? Лучше сейчас обуться, пластик отражает свет. Он начал рвать на себе оболочку, тонкую, как целлофан, как будто сам себя распаковывал. Вот и сверток, ночной презент. Лаковые туфли, платок, ножик, визитные карточки…

Где же стакан? Сердце у Кресслина заколотилось, как только он нащупал его в кармане. Ничего не было видно, тучи покрывали все небо, но когда он потряс стакан, послышалось бульканье. Внутри был вермут. Он не стал отдирать герметизирующую пленку. Положил его обратно в карман, затолкал свернутый парашют в ранец, впихнул туда же толстые прыжковые чулки, изодранный кокон. Вроде бы ничего не должно от этого загореться… А вдруг? Может быть, выбраться сначала из этой пшеницы? Нет, в инструкции все предусмотрено.

Он отыскал на утолщенном дне футляра рычажок, сунул под него палец, дернул, как будто открывал банку с пивом, бросил футляр на измятое место среди поля и стал ждать. Ничего. Немного дыма, ни пламени, ни искр, ни углей. Осечка? Пошарил рукой и чуть не вскрикнул – там уже не было туго набитого ранца, полного ткани и строп, – кучка теплых, не обжигающих остатков, будто прогоревший бумажный пепел. Чистая работа!

Кресслин поправил на себе смокинг, бабочку и вышел на дорогу. Он шел по обочине, быстро, но не слишком, чтобы не вспотеть. Вот дерево, но какое? Липа? Пожалуй, еще не она. Ясень? Точно? Ничего не видно. Часовенка должна быть за четвертым деревом. Вот придорожный камень. Совпадает. Из ночи выдвинулась побеленная стена капеллы. Он ощупью отыскал дверь. Она легко отворилась. Не слишком ли легко? А если окна не затемнены?

Он поставил на каменный пол зажигалку, щелкнул. Чистый белый свет наполнил замкнутое пространство, блеснула поблекшая позолота алтаря, окно, заклеенное снаружи чем-то черным. Он с пристальным вниманием вгляделся в свое отражение в этом окне, повернулся, поочередно проверяя плечи, рукава, отвороты смокинга, приглядываясь сбоку, не пристал ли где клочок пластиковой пленки. Поправил платочек, приподнялся на носках, как актер перед выступлением, стараясь успокоить дыхание, почувствовал слабый запах погасших свечей – как будто они горели совсем недавно. Он потушил зажигалку, снова во мраке вышел, осторожно ступая по каменным ступеням, и осмотрелся. Кругом было пусто. Края туч местами светлели, но месяц не мог пробиться сквозь них. Было почти совсем темно. Теперь уже ровно шагая по асфальту, он кончиком языка коснулся

коронки зуба мудрости. Интересно, что там такое? Уж конечно, не хронда. Но и яда там не могло быть. За какое-то мгновение он успел рассмотреть то, что «дантист» клал пинцетом в золотую чашечку коронки, прежде чем залить ее цементом. Комочек меньше горошины, как будто слепленный из детского цветного сахара. Передатчик?

Но микрофона у него не было. Не было ничего… Почему они не дали яду? Наверное, не был нужен.

В отдалении из-за деревьев появился дом, ярко освещенный, шумный, в темный парк лилась музыка. На газонах подрагивал отблеск окон. На втором этаже горели настоящие свечи, в канделябрах. Теперь он принялся считать столбы ограды, у одиннадцатого замедлил шаг, остановился в тени, падающей от дерева, коснулся пальцами проволочной сетки, она, пружиня, подалась; потом слегка наступил на ее нижнюю часть, которая не была сцеплена с верхней, перешагнул препятствие – и вот он уже в саду. Перебегая от тени к тени, он очутился у высохшего фонтана. Тут он вынул из кармана стакан, ногтем подрезал пленку, которой он был заклеен, сорвал ее, смял и отправил в рот, чтобы тут же запить ее маленьким глотком вермута. Теперь, держа стакан аперитива в руке, он, больше не скрываясь, двинулся посередине дорожки прямо к дому, без спешки – гость, возвращающийся с короткой прогулки, перегрелся танцуя и вышел в поисках прохлады… Кресслин поднес к носу платочек, перекладывая стакан из руки в руку, когда проходил между тенями тех, кто стоял по обе стороны двери. Он не видел лиц, чувствовал только провожающие его невнимательные взгляды.

Свет был почти голубым на первой лестнице, тепло-желтым на второй; музыка играла вальс. Гладко, подумал он. Не слишком ли гладко?

В зале было тесно. Он не сразу ее заметил. Ему оставалось сделать два шага до нее. Ее окружали мужчины с орденскими ленточками в петлицах, как вдруг на другом конце зала раздался грохот – кто-то упал. Споткнулся какой-то лакей в ливрее, да так неловко, что поднос, уставленный бокалами, вылетел у него из рук, брызгая белым и красным вином. Что за тюлень! Окружавшие Севинну как по команде повернули головы в ту сторону. Один только Кресслин продолжал смотреть на нее. Этот взгляд озадачил ее, хотя и был едва уловим.

– Вы меня не узнаете?

– Нет.

Она сказала «нет», чтобы оттолкнуть, отбросить его. Он спокойно улыбнулся:

– А карего пони помните? С белой стрелкой над копытом? И

мальчика, который испугал его мячом?

– Так это вы?

– Я.

Им не понадобилось знакомиться, раз они знали друг друга с детства. Он танцевал с ней только один раз. Потом больше держался в отдалении. Зато уже после часа ночи они вместе вышли в парк. Вышли через дверь, о которой знала только она. Прогуливаясь с ней по аллеям, он то тут, то там замечал людей, стоявших в тени деревьев. Сколько же их! А он их даже не заметил, перелезая через сетку. Странно.

Севинна смотрела на него, ее лицо белело в свете луны, которая после полуночи все-таки прорвалась сквозь облака – как и ожидалось.

– Я бы вас не узнала. А все же вы мне кого-то напоминаете. Вовсе не того мальчика. Кого-то другого. Взрослого.

– Вашего мужа, – ответил он спокойно. – Когда ему было двадцать шесть лет. Вы, должно быть, видели снимки.

Она заморгала.

– Да. Откуда вы знаете это?

Он улыбнулся.

– По обязанности. Пресса. Временно – военный корреспондент. Но с гражданским прошлым.

Она не обратила внимания на его слова.

– Вы из тех же мест, что и я. Удивительно.

– Почему?

– Как-то… это даже тревожит меня. Я не знаю, как это выразить, – я почти что боюсь.

– Меня?

Он был искренен в своем изумлении.

– Нет, что вы. Но это как бы прикосновение судьбы. Эта ваша похожесть и то, что мы знали друг друга еще детьми.

– Что же здесь такого?

– Я не могу вам объяснить. Это всего лишь намек на ту ночь. Как будто это что-то предзнаменует.

– Вы суеверны?

– Вернемся. Здесь холодно.

– Никогда не надо убегать.

– О чем это вы?

– Не следует бежать от судьбы. Это невозможно.

– Откуда вам знать?

– Где теперь ваш пони?

– А ваш мяч?

– Там, где и мы будем через сто лет. Все вещи растворяются во времени. Нет лучшего растворителя, чем оно.

– Вы говорите так, будто мы с вами старики.

– Время убийственно для старых. И непонятно для всех.

– Вы думаете?

– Я знаю.

– А если бы?… Нет, ничего.

– Вы хотели что-то сказать?

– Вам показалось.

– Нет, не показалось, потому что я знаю, что вы имели в виду.

– Что же?

– Одно слово.

– Какое?

– Хронда.

Она вздрогнула. Это был страх.

– Что вы…

– Не бойтесь, прошу вас. Мы оба всего лишь двое посторонних, которые знают это слово, – кроме вашего мужа и специалистов доктора Суови. Тех, из центра Негген.

– Что вы знаете? Откуда?

– Я знаю то же, что и вы.

– Не может быть. Это же тайна.

– Поэтому я и не говорил этого слова никому, кроме вас. Я знал, что вам оно известно.

– Как вы могли это узнать? Вы… очень рискуете. Понимаете ли вы это?

– Я ничем не рискую, потому что мои сведения не более и не менее легальны, чем ваши. С той разницей, что я знаю, от кого вы их получили, а вы не знаете, откуда получил их я.

– Эта разница не в вашу пользу. Откуда вы узнали?

– А сказать вам, откуда узнали вы?

– Может быть, вы знаете и… когда?

– В самое ближайшее время.

– В ближайшее! Вы ничего не знаете! – Она задрожала.

– Я не могу вам сказать. Не имею права.

– А то, что уже сказали?

– Это не больше того, что сказал вам ваш муж.

– Разве кто… Откуда вы знаете, что это он?

– Никто из правительства, кроме премьера, не знает. Премьера зовут Моррибонд. Дальше все просто, не так ли?

– Нет… Но каким образом? А! Подслушивание?

– Нет. Не думаю. Не было нужды. Он просто должен был вам сказать.

– Почему? Не думаете ли вы, что я…

– Нет. Именно потому, что вы никогда бы этого не потребовали. Он должен был сказать, потому что хотел дать вам

что-то, что имело для него наивысшую ценность.

– Значит, не подслушивание, а всего лишь психология?

– Да.

– Который час?

– Без шести минут два.

– Не знаю, что станет со всем этим. – Она смотрела в окружающий их мрак. Тени ветвей, плоские и четкие, дрожали на посыпанной гравием дорожке. Временами казалось, что они неподвижны, а дрожит земля. Музыка доносилась до них, будто из другого времени.

– Мы здесь уже неприлично долго, – сказала она, – вы не догадываетесь почему?

– Начинаю догадываться.

– Тайна, которая… сделает это с миром, уже не тайна за минуту до… часа ноль. Может быть, мы перестанем существовать. Вы это тоже знаете?

– Знаю. Но это не должно было случиться этой ночью.

– Именно этой.

– Но ведь еще недавно…

– Да, были кое-какие сложности… Но теперь их уже нет.

Она почти касалась его грудью. Говорила ему, но его не видела:

– Он будет молодым. Он в этом совершенно уверен.

– Ну да, конечно.

– Не говорите ничего, прошу вас. Я не верю, не могу верить, хотя и знаю… Это словно не взаправду, так не бывает. Но теперь уже все равно. Никто не может этого отменить, никто. Или я увижу его молодым, таким, как вы сейчас, или… Реммер говорил, что возможно скольжение в депрессии… Я стала бы ребенком. Вы последний человек, с которым я говорю *перед этим*.

Ее трясло. Он обнял ее, поддержал. Как бы не зная, что говорит, пробормотал:

– Сколько времени осталось?

– Минуты… В два часа пять минут… – шепнула она. Глаза ее были закрыты.

Он склонился над ее лицом и одновременно надавил на тот металлический зуб изо всех сил. Ощутил в голове легкий щелчок и провалился в небытие.

Генерал машинально подтянул брюки.

– Хронда – это темпоральная бомба. Ее взрыв вызывает возникновение местной депрессии во времени. Образно говоря, как обычная бомба делает в грунте воронку – пространственную депрессию, так хронда углубляется в настоящее и утягивает или

спихивает все окружающее в прошлое. Размер сдвига в прошлое, так называемый ретроинтервал, зависит от мощности заряда. Теория хронопрессии сложна, и я не в состоянии вам ее изложить. Однако принцип уловить легко. Течение времени зависит от всемирного тяготения. Не от местных полей тяготения, а от вселенской постоянной гравитации. И не от самой гравитации, а от ее изменения. Гравитация уменьшается во всей Вселенной, и это как бы другая сторона течения времени. Если бы гравитация не изменялась, время остановилось бы, его вовсе не было бы. Вот как ветер… Где он, когда он не дует? Его нет нигде, потому что он – движение воздуха.

Так объясняется и появление Космоса. Он не был создан, но существовал вне времени, пока гравитация была неизменной, пока не началось ее уменьшение.

С тех пор Космос расширяется, звезды вращаются, атомы вибрируют, а время идет. Существует связь гравитонов с хрононами, и эта связь использована при создании хронды. Пока мы не умеем манипулировать временем иначе, чем импульсами. Происходит, собственно, не взрыв, а резкое западение. Самый глубокий сдвиг в прошлое происходит в точке ноль.

В 1 час 59 минут Кресслин нажал зуб. Через двенадцать секунд сработали все наши оперативные хронды стратегического назначения. Западение было кумулятивным. Поэтому зона, пораженная хронопрессией, имеет форму почти правильного круга. В пункте ноль депрессия составляет, вероятно, от 26 до 27 лет, эта величина постепенно снижается к периферии.

На пораженной территории у неприятеля были лаборатории, заводы, склады, а также хронопрессивные полигоны. Учитывая, что они начали работы 9-10 лет назад, сейчас там уже нет ничего, что могло представлять для нас угрозу. Поверхность поражения, как вы можете увидеть на этой карте, имеет диаметр около 190 миль.

– Генерал!

– Слушаю, господин министр.

– На каком основании вы утверждаете, что благодаря Кресслину мы упредили хрональный удар неприятеля?

– Приказ гласил: если до удара остается более 24 часов – зуба не трогать. Если ему удастся узнать какие-нибудь подробности операции, касающиеся ее сроков, мощности зарядов, количества хронд, он должен сообщить об этом через особое звено нашей разведки. Если бы враг собирался атаковать нас в течение суток, а Кресслин не смог завязать контакт со связным, он должен был привести в действие автоматический передатчик, закопанный в лесу под Хасси. И только в случае, если не было времени

добраться до сигнализатора, а он был информирован о нападении в самое ближайшее время, ему можно было нажать зуб. Подчеркиваю, Кресслин не знал механизма хронопрессийного западения, он ничего не знал о наших хрондах, не знал даже, что находится у него в зубе. Считаете ли вы, господин министр, мой ответ исчерпывающим?

– Нет. Я считаю, что слишком великую ответственность за судьбы всего мира вы возложили на плечи одного человека, вашего агента. Как мог один человек это решать?!

– Позвольте дать дальнейшее разъяснение. Наша информация не равнялась нулю до заброски Кресслина. Очевидной целью неприятеля должен был оказаться наш хрональный центр. Обе стороны еще не знали степени продвижения работ. Расположение нашего комплекса «С» было им известно, так же как и нам дислокация их хронораторий. Скрыть существование таких огромных комплексов просто невозможно.

– Но вы не ответили на мой вопрос.

– Как раз приступаю. Если провести концентрические круги постепенно снижающегося поражения вокруг нашего центра «С», то Хасси находится в зоне сдвига на десять, а Лейло, как находящийся ближе к комплексу «С», на двадцать лет. Вчера утром мы получили сообщение, что Моррибонд выезжает на инспекцию войск, расположенных на нашей границе. В восемь вечера пришло сообщение, что, вместо того чтобы остановиться в гарнизоне Аретон, он задержался в Лейло.

– Постойте, господин генерал! Не хотите ли вы сказать, что Моррибонд намеревался использовать тот хрональный удар, который они хотели нам нанести, для того чтобы омолодиться?

– Ну, в общем, да. Таково мнение наших экспертов, Моррибонду было шестьдесят лет, его жене – двадцать девять. Минус двадцать лет у него и минус десять у нее – сорокалетний мужчина и девушка девятнадцати лет. А кроме того, главное и решающее обстоятельство – он был болен миастенией в тяжелой форме. Врачи давали ему два, в лучшем случае три года жизни.

– Это абсолютно точно?

– Да, практически наверняка. Существенную роль тут играло и его своеобразное чувство юмора. Кодовое название операций было «Балкон».

– Не понимаю.

– Ну как же? Ромео и Джульетта. Сцена на балконе. И при этом должен был погибнуть весь наш хрональный потенциал.

– Но получилось наоборот?

– Именно. Вначале я привел вычисления, допускающие, что местом западения окажется наш комплекс «С», согласно их

стратегическому плану. Поэтому Моррибонд выслал жену в Хасси, а сам поехал в Лейло, расположенный у нашей границы. Определив ситуацию на совете в генштабе как критическую, мы выслали Кресслина немедленно, то есть как можно быстрее. Около полуночи он приземлился под Хасси. Поскольку мы ударили первыми, изохроны депрессии имели порядок спада, обратный тому, который планировал неприятель. Обратный, поскольку это мы попали в их хрональный комплекс.

– Ну и что из того? Моррибонд помолодел меньше, чем того хотел, а его жена – больше. Какое это имеет стратегическое значение? Предлагаю оставить эту тему.

– Это имеет стратегическое значение – и политическое тоже, господин помощник государственного секретаря, потому что приведет к смене человека на посту премьер-министра неприятельского правительства. Западение, вызвавшее депрессию, на самой границе своего действия создаст небольшое концентрическое вспучивание времени вокруг пункта ноль. Это аналогично действию обычной бомбы: центр воронки заглубляется, а вокруг нее образуется кратерный вал. Хронда сбивает настоящее вспять, а на границе западения время передвигается вперед. Лейло как раз и оказался в этом районе. Это значит, что время подвинулось там на девять-десять лет вперед.

– И Моррибонду теперь семьдесят? Великолепно! – захихикал кто-то из стоявших вокруг зеленого стола.

– Нет, учитывая то, что я говорил о его болезни, Моррибонда нет в живых. Есть еще вопросы?

– Мне хотелось бы знать, в какой форме проявляется прошлое после западения хронды? Физики утверждают, что прошлое как точное воспроизведение времени, в которое можно вернуться, не существует.

– Это правда. Западение не приводит к идеальному сдвигу календаря. Не реституирует конкретного состояния, которое существовало в конкретный день, час и минуту. Каждый материальный объект становится моложе, вот и все. Прошлое как совокупность событий, которые уже прошли, не возвращается и не повторяется. О том, абсолютно ли это невозможно, наши эксперты предпочитают не высказываться. Во всяком случае, моделью действия хронды может служить ситуация на футбольном поле, когда один игрок ударит мяч, а другой отобьет ему мяч обратно. Мяч, возвращаясь, не упадет строго на то же самое место. Этот пример уместен еще и потому, что мяч нужно ударить, он не передвигается при помощи микрометрических винтов. Западение также представляет собой резкое и не

поддающееся учету в мельчайших подробностях вмешательство в течение времени.

– Но вы же сами говорили, генерал, что шестидесятилетний человек становится сорокалетним!

– Это совсем другое. Его организм станет моложе на столько лет только физиологически. То же самое произойдет и с любым предметом. Старое дерево помолодеет, превратится в саженец. Но если, к примеру, взять скелет, который сто лет пролежал в земле и из которого предварительно изъято несколько костей, то после западения перед нами будет скелет, который пролежал только восемьдесят лет, но те кости, которые из него взяты, назад не вернутся. Если кто-то недавно потерял ногу, то даже после западения с четвертьвековым ретроинтервалом он ее назад не получит. Поэтому хронда не осложнена так называемыми причинными парадоксами, которые связаны с идеей путешествий во времени.

Организм при западении реституирует свою жизнеспособность в границах, определяемых его физиологическими возможностями.

– А машины? Книги? Здания? Чертежи?

– Здание, возведенное сто лет назад, изменится незначительно. Однако постройка из бетона, который затвердел восемь лет назад, окажется грудой песка, цемента и камней, ведь бетон не может существовать в виде бетона раньше того момента, когда он возник из смеси соответствующих ингредиентов. Это касается любых объектов, а также и машин.

– Уверены ли вы, что противник не располагает уже потенциалом для контрудара?

– Стопроцентной уверенности нет, пессимистическая оценка указывает, что мы уничтожили 80 процентов их хронопотенциала. Оптимистическая, что до 98 процентов.

– Нельзя ли хронды использовать для каких-нибудь других целей, кроме уничтожения неприятельских хронд?

– Можно, господин председатель, но уничтожение хронд противника, а также их производственной базы является абсолютно первоочередной задачей. Сохранив наш потенциал неприкосновенным, мы получили стратегическое и тактическое превосходство. Разумеется, господа, вы понимаете, что в настоящий момент я ничего не могу вам сказать о том, как мы намереваемся использовать это преимущество. Вопросов больше нет? Благодарю за внимание. Что это там? Громкоговорители? Прошу тишины!

– Внимание, внимание! Тревога первой степени. Локаторами замечен сход спутников врага с троянских орбит в количестве

четырех единиц. Антиракеты противобаллистической обороны первой линии перехвачены противником. Один спутник сбит прямым попаданием. Три спутника в радианте дзета снизились до первой космической. Действия локаторов затруднены ионным облаком, выброшенным симулирующей головкой первого уничтоженного спутника. Внимание, внимание! Наземные индикаторы в непосредственном взаимодействии со стационарными спутниками нашей обороны будут сообщать о вероятных целях, намеченных противником. Внимание, цель номер один: комплекс «С», предельное отклонение 20–25 миль от точки ноль. Внимание, цель номер два: главный штаб, предельное отклонение 7–9 миль от точки ноль.

– Двадцать процентов их хрономощи летит нам на голову! – завопил кто-то. Сидевшие за зеленым столом вскочили. Загремели кресла, одно упало. Где-то поблизости жалобно завыла сирена.

– Господа, прошу оставаться на местах! Западение не представляет угрозы для жизни. Кроме того, нет способов укрытия или изоляции. Прошу сохранять спокойствие! – надрывался генерал.

– Внимание, внимание! Второй спутник уничтожен в ионосфере ракетным залпом. Два оставшихся спутника вошли в мертвую зону противоорбитальной обороны. Изменяют траекторию по данным локаторов ближней обороны с семидесятикратной перегрузкой.

Внимание! Два вражеских спутника на оси целей номер один и номер два. Входят в оптический периметр непосредственного поражения. Внимание! Объявляю тревогу наивысшего угрожаемого положения. Восемь секунд до ноля, семь до ноля. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Внимание. Но…

Изображение погасло, и воцарилось молчание.

– И это тоже не слишком воодушевляет, – вздохнул Ипполип. – А что, если бы время могло разветвляться? Вроде как река в дельте. И если бы его можно было регулировать, как систему каналов? Как вы думаете?

– Мы и это пробовали, – ответил Трурль. – Получается пандемонимум. Появляются приватные времена, которые отпочковываются в виде заливов и лиманов, беря начало из воплощенных снов. Возникает подрывная хронавтика, угрожающая социальным распадом и потому преследуемая властями. Вводятся удостоверения личной актуальности, ретрохрональные налоги, хрониция, интерхрон, похроничные войска, развивается межвременная контрабанда, шайки,

воскрешающие казненных преступников, часокрадство и комитеты календарной безопасности. Начинается массовая эмиграция в другие времена, давка; все стремятся протолкнуться в модные эпохи. Равновременники пытаются выселить диких времякопателей, и всем бог знает почему представляется, что в другом времени лучше. Дело доходит до укрывания, накопления и присвоения ценных моментов, возникает секулярная биржа, изготовляются фальшивые времена или времена, замкнутые в круг, хрональные ямы и тюрьмы. Создаются перпетуаторы, эротические, политические и мистические, для извлечения чудесных мгновений. Толпы эмигрантов, контрэмигрантов и реэмигрантов мчатся сквозь столетия в противоположных направлениях, стукаясь лбами при встречах. Доходит до так называемых военных конвульсий, история начинает хромать на знаках препинания. К примеру, хрональные убийцы убивают в колыбели императора враждебного государства. Тот не вырастает, не становится императором, не одерживает победы, и таким образом, отпадает необходимость удушения его в пеленках. И тогда он все-таки рождается, вырастает, ведет победоносные войны, поэтому снова высылают в прошлое убийц – и так без конца. Мы открыли восемьсот видов так называемого circulus temporalis vitiosus [47], но я думаю, что их может быть бесконечно много. Ну а хроноизвращения: футурофилия, часовой фетишизм, delectatio temporosa [48], автопедофилия, то есть преследование развратными старцами самих себя в детском возрасте, а хронализм? А демпинговый импорт достижений техники будущего, который приводит к кризисам? А похищения во времени? Мы обнаружили, что слишком мощные аристократические группы, которые заправляют всей темпоральной стратегией, так растягивают в разные стороны настоящее, так перетаскивают его хронотракторами на свою сторону, что время рвется и между прошлым и будущим образуется провал, известная всем Черная дыра! По этим дырам в небе и распознается высокий разум, Ваше Величество, я мог бы часами так перечислять. От всей души не советую…

– Хорошо! Вы убедили меня, что обратимое и делимое время – неблагодарное свойство Творения, – сказал явно раздосадованный король. – А все же пошевелите мозгами. Смелее! Подумайте хотя бы вот над чем. Нынешний мир ведет себя более или менее индифферентно. Не слишком благоприятствует своим обитателям, но и не слишком их угнетает. Это равнодушие легко порождает фрустрацию. Как известно, холодное безразличие родителей калечит психику детей, а равнодушный холод Вселенной – и подавно! Разве не

должен быть мир внимательным, заботливым, на каждом шагу охранять своих обитателей, предупреждать каждое их желание? Одним словом, не они к нему, а он к ним должен приспосабливаться! Ну, скажем, усталый путник падает со Скальной гряды, потому что он поскользнулся. У нас он разобьется вдребезги. А в новом мире место, на которое он должен упасть, быстренько размягчится в пух. Путешественник отряхнется – и снова в путь. Ну как? – Король даже засиял. – Разве это не прекрасно? Почему же вы молчите?

– Потому что благорасположение – вещь относительная, – сказал Клапауций. – Возьмем того же путника. Может быть, ему жизнь опостылела и он сам бросился в пропасть? Наверное, в этом случае камням следовало бы остаться твердыми? Но это уже подразумевает чтение мыслей.

– Допустим. Почему бы нет, если мы ничем в нашем творчестве не ограничены? – отпарировал король.

– Почему бы нет? Предположим, наш путник несет важную весть. Если он ее донесет, ауриды победят бенидов, а если не донесет – войну выиграют бениды. С точки зрения ауридов, камни должны размягчиться, а по желанию бенидов должны стать еще более твердыми. Но это еще не все. Если этот странник пройдет через горы, он встретит женщину, которая родит ему сына. А сын потом расценит поступок отца как деяние низкое и подлое. Он назовет его предателем, ибо я забыл сказать, что путник сам был бенидом. Сыновнее обвинение так потрясет всех, что, окруженный всеобщим презрением, путник повесится. Если милосердная ветвь обломится, он бросится в воду. Если благожелательная вода выбросит его на берег, он примет яд. И так далее. Как долго заботливый мир будет усугублять его душевные муки, отсрочивая его физический конец? Может быть, лучше бы он сразу повис? Но если так, то не лучше было бы ему сгинуть в пропасти, не оставив потомства, чем повеситься от укоров сына? Я знаю, что пожелает возразить государь: все дело в том, действительно ли странник был предателем, и еще в том, какая сторона заслуживала победы. Ну, предположим, что справедливый человек пожелал бы победы бенидам как более слабо вооруженным, но благородным по духу. Тогда то, что путник предал своих и обеспечил победу ауридам, плохо. Однако дело на этом не кончается, ибо я пересказываю не повесть, а всеобщее бытие, которое конца не имеет. Воцарившись над бенидами, ауриды через сто лет, сами того не замечая, поддались влиянию побежденных. Тогда они поняли всю ненужность военного насилия и заключили с бенидами союз равных с равными, который принес благо обоим народам. Выходит, что

камни не должны были размягчаться. Параллельно можно рассмотреть, что будет, если путник погибнет. Тогда победят бениды. Эта победа превратит мирный народ, поощряющий искусства, в грубых вояк. Искусство придет в упадок, начнутся завоевания, и через сто лет из справедливых людей получатся грабители, против которых в конце концов восстанет вся планета. И что же получается? Учитывая такой оборот событий, скалы должны были все же смягчиться, хотя на них и летел предатель. Поскольку события, о которых я говорю, должны получить дальнейший ход, то в зависимости от того, смотрим ли мы на последствия падения через пять, пятьдесят или пятьсот лет, скалы должны были бы то размягчаться, то твердеть. А потому благожелательный мир должен, увы, окончательно свихнуться, пытаясь делать вещи, взаимно противоположные.

– Значит, так? Ну тогда выдумайте что-нибудь получше, – уже не на шутку разгневался король Ипполип. – За этим я вас и вызвал! Почему у вас существа, которыми вы заселяете пробные вселенные, точь-в-точь такие же, как и мы?

– Его Величество король изволит намекать, что мы занимаемся плагиатом? – промолвил в ответ Клапауций, сдерживая растущее возмущение. – Что ж, государь прав. Но следовало бы Его Величеству знать, что делаем мы это не от недостатка, а от избытка знания. Ничем не возмущаемый покой сохраняется только в неразумных сообществах. Крутятся они там, как в улье, не жалуясь на экзистенциальное неравенство. Никаких раздоров, никаких вредных нововведений, только гармония и порядок. Мы не заполняем наших миров такой гармонией, потому что сам король возразил бы, что эта гармония от безмозглости. Королю нужны вселенные, полные разума. Того же желает бог знает почему каждый творец. Но ведь разум – это ненасытность, потому что он создает бесчисленное множество возможностей для деятельности, которые часто друг друга исключают. Орел у разума – гениальность, а решка – чудовищность, потому что он свободен внутри себя без границ в обе стороны. Ясное дело, высшую гармонию разума можно запрограммировать. Программа, проявляющаяся подсознательно, пропитывает сознание самыми возвышенными стремлениями. Однако все почему-то отвергают гармонию, потому что она, видите ли, навязанная, ненатуральная, поддельная, поскольку пришла она с перфокарты, а не развилась спонтанно. Дух просветляется оттого, что просвещают его тайком подсунутые идеалы. А это уже заводная игрушка, несвободное развитие бытия! Что ж, можно ввести две противоположно действующие программы: одну – совращающую, а другую – наставительную, чтобы разум мог самоопределяться в

их столкновении и конфликте, но тут нам возражают, что и это не подходит, потому что хотя распутье и существует, но концы путей предопределены заранее. В таком выборе свободы и самоопределения не больше, чем у штанов: гравитация тянет их вниз, а подтяжки – кверху. В философских сочинениях можно встретить утверждение, что дух прежде всего должен быть свободным. Что же такое свобода? Бесконечность шансов? А где же ее больше всего, как не в безмерности? Там, где возможно все, потому что ничто заранее не запрещено? Разумеется, и такое можно сконструировать. Но тогда вместо чудесных свершений мы погрязнем в блужданиях. Потому что задание обусловлено кричащими противоречиями. Мы должны создать широкую узость, сытый голод, святой грех, вершину, с которой нельзя упасть, а поскольку нас ничто не сдерживает, то мы должны одарить сотворенных океаном свободы, чтобы они добровольно черпали из него по капельке. Хотя никто не заказывал у нас до сих пор вселенной, но осмелюсь заметить, что у нас было достаточно весьма требовательных клиентов, таких разборчивых, что они оказывались строже в оценке наших произведений, чем произведений природы. Поэтому в нашей мастерской висит плакат, обращенный к заказчикам, который гласит: «Уважаемый клиент! Прежде чем начать обвинять нас во всех грехах, приглядись к произведениям, исполненным природой, посмотри на себя и подобных тебе. Почему ты не гнушаешься ими так же, как тем, что заказал у нас? У них ты называешь каждый дефект результатом искушения, случайности; ошибкам, допущенным в них, ты придаешь высокий смысл приговора небес, трагедии, тайны, может быть, позорной, но великой, а потому все-таки возвышенной. То, что существует, ты всегда немножко уважаешь, даже если оно ни к черту не годится, а то, что предлагаем мы, не заслуживает ни малейшего уважения, поскольку появилось не из неведомой бездны, а только от нашей счетной линейки и угольника».

– Ну, хватит! Довольно тут рассуждать! – нетерпеливо прервал его король. – Тоже мне диатриба! Извини меня, но я вызывал конструкторов, а не самохвалов! Покажите мне ваших неосуществ. Давайте их сюда, и поговорим по-деловому.

– Мы творим не на пустом месте, – спокойно отвечал Клапауций, – но тот, кто ждет, пока от самослипания частичек из Космоса вынырнет сознательное существо, ничем не рискует, но и не имеет никаких заслуг. Давние конструкторы, добиваясь наибольшей социальной солидарности, строили существа полуобщего типа, такие, которые сообща располагают телами. Память об этом сохранилась в сказках, где рассказывается о

многоголовых драконах. Но дело тут не в их драконовских свойствах. Многоголовцы перегрызут друг другу горло почти что сразу. Мирмександр Декстридский, чтобы избежать конфликтов, частично обобществил разум созданных им существ. Он соединил глубины их духовной жизни и на этой базе вырастил индивидуальные сознания. Связь была дистанционной, а потому незаметной, и эти существа на первый взгляд казались совершенно автономными. Поскольку сознание питается собственной глубиной, а она была у них общей, то жили они в полном согласии. Дела у них шли превосходно. Но как только они догадались об этой связи, а в конце концов они должны были это открыть, занявшись наукой, полученное знание обратилось общим несчастьем. Ибо они поняли, что овладеть подсознанием одного, хотя бы последнего, нищего – значит получить власть над всеми сразу. Кому это было нужно? Ха! Легче сказать, кому это было не нужно! Конечно, это частный случай, но значение имеет всеобщее. Была ли когда-нибудь общность душ или нет, но залезание в душу всегда переходит в манипуляцию, проводимую, конечно, с благороднейшими целями.

Но Вашему Величеству, который еще ребенком играл в «кибернетики» и в «малого мозговничего», должно быть известно, как легко переделать автомат в садомат или в автосадомазомат и что делают умственные агрегаты, когда они получают самосознание, как они набрасываются на собственный машинный разум, чтобы его подзуживать, поддразнивать и выворачивать наизнанку все более искусными методами философской церебеллистики, что всегда кончается либо расщеплением сознания, либо коротким замыканием на себя. И в самом деле, зачем раскапывать звезды, подвергаясь ожогам третьей степени, зачем кидаться на другой конец Вселенной, зачем шевелить пальцем, когда маленькая проволочка, вставленная в мозг, все превосходно уладит? И вправду, история церебеллистики, дебри которой поглотили во многих галактиках множество разумных, многообещающих цивилизаций, должна быть записана для всеобщего предостережения! Вся эта индустрия счастья, все эти усилители похоти, или вожделяторы…

– Нет, это просто невозможно! Что ты тут плетешь? К чему это? Король и сам это знает! Говори по существу! – не выдержал Трурль.

– К чему я клоню? Король это сам знает? И при этом ставит под сомнение сохранительную суть наших проектов! Я как раз объясняю, что не следует впадать в ту ошибку, которую ты совершил однажды со своей счастьестремительной инженерией.

– Замолчи! Как ты смеешь клеветать на меня в высочайшем

присутствии? Вот я тебя сейчас!..

Видя, с какой ненавистью мерят друг друга взглядом верные друзья, король выступил в роли посредника, чем ликвидировал ссору в зародыше и одновременно положил конец разглагольствованиям Клапауция.

– Не падайте духом! – сказал король благожелательно. – Я знал, что выбрал наитруднейшую из задач, но я доверил ее не кому попало. Идите же, мои дорогие, посоветуйтесь без скандалов и возвращайтесь ко мне, когда сможете продемонстрировать мне лучший мир.

И они пошли, бранясь на ходу и наскакивая друг на друга и размахивая руками, к удивлению придворных. Прошли они так через королевскую оранжерею, через дворцовые сады, через пять мостов на пяти городских каналах и даже того не заметили.

– Не в том суть, – говорил Трурль, – чтобы создать мир, застегнутый на все пуговицы, мир, очищенный от катастроф, в котором никто не мог бы никому ничего ни вонзить, ни вырвать. Это педантизм, лакировка Божьего дела. Дело не в том, чтобы вычистить его до глянца, а в том, чтобы превзойти автора в исходной концепции!

– Оставь при себе эту риторику! Ты не перед королем стоишь! – оборвал его Клапауций.

– И все-таки! В Божьем варианте одно существо не может достигнуть всех совершенств одновременно. Если я о чем-нибудь мечтаю или к чему-то стремлюсь, то этого не имею, а если имею, то не стремлюсь и не мечтаю. Я не могу упиваться надеждой, если она сбылась, а между тем сладость надежды совсем иная, чем радость обладания! Таким образом, бытие принуждает нас к постоянным отречениям. Если я ожидаю любовных объятий, то, очевидно, меня никто не обнимает, а если обнимает, моему разыгравшемуся любовному воображению уже нечего ожидать. Я не могу обнимать и не обнимать, иметь и не иметь. Что достигнуто, то мне безразлично, а что бесценно и неизменно, то недостижимо. Так наше бытие качается между чрезмерной уверенностью и излишним риском, то есть между скукой и страхом.

От голода до пресыщения один шаг. И мало того. То, что мы воображаем, всегда наше и уже потому слишком гибко, податливо и беспочвенно, а что материально, реально, безотносительно, то не зависит от нас – прямо до отчаяния. Дух слишком зависим от меня, материя слишком независима!

– Что ты плетешь?! – скривился Клапауций, но Трурль не унимался.

– Переводя эту фатальность творения на язык строительной

практики, мы отметим три ограничения свободы в бытии: материальное, временное, пространственное. Либо что-то является мыслью, либо вещью – это первое принуждение. Вторая несвобода – местоположение. Если что-то где-нибудь находится, то там же не имеет права находиться ничто другое. Третья неволя – это насилие, которому подвергает нас время, потому что мы в нем заключены: если нас выпустит среда, то поймает четверг, после четверга придержит пятница – вечная муштра, настоящая казарма; равняй шаг, ни вперед, ни назад – замечали вы, так же как и я, эту военно-строевую природу времени? Ни на волос нельзя отклониться от настоящего! Я считаю, что мы должны ликвидировать все эти ограничения. Что ты скажешь?

– Ты хочешь ликвидировать время, пространство и материю?

– Именно так!

Клапауций еще колебался, но его захватил радикальный подход Трурля, а когда он огляделся вокруг, то обнаружил, что они стоят в песочнице среди детей, ибо их как раз туда и занесло, и принялся чертить пальцем на песке контуры нового мира, а Трурль все нападал на его схемы, дети тоже мешали, тогда они поднялись и поспешно отправились в мастерскую. Прошла неделя, потом вторая, третья, они не подавали признаков жизни. Нетерпеливый Ипполип послал главного думчего на разведку, потом самого министра мыслительной промышленности, а когда и самого министра не пустили на порог, то король лично отправился к конструкторам. Застал он их, сильно возбужденных, посреди страшно захламленного зала, между штабелями аппаратов, поставленных как попало, в путанице проводов, а когда они не проявили особого желания давать объяснения, он насел на них по-королевски и настоял на своем – только тогда они посвятили его в свои тайны.

– То, что существует, мы отбросили полностью! – сообщил ему Трурль. – Если можно так выразиться, мир первоначально был навязан сотворенным без всякой предварительной консультации, поскольку творец решил их, сотворенных, этим миром раз и навсегда осчастливить. А что, если они желают быть осчастливленными не по его методике, а совсем по другой? Или вообще хотят отказаться от финального счастья? А может, в один момент хотят, а в другой – не хотят? А может быть, один по этому поводу придерживается одного мнения, а другой – другого? Что тогда? Авторитарно навязывать конформизм? Четко обозначить дороги в рай и в ад, стричь всех под одну гребенку, карать непокорных оригиналов и награждать оппортунистов? Мы поступили совершенно иначе. Сначала мы выбросили из Вселенной материю, пространство и время.

– Не может быть! – Король был поражен. – Зачем? И что вы дали взамен?

– Зачем? – Трурль потряс головой. – Затем, что дух хочет, а не может, и материя может, но не желает. Лучезарный король этим озадачен? Но это же бросается в глаза! Что можно себе представить расточительнее Космоса? Миллиарды миллиардов огней, горящих и тлеющих в вечности, – и что из того? Что это дает? Чему это служит? Богу? Но ведь его вечное сияние не измеряется в люменах и светит в ином измерении! Может быть, нам? Тоже мне служба! Материя может много, разумеется; если бы не могла, то и нас не было бы, но из такого разбазаривания сырья, вулканического растранжиривания, после стольких ошибочных, путаных, эпилептических мучений она рождает щепотку здравого смысла! К чему такой размах? Для драматического эффекта? Но ведь сотворение не спектакль.

А дух, в свою очередь так увязший в материи, закованный в ней трагикомический узник! Рвется вон из тела, а в это время тело его рвет и само нарывает, пока не распылится или не растечется… С этической точки зрения это непристойно, а с эстетической – отвратительно. И потому мы выкинули материю-идиотку и духа-узника, решив создать нечто осредненное между их крайностями. Наш материал – аматерия. Nomen omen! Amo, Amas, Amat, не так ли? Ars amandi [49] – не какая-нибудь там прана, дао, нирвана, студенистое блаженство, равнодушное безделье и самовлюбленность, а чувственность в чистом виде, мир как эмоциональная привязанность молекул, уже при рождении хозяйственных и деловитых.

Электроны, протоны у нас вращаются друг вокруг дружки не оттого, что есть силы, кванты аматериального поля, а оттого, что просто любят друг друга! Теперь понимаете, что поступками аматериального существа движет не физика, а симпатия? Вместо трех законов Ньютона – притяжение нового типа: нежность, забота, любовь. Вместо закона сохранения количества движения – правило сохранения верности, что же касается теории относительности, то чувства вообще относительны, только у нас вместо наблюдателя – возлюбленный, а вместо факта – такт. А поскольку мы отказались от бренных тел, то и в эротике у нас больше нет физики – никакого трения, давления, смазки, сжатия – таким образом, по самой природе любовь в нашей Вселенной должна быть идеальной!

– Ну а время? А пространство? – допытывался заинтригованный Ипполип.

– Времени мы придали покорность и эластичность, чтобы оно слушалось тех, кому это необходимо. Эластичность эта

представляет собой так называемый трюм. Вместо казарменного существования, вместо парада часов, минут, секунд в неумолимом календарном режиме под барабанную дробь часового механизма у нас каждый может трюмить неравномерно, как ему нравится. Кто спешит, тот стрюмит из среды прямо в субботу, а кому нравится четверг, может четверговать себе досыта. А пространство мы убрали полностью, потому что его размерная категоричность содержит в себе серьезную угрозу для живущих.

– Да? Я как-то не заметил.

– А как же? Во-первых, в нем помещается всегда только что-то одно, а когда туда же проникают и другие вещи, происходят несчастья. Например, если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место. А огромные расстояния, которые приходится преодолевать? А теснота – информационная, демографическая и порнографическая? Дух непространственен – его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать, причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить.

– Ну хорошо. И как же вы все это устроили?

– Пространственность заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу и даже там, где уже есть другие. Что же касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма, либерализм без анархии, а также идеализм без солипсизма. Индивидуализм, а следовательно, личность, а не какое-то там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье. Конкретное существо, но не самолюбец, занятый только своей особой, скорее, даже вселичность, потому что простирается безгранично. Ото всех в нем понемножку. Он не везде одинаков – здесь его больше, там меньше, а где его что-то заинтересует, туда его сразу наплывает много, то есть создаются очаги концентрации, вызванные желанием или возвышенной решимостью. Иначе говоря, духовная сосредоточенность вызывает физическое сгущение.

Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешае***Tun***роблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать. Только помысли о цели – и тут же начнешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности.

– Как я понял, мир этот у вас уже готов? Что же вы запираетесь и не впускаете моих посланцев? Что? Опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же, не то разгневаюсь!

Трурль посмотрел на Клапауция, Клапауций на Трурля и – молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал Ипполип пальцем на Клапауция:

– Говори ты!

– Возникли неожиданные сложности…

– Какие? Ну что мне, по слову из вас вытягивать?

– Сложности неожиданные… Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас, но чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит…

– Не понимаю. Что-нибудь портится?

– В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов, в этом легко убедиться. Трурль, включи проектор…

Трурль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках, что-то там нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или глазунью из павлиньих яиц, но быстро сориентировался, что это и есть Крентлин Щедрый, едва зачатый сознанник вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползался, а поскольку Природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо все психическое там становилось сразу и метеорологическим. Досаждали ему только ложные влюбленности – амурные миражи, потому что приливы одних его чувств наталкивались на наплывы других, ухаживая за ними по недоразумению, и так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя же влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждался, что это все только он сам, а он все же не был самолюбцем и вовсе не себя хотел полюбить, потому все горизонты ему заволокло тоской. И так как кругом был только он сам, это и определило его пол и он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. А поскольку все индуцируется с противоположным знаком, он сразу же решительно возжелал иносущества женского пола. Стал воображать себе девиц-зоряпиц с неопределенной, но весьма понятной клубистостью, и ходила в нем та любовь к неведомым раскрасавицам как стихия, и главным образом там, где он почти прекращался.

Так по крайней мере можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления.

Мысли его становились все более темными, прямо черными и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Потому что так выглядели плоды безнадежных медитаций – будто окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил несколько самых крупных на выгон, тихо мигая заревым блеском, а потом пустил копоть и прояснился с явным удовлетворением? Может быть, это был способ избавляться от душевного балласта? И так он с собой боролся, так его бросало из стороны в сторону от неудовлетворенных чувств, так выставлял из себя друголы в разных фазах упоительной консолидации, что надорвался где-то на периферии и выронил из себя нечто вроде облачка-кумулюса, отделенного вихревой стеной от грозового фронта. Образование это некоторое время влачилось за Крентлином, пока не взялось за самоурегулирование. И тогда оказалось, что он выделил не ту единственную друголу, о которой мечтал, а полтреть их, Звоину, то есть Цеву, или Цевинну, несомненно, женскую, а также подобных близнецам-полумесяцам двух ее мужей. Поначалу они были как муравьи, никакого пола, но женственность Цевинны индуктировала в ней двоемужество. Собственно, их было не два и не полтора, а скорее, разветвленец, как бы переходный, – но таким уж он и остался как Марлин-перемычка-Понсий, или же Пунцский, потому что то и дело краснел.

И тут все жестоко перепуталось. Крентлин даже и не знал, что сам явился причиной своей беды, что к двумужнице страстью разгорелся. Не заметил даже, как, пылая, терзаясь приступами ревности, особенно в мысленной погоне за Цевинной, выделяет очередные существа, калибром и форматом соответствующие резкости чувственных перенапряжений.

Так от его любовных метаний и заселялся этот мир. Никто там никому не вредил, тем более что они могли легко и даже фривольно мимоходом проплывать сквозь друг друга, задерживаясь разве что на особенно интересной идее проникаемого, и то мимолетно, без видимых последствий. Но все-таки что-то отягощало их души, потому что мало кто из них не ронял тех черных, как чернильные орешки, конкрементов загустевших мыслей – может быть, плодов слишком холодной и потому застывшей рефлексии. И этого было достаточно, чтобы выгоны покрыла морена – настоящая мировоззренческая свалка. А то, что происходило над ней, понять было трудно. Крентлин во время, казалось, случайных встреч просвистывал сквозь ветреницу Цевинну, как блуждающий вихрь, будто ее не замечал, но это была только видимость. Он ощущал сумасшедшую дрожь, чувствуя, что она то тут, то там ему симпатизирует, что местами

он ей вовсе не безразличен. Тогда он начинал сладостно густеть в ее пределах, но она делала тщетными эти окклюзии, давая бедняге холодный афронт.

И однажды Крентлин, уходя, куда мысли понесут, после такой диффузии, которая обернулась конфузией, выронил облачко, очень малозаметное, которое кружилось некоторое время, очевидно, в нерешительности, хватит ли его при такой щуплости на персонализацию. И потом это существо так и не выросло, а только удлинилось, и юркое, как юла, то и дело проскальзывало в Крентлина, то ли с целью подстрекательства, то ли чтобы побыть в ком-то более значительном. А потом этот прихлебатель отрывался и бывал меньшинством у Цевинны. Мародер? Непрошеный гость? Осмотический отшельник? Злонамеренный нахал? Неизвестно. Во всяком случае, досаждал и ей, и ему, так что они отряхивались после его посещения. Зато Марлина-перемычку-Понсия этот странный переуженец избегал как огня.

Тем временем в поведении Крентлина произошла перемена. Ни с того ни с сего он так впух в двоемужа, так в нем разлился, как будто собрался вытеснить его из бытия. Но Марлин-перемычка-Понсий даже не покраснел. А карлик, истинный недоносок, крутился то туда, то сюда, захватил несколько философских камней, но тут же их выбросил и покрылся пятнышками, похожими на глаза. Высматривал кого-то или что еще? Похоже было, что он даже многозначительно моргает. Все как-то приостановились. Почему-то никто уже не взыгрывал духом. Почему-то все поблескивали. Было это преломление света или духовный надлом? Неизвестно, до чего дошло бы дальше, но в этом месте король Ипполип принялся топать ногами и проекцию пришлось прервать. Король требовал объяснений.

– Увы, государь, мы этого сами не понимаем, – сразу признался Трурль. – В этом и состоит наше главное затруднение. Мы не знаем, чем являются действия Крентлина и Цевы – невинными играми или черной язвой нашего творения. Хуже того, мы не знаем, как бы нам это узнать. Мы повторяли опыт неоднократно, сменяя исходные условия. Иногда вместо двоемужа получался полторант, иногда Цевинна получала перемычку, но это статистические отклонения, вполне банальные при любом сотворении мира.

– А этот переуженец?

– Этот вьюн? Понимаю, что имеет в виду Ваше Величество. Он появляется каждый раз, иногда бывает побольше, иногда поменьше, временами несколько раздвоенный, как змеиный язык, что тоже вызывает всяческие подозрения. Но королю должно быть

известно, что в каждом производстве имеются отходы, а там, где все настолько же материально, насколько и идеально, даже мусор может быть одушевленным. Следовательно, с технической стороны этот феномен представляется невинным побочным продуктом творения.

– Ты так полагаешь? Только почему он такой настырный? Чего он в них лезет? Может, это соблазнитель?

– Внешне так оно и выглядит, – согласился Трурль. – Но мы-то не знаем, соблазняет он или не соблазняет. Они там все взаимно проникают, но ради прогулки или с намерением прельстить, невозможно разобраться, потому что никак нельзя выяснить, чего им надо. Тут мы попали в переплет, потому что вышли за пределы классического варианта творения. Тот духовный солитер извивается, как змий, поскольку худой он, а значит, и гибкий. Правда, согласно теологии, дьяволу и не полагается лишний вес, но, если посмотреть рационально, разве непременно зло должно быть тощим? Корпулентное тоже вполне могло бы искушать. Мы ничего не повторили и никому не подражали, когда создавали новый мир, – и вот результат. Мы создали мир, непохожий на наш, вот мы его и не понимаем.

– Что ты мне тут рассказываешь? А разве Господь Бог кого-нибудь копировал? Ведь он, как известно, творил из ничего!

– Только сам мир, Ваше Величество, а не райских поселенцев! Тех, если помните, «по своему образу и подобию». Примерно так он их смоделировал. И не случайно. Подобие сотворенных своему творцу – главное условие удачного творения! Чем сильнее отличается творец от своих детищ, тем меньше его разумение о том, кого же он сотворил, что они чувствуют, мыслят и каковы их намерения. Ваше Величество сами в этом только что убедились. Кто ликвидирует подобия, тот уничтожает оплот взаимопонимания. Если мы сами ни в чем не напоминаем сотворенных нами, то не можем и понять, кто, как, почему и зачем там что-то делает, а в первую очередь – почему он делает это так, а не иначе. Речь тоже ничего не объяснит, потому что основана она на подобиях, а их тут нет. Если у нас нет никаких органов, подобных органам сотворенного, если его телесность ни в чем не соответствует нашей, если его время – не наше время, а его пространство – не наше пространство, то оба наши мира ни в чем не совпадают и даже нигде не соприкасаются. Так мы можем по невежеству создать мир наиужаснейших мучений, и при этом у нас не хватит воображения даже представить, что мы сотворили. Существа, совершенно отличные от творца, для него совершенно непроницаемы и непостижимы. Я считаю, что это первый закон творения миров, его неотделимая антиномия. Либо мы сотворяем

понятных нам, и тогда они должны быть богоподобными, либо создаем непохожих, судьбе которых не сможем даже сочувствовать, ибо она останется непроникаемой тайной.

– Вот! Вот это важно! О! Фундаментальную вещь ты сейчас сказал, Трурль! – вскочил с места Ипполип. – Да! Теперь я вижу! Я понял! Суждение, что тот напухлец там познавал блаженство, потому что так цветисто дымил, как доказательство истины стоит столько же, сколько утверждение, что тот, кто эффективно горит на костре, испытывает от этого удовольствие! Теперь я понимаю! Повернуть дело творения лицом к сотворенным – это одно, а понимать, как у них там дела, что они имеют от этого бытия, – это совсем другой вопрос! Друзья мои, изъявляю вам нашу особую благодарность за это откровение, ибо оно утвердило меня в вере. Теперь я буду еще крепче верить в Бога, чем до сих пор.

– Не вижу связи, – удивился Трурль.

– Не видишь? А «Credo quia absurdum est»? [50] Вечный – самопортящихся породил, всемогущий – беспомощных, всеблагой, кому ни малейшего труда не составляет сохранение добродетели, – похотливых ничтожеств. Как же ему не разочароваться, видя такое сочетание качеств? «По своему образу и подобию» он строил свои ожидания, но оказался неспособен миниатюризировать их до масштабов сотворяемого! Вечного огня ожидал он от искорки своего блеска! Отсюда его кажущаяся эксцентричность, мнимые Божьи чудачества, впечатление, что он какой-то шарлатан, чудак, маньяк, сутяга и крючкотвор, который и после смерти тянет сотворенных на судебные процессы, расследования и разбирательства во всех инстанциях долины Иосафата.

Ах, теперь я понял, что так угнетало отцов церкви, а особенно Августина – эту непостижимость, унизительную не только для здравого рассудка, но и для чувств, они не смогли понять, упрятали свое изумление в догматы, отказались от собственного разума, не зная, что им явилась антиномия, заключенная в технике, а не в этике творения. Да, конечно, это так! Теперь я уже без всякого сомнения верю в Бога и сочувствую ему, – уже спокойно закончил король.

Однако Клапауций его вовсе не слушал. Казалось, он что-то внутри себя переваривал, усмехаясь мыслям, навестившим его неожиданно. Наконец он поднялся с мира, на котором сидел, притом так торжественно, будто собирался взлететь.

– Наисветлейший король! – произнес он важно, сильным голосом. – Мне пришла в голову одна идея, совсем новая. Я не люблю хвастать, но должен сказать, что это замысел совершенно гениальный. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы создать

мир, стремящийся к совершенству, такой, жители которого найдут и утвердят во веки веков собственное счастье, но при этом не будут ни в чем, повторяю, ни в чем похожи на того, кто их сотворил…

– Ну! Ну! – в один голос воскликнули Трурль и Ипполип…

Однако Клапауций ничего им больше не сказал. Сказал только, что через четыре дня приготовит новый мир и экспериментально докажет его безупречность. Напрасно настаивал монарх и злился Трурль. С улыбкой высшего знания, с насмешливым равнодушием гения, который, заслужив вечную славу, ни во что не ставит злопыхательство завистников, Клапауций начал подбирать с полу инструменты. Тогда Трурль заявил, что умывает руки и не будет участвовать в очередной попытке, но пойдет и сам проведет эксперимент в новом направлении. Монарх условился о встрече с обоими конструкторами в дворцовом зале аудиенций в ближайшую среду, и с тем они разошлись.

В среду оба прибыли пунктуально. Трурль с пустыми руками, а Клапауций прикатил тележку, которая трещала под тяжестью аппаратов, и сразу же приступил к демонстрации.

– Государь, я достиг успеха, – сказал он. – Но чтобы все было с самого начала ясно, я должен сделать к моему творению небольшое устное вступление. Мой… э-э… коллега Трурль сформулировал антиномию творения в классическом варианте следующим образом: чем меньше подобен творец своим сотворенным, тем труднее ему разобраться в их судьбе. Когда же в пределе подобие равняется нулю, творец не знает о качестве жизни своих креатур ровно ничего. Отсюда якобы неразрешимая дилемма: либо уподобить творимых самому себе, но тогда чем лучше творец будет понимать сотворенных, тем больше будет ограничен он сам и утратит творческую свободу, либо чем свободней он в своих начинаниях, тем дальше будут от него ускользать сотворенные в своей сущности и существовании. Я уничтожил эту дилемму своим неклассическим подходом. Я сотворил не один мир, а потенциальное их множество – не универсум, а поливерсум вызвал я к жизни в этом ящике. Я сам не знаю, как живется там теперь моим существам, но мое незнание не имеет никакого значения, потому что я поместил их в многовариантном мире, который они могут менять на совершенно иные миры. Кому не подходит данное существование, кому все осточертело, тот бежит к рычагу и одним поворотом переводит бытие на новый путь. И каждый такой мир существует на распутье, будучи пересадочной станцией для бесчисленного множества других, легко доступных миров. А поскольку мои

сотворенные сами копаются в бытиях, как в разложенных товарах, поскольку могут примерять их как шапки, руководствуясь своим собственным, а не моим вкусом, то получается вселенная, которая в конечных качествах зависит только от голосования ее жителей. Как творец я дал им максимальную свободу! Я ничего не выбираю за них, не даю им никаких рекомендаций, инструкций или заповедей – ни из горящего куста, ни из какого другого места, я ничего им не навязываю и ничего им не запрещаю, не делаю вида, что знаю лучше них, в чем заключается их счастье, что возвышает их, а что ведет к падению. Они могут заблуждаться, но ни одна ошибка не будет окончательной, ибо ее исправит переключение онтологической стрелки. А потому мой мир не является дидактическим, авторитарным, школярским, арбитральным, категорически заданным раз и навсегда без всяких консультаций и дискуссий. Это не исправительный дом с карами и поощрениями, которые я мог бы установить, сохранив для себя право помилования в исключительных случаях. В этом мире нет подпруг, которые я один мог бы иногда отпустить своим чудотворным вмешательством.

И поскольку этот мир будет все время преображаться и менять суть до тех пор, пока в нем останется хотя бы одна личность, не удовлетворенная тем, что есть, он будет блуждать, пресуществляясь в разные стороны, погружаться в разные судьбы, пока не попадет в такую, которая всех удовлетворит. Только тогда никто не тронет переключателя, ибо воцарится вечная гармония. Итак, мой мир не стартует в раю, чтобы потом поскользнуться в сторону ада, а берет начало в борьбе и направляется к вечному раю. Я все сказал, государь.

– Ага! – сказал Ипполип, который просветлел лицом, пока слушал Клапауция. – Вот! Это мне в самый раз! Давай! Ну, ну! Кажется мне, что на этот раз ты угодил в десятку! Говоришь, учредил выборы? Пятидостойное демократично-онтичное голосование: равное, всеобщее, свободное, тайное, да еще и обратимое? Что ж, это похоже на идеальное равноправие. И говоришь, не можешь ничего понять, ихних там поступков, мотивов? По правде говоря, немного жаль.

– Вот, вот! – Клапауций поднял палец укоризненным жестом. – «Немного жаль», не так ли? Жаль, что нельзя возноситься, вмешиваться, мудрить, требовать, ругать, обласкивать, приводить в исполнение, рога обламывать, поливать серой и при этом петь себе дифирамбы устами сотворенных! Конечно, можно кое-что понять и в таком мире, как этот мир в ящике, но это возможное понимание ни к чему не обязывает, оставаясь чем-то вроде частного мнения, votum separatum Творца,

записанного на полях его Творения…

– Ну что ж, покажи, покажи, любезный, нам свой мир, – вздохнул Ипполип и поудобней уселся на троне, а Клапауций, не обращая внимания на угрюмо молчавшего Трурля, пустил сноп света на алебастровую стену.

И снова они увидели Крентлина-зорянина, его духовные метания и заблуждения, закончившиеся появлением на свет гермафродитного потомства. Цевинна совсем не изменилась, а муж на этот раз оказался полтораком, потому что на него пошло меньше аматерии и он появился как по туловищу перевязанный Марлин Подпонций.

А так как присутствующие это уже раз видели, картина показалась им вполне доступной для понимания, а кое в чем даже ясной. Каждый созданный был понемножку везде, каждый, общаясь с другими отдельными своими частями, присутствовал по желанию в братних и сестринских душах, посещая ближних изнутри с умеренностью, происходящей от поверхностного натяжения и хороших манер. Видимо, желая доказать бесполезность артикулированной речи для понимания событий, Клапауций включил звук, и этот немой до сих пор мир взорвался многоголосым говором.

Сразу же донеслись до них отзвуки трюмления. Это муж, Марлин, раздувал себе приятные минуты в Цевинне, блуждая в ее размышлениях. Потом что-то между ними испортилось. Подпонций удалился, слегка затуманенный сзади, а Крентлин стал напирать на нее. Цевинна не пропускала его вовсе, будто аппретированная.

– Ну, дай мне хотя бы один трюм! Соснимся! Затуманы устроим!

– Сам затуманься! Прошу в меня не вмешиваться! Это моя клокоть!

– Осмотическая прелестница, зоревая сгустница! Пустим Понтяка на клейстер!

– Вы забываетесь! – донеслось неразборчиво.

– Что тебе, полторант милее? Я тебе вмою, втрою, замстру!

Не совсем было ясно, кто, о чем и в каком смысле кричит. Посреди морены из отвалов философского камня тут и там торчали аккуратно покрытые навесами пересущницы. Цевинна от взъяренного Крентлина стянулась к ближайшей из них, где сидел на страже привратник, непроницаемый, будто весь затянутый бельмом, этакий молокосос. Между ними произошел краткий обмен мыслями:

– Дай мне сплав, дай отпуст, хоть на один трюм, а то съюхчу! Шансуй мне забыт, во как нужно! На мучильский всос!

– Отоймись, смотри, перебытую! Не балуй, не еленься, ты!

Пользуясь замешательством, Цевинна уже диффундировала сквозь привратника к рычагам, но в этот момент Крентлин, выйдя из себя, окружил ее сгустки, внедрился в нее, захватив по дороге молокососа, и начал ее ожесточенно трюмить: «Засущимся здесь, тут!..»

А уж Марлин рвался к ним так, что лопнула перемычка и муж вместе с отделившимся побочным Подпонцким влетели в Крентлина с намысленной стороны, распучили его, вышла куча мала. Цевинна выскочила оттуда растормошенная и стала иннеть. Каждую минуту меняется: евится, мариолизуется, наконец, слюдмилась – что это, болезнь или вид мимикрии? По некоторой относительной близости наеленилась, но стала скорее Елендой, чем Еленой, может, от волнения, а может быть, второпях.

Тем временем над пересущницей Марлин и Подпонций с Крентлином превратились в клубок кипящего киселя, размазывая во взаимных турбуленциях привратника, который напрасно старался сосредоточиться, потому что его рассеивали с подмысленной стороны.

– Чтоб ты лопнул, чужеловская диффузия! – вопят как один мужья.

– Сами лопайтесь! Впитывайтесь в мертвячий чух, а не то я вас сам впитаю! – отвечал им любовник, хотя и неудачливый, но уж близкий к цели.

– Ты, растворяк, черт с тобой! Вали в онтику!

Крентлин в один миг вымыслился из пересущницы и уж был рядом с Цевинной, наполнил собою ее всю, хотя и в фазе Еленды. Муж тут дернулся сразу в обе стороны – к жене и к рычагам:

– Пересущаюсь, чтоб Крентляк впитался! Цева не изменится? Мигом мне шансуй, беляк!

А привратник совсем выцвел и сипит:

– Пусти, радикал лощеный! Или по нулям, или трансфинально. Компромисс не советую – трюма не выйдет!

– Уточни! Кто занулится? Влезун?

– Гы! Может, твоя четверть, а может, Понцкая, а может, и оба пропадете. Я не пророк, а шансер.

– Шанса тебе в трюм! Затьмись! Пересущаюсь!

Подскочил Марлин к пересущнице, Подпонций с ним вместе тянет.

Тут блыснуло, заничевело, но через мгновение опять они тут, но не те же самые, ибо онтика стала совсем другая. Понция нет и следа, Крентлин уже не Крентлин, а Гренслич, и к тому же карликовый, как будто его таким индуктировала экономная Цевинна, которая сама ничуть не изменилась, по крайней мере на

первый взгляд. Пресуществление вызвало всеобщую панику. Кто мог, сразу нырнул в кого попало, то ли чтобы спрятаться, то ли от утробного рефлекса – неизвестно. Каждому хотелось быть в самой середине. Цевинне тоже, поэтому она двинулась в посторонние неясницы, но попала как раз в область таких отдаленных интересов, что ее там вообще почти не было, тогда она прояснилась навылет и выпала на морену. Она еще дрожала, а тут – что за постоянство чувств! Марлин пополам с Гренсличем к ней. Тут она смешалась, а они с нею. Она хотела уйти прочь, стряхнуть их, выйти из этого бедлама, в котором уже никто собственных мыслей не узнавал и тянул к себе чужие, принимая их за свои в психическом замешательстве, почти что помешательстве. Цевинна развеялась оболочками, а те с трудом опомнились, полные чужих чувств, и направились к пересущнице. Теперь Марлин дал другое бытие. Из хаоса воплей можно было заключить, что теперь уже никто ничего не понимает.

Дым повалил, как от ста пожаров без огня. Казалось, что каждый, по-прежнему вездедействуя, кроме того, выпускал из себя будёх, то есть планы на будущее, неисполненные намерения, и тем обильнее, чем отчаяннее старался сосредоточиться.

Возможно, это была лишь форма экстернализации мыслей, или же в конце концов (так потом утверждал Трурль) дело дошло до панпсихической аннигиляции, и упомянутые дымы были вывороченными наизнанку интеллектуальными потрохами жителей этой версии бытия.

Глядь, а тут Гренслич разлетается во все стороны, вместо мировоззренческой морены какие-то тумбы, до самого горизонта умозаключается тихая мыслительность, мир в этом варианте как бы более доодушевленный, но в высшей степени официальный, потому что повсюду какие-то гербы и печати. Муж не муж, а уж и сползает к Цевинне с довольно сильной прецессией. Сила Кориолиса, Мопертюи или привычки – не разберешь. Вдобавок ко всему исчезло деление по родам. Неизвестно стало, что предпринимать, потому что пропал смысл конфликта. Секс тут уже из области преданий – не секс, а экс. Муж-уж, не разобравшись в этом вследствие сильного аффекта, кинулся было в глубь Некароля Гренслицкого, шипя: «Я ж тебя заклокочу, я тебе покажу этрусское бытие!» – но остолбенел, увидев, что перед ним не любовник, а любовно: сникакала Гренслича эта онтология.

А тут еще вмешался молокосос, вдруг отпихнул ужа, а сам шасть в пересущницу и – полный назад, чтобы вернуть нечто предыдущее, но либо попал в дурной трюм, либо хватка у него соскользнула с онтоятки. Охнули все координаты, континуум ужасно застонал, как будто с ним выкидыш случился, посыпался

град философских камней, и сверкнул новый мир, но какой!

Из мужа-ужа получилась растопырка, явно женственная, как будто этого женского начала чуть-чуть оставалось на самом дне, привратник, весь в батистовых оболочках, как вьюнок обвился вокруг пересущницы и расцвел над рукояткой радужным цветком – ни дать ни взять папоротник в ночь на Ивана Купалу!

А где же Цевинна? Какие-то раздутые вспученности, пузыристые завитушки, баллонеты-монгольфьеры в небесах – она ли это? Растопырка из ужа влезла в соседник, где пелегриб с недодуткой разглагольствует, стоя на одной ноге, а со ста сторон, дрожа от усилий, ложноножки тянутся к онтоятке…

Король уже минуту как требовал прекратить проекцию, немедленно закончить. Клапауций наконец неохотно повиновался. Он выключил аппаратуру, ворча, что можно было бы обождать еще несколько пересуществлений, что в конце концов все это должно как-то отдистиллироваться, разъясниться, это они так, по неопытности, с непривычки, из-за спешки, но никто его не слушал. Король сунул скипетр в карман и чистил державу рукавом, а Трурль, став на четвереньки, с трех сторон осматривал ящик со вселенной, зажмурив то один, то другой глаз, заглядывал внутрь через щели, постукивал в дно, потом решительно поднялся и сказал, стряхивая колени: «Значит, так. Выбравшись из классической антиномии, уважаемый коллега влез в неклассическую». Пятидостойные выборы онтологии – не так ли? Смешно! Они же в этом ящике ничего не выбирают, а только скачут, как рыбы на сковородке, бедняжки. Открытие, несомненно, налицо: падучая многосущая, или ontolepsia progressiva – новый вид экзистенциальных страданий. Ведь они тем только и заняты, что от холеры бегут к чуме, от чумы к проказе, и как можно при этом утверждать, что, убегая от одной заразы в другую, сотворенные таким образом приближаются к идеалу?

Тут Клапауций начал кричать и даже, забыв о королевском присутствии, топать на Трурля, который уселся на его мир и вызывающе болтал ногами. Дело могло дойти до оскорблений действием, если бы не вмешался Ипполип, напомнив, что это как-никак, а все же сотворение мира.

Едва остыв, Клапауций принялся бойко и научно объяснять, почему множество альтернатив бытия должно оказаться для сотворенных непредсказуемым: бытия не ботинки, чтобы их можно было примерить! Риск есть при каждом переходе, это накладные расходы прогресса. Но в его, Клапауция, варианте расходы эти меньше, чем в классическом, и он готов доказать это расчетами. Примерка бытия невозможна еще и потому, что когда

кто-нибудь переходит из одной онтики в другую, то он не только меняет все свое окружение на совершенно новое, но вместе с тем и собственную сущность подвергает непредсказуемому изменению. Риск здесь неизбежен, а пробы требуют времени, но что такое десять минут лишних наблюдений в сравнении с целыми эпохами классического варианта? Идеальное состояние может наступить через час или через двести лет, это правда, но другого пути не существует… Так он продолжал, употребляя все более замысловатые термины, ссылаясь на топологию духа и геометрию осознаний и озарений, излагая элементы эндоскопической онтографии, климатизации эмоциональной жизни, ее уровней, экстремумов, подъемов, спадов, а также упадков духа, и болтал так долго, что охрип, а у короля разболелась голова. Тогда Трурль поднялся с мира, на котором сидел, и, вынув из-за пазухи небольшой клочок бумаги, сказал:

– И я тоже не тратил попусту эти последние дни, государь. Позвольте представить Вашему Величеству результаты моей работы.

– Подожди, – прервал его король. – Один из моих советников так мне вчера сказал: если мир выйдет у нас лучше, чем у Господа Бога, тогда он выиграл, потому что это значило бы, что он наделил нас, сотворенных, неограниченными творческими возможностями. Если же мир нам не удастся, то выходит, что он нам этого всемогущества не дал, потому что не захотел. Итак: если выиграем, то проиграем, а если проиграем, то как раз и выиграем! Ведь выиграть мы можем только за его, за Божий счет, в то время как, проиграв, мы проявим немощность, которую он нам придал, и эту немощность ему возвратим с протестом, что мы жертвы дискриминации при сотворении мира! Что скажете?

– А! Софизмы! – Трурль сунул королю под нос свою бумажку и при этом забылся до такой степени, что, желая до конца унизить Клапауция в монарших глазах, потянул короля за обшитый горностаем рукав: – Вот, взгляни сюда, государь! Это проведенное мною формализованное, то есть окончательное доказательство *невозможности* сотворения мира!

– Да ну? – изумился монарх. – Что я слышу? Так ты действительно доказал, что нельзя?

– Да, государь. И без всяких натяжек. Нечего и стараться – вот расчеты.

Король вытаращил глаза.

– А как же, однако, все это? – развел он руками. – Мир-то существует…

– Что ж, – пожал плечами Трурль. – Таков уж этот мир… Я-то имел в виду совершенный…

Воспитание Цифруши [51]

Когда Клапауция назначили ректором университета, Трурль, который остался дома, поскольку терпеть не мог любой дисциплины, не исключая университетской, в приступе жестокого одиночества соорудил себе премилую цифровую машинку, до того смышленую, что втайне уже видел в ней своего наследника и продолжателя. Правда, всякое между ними бывало, и, в зависимости от расположения духа и успехов в учении, иной раз звал он ее Цифрунчиком, Цифрушей или Цифрушечкой, а иной раз – Цифруктом. Первое время игрывал он с нею в шахматы, пока она не начала ставить ему мат за матом; когда же на межгалактическом турнире она одолела сто гроссмейстеров сразу, то есть влепила им гектомат, Трурль убоялся последствий слишком уж однобокой специализации и, чтобы ум Цифруши раскрепостить, велел ему изучать в очередь химию с лирикой, а пополудни они вдвоем предавались невинным забавам, например, подыскивали рифмы на заданные слова. Именно этим и занимались они в один прекрасный день. Солнышко пригревало, тихо было в лаборатории, только щебетали реле да на два голоса звучала рифмовка.

– Внемлите? – предложил Трурль.

– Литий.

– Взор?

– Раствор.

– Солнце?

– Стронций.

– Тюльпан?

– Пропан.

– Храм?

– Вольфрам.

– Уста?

– Кислота.

– Кой черт, сплошная химия! – не выдержал Трурль. – Ты что, не можешь другой извилиной пошевелить? Убит!

– Карбид.

– Хлебнуть?

– Ртуть.

– Акация?

– Полимеризация.

– Прадед?

– Радий.

– Силен?

– Этилен.

– Довольно химии! – разгневался Трурль, видя, что так можно продолжать без конца.

– Это почему же? – возразил Цифрунчик. – Такого запрета не было, а правила во время игры не меняют!

– Не умничай! Не тебе меня учить, что можно, а чего нельзя!

Между тем малыш преспокойно продолжал:

– Теперь ты. Магний?

Трурль не отзывался.

– Гафний? Цезий? Кобальт? Спасибо, я выиграл! – заключил Цифруша.

Трурль, тяжело дыша, начал было озираться в поисках гаечного ключа, но затем, овладев собою, сказал:

– Хватит на сегодня играть. Займемся-ка более высоким искусством, а именно философией, поскольку она – царица наук и как таковая касается абсолютно всего. Спроси меня о чем хочешь, а я отвечу тебе дважды, сперва по-простому, а после по-философски!

– Правда ли, что тепляк – это подогретый земляк? – спросила машинка.

Трурль откашлялся и произнес:

– Нет, ты не так меня понял, твой вопрос касается словаря…

– Но ты же сказал, что философия касается всего на свете! – настаивал Цифрунчик.

– Спрашивай про другое, раз я тебе говорю!

– Почему скверный делец не то же самое, что деловитый сквернавец?

– И откуда ты только берешь такие дурацкие вопросы?! – возмутился Трурль. – Ну, хорошо. Выучки тебе еще не хватает, это понятно. Знаешь ли ты, чего хочешь?

– Малость поинтегрировать.

– Да не в эту минуту, осел, а в жизни!

– Хочу превзойти тебя славой!

– Это желание суетное, не стоящее усилий и уж наверняка не достойное быть целью всей жизни!

– Тогда почему ты увешал стены грамотами да дипломами?

– Просто так! Это не имеет значения. И больше мне не мешай, а то я тебя вмиг перепрограммирую!

– Ты не можешь так поступить, ведь это противно этике.

– Хватит. Идем на чердак – я устрою тебе наглядную лекцию по философии, а ты слушай молча, учись и не встревай!

Пошли они на чердак, Трурль приставил лесенку к дымоходу, поднялся по ней, за ним взобрался Цифрунчик, и вот уже они стояли на крыше, откуда вид открывался далеко-далеко.

– Взгляни-ка на лесенку, по которой мы поднялись, – благожелательно сказал Трурль. – Куплена она мною по случаю, однако оказалась длинновата, а укорачивать ее не хотелось, уж больно хорошее дерево; во***Тип***роделал я в крыше дыру и в нее просунул излишек. Как видишь, теперь лесенка на два метра выше кровли. Если подниматься по ней, то поначалу каждый твой шаг имеет однозначный и ясный смысл. Но если, оставив внизу чердак, ты будешь взбираться и дальше, смысл, содержавшийся в предыдущих твоих шагах, улетучится на уровне гребня крыши и не останется никакого иного смысла, кроме того, который ты сам вложишь в свои начинания! Поэтому, будучи спрошен, зачем я ставлю ногу на нижние ступени, я вправе ответить: «Взбираюсь на крышу»; но этот ответ не годится, если взобраться на самый верх! Там, наверху, дорогой мой Цифруша, надобно уже самому выдумывать цели и смыслы. Такова in ovo [52] вся теория высших сущностей, то есть разума, который, высунувшись из болтанки и передряг материи, начинает дивиться как раз тому, что он разумен, и не знает, что ему делать с самим собой и что означают его сомнения! Запомни мои слова, Цифрунчик, ибо это чрезвычайно глубокая притча с философской подкладкой!

– Не значит ли это, что нас занесло чересчур высоко? – поинтересовался малыш.

– В известном смысле да, по инерции, ведь этот процесс уже не притормозить, если он набрал ходу. А теперь сосредоточься, потому что я буду говорить о различии между возможным и невозможным.

– Я сам слышал, как ты говорил дяде Клапауцию, что можешь все! – выпалил Цифруша.

– Ты замолчишь когда-нибудь или нет? Я говорил в другом смысле. Знание кладет конец удивлению, ведь того, кто все знает, ничто не в состоянии поразить! Поэтому меня ничто удивить не может, понятно?

– А если б случилось то, что кажется тебе невозможным, ты и тогда бы не удивился?

– Не мели чепуху. Невозможное не может случиться. Если б, к примеру, сейчас в наш садик упал метеорит…

Он не докончил – послышался пронзительный свист, дом задрожал, несколько черепиц соскочили с крыши, лесенка завибрировала, а в саду вырос столб пыли; и все кончилось так же внезапно, как началось.

– Что-то с неба упало! Должно быть, метеорит! Ты не удивился? – радостно запищала машинка.

– Ничуть, – соврал Трурль, который едва не слетел с гребня крыши. – Такое событие как нельзя более кстати для нашей

лекции. Это был чистый случай, то есть совпадение независимых друг от друга событий. Статистика утверждает, что падение метеорита на мирные жилища возможно, хотя и случается крайне редко. Однако невозможно, чтобы сразу же после этого метеорита упал следующий, ибо…

Похоже, Цифруша слушал его не слишком внимательно: высунувшись за край крыши, он разглядывал крупную воронку, окруженную валом из остатков ограды и грядок клубники; на ее дне поблескивало что-то вроде стеклянной глыбы.

– Там что-то есть, – сказал он.

Тут снова завыло, загудело, загрохотало, возле воронки взметнулась пыль.

– Второй метеорит! Теперь-то уж ты наверняка удивился! – восхищенно пищал Цифруша.

– Метеориты не падают дважды в одно и то же место, этого не бывает! – изрек Трурль, придя в себя. – Не исключено, что мы наблюдаем новый тип фата-морганы… Но если допустить, что это случилось в действительности, то следующее падение метеорита исключается на очень долгое время, поскольку статистическое распределение…

Грянул гром, и, взметнувши в воздух тучу обломков, между двумя воронками врезался какой-то блестящий предмет, да с такой мощью, что дом качнуло, как на волнах.

– Третий! – радостно взвизгнул Цифруша.

– Ложись! – перекрыл его голосом Трурль, падая с лесенки на чердак и увлекая за собой воспитанника.

Встав на ноги и слегка отряхнувшись, они уже безо всякого философствования побежали в сад. Трурль обошел вокруг трех больших воронок, тряся головой и тихонько вздыхая, а потом присел на корточках на краю самой маленькой из них.

– Удивляешься?! – торжествовал за его спиною малыш. – А я вот ни капельки не удивляюсь, потому что математика идет впереди твоей философии! Множество планет пересекается со множеством метеоритов, образуя такое подмножество, в котором метеориты по меньшей мере единожды залетают в клубнику. В этом подмножестве должно находиться подподмножество планет, на которые метеориты падают дуплетом, а в нем, в свою очередь, – подподподмножество троекратных столкновений!

– Чушь, – ответил Трурль рассеянно, так как стряхивал песок и глину с загадочной глыбы на дне воронки. – Почему это должно было случиться именно с НАМИ?

– Потому что с *кем-то* должно было случиться, согласно нормальному распределению, – выпалил Цифрунчик.

– А в каком подмножестве находятся метеориты, начиненные

музыкальными инструментами? – спросил Трурль, вставая, а Цифруша заглянул в воронку и издал удивленный писк.

Трурль подошел к сараю и позвал копальную машину, но та, поскольку была разумна, перепугалась грома с ясного неба и вся задрожала, забилась в угол и даже не думала выполнять приказание.

– Вот плоды автоматизации чересчур совершенной! – буркнул Трурль, видя, что рассчитывать не на кого.

В конце концов, орудуя киркой и лопатой, он выгреб из меньшей воронки кусок льда неправильной формы, запачканный землей и внутри мутноватый; однако там, в глубине, виднелась цилиндрическая тень, запеленутая матерчатой лентой. Принесенным из лаборатории молотком Трурль принялся откалывать лед, осторожно, чтобы не повредить вмерзший в глыбу предмет. Глыба наконец раскололась, и из нее выпал темно-красный цилиндр, обвитый златотканой тесьмою; ударившись о рукоять брошенной на землю лопаты, он звучно загудел.

– Барабан… – удивился Цифруша, подымая его с земли. Это и вправду был оркестровый барабан с подставкой, в превосходной сохранности, обшитый козлиной кожей. Цифруша немедленно попробовал выбить на нем мелкую дробь.

Тем временем Трурль без лишних слов принялся за вторую воронку, ибо и там застряла ледяная глыба, гораздо больше первой. Он методично бил молотком, пока из-под отскакивающих ледышек не показались два столбообразных кожаных футляра с молнией наверху, а дальше – еще пара столбиков, обернутых зеленой материей. Трурль работал без устали, и вскоре неведомый предмет лежал на траве, освобожденный от ледовых оков.

Покрывавший его материал, твердый словно стекло, был украшен рядом золотых пуговиц и заканчивался отложным воротником, из которого высовывался кругляк, прикрытый суконной нашлепкой; а с другого конца торчали столбы в футлярах.

– Ей-ей, Существо со Звезд! – возбужденно воскликнул Трурль. – Трубы у него на ногах зовутся сапогами – я видел такие в атласе древностей у моего наставника Кереброна! Это старинный робот, прямо-таки допотопный, смотри и учись! Да перестань же ты барабанить, а то у меня уши лопнут! Вот это – его узорный кафтан, это – шляпа, а что у него в руках? Палки! Они принадлежат к барабану, барабан к ним, из чего следует, что перед нами барабанщик! Поспеваешь ли ты за быстрым течением моих мыслей?

– Я даже опережаю его, – дерзко заявила машинка. – Если барабан с барабанщиком летели вместе, значит, у них была общая траектория, однако вмерзли они не в метеориты, ведь те не летают так кучно; следовательно, нашу клубнику погубила ледовая комета! А раз так, то это три фрагмента ее ядра. Я бы ничуточки не удивился, если в третьем окажется дирижер или виолончелист!

– Это еще почему, умник ты мой? – спросил сбитый с толку Трурль.

– Потому что комета, должно быть, задела хвостом целый оркестр! Во всяком случае, это вполне вероятно…

– Не трогай его! Ничего не трогай! Сиди смирно, пока я не скажу, понятно? – снова рассердился Трурль и, утвердившись тем самым в своем наставническом превосходстве, продолжил осмотр Существа.

– Эти сапоги – с пряжками, – назидательно сказал он. – Но почему материал окаменел? Ага, похоже, промерз насквозь, вместе с владельцем! Можно было бы исследовать его спектроскопом – ты понял? – беря небольшие пробы; но тогда мы узнаем лишь его химическое строение, а оно не скажет нам, как он очутился в ледовой гробнице! Засунем-ка мы его в воскресильню, так будет лучше всего!

Он сидел на корточках возле Существа со Звезд в глубоком раздумье.

– Если нам повезет, мы сможем его расспросить и узнаем много нового. Но какую матрицу воскрешения выбрать? Вот вопрос! Это не представитель класса Silicoidea, отряд Festinalentinae [53], не киберак и тем более не киберыба…

– Обычный ударник, я же говорю! Лучше всего положить его на печку! – визжала свое машинка.

– Тихо у меня! Робот роботу не ровня… Положить на печку – дело нехитрое и не требующее моих незаурядных познаний! Тут легко и глупость сморозить! Возможно, барабан – всего лишь прикрытие, камуфляж, и тогда оживление крайне опасно; а ну как это смертоносное машинище, посланное каким-нибудь злобным конструктором в Космос за намеченной жертвой? Ведь и такое бывало! Но с другой стороны, предпринять воскрешенческие процедуры побуждает нас императив космической доброжелательности, соображаешь? Тем самым я ввел в наши рассуждения этику. Может, узнаем побольше, заглянув в третью яму?

Как он сказал, так и сделал на глазах у смекалистого Цифруши, который по-прежнему мешал ему дотошными вопросами, так что разгневанный Трурль молотил по льду все

сильней и сильней. С ужасающим треском глыба распалась надвое, а вместе с ней – вмерзший в нее предмет. Трурль на мгновение даже лишился речи.

– Это все ты! Чтоб тебя…

– А космическая доброжелательность? – прошептал Фрунчик, впрочем, и сам порядком смутившийся.

Трурль не отрываясь смотрел на сверкающие туфли с застежками, на темно-синие носки в красную полоску и заледеневшие икры, что торчали, уже очищенные ото льда, из половины ледовой глыбы. Необычайная чистота всех этих предметов изумила его.

– Неужели это существо воздает почести нижним своим футлярам? – произнес он, размышляя вслух. – Странно! Не уверен, что попытка оживить разделенные половинки увенчается успехом… сперва надо бы снова соединить их!

Присев, он внимательнее всмотрелся в то, что содержалось в середке расколотого. Скол сиял ледяными кристалликами, являя взору беспорядочные завитушки внутренних органов. Трурль почесал голову.

– Неужто перед нами существо, построенное из клея, одно из тех, о которых писал древний кибермистик Клибабер? Неужто мы видим одного из пратуземцев Галактики, допотопного тленника, именуемого в легендах чиавеком? Столько миров облетел я, столько систем посетил, но ни разу не случилось мне увидеть воочию Мыслящего Масляка! О, надобно приложить все силы, чтобы воскрешение удалось! Что за редкостная оказия потолковать на онтологические темы, не говоря уже о мине, которую состроит твой дядя Клапауций! Но до чего бестолково сконструирован этот расколотый! Бедный раскольник, поистине гордиево у тебя нутро, ни винтика тут не приладишь, ни скрепы, и неизвестно, что здесь к чему! Только общая ледоватость удерживает воедино все эти петливины и извилки!

– Папа, – сказала машинка, заглядывая Трурлю через плечо, – это не чиавек, не масляк и не тленник, а обыкновенный хандроид!

– А? Что? Не мешай! Ты о чем? Хандроид? Должно быть, андроид!

– Нет, именно хандроид, то есть андроид, которым овладела хандра! Как раз вчера я прочел о них в энциклопедии!

– Чепуха! Откуда тебе это знать?

– Да ведь у него в руках кубок.

– Кубок? Какой кубок? Вон там, во льду? Гм… действительно. Ну, и что же?

– В таких кубках обычно подносят цикуту; раз он хотел ее

выпить, перед нами неудавшийся самоубийца, а откуда у него суицидальные побуждения, если не от taedium vitae [54], то есть от хандры?

– Слишком рискованные силлогизмы! Ты рассуждаешь неверно! Не так я тебя учил! – поспешно выкрикивал Трурль, волоча ледяную глыбу с корпусом Хандроида. – Впрочем, сейчас не до рассуждений. Идем наверх!

– Ты его в печку? – спросила машинка, подпрыгивая на месте от возбуждения. – В печку, в печку!

– Не в печку, а на лежанку! – поправил Трурль.

Прежде чем положить Хандроида на печную лежанку, он занялся нелегкой молекулярной штопкой: подтягивал атом к атому костенеющими пальцами, ведь работать приходилось на искусственном морозе; вдобавок порою его одолевали сомнения, что к чему относится, – такой царил в Хандроиде кавардак. К счастью, он мог ориентироваться по поверхности, то есть по суконной одежде, так как обшитые кожей пуговицы ясно указывали, где зад, а где перед.

Положив наконец оба существа в тепле, он спустился в лабораторию, чтобы на всякий случай перелистать «Введение в Воскресительство». Так он корпел над книгами, когда на втором этаже послышался какой-то шум.

– Сейчас! Сейчас! – крикнул Трурль и побежал наверх. Робот в сапогах сидел на лежанке, удивленно ощупывая себя, Хандроид же валялся на полу: попробовав встать, он потерял равновесие и упал.

– Почтенные пришельцы! – с порога обратился к ним Трурль. – Приветствую вас в моем доме! Заточенные в ледовые глыбы, вы упали в мой сад, загубив всю клубнику, за что я, впрочем, на вас не в обиде. Я выколотил вас изо льда и при помощи инкубационной термической реанимации, а также интенсивной демортизации привел в сознание, как сами видите! Не знаю, однако, откуда вы взялись в этом льду, и горю нестерпимым желанием узнать о ваших судьбах! Вы уж простите меня за дерзость; что же касается малыша, который подпрыгивает рядом со мной, так это мой несовершеннолетний потомок…

– А вы кто будете, ваша милость? – слабым голосом спросил Хандроид, который все еще сидел на полу и ощупывал весь свой корпус.

– Господа пришельцы – ты, в кожаных сапогах, и ты, горячо и мокро уставившийся на меня, – знайте, что я всемогуторный конструктор по имени Трурль, весьма известный. Это место – моя лаборатория на Восьмой Планете Солнца, которого до недавнего времени не было, ибо мы с товарищем моим Клапауцием

сконструировали его в порядке общественного почина из галактических отходов. С незапамятных времен я занимаюсь опытной онтологией, сочетая оную с оптималистикой применительно ко всем Разумам Универсума! Я понимаю, что внезапное перенесение на чужбину, да еще таким необычным образом, отчасти явилось потрясением для ваших естеств; однако же соберитесь с мыслями и поведайте, кто вы такие, ибо тем мы ускорим общее взаимопонимание!

– А с Болицией Гармонарха Збасителя ваша милость никаких не имеет связей? – спросил довольно слабым голосом барабанщик с лежанки.

– Об этом Монархе, а равно о его Полиции мне ничего не известно… да у вас, сударь, не насморк ли? Понятно – это от переохлаждения, любой простудился бы на таком холоде… липового чайку не желаете?

– Я не простужен, а только говорю на чужеземный манер, – пояснил робот в сапогах, с явным облегчением разглядывая золотое шитье у себя на груди. – Государь, от которого я в некотором роде бежал, действительно зовется Гармонархом, и не Державой он правит, а Держабой, но это история длинная…

– Ах, расскажите ее! Пожалуйста! – подпрыгивая, запищала машинка, но Трурль строгим взглядом заставил ее умолкнуть и сказал:

– Я бы не хотел никого торопить – будьте моими гостями, прошу вас. А вы, сударь, кто? Андроид или, быть может, Маслитель?

– У меня еще в голове шумит, – ответил тот, что сидел на полу. – Ледовый метеорит? Комета? Возможно! Вполне возможно! Комета, только не та! Должно быть, мою я прошляпил! Ох, что же со мной теперь будет!

– Так вы не Хандроид? – разочарованно спросил Цифруша.

– Хандроид? Не знаю, что это такое. Какой-то гул в голове.

– Не обращайте внимания на этого недоросля! – вмешался Трурль, испепеляя Цифрушу взглядом. – Как вижу, вы, господа, пережили тьму испытаний, а потому простите меня за несвоевременные призывы к скорейшему обоюдному знакомству; пожалуйте в покои, дабы себя в порядок привесть и несколько отдохнуть, а заодно подкрепиться немного!

После трапезы, прошедшей в молчании, Трурль показал необычайным гостям все свое хозяйство, включая лабораторию и библиотеку, а под конец привел их на чердак, где держал особенно любопытные экспонаты.

Чердак этот был устроен на манер музейного зала. На полках стояли экспонаты в масле, парафине и спирту, а с мощной

потолочной балки свисал массивный автомат, черный как смоль и на первый взгляд мертвый. Однако он ожил, когда к нему подошли, и попробовал пнуть мнимого Хандроида.

– Прошу вас остерегаться, поскольку мои научные пособия – действующие! – пояснил Трурль. – Автомат, который вы видите на этом стальном тросе, построил восемьсот лет назад прамастер древности, архидоктор Нингус. Он замыслил создать Мыслянта благочестивого и добросердечного, так называемого Сакробота, или Набожника. Осторожно, господин барабанщик, он не только пинается, но может и укусить.

– Пособи мне Господь сорваться, и ты увидишь, что я могу! – проскрежетал заедающими шестеренками черный Сакробот.

– Как видите, господа, – продолжал с исследовательским увлечением Трурль, – он не только говорит, пинается и кусается, но также истово верует!

Тут, однако, механический фидеист поднял такой крик, что вся компания принуждена была возможно скорее покинуть чердак.

– Плоды веры непредсказуемы, – объяснял Трурль, пока они вместе спускались по лесенке.

Наконец они расположились в гостиной, где все уже было приготовлено – глубокие кресла, огонь в камине и клубничные электреты в ионозефирном соусе.

Обогревшись и подкрепившись, оба гостя все еще водили вокруг удивленными глазами, молча, поскольку Трурль не хотел торопить их вопросами, помня об испытаниях, выпавших на их долю. Но Цифруша вылез вперед и быстренько изложил им собственную версию случившегося, подкрепленную солидными вычислениями. Мол, ледовая комета, обращаясь в звездной системе, задевала хвостом планеты и смахивала тех туземцев, что встречались ей на пути, а затем уносила их, замороженных намертво, в апогелий, где, как известно, тела эти тащатся как улитки, пока наконец тысячелетья спустя неведомая пертурбация не столкнула комету с ее орбиты и бросила на Трурлеву обитель. Прежде чем Трурль успел его угомонить, Цифрунчик рассчитал примерные элементы кометной траектории и, наложив ее на карту звездной системы, которую знал на память, принял такие коэффициенты населенности планет, что у него получилось внушительное число: семь тысяч семьсот семьдесят три лица, которые должны еще находиться в кометном хвосте. Лица эти, захваченные в разное время и в разных местах, уже удалялись от сотрапезников со второй космической скоростью. Теперь падение двух гостей в двух метеоритах и барабана в третьем стало вполне заурядным физическим явлением, и Трурль даже начал жалеть

всех неведомых пассажиров, вмерзших в кометный лед, которых он не воскресит, а значит, никогда не узнает лично. Хотя давно опустилась ночь, спать никому не хотелось; оно и понятно, если взять во внимание, сколь долго пребывали гости в ледовой летаргии и как не терпелось Трурлю вместе с Цифрунчиком узнать их судьбу. Итак, хозяин возобновил давешнее свое предложение – чтобы спасенные поведали историю своей жизни, вплоть до кометного вознесения. Те же переглянулись и после недолгих споров из-за того, кому начинать, порешили, что порядок этот определил их спаситель очередностью воскрешения; так что первым повел речь робот в сапогах.

Рассказ Первого Размороженца

В моей особе вы видите завзятого маэстро из симфонического оркестра; отсюда и беды мои. Еще мальцом непритертым выказывал я дарованье, барабаня на чем придется и изо всякой вещи ее самобытный тон извлекая. В нашем роду сыздавна так повелось. Владею ударом мягким и жестким, от грома раскатов до шороха песочных часов простирается мое мастерство. Уж если разбарабанюсь, ничего не вижу окрест. В свободные же минуты люблю тамбуринить и даже могу смастерить инструмент преизрядный, дайте мне только козу да трухлявый чурбан или ушат да клеенку. Но в одном оркестре долго усидеть не способен и странствую, чтобы испробовать все наилучшие на свете ансамбли. Слух же имею я абсолютный и без ума от игры громыханья. Сколько я звезд, планет, филармоний объездил! Уж где не бывал, где только не игрывал! Но вскоре палочки у меня из рук выпадали, и дальше пытливость меня гнала. Давал я концерты сольные, на коих стон, плач, раж и смех; случалось, толпа меня на руках несла, а то и барабаны мои на реликвии разрывала. Не славы я домогался, жаждал не лавров, но в музыке раствориться великой, влекусь к оркестру, как река к океану, чтобы влиться в него и в безбрежности его затеряться. Ведь для меня сам я – ничто, а совершенная мелодия – все, ее-то я и искал, роясь день и ночь в партитурах. И вот на планетных выселках Алеоции впервой довелось мне услышать о державе Гафния. Это там, где спиральный рукавчик местной туманности загибается и переходит в манжетик со звездной подкладкой. Здесь-то и дошла до меня эта весть на погибель мою и душу мне распалила тоскованьем великим: дескать, держава та не простая, а филармоническая, и равнобежно ее границам тянется колоннада филармонии королевской. Говорили еще, будто всяк там играет, король же внимает, в надежде, что музыки храм дарует его

народу Музыку Сфер! Пустился я с места в карьер галопом в те края, а по дороге кормился платой за свое ремесло, бравурной дробью разгоняя тревоги, воспламеняя старых и малых, и ловил каждый слух, желая дознаться, много ли правды в этой молве. Однако же, странное дело, чем дальше окрестность от Гафния, тем больше хвалят обычаи его музыкальные, верят в Гармонию Сфер и в то, что стоит там жить, чтоб играть. Но чем ближе, тем чаще отвечают без особой охоты, а то и вовсе молчат, тряся головою либо даже постукивая по лбу. Пробовал я расспросами припирать туземцев к стене, но те отбрехивались. На Оберузии сказал мне один старик: играть там, знамо, играют, наяривают без устали, только музыки от такого игранья что кот наплакал, немузыкальная эта музыка ихняя, больше в ней другого чего. Как же так, дивуюсь, без музыки музыка? и что это такое «другое», позвольте узнать? Но он лишь рукой махнул – мол, не стоит и говорить. А прочие опять за свое, дескать, сам король Збаситель воздвиг Державный Его Величества Консерваториум, а там виртуозов тьма, и не какая-нибудь акробатика дутья да махания, да ушлость рук, да слепая сноровка, но вдохновение, врата в златострунный рай, затем что есть у них верный путь и ключ к Гармонии Сфер, той самой, что в Космосе беззвучно звучит! Я от старца не отступаю и снова спрашиваю, а тот отвечает: не говорю, что неправда, и не говорю, что правда. Что бы я тебе ни сказал, сказал бы не то. Иди сам, коли хочешь, и сам убедишься. В талант свой я верил твердо, несокрушимо, ведь стоит мне, роботы-други, взять в руки палочки да припустить частой дробью по барабанной глади, так тут уж не треск, не рокот, не перегуд, не обычное трах-тарарах и тамбуринада, но такая влекущая и певучая песнь, что камень и тот бы не выдержал! Так что пошел я дальше, но, смекая, что невозможно ввалиться с бухты-барахты на филармонический двор с его этикетом придворным, выспрашивал всякого встречного о возвышенных гафнийских обычаях, а в ответ всего ничего или ничего вовсе, гримасы, да мины, да общее колыхание, чем у кого было – головой или иным чем-нибудь; так я ничего и не выведал. Однако, шествуя дальше средь звезд, встречаю ублюдище почернелое, и отводит оно меня в сторону: слушай, приятель, в Гафний путь держишь, о, сколь же ты счастлив, и счастлива эта минута, вот уж где вдосталь намузицируешься, Збаситель – добрый государь и могущественный, муз обожатель, он тебя златом осыплет! Что мне злато, отвечаю, как там с оркестром? А он усмехнулся, блажен, говорит, кто в нем играет, за место в этом оркестре я жизнь бы отдал! Как же так, говорю, что ж ты в обратную сторону поспешаешь? Ах, отвечает, я к тетке, а впрочем, иду далече, дабы

нести благую весть о Збасителе, пусть же отовсюду спешат музыканты, ибо открыта столбовая дорога к Гармонии Сфер! Да и к Гармонии Бытия, ведь это одно и то же! Как, говорю, и Симфония Бытия им известна?! Тогда дело стоит стараний! Но точно ли так? А он, тошняк (довольно-таки, правду сказать, сопрелый и вывалянный то ли в коксе, то ли в смоле, поди, пригорел, бедолага, обворонился, или что там еще), восклицает на это: Что ты! Да откудова ты столь темный, дремучий взялся? Так ты не знаешь, что Гафний – не простая держава или монархия, но Держава Нового Типа, или Держаба, а Збаситель не просто монарх, но Гармонарх! Династический разработал он план, чтобы все играли и оным игранием до блаженства бы доигрались; и не как попало, наобум да на ощупь, но манером академическим, теоретическим и классическим, для чего учредил он Консерваторственный Совет Министров и составил Гармонограмму Гармонии Сфер, которую того и гляди откроют и исполнят, если уже не исполнили, так что поторопись!

А что ж это за музыка гармонограммическо-гармоническая? – спрашиваю снова и слышу в ответ: Персону она сопрягает с Природой и претворяет Грез Рой в Рай Земной, так что беги, не мешкай, ведь пособить в таком деле – галактическая заслуга!

Бегу, бегу – но, досточтимый тошняк, еще хотел бы я знать, каким это образом держава, то бишь Держаба Гафния заполучила партитуру Сфер и гармонию оных, откуда она у них завелась? Ба! – ответствует мне тошняга, есть у них обычаи древние, указания верные, ведь играть-то они завсегда играли, только не так, не на том и не тем манером, каким надлежит, но теперь они в курсе, и от музыки ихней грудь спирает, дух замирает, очи внутрь, а уши вширь, так спеши же, мой колотун, а то не поспеешь на репетицию!

Позволь, позволь, говорю, я тебе не колотун какой-то, а первой гильдии маэстро из симфонического оркестра, но расскажи, ради бога, еще хоть малость о гафнийских обычаях, чтобы мне там в грязь лицом не ударить!

Ох, некогда мне, отвечает, ступай, да живее, и, право, будешь мне благодарен по гроб!

Пустился я в путь, и вот, когда уже обозначились очертанья планета (ибо Держаба – не какая-нибудь женская, простая планета, но мужской, хоть и крохотный, сугубо мужской планет) и показалась Ограда Громадная Мраморная, на которой горела золотом надпись: «КОРОННЫЙ КОНСЕРВАТОРИУМ», – неподалеку заприметил я деревянную, маслом покрашенную повозку, а на ней – крайне утомленного робота; он искался – страдая, по дряхлости лет, от опилок, вгрызавшихся во все его

шестеренки; я помог ему очистить суставы и сочленения, а он между тем что-то тихонько мурлыкал. Я спросил – что, он ответил: Масличную песнь! Не знал я такую. Стал я выспрашивать о Гафнии, он же был глуховат и велел повторять каждое слово четырежды, а потом говорит мне: Ударник! Ты молод, проворен, дюж и ногаст, ты выдержишь многое! Не буду тебя отговаривать от посещения Гафния, но уговаривать тоже не буду. Как решишь, так и сделаешь. – Верно ли, что там играют? – А как же, с ночи до утра и с утра до ночи, однако во всякой стране особый обычай, и вот тебе мой совет: молчи. Что бы ты ни узрел – ни слова. Что бы тебе ни казалось – ни звука. Ни гугу! Воды в рот, язык на замок, немотою запечатай уста, тогда, может статься, расскажешь когда-нибудь, что там увидел, во что там играл! И сколь ни просил я его, сколь ни молил, сколь ни увещевал, он уже ни слова не проронил.

Что ж, вот тут-то я загорелся, и лютое одолело меня любопытство, хотя не скажу, чтобы в золотые ворота Гафния я стучал совершенно спокойный, ибо чувствовал кожей: скрыта за ними бездонная некая тайна! Все-таки принялся я колотить колотушкой из чистого золота, звон же ее был чуден и бодрил дух, и стража весьма охотно меня впустила и приветливо молвила: Видишь дверь? вали туда смело. А уже и сени тут были дивные – уже стоял я в густоколонной громаде, сокровищами сверкающей; не сени, а храм, и кругом золотые инструменты висят! Я в дверь; вхожу – и глаза зажмурил, такой ослепил меня блеск – от алебастра, и оникса, и серебра; вокруг колонн чащоба, я на дне амфитеатра стою, о боже, да это пропасть, бездна; знать, веками сверлили они свой планет и в середке устроили Филармонию! Нету здесь мест для публики, только для оркестрантов, кому кресла, кому табуреты, дамастом в серебряный горошек застеленные и рубином присыпанные, и для нот стояки изящные, и плевательницы среброкованые для духанщиков, как-то: трубодеров, трубодувов и фанфаронов, а потолочье брильянтит пауками-подсвечниками, каждый радужно люстрится, и в холодном блеске огней – ничего, ни зала, ни галереи, только в стене напротив оркестра во всю ширину – ложа одна-одинешенька: красное дерево, с тисненьем материя, амуры в раковины дуют, бордюры да кисти, а ложа закрыта портьерой парчовой, а шитье на ней виольное да бемольное, и месяц новый, и гирьки свинцовые, и пальмы в кадках величиной с дом, а за портьерою, верно, трон, только задернута она, и ничего не видать. Но я-то мигом смекнул, что это и есть королевская ложа! И еще вижу на дне амфитеатра дирижерский пюпитр, да не простой, а под балдахином хрустальным, ну прямо алтарь, а над

ним надпись неоном: CAPELLOMAYSTERIUM BONISSIMUS ORBIS TOTIUS!

То есть, значит, лучший на свете капельмейстер, или бригадир оркестра. Музыкантов тьма, но на меня никакого вниманья, одеты как-то чудно, с пестротою ливрейной и либеральной; у одного икры обтянуты белыми чулками в сплошных фа и соль, но заштопанными; у другого туфли с золотой пряжкой в виде нижнего до, но каблук стесался; у третьего колпак с плюмажем, но перья трачены молью; и не вижу ни одного, кто бы прямо держался, так их тянут вперед ордена, сукном подложенные, верно, чтобы бряканье не портило Музыки! Обо всем позаботились тут! Знать, доброй души монарх, меломан щедрый, и сыплются градом награды на господ музыкантов! Протискиваюсь несмело в толкучке и вижу – перерыв в репетиции, все разом галдят, а капельмейстер в пенсне золотом поучает из-под своего балдахина алтарно-хрустального. И не палочка в перчатчатом его кулаке – скорее уж палица; что ж, не мне махать, а ему, умахается – его забота. Зал громадный и исключительно, должно полагать, акустичный! Играть разбирает охота… а капельмейстер, застопорив на мне быстролетный взор, молвит приветно издали: а, новичок? Хорошо! Что умеешь – арфач? Что, ударник? Тогда садись вон там, как раз выбыл у нас ударник, посмотрим, справишься ли! – Садитесь же, сударь! – Господин виолончелист, не толкайтесь! – И вижу: беззастенчивая виолончель что-то дирижеру в лапу сует – какой-то пухлый конверт – письмо концертное ему написал, или как? – Впрочем, ведь я ничего не знаю еще… сажусь. А капельмейстер говорит сотне сразу: – Кларнет! Не дыдурыду-выду-дыдудым, а дидуриду-виду-бидупиим! Это вам не завитушки кремовые на торте, сударь, это виваче, но не МОЛЬТО виваче – или уши у вас дубовые?! А дальше трилли-трулли-фрулли фрам, и это не фиоритура, здесь надобно вступать *мягше*, ради бога, мягонечко, и веди ровно, но не верхами, тут мягонько, а там как сталь! И трилли-рида-падабраббам! А вы, медные, тихо, не заглушайте мне пикколо в шестнадцатых, ведь гробите лейтмотив! не глушите, говорю. Так что вижу я, что манеры здесь самые обыкновенные и разговоры в точности те же, что во всех филармониях Универсума.

Сижу я так посреди шума-гомона и осматриваюсь. Сперва глянул на барабан: больно уж странен! Не простой, а капитально усиленный, бока могучие, круглые, тугие, выпуклые, ну прямо бесстыдно-бабские, лазоревые, со шнурами, обшитыми золотым дубовым листом, а уж пленка натянута без изъяна, звончатая, перепончатая, ох и гулким, поди, перегудом гудит!!

Смотрю, а ту***Tun***артитуру несут, не обычную, но сущий

фолиант, книжищу, в рысью шкуру оправленную, а на конце хвоста – кисть, а к кисти платочек привязан, для отирания обильного пота после финала! Обо всем тут, видать, подумали! И куда ни глянь, алебастры, гербы, грифоны, грудастые музы, кариатиды, фавны, венеры, бомбоньеры, тритоны, бом-брам-стеньги, гроты, приапы, стаксели, брамсели, бизань-мачты, бейдевинды, швартовы – плыви, плыви, музыка! А над королевской ложею герб государства – держабный коготь в венце червонного золота, и колыхнулась портьера ложи, словно сидит уже там Гармонарх, да прячется. От нас?… Но уже Капельмейстер в пенсне, гибкий, юркий, спешный и вездесущий, внимание! кричит, по местам! И: начинаем! за дело! Все помчались, бегут, бренчливо инструменты настраивают, я – за палочки, а это не палочки, но сущие обухи-дроболомы! Колья гремучие! Прилаживаю ноты, поплевываю в кулак и на партитуру смотрю, как баран на новые ворота, капельмейстер «уно, дуо, тре» кричит, и постукивает, и золотым пенсне посверкивает на нас, и вдруг вступают скрибки… но что это? Хотя и дирижирует капельмейстер, ничего не слыхать, кроме наждачного какого-то скреба… ох, и скребят же эти скрибки… струны, что ли, запакостились? А вот и мой черед, и опускаю я руки, чтобы бабахнуть, и ударяю вовсю, а слышу только «тсстук, тсстук», как будто бы в дверь, смотрю, а барабан хоть бы дрогнул, поверхность какая-то жесткая, гладкая, как пруд замерзший, как торт, ничего не пойму, и снова «стук! стук!», немного будет от этого толку, думаю, а тут оркестр вступает, дребезжит, верезжит, дудонит, долбахает, и вижу – вот те на! – тромбонист тромбону помогает губами «бу-бубу», а скребачи губки бантиком и: «тититити», сами напевают, немым инструментам спешат на подмогу, ну и игра! а капельмейстер вслушивается, и вдруг по пюпитру бац! и молвит: Нет. Ах, не так! Плохо. Da caro [55]. Ну, мы опять, а он из-за пюпитра выходит, и вступает меж нас, и прохаживается, ухом ловит скрип и скреб, а после подходит – улыбаясь, но криво – и валторниста за щеку, словно клещами, ой, так скрутил-закрутил, что игрец дыханья лишился; идет и ухо гобою обрывает походя, и тут же палкой бац! вторую скрибку по голове, зашатался скребач, и платок у него из-под подбородка вылетел, и вызвонил он зубами туш, а капельмейстер тромбонам и прочим шепчет из-под пенсне: олухи! Что за бедлам! И это называется музыка?! Играть, играть у меня, не то Гармонарх проснется, и тогда уж мы запоем! И говорит: как Капельмейстер Дирижериссимус требую! Напоминаю и повторяю: сыграем Увертюрную Симфонию Тишины! Продолжайте силентиссимо, аллегро виваче, кон брио, но и пьяно, пьяниссимо, потому что chi va piano, va sano [56]. А,

понимаю, шутка! Шутит с нами, ибо Душою Добр! Говорит: Господа! Валторнист, Арфач, Тромбон и ты, Кларнет Эдакой! И вы, Клавикорды-Милорды, больше старания! Медные, плавно! Внимательней, Пикколо, а вы, Виола с Виолончелью, нежнее! А ты, Фортепьяно, то бишь Громкотих, следи за сурдиной! Подходит к пюпитру и снова стучит: под Управлением Нашим, по Команде Моей, к Гармонии Сфер, за мною – *играть!* Играем. Однако ж по-прежнему ничего не слыхать, кроме стука, скреба и хряпа, ничегохонько! И отправляется дирижер в оркестр, улыбаясь, и мятные леденцы раздает, но кому леденец, тому и палкой немедля по лбу. Головы гудом гудят! С лицом озабоченным бье***Тип***онять нам дает, и точно, мы понимаем, что не своею волею лупит, но чтобы не было ущерба Величеству, бьет от Имени, дабы не допустить какофонии до гармонаршего уха, а лупимый съеживается и капельмейстеру отвечает улыбкой умильной и кроткой, тот же, с равносильной улыбкой, угощает и бац! ибо не от себя дубасит, но дабы не допустить, уберечь, а может, чтобы худшей трепки, Настоящего Кнута избежать… Знаю, потому что в перерыве судачат игрецы меж собой, друг дружке пластыри прилепляя подле моего барабана: он добрый, наш Капельмейстер, ведь написано ясно: Bonissimus, но вынужден так, чтобы Гармонарх не разгневался, и вправду, вижу я надпись «Capellenmaysterium bonissimum», ей-ей, славный, говорят, дирижер, и сердце у него золотое, но должен охаживать, чтобы нам Кто Другой не заехал по лбу! Кто, кто такой? – любопытствую; не отвечает никто. Что до битья, это я понял, однако же с музыкой не могу разобраться, кругом только лязг, и бряк, и дребезг невыносимый, а мы играем себе. Пенсне блистает, бегает, бацает, и, хотя трещат наши лбы, понимаем, что так и должно быть; но тут шевельнулась Портьера Ложи и оттуда выглядывает Пятка Большая, Босая и некоторым образом Голая, но не какая-нибудь уличная, рядовая, а Помазанная, в Коронной Пижаме, из штанины Тронной торчащая, и поворачивается она, и раздвигаются складки портьеры, а за нею храп, и не трон, но ложе в золоте и розанчиках, с отливом дамастовым пододеяльник, а на златой простыне Гармонарх, симфонически утомленный, спит, в думку бархатную уткнувшись, – спит, и более ничего, а мы под Пятою пьяно, пьяниссимо, чтобы не разбудить. Понарошку?… Ага, понимаю, понарошечная репетиция! Хорошо, но битье-то не понарошечное? И отчего волоса нет на смычках, а барабан мой вроде старой доски?

И еще замечаю: в самом темном углу зала – шкаф, величиною с целый орган, черный, огромный, затворенный, а в нем окошечко зарешеченное, и, если случается фальшь позаметнее, мелькает

там глаз, мокрый и жгучий, ужасно противный, и спрашиваю я тромбониста, кто там? А тот молчит. Я к контрабасу – молчит. Виолончель – молчит. Треугольник – молчит. А флейта-пикколо пнула меня в лодыжку. Вспомнил я о совете старца и молча уже играю, то есть стучу. Вдруг скрип нестерпимый: отворяется Шкаф в Углу, и вылазит оттуда Некто Пятиэтажный, Черный как ночь, с глазищами что мельничные жернова, и между колоннами плюхается не примеряясь, будто в лесу, и, сидя, разглядывает нас мокро и жгуче. О мраморный зад музы спиной волосатой скребет, другая муза у него под локтем, ну и жуткий же этот углан, как глянешь, так по спине мурашки! Вот тогда-то и стала совсем пропадать у меня охота музицировать в Филармонии Гафния, потому что Углан как начал свой зев разевать, так все раскрывал его и распахивал, а по причине общей громадности и габаритов шло это дольше, чем мне того бы хотелось, в середке же было мерзко до ужаса – и клыки были мерзкие, и язык за ними еще мерзейший, вертляво-слюнявый, и всадил себе палец в морду Углан Шкафач, и ну ковыряться там, без спешки, однако с усердием. Оглядываюсь – близ меня контрабас и труба, и тоже рот разеваю, чтобы спросить, кто, мол, сие чудовище, откуда и почему, а также зачем, и вообще – с каким смыслом? Но тут припомнились увещания старца, в голове зазвучало: «Что бы ты ни увидел ужасного – ни слова, ни звука, ни гугу», а потому, одумавшись, дальше играю, а поджилки трясутся, слабеют коленки. Различаю ноты, тараща глаза, но неотчетливо как-то, словно мухи наделали, не понять, где квинта, где кварта, пятнышки, кляксы, все расплывается, как сто чертей, – верно, черти и принесли эти ноты, думаю, и тишина воцаряется тактов на восемь, а в ней ах до чего отвратительный звук: едкий, сгущенный, муторный, зубодерный и глоточный сип раздается. Углан зевнул, зубами щелкнул, потягивается, хребет щетинистый трет о задок музы, выглянул из своего угла, принюхался, пыхом пыхнул, а потом и жрыкнул, да, да, жрыкнулось ему, в сей храмовой тишине, филармонически сосредоточенной, ужасно гадостный Жрык, но никто не видит ничего и не слышит! Сидят как ни в чем не бывало! А пополудни празднественный концерт, и Государь Гармонарх восседает в ложе, окруженный вельможами звездоносными, и что-то в перстах оперстененных вертит, и сам себе в ухо изволит втыкать, напрягаю взор, а там золотая тарелка, Гармонарх шарики из ваты сворачивает, в маслах освященных смачивает и в уши сует! Совсем ничего не понимаю уже. А мы между тем в фортиссимо так пиловато пилим и так яровито наяриваем, что в окошке с решеткой блеснула как бы слеза, а Гармонарх велит портьеру задернуть, ибо пора ему за дела

держабные браться. Что же дальше? Господа игрецы! – говорит капельмейстер пенсноватый и бледный, надобно нам посовещаться, покритиковаться взаимно, поскольку это не то, а то не этак, побойтесь бога – где вы, а где Гармония Сфер? вы же Гармонарха в ипохондрию приведете такой игрой! Совещание объявляю открытым! И в то время как я, не разобрав, что и как, все на шкаф зыркаю на всякий случай, они берут слово по очереди и встают, и начинаются длинные прения и дебаты, искрятся от жаркого пыла глаза, критикуется исполнение, смычки, инструменты, трубодеры не то и не так, пальцы неверно поставлены, выучки маловато, недостаточно репетиций, гимнастики не хватает, не усердствуем, коллеги, как надо бы, душу не вкладываем; каждый сам к себе крайне суров, а уж к прочим не дай боже, нитки сухой друг на друге не оставляют, – все, окромя тромбониста, треугольника и валторны, уж не ведаю отчего. И спорят над каждой нотой, как выжать из нее звучный сок; цель у них общая, я с восхищением слушаю, теорию всякий знает здесь досконально, словно по нотам идет совещание; я все слушаю и смотрю, но тень какая-то пала на нас, шкаф внезапно раскрылся, а там ОНО, черномшистое вшивое брюхо почесывает, палец запускает в пупок – не пупок, а Мальстрема воронка черная! И так вот, сопя, икая, почесываясь, сидит, колупает в носу – с аппетитом, расстановкой и сатисфакцией, озабоченно и сосредоточенно. И вдруг тишина наступает страшная, затем что встает коротышка, приставленный к колокольчикам, и заявляет по пункту повестки «разное»: Господин капельмейстер и вы, Коллеги! Инструменты НЕПРИГОДНЫ, следовательно, ничего получиться не может! Не спорю, с виду красивые, золоченые, однако беззвучные, для того что дефектные; гробы поваленные, да и только. Поэтому вотирую вотум, чтоб дали нам Настоящие, а эти в музей или куда-нибудь там в переплавку. И сел. – *Чта-а-а? Чта-а-а?! Чта-а-а???!!!* – кричит наш добряк в пенсне, лучший на свете. – Инструменты ПЛОХИЕ?! Не годятся? Не нравятся?… На Объективные Трудности сваливаешь немощь и недотепистость собственную? Ах ты, балбес-лоботряс, общего Дела предатель! Что за гнусное Диверсантство! Мерзавец такой-сякой, Подосланец-Поганец, и откуда ты такой взялся?! Откуда, как? Кто подсунул тебе Преступную Мысль? А может, у тебя заединщики есть? Кто еще мыслит так же? Тишина гробовая, а тут подлетает ливрейный Лакей-лизоблюдок и записочку ему вручает, и читает он, отодвинув листочек от глаз (поскольку в пенсне своем дальнозорок, дабы всех нас держать на виду), и говорит: Значит, так. Объявляю Перерыв, ибо вот мне Повестка ко Двору, на Министерский Совет. Как только вернусь, устрою вам Подведенье

Итогов! А покамест труби отбой! Сидим мы и ведем разговоры, мол, скажите на милость, Ваша Смазливость… дело, вишь, тонкое… я, мол, в сторонке… и тому подобные замечания всю ночь напролет. Поутру являются трубачи-фанфаристы и зачитывают Гармонарший Манифест и Указ об имеющем быть специальном Научном Симпозиуме, на коем подвергнутся Комплексному изучению все препонствия на пути к Гармонии Сфер (Га. Сф.). Тотчас нагрянула тьма меломанов, меловедов, мелодистов, звуколюбов и звучителей с высшей полифонической выучкой, сплошные проф. филар. конц., д-ра тих. муз., действительные академики звука и члены-корреспонденты, и все они шлют куда надо корреспонденцию с надлежащими записями. Сперва записали нашу игру на шестистах аппаратах, рассовав по инструментам микромикрофончики, а мне в барабан даже целый макрофон запихнули, опечатали ленты зеленым воском и красным сургучом, взяли пробы вибрирующего воздуха, осмотрели сквозь лупу нас и каждый угол, а после совещались семь дней и еще месяц. Точность анализов неописуемая! Еще не случалось мне видеть такое нагроможденье науки в одном месте! Все до деталей освещено и согласовано с надлежащих методологических позиций. Его Величество всемилостивейше взяло на себя Высочайшее Шефство над совещаниями, но лично в них не участвовало, а замещал его Вице-Министр Обоих Ушей. В последний же день осьмнадцать Деканных Ректоров хором зачитали Экспертолизу, составленную коллективно с полным исследовательским единомыслием: Комиссия, пишут, выявила отдельные Недостатки. Инструментарий не вполне Полноценен. Там-сям, того-сего недостает, а кой-где еще – еще кой-чего не хватает; там заковырки, сям растопырки. Тут, в виоле, струны отчасти гипсовые, а там, в контрабасе, полно отрубей. Не так, безусловно, должно было быть, но так оно вроде бы есть. Тут тромбон заткнут, затем что попали туда чьи-то штрипки из пятидесятипроцентного хлопка с добавкой нейлона, второго сорта, а может, иные какие штряпки, короче, рекомендуем прочистку тромбона, а равно почитаем необходимым иметь возле тромбониста трубочистную щетку, дабы последний играл совершенно чисто. Клавимбалы же нашли мы в Целом Пустыми: в середке нет ничего, за вычетом Экс-Птичника для Гусей. Гусли: вместо гуслей обнаружены нами Гуси низкояйцеудойные, подвергнутые Пирометрическому, или Перомерному, анализу, поскольку Оперение затрудняет Гусям бряцание, в силу чего неспособны Гуси чистого звука иметь. Ergo, следует ЛИБО осуществить деперьезацию таковых, ЛИБО, учинив расход из королевской казны, гусельный инвентарь приобресть и гусляром

оный укомплектовать, в рассуждении того, что нынешний гусляр по профессии индюкатор, или индюшник. Что же до Громкотихого Фортепьяно, то в нем две меры мышей хвостиками к молоточкам привязаны, в силу чего оно Очень Тихо Поет, особенно ежели взять в расчет, что кормовой фонд Мышеводом растратно истрачен. Ежели не воспоследует Гармонаршего Снисхождения, в кандалы его. Что же до Треугольника, то должно быть ему Металлическим, а не Бубличным, хотя бы и на дрожжах. Теперь Контра-Басы. Главный Контра-Бас кувыркается при Пассажах, имея заместо Шпоры Шипастой Колечко, и, отъезжая на нем, увлекает, силой инерции, Контра-Басиста, который при каждом Бассо Дольче Профондо вынужден лететь вверх тормашками. И предлагает Комиссия: либо веревкой его, либо вырубить ямку, либо ремешком, либо заклинить, либо, наконец, произвести раскольцовку (расколечивание). Смычкам не помешал бы волос, вместо которого Экспертивные Знатели констатировали лишь Атмо-Сферу, т. е. смесь азота, кислорода и двуокиси углерода, со следовыми количествами благородных газов, как-то: ксенона, аргона и криптона, а также капелькой водяного пара. А равно чуточку Жидкой Взвеси, которая есть не что иное, как Отходная Производная Обкашливания и Заплевывания Игрецами Мундштуковин трубодувно-тромбонских. Тем не менее волос Комиссия полагает более пригодным для играния, нежели воздух, в особенности же хорошо подходящим для Потирально-Трясушного ерзания по струнам. Таким вот манером тянется экспертиза на тысячу восемьсот страниц, и о барабане там тоже написано, а как же, не обошли вниманием мой барабан: доска размалеванная, колесом сучковатым подпертая; хоть и в золоте, да не барабан. И триста восемьдесят одно предложение разосланы в компетентные органы: в Министерство Труб, Тромбонов и заготовок Трень-Бреня, в Ведомство Сфер, Колоколен и Питейной Гармонополии, Вице-Премьеру по вопросам Безнадежного Положения, а также в Верховную Трубодерную Палату. Сам Лорд-Хранитель Басового Ключа рекомендации печатью скрепил. Как повскакали тут с мест оркестранты да как раскричались, раздискутировались!

Верно! Святая Правда! Не барабан, а обруч старый, пень корявый, навозом набитый; смрадом шибало, а все по причине то ли неведения, то ли нарочитого укрывательства! Флейты, альты, кларнеты, гобои, трубы закупорило, дрянь и хлам, прочь, долой, хотим развернуть извлечение звуков, о дайте, дайте же нам получше что-нибудь, и мы обязуемся заиграть! Тут тряпицей заткнуто, вот, посмотрите, тут мундштук страдает непроходимостью, а тарелки из цементо-бетона, станиолью

только обернутые, ну как этим будешь играть? Смотрю: я ли, они ли спятили, ведь с первого раза все было видно, и откуда горячность такая внезапная, ломаю голову и все не пойму, а в них пылает к музыке страсть и непритворная одержимость. И встает пианист, и, окинувши взором зал, говорит: Вот, пожалуйста, докладная записка, мною в прошлом году составленная, да недосуг было по почте послать; и читает: «Руководствуясь своим суверенным мнением, ради блага Га. Сф. решительно требую вместо Гипсо-Цемента внедрить Дерево, листовую Медь и Латунь, а также Струны звучно-кишечные! Вот что нам надобно, а от той дряни, что мы ныне имеем, не жди ничего, кроме чада!» Садится, чрезвычайно собою довольный, и во Круг, на коллег, торжествующе смотрит, а те шумят-гомонят: Точно! и я, и я, о, мы давно уж приметили, что опилки, и мыши, и цемент, и просто навоз, как и откуда во храме Муз, неизвестно, доложить собирались, усовершенствовать, да вот у меня болела нога, у меня были судороги, я охрип, я точь-в-точь то же самое написал, что пьянофортист, только листок задевался куда-то, а я еще рельефнее выразился, но из-за болезни ТЕТКИ… и все в таком роде, наперебой, однако же вижу, Углан сидит себе в открытом шкафу на корточках, икает и чешется, трет ножищу о ножищу когтистую, ну прямо натуральный Гориллий; тогда я тыкаю коллег в бока, и показываю, и подмигиваю, вон, туда, мол, туда посмотрите, но те, разошедшись, ни малейшего не обращают внимания, в лестной надежде на лучший звук и жребий. И впрямь появляются четверками музицейские, галунами обшитые, кушаками белыми подпоясанные, и новые, дивные несут инструменты, теперь-то уж мы заиграем! Радость неимоверная! И новый пред нами предстает Капельмейстер, в очках роговых, ибо тот, пенсноватый, отправлен на Пенсию ради Выслуги Лет, и толкуют уже, что ему-де Перепонок Барабанных недоставало, так что ничего он не слышал. Отвинчивают прежнюю надпись и новую золотыми гвоздочками приколачивают: CAPPEL-MISTERIUM OPTISSIMUM [57], и снова за дело! Сперва, однако, Роговик сообщает: Прогрессивных держусь я принципов. Объявляю Дискуссию. Пусть каждый поведает о сокровеннейших думах, о том, что звучит у него на душе. Пусть откроется! Можете говорить без опаски, Дражайшие, никто у вас волоса не тронет на голове, никто не обидит, не надорвет ни раковины ушной, ни связки, ибо я не таков! В чем торжественнейше клянусь, и на Га. Сф. присягаю, и сказанное скрепляю Дирижерской Печатью под Управлением Его Всемилостивейшего Збасительного Величества!!!

И ну все сызнова взахлеб изливаться! Льется патокой

красноречие, риторики мед – смычковцы, валторна, скребачи, трубодеры, да так смело, аж дух спирает; сообщают, что кто кому с кем и как, что творилось при пенснеце-дирижере; ох и плохо же, слышу, о нем отзываются, никогда не пришло бы мне в голову, что они не любили его как родного, ведь сами же бесперечь перед ним в любви изъяснялись и чувства предлагали нежнейшие, – а те тугие конверты, не иначе как письма любовные, что совали в его перчатчатую ладонь? Сыновней нежностью дарили его и с носами расквашенными умилялись: он наш голубчик, наш батюшка, по заслугам колотит он нас, и на тебе, память его вовсю загрязняют, глух-де как пень, а Контра-Басисты – что-де ручищи у него параличом искорежены и одно лишь умел он: лупить по глазам, а глаз-де имел он дурной, монструозный, и взглядом дырки выжигал в барабане, что присутствующий здесь ударник милостиво подтвердить соизволит, – а я, в замешательстве страшном, под нос себе мямлю и бормочу, ведь зазорно так лгать, но вижу, что лгут они от чистого сердца, из чистого энтузиазма врут с три короба, и не могу надивиться, каким это образом непритворное благонравие, добрая воля и влечение к Лучшему могут марать себя такой обовранью, и лжепыханством, и выплевом слюнно-язычным? Ведь они уверяют, будто и порчу он наводил, и у мышей молоко из-за него пропадало, что был он косой, легавый, горбонос-недомерок, да еще плоскостопый, а как, мол, с Плоскостопием шествовать к Га. Сф.?!

А Роговик записывает, подпевает, вторит, однако вскоре затем, по возобновлении репетиции, вижу, Что-то к нам шлепает не торопясь, мы в мелодию пробуем спрятаться, но нависла от Лапы тень, и вот уже того Коротышку при колокольчиках, что первый начал, Цап за штаны, а другой лапой Контра-Басиста, что столько на пенснеца наохальничал, Хап за полу, и обоих, ногами болтающих, уносит Оно и в шкафу затворяется, и слышу я сквозь наше Анданте Маэстозо: Хруп-Хруп, Ням-Ням! Только мы их обоих и видели.

Играем, но разлезается играние наше, затем что темень в глазах! Da capo al fine! [58] – кричит Роговик. Плохо, еще раз! Играем, вступает оркестр, по спине мурашки, полный звук и полный тон, но среди этих мурашек другие какие-то, немузыкальные, чувствую да вдобавок путаю ноты, а причиной тому глазотряс от беспрестанного зырканья в угол. Пошло форте, гремят медные, но словно бы пробирает их дрожь, а Гориллище шкаф отворяет, принюхивается, на пороге садится, зычно рыгает, знать, отрыгнулось ему Колокольником, о боже правый, о Гармония Сфер! А от рыгания – от чего же еще? – съехали в фальшь смычки, а пианист как забарабанит по клавишам, вкривь,

вкось, в тряс, в дрожь! Морщится роговой Капельмейстер, словно лягушку проглотил, ох, плохо, такие инструменты, а запороты, скверно, мерзопакость, не музыка, и не совестно вам, лоботрясы, лодыри! еще раз! И раздает нам руководящие исходящие из-за пюпитра, и витамины, и смеси питательные, и приносят заграничный канифолий в бочонках, нарочно выписанный, не жалеет расходов Его Величество Гармонарх, но снова фальшь вкривь-вкось, и вот уже Непременную Ученую Комиссию учреждают. Заседает Комиссия, и что порешит, то мигом и исполняется. Входят четверками музицейские в позументах, становятся справа и слева от нас, и кто сфальшивит на фа-диез – премию прочь, а кто на бемоль – вычет из жалованья. И играем мы форте, но фальшь, и по шее трахают нас музицейские, ибо каждый снабжен метрономом и акустрофоном, и от всеобщего траха слабеет симфония, и слышно скорее трах-тампамтрах, чем тирлим-пампам; вижу, в лютую я попал переделку из-за тяги к Гармонии Сфер – вся голова в шишках…

Мало музицейских! Подтягивают резервы, нотоведов-счетоводов несчетные полчища, ко всякому игрецу приставляют поверщика, чтоб за чистотою звука следил, сверяют они тональности, приход и расход и баланс мелодии, строчат, и от скрипа перьев музыки меньше, чем котенок наплакал. О, что-то не так! – говорит роговик-капельмейстер, – не так! И колокольчиков нет. Где Колокольник, куда подевался? Те, что подальше, в смех, а ближние на корточки и бормочут: а ведь нету, действительно нету, испарился он, что ли, а? Может, упорхнул на мелодии? Что скажет начальство? Скверно, понимаем, что скверно! Злобарь, густобрех, балабон, ящереныш, стреканул, ренегад, собака, стреньбрендил, и прочее.

И устраивает нам дирижер совещание с практическими занятиями. Нужно до самых корней дрожальной фальши добраться! И все вокруг признают: Что-то и вправду нам как будто препятствует. Что-то, мол, портит обедню. И что это, дескать, за фантазмы-миазмы мешают нам и с пути к Га. Сф. сбивают? Контра-Басист говорит: Быть может, воздушной вентиляции не хватает? Виолист на это: Полагаю, напротив, что слишком сильный сквозняк. Или, может, уж очень я виолу свою завиолил, оттого она и виляет? Моя вина! А другие бормочут: Возможно, как знать, проверим весь зал, все углы и все эркеры, может, мыши завелись, может, их-то и боится интуитивно подсознание наше? И начинаем искать сквозняки, вентилюфты, затыкаем всякую щель, и мышей тоже ищем, с лупами, на четвереньках, и наконец сыскали трех тараканов, одного паука, шесть блох да вшей пару дюжин; ободренные этой находкой,

протокол составляем и давай искать дальше, теперь уже с фонариками электрическими, под эстрадой и во всех закутках, но замечаю, никто не придвигается к Шкафу ближе, как на шесть шагов, я тоже на корточках лазаю, углы обнюхиваю и словно бы ненароком направляю толкучку, себя вместе с прочими к Шкафу подпихиваю, а там словно бы электрошок, дальше ни на вершок, все единым трясом назад, как черт от ладана, приборматывая: Ага, стена. Известное дело, стена, самая что ни на есть стеночная, в такой, окромя кирпича да песка, штукатурки да извести, нечему быть! А когда я попробовал, приналегши, подтолкнуть их, кто-то, чую, меня отпихивает, а кто-то и в зад укусил. И вот уже откатились мы на более спокойное место. Да еще при откате кто-то всадил мне в глаз палец. Стал я смекать, что они, превосходно все замечая, не замечают вообще ничего, видя все ясно, ничего не видят, и, весьма удивленный такими порядками, удалился на четвереньках.

Играем, а Гориллий хозяйничает. Раз того, раз этого Цап, ну, думаю, не много будет тут музыки, а скрибка рыдает «ах траляля», да и как не рыдать, коль в любую минуту тебя может зев поглотить зловонный? Мы пианюсенько-пианиссимо, и глаза уже застилает туман, а тут смрадный дых «пых-пых» за спиной, ноздри над нами сопят – что Оно, в музыку внюхивается, по варварской натуре своей и общей неудобопонятливости? или как? И что с того, что звучны инструменты, ежели Гориллище нас дегустирует да пробует на зубок? а Гармонарх является в ложу и говорит: Ну, хорошо. Мелодия, в целом, вполне мелодична, и довольно-таки гармонична гармония, но духа в ней еще не хватает. Без Веры Играют, наперебой, нет тут ни ладу ни складу, Не Убеждает ваша игра! И к тому же какая-то дрожь поросячья. Это что за озноб трясучий в музыке вашей засел, изнутри симфонию портит? А ну-ка, вытребовать мне Искусных, а прочих вон со двора, и вообще, живей у меня – гитарить, здрунить, скрибеть, мандолинить, тромбонить, но в такт и в тон, а не то Гармонарх осерчает! Набрался я тогда смелости и в перерыве между Анданте и Аллегро Виваче говорю Басисту, что рядом сидел, и крупный его инструмент обоих нас загораживал: Послушайте, Ваша Честь. А он мне: Что? Я: Зрите ли нечто в том углу, близ Гармонаршей Ложи? Он – ни звука. Я: Ужели Углана не примечаете? Не может такого быть! Видится мне Гориллище вылитое! Ведь это от него на нас смрадом разит! Вот и опять икает! А тот – ни звука, но вижу: словно бы расплывается фигура его перед моими глазами. Я говорю: Ведь вы, Ваша Честь, ни бельмом, ни двойной катарактой не покалечены, и имей вы даже застарелые мозолины на глазах, довольно было бы потянуть

носом и собственному нюху довериться, чтоб зловонье почуять. Ведь над нами не купола тень, но Носа Гориллиева, а это не столб, но клык, и всех нас оно пожрет одного за другим! Тот – ни звука, только перед моими глазами весь расплывается, и вижу, что это Дрожь его одолела. Страшливость трясет его и колотит горячечно, однако он отвечает: По чести, вы играли изрядно, однако когда я дохожу до Трели-мели-дири-будидам, вы должны не Дуда-дадапам, но Бум-дум-бадам! Однако, слыша эти его слова, одновременно слышу я и другие: бога ради, молчите, сударь! И если одно говорит он устами, то другое словно бы низом, примерно от пояса, и вижу, что это он, значит, брюховещает! А теперь, молвит он верхом, хватит лясы точить, пора за работу…

Присматриваюсь получше и вижу, что всякий здесь так: кругом всеобщее брюховещание процветает, а я-то думал, что это урчанье-бурчанье со страху! Стал я все ниже и ниже вслушиваться, и на уровне живота слышимость много лучше. И говорят животы: Ох, долюшка-доля, была б наша воля! Эх, давно бы все по кустам разбежались от этой Гармонии! И шепчут животы: Онучи Збасителевы черти похитили, пусть себе портки обмочит, не сыграть нам, как он хочет. А также: Тише, тише, ваша честь, Кто-то Страшный ходит здесь, фигли-мигли-шмогли-швах, только хрупнешь на зубах. И судачат промеж собой животы: Что за чудная игра идет здесь на нервах наших! А один живот говорит, авось мы ему приедимся, или, может, со временем перейдет Оно на вегетарианство, мол, время смягчает нравы, но прочие животы тотчас же на него разбурчались. И одновременно восклицают верхами: Что ж, недурно, почти что дивно сегодня, только бы поскорее до Га. Сф., только бы поскорее… пусть смычковые от темпа не отстают! Или плохо нам тут, ламца-дрица?! И вижу еще, у всех какие-то занятия на стороне, один на гребенке премило дудит, другой на травяном стебельке комплименты насвистывает, тромбон собирает марки и слезы оными утирает, кто вышивает монограммы, кто языки изучает, как вдруг шлеп-шлеп, и идет Гориллище, страх смертный, но Оно только травку, гребенку, марки забрало и в шкафу Хруп и Ням-Ням. При оказии тромбон получил тычка, примочкой свинцовой и творогом глаз подбитый обкладывает, и вольно же было ему, говорят животы, об онучах этих мычать, лучше б за место свое покрепче держался, чем животом хорохориться! Тише, тише… И впрямь так тихо шепчут, что не знаю, чье это брюхо вещает, валторнист продает таблетки от нервов и головной боли, Басист ловит моль, что завелась в барабане, треугольник учит, как чесаться между лопаток и ниже, тогда-де мурашки не столь

докучают, иные друг на друга доносят, мол, в нотах фа, а он фадиез, капельмейстер требует чистоты лейтмотива, бемоль, дуралей, «бе-е-емоль», или партитуры не видишь? – подымается пыль, это смычковые перелягались из-за бутылки для играния частным образом, на стороне; мелодия замирает, как писк мышиный, а может, и вправду мыши, иначе откуда здесь пикий диск, то бишь дикий писк? О да: фальшь сплошь, так и идет, от скуки до дрожи и от скулежного хныка до тряса, с утра инструменты драим тряпицами, канифоль в ход, замшей барабан до полного блеска, и вот прибегает лакейчик и Роговатому записку сует, а тот: Ага, говорит, вызван я на Министерский Совет в связи с Главнейшим Руководящим Мотивом, поскольку нечисто играете; репетиции откладываю до вечера! Фагот, который как раз ему конверт подавал – уж такой тут обычай, – как будто раздумал: прячет конверт в карман и спешит обратно. И новый пришел дирижер, востроглазый такой, без очков, и при нем дознались комиссии, что тромбон припрятывал звук подобротнее и не расходовал по надлежащей статье, за что и был переведен в Ложу и назначен Вице-Министром Считанья Ворон, у арфиста же выявили сухорукость, и оказалось к тому же, что нот он не знает, а потому перебросили его на фортепьяно, чтоб не слишком переживал. Снова явилось Гориллище на инспекцию, я смешался и как бабахну фортиссимо, не по барабану, а по мозоли мизиночной, о боже, боже, рябь в глазах, ноги врозь, пятки вкось, а все оттого, что слышу Шлеп-Шлеп, Хруп, Ням, зыркаю глазом – нет уже, нету флейтиста! И слопало Оно его посредине Гала-Концерта, пред Гармонаршим Величеством, в алмазном сиянии люстристом, и Августейший Збаситель не в пижаме, но в Горностае сидел, как же так, себе думаю, прямо на глазах Гармонарших смеет нас уплетать, ну, теперь-то уж быть не может, чтобы не заголосили они, чтобы хором не завопили, может, падут на колени, может, кинутся вроссыпь, может, всем скопом на Чудище, но чтобы совсем ничего – никогда не поверю. Но то-то и есть, что ничего! С этого все и пошло, потому что так приуныл я, что больше по коленкам и по мозолям своим лупил, нежели по барабану, и от такого битья начала во мне закипать великая злость, чувствую, еще одна капля, и не стерплю с таким капельмейстером, право слово, все одно пропадать, разрази меня ржа, мало того, что жизнь веду без надежды и милосердия, так еще и без музыки, ну какая же музыка с Гориллищем над душой. Струны бы перерезать этим смычковым, и динамиту в трубы, в валторны пороха и фитилей, да где там, пилим до самого вечера.

Но снова Придворный Концерт. Оркестр жарит и шпарит, а Гориллище, присевши на корточки, ищется у всех на глазах, в

бездонной морде своей ковыряет пальчищами, и если сморкнется, так сморкота дождем на нас, и темень, как в майский ливень, а коли кашлянет, так словно гром громыхает, оркестр перекрывая в форте, а те всё играют. Скрипка стенает, изнемогает валторна, тромбоны дудли-дудли на бадудли, ан прямо передо мною лапища волосатая Цап, и нету Басиста, хоть и берегся он, и стерегся, так что же это за музыка, ежели все мы – Миска с Закусками? а Гармонарх в ложе сидит, веерами обмахиваемый, венками венчаемый, глубоко почитаемый, и говорит он сквозь зубы: Не та еще музыка, что должна быть. Нет еще Веры, Правды, Надежды, Любви, нет Гармоничной Темы Истории! Выше, смелее, вперед, почему Капель-Мейстер так мерзко размахивает, хотя Без Очков он и Востроглаз?! Быстрее! Лучше, резвее, ибо Гармонарх недоволен, маловеры проклятые! Как смеете вы сомневаться в Га. Сф.?! А? Или, может, поглубже копнем? Что? Пусть всякий смело, напрямик, без боязни и без Опаски откроется Нам, ибо Мы Всемилостивейшее Величество, Веры и Доверия Августейший Сосуд, пусть же встанет и сбрешет собака этакая, этакой сын, с какою он целью Совершенство подтачивает да подкапывает? Мы ему ничего на это, мы его уговорчиками-ликерчиками, мы ему добром растолкуем, где раки зимуют! Тишина как в могиле, замерли все, только Гориллище вдруг ХАБДЗИХ И ХАБАБДЗИХДЗИХ-ДЗИХ!!! Зал задрожал, и стон испустили колонны мраморные, и эхо в моем барабане отозвалось, и даже упала щепотка известки на Высочайшую главу Гармонарха Збасителя, и пылью припорошило царственный лоб. Но король словно бы ничего не заметил. Не слышал, не шевельнулся даже. Игрецы вколенились коленками в грудь при громовом громыханье этого Чиха, а король хоть бы что. И думаю я: О, страшная это, похоже, афера! Не может Сам Гармонарх Угланского не видеть Гориллища, однако ж не видит. Не мог он на собственном царственном лбу не почувствовать Извести Штукатурной, однако ничего ровным счетом не чувствует. Так что ж это значит? Кто хозяин, кто слуга? Неужто Гориллище – Клыкастый Капельмейстер Збасителя? и на закуску его оставляет, приберегает на сладкое? Или же оба тайным альянсом связаны против нас? Ничего не пойму, одно только знаю: дать бы Драпа, да поскорее, но как?

После второго отделения, в перерыве, выходит Гориллище из Шкафа и между нами прохаживается. Скука, что ли, его одолела? Открывают совещание, и пошли игрецы балаболить, требуют слова, принципиальную наводят критику, а Гориллище у одного обнюхало уши, другому галстук поправило, у третьего слопало текст доклада и тотчас, сконфузившись, присело на корточки, а

на ходу сплевывало в плевательницы серебряные и наплевало – может, и по ошибке – в тромбон. А балабольные златоусты по-прежнему мелют о Га. Сф., даже пот струится со лба, играть – увольте, играть не могут они, зато сколь чудно, с каким вдохновеньем и верой в Га. Сф. способны о совершенстве игры толковать! Когда же мне балабольство ихнее и хожденье, сопенье, почесыванье Гориллиево под последнее саданули ребро, случилась со мною одышка, и мрак в глазах, и попросил я слова: а Гармонаршье Величество из ложи приглядывалось ко мне, затем что курировало Совещанье и лично оное почтить Соизволило Высочайшим Присутствием. Встал я с такою сентенцией, что, ежели б описания музыки имели свойство звучать, непременно распростерлась бы в Гафнии воплощенная Сфер Гармония; и чую отчаянность в себе небывалую, и во всеобщем Silentium [59] говорю громко: А это что за чудище-ублюдище шастает и слоняется здесь на каблукастых ножищах, и шлендает, и топочет, и тошноту наводит одним только видом? А по какому такому праву сей Шкафный Углан беспрестанно в музыке нашей шарит и оную сквернит своею сквернотиной, а также обжорством? А слыханное ли дело, музыкантов почтенных сырыми жрать, да так, что уши чешуйчатые трясутся, а кадык ходуном ходит? А где это видано, чтобы были Комиссии и полные доктора тих. муз., ученые экспертизы, и ревизоры, и контрревизоры, и микроскопов скопища, и никто ничего, ни гугу, всё на корточки да на корточки? А раз так – я, тут и теперь, заявляю: Veto [60], Государь Гармонарх, и Veto, государи-собратья, и Veto еще раз, нету согласия моего на тебя, Гориллище Гнусное, и пока ты здесь, дерьмо у нас будет, а не Гармония Сфер!!!

Что тут было, милостивые государи! Одни силились влезть в инструменты свои и там укрыться, но вам понятно, я полагаю, что если это еще входило в расчет в случае контрабаса или пьянофорто, то о флейте нечего и говорить, а уж треугольщик, вконец ошалев, пролез в треугольник, и тот висел на нем, словно ошейник, позванивая от зубов его щелканья. Другие же залезали под стулья или царапали пол, чтобы вырыть хоть ямку, но при дубовом паркете какая может быть ямка для страусиной политики! Медник-тарельник, зад заслонивши тарелками, бумкал в мой барабан головой, так его в середку тянуло, однако же импортная добротная перепонка выдержала. Капельмейстер, чтобы меня перекрыть, лупил во всю мочь по дирижерскому пульту, с поросячьим взвизгом «анданте анте ранте адаманте танте», ибо все уже у него смешалось, а Его Величество Гармонарх из Ложи своей, почитаемый великим почетом, зашептал что-то быстро лакеям и челяди, и давай они портьеру

задергивать, дабы та парчою, дамаском, тисненьем гербовым отгородила от нас короля, а Гориллище сперва хоть бы что, трескает только да чавкает, жрыкая, – все ему арфистом отжрыкивалось, который был жирен и тучен весьма, – а потом, приподнявшись, как забасит, хрипло, мерзко и рыковато:

– Ка-блу-ка-стый? Это кто же? Мо-я-свет-лость?! Ах?! Мне ли тут по-о-хо-хо-хо (заплакал) зор учиняют? Меня ли тут в чем-то ду-у-ху-ху-ху (заплакал) рном обвиняют? И никто меня ни сло-о-хо-хо (заплакал) овом единым не защитит? Проклятье! Спасите меня, детинушку-сиротинушку, меня тут шельмуют, мне тут афронт, мне тут обида, мне тут поношение, худо мне тут, я к мамочке, к нянюшке хочу! О-хо-хо-хо! У-ху-ху-ху! (рыдал уже громовым водопадом) – ты мерзкий вшивец-паршивец! Би-ток не-куль-тур-ный! Ба-клуш-ник! О-хо-хо! Не любишь меня! А я-то думал, что все меня тут, все до единого любят.

Сначала я было речи лишился от удивления, но после собрался с духом и говорю: Сударь Гориллий! Поистине, трудно любить того, кто Угланом Шкафонским из укромного Шкафа то и дело жутко вылазит и рыскает, словно рысь меж овец, кости ломает, тромбонистов жрет, флейтистами закусывает, а потому невдомек мне, как это ты не видишь каннибально-музыкального своего лиходейства? А вы, – говорю, – господа грамотеи, фрачистые, табачистые, бородатистые, и ты, черно-смокинговый доктор тих. муз. с трубкой, – не научная ваша наука ученая! Метрономов тут понаставили, резонаторов, абракадабр и альфацентавр, муку рассыпали в воздухе, чтоб зависала, летая, и Стоячих Волн выявляла узлы! Экспертолизы строите, тон и такт метром меряете, а Гориллища не видите! А Его Величество Гармонарх пусть изволит занавесь свою отзанавесить и некоторым образом растолковать, на каком таком основании допускается здесь сыроядение на месте, а также на вынос в Шкаф?! Ибо вошел я в азарт и мне уже все едино. Ученые, вижу, достают тюбики с синдетиконом и пробуют Специальными Словами отделаться, как-то: Delirium Tramtadremens, или Бред Колотунский, Psychopathium Musicales cum Hypnagogica Confusione Debilitatissima [61], но Гориллище как зарычит! Слезы горючие льет, и ручьями текут они по ступеням амфитеатра; а потом как махнет одним махом горилльским к Збасительской Ложе, как на шнурах повиснет да как вцепится в узорчатую парчу, – тут уж сам Гармонарх изрядную Конфузию выказал, в углу на корточках съежился и чрезвычайную ведет консультацию с Советом Министров, а Гориллище морду в Ложу сует и: спасите, В. Величество! – восклицает, – спасите меня, горемыку ославленного, а не то я пойду и уже не вернусь!

Вскочил Гармонарх при этих словах и криком вскричал: Только не это, ах, не это, Надёжа ты Наша, Опора, Дружок Любезный, Только не ЭТО! Сделай же сам, сам знаешь что, изволь понять, Милостивец, что Нам сказать такое в Мягкосердии Нашем, Многажды Царственном, не пристало, а тебе ничего не стоит. – А вот нет же! – Гориллище отвечает, носом жутким пошмыгивая, так что сопли текут по страховитым щекам, – вот нет же! То, что делал я, – делал на службе В. Величества, согласно персональному списку, Нарочным из Ложи доставленному через Окошечко Шкафное, выхватывал я строго по предписанию и согласованно потреблял, однако Весьма Неохотно, затем что я Игрунишками Брезгую и, жизнью клянусь, ни единого в рот бы не взял! Всех до последнего ел с отвращеньем, наперекор своему Естеству, себе вопреки, единственно ради Трона, Отечества и Высших каких-то Сфер, ибо я Углан неученый и не знаю, как их там звать, и желудка, здоровья, печени своей не щадил, хотя от провизии этой прогорклой желчь запеклась, и расстройство случилось, и жжет беспрестанно изжога, однако же я беззаветно стоял на посту и поэтому требую, чтобы оный Облыжник со своею Гремучкой за шельмование Персоны моей, по природе добропочтенной, добродушной и преданной, немедля был В. Величеством собственноручно по заслугам наказан, а не то я пойду себе прочь, и увидите, В. Величество, что останется от Музыки Вашей!

И ну Гармонарх умолять да упрашивать, гладя преподобными своими Руками Чудище по мохнатому лбу, а Углан Шкафарь, на портьере повиснув (которую оборвал он вместе с частью деревянной обшивки), – отказываться, да препираться, да пикироваться, усиленно акцентируя ранимую деликатность своей души, так что я от изумленья опешил. А Гармонарх шепчет: Знаешь что, Любезный Оплот Наш, Верно Нам Преданный? Мы пока временно Облыжника этого, вместе с поклепищами его, всемилостивейше помилуем, и Мы ему Crimen Laesae Gorillionis [62] на время простим, имея в виду, что он немедля и безусловно свои клеветушные враки обратно врыгнет, признает свое негодяйство и собравшимся разъяснит, что действовал в качестве Диверсионария, подстрекаемого иззарубежно, за сребреники Иудины, и заданье имел Мелодию Обляпать, а Гармонию Сфер облевать и через то уничтожить! Говорит, а сам Шкафону вовсю подмигивает, и смекаю я с лету, что такое прощенство не более чем отсрочка казни, и восклицаю, барабаня в цезурах: Чудовище собою чудовищно! Чудовищности полно, как вошь меда, и смердит к тому же, как Сто Чертей! И даже если б никого не жрало, а только икало да в углу угольно угланилось, от одной

лишь вони Игре Труба! Так говорю и ничего не врыгну, разрази меня Барабан!

Полный тупик.

Оркестр вылезает из контрабасов, тромбонов, фортепьян, из-под диванов, одни еще уши по инерции затыкают, другие уже подымают головы, а животы их, будучи посмелее, хотя и лежат плашмя, отзываются: Это факт, жрал, жрет и, кто знает, может, и дальше будет нас жрать! И в самом деле, такое пошло, что господь сохрани! А Гориллище, как сапог тупое, не поняло хитрости, укрытой в речи Збасителевой, и говорит: Ах, ох, мне тут обиды чинят, я тут полжизни убил на таком горболомстве и вот что получаю в награду, хватит с меня шельмования, иду себе прочь и дальше, куда глаза глядят!

Позеленел на это король. – Ради бога, – восклицает в крайнем отчаянии, – а что же будет с Га. Сф.?! Не забывай, Любезный, о Гармонии Сфер, ведь мы к ней всем миром, плечо к плечу, а Ты соль движения этого…

– Э, там, – отвечает Гориллище темное, – я свое сказал, а теперь пусть Ваше Величество грызется само с музыкантами!

И прямо к дверям выходным разворачивается. Гармонарх при этих словах сам мартышкой сползает в партер по портьере и вприпрыжку за ним, плачась в плащ и жилетку. – Единственный, милый мой, верный! – кричит. – Не покидай Нас! В распыл Колотушника пустим, только вернись и прости!

Гориллище туда, Гармонарх сюда, и пока они так меж колоннами кризис правительственный исполняют, пока Министерский Совет за ними гоняется, а под тяжестью Обер-Порученца для Интересных Положений оборвался шнур золотой с кистями и по голове его шмякнул, каковую гармономедикам пришлось немедля сшивать, словом, когда такой учинился гвалт, я вдоль стенки к алебардистам, а те, заглядевшись на притопы королевско-угланские, ничего не видят вокруг, я за ручку дверную, и в сени стремглав, и, мимо инструментов чудесных, к внешним отворенным воротам, а из оных выбежав, государи-братья, такую Тягу почуял, что без форсажа, больше скажу – вообще без ракеты взял и взлетел, только меня и видели, однако ж по курсу не смог удержаться, так меня колотило, и врезался в какое-то Облако, крайне холодное, и сделалось мне даже приятно, разгоряченному; потом зазнобило изрядно, но с разгону свернуть я уже не мог и вмерз в охвостье оной кометы, леденея и всякое теряя сознание. А что было дальше, до самого пробуждения, ей-ей, не ведаю!

Закончив, барабанщик прижал к груди милый ему барабан и как будто лишь для себя самого да еще для муз тихонько

пробарабанил экзотический, унывный мотив. Слушатели зашевелились, и наконец Трурль сказал:

– Необычайная это была история, и я рад, что волею случая удалось мне такого артиста вызволить из ледовой тюрьмы! Я знал, о, я был уверен, что мы проведем время с немалой обоюдною пользой, поскольку каждый из нас, будучи родом из разных краев, может наставить и позабавить других по-иному – ведь наставленье с забавою нераздельны! Но теперь твой черед, почтенный Андроид, так что изволь рассказать нам, какими судьбами попал ты на скромную нашу планету…

Андроид не стал отказываться, а только заметил, что его история не может сравниться с историей барабанщика, ибо он не артист. Тут барабанщик, Трурль и машиненок принялись его уверять, что достоинство различных жребиев не поддается сравнению, так что гость, поупиравшись немного ради приличия, отхлебнул из бурдюка, откашлялся и начал рассказывать.

Рассказ Второго Размороженца

С радостью предстаем мы в собрании столь благородном, дабы поведать нашу историю, хотя она и является государственной тайной. Мы откроем ее, движимые благодарностью, которая выше соображений государственной пользы. Эта полная замерзшей цикуты чаша, которую добросердечный Трурль вылущил из нашей окостеневшей десницы, должна была лишить жизни не одно существо, но целые миллионы. Ибо мы не тот, за кого вы нас принимаете. Мы ни робот, ни хандроид, что легкомысленно прибег к яду, ни, наконец, простейший, именуемый чиавеком, хотя с виду и впрямь на него похожи. Но это лишь видимость. И мы говорим о себе во множественном числе не из-за претензий на Pluralis Majestatius [63], но по грамматической исторической необходимости, которую вы уясните себе к концу нашей истории.

Началась она на блаженных побережьях планеты ЖИВЛЯ, прежней отчизны нашей, прозванной так по причине своей живоплодности. Там-то мы и возникли, способом, о котором не стоит особенно распространяться, ибо Природа употребляет его повсеместно, питая извечную склонность к автоплагиату. Из моря ил, из ила плесень – известная песня, из плесени рыбки, что повылезали на сушу, когда стало им тесно в воде; испробовав тьму всяких штучек, где-то по дороге они озверели, и возникшие таким способом ПЕРВОЗВЕРИ доковыляли до прямохождения, а затем, отравляя друг другу жизнь, – до разума, ибо разум заводится от забот, как чесотка от зуда. Иные из первозверей

позалезали потом на деревья, когда же деревья высохли, пришлось им в немалом горе слезать обратно, и от этого горя они еще поумнели – увы, на вероломный манер.

Не стало древес и постной пищи, и вышли они на охоту; и как-то один из них, грызя окорок, заметил, что у него лишь голая кость, а у другого есть еще мясо, и заехал он тому костью по лбу, и мясо забрал. То был изобретатель дубинки.

Через неизвестное время после того появился Завет. О его происхождении живлянская мысль выдвинула восемьсот различных гипотез. Мы же считаем, что Завет появился, чтобы несносное житье сделать сносным. Скверно жилось нашим праотцам, и были они на это в обиде – но можно ли быть в обиде на Никого? а значит, в каком-то, чрезвычайно тонком смысле, Религию породила у нас грамматика, подкрепленная воображением. Если здесь нехорошо – хорошо где-то там, подальше. Если такого места найти нельзя – стало быть, оно там, куда не дойти ногами. Ergo, могила – это копилка. Положив в нее праведные кости, на том свете за воздержанность получишь с лихвой – в вечностной валюте с Господним обеспечением. Однако втихую праотцы наши нарушали этот Завет, полагая не вполне справедливым, что самое лучшее зарезервировано для покойников. Теологи опровергли эти сомнения тремястами способами, о коих мы умолчим, а то нам и тыщи ночей не хватило бы.

Предки наши облегчали свой тяжкий труд всяческими штуками и махинациями, от которых пошли махины, махавшие за них цепами, ну а где цепы, там и колеса, а где колеса, там и биты – я упрощаю, конечно, но иначе нельзя. Смягчая так мало-помалу свои невзгоды, они попутно узнали, что Живля шаровидна, что звезды суть узелки, на коих закреплен небосвод, что пульсар – икающая звезда, а живлян породил ил (это удалось даже воспроизвести в особливых выводильнях через каких-нибудь тридцать тысяч лет от высечения огня).

Итак, телесный труд был отдан на откуп всяческим самодвигам, которые при случае годились и против соседей; однако еще оставалась тяжкая умственная работа, а потому измыслили мы мыслящие за нас механизмы, как-то: мыслемолки и мысльницы, перемалывающие мир в цифры, а потом отделяющие зерна от плевел. Сперва строили эти машины из бронзы, но за ними приходилось приглядывать, что также утомляет; поэтому вывели мы из обычных зверушек цифроядных мыслюшек, что жили-поживали себе у желоба, предаваясь запрограммированным компьютациям и медитациям. Так доработались мы до первой в нашей истории безработицы.

Освободившись от тяжких трудов, имея множество времени на размышления, приметили мы, что не все идет так, как должно бы: ведь отсутствие нужды – еще не блаженство; и принялись мы практиковать Завет наизнанку, вкушая каждый из помянутых в нем смертных грехов уже не с трепетом и не втайне, как встарь, но вызывающе, явно и с возрастающим аппетитом. Опыты показали, что большая часть оных не особенно привлекательна, так что на заре Новой эры мы всецело переключились на грех, обещавший больше всего, а именно, грех Облапизма, или Ложства, с такими его разрядами, как Чужеложство, Многоложство, Самоложство и прочие. Этот довольно-таки убогий репертуар мы обогатили рационализаторскими идеями; так появились облапоны, любвеобильные суперлюбы, половицы – пока наконец каждый живлянин не обзавелся в своем содомике полным комплектом блудных машин. Церкви, отнюдь не одобряя происходящего, закрывали на это глаза, ибо на крестовых походах давно был поставлен крест. По части прогресса лидировала первая держава Живли, Лизанция, которая крылатого хищника в своем гербе заменила, путем плебисцита, Порноптериксом, или Блудоптахой. Лизанцы, купаясь в благоденствии по уши, распускали все, что еще не было совершенно распущенным, а остальные живляне тянулись за ними по мере местных возможностей. Девизом Лизанции было: OMNE PERMITTENDUM [64], ибо всехотящая вседозволенность лежала в основе ее политики. Только живлянский медиевежда, что перелопатил наши средневековые хроники, сумел бы понять всю неистовость сокрушения прежних запретов: то был реактивный выброс в направлении, обратном стародавней аскезе и набожности. Однако же мало кто замечал, что живляне по-прежнему следуют букве Завета, хотя и навыворот.

Писатели прямо из кожи лезли, основывая грехопечатни, дабы наверстать многовековую отсталость, и печалились только о том, что никто уже не преследует их за смелость. Гимн молодежи, шествующей в первых рядах радикалов, звучал, сколько мне помнится, так:

Кирпично-медным
Сияя лбом,
Мы маму – в яму
И кол вобьем.
Потом на папу
Наложим лапу,
Сдадим на слом.
Сдохни, мать!

Папаша, сгинь!
Папе с мамою
Аминь!

Умственная жизнь процветала. Из забвения были извлечены труды некоего маркиза Де Зада; они стоят особого разговора, поскольку повлияли на дальнейший ход нашей истории. Двумя веками ранее палач изгнал Де Зада как мерзавтора-писсуариста; его писания предали огню – к счастью, предусмотрительный маркиз заранее заготовил копии. Этот мученик и предвестник Грядущего провозглашал Сладость Гадости и Святость Греха, и притом отнюдь не из эгоистических, но из принципиальных соображений. Грех, писал он, бывает приятен, но грешить надлежит потому, что это запрещено, а не потому, что приятно. Ежели есть Бог, следует поступать назло Ему, если же Его нет – назло себе: в обоих случаях мы выказываем всю полноту свободы. Поэтому в романе «Кошмарианна» он выхвалял копролатрию, то есть культ дерьма, освящаемого на золоте под звуки благодарственных песнопений, ведь если бы его не было, объяснял он, следовало бы его непременно выдумать! Несколько меньшей заслугой представлялось ему почитание прочих отбросов. В вопросах семьи он был человек принципов: семью надлежало извести под корень, а еще лучше – склонить ее к тому, чтобы она сама себя извела. Эта доктрина, извлеченная из глубины веков, была встречена с восхищением и почтением. Лишь простаки цеплялись к словам, утверждая, что Де Зад ПРЕДПОЧИТАЛ помянутую субстанцию родным и близким, но как быть, если кому-то милее все же семья?

Лицемерие этих критиков изобличили задисты, ученики и душеприказчики маркиза, опираясь на теорию доцента Врейда. Сей душевед доказал, что сознание есть зловонное скопление лжи на поверхности души – из страха перед тем, что в середке («Мыслю, следовательно, лгу»). Однако же Врейд рекомендовал лечение, вытеснение и окончательное прекращение, тогда как задисты призывали к демерзификации путем наслаждения до пресыщения, а потому учреждали выгребные салоны и тошнительные музеи, дабы там потрафлять себе и своим ближним; помня же о заветах Де Зада, особенно культиви-ровали эту последнюю часть тела. Как говаривал видный активист движения, доцент Инцестин Шортик, кто задов не знает, тому и наука не впрок, а живлянин-де задним умом крепок. Поскольку тогда уже много шумели об охране среды, задисты загрязняли ее сколько было мочи. Кроме копрософии, волновала умы

футуромантия. Пессимизм, столь модный в конце прошлого века, ныне высмеивался, ведь на одно рабочее место, теряемое вследствие роботизации, приходилось двадцать новых. Появились неизвестные прежде профессии, к примеру, оргианист, стомордолог (умел мордовать на сто ладов), триматург (драматизировал по заказу семейную жизнь, выстраивая супружеский треугольник), экстерьер и секстерьер (первый был просто экс-собакой, а второй занимался содо-мистикой, разновидностью авто-мистики, то есть составления священных обетов, исполняющихся автоматически). Даже физики, уступая моде, снабжали свои аппараты порноприставками.

За этой Реформацией в скором времени последовала Контрреформация, поборники которой обвиняли эпоху во всех грехах и совершали налеты на банки спермы и непристойной ферритовой памяти. Кроме этих взрывальцев, были еще анахореты – глашатаи Возврата в Пещеры, в частности, Вшавел и Ржавел, которые проповедовали грязнолюбие и скверноедение, коль скоро вокруг все такое стерильное и лакомое. Что же до прекрасного пола, то он взбунтовался тотально. В качестве идеалов женственности передовички движения предложили блудонну и свинкса, трактуя древние мифы на эмансипаторский лад. Все это вело к нарастанию хаоса, однако живляне в своем большинстве продолжали верить в науку, которая бестрепетно исследовала любое явление, – хотя бы оргианистику, которая стала формализованной дисциплиной благодаря введению единиц, именуемых оргами (а в случае некрофилии – моргами), и изучению тонких различий между бабистом, бабителем и бабашником, а также брехопроводом и грехопроводом; итак, наука все подвергала классификации и ничему не дивилась.

Впрочем, на ее счету было немало славных свершений. Именно в это столетие на выручку обычной инженерии пришла генженерия.

Начала она с создания диковинных гибридов (к примеру, дамы и самоката, в результате чего возник Дамокат), а затем принялась и за самих живлян. Дальше – больше, и вскоре разразилась Телесная Вольность: в генженерных бюро принимались заказы на тело любой формы и назначения. Поэтому некоторые историографы делят всеобщую историю Живли на эру идеальных войн, в которых бились за идеалы, и соматических войн, в которых сражались за единственно верный телесный стандарт. Впрочем, учение маркиза Де Зада плодоносило по-прежнему. Новейшая космогония утверждала, что другие космические цивилизации не обнаружены доселе единственно из-за гнета ханжеских представлений: считалось,

будто такие цивилизации заняты выдаиванием солнц, расходуя звезды с бережливостью лавочника. Что за чушь! Первобытному человеку свойственно копаться не в звездах, но в кротовых норах – на большее он не способен. Чтобы транжирить богатство и мощь, надобно сперва иметь то и другое. Звезда – не заначка накопителя, солнце – не грош на черный день, астротехник – не скряга. Сколько бы ни потреблять солнц, всегда останется невостребованная безмерность, своей огромностью глумящаяся над любым счетоводством; следственно, бросить Космосу вызов может лишь абсолютное бескорыстие. Слепому хаосу звездных огней должно противопоставить сознательную волю к вселенскому пепелищу. Впрочем, мы уже вступили на этот путь – разве мы не сокрушаем атомы вдребезги? Ножки протягивают по одежке, а значит, астротехника высших цивилизаций должна быть оргией метких ударов, кладущих конец идиотскому вращению небесных тел, и притом ради чистого удовольствия, а не ради корысти. Небосводы полны галактик, пускаемых в распыл, что, кстати сказать, объясняет всеприсутствие космической пыли. Поэтому братский разум узнается на астрономическом расстоянии по небывалой мощи пинков, наносимых зданию Вселенной, – именно так заявляет он о своем разумном присутствии в ней. Пока еще любая комета запросто смахнет нас хвостом с родимой Живли, любое мигание Солнца грозит нам гибелью, но со временем возрастает наша мощь, а не Космоса, и настанет блаженный день, когда мы сбросим оковы и покажем братьям по разуму, что не святые горшки обжигают, а то и где раки зимуют!

Итак, Космос не разбухает и не разваливается сам по себе, но разлетается у нас на глазах от взбучки, которую задают ему высшие астрократии.

Эти ученые споры потонули в канонаде очередной мировой войны, в которой телесные ретрограды сразились с альянсом соматической вольности. На счастье, обошлось без крупных потерь, поскольку порубанные вражьи тела воссоединялись прямо на поле брани в лазаретницах, или полевых воскрешальнях, а главнокомандующий здесь же, на месте, посвящал в рыцари самых лихих рубак; в народе их прозвали отрубными баронами. Лагерь старотелов потерпел поражение, что рикошетом ударило по живлянским церквям, взявшим сторону консерваторов. Локальные заварухи, такие как бюстобунт или позвоночно-хребетный мятеж, случались и позже, но все они были подавлены, и после установления суровой биттатуры наступил (ненадолго) мир.

Это следует пояснить. Уже на пороге телотворительной эры

каждый живлянин вел двойную жизнь, одну обычную, другую – моделируемую цифровым методом в центре персонального счета (хотя многих коробил этот незримый надзор, прозванный цифрократией). Но иначе было уже нельзя: никто не мог удержать в голове экономическую и прочую жизненно необходимую цифирь, а если б и мог, все равно бы не захотел. Поэтому порядок сохранялся благодаря информанкам и моделякам, что наблюдали за всею Живлей через оптику спутников, которые в народе окрестили Верхоглядами.

В эту эпоху всевольностей лишь добродетель стыдилась показаться при свете дня. По понятным причинам проституция давно захирела, а ее заменители – девствухи и любодевы – не имели успеха: всякий знал, что истинная невинность не торчит на углу улицы, а если торчит, значит, тут что-то не то. В тайных клубах целомудры целибатничали с целомудрицами, сидя на хлебе и воде. Именно в этой среде информанки персон-моделирования особенно рьяно проповедовали разврат. Впоследствии тут была усмотрена злонамеренная подготовка к битовороту. Однако о мыслемолках никто не заботился – те росли себе сами; когда же численность живлян перевалила за миллиард, обнаружилась нехватка места в цифровейниках, хотя каждый электрон тащил на себе целую охапку битов. Началась экспансия цифровой индустрии в глубь планеты; геологические слои один за другим преобразовывались в битические, и наконец раскаленное ядро Живли превратилось в Мудро, о чем, впрочем, мало кто знал, так как внимание граждан занимали новые виды спорта (в частности, случной и многоложный), новые музыкальные жанры (концерты для блудофона) и т. д.

Правда, случались недомогания моделирования, именовавшиеся цифрозом; в таком случае гражданин в мгновение ока лишался недвижимости, банковского счета и полностью обезличивался, но это, по общему мнению, было в порядке вещей.

Пораженный цифрозом (безличник) не имел ничего и не мог никого призвать в свидетели, ведь ни родителей, ни детей, ни супругов давным-давно и в помине не было, а лица, с которыми занимаешься блудыжничеством, впиянством и прочими формами увеселительного сквернавства, в свидетели не годились. Коль скоро каждый сквернился с каждым, никто, кроме компьютеров, не знал никого хорошенько, и персональная судьба, запечатленная в Мудре, висела на тоненькой ниточке ферритовой памяти, на глубине в тысячу миль под ногами у каждого живлянина. Порою из-за короткого замыкания судьбы двух лиц сливались в одну, или же расщеплялись данные одного индивида, – последствия были равно плачевны. Безличников

преследовала навязчивая идея несуществования. Этот социальный недуг (нетчество) чаще всего проявлялся в виде синдрома Нетуса. Будучи всем сыт по горло, не зная, кто он, собственно, такой, говоря «нет» всему окружающему, безличник рыл где попало яму, чтобы исчезнуть в ней. Встречались любители интимных утех как раз с анонимными ямниками, которых выискивали особливые доезжачие со сворой экстерьеров, насобачившихся в отыскании нетческих ям. Отсюда видно, сколь усложнилась жизнь в ту эпоху.

Центры персон-моделирования работали в телотворительную эпоху с перегрузкой, ибо граждане двоились и троились на глазах, множа себе тела на любые оказии. Не было недостатка в миллионерах-коллекционерах; не желая ни с кем делиться радостями плоти, они размножались, разврата ради, почкованием. Персональное моделирование подобных субъектов, которые одной головой командовали целым полком тел, было нешуточной математической проблемой; в народе таких главарей прозвали телоначальниками. Они ли довели Мудро до коллапса, или, напротив, само оно довело народные массы до скоростной эротации – неизвестно и ныне. Так или иначе, Мудро объявило военное положение и провозгласило себя верховным правителем Живли под именем Мудриссимуса.

Отрезвленные столь внезапно и столь жестоко, живляне выказали прежнее мужество и сметливость в беде, ибо, как глубокомысленно рассуждали потом, беда породила их и лишь в ней они чувствовали себя как рыба в воде. Мировая война с раскинувшимся под Живлёй самозванцем ничуть не напоминала прежних войн. Обе стороны, имея возможность уничтожить друг друга за доли секунды, как раз поэтому ни разу не соприкоснулись физически, но сражались информационным оружием. Речь шла о том, кто кого заморочит лгашишем подтасованных битов, оглоушит брехном по черепу, кто ворвется, как в крепость, в чужие мысли и переставляет штабные молекулы неприятеля наоборот, чтобы его разбил информатический наврaлич. Стратегический перевес сразу же получило Мудро: будучи Главным Счетоводом планеты, оно подсовывало живлянам ложные сведения о дислокации войск, военных запасов, ракет, кораблей, таблеток от головной боли и даже переиначивало количество гвоздиков в подошвах сапог на складах обмундирования, дабы океанским избытком лжи пресечь всякую контратаку в зародыше; и единственной серьезной информацией, посланной на поверхность Живли, был адресованный фабричным и арсенальным компьютерам приказ немедленно стереть свою память – что и случилось. И, словно

этого было еще недостаточно, в завершение штурма на глобальном фронте Мудро перевернуло вверх дном картотеки личного состава противника, от главнокомандующего до последнего киберобозника. Положение казалось безвыходным, и, хотя на передовую выкатывали последние не заклепанные еще вражьими враками лгаубицы, устремляя их жерла вниз, штабисты понимали, что это напрасно; и все же требовали открыть брехометный огонь, чтобы ложь брехней обложить: мол, если и гибнуть на поле врани, то хотя бы с необолганной честью. Главнокомандующий, однако, знал, что ни один его залп узурпатора не потревожит, ведь тому было проще простого прибегнуть к полной блокаде, то есть отключить связь, не принимая к сведению вообще ничего! И в эту трагическую минуту он решился на самоубийственный фортель: велел бомбардировать Мудро содержимым всех штабных архивов и картотек, то есть чистейшей правдой; в первую голову в недра Живли обрушили груды военных тайн и планов, до того засекреченных, что один лишь намек на них означал государственную измену!

Мудро не устояло перед искушением и принялось жадно поглощать бесценные сведения, которые, казалось бы, свидетельствовали о самоубийственном помешательстве неприятеля. Меж тем к сверхсекретной информации примешивали все большие порции не столь существенных данных, но Мудро, из любопытства и по привычке, ни от чего не отказывалось, заглатывая все новые лавины битов. Когда истощились уже запасы тайных трактатов, шпионских донесений, мобилизационных и стратегических планов, открыли шлюзы битохранилищ, в которых покоились старинные мифы, саги, предания, прачиавеческие легенды и сказки, священные книги, апокрифы, энциклики и жития святых. Их экстрагировали из пергаментных фолиантов и закачивали под давлением в недра Живли, а цифрократ-самозванец по причине инерционности и самовлюбленности, тупого упорства и рутинерства поглощал все, жадный и ненасытный безмерно, хотя и давился уже избытком битов; и наконец они застряли у него электрической костью в горле: не содержание, но количество данных оказалось убийственным. Чистейшая правда, спрессованная в мощный информ-заряд, саданула Мудро под каждый его транзисторный бок, сожгла его пробки, затопила его казематы, полные еще не выстреленных вракет, и разорвала его изнутри, так что с многомильных битопроводов, искусной сетью заткавших планетный череп, потекла медь – и снова, как в прадавнюю эру, кружила Живля вокруг Солнца, заполненная огненным жидким металлом… Как в тишине началось, так в тишине и кончилось

первое в истории информатическое сражение. И все вроде бы пошло по-старому, но еще четверть века приходилось распутывать, атом за атомом, хаос первой минуты схватки. Прежних высот живлянская цивилизация достигла лишь спустя сорок лет.

Эта война неизгладимо запечатлелась в духовной жизни. Среди гражданских и военных историков вспыхнули жаркие споры. Одни полагали, что не количество одолело качество, но истина – ложь, ибо дезинформация спасовала перед добросовестной информацией.

Сходных воззрений держалась официальная церковная историография, которая спасение Живли объясняла вмешательством Провидения в облике Высшей Истины.

Школа рационалистов утверждала, что как раз наоборот: логическую натуру Мудра разорвало несчетное множество кричащих противоречий, которыми кишат богословские труды, – а именно ими начиняли последние боезаряды. Поэтому, хотя Живля и обязана своим спасеньем религии, но на иной манер, нежели того хотелось бы ее ревнителям.

Нашлись антропософы, заявлявшие, что ни то, ни другое, ни третье: мол, измена изменой аукнулась, сперва Мудро нас, а после мы его одурачили, в чем видим постоянство чиавеческой природы, ведь сражались мы, в сущности, с ее зеркальным, только увеличенным, отражением. Бунт Мудра есть повторение пещерной сцены, когда один прачиавек оглоушил другого обгрызенной костью. Споры эти пошли на пользу гуманитарным наукам, ибо в ряды дискутантов призвали резервистов-магистров, спешно производимых в полные доктора. Историческая победа стала благодарной темой и для изящных искусств. О ней было написано много правды и еще больше вымыслов, включая классическую легенду, что-де последней каплей, переполнившей чашу терпения самозванца, оказалась детская сказочка «Код Ученый», – но это слишком красиво, чтобы быть правдой; как кто-то заметил, Ученый Код изящно врет.

Демобилизованные вояки, возвращавшиеся в родные пенаты, не спешили доставать из домашних хранилищ запыленных кибергурий и купидам, брошенных в годину войны. Уж больно по-штатски выглядели учения с ними, а между тем боевой дух прямо-таки кипел, ведь, правду сказать, мало кто успел досыта навоеваться. Бизнесмены поняли вмиг, что прежние любисторы и любоны изжили себя. Настроение царило повсюду романтическое и патриотическое, невостребованное мужество следовало на что-то употребить; однако при всеобщей жажде ратного подвига было не с кем сражаться. Коль скоро врага уже нет, сказали себе акулы

большого бизнеса, надобно его выдумать, тем более что технические средства имеются. Так появились врагобойни. В комплект врагобойни входила модель омерзительного оккупанта, личностные характеристики которого въячивались в программу путем опускания в заднюю прорезь специального въявчика величиною с монету. Въявчиков предлагалось навалом – каждый с иным типом вражьего «Я», то коварно-жестоким, то агрессивно-нахрапистым, однако всегда низменным. Въячив личность врага по своему вкусу и раскусив его гнусные происки, клиент выступал на бой в защиту отчизны, которая, заметим, отнюдь не была абстракцией. Изготовители предусмотрели заранее, что если полем сражения будет жилище, то и отчизна, защищаемая собственной грудью, должна уместиться в нем, и в комплект входила ее аллегория – с развевающимися волосами, лавровым венком в руках, в одеянии, трепещущем, словно знамя (в цоколе имелось для этого поддувало). Обратив на клиента нежно-доверчивый взор, отчизна молила его о спасении, а после венчала победителя лаврами. Исход сражения гарантировался особыми рычажками на щите управления; впрочем, победу можно было одержать, не вставая с кровати, купив недорогой удлинитель к истязатору. Уничтожить врага можно было сразу или с оттяжкой, приберегая недобитыша на потом, – смотря по темпераменту и убеждениям. Сторонников суровости, строго дозированной по времени, не тревожили вопли истязуемого врага – на этот случай имелся превосходный глушитель.

Ретрограды, которых всегда предостаточно, тотчас подняли шум: пытаясь очернить программу боенизации, они утверждали, что врагобой – вовсе не тренажер патриотизма и не школа беззаветной любви к отчизне, как уверяет реклама, но цифровое палачество, достойное маркиза Де Зада, благословение которого, безусловно, почиет на изобретателях.

Врагобой, заявляли они, эксплуатирует самые низменные инстинкты, учит измываться над беззащитной жертвой, а сказочка о защите отчизны не более чем жалкий предлог. Почему, скажите на милость, отчизна – не степенная дама в годах, не матрона, не респектабельная и живая старушка, но монументальная девица? И почему ее пеплум снабжен замком-молнией? Врагозащитники вышли на улицы, демонстративно круша врагобойни и разбивая отчизны, чем, однако, навлекли на себя всеобщее негодование, умело подогреваемое врагобойной индустрией, которая обвинила их в публичном оскорблении патриотических чувств. Начались бесконечные судебные разбирательства, патриоты, распаленные только что одержанным домашним триумфом, со свежими лавровыми венками на головах

бежали громить врагофилов, а тем временем ассортимент въявчиков пополнился совершенно новыми образцами. Теперь уже можно было, наряду с агрессорами, моделировать личности, во всех отношениях позитивные. Духотеки предлагали широкий выбор как вымышленных, так и реальных лиц, что, впрочем, повлекло за собой процессы о дистанционном нарушении личной неприкосновенности; дело в том, что многие заказывали себе знакомых, родственников и начальников, дабы дать волю чувствам, которые прежде подавлялись, порождая неврозы и прочие осложнения. После длительных прений лизанский Верховный Суд постановил: публичные действия в отношении моделируемого лица, которые, будь они совершены в отношении физического лица, предусмотрены в уголовном кодексе, могут служить основанием для вчинения дистанционно потерпевшим иска об оскорблении личности. Но те же действия, совершенные частным образом и без свидетелей, не составляют события преступления. Разумеется, противники духовок (именно так назывались отныне врагобойни) снова подняли крик, доказывая, что пользование духовками, будь то публичным или частным образом, абсолютно безнравственно, а все утверждения рекламных агентств (дескать, духовки восполняют дефицит дружелюбия, искреннего участия и нежности, ударяющий по широким массам, и с моделируемым лицом возможны лишь идеальные духовные отношения) – сплошная ложь. Будь это правдой, изготовители убрали бы истязаторные рычажки, тогда как на новой модели их больше, чем имелось на старой. Изготовители отвечали, что только выродок способен сделать что-либо дурное с родственной цифровой душой, обожаемым начальником или достойной супругой дружественного Лизанции монарха, но между нашими клиентами выродков, безусловно, нет. Впрочем, это личное дело покупателя, что ему делать с покупкой, – в полном согласии с конституцией и постановлением Верховного Суда.

Крики оппозиции не помогли – спрос на духовки был огромный. Правда, процессы об оскорблении личности продолжались, правоведы не покладали рук, неясно было, например, наказуемо ли публичное самохвальство деяниями, совершенными частным образом в отношении главы соседнего государства или, скажем, умершей сестры соседа. Что это: crimen laesae majestatis [65] или некрофилия, а может, только пустая видимость – все равно что рассказывать сны, за которые никого не потянешь в суд? Эти споры оживили законотворчество и расширили границы гражданских свобод. Владелец духовки мог делать с въяченными духами что угодно, лишь бы не нарушался

покой соседей. Публично духобойничать запрещалось, однако же в частных клубах духоббисты оспаривали пальму первенства, приканчивая рекордное число самых что ни есть железных характеров в один вечер. Что любопытно, усилился спрос на ученых; правда, благотворных плодов общения со столь просвещенными духами как-то не замечалось; поговаривали, что чем больший дурень клиент, тем более охоч он до мудрецов – видать, не ради уроков и поучений, потому что не умнеет ничуть, хотя то и дело бежит в духотеку за новой пачкой въявчиков. Те, кому не хватало фантазии, в пособии по душеложству могли почерпнуть широкую гамму комбинаций. Появились также духовки с временной лупой, замедлявшей и укрупнявшей процесс истязаторства. Духозащитники в своих писаниях заявляли, что стоит только историческим обстоятельствам возвысить уровень общественной нравственности, как торгаши тут же стаскивают ее в канаву; именно это случилось после информатической войны, когда патриотический подъем был обращен в источник наживы. Эти нотации не нашли отзыва в обществе, впрочем, они приутихли, когда начала развиваться астронавтика. Дело в том, что на пути освоения космического пространства появилось препятствие, интересное уже тем, что его не предвидел ни один из футурогностиков и прогнозеров, которых в одной лишь Лизанции насчитывалось девяносто тысяч. Они разводили рацеи о безграничных перспективах покоренья планет, предсказывали темпы их колонизации, с невиданной точностью подсчитывали тоннаж ценных руд, минералов и прочих сокровищ, которые Живля будет привозить со всей Солнечной системы, и все это, несомненно, сбылось бы до мельчайших подробностей, если бы не одна мелочь. А именно: когда уже можно было покорять планеты и луны, благоустраивать девственные материки, разворачивая на них героическую и животворящую деятельность, короче, выказать первопроходческий дух в борениях с трудностями, – никто почему-то не рвался в первопроходцы. Желающих не было! Поэтому власти порешили начать все сначала – дать как бы задний ход и после возвращения на исходные рубежи сыграть на другой струне. Коль скоро колонизация планет в качестве приключения века, высочайшего отличия и исторической миссии не вызывает энтузиазма, надо переименовать планеты в кутузки, а посылку героев – в ссылку преступников. Тем самым можно будет прикончить двух зайцев сразу: управиться со всякими крикунами, смутьянами, баламутами и заодно – с перенаселением, а то становилось уже тесновато.

Эта политика проводилась сто с лишним лет, после чего пришлось с огромным сожалением от нее отказаться. Хотя

экспорт новейших технологий на штрафные планеты и был запрещен, ссыльнопоселенцы, среди которых преобладал народ даровитый и образованный, сами додумались до не положенных им технологий, создали свой ракетный флот, учредили трехпланетный союз и, обобществив ископаемые вместе с промышленностью, стали хозяйствовать по своему усмотрению. Вряд ли можно было в этих условиях продолжать политику ссылок, равнозначную отныне посылке подкреплений для космически разросшейся оппозиции. Живля перешла к полной изоляции от населенных планет; этим и кончилась программа покорения околоживного пространства.

Все проходит, так что со временем и духобойство приелось и вышло из обихода, вытесненное новыми веяниями, а давка все нарастала: количество живлян удваивалось уже каждые шесть лет. Правда, мастурбанисты по-прежнему возводили просторные самотни для миллиардеров с нарциссистскими вкусами, но позволить себе такое могли только крезы. Заурядному миллионеру приходилось довольствоваться членством в закрытом клубе, например роялистском, где практиковали роялизм как ирреализм, то есть без королевства, располагая лишь тренировочным скоросборным троном – трескотроном; для самых занятых, тех, кто хотел поцарствовать, не отрываясь от рабочего стола, имелся телетрон. Но уже не во всякую пору можно было выйти из дому, столь плотной массой текли по улицам толпы. Демографы принимали резолюцию за резолюцией, каждое государство призывало соседей одуматься, а те то же самое, только наоборот. «Убеждение, одно лишь убеждение! – заявляли правительства. – Для того и трудились наши предки до кровавых мозолей, чтобы уже никто никогда никому не мог ничего запретить!»

Церковь поддерживала противников регулирования рождаемости: дескать, давка – трудность лишь временная, за гробом будет очень даже просторно. Между тем все больше наблюдалось странных явлений, прежде неведомых, например, жутеоров и фата-мордан; особенную же тревогу вызывали похищения. В средневековье разбойники похищали богачей ради выкупа; время от времени это случалось и позже, но всегда для предъявления каких-либо требований. Теперь же почти никто не требовал выкупа, а главное, похищенные исчезали бесследно. На смену простецкому похищению ракет и авиалайнеров пришли операции более сложные. Появились спецы, похищавшие похитителей вместе с похищенными, – так называемые похищаки; а тех, в свою очередь, запихивали в мешок похищенцы, которые свои операции планировали методом динамического

программирования, чтобы снизить производственные издержки. А похитисты были теоретиками движения и прогнозировали постхитителей, которые должны были появиться к концу столетия и похищать в энной степени при помощи телекинеза, или духоловства. Что же касается самохищенцев, то они по крайней мере легко поддавались психиатрической классификации – как экстраполяция самоблудников. Врейдисты усматривали во всем этом новое воплощение задизма, но антиврейдисты лучше объяснили загадку: ни инстинкт смерти, ни агрессивность, ни деньги, ни подавленные детские комплексы тут ни при чем, речь шла просто об избавлении от ужасной давки, а так как в ней всегда виноваты другие, то этих других и брали за шкирку, чтобы запихнуть куда ни попадя. Специалисты по коллективным психозам назвали новое социальное заболевание похищенским запиханством.

В этом почти безвыходном положении (похищенческий позыв проявлялся в еле заметном перебирании ногами на месте, и ногами сучили уже самые высшие офицеры полиции) на помощь живлянам снова пришла наука, как всегда, безотказная. Началось повсеместное внедрение технетики, то есть синтетической этики, искусственно разводимой, штампуемой и монтируемой как проводным, так и беспроводным манером. Малышей спасали от давки в пустышечных резерватах, где места было навалом. Кроме того, уже в пеленки им вкладывали напоминайки, внедрявшие в умы уважение к ближним. Если бы и нашелся кто-нибудь, кто захотел бы обидеть ближнего хотя бы по переписке, укорялка тут же принялась бы его отговаривать, а подушечка-думка – нашептывать сквозь сон, чтобы он это дело бросил. Если же он, допустим, упорно стоял на своем, затыкал себе уши, обычные дидакторы разбивал, а бронированные обкладывал войлоком и домашними туфлями, то защиту неприкосновенности брали на себя фильтры агрессивных намерений. Напишет он, например, анонимку, а чернила разольются, почтовый ящик порвет письмо, в крайнем же случае предохранитель последней линии добросердечия заботливо разобьет адресату очки. Упрямец взбеленится, попробует нанести телефонное оскорбление, а телефон все ругательства отфильтрует; и если даже в припадке бешенства он погонится за ближним с палкой, та, имея в структуре своей добротизатор, сломается еще до удара!

Похищения как рукой сняло, правда, не потому, что все как один смягчились душою, просто было не до того: каждый с утра до ночи ломал себе голову, как бы околпачить фильтрацию и сделать ближнему то, что ему немило, ради чистого удовольствия. Вырос спрос на динамит и кумулятивные бомбы, а

производство воска и войлока подскочило на восемьсот процентов. Это привело к эскалации социотехнических методов: бомбы взрывались бомбоньерками и благовонными букетами, а толковники и укорилки гремели, как иерихонские трубы. Когда же самолеты начали выписывать в небесах назидательные сентенции, население бросилось раскупать картузы с длинным козырьком и темные очки. Безумное наступило время. Воскрешальни трудились без передышки, особенно в обеденную пору: дело в том, что если затевающий что-то недоброе садился за стол, а макароны в тарелке складывались в назидательную надпись, то нередко он вместо супа проглатывал ложку, чтобы покончить с собой, раз уж не может покончить с ближним.

В конце концов борьба технетики с населением стала азартной игрой, а тем самым частью массовой культуры – в виде тотализатора-морализатора (сокращенно – тотомор). Главный выигрыш доставался тому, кто первый оставит с носом новый добротизатор. Терроризм пошел на убыль, поскольку не все противодобротные средства допускались в игре, а за нарушение правил грозила дисквалификация. С помощью материальных стимулов удалось устранить в зародыше приватные атомные конфликты, ареной которых раньше других стала Лизанция, держава, передовая во всех отношениях. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не тотомор; ведь достаточно было слуха, будто боевики-телобитники завалили штаб-квартиру аморализаторов письмами (которые, дескать, пропитаны солями урана и, слившись в критическую массу, поднимут на воздух полгорода), чтобы разразилась страшная паника. Мильоны беженцев забили дороги, а сверху на них обрушился град орнитоптеров, налетавших друг на друга в воздушных пробках. Радиус возникшей при этом гробосферы (или же давкострады) достигал двухсот миль. На счастье, подобные катастрофы более не повторялись. Упомянутое нами движение телобитников возникло в связи с упадком телотворения. Многотельству (которое осуждали за расточительство) положило конец обстоятельство совершенно банальное и, как обычно, непредвиденное – дефицит прядильно-ткацких бромидов; а без них нельзя синтезировать телеуправляемых вирусных хромопрядов. И вот, когда сырье для изготовления хромопрядов подорожало двухсоткратно, а пять крупнейших телотворительных консорциумов вылетели в трубу, лизанская молодежь создала субкультуру телобитников, требуя тел возможно более дешевых, экономичных, удобных и скромных. Что же касается аморализаторов, то они предложили в конгрессе закон о пожизненном заключении за повреждение добротизаторов

деморалками (разновидность злобоголовок, самонаводящихся на все добродетельное). Но вам, надеюсь, понятно, что в такие детали нашей истории мы не можем вдаваться.

Борьба механизированной любви к ближнему с террористами и ревнителями личной свободы была, разумеется, лишь эпизодом на фоне по-настоящему серьезных событий. На планете шла куда более грандиозная, хотя и бескровная схватка – с демографическим потопом.

Надо отдать должное технике – она делала что могла, дабы облегчить все более тяжкую участь граждан. Так называемой циклической снедью, или же пищей многоразового пользования (она проходила через организм в неизменившемся состоянии), питались самые бедные. А чтобы напрасно не раздражать их, были устроены секретораны – конспиративные заведения, в которых клиенты со средствами могли объедаться как прежде. Чудеса кулинарного искусства кромсали здесь втемную, видя их лишь на экранах ноктовизоров, зато не соблазняя зевак. Урбанисты могли за каких-то три дня возвести миллионный город из тесноскребов, и эти быстрограды заполняли остатки незастроенного пространства; в сущности, вся Лизанция была уже одной сплошною столицей. Одновременно развернулась лихорадочная миниатюризация всего, что только можно было уменьшить, от книг и газет до железных дорог. На смену метро пришло дециметро, а потом и сантиметро. Однако работу редукционной промышленности затрудняли неизменившиеся размеры самих живлян. Снова раздались голоса ярых антинаталистов, которые миниатюризацию объявили тупиковым путем и домогались регулирования рождаемости; но о таком грубейшем посягательстве на основные права живлян никто не желал и слышать. Лишь господствующим настроением умов можно объяснить легкость, с которой парламенты одобрили генженерный проект, известный под названием сокращенческого закона. Он предусматривал редукцию стандартного гражданина в масштабе 1:10. Разумеется, имелось в виду следующее поколение живлян. Чтобы сохранить свободу деторождения, постановлялось, что тот, и только тот, кто подвергнется генной перестройке, вправе произвести на свет любое количество потомков. Это было хитро задумано, поскольку устраняло принудительную микрогенизацию: тот, кто не шел на нее, умирал без потомства, так что следующее поколение состояло из одних лишь микромалюток; когда же их родители вымерли, планетную экономику спешно редуцировали в том же масштабе. Всеобщий комфорт не потерпел никакого ущерба, ведь все уменьшилось в равной пропорции. Церкви выбрали меньшее зло и дали согласие

на этот маневр. Впервые с незапамятных времен все наслаждались блаженным простором, а вдобавок ощущали необычайную легкость – ведь самые упитанные толстяки весили двести граммов; но скептики и пессимисты пророчили, что от таких облегчений жди новых мучений.

И точно, катастрофическая давка возобновилась через каких-нибудь десять лет. Хотя главные генженеры-сократители понимали, что дальнейшая микроминиатюризация – лишь временный выход, ибо ей положит конец несжимаемая структура материи, они тем не менее были вынуждены решиться на шаг столь же радикальный, сколь и отчаянный, то есть на вторую редукцию в том же масштабе (1:10). Следующее поколение живлян без пожарных лестниц не могло уже взобраться на дедовскую пепельницу, выставленную в историческом музее. Теперь наконец можно было вздохнуть полной грудью. Каждая грядка стала садом, клумба – девственной пущей. На микроживлян обрушились поочередно три мировые войны – с мухами, комарами и муравьями. Даже самые древние старики не могли припомнить таких поражений, тем более что во время массированных комариных налетов с тыла ударили тараканы, выбравшиеся из городских подземелий. Их черный панцирь поначалу не брали танковые орудия, что нетрудно понять, приняв во внимание, что средний танк весил тогда пять граммов. Кошмарные комары, размах крыльев которых превышал размах рук взрослого живлянина, пикировали на прохожих и высасывали из них кровь, оставляя на тротуарах скорченные трупы; мухи пожирали свои жертвы мерзкими клеистыми хоботками; и хотя с помощью кумулятивных снарядов и термитных гранат в конце концов удалось одолеть даже самый толстый хитиновый панцирь, хотя враг устилал своими трупами землю, хотя трофеи были огромны – из павших жуков делали ванны, а перепончатокрылые годились на планеры, – истребить неприятеля без остатка не удалось; поэтому были мобилизованы все техсредства, чтобы спешно накрыть города насекомостойкими куполами из стекловидной массы. Как пишут хронисты, тем самым на смену открытой миниатерре пришла замкнутая. Впрочем, тараканы по-прежнему устраивали партизанские набеги; но теперь армию заменила полиция, а главные оборонительные функции взяли на себя автоматические ловушки и роботы, вооруженные лазерным оружием. Лишь немногие поселения под открытым небом просуществовали до конца столетия, да и то благодаря противокомарной артиллерии и ракетам с самонаводящимися на звуки жужжания боеголовками. Попытки одомашнивания некоторых насекомых (ос, например, объезжали) не оправдали

надежд; одни лишь сороконожки какое-то время использовались в качестве пони в детских садах. Не стоят упоминания такие побочные выгоды всеобщей минимализации, как охота на специально для этого разводимых гигантских мышей, весом чуть ли не в пятьдесят граммов; трудно также понять восторги приверженцев нового восхожденческого спорта – древизма. Вершины деревьев, росших за городскими куполами, привлекали немногих смельчаков, ведь смертельной опасностью грозила не только непостижимая громадность любой березы, но и любой майский дождик, который мог смыть восходителей каплями размером в человеческую голову. Впрочем, даже если бы удалось истребить всех насекомых (что было мечтой генеральных штабов), это не изменило бы печального обстоятельства, на которое большинство закрывало глаза, – а именно, что живляне в своем нынешнем облике не способны жить на открытой поверхности; легчайший зефир валил их с ног, дождик затапливал, пташка могла заклевать на месте. А между тем появились грозные симптомы перенаселения, уже хорошо известные: повсюду опять была давка, и отчаянье охватило умы. Разумеется, о регулировании рождаемости не приходилось и заикаться; раз уж ради спасения основного права живлянина было принесено столько – и каких еще! – жертв, это означало бы позорную капитуляцию, и уже по соображениям престижа любой иной выход казался предпочтительнее. Такой выход предложила лизанская Академия Наук и Художеств – в виде федеративного проекта. Составленный Академией манифест распространили все агентства печати. Проект предусматривал такую переделку наследственности, чтобы все следующее поколение смогло соединиться в гигантское гармоничное целое, неотличимое от прачиавека – того великана, легендарные, чуть ли не двухсотсантиметровые размеры которого просто трудно вообразить. «Решившись на этот шаг, мы потеряем немного, – гласил манифест, – в сущности, ничего: разве мы не стали уже узниками собственных городов? Ведь мы не можем противостоять ни мухе, ни ветерку! Мы живем, безнадежно и навсегда отрезанные от природы, и вынуждены заменять ее пушинками и травкой искусственных садиков, испытывая ужас пополам с восхищением при виде любой кротовой норы; нам не дано охватить взглядом так называемые горы, о которых мы можем только читать в древних книгах, унаследованных от наших дедов-гигантов. Но именно такую монументальную фигуру и воскресит федеративный проект; а притом из слияния восьми миллиардов живлян возникнет не просто прачиавек, но невиданное прежде создание, двуногие соединенные штаты клеток, истинный

градозавр, державоход, перед которым откроются все просторы планеты. В ее безмерности он не почувствует себя одиноким, ибо в дикую пущу вступит не одиночка, но многомиллиардное общество».

Мысль, брошенная лизанскими академиками, зажгла сердца и умы и была одобрена на всеживлянском плебисците. Однако всеобщая история – не идиллия; начались непредвиденные конфликты, а потом и последняя уже мировая война, которая вспыхнула из-за того, что каждая церковь претендовала на свою особую конгрегацию и свой голос в будущем державоходе, то есть на собственное ротовое отверстие, состоящее из верующих и клира; но это было никак невозможно: при стольких отверстиях получился бы дырчатый сырганизм. Услышав этот вердикт, непокорное духовенство развернуло подрывную работу. Появились пасквили, в которых будущий державоход именовался чудовищной ходячей тюрьмой, порабощагой, двуногой галерой, отданной на произвол мозговой элиты, которая совершенно буквально будет кормиться кровью миллионов сограждан. Распространялись клеветнические наветы, будто в центрах восприятия наслаждения все места уже втихую поделены между конструкторами и их начальством. Эти подстрекательские потуги, безусловно, встретили бы достойный отпор, тем более что ботаникам удалось вывести сорт цветов, пахучие субстанции коих обладали этифицирующими свойствами; будучи выброшен на рынок, благодетельный цветок успокаивал взволнованные умы, словно елей, льющийся на грозные волны; но тут, на беду, в печать просочились тайные документы проекта. То были протоколы совещаний, на которых компетентные эксперты признавали, что не все живляне в равной мере способны заполнить различные ячейки державохода. Некоторые провинции, особенно нижне-задние, намечалось заселить колонистами из недоразвитых обществ, а центральный нервный аппарат укомплектовать состоятельными лизанскими гражданами, поднаторевшими в спекулятивном мышлении.

Начертав на своих знаменах антидержавоходные лозунги и восклицая, что лучше погибнуть, нежели идти перетеляться в голень или же брюхо великораба и там надрываться впотьмах до истощения сил, – мятежники ринулись в бой. Голос партии «третьего пути» в надвигавшемся хаосе не был услышан. Я имею в виду возможников, или эвентуалистов. Они требовали превращения гениталиев в эвентуалии, в нормальных условиях бесплодные и обретающие способность к оплодотворению лишь в случае эвентуальной нужды, когда главный половой диспетчер вырубит импотенциометр на пульте планетной совокупильни.

Потеря, впрочем, была невелика – их проект все равно не прошел бы.

Война, точнее, ряд локальных, но ожесточенных конфликтов, продолжалась недолго. Имея в виду всеобщее благо и ощущая ответственность за будущее Живли, державохожденцы атаковали мятежников этифицирующими газами. Штаб-квартиру повстанцев заняли без пролития крови, засыпав ее с воздуха охапками этифицирующих роз и фиалок; по словам очевидцев, картина была потрясающая. Когда подготовка к слиянию уже началась, разгорелся новый конфликт, на этот раз среди самих генженеров, – по поводу плана коренной реорганизации проектных бюро. Предполагалось создать два самостоятельных комплекса: Автономную Державу Анонимных Мужей (сокращенно АДАМ) и Единоутробную Воспроизводственную Ассоциацию (сокращенно ЕВА). Что же касается сырья, то оба комплекса поделились бы населением Живли поровну. Любой другой выход, утверждалось в проекте, не убережет державоход от некой постыдной привычки, порочащей наши знамена. Если же АДАМ заключит с ЕВОЙ пакт о дружбе и ненападении, после чего обе стороны будут углублять сотрудничество на базе баланса сил и невмешательства в интимные дела друг друга, – со временем возможно установление прямых контактов, живительное влияние которых, крайне благоприятное для обеих высоких сторон, проникнет во все их закутки. Простой человек сможет участвовать в этих необычайно привлекательных сношениях в ходе своих повседневных торговых, полицейских и административных занятий благодаря тесному сотрудничеству компетентных державных органов. Этот план немедленно подвергся нападкам со стороны церквей, увидевших в нем угрозу, хотя и косвенную, целибату клира, не говоря уж о том, что не будет ни одного священнослужителя, который мог бы узаконить этот союз. «Любые международные пакты, а также соглашения на уровне министерств и прочих органов тут ни при чем, – гласило заявление совета церквей, – поскольку в свете канонического права ратификация межгосударственных соглашений не тождественна таинству брака, то есть речь идет о склонении государств к развратным действиям, против чего мы решительно протестуем». Но чашу весов перевесил не этот довод, а совсем другое соображение. Решившись повторить Сотворение, мы начали бы опять от Адама и Евы и самое большее через несколько тысяч лет снова пришли бы к кошмарной давке, вызванной перенаселением Живли – теперь уже множеством державоходов. Поэтому по завершении следующего исторического цикла нас ждет очередное слияние, что попахивает уже цивилизационным

безумием, ведь державоход грядущей эпохи сам состоял бы из клеточек-государств. Подобная перспектива заставила содрогнуться даже авторов проекта, и они сняли его с обсуждения.

В связи со спором о поле будущего государства некий мыслитель выдвинул оригинальную космогоническую гипотезу. Вызванное перенаселением производство державоходов из граждан, утверждал он, и притом как раз по двуполым проектам, несомненно, является космической постоянной. На это указывает само строение Вселенной, построенной из положительных и отрицательных частиц, из материи, которой соответствует антиматерия, и так далее. Таким образом, державы возникают как самцы и самки, размножаются, а их потомство учреждает государственные федерации следующего уровня. Этот процесс идет непрерывно, охватывая мало-помалу весь Универсум, так что на вопрос, из чего, собственно, состоит материя, следует ответить: из чистого субстрата государственности, полученного в результате многовекового сжатия государств, содержавшихся в государствах. И хотя, коллапсируя, они утрачивают прежние черты, все же их пол установить можно, как уже говорилось выше, а что до дальнейших подробностей, то ими должны заняться физики. Быть может, стоит добавить, что этот мыслитель был превосходным правоведом и юристом-цивилистом. Его концепция вовсе не столь несообразна, как кажется. Говоря, что атомы состоят из государств, а государства из атомов, он, должно быть, имел в виду, что материя, существуя как де-юре, так и де-факто, абсолютно легитимна, что она представляет собой как terminus a quo, так и ad quem [66], то есть материя и право, в сущности, одно и то же, а потому вопрос, что было раньше, право или Вселенная, беспредметен постольку, поскольку вы понимаете, что мы имеем в виду. Впрочем, об этой гипотезе мы упомянули лишь мимоходом, ибо она оказалась последним плодом несконфедерированной живлянской мысли.

Итак, ограничились одним государственным организмом, и после законотворческой стадии наступила телотворительная. Прикомандирование в тот или иной орган определялось жеребьевкой, ведь каждый хотел пролезть в особо престижные органы, используя всевозможные связи и протекции. Время от времени случались скандалы по делам о коррупции. Раскрытие одной из крупнейших афер, поднёбной, повлекло за собой принудительную ссылку виновных в прихребетную зону, где ощущался недостаток в поселенцах-добровольцах и вакансий было не счесть. Державоустроительной работе препятствовали постоянные волнения: кого влекло ближе к духу, кого – ближе к

брюху, и, если бы себялюбию дали поблажку, вместо жизнеспособного державохода получилась бы огромная голова на толстом животе, со ртом от уха до уха. Наконец наступил торжественный миг разрезания ленточки, опоясывающей нашу державу. Мы разрезали ее сами, поскольку кроме нас на Живле никого уже не было, и восстали из окружавших нас строительных лесов во всю свою высоту, в том облике, который вы сейчас видите. Не будучи в состоянии провести вас по всему государству в качестве своих дорогих гостей, мы сделаем это – вкратце – хотя бы в рассказе.

Вот в этом поворачивающемся здании, увенчанном романским куполом, размещается наш Парламент с двумя палатами, правой и левой, которые с исполнительными органами связаны довольно-таки нервной административной системой. В нижних туловищных провинциях расположены Министерство Внешнего Газообмена и Главное Управление Ирригации, объединенное, ради экономии полезной площади, с Управлением Любви к Ближнему. Посредине державы размещаются многочисленные Промсиндикаты – сахарный, продовольственный, химического синтеза и так далее. Шестьсот миллиардов полицейских патрулей, не зная ни сна ни отдыха, охраняют все рубежи и закоулки державохода. Неплохо звучит, не так ли? Не будем, однако, скрывать от вас, что не все прекрасно в живлянской державе. Главнейшая наша особенность, а вместе с тем и забота, заключается в том, что каждый наш гражданин обладает сознанием, и в этом мизинце разума больше, нежели во многих университетах. Увы, весь наш разум не может подать голос одновременно, поэтому лишь дипломатические вокальные группы, аккредитованные в ротовом отверстии, шлют вам, по поручению парламентской комиссии по делам речи, уверения в нашей сердечной дружбе и завершают отчет о нашей истории братским приветом от имени широких масс, что трудятся на органической ниве. Вы спросите, отчего же пал духом державоход, как могло случиться, что верховная власть поручила снабженческим органам доставить чашу с цикутой? Ответим искренне: по обстоятельствам как внешним, так и внутренним, ибо те и другие сделались невыносимы. Известно ли вам, до чего мы дошли после пятнадцати тысяч лет славного цивилизационного строительства? Располагая вот этой единственной парой рук – пусть даже на службе в них состоят миллиарды граждан, – мы были вынуждены кочевать под открытым небом и питаться кореньями, допекаемые торжествующими комарами, пока наконец не перешли в позорное отступление, чтобы очутиться в склизкой пещере, возможно, той

самой, которую целые эпохи назад покинул наш предок-троглодит. А все потому, что проектировщикам державоход представлялся такой монументальной громадой, просто безмерно могущественной, что они приготовили для него лишь горсточку орудий да рейтузы (впрочем, как показала примерка, чересчур узкие из-за ошибок планирования): они полагали, что такой поликан сам, с величайшей легкостью, устроится на планете. Впрочем, разве не унаследовали мы от них всю живлянскую экономику? Ну да, только какая нам польза от городов, на улицах которых мы не можем даже поставить пятку, или от роботов, которые меньше опилок? В конце концов мы, стиснув зубы, справились бы с внешними трудностями, когда бы не плачевное внутреннее состояние государства. Никто никогда не доволен у нас местом, на которое он поставлен! Хапать, прятаться, хныкать, требовать невозможного – вот их девиз! Как может парламент решать неотложные государственные дела, если колени требуют собственных глаз, нижние полушария угрожают блокировать транспортную систему, потому что им, видите ли, жестко и зябко; а известно ли вам, что такое государственный кишковорот? Впрочем, мы бы справились с безответственными требованиями и подавили неумеренные аппетиты, когда бы не подстрекатели, укрытые в палатах парламента, врейдисты, подрывающие державное наше сознание. Можете ли вы представить себе, чего домогается эта нелегальная оппозиция днем, а особенно ночью? Захвата соседней державы другого пола – вторжения в ее рубежи без какого-либо обмена нотами, насильственно! То обстоятельство, что никакой соседней державы нет и быть не может, ничуть не умеряет этих завзятых заговорщиков! Видя, что любые переговоры и разговоры с ними напрасны, что они коррумпируют наше правительство, подкупая его картинами оккупации, помрачающей чувства, и тщатся хотя бы воображаемым блудом наш державоход ублажить, если уж реальным нельзя, – узнали мы в этих призывах голос проклятого суверена блуда, маркиза похоти, издревле подрывающего наши основы, а так как сей теломор, не уморившийся, несмотря на свои и наши старания, по-прежнему пытается завладеть нами, внедряясь уже в верховную власть, решили мы покончить с ним и с собою. И вот после внутренних долгих дебатов отправились мы в пустынное плоскогорье, наполнили соком буяники микроживлянскую цистерну, найденную под кустом, и приложили к губам, не слушая визга внутреннего сводника, что, дескать, от неутоленного вожделения наше державоубийство, а вовсе не ради державных принципов! Правда, цистерна с цикутой дрогнула в нашей руке, но, клянемся, мы б осушили ее до дна,

когда бы не цепенящий вихрь, что обрушился вдруг с высоты, ударил, и наша держава погрузилась в ледовый сон, дабы лишь тут, в вашем братском кругу, отворить очи…

Верный робот
Телевизионная пьеса [67]

Действующие лица

М-р Т. Клемпнер
Граумер, робот
Господин Гордон, издатель
Госпожа Гордон
Инспектор Доннел
Госпожа Доннел
Странный Тип
Посыльные

I

Комната примерно 2000 года, но без поражающих воображение вещей. Это рабочий кабинет автора детективных романов. Здесь – мягкая «обтекаемой формы» мебель, лампы, пишущая машинка, магнитофон, радио, вместительный бар. Клемпнер сидит за машинкой и печатает с видимым интеллектуальным усилием. Звонит телефон. Он поднимает трубку.

Клемпнер. Клемпнер слушает. А, это вы! Да. Пожалуй, с неделю. Уверен в этом. Мне пишется все лучше. Целиком отдам вам в четверг. Без единой опечатки на машинке. Что? А, супруга вам говорила? Да, я хотел пригласить вас обоих с супругой в будущую пятницу. Придут еще Доннелы. Его вы знаете, знакомились с ним у меня. Это тот инспектор… Ха, ха! Разумеется… Такие знакомства очень полезны; узнаешь о здешних происшествиях, а это способствует созданию местного колорита в произведениях. Хорошо. Значит, в будущую пятницу. До встречи…

Возвращается к машинке. Едва присаживается, как раздается звонок.

Клемпнер. Кого это черти принесли?…

Он выходит. Возвращается, и за ним следом – двое посыльных вносят большой ящик.

Посыльный. Распишитесь, пожалуйста.

Клемпнер. Что это?

Посыльный. Расписка в получении.

Клемпнер. Но что в этом ящике?

Посыльный. Здесь написано: Робот.

Клемпнер. Какой робот? Я не заказывал никакого робота.

Посыльный. Это не мое дело. Я из фирмы по перевозке грузов. Пожалуйста, распишитесь.

Клемпнер расписывается, посыльные уходят. Клемпнер осматривает ящик, глядит на пишущую машинку, подходит к ней, внезапно возвращается, разрезает шнуры, крышка ящика приоткрывается. Клемпнер пятится назад. В ящике сидит Робот. Он вылезает, раздвигает на себе бумажную упаковку, встает, слегка кланяется.

Робот. Добрый вечер. Господин будет моим новым хозяином. Весьма рад. Я буду стараться угодить вам по мере возможностей, а их у меня немало. Я представляю собой новейшую модель «Ультра-Делюкс».

Клемпнер. Что все это значит? Я не заказывал никакого робота…

Робот. Ах, это не имеет значения! Зачем вам себя этим обременять? А я для чего здесь? Отныне я буду все делать за вас. На меня можно полностью положиться. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Позвольте заметить, что столик у вас не на месте. Вы, когда пишете, сами себе свет заслоняете. Таким вот образом будет намного удобнее… *(Переставляет столик.)* Так вы сможете лучше сосредоточиться.

Клемпнер. Да не нуждаюсь я в тебе, черт побери!

Робот. Поначалу всем так кажется. Вы сами убедитесь. Спите вы хорошо?

Клемпнер. Нет. Кто тебя сюда прислал?

Робот. Вы страдаете бессонницей? Прекрасно.

Клемпнер. Как это – прекрасно?

Робот. Потому что теперь все изменится. *(Выглядывает в окно.)* Ого, да здесь поблизости есть и другие виллы? И стало быть, по вечерам – собаки, которые лают на прохожих, в середине ночи – кошки, а по утрам – петухи. Очень хорошо. Против кошек и собак у меня имеется особое средство, а петухов вы отныне не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.

Клемпнер. Не беспокойся обо мне. Кто тебя прислал?

Робот. Господин напрасно повышает голос. Достаточно было

шепнуть. Я прекрасно слышу. Не знаю, кто меня прислал, но сейчас мы это установим. Отправитель должен значиться на упаковке. Ну конечно, «Давенпорт», посредническое бюро по найму домашних работников. *(Поднимает телефонную трубку, набирает номер.)* Алло! Бюро «Давенпорт»? Это говорит работник. Господин человек, с вами будет говорить мой хозяин. Пожалуйста… *(Подает трубку Клемпнеру.)*

Клемпнер. Алло! Вот только что мне доставили посылку – робота, которого я вообще не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка, что? Том Клемпнер, улица Роз, 46. Заберите его отсюда немедленно! Что? Что вы говорите? Не посылали? Вы абсолютно уверены? Но… *(Кладет трубку.)* Говорит, что никого они не посылали… И что же теперь будет?

Робот. Все прекрасно будет. Вам, наверное, хочется побыть одному? Чтобы никто не мешал вам в творческой работе?

Клемпнер. Да, черт возьми! Да!

Робот. Очень хорошо. Господин будет один. Вы уже один. В определенном смысле меня вообще нет. Кроме вас, здесь нет ни единой живой души – то есть никого нет. Нам остается лишь кое-что уточнить. У господина есть робот?

Клемпнер. Нет. И я ни в каком роботе не нуждаюсь.

Робот. Во***Тип***рекрасно. Должен вам признаться, что я тоже не выношу роботов. Я люблю только людей. Потому-то я так и радуюсь, что вы станете моим хозяином. Вам будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю проникаться к вам почтением и уважением. Вы питаетесь дома?

Клемпнер. Нет! И перестань говорить без умолку! Дай мне собраться с мыслями и сообразить, что с тобой делать.

Робот. Для этого я здесь. Для всего, позвольте вам заметить. Отныне вы будете есть дома. Есть в ресторане вредно, это портит желудок. Я знаю самые разные кухни, особенно – китайскую. *(Он подходит к бару, оглядывает его содержимое.)*«Мартини», не правда ли? Великолепно. Но позволю себе заметить, что к нему пригодился бы джин. Смешать их половина на половину, со льдом и лимонной корочкой. Это проясняет разум. Сейчас я приготовлю.

Клемпнер. Да ты замолчишь или нет? У меня голова раскалывается!

Робот. Поначалу так всегда бывает, к сожалению… Но это пройдет. Вы позволите? *(Достает из ящика, в котором прибыл, коробочку с красным крестом, наливает воды в стакан и протягивает его Клемпнеру вместе с вынутой из коробочки таблеткой.)*

Клемпнер. Что это?

Робот. Средство от головной боли. Сейчас как рукой снимет. Только позвольте, пожалуйста… Не упирайтесь… Прошу вас… *(Сажает Клемпнера в кресло и подкладывает ему одну подушку под голову, другую – под ноги, подает таблетку и воду, а сам начинает быстро прибирать комнату. Выносит ящик, маленьким веником выметает опилки, возвращается.)* Ну, как самочувствие? Уже лучше? Голова уже у вас не раскалывается, правда? *(Достает из ящика масленку, моток веревок и отвертку.)* Это все мое имущество. Потому что в случае необходимости, чтобы вы знали, я сам себя ремонтирую. Может, показать вам, как я устроен внутри? Механизм чрезвычайно любопытный!

Клемпнер. Оставь меня в покое…

Робот. В этом и состоит моя задача. Создавать вам покой. Именно так. Только перед этим нам следует уточнить матрицу связей. Это займет всего минутку.

Клемпнер. Какую матрицу?

Робот. Ну, есть же у вас соседи, знакомые, родственники… Самые разные люди будут сюда приходить и будут стремиться увидеться с вами. А мы установим простой способ взаимопонимания. Если вы встретите гостя словами: «Как я рад тебя видеть!» – я через минуту войду в комнату и напомню вам о не терпящей отлагательства консультации с профессором Хэдвиком.

Клемпнер. А если гость как раз знает этого Хэдвика?

Робот. Ну что вы, это невозможно. Хэдвик был моим первым хозяином. К сожалению, умер. И довольно давно. Уже и буквы на его надгробии начинают стираться. Каждую третью неделю я хожу к нему на кладбище. Надеюсь, что вы мне будете разрешать и это. Но перейдем к делу. Если вы поприветствуете гостя словами: «Хорошо, что зашел, я давно тебя жду», – я подам напитки самого низкого качества. Если…

Клемпнер. Ну что ты мелешь?!

Робот. Но, позвольте, господин! Мы оба прекрасно знаем, какова действительность. Только люди из ложной стыдливости предпочитают в этом не признаваться. В каждом доме имеются угощения для посетителей первого класса, соответственно – для второго, а бывают и те, которых вообще не угощают. Там, например *(показывает на бар)*, я заметил в укромном местечке бутылочку. Если не ошибаюсь, это коньяк семидесятилетней выдержки, вероятно, «Селиньяк», вы надежно его припрятали, да так, собственно, и должно быть. Однако я вижу, что вы немного устали. Я сейчас же приготовлю крепкий бульон и легкий, но питательный ужин. А пока отдыхайте, пожалуйста. Расслабьтесь… полная пассивность… разрядка. *(Он говорит это, отступая к*

дверям. Слышится частое позвякивание посуды и стекла.)

Клемпнер. Вот так история!

Робот *(возвращаясь)*. Сейчас все будет готово. Нам остался один вопрос, но самый важный – относительно женщин.

Клемпнер. Что?!

Робот. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я располагаю тремя дополнительными устройствами, предназначенными специально для этой цели. Отныне женщины станут усладой вашей жизни, солнечным светом, а не кошмаром. Тех, кого господин не захочет видеть, я и на порог не пущу. Я смогу быть несокрушимым в отстаивании ваших интересов. А поскольку я умею на расстоянии регистрировать частоту дыхания и пульс, то смогу заблаговременно сообщать вам, на что рассчитывает женщина, которая к вам приходит…

Клемпнер. Это неслыханно! Как ты смеешь? Да не желаю я!

Робот. Ох, желаете! Желаете, только сами этого еще не знаете. Я смотрю, вы принадлежите к тем несчастным людям, которые до сих пор не испытали на себе благодеяний верного и усердного робота. Но все переменится. Вы познаете вкус счастья… Кажется, бульон уже доварился. Извините…

Клемпнер. О Боже!

Робот *(появляется в дверях столовой и распахивает их ненатуральным взмахом руки)*. Прошу вас! На стол подано…

Клемпнер *(вскакивает)*. Да не хочу я, чтобы мне здесь…

Робот. Со всем почтением осмелюсь заметить, что после слов «На стол подано» никаких других слов произносить не следует, пока я не подам вам первый аперитив…

Клемпнер входит в столовую, садится. Робот подает ему бульон. Клемпнер начинает есть. Робот уходит в кабинет, быстро просматривает рукопись и возвращается. Наливает вино.

Робот. У вас прекрасный стиль. Какая динамика, какой лаконизм. Я горжусь тем, что у меня такой хозяин. Осмелюсь только заметить, что этому убийце во второй главе не следовало бы пользоваться цианистым калием. Этот яд, пожалуй, выходит из моды. И слишком уж заигран.

Клемпнер. Ты так полагаешь? Ты и в этом разбираешься?

Робот. Мой третий по счету хозяин был токсикологом. И не простым, а коллекционером. Он коллекционировал яды, как другие коллекционируют бабочек. Бедняга…

Клемпнер. А что с ним случилось?

Робот. Ошибся. Обычно он клал три ложечки сахара в кофе. Ничего бы, конечно, не произошло, но дело случилось в то самое

воскресенье, когда я хожу на кладбище. И если бы хоть что-нибудь особенное, из ряда вон выходящее, ничего подобного! Он по ошибке насыпал в кофе вместо сахара крысиного яда. Обыкновенного крысиного яда! И это знаток! Представляю себе, каково ему пришлось – в последние минуты… Когда я вернулся, все было кончено. Я думал, у меня конденсатор лопнет. Теперь хожу к нему два раза в месяц. У него очень хорошая могилка, с видом на реку. Я сам выбрал это местечко. Но я не о том хотел говорить. Осмелюсь вам порекомендовать аконит. Весьма впечатляющий и сильный яд. Достаточно десяти капель…

Клемпнер. Аконит, говоришь?… Может быть… Действительно! Я думал об этом. А вообще-то, как тебя зовут?

Робот. Граумер, господин хозяин! Но если вам угодно, называйте меня совершенно иначе. Может, предпочитаете что-нибудь из цветочных названий? Например, Гиацинт… Как это вам понравится?

Клемпнер. Нет, зачем же?… Пусть будет Граумер.

Робот. Благодарю вас.

Клемпнер. Граумер!

Граумер. Слушаю вас…

Клемпнер. В будущую пятницу, ты понимаешь…

Граумер. Да, конечно!

Клемпнер. Я устраиваю маленький прием на четверых. Будут две супружеские пары… Не знаю только, что лучше подать – холодные закуски или ужин с горячим блюдом, а?

Граумер. Это, вероятно, гости первого класса?

Клемпнер. Да. Мой издатель и инспектор Доннел, оба с женами…

Граумер. Инспектор полиции?

Клемпнер. Да, а что?

Граумер. И он ваш приятель? О, это прекрасно! Что подать? Я думаю, одно горячее блюдо, а затем – своего рода ассорти из изысканных холодных закусок. Можете предоставить это мне. Я вас не подведу. Ужин вкусный был?

Клемпнер. Весьма…

Граумер. Я вижу, что вам бы хотелось сегодня написать еще пару страниц, но не советую. У вас темные круги вокруг глаз. Первый вечер всегда утомителен для нового хозяина. Для начинающего – особенно… Поэтому я позволил себе приготовить для вас постель. Разрешите, пожалуйста… *(Ведет Клемпнера в спальню; через открытую дверь доносится его голос.)* Так, зажжем ночничок… теперь другую штанину… А теперь робот расскажет вам на сон грядущий сказочку. Давным-давно, когда еще не было даже электричества, жил да был себе за горами один хороший,

простой господин, и был у него паровой робот. По утрам робот отправлялся в лес за хворостом да за грибочками для завтрака…

Клемпнер *(усталым голосом)*. Оставь меня… в покое…

Граумер. Однажды в лесу, откуда ни возьмись, появился злой монтер с большущими-пребольшущими клещами. Спрятался он за деревом, а когда робот подошел к нему, он и говорит: «Сирота я, и нету у меня на свете ничего, кроме этих клещей…»

Свет в спальне гаснет. Граумер появляется в кабинете. Он тихо закрывает двери, поднимает с полу свою масленку, отвертку и, сматывая длинную веревку, произносит:

Прекрасно. Спит, как малое дитя… Даже веревка не понадобилась…

II

Клемпнер сидит в кресле, читая газету, и тянет руку к столику, на котором стоят бутылки с вином. Дотянуться до них не может, а вставать ему не хочется.

Клемпнер. Граумер!

Граумер *(входя)*. Слушаю вас.

Клемпнер. Налей!

Граумер. То, что обычно?

Клемпнер. Да.

Граумер наливает, подает.

Клемпнер. Можешь идти.

Граумер стоит.

Клемпнер. Ну, что еще?

Граумер. Вам звонил господин человек Хиггинс, сообщая, что будет выступать в клубе с докладом о литературоведении раннего викторианского периода. Я сказал, что вы весьма сожалеете, но как раз в это самое время у вас совещание с профессором Хэдвиком.

Клемпнер. Ладно. Кстати, ты случайно не знаешь, куда подевался резиновый коврик из ванной? Я не могу его найти.

Граумер. Простите, это я его взял.

Клемпнер. Взял коврик?! Граумер, ты становишься невыносим!

Граумер. Я его разрезал на куски и подклеил ими свои железные подошвы, чтобы неслышно ступать. Потому что вы жаловались на металлический звук моих шагов. Я постараюсь достать другой коврик.

Клемпнер. В другой раз ты должен прежде испросить моего позволения. Подай мне плащ. Я ухожу.

Граумер *(приносит шляпу и плащ, одевает Клемпнера)*. Надеюсь, сегодня вы вернетесь в лучшем виде, чем это было вчера.

Клемпнер. Ты что это себе позволяешь?

Граумер. Осмелюсь заметить, что пить все подряд, без разбору, вредно. Но дело не только в этом. Ни мой покойный господин Бурман, ни профессор Хэдвик никогда не пили ром после джина. Простите меня, но это дурной тон.

Клемпнер. Прекрати! Я ничего больше не хочу слышать о твоих покойных хозяевах. Они были, умерли, нет их, и точка. А теперь я твой хозяин, и ты обязан меня слушаться. А сам я обойдусь без твоих советов.

Граумер. Как вам будет угодно. Я только прошу вас осторожно вести машину, потому что сегодня довольно густой туман.

> Клемпнер выходит. Робот с минуту стоит неподвижно, как бы прислушиваясь. Доносится шум отъезжающей машины писателя. Робот удобно усаживается за письменный стол, придвигает к себе телефон и набирает номер.

Алло! Это фармацевтическая фирма «Тромпкинс»? Говорит Клемпнер, с улицы Роз. Да, да, то, что я заказывал вчера, уже доставили. Теперь новый заказ. Мне нужно десять литров физиологического раствора и один килограмм фосфора. Но фосфор должен быть абсолютно чистым. Химически чистым. Что? Хорошо. Прошу вас прислать мне это завтра утром. Как можно раньше. Мой робот все примет. Что? Так же, как и предыдущие. Прошу записать это на мой счет.

> Граумер, довольный, поднимается, входит в спальню, раскладывает столярный метр и, насвистывая, прикладывает его к кровати, будто снимает мерку с невидимого человека, лежащего на постели. Возвращается в кабинет и набирает по телефону номер.

Алло! Мастерская доктора Спайдера? Говорит Клемпнер. Господин доктор, тот скелет, что я у вас заказывал, должен быть

один метр семьдесят пять сантиметров, а не семьдесят два. Что? Да. И чтобы он был в прекрасном состоянии! Нет, никаких пружин. Пружины мне не нужны. Я соберу его сам.

Кладет трубку, подходит к электрической розетке, оглядывается вокруг, втыкает два пальца в ее отверстия и заходится радостной дрожью. Крякает, как человек, выпивший водки. Потом еще раз потягивает электричество из розетки и, чуть покачиваясь, начинает напевать:

Был у бабы робот, робот, робот,
Она его в болото, бух в болото!

Он еще раз потягивает из розетки и, покачиваясь, направляется к дверям, напевая:

О, мой милый робот, робот,
Что ты делаешь в болоте, в болоте?…

С этой песенкой на устах он спускается в погреб. Оттуда доносится таинственное шипение, бульканье, бренчание.

III

Прием в доме Клемпнера. Писатель сидит за столом между госпожой Доннел и госпожой Гордон. Гордон и Доннел играют в карты за маленьким столиком, однако не слишком увлеченно. Трапеза окончена. Граумер подает кофе.

Госпожа Гордон. Как вы собираетесь провести отпуск в этом году?

Госпожа Доннел. Еще не знаем. Мы подумывали о Луне, но…

Госпожа Гордон. Ах, уж эта мне Луна! Все просто помешались на ней. Лично меня туда совершенно не тянет. Днем там такая жара…

Госпожа Доннел. Да. Особенно при нынешних ценах на воздух. Знаете, госпожа Гордон, сколько заплатил один мой знакомый за килограмм кислорода, и уже после окончания сезона? Пятьдесят долларов!

Граумер уходит.

Госпожа Гордон *(обращаясь к Клемпнеру)*. Я заметила, что у вас новый робот. Как он управляется?

Клемпнер. Да ничего, не жалуюсь. Терпимо. Вполне терпимо.

Госпожа Доннел. Он давно у вас?

Клемпнер. Нет… не очень давно…

Госпожа Гордон. Ну, тогда еще ничего не известно. Сначала они все стараются. Все начинается потом.

Клемпнер. Что начинается?

Госпожа Гордон. Что обычно бывает с прислугой. Они становятся нерадивы, вместо того чтобы стирать пыль, открывают окна настежь и устраивают дикие сквозняки.

Клемпнер. Сквозняки?

Господин Гордон. Ну-ну, автоматы имеют и свои достоинства…

Госпожа Гордон. Интересно знать – какие?…

Господин Гордон. Дорогая моя, живые домработники временами роются в вещах, напиваются, распускают сплетни…

Госпожа Гордон. Да? Можно подумать, что ты когда-нибудь видел живого работника. И разве живой работник воровал бы электричество, которое оплачивают хозяева? Или лазил бы в грозу по крышам?

Клемпнер. По крышам? В грозу? Я об этом не слышал. Но зачем?

Госпожа Гордон. Вы не слышали? Правда? Это так называемые грозатики. Как лунатиков тянет к Луне, так этих притягивают грозы и молнии.

Клемпнер. И с этим ничего нельзя поделать? Во всяком случае, мой Граумер – не грозатик. Будь это иначе – я бы заметил. Но вообще-то, наверное, это не может повредить им?

Госпожа Доннел. Как бы не так, господин Клемпнер! Такой как налакается этих самых молний, притянет столько их в себя, что все у него перегорает там в голове, то есть в их электрическом мозгу, – вот вам и готовый помешанный.

Госпожа Гордон. У моей знакомой, жены режиссера Спинглера, именно такой и был.

Господин Гордон. Дорогая моя, ты не можешь этого утверждать. Тот робот был просто старый и весь расстроенный. Они приобрели его после того, как он уже у четырех хозяев служил.

Госпожа Гордон. Пусть так. Может, он и не был грозатиком, но в любом случае не ведал, что творил. Он несколько раз накормил кота золотыми рыбками. А суп засыпал шариками…

Клемпнер. Какими шариками?

Госпожа Гордон. Стальными. От металлических кроватей. Все оттого, что он буквально разваливался на глазах. Сколько раз я говорила этой знакомой, чтобы она отдала его на капитальный ремонт, а она все – нет да нет! Ее муж был к нему так привязан… Супруги поехали отдыхать на море, а когда вернулись, собственной квартиры не узнали. Он натер мастикой все окна и стены, а грязное белье разварил, разложил по банкам и сказал, что это запасы на зиму! А счета за электричество! Она остолбенела, когда увидела эти суммы.

Госпожа Доннел. Это еще ничего. Знаете, господа, что выделывал робот моей соседки? Он взял старый костюм ее мужа, понашивал на него заплаток и ходил побираться!

Клемпнер. А деньги ему зачем понадобились?

Госпожа Доннел. Это неловко и произносить. В доме напротив, у доктора Смитсона, поселилась новая женщина-робот. Такая небольшая, голубая, оксидированная… Так соседский робот все свои сбережения на нее истратил. Они даже письма друг другу писали! Мне жена доктора показывала его письма. Он называл ее «дорогая шпулечка», «проволочка моя возлюбленная» – и одному Богу известно, как еще!

Господин Гордон. Дорогие дамы, а что вы, собственно, видите в этом предосудительного? Такой робот, такой электрический мозг весьма чувствителен. Ему хочется тепла, ласки, но ничего подобного нет – с утра до ночи он только и слышит то «Подмети!», то «Вынеси!», то «Не впускай!», то «Выброси!».

Госпожа Доннел. Я вижу, что в вашем лице они обрели блестящего защитника…

Госпожа Гордон. Я должна вам сказать, госпожа Доннел, что мой муж – член местного отделения «Лиги Борьбы за Электрическое Равноправие»…

Госпожа Доннел. Ах, так…

Господин Гордон. Потому что это достойные, порядочные существа. Ну и в конце концов, мы сами вызвали их к жизни, то есть я хочу сказать, дали им возможность существовать. Если у них имеются какие-то недостатки, так это наша вина. Наших инженеров. Роботов следует лучше конструировать и совершенствовать. В общем, создавать, а не обвинять.

Госпожа Доннел. Простите, ведь никто не делает им ничего дурного. Но с тех пор, как у них появился собственный союз, робота, натворившего бед, нельзя даже в погребе запереть, потому что сразу поднимается крик, что, мол, это издевательство, жестокость. Джон, как называется этот их союз?

Господин Доннел. «Союз Бесчеловечного Обожания». Нет-нет,

я, разумеется, шучу. Он называется просто «Союзом Домашних Электрических Работников».

Госпожа Доннел. Ну вот, пожалуйста. А вообще-то мой муж мог бы вам кое-что рассказать… И это совсем не безобидные выдумки! Знаете ли вы, господа, что бывают случаи, когда электрические мозги объединяются в банды, связанные с преступным миром?

Клемпнер. Да, но так когда-то давно бывало. Теперь, наверное, уже ничего подобного не случается. Это просто невозможно. Не так ли, инспектор?

Инспектор Доннел. Не знаю, имею ли я право рассказывать об этом, потому что следствие еще не закончено… Но мне известна одна история…

Клемпнер. Но, господин инспектор, вы имеете дело с людьми деликатными…

Господин Гордон. Что касается меня – я обязуюсь хранить молчание.

Инспектор Доннел. Что поделаешь? Рискну… Но не буду называть никаких имен. В общем, некоторое время тому назад мы вышли на след одного весьма опасного робота. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Вы, господин Гордон, говорили о совершенствовании. Так вот, инженеры фордовского завода, стремясь к идеалу, вознамерились создать совершенного робота. Такого, чтобы он был всесторонне развитым, умным, просто гениальным. И это им весьма удалось. Как только они его смонтировали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он совладал со всеми запорами, сбежал с завода и теперь разгуливает себе по стране!

Госпожа Гордон. Ой, вы меня просто в ужас повергли, господин инспектор! А что он, собственно, делает?

Клемпнер. Он что, ненормальный?

Инспектор Доннел. В известном смысле, да. Им овладела навязчивая идея: он хочет создать человека!

Госпожа Гордон. Что вы говорите?!

Клемпнер. Это интересно…

Инспектор Доннел. Он придумал целую теорию. Люди, мол, стремятся создать совершенного робота, а он, робот, создаст совершенного человека.

Госпожа Гордон. Подумать только!

Господин Гордон. И вы считаете его помешанным? Это вполне здравая мысль.

Инспектор Доннел. Вы так полагаете? Мы долго его выслеживали, потому что он очень искусно заметал за собой все следы. Но неожиданно нам позвонил его хозяин. Это весьма

известный человек, у которого робот служил.

Граумер. Господин хозяин! Господин человек Хиггинс просит вас к телефону.

Клемпнер. Простите… *(Выходит.)*

Инспектор Доннел. Так вот, этот робот устроил в доме своего хозяина тайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его застигли врасплох. В интересах следствия я опускаю подробности. Но чтобы вы имели представление о сообразительности этого робота, я расскажу вам только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал там большой ящик и распорядился направить его по адресу своего хозяина, и затем отбыл в неизвестном направлении!

Господин Гордон. Сам себя отправил? Зачем?

Инспектор Доннел. Об этом мы можем только догадываться. Я подозреваю, что ящик прибудет по адресу, который он сам себе предварительно наметил.

Госпожа Гордон. И этот адресат примет его?… Как же так?

Инспектор Доннел. Да вот так. Отправитель фиктивный. В один прекрасный момент по некоему адресу приходит заказная посылка – робот. Получатель, который его не заказывал, звонит в бюро по найму и говорит, что не будет это оплачивать, а в бюро отвечают, что они знать ничего не знают. Тогда этот человек, видя, что робот ему достался даром, как презент, сидит себе да помалкивает. Ведь робот хороших денег стоит!

Господин Гордон. Почему бы об этом не сообщить в печати?

Инспектор Доннел. Потому что это ничего не даст. Робот хитер – он тут же придумает новый способ бегства. Мы предпочитаем действовать скрытно. Еще немного, и он окажется под замком.

Возвращается Клемпнер.

Инспектор Доннел. Можете быть уверены, господа, что мы его в конце концов поймаем. Как и того, другого, что отличился тяжкими преступлениями на юге страны. А ведь то был не обыкновенный робот, он представлял собой особый электронный мозг для прогнозирования погоды. Одним словом – метеорологический автомат. Он оказался поистине электрическим гением финансовых операций! Под вымышленным именем открыл счет в банке, просчитывал вероятность выигрышей на бегах, играл и, разумеется, выигрывал, а деньги помещал на банковский счет. Но это еще не все!

Господин Гордон. Что же он еще сделал?

Инспектор Доннел. За прежнее его нельзя было осудить. В конце концов, каждый может играть на бегах. Но он заделался

таким сибаритом, что ему расхотелось предсказывать погоду. Для этого он нанимал людей, платил им, а сам целиком предался азартным играм.

Госпожа Гордон. Это действительно невероятно интересно, и мы бы слушали вас всю ночь. Но уже поздно… Ричард!..

Господин Гордон. Да, дорогая…

Клемпнер. О, не уходите, господа! Сейчас только двенадцать…

Госпожа Гордон. Нет-нет, мы не можем… Дети остались одни с роботом.

Госпожа Доннел. До свидания!.. Было очень мило…

Господин Гордон. Так, значит, вы мне приносите рукопись послезавтра?

Клемпнер. Как и обещал.

Господин Гордон. Думайте уже и о следующей книге, господин Клемпнер!

Клемпнер. Да я и вправду ни о чем другом не думаю! Доброй вам ночи!

IV

Раннее утро. Клемпнер спит. Граумер входит на цыпочках. Открывает шкаф, достает сорочку, нижнее белье, костюм и выходит. Спустя минуту возвращается, вытаскивает из шкафа обувь и с шумом роняет один ботинок.

Клемпнер. Что за грохот? Граумер, угомонись! У меня голова раскалывается. Принеси кофе!

Граумер. Я же вас вчера предупреждал…

Клемпнер *(садясь на постели)*. Хватит с меня этих проповедей! Сию минуту принеси мне кофе и минеральную воду! И оставь ты эти ботинки!

Граумер ставит ботинки у шкафа и выходит. Клемпнер, накинув халат, идет в ванную. Он возвращается с головой, обвязанной мокрым полотенцем, входит в кабинет. Граумер приносит кофе. Клемпнер пьет стоя, подходит к письменному столу и ворошит утреннюю почту.

Клемпнер. Что это?

Граумер. Утренняя почта, осмелюсь заметить.

Клемпнер. Хороша почта! Одни счета!.. Семь килограммов очищенного угля… фосфор… сера… Что все это значит? Граумер!

Граумер. Слушаю вас!

Клемпнер. И десять литров физиологического раствора… *(Берет другой счет.)* А это что еще?! Натуральный скелет, полированный, рост один метр семьдесят четыре сантиметра, восемьдесят шесть долларов… Скелет?! Граумер?!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?

Граумер. Да так, пустяки. Это мое маленькое хобби. В свободное время я занимаюсь экспериментированием. Невинная забава. Это у меня осталось с тех пор, когда мы с покойным профессором сделали открытие, за которое он получил Нобелевскую премию…

Клемпнер. Хобби? Экспериментирование? Без моего на то разрешения? Граумер, что ты, собственно, себе думаешь? И я еще должен оплачивать эту твою фанаберию?!

Граумер. У каждого ведь, господин хозяин, могут быть свои маленькие развлечения…

Клемпнер. Хватит! И чтобы это больше не повторялось!

Граумер. В этом вы можете быть уверены.

Клемпнер выходит. Из ванной доносится шум воды. Граумер быстро входит в спальню, выносит оттуда носки, ботинки и галстук. Едва он уходит, возвращается Клемпнер. Через минуту из открытых дверей спальни слышится его голос.

Клемпнер. Граумер! Граумер!

Граумер *(входя)*. Слушаю вас.

Клемпнер. Где моя сорочка в голубую полоску?

Граумер. В прачечной.

Клемпнер. В прачечной? Да ведь я ее вообще не носил, она еще вчера тут лежала! И коричневого галстука нет.

Граумер. Наденьте серый в зеленую крапинку.

Клемпнер. Перестань диктовать, что мне носить! Так что с этой сорочкой?

Граумер. На ней было пятнышко.

Клемпнер. Пятнышко? Интересно. Я не заметил никакого пятна. *(Идет в кабинет в брюках и рубахе, завязывая на ходу галстук.)* Который час? Уже одиннадцать! Хорошенькое дело, ведь в двенадцать я должен представить Гордону план нового романа! Граумер!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Мне надо быстренько набросать этот конспект. Мы начали вчера о нем говорить. Что там было?

Граумер. Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой он должен унаследовать…

Клемпнер. Правда! Вспомнил! Свидетелем убийства оказался робот. И убийца должен убрать этого робота, который для него опасен. А как лучше всего убить робота? Ты должен в этом разбираться.

Граумер. Это довольно трудно. Я советовал бы иначе построить сюжет. Один робот прислуживает недоброму человеку, старается изо всех сил, но все напрасно. Человек все время придирается к нему. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе, который подает хозяину на завтрак, яд – двадцать капель аконита. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить доброе дело, чтобы уравновесить недоброе…

Клемпнер. Можешь не стараться дальше. Это абсолютный бред. В каждом сюжете должна быть хотя бы видимость правдоподобия. Кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Аконит уже однажды у меня был, в последней книге. По твоему же совету.

Граумер. А чему это мешает? Аконит очень хороший яд, уверяю вас.

Клемпнер. Ну уж нет. Спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти.

Граумер уходит.

Клемпнер *(садится за машинку, говорит про себя и печатает)*. Богатую тетку… привязав за веревку… так… робот, видевший это… и три кровавых пятна…

За его спиной неслышно пробирается Граумер, вынося на этот раз из спальни одеколон, щетки, расческу и другие туалетные принадлежности.

Клемпнер поднимается, вырывает лист из машинки и, скомкав, бросает его в корзину.

Идиотизм! Лучше вообще ничего не нести! Граумер!

Граумер *(входит)*. Я слушаю!

Клемпнер. Подай мне плащ! Я иду к Гордону. Вернусь к обеду около двух.

Граумер. Слушаю, господин хозяин…

Клемпнер уходит.

Граумер уходит, оставляя двери открытыми. Через минуту слышится его голос.

Так, так, пожалуйста… левую ножку… правую ножку… теперь опять левую… У вас очень хорошо получается, смею вас заверить… Пожалуйста, не бойтесь, я держу вас… По лестнице всегда трудно подниматься, особенно впервые… Раз… два… прекрасно! Пожалуйста!

Появляется Странный тип в одежде Клемпнера – в его сорочке, галстуке, костюме и ботинках. Деликатно поддерживая Типа, Граумер усаживает его в кресло Клемпнера, подкладывает ему одну подушку под голову, другую – под ноги. Тип выглядит слегка растрепанным и ошеломленным. Позволяет делать с собой все что угодно. Граумер причесывает его.

Если позволите, мне осталось кое-что еще подправить… Как вы себя чувствуете?

Тип. Хорошо. Вполне… хорошо. Ты… кто такой?

Граумер. Я Граумер, ваш робот. А вот это и есть ваша квартира. Хорошая, правда?

Тип. Хорошая…

Граумер. Я был уверен, что она вам понравится! Вы заметили, что можно пройти под лестницей, совсем при этом не наклоняясь?

Тип. Заметил…

Граумер. Ну конечно! Будь вы повыше ростом, по рассеянности могли бы набить себе шишку. Поэтому вы именно такого роста. Осмелюсь заметить, что я все предусмотрел. Говорю это не для хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Там вот, за этой дверью, – ваша спальня и еще одна комната, ванная и погреб. Но погреб вы уже знаете…

Тип. Это там, внизу… где разные инструменты и трубочки?

Граумер. Да-да, мой господин. Но вы старайтесь об этом не думать. Может быть, вы хотите что-нибудь съесть?

Тип. Нет.

Граумер. Совсем натощак – это нехорошо. Я сейчас приготовлю легкий коктейль…

Наливает и подает Типу стаканчик. Тот не спеша отхлебывает.

Тип. Грау-мер… Грау-мер…

Граумер. Да-да, это мое имя, я слушаю вас. Не хотите ли вы чего-нибудь поесть?

Тип. Пожалуй, нет. Ничего не приходит мне… в голову.

Граумер. Очень хорошо звучит. Граумер… Ты очень мил и мне нравишься.

Граумер. Я надеюсь, что нам с вами будет хорошо. Я приложу для этого много стараний.

Тип. Знаешь что, Граумер? Я бы встал.

Граумер помогает ему встать, ведет в направлении столовой, открывает туда двери.

Граумер. Здесь – столовая. Там – спальня. Шкаф с одеждой… У вас будет масса костюмов…

Тип. А что это?

Граумер. Пишущая машинка. Ох!

Слышится шум подъезжающей машины.

Ах ты, шуруп! Сказал ведь, что вернется только к обеду! Прошу вас, господин, сюда, скорее… Пожалуйста, сидите тут и не двигайтесь, пока я не позову! Скорее!

Вводит Типа в столовую, закрывает дверь и возвращается в кабинет, как раз когда входит Клемпнер в плаще и шляпе. Граумер раздевает его, усаживает в кресло, подкладывает ему под ноги подушку.

Клемпнер. Ну и денек! Голова у меня по-прежнему раскалывается, а Гордона не было. Должно быть, куда-нибудь неожиданно выехал… В висках ужасно ломит…

Граумер наливает в стакан виски, после чего из огромной бутылки с надписью «Аконит» капает, тихонько считая, двадцать капель.

Клемпнер. Что ты там делаешь?

Граумер. Готовлю вам освежающий напиток.

Клемпнер. Никто не звонил?

Граумер *(продолжая капать)*. Нет, не звонили.

Клемпнер. И никто не приходил?

Граумер. Никто не приходил, пожалуйста. *(Подает стакан.)*

Клемпнер. Мне пить не хочется. Я лучше поел бы чего-нибудь.

Граумер. Я вам советую сначала выпить.

Клемпнер. Ты так думаешь? Но у меня голова раскалывается…

Граумер. Я вас прошу выпить. И сразу пройдет, вот увидите.

Клемпнер. Ну, если ты так уверен…

Подносит стакан к губам. Звонит телефон. Клемпнер отставляет стакан и берет трубку.

Алло! Клемпнер.

Голос Инспектора в трубке. Это Доннел. Добрый день. Откровенно говоря, я не надеялся застать вас дома. Вы вроде собирались быть у Гордона.

Клемпнер. Я был у него, но не застал. А в чем дело?

Голос Инспектора. Ничего особенного. Служебные проблемы. Не могли бы вы мне сказать, какой номер у вашего робота?

Клемпнер. Номер? У моего робота? Что еще за номер?

Голос Инспектора. Серийный номер изделия. Он имеется у каждого робота, отштампован на затылке.

Клемпнер. Сейчас посмотрю. А зачем вам это?

Голос Инспектора. Сугубо доверительно, Клемпнер: мы проверяем номера всех роботов. Имеются данные, что ОН находится в городе.

Клемпнер. О ком вы говорите?

Голос Инспектора. О том роботе, о котором я тогда рассказывал у вас, не помните?

Клемпнер. Нет. Какой номер у того робота?

Голос Инспектора. Мы установили это только сегодня. 4711.

Клемпнер. Вы его разыскиваете? Он причинил какое-то зло?

Голос Инспектора. Еще нет. Но может это сделать.

Клемпнер. Подождите, пожалуйста, у телефона!.. Граумер, подойди сюда!

Граумер подходит, Клемпнер смотрит на его затылок и едва слышно произносит:

Это ты?…

Граумер. Я, господин хозяин.

Клемпнер *(колеблется; смотрит то на Граумера, то на лежащую телефонную трубку. Наконец он поднимает ее)*. Алло! Инспектор, у моего робота номер 5740.

Голос Инспектора. Все в порядке. Простите за беспокойство. Я знал, что это невозможно, но вы же понимаете, как это бывает. Если мы что-то проверяем, то проверяем уже все как следует.

Клемпнер. Да о чем говорить. До свидания, инспектор.

Кладет трубку и берет стакан. Граумер берет стакан из рук Клемпнера и выплескивает содержимое за окно.

Что ты делаешь?!

Граумер. Прошу прощения, там был волосок.

Пауза.

Господин хозяин! Должен вам признаться, что я такого от вас не ожидал. Я не считал вас хорошим человеком.

Клемпнер. Не будем больше об этом. Я даже не хочу спрашивать, что ты там натворил. Но взамен помни: тебе следует меньше говорить и больше делать!

Граумер. Я буду очень стараться. Но я должен вам что-то объяснить…

Клемпнер. Ну, говори, только покороче!

Граумер. Я, господин, простой робот, не более того, но всегда стремился к совершенству. Мне показалось, простите, что вы не совершенный человек, и поэтому я создал себе другого хозяина. Такого, о котором мечтал. Идеального…

Клемпнер. Граумер, прекрати! Твои мечтания меня не интересуют. Это лишено смысла. У меня появился аппетит. Что у нас на обед?

Граумер. Но теперь, прошу прощения, это не только мечтания. Тот господин, тот совершенный, уже существует. Как раз когда вы ушли к Гордону, я заканчивал его, и теперь нет иного выхода: у меня будет два хозяина. Это необычная ситуация, но, в конце концов, дом достаточно большой, места в нем много, поэтому я думаю…

Клемпнер. А ты не думай. Я тебе советую перестать думать, а вместо этого подай мне обед. Ты, наверное, хорошо принял в себя через розетку. Напрасно думаешь, что я не знаю об этом. Вот у тебя и двоится в глазах.

Граумер. Но я заверяю вас…

Клемпнер. Хватит! И ни слова больше! Я хочу есть. Ты ведь только что обещал стараться…

Граумер. Да, вы правы, простите.

Клемпнер. Вот и накрывай на стол.

Граумер. Уже накрыто…

Клемпнер. Это другое дело.

Входит в столовую. За столом, на котором находится всего один прибор, сидит Тип.

А… простите! Я не знал, Граумер мне ничего не сказал. Граумер! Подай второй прибор!

Граумер приносит второй прибор. В это время Клемпнер подает руку Типу, который бормочет что-то,

приподнимаясь с кресла.

Клемпнер. Как поживаете?
Тип. Как поживаете?

Садятся. Граумер наливает им суп. Клемпнер и Тип начинают есть. Они поглядывают один на другого – оба с некоторым удивлением. Каждый из них принимает другого за гостя.

Клемпнер. Сегодня прекрасный день, не правда ли?
Тип. День? Да, конечно.

Продолжают есть.

А вы любите машины? Я – так очень. Я когда иду мимо чего-нибудь железного, меня так и тянет это погладить. Такое вот у меня желание.

Клемпнер. Да?

Тип. Да. Мне просто доставляет удовольствие мысль о том, что в мире существует столько разных машин: чулочные, трикотажные, вычислительные… В определенном смысле, роботы – тоже машины, но это совсем другое. Они – цвет машин, если можно так выразиться.

Клемпнер. Цвет машин? А вы знаете, мне это никогда не приходило в голову.

Тип. А ведь это совсем просто, верно?

Клемпнер. Надеюсь, вам нравится суп?

Тип. Суп неплохой, правда. Я думаю, что это сварил мой робот.

Клемпнер. Ваш робот?

Тип. Тот, что нас обслуживает. Его зовут Граумер. Но ведь вы, кажется, уже перед этим обращались к нему по имени. Вы его знаете?

Клемпнер. Знаю. Потому что это мой робот…

Тип. И ваш тоже?

Некоторое замешательство. Граумер входит, подает второе блюдо.

Граумер. Позвольте положить вам еще свеколки?
Клемпнер. Спасибо, нет.
Граумер. А вам? Позвольте, я еще добавлю…
Тип. Не могу тебе в этом отказать, Граумер…
Граумер. Благодарю вас…

Клемпнер. Минуту назад вы сказали нечто такое, что меня поразило.

Тип. Что именно?

Клемпнер. Что Граумер – ваш робот. Он что, когда-то работал у вас?

Тип. Когда-то?… По правде говоря, я не совсем понимаю, что значит «когда-то». Это – «тот» когда-то или «та» когда-то. Скорее, наверное, «та когдатица». Ага, вы говорили о Граумере… Мне он достался, как бы это сказать, с полным набором всевозможного инвентаря…

Клемпнер. Простите, с чем?

Тип *(с ножом и вилкой в руках широким жестом как бы обводит все вокруг)*. Ну, со всем этим…

Клемпнер *(вглядывается в него, и глаза его вдруг расширяются)*. Господи! Да ведь на вас моя одежда! И сорочка моя, и галстук… *(Поднимает скатерть и заглядывает под стол.)* Мои ботинки!!!

Тип. Я не понимаю.

Клемпнер. Но это же неслыханно! Это наглость!! Прошу вас немедленно это снять!!

Тип. Что я должен снять?

Клемпнер. Все! Это все мое!

Тип. Ваше требование, как бы это помягче выразиться, странно. Что ж, мне совсем раздеться? Я ведь не могу остаться голым.

Клемпнер. Да мне какое дело?! Извольте надеть то, в чем вы пришли!

Тип. Именно в этой одежде я и пришел.

Клемпнер. Что вы мне голову морочите?! Вы – бесстыжий нахал, ясно вам? Которого я поймал с поличным!

Тип. Пожалуйста, не кричите! Хоть вы и гость, но все имеет свои границы.

Клемпнер. Что?… Это я – гость?… И чей же, позвольте узнать?

Тип. Мой.

Клемпнер *(подходя к Граумеру)*. Сейчас же говори, кто это такой? И откуда он здесь взялся?

Граумер. Но ведь я уже говорил вам.

Клемпнер. Что ты?… Это невозможно!.. Так это ты его…

Граумер. Да, господин хозяин.

Клемпнер. Тот вот фосфор… та сера… уголь… это все для этого?

Граумер. Да, господин хозяин.

Тип. О чем идет речь? Я надеюсь, что этот господин уже

отказался от своих неразумных требований? Что касается меня, я готов забыть о них. Граумер, подай компот и десерт. А кофе пойдем пить в кабинет. Я припоминаю, что здесь есть кабинет. С пишущей машинкой.

Клемпнер. Совершенно верно. С той только разницей, что это моя машинка, мой кабинет и мой дом.

Тип. Как это?

Клемпнер. Так это. Если не верите, спросите, пожалуйста, у Граумера. Это он все натворил.

Тип. Что натворил?

Клемпнер. Вас!!

Тип. Я не понимаю. Похоже, вы пытаетесь меня запугать. Откровенно говоря, вы ведете себя странно.

Клемпнер. Как я себя веду? Боже праведный!.. Что это у вас висит из рукава?

Тип. Где? А, и в самом деле…

Из рукава рубашки он вытягивает полоску бумаги, прилепившуюся к запястью. Другие такие же бумажные полоски Граумер начинает вытягивать из-за воротничка рубахи. Бумага напоминает ту, которой обычно выкладывают формы для выпечки. И как та прилипает к тесту – эта прилипла к поверхности Типа.

Граумер *(отдирая бумажки)*. О, простите! Тысяча извинений… Это моя оплошность – надо было подложить под вас бумагу, чтобы вы не сплющились, а у меня ничего другого не было.

Клемпнер *(стоя)*. Теперь-то вы понимаете?

Тип. Нет.

Клемпнер. Это он вас сотворил.

Тип. Граумер? Меня?

Граумер. Да, именно так. Мне весьма досадно, что так все вышло.

Тип глядит то на Граумера, то на Клемпнера.

Клемпнер. Это действительно чрезвычайно неприятная история, но я ни в коей мере не собираюсь нести ответственность за сумасбродные выходки какого-то сумасшедшего робота. Прошу вас покинуть этот дом. Но прежде будьте любезны снять все мои вещи.

Тип. Вы хотите выставить меня голым?

Клемпнер. Я сейчас поищу какие-нибудь старые брюки.

Тип *(подходит к окну, выглядывает, поворачивается и*

спокойно произносит). Нет!

Клемпнер. Как это – нет?! Что это значит – нет?! Да я оказываю вам любезность, выпроваживая подобным образом…

Тип. Я никуда отсюда не пойду.

Клемпнер. Я вызову полицию!!

Тип. Пожалуйста. Граумер – чей робот?

Клемпнер. Мой. Ну и что из этого?

Тип. А то, что вы отвечаете за своего робота. Если он действительно меня сделал, вы должны меня содержать. В противном случае…

Клемпнер. Что-что?

Тип. Я вызову полицию.

Клемпнер. Ах ты, мерзавец!

В глубине комнаты Граумер наливает им в стаканчики виски.

Тип. Вашими оскорблениями вы ничего не добьетесь.

Клемпнер *(тяжело дыша)*. Ну хорошо! Забирай своего железного болвана и проваливай отсюда! Чтобы мои глаза вас обоих больше не видели!

Тип. Я должен забрать Граумера?

Клемпнер. Да. И немедленно! Потому что я могу и раздумать.

Тип. И не подумаю. А Граумера можете оставить себе.

Клемпнер. Так ты же, мерзавец, говорил, что любишь роботов!

Граумер сразу же после слов Типа: «Граумера можете оставить себе» в оба стаканчика с виски начинает вливать яд из флакона с надписью «Аконит».

Тип. Да, люблю, но не до такой же степени, чтобы делать кому-то подарки.

Клемпнер. Какие еще подарки, ты, шантажист, да ведь это все мое!

Тип. Я не могу отказаться от дома.

Клемпнер. Бандит!

Тип. Ну, скажем, от половины дома…

Клемпнер. Да я скорее сгною тебя в тюрьме!

Тип. Или я тебя!

В разгар скандала Граумер подает им обоим по стаканчику виски с ядом. Они продолжают ссориться, держа эти стаканчики и не представляя себе, что у них в руках. Сам Граумер быстро молча уходит. В кабинете он

снимает телефонную трубку.

Из столовой доносятся голоса: «Забирай свою железную уродину и проваливай!» – «Сам проваливай!» – «Хочешь получить по морде?» – «Смотри, как бы тебе самому не заехали!»

Граумер закрывает дверь, набирает номер.

Граумер. Алло! Фирма перевозок Хэмфри? Я хотел бы сделать срочный заказ. Очень срочный! Прошу вас немедленно прислать большой ящик на улицу Роз, дом сорок шесть…

notes

Примечания

1

Trzej elektrycerze, 1964. © Перевод. И. Клех, 2018.

2

Uranowe uszy, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

3

Jak Erg Samowzbudnik Bladawca pokonał, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

Skarby kro`la Biskalara, 1964. © Перевод. С. Легеза, 2018.

5

Dwa potwory, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

Biała śmierć, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

7

Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

8

Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła, 1963. © Перевод. И. Клех, 2018.

Doradcy kro`la Hydropsa, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

особое мнение *(лат.)*.

11

Przyjaciel Automateusza, 1964. © Перевод. И. Клех, 2018.

12

Kro`l Globares i mędrcy, 1964. © Перевод. К. Душенко, 1993.

13

Bajka o kro`lu Murdasie, 1963. © Перевод. К. Душенко, 1988, 1993.

14

O kro`lewiczu Ferrycym i kro`lewnie Krystali, 1965. © Перевод. К. Душенко, 1989, 1993.

15

Jak ocalał świat, 1964. © Перевод. С. Легеза, 2018.

Maszyna Trurla, 1964. © Перевод. И. Клех, 2018.

Wielkie lanie, 1964. © Перевод. С. Легеза, 2018.

18

Wyprawa pierwsza, czyli Pułapka Gargancjana, 1965. © Перевод. К. Душенко, 1993.

19

Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla, 1964. © Перевод. И. Клех, 2018.

20

Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza, 1965. © Перевод. И. Клех, 2018.

21

Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa, 1965. © Перевод. И. Клех, 2018.

22

Wyprawa czwarta, czyli O tym, jak Trurl Kobietron zastosował, kro`lewiecza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić, i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło, 1965. © Перевод. С. Легеза, 2018.

23

Wyprawa piąta, czyli O figlach kro`la Baleryona, 1965. © Перевод. А. Громова, 1967.

24

Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla, 1965. © Перевод. И. Клех, 2018.

25

Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać, 1964. © Перевод. И. Клех, 2018.

26

Podro`z sio`dma, czyli O tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła, 1965. © Перевод. А. Громова, 1965.

27

Bajka o trzech maszynach opowiadających kro`la genialona, 1967. © Перевод. К. Душенко, 1993.

происходящего из атомов двойника *(лат.)*.

восстановления индивида из атомов по алгоритму *(лат.)*.

30

Лабиринт Лема *(лат.)*.

31

Адвокат лаборатории *(лат.)*.

Здесь: по доверенности *(лат.)*.

«Адвокат материи» (*лат.)*.

34

Altruizyna, czyli Opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy Kosmos uszczęsliwić zapragnął i co z tego wynikło, 1965. © Перевод. К. Душенко, 1993.

35

Аз есмь Сущий Всемогущий, Всеведущий, в Духе Интеллектроническом Плавающий, в свете кибернетики во веки веков, научно все деяния познающий, и прочая, и прочая *(лат.)*.

Kobyszczę, 1971. © Перевод. К. Душенко, 1989, 1993.

всеобщее согласие *(лат.)*.

отвращение к жизни *(лат.)*.

Здесь: сползание в бесконечность *(лат.)*.

«Галактический кодекс» (*лат.)*.

Здесь: «Полное собрание сочинений» (*лат.)*.

Powto`rka, 1979. © Перевод. И. Левшин, 1990.
* в землях неверных *(лат.)*.

43

«О невозможности насыщения счастьем разумных существ» (*лат.*).

44

Раздел богословия, призванный увязать существование зла в мире и Божественное добро.

Здесь: толкование религиозного канона *(греч.)*.

внутреннее противоречие *(лат.)*.

порочного временного круга *(лат.)*.

упоение временем *(лат.)*.

Искусство любви *(лат.)*.

Верую, ибо абсурдно *(лат.)*.

Edukacja Cyfrania, 1976. © Перевод. К. Душенко, 1993.

в зародыше *(лат.)*.

Кремниевых, отряд Медленноспешащих (от латинского выражения «festina lente» – «поспешай медленно»).

отвращение к жизни *(лат.)*.

Сначала *(ит.)*.

тише едешь – дальше будешь *(ит.)*.

Лучший капельмейстер *(лат.)*.

С начала до конца! *(ит.)*

Молчании *(лат.)*.

Запрещаю *(лат.)*.

61

Музыкальная Психопатия с Наводящей Сон Путаницей Глупейшей *(лат.)*.

62

Нарушение закона об оскорблении Гориллия *(лат.)*.

63

Обращение во множественном числе к августейшим особам *(лат.)*.

Все дозволено *(лат.)*.

нарушение закона об оскорблении величества *(лат.)*.

Здесь: начальный, конечный пункт *(лат.)*.

Wierny robot, 1963. © Перевод. А. И. Ильф, Т. П. Агапкина, 1994.